ISSN 0130-6545

11. 1995

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ГЮНТЕР ГРАСС
Жестяной барабан

САЛЬМАН РУШДИ
Рассказы

СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ
Безумный Локомотив

Wie ich es sehe
P.K.P.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 29 700 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

11 ноябрь 1995

СОДЕРЖАНИЕ

САЛЬМАН РУШДИ — Рассказы (*Перевод с английского И. Тогоевой*) 5

ДУРС ГРЮНБАЙН — Стихи из книги «Дорогим мертвым» (*Перевод с немецкого и вступление С. Морейно*) 29

ГЮНТЕР ГРАСС — Жестяной барабан (*Роман. Книга первая. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Предисловие Ирины Млечиной*) 32

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН — Стихи (*Перевод с испанского Н. Ванханен*) 131

СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ — Безумный Локомотив (*Пьеса без «морали» в двух действиях с эпилогом*). Из книги «Наркотики» (*Перевод с польского и предисловие Андрея Базилевского*) 135

ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС — Рассказы (*Переводы с английского И. Бернштейн, В. Ряполовой, Н. Трауберг, В. Сербина. Вступление В. Сербина*) 167

ГЕРШОН ШОФМАН — Рассказы (*Перевод с иврита В. Климовского*) 220

Литературное наследие

Вглубь одного стихотворения

К 200-летию со дня рождения

ДЖОН КИТС — Кузнечик и сверчок. К Одиночеству (*Сонеты. Переводы с английского. Вступление А. Зверева*) 224

Критика

Три интервью с Владимиром Набоковым (*Перевод с английского Д. Федосова*) 233

ТАДЕУШ ДРЕВНОВСКИЙ — Польская литература: на поверхности и в глубине (*Перевод с польского Людвики Кашницкой*) 249

У книжной витрины 253

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1995

В следующем номере «ИЛ»

Роман шотландского писателя АЛАСДЕРА ГРЕЯ **«Бедные-несчастные»**, удостоенный в 1992 году премии «Гардиан», — яркая, гротескная стилизация, в центре которой весьма необычный треугольник.

В рубрике *«Портрет в зеркалах»* — эссе Ч.МИЛОША, И.БРОДСКОГО, М.ЮРСЕНАР, У.Х.ОДЕНА о **Константиносе Кавафисе**, греческом поэте рубежа XIX—XX вв., чье творчество уходит корнями в эллинскую традицию и наполнено культурными реминисценциями и историческими рефлексиями.

На обложке — работы польского писателя и художника Ст. И. Виткевича:
на 1-й стр. обложки — Портрет Марии Навроцкой. 1929;
на 2-й стр. обложки — Портрет Анны и Ярослава Ивашкевичей. 1922;
на 3-й стр. обложки — Искушение Св. Антония. 1921 — 1922.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

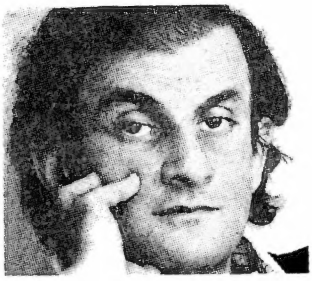
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 16.10.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага типографская. Усл. печ. л.22,40. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,25. Заказ №1135.

Тираж 29 700 экз. Цена по подписке 10 000р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



САЛЬМАН РУШДИ
Рассказы

Перевод с английского И. ТОГОЕВОЙ

Волосок Пророка

В начале года 19.., когда Сринагар был во власти чар зимы, такой жестокой, что, казалось, у людей кости, промерзнув насквозь, вот-вот разлетятся вдребезги, точно стеклянные, в самую нищую и пользующуюся дурной репутацией часть города проник молодой человек, у которого, несмотря на ставшую от мороза гусиной кожу, на всем облике легким инеем лежал безошибочно угадываемый блестящий налет богатства и благополучия. Пробираясь среди домишек из досок и рифленого железа, похоже, в любой момент готовых рухнуть и рассыпаться на куски, он тихим и каким-то замогильным голосом спрашивал, где бы ему найти надежного профессионального вора. Имя молодого человека было Атта, и местные жулики быстренько спровадили его, радостно ликуя при этом, в еще более темный и безлюдный лабиринт улочек, где вскоре он оказался во дворе, залитом кровью множества зарезанных кур, а перед собой увидел двух грабителей; те, естественно, отняли у него увесистую пачку денег, которую сей безумец прихватил с собой, отправляясь на экскурсию в эту часть города, да еще и избили его до полусмерти.

Спустилась ночь. Неведомые руки перенесли юношу на берег озера, откуда некий лодочник переправил его на другой берег и оставил, израненного и в крови, на безлюдном причале в конце канала, ведущего в сады Шалимар. На рассвете продавец цветов, отталкиваясь веслом, медленно проплывал по этим водам, которые ночная прохлада укрыла облачной дымкой и придала им плотность дикого меда, и заметил неподвижное тело юного Атты, как раз начинавшего приходить в себя и постанывать и на чьей, теперь мертвенно-бледной, коже все еще можно было, хотя и с трудом, различить налет благополучия и богатства, затуманенный, правда, легким инеем.

Торговец причалил и, склонившись к самым устам несчастного раненого юноши, сумел выяснить его адрес, который тот еле слышно пробормотал неподвижными губами; и цветочник, надеясь на щедрое вознаграждение, погрузил раненого в лодку и отвез его на веслах домой, в большой особняк на берегу озера, откуда выбежали какая-то красивая, но совершенно необъяснимым образом исцарапанная и избитая молодая девушка и ее страшно огорченная, но тоже очень красивая мать — причем по глазам их было видно, что ни та, ни другая глаз всю ночь не сомкнули от беспокойства, — и обе горестно запричитали при виде своего дорогого Атты, который, как выяснилось, приходился красивой молодой девушке старшим братом. А он лежал без движения и казался покойником, окруженный букетами зимних цветов, разложенных предприимчивым торговцем точно на похоронах.

Торговцу и впрямь заплатили щедро, имея в виду и то, что впредь он станет хранить молчание и не будет совать свой нос в чужие дела. Что же касается Атты, то он жестоко страдал как из-за простуды, так и из-за глубокого черепного ранения, и в результате впал в коматозное состояние, которое заставляло лучших врачей города лишь беспомощно разводить руками. Но что еще интереснее, бук-

© Salman Rushdie 1994

вально на следующий же вечер в самой нищей и пользующейся самой дурной репутацией части города снова появилась неожиданная гостья. То была Хума, сестра несчастного юноши, и она у всех спрашивала то же самое, что и брат, и тем же тихим, замогильным голосом: «Где мне нанять хорошего вора?»

История о каком-то богатом идиоте, явившемся сюда, в царство вонючих сточных канав, ночью в поисках грабителя, была уже у всех на устах, однако на этот раз молодая женщина повела себя иначе и к своему вопросу о профессиональном грабителе прибавила:

— Должна предупредить сразу: денег у меня при себе нет и никаких украшений тоже. Отец мой от меня отрекся и не станет платить выкуп, если меня похитят; могу также сообщить, что на всякий случай оставила письмо заместителю комиссара полиции, моему родному дяде, которое он вскроет, если к утру я не вернусь домой невредимой. В этом письме он найдет подробное описание пути сюда и, уверяю вас, перевернет небо и землю, чтобы наказать моих обидчиков.

Ее исключительная красота, которую не могли затмить даже огромные безобразные синяки и ссадины, покрывавшие ее лицо и руки, и удивительная цель ее поисков собрали вокруг довольно большую толпу любопытствующих, которым ее маленькая, но достойная речь показалась более чем разумной, и ни один не предпринял ни малейшей попытки как-либо повредить ей, хотя кое-какие гнусные намеки и шуточки все-таки прозвучали, ибо, согласитесь, забавно пытаться нанять для своих надобностей вора и одновременно выставить защиту в виде высокопоставленного дядюшки-полицейского.

Девушку проводили по совершенно темному и безлюдному лабиринту улочек до какой-то дыры, где было черно, как в чернильнице, и там какая-то старуха с невероятно пронзительным взглядом — так что Хума мгновенно догадалась, что старуха слепа, — подтолкнула ее к двери, из которой тьма, казалось, сочится, как дым. Стиснув кулаки и сердито приказав своему сердечку вести себя прилично, Хума последовала за старухой в окутанный мраком дом.

Наконец тонюсенький лучик света задрожал во тьме, и, следуя за этой ненадежной желтой нитью (ибо самой старухи она во тьме не видела совершенно), Хума вдруг почувствовала резкий удар по обеим голеням, невольно вскрикнула от боли и тут же прикусила губу, сердясь на себя за то, что обнаружила свой все возрастающий страх перед тем человеком или чудовищем, что поджидал ее там, во мраке.

На самом деле она всего лишь налетела на низенький столик, на котором горела одна-единственная свеча. За столом на полу сидел по-турецки какой-то гигант, едва различимый во мраке.

— Садись, садись, — пригласил Хуму этот человек спокойным глубоким басом, и ноги ее, которым, собственно, и приглашений особых не требовалось, сами подогнулись под нею. Стиснув пальцы левой руки в правой ладони, она заставила себя говорить ровным, тихим голосом:

— Так, значит, именно вы, господин, и есть тот вор, которого я ищу?

Чуть-чуть переместив свой вес с одного бока на другой, этот человек-гора сообщил Хуме, что контролирует всю воровскую деятельность в данном районе и все просьбы насчет, если можно так выразиться, работы «фри-ланс» тоже неизбежно проходят через него.

Он потребовал подробно описать ему предполагаемое преступление, включая точный перечень предметов, которые требовалось добыть, а также — дать определенные гарантии оплаты (плюс, разумеется, всевозможные чаевые «помощникам») и попросил, исключительно для собственной картотеки, вкратце изложить те мотивы, которые вынудили Хуму обратиться к нему с подобным заказом.

При этих словах Хума, словно вспомнив вдруг что-то, вся напряглась и с самым решительным видом громко ответила, что мотивы данной просьбы касаются только ее лично; что она никаких деталей ни с кем, кроме самого исполнителя, обсуждать не намерена и что вознаграждение, которое она предполагает уплатить, можно определить лишь словами «очень щедрое».

— Единственное, о чем я хочу предупредить вас, господин, поскольку вы представляетесь мне кем-то вроде посредника: за столь щедрое вознаграждение я должна получить самого отчаянного и храброго преступника, какой только имеется в вашем распоряжении. Это должен быть человек, который не ведает, что такое страх, даже страх перед Богом.

Итак, я предупредила вас — мне нужен самый отъявленный негодяй, на меньшее я не согласна!

После этих слов была зажжена лампа-молния, и Хума увидела, что лицом к ней сидит седовласый великан, левую щеку которого украшает самый отвратительный шрам на свете в форме буквы «син» в графике «насталик»[1]. Она была охвачена непреодолимым, чуть ностальгическим ощущением, что перед ней вдруг возник злой демон, ворующий непослушных детей, которым в детстве пугала их с Аттой нянька: «Если не будете вести себя как следует, я за вами такого демона пришлю — он вас мигом украдет, этот Шейх Син, Король воров!»

И вот, совершенно седой, однако несомненно отмеченный знаменитым шрамом, перед ней сидел тот самый преступник, и — неужели она совсем сошла с ума или уши сыграли с ней злую шутку? — он только что объявил, что при тех условиях, которые она выдвигает, лишь он один, собственной персоной способен справиться с такой задачей!

Изо всех сил борясь с разбуженными страхами детства, Хума сразу предупредила ужасного добровольца, что лишь обстоятельства исключительной важности и опасности вынудили ее явиться без сопровождения в этот страшный квартал.

— Поскольку мы не можем позволить себе ни малейших колебаний в последнюю минуту, — продолжала она, — я решила рассказать вам все, ничего не утаивая. Если и после этого вы будете готовы помочь нам, то мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы должным образом вознаградить вас и сделать богатым.

Старый вор пожал плечами, сплюнул и согласно кивнул. Хума начала свой рассказ.

Шесть дней назад все в доме ее отца, богатого ростовщика Хашима, было так, как и всегда. За завтраком мать любовно наполняла тарелку отца, разговор за столом отличала та неподдельная вежливость и забота друг о друге, которыми их семья очень гордилась.

Хашим любил подчеркнуть, что, даже будучи не столь благочестивым человеком, он все же сумел скопить солидный капиталец, «живя благопристойной и честной жизнью». В их роскошном доме на берегу озера все посетители без исключения принимались одинаково вежливо и учтиво, даже те неудачники, что приходили просить взаймы небольшие суммы из гигантского теперь капитала Хашима; с них он, естественно, запрашивал более семидесяти процентов — отчасти потому, как объяснял он своей супруге, заботливо подкладывающей ему вкусную еду, что «хотел научить этих людей по-настоящему ценить деньги». «Пусть только научатся, — говорил он, — и сразу же избавятся от дурной привычки без конца брать в долг. А когда они перестанут брать в долг, то и задачи мои будут выполнены, а стало быть, и нужда во мне отпадет, верно?»

Своим детям ростовщик и его жена привили здравое восприятие таких добродетелей, как экономность, честность и здоровая независимость духа. По этому поводу Хашим тоже весьма любил похвастаться и поздравить себя.

Итак, завтрак был окончен; члены семьи пожелали друг другу успешного дня. Однако через несколько часов хрустальное согласие, царившее в доме и в их жизни, похожей на жизнь хрупких фарфоровых статуэток, было разнесено вдребезги без какой бы то ни было надежды на восстановление.

Ростовщик, отправляясь по делам, кликнул своего персонального лодочника и уже готов был ступить в лодку, когда, привлеченный загадочным серебряным блеском, заметил у борта лодки небольшой флакон темного стекла в сереб-

[1] Один из видов персидской графики. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

ряной оплетке. Поддавшись внезапному порыву, он наклонился и выудил сосуд из мутной воды.

Флакон был цилиндрической формы, в изысканном футляре из черненого серебра, а внутри Хашим разглядел серебряную подвеску, в которую был заключен один-единственный человеческий волосок.

Зажав удивительный флакон в кулаке, Хашим буркнул лодочнику, что у него внезапно переменились планы, и поспешил в свой кабинет, где за закрытыми дверями жадно впился глазами в находку.

Сомнений быть не могло: Хашим с первого взгляда понял, что стал обладателем знаменитой реликвии — драгоценного волоска Пророка Мухаммеда, кража которого из гробницы в мечети Хазратбал прошлым утром вызвала невероятный шум и суету в городе и во всей долине.

Воры — без сомнения, встревоженные столпотворением на улицах, завывающей толпой верующих, проливавших крокодиловы слезы, а заодно под этим соусом устраивавших погромы и деливших политические партии, а также массированными полицейскими облавами, организованными теми, чьи карьеры теперь целиком и полностью зависели от того, найдут ли они украденный волосок, — явно ударились в панику и решили выбросить священный сосуд в желатиновые воды озера.

Случайно обнаружив его благодаря невероятной удаче, Хашим отлично знал, что ему надлежит сделать: волосок должен вернуться в свое святилище, и тогда спокойствие и мир будут восстановлены.

Однако намерения у ростовщика оказались совсем иными.

Все в его кабинете свидетельствовало о том, что он одержим манией собирательства: гигантские стеклянные ящики, полные насаженных на булавки бабочек из Гульмарга; три дюжины уменьшенных копий легендарной пушки «Замзама», сделанных из различных металлов; бессчетное количество шпаг, мечей и даже копье из Нагаленда; девяносто четыре терракотовых верблюда (какие продаются на железнодорожных станциях), множество самоваров и целый зоопарк крошечных фигурок животных из сандалового дерева, которыми вообще-то играют малыши во время купанья.

«В конце концов, — сказал себе Хашим, — и сам Пророк безусловно был бы против чрезмерного поклонения этой реликвии. Он ведь отвергал даже идею собственного обожествления! Так что если я буду держать волосок Мухаммеда подальше от этих обезумевших фанатиков, то, конечно же, сослужу Пророку куда лучшую службу, чем если верну волосок в мечеть! Естественно, его религиозная ценность для меня не главное... Я человек светский и вполне современный. А потому воспринимаю этот сосуд исключительно как предмет светского искусства, как подлинный шедевр. Короче говоря, мне, пожалуй, больше хотелось бы иметь этот серебряный футлярчик, а не сам волосок.

Говорят, некоторые американские миллионеры скупают краденые шедевры и навсегда прячут их в надежном месте — вот они-то меня бы поняли. Нет, этот сосуд должен, должен быть моим!»

Однако каждому коллекционеру непременно хочется похвалиться своими сокровищами хотя бы перед одним человеческим существом, и Хашим призвал своего единственного сына Атту и рассказал ему все. Юноша был глубоко встревожен, но поклялся хранить тайну. Однако, когда дело приняло слишком серьезный оборот, сразу же проболтался.

Итак, Атта, извинившись, оставил отца в кабинете, среди его бесконечных коллекций; Хашим сидел очень прямо на своем жестком стуле с высокой спинкой и неотрывно смотрел на прекрасный сосуд.

Всем в доме было известно, что ростовщик никогда не выходит к ленчу, так что лишь вечером один из слуг пошел сообщить хозяину, что обед подан, и обнаружил Хашима в той же позе, в какой его оставил Атта. Поза была та же, однако сам Хашим выглядел иначе: он распух, раздулся, глаза его, и без того навыкате, теперь буквально вылезали из орбит, веки покраснели, а костяшки пальцев были совершенно белыми.

Казалось, он вот-вот взорвется! Как если бы под влиянием неправедным путем обретенной реликвии он до краев наполнился некоей призрачной жидкостью, готовой неудержимо хлынуть наружу из любого отверстия в его теле.

Слуге пришлось помочь ему добраться до обеденного стола, а затем действительно произошел взрыв.

Совершенно, по всей очевидности, не заботясь о том, какое воздействие оказывают его гневные слова на тщательно охраняемое хрупкое равновесие их семейной жизни, Хашим с пеной у рта извергал целые потоки кошмарных откровений. Онемев от ужаса, дети его слушали, как отец злобно обвиняет свою жену в том, что в течение долгих лет их брак был самым большим несчастьем в его жизни.

— Все, теперь конец этой приторной вежливости! — гремел он. — Конец ханжеству!

Затем, столь же свирепо и громогласно, он поведал жене и детям, что у него давно есть любовница, а также сообщил о своих регулярных визитах к продажным женщинам. Он злорадно объявил жене, что в списке его наследников она далеко не первая и получит не более восьмой части всего состояния, которая, собственно, и так принадлежит ей согласно законам ислама. Потом набросился на детей, стал орать на Атту, обвиняя его в лености и тупоумии:

— Дурак! Остолоп! Я проклят — у меня сын дубина!

После этого Хашим переключился на дочь, клеймя ее преступную похотливость, поскольку Хума ходила по городу с открытым лицом, что, по его мнению, было совершенно недопустимо для добропорядочной мусульманской девушки. Отныне, приказал он, Хума должна всегда носить строгую чадру.

Он покинул столовую, так и не съев ни крошки, и тут же заснул глубоким сном праведника, только что освободившегося от тяжкого бремени, не дававшего ему дышать, оставив своих детей и жену ошеломленными, в слезах; обед остывал на столе перед носом у ошалевшего слуги.

Утром ростовщик заставил всю семью встать в пять часов, совершить омовение и молиться. С этого дня он молился по пять раз в день (впервые со времени своего появления на свет), а жена и дети обязаны были следовать его примеру.

Еще до завтрака Хума заметила в саду слуг, которые под руководством ее отца сваливали в гигантскую груду книги и поджигали их. Единственной нетронутой книгой в доме остался Коран, который ростовщик завернул в шелковую ткань и положил на стол в гостиной. Он приказал своим домочадцам читать суры Корана по крайней мере два часа ежедневно. Всякие походы в кино были запрещены. И если Атта пригласит в дом своих приятелей, то Хуме надлежит незамедлительно удалиться к себе.

С этого дня в семье воцарились страх и уныние; однако будущее оказалось куда страшнее.

После обеда очередной дрожащий должник явился к ним в дом, чтобы признаться в неспособности выплатить последнюю часть своего долга с процентами, и совершил ошибку: напомнил Хашиму, причем в несколько заносчивой манере, что Коран ростовщичество осуждает. Хашим пришел в ярость и набросился на посетителя, вооружившись плетью из бычьей кожи, которых у него была целая коллекция.

К несчастью, в тот же день, но чуть позже, второй неудачник тоже пришел просить об отсрочке, однако не успел он войти в дом, как вылетел оттуда, зажимая глубокую рану на руке, ибо Хашим не только назвал его вором и негодяем, но и попытался отсечь ему правую кисть одним из своих тридцати восьми кукри[1], висевших на стене в кабинете.

Все эти чудовищные нарушения неписаных законов семейной благопристойности весьма встревожили Атту и Хуму, а когда в тот же вечер мать попыталась как-то успокоить Хашима, он с размаху ударил ее по лицу. Атта бросился защищать мать и тоже получил хорошую затрещину.

[1] Кукри — тяжелый непальский боевой нож.

— С сегодняшнего дня, — проревел Хашим, — я установлю в доме хоть какую-то дисциплину!

Его жена устроила настоящее представление и впала в истерику, которая продолжалась в течение всей ночи и всего следующего дня, чем довела Хашима до такой степени бешенства, что он пригрозил разводом, а жена заперлась в своей комнате и вволю предалась бесконечным всхлипываниям и немелодичным сморканиям. Хума, утратив все свое хладнокровие, открыто бросила вызов отцу и объявила (с той самой «независимостью духа», которую он всегда поощрял в ней), что не будет ничем закрывать лицо, не говоря уж о ношении строгой чадры, ибо это вредно для зрения.

Услышав такие речи, отец тут же отрекся от дочери и дал ей одну неделю, чтобы собрать свои вещички и убраться вон.

К четвертому дню атмосфера ужаса в семье настолько сгустилась, что рядом с домом стало тяжело находиться. И Атта сказал своей онемевшей от потрясения сестре:

— Если так будет продолжаться, мы скоро окажемся в сточной канаве. Но я знаю, что нужно делать!

В тот день, когда Хашим ушел из дома в сопровождении двух нанятых им головорезов, чтобы вытрясти невыплаченные долги у двух своих несостоятельных клиентов, Атта немедленно отправился в кабинет отца. Будучи его единственным сыном и наследником, он имел свой собственный ключ от сейфа и теперь им воспользовался. Открыв отцовский сейф, он достал маленький священный сосуд и сунул его в карман брюк, а потом снова аккуратно запер дверцу сейфа.

Затем он показал Хуме ту таинственную вещь, которую их отец выудил из озера Дал, и воскликнул:

— Может быть, я сошел с ума, может быть, те страшные вещи, что творятся здесь, лишили меня разума, но я убежден: не будет в нашем доме мира и покоя, пока этот волосок остается здесь.

Сестра сразу же с ним согласилась, и они решили, что волосок Пророка необходимо вернуть мечети Хазратбал. Атта нанял лодку, однако, высадившись в толпу обезумевших мусульман, вившуюся, точно смерч, вокруг осквернённой святыни, обнаружил, что реликвия из кармана исчезла. Там была только дыра, которую его матушка, всегда такая внимательная ко всем членам семьи, должно быть, проглядела из-за недавних событий.

Сначала Атта очень огорчился, но это чувство быстро сменилось глубоким облегчением.

«Предположим, — думал он, — я бы сообщил муллам, что этот волосок находится у меня! Да они бы ни за что не поверили мне, — особенно теперь! — и эта толпа просто разорвала бы меня на куски! Ладно, волоска больше нет, ну и, как говорится, гора с плеч». И ужасно довольный — впервые за много дней, — юноша вернулся домой.

Однако в гостиной он встретил Хуму — всю в синяках и заплаканную; наверху же, в своей спальне мать его рыдала так, словно только что схоронила любимого супруга. Атта попросил сестру поскорее рассказать ему, что случилось, и узнал, что отец, вернувшись после выколачивания денег из клиентов, вдруг снова заметил серебристый блеск между бортом своей лодки и причалом и снова выудил из воды не желающую оставить их дом в покое реликвию, а потом, естественно, последовал такой приступ бешенства, который превосходил все предыдущие, и отец так избил ее, что вынудил-таки сказать правду... И тут Атта закрыл лицо ладонями, разрыдался и с трудом проговорил, что волосок этот, как ему кажется, преследует их семью неспроста и теперь вернулся, чтобы завершить начатое.

Пришла очередь Хумы искать выход из сложившегося положения.

И вот она крепко обняла брата руками, до плеч разукрашенными синяками и кровоподтеками, и, нежно прижавшись к его щеке лицом, покрытым ужасными ссадинами, прошептала, что намерена избавиться от волоска *любой ценой*.

Она повторила эти слова несколько раз.

— Этот волосок, — заявила она затем, — был из мечети украден; а значит, он может быть украден и из нашего дома. Но кража должна быть настоящей, и совершить ее должен профессиональный и добросовестный вор, а не кто-то из нас, ибо все мы находимся под воздействием чар этой реликвии, и вор этот должен быть таким отчаянным, чтобы не побоялся ни поимки, ни проклятий Аллаха.

К несчастью, добавила она, такую кражу теперь осуществить в десять раз труднее, потому что отец помнит о первом покушении на драгоценный волосок и, без сомнения, будет на страже.

— Можете ли вы это сделать? — спросила Хума грабителя, изложив свою историю в жалкой полутемной комнате, освещенной лишь свечой и едва горевшей лампой-молнией, а потом вдруг всполошилась:— А вы уверены, что в последний момент не испугаетесь?

Преступник, непрерывно сплевывая на пол, заявил, что вообще-то не привык представлять рекомендации, как какой-нибудь повар или садовник, однако готов ее заверить, что его запугать не так-то просто и, уж во всяком случае, игрушечный джинн в бутылке или проклятия мусульман ему не страшны. Хуме пришлось удовольствоваться этим хвастливым заявлением и перейти к описанию деталей предстоящей кражи.

— С тех пор как мой брат так неудачно попытался вернуть волосок в мечеть, отец стал на ночь класть свое бесценное сокровище под подушку. Однако он спит один и очень крепко; нужно только войти в комнату тихо и не разбудить его, а потом он, конечно же, не раз повернется с боку на бок, так что вытащить реликвию из-под подушки будет нетрудно. Когда священный сосуд окажется у вас в руках, сразу приходите в мою комнату, — Хума вручила Шейху план своего дома, — и там получите все драгоценности, какими владеем мы с матерью. Сами увидите... ради этого стоит постараться... этого хватит, чтобы устроить судьбу любого...

Было совершенно очевидно, что девушка уже не в силах владеть собой, что она на грани срыва.

— Сегодня ночью! — договорила она наконец. — Вы должны все сделать сегодня ночью!

Не успела она выйти из комнаты, как старый вор согнулся в приступе сильнейшего кашля, а потом сплюнул кровь в старую жестянку из-под топленого масла: великий Шейх Син, Король воров, давно уже был тяжело болен, и с каждым днем близилось то время, когда какой-нибудь молодой конкурент запросто воткнет ему в кишки кинжал, чтобы занять его место. Всю жизнь он питал слабость к азартным играм, из-за них и остался таким же нищим, как несколько десятилетий назад, когда был еще жалким учеником вора-карманника. В необычном предложении, полученном от дочери богатого ростовщика, он сразу разглядел возможность заработать столько, чтобы навсегда покинуть долину и достойным образом готовиться к смерти, которая наконец-то избавит его истерзанное тело и душу от страданий.

Что же касается волоска Пророка, то ни Шейх Син, ни его слепая жена ничего хорошего в адрес пророков сказать не могли — уже одно только это сближало их с несчастной семьей ростовщика.

Однако он решил не открывать сущности этого последнего преступления своим четырем сыновьям. К его огорчению, все они выросли безнадежно преданными Аллаху и даже поговаривали о совершении священного хаджа в Мекку.

— Не смешите меня! — говорил тогда им отец. — Интересно, как это вы собираетесь идти туда? — Надо сказать, что, испытывая к своим детям самую искреннюю родительскую любовь, он давно уже позаботился, чтобы они на всю жизнь были обеспечены достаточно стабильными и высокими доходами: чудовищно изуродовал их сразу же после рождения; и теперь, волоча свои жалкие тела по городу, они отлично зарабатывали попрошайничеством.

Итак, дети могут сами о себе позаботиться.

Он же вместе с женой вскоре уедет отсюда благодаря драгоценностям жены

и дочери ростовщика. Да, то был поистине миг удачи, когда красивая и истерзанная собственным отцом девушка забрела в его логово!

В ту ночь огромный темный дом на берегу озера лежал без сна и ждал, погруженный в напряженную тишину. Ночь была прямо-таки создана для разбоя: на небе ни звездочки, а зимнее озеро окутано дымкой тумана. Хашим-ростовщик крепко спал — он был единственным, к кому в эту ночь пришел сон. В соседней комнате его сын Атта метался в тесных объятиях комы, на мозг его тяжко давила образовавшаяся в результате побоев гематома. Мать юноши сидела с ним рядом, не смыкая глаз и распустив в знак великого горя свои длинные седеющие волосы. Она непрерывно меняла теплые компрессы у сына на голове, однако была бессильна помочь ему. В третьей комнате ждала Хума; она была полностью одета и окружена множеством тяжелых шкатулок, наполненных драгоценностями, которые они с матерью в минуту отчаяния собрали все до последней.

Наконец в саду у нее под окном тихо запел соловей, и, прокравшись вниз, она осторожно отворила дверь сладкоголосой «птичке», на чьем лице отчетливо был виден шрам, напоминавший персидскую букву «син».

«Птичка» совершенно бесшумно взлетела по лестнице следом за Хумой. На площадке они расстались и двинулись по коридору в разные стороны, из конспирации даже не взглянув друг на друга.

С профессиональной легкостью проникнув в спальню ростовщика, вор обнаружил, что Хума описала все на редкость точно. Хашим, разметавшись, лежал почти поперек кровати, голова его съехала с подушки, так что драгоценную добычу получить оказалось чрезвычайно легко. Крохотными неслышными шажками Син приближался к заветной цели.

Именно в этот миг в соседней спальне юный Атта вдруг сел в постели, выпрямился, сильно испугав этим свою мать, и ни с того ни с сего заорал — видимо, под воздействием образовавшейся у него в мозгу гематомы:

— Вор! Вор! Вор!

Возможно, его бедный угасающий разум жил в последние мгновения только мыслями об отце; однако нельзя быть в этом совершенно уверенным, ибо, прокричав три раза слово «вор», молодой человек снова упал на подушку и тут же умер.

Мать его испустила пронзительный вопль, принялась плакать и причитать — словом, завершила «работу», начатую внезапными криками Атты: окончательно разбудила Хашима.

Шейх Син как раз решал, то ли ему нырнуть под кровать, то ли раз и навсегда покончить с ростовщиком, размозжив ему голову, когда Хашим вдруг схватил тростевую шпагу «гупти», обтянутую тигровой шкурой — эта шпага всегда стояла в уголке возле его постели, — и бросился вон из комнаты, даже не заметив вора, так и оставшегося стоять в полумраке по другую сторону кровати. Шейх Син, воспользовавшись моментом, быстро наклонился и вытащил из-под подушки священный сосуд с волоском Пророка.

Между тем Хашим выскочил в коридор с обнаженной шпагой в правой руке, как безумный размахивая ею. Левой рукой он сжимал ножны, потрясая ими в воздухе. Какая-то тень метнулась ему навстречу в полуночной тьме коридора, и еще не совсем проснувшийся, с затуманенным гневом взором ростовщик пронзил несчастную жертву шпагой, попав ей прямо в сердце. Когда же он зажег свет, то к ужасу своему обнаружил, что убил собственную дочь. Совершенно ошеломленный обрушившимся на него горем, он не выдержал мук раскаяния, повернул шпагу острием к себе, бросился на нее и покончил счеты с жизнью. Итак, из всей семьи осталась в живых лишь жена ростовщика, однако разом обрушившиеся на нее смерти настолько повредили рассудок несчастной женщины, что брату ее, заместителю комиссара полиции, пришлось препроводить бедняжку в лечебницу для душевнобольных.

Шейх Син быстро сообразил, что весь план рухнул.

Расставшись с заветной мечтой о шкатулках с драгоценностями, когда цель была уже так близка, он выбрался наружу через окно спальни Хашима и удрал, пока в доме разыгрывались только что описанные ужасные события. Добравшись домой еще до рассвета, старый вор разбудил жену и признался ей в своей неудаче. Теперь, шепнул он, ему нужно на некоторое время «лечь на дно». Слепые глаза женщины даже не открылись ни разу, пока он не ушел.

Шум в доме Хашима разбудил слуг и даже ночного сторожа, всегда крепко спавшего на своей лежанке-чарпаи у ворот. Слуги вызвали полицию, был оповещен и сам заместитель комиссара. Узнав о смерти Хумы, он с торжественным и печальным лицом вскрыл и прочел то запечатанное сургучом письмо, которое племянница несколько дней назад вручила ему. Тут же во главе довольно крупного отряда хорошо вооруженных полицейских дядя Хумы отправился в самый темный, нищий и пользующийся дурной славой район города.

Язычок одного из жалких воришек-предателей поведал ему о сообщнике Хумы; пальчик еще одного двуличного грабителя как бы невзначай показал на тот дом, где скрывался Шейх Син; и хотя старому вору удалось через узкий лаз выбраться на чердак и он даже попытался уйти по крышам, пуля,собственноручно выпущенная заместителем комиссара полиции, вошла ему в брюхо, и он бесформенной кучей рухнул на землю, к ногам разъяренного дядюшки Хумы.

Из кармана мертвого Шейха Сина выкатился сосуд темного стекла, заключенный в изысканной работы серебряную оплетку.

О том, что волосок Пророка найден, было тут же объявлено по Всеиндийскому радио. Месяцем позже самые святые из святых собрались в мечети Хазратбал и официально признали аутентичность реликвии. И по сей день она хранится в строго охраняемом склепе на берегу одного из прелестнейших озер мира, в самом центре прекрасной долины, которая некогда была почти Раем.

Но прежде чем поставить в нашей истории точку, необходимо сообщить, что когда четверо сыновей покойного Шейха проснулись наутро после его смерти, невольно проведя несколько минут под одной крышей со знаменитым волоском, то обнаружили, что случилось чудо: их конечности совершенно выздоровели и стали быстры как ветер; то есть теперь они стали такими, какими могли бы быть, если бы заботливый отец не размозжил им кости в первые же часы их жизни на земле. Все четверо, разумеется, пришли в ярость, ибо свершившееся чудо по самым скромным подсчетам должно было уменьшить их доходы процентов на семьдесят пять и они, можно сказать, были разорены.

И только у вдовы Шейха были какие-то основания для благодарности, хотя муж ее и умер: благодаря волшебному волоску она вновь обрела зрение и теперь могла провести последние годы жизни, любуясь удивительной красотой долины Кашмира.

Ухажер

1

Конечно-Мэри была самой маленькой женщиной, какую Миксер, наш швейцар, когда-либо встречал в своей жизни, исключая, разумеется, карлиц. Эта миниатюрная шестидесятилетняя индийская дама закручивала свои густые с проседью волосы в аккуратный узел на затылке и, приподнимая спереди свое белое с красной каймой сари, преодолевала лестницу в парадном так, словно это были Альпы.

— Нет,— сказал Миксер громко, наморщив лоб и думая: как правильнее сказать про горные вершины. А, да, вот как! — Гаты,— сообщил он с гордостью. Это было слово из его школьного атласа, из далекого детства, когда Индия ка-

залась столь же недосягаемой, как Рай. (Теперь Рай кажется еще более недосягаемым, зато Индия и Ад значительно приблизились.) — Западные Гаты, Восточные Гаты и еще Кенсингтонские Гаты,— хихикая перечислял он. — Высоты. Горы то есть.

Мэри остановилась прямо перед ним в обшитом дубовыми панелями вестибюле.

— Но гатами в Индии называют еще и всякие лестницы, ступени, — сказала она. — Да, да, конечно! Вот, например, в священном городе индусов Варанаси есть лестница, где сидят брамины и собирают денежки у всяких филигримов (Мэри имела в виду пилигримов). Она называется Дасашвамедх-гат. Такая широкая-широкая лестница, и ведет к великому Гангу. О, ну конечно же! Еще и Маникарника-гат! Там покупают священный огонь в домике с тигром на крыше — да, конечно, ненастоящий тигр, только статуя, раскрашенная, как в кино, «Техниколором», а ты что подумал? — и приносят этот огонь в коробочках, чтобы поджечь погребальные костры для своих незабвенных. Погребальные костры всегда из сандалового дерева. Нет, фотографировать не разрешается, нет, конечно же нет!

Он стал про себя называть ее Конечно-Мэри, потому что она никогда не говорила просто «да» или «нет»; всегда только «о-да-конечно» или «о-нет-конечно». В той мешанине обстоятельств, которые с давних пор командовали его жизнью, пока и его разум — единственная надежная вещь, которой он обладал, — не предал его, он вряд ли мог быть в чем-то уверен; так что его просто ошеломила ее уверенность, сперва вызвавшая в нем ностальгию, потом зависть, а затем дружеское расположение. А о таких вещах, как дружеское расположение, он позабыл настолько давно, что когда в душе у него вдруг что-то шевельнулось и потеплело, он довольно долго приписывал это китайскому лакомству — яблокам в тесте, которые он купил у лоточника на Хай-стрит.

Английский язык давался Конечно-Мэри нелегко, и отчасти именно это привлекало к ней старого несчастного Миксера. Особенно труден был для Мэри звук «п», часто превращавшийся то в «ф», то в «к». Когда она следовала через вестибюль с плетеной хозяйственной корзинкой на колесиках, направляясь по магазинам, то всегда сообщала: «Иду в шок!», а потом, вернувшись с покупками, когда он предлагал ей свою помощь в преодолении «гат» в подъезде, ласково кивала: «Йес, флиз»[1]. А когда лифт уже уносил ее на четвертый этаж, она продолжала выкрикивать сквозь решетку: «Ох, кортье! Спасибо тебе, кортье! Да, конечно, я так тебе благодарна, кортье!», имея в виду, разумеется, «портье». (Однако когда наша Мэри говорила на хинди или на конкани, то в этих языках «п» всегда свое место отлично знало.)

Итак, благодаря ее неожиданным чарам, странно согревающим его душу, он вдруг перестал быть обыкновенным швейцаром, портье и превратился чуть ли не в придворного, «кортье»[2], которого мы быстро переделали в «ухажера»[3]. «Кортье», — повторял он своему отражению в зеркале, когда она исчезала в лифте. От его дыхания на стекле возникало туманное облачко — быстро исчезающий образ нового прозвища. Ладно, ухажер так ухажер. Как только люди его не называли! Он никогда не возражал. Однако нынешнее прозвище ему почему-то очень хотелось примерить к себе в действительности.

2

Вот уже много лет я собирался написать рассказ о Конечно-Мэри, о нашей няне, о женщине, которая сделала для меня и моих сестер не меньше, чем родная мать, и еще — описать ее великий «роман» с «ухажером» из Лондона, города, где в начале 60-х мы некоторое время жили в доме под названием Уэверли-хаус; но то одно, то другое, и мне никак не удавалось взяться за этот рассказ.

---

[1] Искаж. please — пожалуйста; fleas — блохи (*англ.*).

[2] Courtier — придворный (*англ.*).

[3] To court — ухаживать (*англ.*).

А потом, после долгого молчания, я вдруг получил от Конечно-Мэри письмо. Она писала, что ей уже девяносто один, она перенесла тяжелую операцию и не буду ли я так добр и не смогу ли прислать ей немного денег: к ее великому огорчению, племянница, у которой она теперь жила в Бомбее, в районе Курла, осталась совсем без средств.

Деньги я послал и вскоре получил весьма милое письмецо от ее племянницы Стеллы, написанное тем же почерком, что и письмо от самой нашей «айи» — как мы всегда раньше звали Мэри, играя с этим словом-перевертышем (ауа) и опуская конечное «h». Айя была очень тронута, писала ее племянница, но больше всего тем, что я ее не забыл, хотя прошло столько лет. «Я без конца слушала разные истории о вас всю мою жизнь, — говорилось далее в письме, — и вы в какой-то степени стали и моей семьей тоже. Может быть, вы помните мою мать, сестру Мэри? Она, к сожалению, уже умерла, так что теперь вместо нее я пишу за Мэри ее письма. Мы все желаем вам самого лучшего».

Это письмо от знакомой незнакомки я получил во время своей вынужденной ссылки[1], вдали от горячо любимой родины, и оно очень меня тронуло, разворошив в моей душе то, что, казалось, было давно и навсегда похоронено в ее глубинах. К тому же мне сразу стало стыдно, что за все эти годы я так мало сделал для Мэри и так редко вспоминал о ней. В общем, так или иначе, а именно тогда мне показалось совершенно необходимым записать наконец историю, которую я так долго носил в себе, — историю нашей айи и того доброго, нежного человека, которого она столь удачно и романтично — хотя и совершенно непреднамеренно — переименовала в своего «придворного», в «ухажера». Теперь-то я понимаю, что история эта не только о них, но и обо всех нас, в частности обо мне.

3

Его настоящая фамилия была Месир; вообще-то лучше было произносить ее как Миширш, ибо в ней слышались чуть заметные отголоски какого-то языка «оттуда», из-за «железного занавеса», которые, собственно, и не должны быть заметны, как заявила моя сестра Дурре, чтобы тебя не выследили или, чего доброго, не прикончили. Имя его тоже начиналось на букву «М», но было до такой степени нашпиговано тем, что мы назвали «коммунистическими согласными», всеми этими «з», «с» и «в», произносимыми подряд, без перемежающих их гласных, что совершенно невозможно было перевести дыхание. В общем, я даже и не пытался запомнить это имя.

Сперва мы решили дать ему прозвище из комикса, где фигурировал второстепенный персонаж с довольно-таки вредным характером, некто мистер Мзизтплк из пятого измерения, внешне немного похожий на Элмера Фадда[2], который вечно строил всякие козни и превращал жизнь Супермена в ад; но старик Супермен сумел ловко провести негодяя и заставил его произнести собственное имя задом наперед — Клптзизм, — после чего злодей навсегда исчез в своем пятом измерении; но поскольку мы не были уверены, что способны правильно выговорить имя Мзизтплк (не говоря уж о Клптзизме), эта идея была отброшена.

— Мы будем просто звать тебя Миксером, — нагло сообщил я ему в конце концов, чтобы облегчить себе жизнь. — Ты будешь мистер Миксер Миширш.

Мне было тогда пятнадцать, меня прямо-таки распирало от неудовлетворенного желания, а потому я мог позволить себе любое хамство — мог, например, самым нахальным образом говорить подобные вещи в лицо кому угодно, даже куда менее услужливым и любезным людям, чем мистер Месир, перенесший тяжелый инсульт.

Особенно живо я помню его розовые резиновые перчатки, которые он, по-моему, вообще никогда не снимал. По крайней мере до тех пор, пока не стал заходить за Конечно-Мэри... Так или иначе, когда я сообщил ему свое оскорбительное решение насчет нового прозвища — мои сестры Дурре и Муниза в это

[1] С. Рушди вынужден скрываться после опубликования своей книги «Сатанинские стихи».
[2] Отрицательный персонаж из мультфильмов о Супермене.

время хихикали в лифте, — Месир только добродушно ухмыльнулся в ответ и сказал:

— Ладно, можете звать меня как хотите, — и вернулся к своему обычному занятию — бесконечной полировке бронзовых решеток и ручек. Просто неинтересно было дразнить человека, который так реагирует на твои шутки, так что я тоже влез в кабину лифта, и, поднимаясь на свой четвертый этаж, мы во все горло, подражая несравненному Рэю Чарльзу, орали: «I Can`t Stop Loving You»[1]. Звучало это просто кошмарно. Но мы надели темные очки, как у Рэя, и остальное значения уже не имело.

4

Наступило лето 1962 года, а вместе с ним и каникулы. Моей самой младшей сестренке Шехерезаде исполнился всего лишь год. Дурре было четырнадцать, и она носила прическу «вшивый домик»; Мунизе было десять, однако она уже доставляла немало хлопот. Мы втроем — точнее, вдвоем, Дурре и я, хотя Муниза отчаянно и тщетно тоже стремилась стать членом нашей банды, — частенько стояли возле кроватки Шехерезады и развлекали ее своим пением. «Никаких колыбельных!» — сразу заявила Дурре, так что никаких колыбельных наша сестренка и не услышала, ибо, хотя Дурре и была на год младше меня, я подчинялся ей беспрекословно. Вместо колыбельных Шехерезаде приходилось слушать в нашем исполнении последние хиты Чабби Чекера, Нейла Седаки, Элвиса Пресли и Пэта Буна.

«Why don`t you come home, Speedy Gonzales?»[2]— в высшей степени немелодично голосили мы, эту песню мы пели особенно часто, да еще со всякими ужимками и прыжками, с приседаниями и поворотами и, войдя в раж, швыряли друг в друга приготовленной для младенца ватой. Мы бы, наверно, весь день могли вот так прыгать и скакать, только махараджа Б. из квартиры под нами часто жаловался, и тогда приходила айя Мэри и умоляла нас играть потише.

— Гляди-ка, а вот и пышка-айя, которая влюбилась в нашего Миксера, — кричала в таких случаях Дурре. Мэри краснела самым натуральным образом, и мы, естественно, сразу же переключались на новую игру — ах да ох, тили-тили тесто, жених и невеста!..— но тут уже начинал вопить младенец, и в комнату, набычившись и буквально дымясь от ярости, входил отец, и тогда нас могла спасти только вся наша лесть и хитрость.

Я проучился в английской школе-интернате уже больше года, когда наш папочка принял решение в очередной раз переехать. Как и все прочие решения, это решение он никому не объяснял и ни с кем не обсуждал, даже с матерью. Когда они еще только приехали в Лондон, он снял две смежные квартиры в весьма обшарпанном квартале многоквартирных домов под названием Грэм-корт, который опасливо выглядывал на безымянную улочку, что кралась вдоль одной из стен кинотеатра «Эй-би-си Куинсуэй» к Порчестерским купальням. Отец лично занял одну из квартир, а остальных членов семьи — мою мать, трех сестренок и айю — поместил во вторую; там же во время школьных каникул жил и я. Англия, где свободно торговали спиртными напитками, плохо влияла на моего «добродушного» папулю, так что, в общем-то, даже хорошо, что одна из квартир была в полном нашем распоряжении.

Почти каждый вечер отец опустошал бутылку самого дешевого виски «Джонни Уокер» с красной этикеткой и полный сифон содовой. Мать не осмеливалась по вечерам даже зайти в «его квартиру». Она говорила: «Он строит мне рожи».

Айя Мэри относила папе обед и отвечала на все его телефонные звонки (если ему что-нибудь было нужно, он звонил нам и требовал, чтобы ему это доставили). Трудно сказать, почему он никогда не нападал на Мэри во время своих припадков пьяного бешенства. Айя уверяла нас, что, поскольку он на девять лет младше, она всегда может его одернуть и потребовать уважительного отношения.

---

[1] «Не могу перестать любить тебя» (*англ.*).

[2] «Вернись домой, а, Спиди Гонзалес?» (*англ.*) — песенка из популярного мультфильма о мышонке Спиди Гонзалесе.

Однако уже через несколько месяцев мой отец снял квартиру с тремя спальнями на четвертом этаже по довольно странному адресу: Уэверли-хаус, Кенсингтон-корт, W8. Среди прочих жильцов этого дома оказались целых два индийских махараджи — веселый, спортивный принц П. и уже упомянутый старый махараджа Б. Теперь мы все были втиснуты в одну квартирку: мои родители и маленькая Шехерезадница (как ее стали называть любящие брат и сестры) поместились в главной спальне, мы трое — в значительно более тесной комнате, а Мэри, вынужден, к сожалению, признаться, — на соломенном тюфяке, который она расстилала на потертом ковре в холле. Третья спальня превратилась в кабинет моего отца, где он разговаривал по телефону и держал Британскую энциклопедию, журнал «Ридерз дайджест», а также (под замком) телевизор. Мы входили туда с риском для жизни. Это было настоящее логово Минотавра.

Однажды утром мать уговорила отца сходить в аптеку на углу и купить там кое-что для малышки. Когда он вернулся назад, на лице его была написана такая детская обида — я ни разу прежде не видел его в подобном состоянии,— что он походил на мальчишку-школьника. К тому же он держался рукой за щеку.

— Она меня ударила, — жалобно сообщил он.

— Ай! Аллах-валлах! Дорогой! — вскричала мать, спеша к нему. — Скажи, кто тебя ударил? Ты ранен? Дай-ка я посмотрю.

— Я ей ничего не сделал, — обиженно продолжал отец, стоя посреди холла и держа в руке пакет из аптеки. Лицо у него было того же цвета, что и яркие резиновые перчатки Месира. — Я вошел туда с твоим списком. И сперва эта девушка, по-моему, очень старалась мне помочь. Я попросил детскую молочную смесь, присыпку, зубную пасту — она все тут же принесла. А потом я спросил, нет ли у нее сосков, и она дала мне пощечину.

Мать была потрясена.

— Только за это?

Ее поддержала Конечно-Мэри.

— Что за ерунда! — рассердилась она. — Да я сто раз бывала в этом медицинском «шоке», у них там полно «софков», любого размера, и все на виду!

Дурре и Муниза, не в силах сдерживаться, повалились на пол, хохоча во все горло и дрыгая ногами в воздухе.

— Сейчас же замолкните обе! — рассердилась мать. — Какая-то сумасшедшая ударила вашего отца по лицу! Что здесь смешного?

— Нет, это же невозможно, — задыхаясь от сдерживаемого смеха, проговорила Дурре. — Значит, ты, папа, просто подошел к этой девушке и спросил, — и тут она снова упала на спину, дрыгая ногами и держась за живот, — «*Нет ли у вас сосков?*»?

Отец побагровел и стал похож на грозовую тучу. Дурре пришлось взять себя в руки.

— Папа, — сказала она наконец, — здесь же так сиськи называют!

Теперь уже пришла очередь матери и Мэри прикрывать руками смеющиеся рты, и даже отец выглядел смущенным.

— Какое бесстыдство! — сказала мать. — Неужели они тем же словом и женские груди обозначают? — Она покраснела и поцокала языком в знак осуждения.

— Ох уж эти англичане! — вздохнула Конечно-Мэри. — Но ведь всему должен быть предел? Конечно же, должен!

Я с удовольствием вспоминаю эту историю, потому что единственный раз видел тогда своего отца совершенно сбитым с толку, ну а сам случай стал настоящей семейной легендой, и та девушка из аптеки превратилась в объект нашего глубочайшего почитания. (Мы с Дурре специально ходили туда, чтобы взглянуть на нее — это была простенькая коротышка лет семнадцати, но с огромными, прямо-таки бросающимися в глаза грудями, — однако она заметила, как мы шепчемся, и так свирепо сверкнула глазами, что мы мгновенно испарились.) И еще мне приятно вспоминать тот случай потому, что во время всеобщего веселья можно было скрыть одну постыдную истину: прожив в Англии уже столько времени, я непременно сделал бы ту же ошибку, что и мой папа.

Не только наши родители и няня испытывали трудности с английским языком. Мои одноклассники тоже вечно хихикали, когда я говорил, как у нас в Бомбее, «С какого ты года?» вместо «Ты в каком году родился?», и «трижды» вместо «три раза», и «фотка» вместо «фотография», и «четвертинка» вместо «пирожковая тарелка», и все подряд — и спагетти, и вермишель — называл «макаронами». Что же касается возможности познать на практике, в чем разница между сосками и сосками, то у меня ее пока что не было, и я никак не мог до конца освоиться в этой сфере.

5

Так что я немного взревновал, когда Миксер зашел за нашей Конечно-Мэри. Он позвонил в нашу дверь и почтительно поклонился моему отцу, который ему открыл. Старый пиджак стал Миксеру чересчур свободен, брюки были аккуратно собраны на талии с помощью ремня. Однако он снял свои резиновые перчатки, а в руках держал букет роз. Отец бросил на него испепеляющий взгляд. Сноб по натуре, он всегда ворчал по поводу того, что в нашей квартире нет черного хода для слуг, и вот, пожалуйста, какой-то швейцар является в дом с таким видом, словно принадлежит к тому же обществу!

— Мэри, — удалось наконец выговорить Миксеру, который от волнения все время облизывал губы и приглаживал свои длинные седые волосы. — Я... мне мисс Мэри... я пришел... я хотел бы... видеть...

— Подожди здесь, — сурово сказал мой папа и захлопнул дверь прямо у него перед носом.

С этих пор Конечно-Мэри стала проводить все свои свободные дни в обществе Миксера, хотя их первое свидание прошло далеко не лучшим образом. Он повел ее в Уэст-Энд, чтобы показать ей «Лондон для туристов», которого она никогда не видела, но при выходе с эскалатора на станции «Пиккадилли серкус», пока Месир мучительно пытался прочитать ей вслух рекламные надписи, которые она сама прочитать не умела — «Расстегните молнию на банане» и тому подобные глупости, — подол ее сари затянуло под ступеньку, а поскольку эскалатор продолжал двигаться, то сари начало постепенно разматываться. Мэри пришлось крутиться волчком, она была в ужасе и пронзительно вопила: «О, баап! Баапу-ре! Баап-ре-баап-ре-баап!»[1] Однако Миксер в конце концов спас Мэри, нажав на стоп-кран, прежде чем ее сари успело размотаться окончательно и продемонстрировать ее всему свету в нижней юбке и чоли.

— О, кортье! — плакала она у него на плече. — Ох, больше не надо этих искилаторов, ох нет, никогда, нет, конечно же, никогда!

Мои собственные любовные переживания в этот период были связаны с лучшей подружкой Дурре, польской девушкой по имени Розалия, которая на каникулы впервые устроилась работать в обувной магазин Феймана на Оксфорд-стрит. Я самым жалким образом таскался за ней все каникулы, а потом и еще — время от времени — целых два года. Она порой позволяла мне угостить ее ленчем, кока-колой с сандвичем, а один раз даже пошла со мной на «Уайт-Хартлейн», стадион лондонского футбольного клуба «Тотнем хотспер», посмотреть первую игру Джимми Гривза за команду «Сперз»[2]. «Ну же, вы, в белых майках! Давайте! — орали мы оба старательно. — Эй, белоснежные, жмите!» После этого похода она даже раза два приглашала меня в заднюю комнатку при магазине Феймана, где сама поцеловала меня и позволила погладить ей грудь. Но дальше этого я не продвинулся.

Потом была еще моя не то троюродная, не то еще какая-то там сестра Чандни; сестра ее матери была когда-то замужем за братом моей матери, хотя родители Чандни давно уже успели разойтись. Чандни была на полтора года старше меня и выглядела такой аппетитной и сексуальной — просто с ума сойти! Она

[1] Восклицание на хинди, примерно соответствующее русскому «Ах, батюшки-матушки!».
[2] Разговорное название футбольной команды «Тотнем хотспер».

занималась индийскими классическими танцами, одисси и натьям, но в свободное от занятий время ходила в узких черных джинсах и в туго обтягивавшем грудь черном джемпере «под горлышко». Время от времени она брала меня с собой в компанию любителей фолк-музыки, где знала чуть ли не всех и откликалась на имя Мунлайт, то есть «Лунный свет», что, собственно, и значит слово «чандни». Я одну за другой курил сигареты с любителями фолк-музыки, а потом меня ужасно тошнило в туалете.

Чандни поистине была лакомым кусочком, мечтой любого юнца, Лунной Рекой, сошедшей на землю подобно богине Ганге и вырядившейся в соблазнительные черные наряды. Но меня-то она считала всего лишь желторотым птенчиком, младшим двоюродным братишкой, которого она терпит только потому, что «малыш» еще не научился вести себя как взрослый.

«She-e-rry, won't you come out tonight?» — заливались «Фор сизонс». Я чувствовал в точности то же самое, что и они. «Come, come, come out toni-yi-yight»[1]. Полюби, ну полюби же меня.

6

Они ходили гулять в Кенсингтон-гарденс.

— Пэн, — говорил Миксер, тыкая пальцем в статую. — Бедняжка. Так и не вырос, значит.

Они ходили в «Баркерс», «Понтингс» и «Дерри энд Томс»[2] и выбирали мебель и занавески для своих воображаемых домов. Они совершали целые путешествия по супермаркетам и покупали понемножку всяких лакомств, которые съедали в тесной комнатенке Месира, запивая тем, что он именовал «обезьяньим чаем». Они объедались сдобными пышками, сидя перед включенным электро-камином.

Благодаря Миксеру Мэри наконец получила возможность смотреть телевизор. Больше всего она любила детские программы, особенно мультсериал «Флинтстоуны». Однажды, смущенно хихикая, Мэри призналась Миксеру, что Фред и Уилма напоминают ее сахиба и бегум-сахиб, после чего «кортье», не уступая ей в дерзости, показал сперва на Мэри, потом на себя, ухмыльнулся во весь рот и сказал: «Раббл»[3].

Позже, когда передавали новости, похожий на лисицу англичанин с тоненькими усиками и безумным взглядом выступил против иммигрантов, и Конечно-Мэри, всплеснув руками, замахала на экран телевизора: «Кали-пили бом-трам!», и потом, исключительно из уважения к хозяину дома, «перевела»:

— Зря он возмущается да кричит. Плохая тут жизнь! Выключи-ка ты его.

Их беседы часто прерывались появлениями махарадж Б. и П., которые, удирая от бдительных жен, спускались позвонить своим любовницам из автомата, установленного в комнатке портье.

— Ах, детка, забудь об этом молодчике, — говорил в трубку удалой принц П., который, похоже, весь день не снимал белых теннисных трусов и туфель; увесистый золотой «Ролекс» прямо-таки утопал в густой растительности, покрывавшей его руки. — Уж я сумею тебе продемонстрировать, детка, что значит «хорошо провести время»; ты сама увидишь, в каком мире я существую.

Махараджа Б. был старше, безобразнее и прагматичнее.

— Да, принеси все что нужно. Номер заказан на имя мистера Дугласа Хьюма. С шести сорока пяти до семи пятнадцати. Кстати, у тебя есть карта тарифных расценок? Да, пожалуйста. И еще двухфутовую линейку, обязательно деревянную. И не забудь фартук с оборочками.

---

[1] Дорогая, разве ты сегодня не выйдешь? Выйди, ну выйди сегодня *(англ.)*.

[2] Лондонские универмаги на Кенсингтон-Хай-стрит.

[3] Осколки *(англ.)* — фамилия героев мультсериала «Флинтстоуны».

Именно такие воспоминания и связаны в моей душе с Уэверли-хаус — все эти неудачные браки, пьянство, донжуанство, невоплощенные юношеские желания, махараджа П., каждый вечер с ревом уносившийся на своей красной спортивной машине в сторону веселых кварталов Лондона в обществе роскошных блондинок, махараджа Б., тайком под покровом ночи пробиравшийся на Кенсингтон-Хай-стрит в темных очках и с поднятым воротником даже в разгар лета, — однако в центре этой маленькой вселенной были для меня Конечно-Мэри и ее «ухажер», которые пили свой «обезьяний чай» и дружно подпевали «гимну» своего любимого мультипликационного сериала:

Флинтстоуны! Знакомьтесь: Флинтстоуны!
Вот самая крепкая семья каменного века.

Но на самом деле они совсем не были похожи на Барни и Бетти Раббл. Они относились друг к другу с удивительным уважением, чуть ли не почтением. Они просто поражали своей изысканной вежливостью. Они... по-настоящему ухаживали друг за другом. То есть это он ухаживал за нею, а она, точно застенчивая кудрявая инженю, прикрываясь веером, склоняла головку и милостиво принимала его поклонение.

Они — прямо картинка из учебника по ис-то-ри-и.

7

Однажды, в 1963 году, в середине первого семестра, я провел выходные в Беклсе (Саффолк), в доме фельдмаршала сэра Чарльза Лутвиджа-Доджсона, знатока Индии и друга нашей семьи, который, кстати, поддержал мою просьбу о британском гражданстве. Додо, как его все называли, на этот раз пригласил меня в гости одного, заявив, что хотел бы познакомиться со мной поближе.

Это был огромный человек, у которого кожа на лице уже начала обвисать, настоящий великан, живший в хижине, крытой тростником, и вечно набивавший себе шишки в дверях. Ничего удивительного, что временами он бывал чрезвычайно раздражителен; он жил точно в аду — Гулливер, попавшийся в ловушку в этой розовой Лилипутии, где играли в крокет, где звонили церковные колокола, где висели старинные фотографии и боевые трубы.

Уик-энд проходил очень неровно и как-то неуклюже, пока Додо не спросил, играю ли я в шахматы. Не без робости — играть-то придется с самим фельдмаршалом — я кивнул; и через полтора часа, к своему великому удивлению, выиграл.

Я отправился на кухню, немножко важничая и намереваясь слегка похвастаться победой перед давнишней домоправительницей старого вояки миссис Лидделл. Но как только я туда вошел, она заявила:

— Только не говори, что ты прямо вот так «пришел, увидел, победил». Неужели выиграл?

— Да,— сказал я, стараясь сохранить бесстрастный тон. — Вообще-то да, именно так я и выиграл.

— Го-с-с-споди! — воскликнула миссис Лидделл. — Ну, теперь хлопот не оберешься. Ты поскорей ступай назад и попроси его сыграть с тобой еще разок, только уж постарайся непременно проиграть.

Я сделал так, как было велено, но больше в Беклс меня ни разу не приглашали.

И тем не менее победа над Додо придала мне смелости в шахматной игре, и вот, вернувшись в Уэверли-хаус после экзаменов, я сразу был приглашен сыграть в шахматы с Миксером (Мэри уже рассказала ему о моей победе в битве при Беклсе, страшно гордясь и сильно все преувеличивая). Я милостиво согласился:

— Ну разумеется, я не против.

Да и в конце концов, сколько там времени понадобится мне, чтобы обыграть этого старого тупицу?

И тут последовало сущее избиение младенцев. Миксер не просто обыграл меня; он прямо-таки с легкостью необычайной слопал меня на завтрак. Я никак не мог прийти в себя: такое обманчивое начало, такая быстрая смена комбина-

ций, такая мощь атак — и мои собственные невозможно жалкие, судорожные ходы! Я предложил вторую партию. На этот раз он сделал из меня отбивную с еще большим вдохновением. Я, совершенно уничтоженный, сидел на самом краешке стула, готовый разреветься. «Большие девочки не плачут,— напомнил я себе словами известного шлягера, но песня продолжала звучать у меня в голове. — Их слезы — лишь уловка».

— Кто ты такой? — спросил я дрожащим от испытанного унижения голосом. — Переодетый дьявол?

Миксер тут же самым дурацким образом осклабился.

— Гроссмейстер, — сказал он. — Давно. Когда-то очень давно.

— Ты гроссмейстер? — повторил я, совершенно ошарашенный. Потом с ужасом вспомнил, что встречал фамилию Месир в книгах по классическим шахматам. — Защита Нимцовича! — вскричал я. Он улыбнулся и яростно закивал. — Тот самый Месир? — изумленно спросил я.

— Тот самый, — сказал он. Капля слюны дрожала в углу его дряблого рта. Имя этой старой развалины было во всех книгах по шахматам! Во всех книгах! И хотя от его гениальных мозгов остались одни осколки, он все еще спокойно мог размазать меня по столу.

— А теперь играй с леди, — ухмыльнулся он. Я не понял. — С леди Мэри, — пояснил он. — «Да, да, конечно».

Она разливала чай, ожидая моего ответа.

— Айя, но ты же не умеешь играть, — растерянно проговорил я.

— Учусь, детка, — ответила она. — Чего тут такого, а? Всего лишь игра.

И затем она тоже сделала из меня отбивную, да еще играя черными. Словом, это был далеко не лучший день в моей жизни.

8

Из книги гроссмейстера Решевского «100 наиболее поучительных шахматных партий», 1961 год:

М.Месир — М.Найдорф

Даллас, 1950, Защита Нимцовича.

Противостоять атаке хорошего тактика подчас весьма затруднительно; сопротивляться атаке хорошего стратега — тем более. Если угрозы, которые создает на доске тактик, можно определить безошибочно, то стратег смешивает все и вся, держа противника в состоянии полной неопределенности. Он угрожает, просто чтобы угрожать!

Возьмем в качестве примера эту партию. Месир ставит коня на d6, чтобы захватить центр. Затем делает проходную пешку, чтобы ферзевой фланг поглотил все внимание противника. А в конце концов устраивает разгром на королевском фланге. И что делать бедному огорошенному противнику? Как он может защищать все одновременно? И где будет нанесен главный удар?

Понаблюдайте, как Месир гоняет Найдорфа по доске, перенося атаку с одного фланга на другой!

Итак, шахматы стали их тайным языком. Старый Миксер, которому вечно не хватало слов, на шахматной доске сохранял отличную способность выражать свои мысли, и притом весьма изящно — качества, которые напрочь исчезли из его обычной речи. По мере того как Конечно-Мэри набиралась опыта и уменья — а для человека, не умеющего ни читать, ни писать, ни выговаривать звук «п», она училась поразительно быстро, думал я с горечью, — она все лучше могла соответствовать интеллектуальному уровню несчастного маэстро, с которым у нее так неожиданно установилась на редкость прочная связь.

Он учил ее удивительно терпеливо, больше показывая, а не объясняя словами, повторяя дебюты, комбинации и технику эндшпиля, и все снова и снова, без конца, пока она не начинала понимать значение ходов и видеть рисунок всей партии. Когда они играли, он сдерживал себя, подыгрывая Мэри, подсказывая ей наилучшие ходы, демонстрируя их последствия, открывая ей шаг за шагом бесконечные возможности этой игры.

Да, вот так он за ней ухаживал.

— Это как приключение, детка, — попыталась однажды объяснить мне Мэри. — Это все равно что отправиться с ним вместе в его страну, понимаешь? Ах, какая это страна, баап-ре! Прекрасная и опасная, забавная и полная загадок. Для меня это большое-пребольшое открытие. Ну, что тебе сказать? Я с ума схожу по этой игре. Это же просто чудо!

И тогда я понял, как далеко зашли их отношения. Конечно-Мэри никогда не была замужем и давно уже объяснила старому Миксеру, что в ее возрасте слишком поздно заниматься всей этой любовной чепухой. Ухажер ее был вдовцом, у него где-то остались теперь совсем уже взрослые дети, где-то далеко, за становившимися день ото дня все выше стенами, отделявшими от нас Восточную Европу. Но игра в шахматы, как выяснилось, вполне заменяла им игру любовную, флирт, ту бесконечную смену и обновление чувств, которые препятствуют возникновению скуки. То была для их стареющих сердец поистине замечательная, волшебная страна, полная любви и уважительного отношения друг к другу.

А вот что бы, к примеру, сказал об этом Додо? Без сомнения, ему было бы чрезвычайно противно видеть шахматы — самую интеллектуальную из всех интеллектуальных игр, великие формулы военного искусства! — превращенными в искусство любви.

А со мной в это время происходило вот что: мое поражение в играх с Конечно-Мэри и Миксером было только началом последовавших далее унижений. Дурре и Муниза слегли со свинкой, а потом, несмотря на все старания матери как-то разделить нас, заболел и я. Я в ужасе лежал в постели, и доктор строго внушал, что вставать мне ни в коем случае нельзя, а уж слоняться по улицам тем более. «Если же ты встанешь, — заявил он, — то твоим родителям не придется тебя наказывать. Ты накажешь себя сам, и, уверяю тебя, наказание будет достаточно суровым».

В течение нескольких недель меня днем и ночью мучили видения моей безобразно опухшей мошонки и последующей жизни жалкого импотента — жизни, оконченной еще до того, как я успел ее начать, что было безусловно несправедливо! Мои страдания усугублялись еще и непрекращающимися насмешками сестриц, которые, конечно же, обо всем мгновенно пронюхали. Но в конце концов мне повезло: слишком далеко «на юг» болезнь не пошла.

— Ты только представь, как счастливы будут твои сто и одна подружка, братец! — фыркала Дурре, которой, разумеется, абсолютно все было известно о моих неудачах с Розалией и Чандни.

По радио вечно пели о том, как замечательна жизнь в шестнадцать лет. Интересно, думал я, где это они все так наслаждались жизнью в этом проклятом возрасте? Может, путешествовали по Америке в кабриолетах марки «студебеккер»? По соседству я таких что-то не замечал. В то лето нашим районом Лондона владел Сэм Кук. «Another Saturday Night...»[1]. Возможно, была и другая, более популярная песенка, но меня этой своей песней одинокий Сэм прямо-таки достал, в самые печенки мне пробрался своими словами про то, как хочется, чтобы и у тебя кто-то был и все такое прочее. После этой песни я совсем впадал в уныние.

«How I wish I had someone to talk to, I'm in an awful way»[2].

9

— Детка, иди скорее.

Была поздняя ночь, когда айя Мэри разбудила меня. Прошипев что-то весьма настоятельным тоном, она наконец извлекла меня из теплой постели и, сонного, зевающего, прямо в пижаме, поволокла в холл. На площадке у дверей в нашу квартиру стоял ее ухажер Миксер и, прислонившись к стене, плакал. У него был здорово подбит глаз, а в уголке рта запеклась кровь.

— Что случилось? — потрясенный, спросил я Мэри.

[1] «Еще один субботний вечер...» (*англ.*).

[2] Ах, было б с кем поговорить,
А то уж больно тошно(*англ.*).

— Мужчины, — жалобно простонал Миксер. — Угрожали. Избили.

В тот вечер он сидел в своей комнатенке, как вдруг спортивный и блистательный махараджа П. ворвался туда и заявил:

— Если кто-нибудь станет меня искать, понятно? Ну, какие-нибудь такие крутые ребята, понятно? То меня нет, понятно? Смотри! Не пускай их наверх, понятно? Хорошо заплачу, понятно?

Немного времени спустя старый махараджа Б. с самым несчастным видом объявился там же.

— Слушай меня внимательно, — сказал махараджа Б. — Ты не знаешь, где я нахожусь, понятно? Понятно, а? Тут кое-какие негодяи могут про меня спрашивать, так ты ничего не знаешь. Я за границей, ача[1]? Надолго уехал за границу. Путешествовать. Сделаешь, как я велел, получишь кругленькую сумму.

И действительно, поздно ночью к Месиру вломились два бандита. Похоже, волосатый принц П., увлекаясь азартными играми, наделал немало долгов.

— Нету его, — ухмыльнулся Миксер с самым добродушным видом. Бандиты понятливо кивнули. У них были длинные волосы и толстые губы, как у Мика Джеггера[2].

— Да, занятой он, видно, тип. Нам бы следовало с ним заранее встречу назначить, — сказал первый бандит второму. — Говорил ведь, надо сперва позвонить.

— Говорил, — согласился второй. — А еще ты говорил: такие вещи надо делать по всем правилам, он ведь королевской крови. И ты был прав, сынок, тут я сдаюсь, ошибся я. Сдаюсь, сдаюсь.

— Давай оставим ему нашу визитную карточку, — предложил первый бандит. — Тогда он поймет, что ему следует нас ждать.

— Прекрасная мысль! — отозвался второй и врезал кулаком Миксеру прямо в зубы. — Ты скажи ему, — и он ударил старика в глаз, — когда вернется, уж не забудь, передай, что мы приходили.

После их ухода Месир запер входную дверь, но поздно ночью, далеко за полночь, в дверь снова постучали. Миксер спросил:

— Кто?

— Мы друзья махараджи Б., — ответили ему. — Нет, что это я говорю! Просто приятели.

— Дело в том, что он встречается с одной нашей знакомой, — уточнил другой голос. — Если уж по правде.

— И именно поэтому мы почтительнейше просим об аудиенции, — сказал первый.

— Уехал он, — сказал Месир. — На самолете. Улетел.

За дверью воцарилось молчание. Затем второй голос сказал:

— О, ну разумеется, он же у нас путешественник! Биарриц, Монте-Карло, все такое.

— Непременно сообщи его высочеству, — сказал первый голос, — что мы с нетерпением ждем его возвращения.

— И пусть не забывает о нашей общей подруге, — прибавил второй. — Ждем его с нетерпением.

«...И что делать бедному огорошенному противнику?— Фраза из учебника по шахматной игре тут же сама собой всплыла в памяти. — Как он может защищать все одновременно? И где будет нанесен главный удар? Понаблюдайте, как Месир гоняет Найдорфа по доске, перенося атаку с одного фланга на другой!»

Миксер вернулся в свою комнатенку и расплакался, хотя больше уже никто ему не угрожал. Через некоторое время он поднялся на лифте на четвертый этаж и шепотом, через щель почтового ящика, позвал Мэри, надеясь, что она на своем матрасе в холле услышит его.

— Мне не хотелось будить сахиба, — сказала Мэри. — Ты же знаешь, какой он, да? А бегум-сахиб к концу дня ужасно устает. Так что уж придется тебе, детка, сказать нам, как быть дальше.

На какой совет она рассчитывала, интересно? Мне ведь было всего шестнадцать.

[1] Ладно, хорошо (*хинди*).

[2] Лидер группы «Роллинг Стоунз».

— Миксеру надо позвать полицию, — выдвинул я свое не слишком оригинальное предложение.

— Нет, нет, детка, — замотала головой Конечно-Мэри. — Если кортье устроит скандал из-за семейства махараджи, то в итоге именно кортье больше всех и достанется.

Никаких других идей у меня не было. Я стоял перед ними, чувствуя себя полным дураком, а они оба воззрились на меня со страхом и мольбой.

— Ладно, ложитесь спать, — сказал я. — Утро вечера мудренее. «Первая пара бандитов принадлежала к породе тактиков,— размышлял я. — С ними встречаться неприятно, конечно. Но вторая пара явно опаснее. Это стратеги. Они угрожают, просто чтобы угрожать».

К утру ничего не случилось, и небо сияло безоблачной синевой. Просто невозможно было поверить в каких-то бандитов, удары кулаком и угрозы из-за дверей в ночи. В течение дня оба махараджи зашли к Миксеру, и каждый сунул ему в жилетный карман пятифунтовую бумажку.

— Постарайся удержать нашу крепость, мой милый, — сказал принц П., а махараджа Б. чуть позже эхом откликнулся:

— Стой на своем. Теперь-то уж все в порядке, верно? Я думаю, что вопрос закрыт.

Мы трое — айя Мэри, Миксер и я — днем держали военный совет и решили, что никаких дальнейших действий пока не требуется. В таких ситуациях на переднем крае всегда оказывается портье, доказывал я, а Миксер свои позиции удержал. Теперь все позади и никакого риска нет. Да и махараджи это подтверждают. Ну и дело с концом.

— Дело с концом? — с сомнением в голосе переспросила Конечно-Мэри, но затем, пытаясь, видимо, подбодрить Месира, вдруг улыбнулась. — Ну конечно! Конечно же! Все кончено, все позади — финис[1]. — Она даже в ладоши хлопнула для пущей убедительности и спросила у Миксера, не хочет ли он сыграть в шахматы, но впервые наш «кортье» играть отказался.

10

После этого случая я на некоторое время отвлекся от любовной истории Миксера и Конечно-Мэри из-за ссор между моими ближайшими родственниками.

Моя средняя сестра Муниза, которой исполнилось одиннадцать, слишком рано вошла в разрушительную фазу своего развития. Она унаследовала вспышки неистовой ярости у нашего отца и если уж теряла над собой контроль, то остановить ее не было никакой возможности. В то лето она специально устраивала стычки с отцом: как видно, была готова, несмотря на столь юный возраст, помериться с ним силами. (Я только один раз вмешался в ее ссору с папой, происходившую на кухне. Муниза схватила здоровенные ножницы и изо всех сил запустила ими в меня. Ножницы вонзились мне в бедро, и после этого в такие моменты я старался держаться на расстоянии.)

Наблюдая их сражения, я чувствовал, как во мне рушится само понятие семьи. Глядя на вопящую сестру, я думал, сколь великолепной саморазрушительной силой она обладает, как победоносно она губит отношения с теми, кто ей больше всего необходим.

А глядя на искаженное лицо обезумевшего отца, я все чаще думал о британском гражданстве. Мой тогдашний индийский паспорт позволял мне совершать поездки только в несколько стран, тщательно перечисленных на третьей странице. Но я надеялся вскоре не мытьем, так катаньем получить британский паспорт и убраться от родного папаши подальше. Я не желал всю жизнь видеть перед собой это искаженное гневом лицо.

В шестнадцать лет вы все еще полагаете, что можно сбежать от собственного отца. Вы еще не слышите, что это он говорит вашими устами, не замечаете, как похожи — уже почти зеркально — ваши жесты, не ощущаете его повадки в

[1] Искаж. finish — финиш, конец (*англ.*).

том, как держитесь и ходите сами, как размашисто ставите свою подпись. Вы еще не слышите его голоса в своей крови.

В тот день, о котором я непременно должен вам рассказать, моя двухлетняя сестренка Чхоти Шехерезада, маленькая Шехерезадница, во время очередной семейной стычки вдруг начала плакать, как она это часто делала. Мама и айя Мэри быстренько погрузили ее в прогулочную коляску и предпочли скрыться с глаз долой. Они добежали до парка, выпустили Шехерезаду на свободу, уселись на травку и принялись обмениваться глубокомысленными замечаниями, пока девочка играла и успокаивалась. Когда же малышка наконец наигралась, устала и уснула, они направились домой. Уже сгущались сумерки. Возле Уэверли-хаус к ним вдруг подошли двое весьма прилично одетых молодых людей с прическами «под битлов» и в доверху застегнутых пиджаках без воротников, «битловках», которые стали весьма популярны благодаря этому ансамблю. Первый «битл» очень вежливо обратился к моей матери и спросил ее, не она ли махарани Б.

— Нет, — ответила она, польщенная таким вопросом.

— Да нет же, мадам, это, конечно же, вы и есть! — стал уверять ее второй «битл» не менее вежливо. — Ведь вы направляетесь в Уэверли-хаус, верно? А именно там и проживает махараджа Б.!

— Нет-нет! — воскликнула моя мать, зарумянившись от столь лестного предположения. — Мы из совсем другой индийской семьи.

— Ну конечно, — кивнул понимающе первый «битл», а потом, к удивлению матери, приложил палец к носу и подмигнул ей. — Инкогнито, понятно. Большой секрет.

— Прошу нас извинить, нам пора, — сказала тут мать, теряя терпение. — Мы совсем не те женщины, которых вы ищете.

Второй «битл» легонько постучал носком ботинка по колесу детской коляски.

— Ваш муж очень интересуется женщинами, мадам, вы об этом знаете? Да, очень! Он прямо-таки неутомим в их поисках, должен прибавить.

— Даже чересчур, — с мрачным видом откликнулся первый.

— Говорю вам, я вовсе не махарани-бегум, — сказала моя мать, внезапно встревожившись. — Ее жизнь — это ее жизнь, и мне до нее дела нет. Пожалуйста, дайте мне пройти.

Второй «битл» шагнул к ней ближе. Она чувствовала его пахнущее мятой дыхание.

— Одна из тех дам, на поиски которых он тратит так много сил, была у нас на попечении, как вы, вероятно, сказали бы, — пояснил он. — Да, пожалуй, именно так: она была под нашей защитой, понимаете? И именно мы были в ответе за ее благополучие.

— Ваш муж, — сказал первый «битл», зверски оскалившись и несколько повысив голос, — подпортил нам товар. Эй, вы слышите меня, королева индийская? Он подпортил нам товар, черт бы его побрал!

— Вы ошиблись, флиз! Это совсем другая дама, другая «личность», конечно, это не махарани-бегум, — затараторила Конечно-Мэри. — В Уэверли-хаус много других индийцев. Мы женщины приличные, флиз!

Второй «битл» вытащил что-то из внутреннего кармана «битловки». Свет сверкнул на острие ножа.

— Вонючки, йоги чертовы! — прошипел он. — Так вас растак, являетесь в чужую страну и ни фига не смыслите, как, черт побери, себя вести нужно. Почему бы вам не убраться к чертям собачьим в свой вонючий Йогистан? Пинка бы вам хорошего под ваши вонючие задницы! Ну ладно, хватит, поговорили, — прибавил он уже совсем тихо и взмахнул ножом у них перед глазами, — расстегивайте-ка кофты.

И тут громкий шум послышался от дверей нашего дома. Обе женщины и оба «битла» обернулись и увидели, что к ним спешит Миксер, вопя во все горло и размахивая руками, как мельница.

— А это кто ж такой? Привет, — сказал с довольной улыбкой тот «битл», у которого был нож. — Никак сам траханый агент 007?

Миксер пытался объяснить, но уста его исторгали только какой-то невнятный шум. Проснувшаяся Шехерезада присоединилась к общему хору, и оба «бит-

ла» недовольно переглянулись. И тут что-то лопнуло внутри у старого Миксера, и он, страшно торопясь, забормотал:

— Господа, господа, нет, господа, эти женщины — не женщины махараджи Б., господа, женщины махараджи Б. наверху, господа, на третьем этаже, господа, Богом клянусь, господа, могилой матери клянусь.

Более длинных фраз он не произносил с тех пор, как много-много лет назад его речь была нарушена тяжелым инсультом.

И этот поток слов и вопли Шехерезады как-то вдруг сразу заставили окружающих обратить на происходящее внимание; в окнах и дверях домов стали появляться головы любопытных, и оба «битла» мгновенно помрачнели.

— Ошиблись, мадам, честное слово, ошиблись, — сказал первый из них моей матери и даже поклонился ей в пояс.

— С любым может случиться, — печально подтвердил тот, что с ножом. Они развернулись и быстро пошли прочь, но, проходя мимо Месира, чуточку задержались.

— А я тебя, между прочим, узнал, — сказал человек с ножом. — Значит, «на самолете улетел»? — Он сделал короткое движение рукой, и Миксер вдруг оказался лежащим на тротуаре, из раны у него в животе текла кровь.

— Ну вот, теперь все хорошо, — задыхаясь прошептал он и потерял сознание.

11

К Рождеству он уже поправлялся; благодаря письму моей матери к домовладельцам, в котором она называла Миксера «рыцарем в сверкающих доспехах», он получил вполне хороший медицинский уход и сохранил свое место швейцара. Жить он продолжал в своей крошечной комнатушке, а его обязанности пока что выполняли подменные портье. «Для такого героя нам ничего не жаль!» — заверили мою мать домовладельцы в ответном письме.

Оба махараджи со своими чадами и домочадцами переехали еще до того, как я явился домой на рождественские каникулы, так что больше ни «биттлз», ни «роллинг стоунз» нас не беспокоили. Конечно-Мэри проводила у Месира все свое свободное время; однако меня куда больше тревожил ее собственный болезненный вид, чем состояние бедного Миксера. Она как-то сразу постарела и выглядела теперь настолько ветхой, будто в любой момент могла рассыпаться в прах.

— Мы не хотели тревожить тебя, пока ты в школе, — сказала мне мать. — У Мэри нелады с сердцем. Сильные сердцебиения. Не все время, но тем не менее.

Болезнь Мэри заставила посерьезнеть всю нашу семью. Прекратились вспышки гнева у Мунизы, и даже отец совершал над собой определенные усилия. Родители поставили в гостиной елку и украсили ее разноцветными шариками. Было так странно видеть у нас в доме наряженную елку, что я окончательно осознал: дело плохо.

В сочельник мать высказала предположение, что Мэри, возможно, будет приятно, если мы все вместе споем несколько рождественских гимнов. Она специально переписала слова от руки в шести экземплярах. Когда мы спели «Слава тебе, Боже», я отличился, припомнив молитву на латыни. Все вели себя безукоризненно. Когда Муниза предложила спеть «Swinging on a Star» или «I Wanna Hold Your Hand»[1] вместо этого занудства, то она, конечно же, просто пошутила. Так вот она какая, семейная жизнь, думал я. Вот она какая.

Но мы всего лишь разыгрывали спектакль.

За несколько недель до этого в школе я случайно налетел на одного американского мальчика, звезду школьной команды по регби, который плакал, спрятавшись за часовней. Я спросил его, в чем дело, и он сказал, что убит президент Кеннеди.

— Я тебе не верю! — заявил я, хотя и сам видел, что это правда. Лучший регбист продолжал безутешно рыдать. Я взял его за руку.

[1] «Качаясь на звезде», «Я хочу держать тебя за руку» (*англ.*) — песни ансамбля «Биттлз».

— Когда умирает президент, сиротеет вся нация! — горестно сказал он в конце концов, словно попугай повторяя доморощенный афоризм, который, вероятно, слышал по «Голосу Америки».

— Я очень хорошо понимаю тебя, — солгал я. — У меня ведь тоже только недавно отец умер.

Сердечное заболевание Мэри оказалось настоящей загадкой; совершенно непредсказуемое, оно то проявлялось, то начисто проходило. В течение полугода ее подвергали самым разнообразным обследованиям, но каждый раз врачам в итоге оставалось только головой качать: они не обнаруживали у Мэри никакой болезни. Физически она была здорова, но порой сердце ее вдруг начинало толкаться и биться в груди, как дикие лошади из кинофильма «Неприкаянные», когда им на шею набрасывали петлю и связывали, что приводило в бешенство Мэрилин Монро.

Месир вернулся к своей работе весной, но тот случай совершенно его опустошил. Улыбка у него на лице возникала теперь гораздо медленнее, глаза смотрели тупо, он совсем ушел в себя. Мэри тоже как-то замкнулась. Они все еще встречались, чтобы выпить чаю с пышками и посмотреть «Флинтстоунов», но что-то в их отношениях изменилось, им уже не было так хорошо вместе, как прежде.

В самом начале лета Мэри вдруг заявила моим родителям:

— Я знаю, чем я больна: мне необходимо поехать домой.

— Айя, — заспорила моя мать, — тоска по дому — это же не настоящая болезнь!

— Одному лишь Господу известно, зачем мы все вообще явились в эту проклятую страну, — сказала Мэри. — Но я больше оставаться здесь не могу. Нет. Конечно нет. — Ее решимость была неколебимой.

Итак, именно Англия, как оказалось, заставляла ее сердце болеть, айя страдала физически потому, что Англия не была Индией. Лондон убивал Мэри, потому что не был Бомбеем. Ну а Миксер? Неужели и он тоже убивал ее, потому что перестал быть самим собой? Или же просто сердце ее, разрываемое между двумя совершенно различными привязанностями, тянули в разные стороны Восток и Запад — словно тех лошадей в кино, ржущих, всхрапывающих, которых рывками тащил туда Кларк Гейбл, а сюда — Монтгомери Клифт, — и она понимала: для того чтобы остаться в живых, ей придется выбрать что-то одно.

— Я должна уехать, — сказала Конечно-Мэри. — Да, конечно. Бас[1].

В то лето, лето 1964 года, мне исполнилось семнадцать. Чандни вернулась в Индию. Польская подружка моей сестры Розалия сообщила как-то, закусывая со мной вместе сандвичами на Оксфорд-стрит, что она помолвлена с «настоящим мужчиной», так что впредь мне нужно забыть о свиданиях с нею, потому что ее Збигнев очень ревнивый. «Все кончено» Роя Орбисона звучало в моих ушах, пока я тащился к станции подземки, хотя самое главное было в том, что ничего так по-настоящему и не началось.

Конечно-Мэри уехала от нас в середине июля. Отец купил ей билет до Бомбея, и то последнее утро, утро нашего расставанья, было для всех мучительным. Что-то кончилось в нашей жизни. Когда мы снесли ее вещи вниз, в машину, Месира, нашего портье, нигде видно не было. Но Мэри не постучала в дверь его комнаты, а сразу прошла через вестибюль с только что отполированными дубовыми панелями, сверкающими зеркалами и начищенными до блеска медными решетками и ручками к лестнице. Она забралась на заднее сиденье форда «Зодиак» и уселась там, совершенно несгибаемая, застывшая, держа на коленях дорожный саквояж и глядя прямо перед собой. Я знал и любил ее всю свою жизнь. «Да черт с ним, с твоим проклятым ухажером! — хотелось мне крикнуть ей в лицо. — А как же я без тебя?»

Как выяснилось, она была совершенно права: болезнь ее называлась тоской по дому. Вернувшись в Бомбей, она ни разу больше не жаловалась на сердце; и, как подтверждало недавнее письмо, написанное ее племянницей Стеллой, в девяносто один год все еще оставалась достаточно крепкой.

[1] Довольно, кончено, хватит (*хинди*).

Вскоре после отъезда Мэри отец сообщил нам, что давно уже решил: нам пора «переменить место жительства» и переехать в Пакистан. Как обычно, никаких дискуссий или объяснений не последовало, нам просто был спущен очередной указ. В конце летних каникул отец отказался от квартиры в Уэверли-хаус, и вся семья перебралась в Карачи, а я отправился обратно в свою школу.

В тот же год я получил британское гражданство. Мне тогда безусловно повезло — видимо, несмотря на ту партию в шахматы, Додо все-таки поддержал мою кандидатуру. Именно английский паспорт помог мне вырваться на свободу. Теперь я мог приезжать и уезжать когда захочу, выбирать то, чего мой отец никогда бы не выбрал для меня. И тем не менее я тоже все время ощущал веревки, которыми стянуто было мое горло. Я и сегодня ощущаю их, они тянут меня в разные стороны, то на Восток, то на Запад, и петля затягивается все туже, словно приказывая мне: «Выбирай, выбирай!»

Я упираюсь, всхрапываю, ржу, рычу, бью копытами. Веревки, я не хочу выбирать между вами! Слышите, вы, лассо и арканы, я не выбираю вас ни вместе, ни порознь! Я выбирать отказываюсь!

Примерно через год после того, как мы выехали из Уэверли-хаус, я оказался в этих местах и зашел в дом, чтобы проведать нашего старого портье. Может быть, думал я, мы сыграем с ним в шахматы и он снова сделает из меня отбивную? Вестибюль был пуст, и я постучал в дверь знакомой маленькой комнатки. Ответил мне чей-то чужой голос.

— А Миксер где же? — изумился я, застигнутый врасплох, но тут же смущенно поправился: — Простите, я хотел спросить, где мистер Месир, здешний портье.

— Я здешний портье, сэр, — ответил незнакомый мужчина, — и я ничего не знаю ни о каких миксерах.

■

ДУРС ГРЮНБАЙН

Стихи из книги «Дорогим мертвым»

Перевод с немецкого и вступление С.МОРЕЙНО

Мы живем в удивительное время, мы вступили в необычайно близкие отношения со смертью. Мы изучили ее язык, впустили в свой дом, практически взяли «бразды правления» смертью в свои руки. Миллионы гибнут теперь не от мистически насланных засух или эпидемий, а от бомб или пуль, пущенных солдатами. Человека убивает не злой дух, но прикосновение к неисправной проводке, глоток метилового спирта или взрыв телевизора. Люди калечат друг друга в авто- и авиакатастрофах, отправляются на тот свет в негерметичных ракетах и подводных лодках.

И тем не менее смерть остается странно чуждой нам и, кажется, отчуждается все больше. Утеряна интимная связь с потусторонним миром, переходом в который служила смерть. Христианское воззрение на смерть как очищающую и просветляющую лишь раздражает нас, погруженных в повседневную спешку без очищений и просветлений. Смерть из физической и моральной категории превратилась чуть ли не в эстетическую: она красива или отвратительна.

Понятия жизни и смерти необычайно рафинировались в результате бесконечного усовершенствования орудий смерти и средств защиты жизни. Никогда убийцы не были столь изворотливы, а охрана столь бдительна. Оксюморон «жизнь есть смерть» постепенно утратил глубокий вечный смысл и превратился буквально в насмешку. Мы жадно живем, забыв о существовании смерти, доверившись безликой цивилизации, в то время как «курносая» вторгается в наше собственное существование похожими на сновидения картинами: на залитом солнцем песке пляжа скорчился труп утопленника, и синие трусы смешно топорщатся на заду; на конечной остановке троллейбуса контролеры разбивают подвыпившему «зайцу» череп о фонарный столб; поезд встал на путях возле небольшой пригородной станции, под деревянным навесом носилки с телом, и кто-то задумчиво несет отрезанную поездом ногу; фары упираются в белеющую на мокрой дороге кроссовку, затем виден и сам пострадавший — недвижно лежащий белобрысый подросток, чуть поодаль — машины полиции и «скорой помощи». Подобное зрелище, если, конечно, оно не касается близких нам людей, способно испортить настроение на один-два дня, чтобы после кануть в глубинах памяти. Даже могильные плиты, надгробные камни — эти ведущие под землю двери — стали единицами статистики, костяшками счетов. Над мертвыми городами инков, которые напоминают большинство современных кладбищ, витает чужой запах смерти, и ни фимиам, ни дуновение эпитафий не облегчит нашим душам дорогу вверх или вниз, что, собственно, как учил Гераклит, одно и то же.

«С мертвыми я «на ты», — говорит Дурс Грюнбайн, дрезденский поэт. Дрезден, цитадель мировой культуры, был разрушен 13 февраля 1945 года при налете американской авиации. До последнего времени посреди саксонской столицы чернела церковь Фрауенкирхе — храм, обращенный в груду развалин, памятник бессмысленной жестокости и краткости пути от состояния жизни к состоянию смерти. Хайнц Чеховский: «Я жил рядом с мертвыми, мертвые со мной преломляли хлеб, и музыка Аида есть у меня на пластинках». Рожденные в Дрездене чем-то напоминают рожденных в Варшаве, центр которой был превращен в асфальтовое озеро при подавлении восстания в гетто. Руины этих городов, умело подновленные и подмалеванные, скрывают вырванное с корнем сердце. И вот со смертью, коварно изменчивой спутницей любого из нас, затевает Дурс Грюнбайн опасную, странную игру. Укрощает и подчиняет ее себе. Он восстанавливает на обломках империи своды врат в царство мертвых и начинает переговоры. «Душенька смерть, — заклинает он, — я знаю твои повадки. Ты хранишь наших мертвых так близко, что мы можем их забрать. Ты, в сущности, тривиальна, и нечего задирать нос. Оставь себе свое, но нам верни наше». Его глагол означает лишь то, что он означает: «Слепы, глухи и немы, мы даже ходить не можем. Лежа спиной к спине, учимся познавать друг друга». Дорогим

мертвым — ушедшим в мир, находящийся по ту сторону солнечного, посвящает Дурс Грюнбайн книгу, содержащую тридцать три эпитафии. Воздвигая им памятники, он разбивает заклятие Цирцеи, и оковы чуждого, странного облика спадают со спутников Одиссея.

«Дорогим мертвым» — одна из последних книг тридцатитрехлетнего поэта, считающегося наряду с Уве Кольбе лучшим из молодых на немецком Парнасе. Эти два поэта разделили между собой роли черта и ангела: Уве, обзывавший в свое время Эриха Хонеккера старцем-импотентом — enfant terrible, а Дурс — everybody's darling. Заметим, что оба — саксонцы, «осси», и каждый фактически enfant perdu. Им приходится снимать заклятье с самих себя, своей страны и... со смерти. Книга эпитафий — очередной ход в этой «игре с нулевым результатом», закономерный и неожиданный, ибо обрывается в неизвестность.

***

Была ли это
могила на Балканах, или надпись
на мавзолее (греческом? романском? византийском?),
бессмысленная для бессмертных, где-то
на черноморском побережье?

Отлит ли в бронзе, высечен в граните, выбит
на мраморе тот справедливый,
но невеселый стих: «Вернулся
туда, откуда вышел»? На каком
наречье? И кому, зачем?

***

Беспечное обращение с феном
Привело Хельгу М. к несчастному случаю со
Смертельным исходом. Причина, по которой

Она, обычно столь обстоятельная,
Поспешила начать сушить волосы, неясна.
Именно: лежа в наполовину наполненной ванне,

Женщина, то ли в спешке, то ли
В небрежении к правилам безопасности, взяла фен.
Так все это вышло.
Она была мертва, когда вошел муж.
Под влиянием шока он твердил полицейскому:

«Тринадцати лет супружества как не бывало».

***

С утра в метро нашли мужчину,
Задушенного проволокой. В уши
Ему струился джаз из плейера под курткой,

Залитой кровью. Его бритый череп
Бессильно свешивался с лавки, на которой
Фломастер детский написал: «мудак».

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1994

***

Кто ты, окровавленный труп за рулем,
Жертва сей катастрофы? На скорости двести
Твой «мерседес» не вписался в вираж. При дороге
Росшее дерево — твой рок, и судьба, и могила.

Чтобы вынуть тебя, понадобился автоген. Страшен
Был искореженный корпус, неслыхан ужас,
С каким вначале извлекли твои ноги, руки,
Потом собственно голову с твоим удивленным лицом.

***

Один из амстердамских синема. Премьера
Последней ленты, чей герой звался Джеймс Бонд,
Заканчивалась, когда

К известному критику столицы
Под скрежет, грохот, вопли, канонаду явилась смерть.
Зажегся свет, еще бежали титры,

Его нашел в партере почитатель.
Он мирно спал, уткнувшись в спинку кресла,
Отставленный сценарием инсульта, видя цель.

Как 007, он свой исполнил долг.

***

В Венеции, в огромном чреве автобуса,
Пересекавшего Европу, словно мамонт,
Японского туриста пожилого скрутило судорогой так внезапно,
Что подозренье пало на еду: морских ежей, отравленные спагетти.

Японец стал сучить руками, пот
Холодный оросил чело, он выкатил глаза
И лепетал: «Берлин... Париж... Стокгольм... Мадрид».

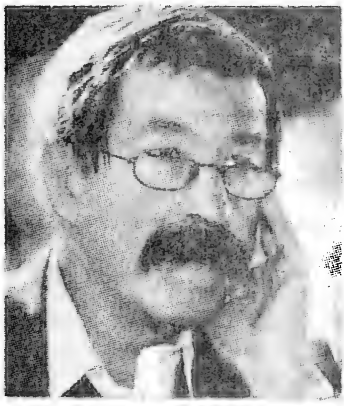
А через день был вынесен диагноз. Приговор
Гласил: кровообращение нарушено вследствие
Удара, но не солнечного, а в связи с избытком
Ватиканов, Эйфелевых башен, Прадо — гостя из Японии хватил

Культурный шок...

Ты, о турист, откуда бы ты ни был,
Японца, для которого все так плохо кончилось,
Не позабудь. Штурмуя на чужбине проспекты и развалины, опомнись:

Быть может, тоже не воротишься домой.

■



ГЮНТЕР ГРАСС
Жестяной барабан

РОМАН. Книга первая
Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Соло на барабане

С опозданием в тридцать шесть лет российский читатель добирается наконец до знаменитого романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан»: журнал «Иностранная литература» публикует первую книгу романа, который в полном виде, в составе четырехтомного собрания сочинений, скоро выйдет в харьковском издательстве «Фолио» (составитель Е.А. Кацева). До сих пор наша читающая публика была знакома лишь с некоторыми сочинениями Грасса, но среди них не было главного его творения, «Жестяного барабана», переведенного едва ли не на все языки мира, удачно экранизированного и сегодня звучащего так же свежо и остро, как три с половиной десятилетия назад.

Когда выйдет собрание сочинений Гюнтера Грасса на русском языке (пусть неполное), это, несомненно, станет событием в литературной жизни России. Пока же событием можно назвать уже публикацию части «Жестяного барабана» в «Иностранке» (напечатать столь «толстый» роман целиком не под силу даже «толстому» журналу).

Сейчас, на пороге нового столетия, когда подводятся итоги века уходящего, в том числе в сфере художественной, можно, не боясь пышных слов, назвать «Жестяной барабан» великим произведением мировой литературы XX века.

В 1959 году мало кому известный автор «абсурдистских» пьес и сборника стихов под странноватым для тех лет названием «Преимущества воздушных кур», каменотес, джазист, график и скульптор, учившийся в Художественной академии Дюссельдорфа, а потом — в Институте изобразительных искусств Западного Берлина, после нескольких лет пребывания в Париже издал в возрасте тридцати двух лет роман «Жестяной барабан», тем самым стремительно и со скандалом ворвавшись прямо на литературный олимп ФРГ. Роман, сразу же ставший объектом ожесточенных критических схваток, очень скоро принес автору мировую славу, сделав его не только одной из центральных фигур на литературной сцене ФРГ, но и чем-то вроде «диктатора литературной моды», хотя сам он себя никогда таковым не считал, а на причудливую разноголосицу критики, доброжелательной или резко враждебной, реагировал внешне спокойно.

У родившегося в 1927 году в Данциге Гюнтера Грасса была весьма характерная для юноши его возраста биография: в 1944 году призван в армию, в 1945-м — ранен, потом попал в американский плен. Позднее — через сорок лет после крушения нацистского рейха — он скажет: «Благодаря легкому... ранению осколком гранаты я встретил день безоговорочной капитуляции великогерманского рейха на больничной койке. До того мое воспитание сводилось к муштре, которая должна была приобщить меня к идеям и целям национал-социализма». Конечно, замечает Грасс, к концу войны «кое-какие смутные сомнения» у него уже возникли, но «о сопротивлении не могло быть и речи»: на том этапе его возмущали главным образом «цинизм военного командования, партийные бонзы, отлынивающие от фронта, а также плохое снабжение. Кроме умения убивать с помощью военной техники, я выучился двум вещам: узнал, что такое страх, и понял, что остался в живых лишь по чистой случайности, — два урока, которые не забыты до сих пор...»

Такова предыстория, многое объясняющая в характере грассовского творчества и в самом формировании его творческой личности. За романом «Жестяной барабан» последовала повесть «Кошки-мышки» (1962), а через год — роман «Собачьи годы». Все эти произведения составили, по признанию самого Грасса, «данцигскую трилогию»; основным связующим элементом этих трех произведений является место действия — город Данциг, на всю жизнь оставивший у автора яркие впечатления детства. Неповторимые фарсово-гротескные картинки этого города еще не раз будут возникать в романах, стихах, публицистике автора.

Если уже «Жестяной барабан» принес ему — наряду с признанием редкостного таланта — грубые упреки и чуть ли не площадную брань читателей и критиков, увидевших в нем «осквернителя святынь», «безбожника», «сочинителя порнографических мерзостей, совращающих немецкую молодежь», то трилогия в целом и вовсе озлобила «вечно вчерашних», как именовали в последние годы тех, кто ничему не научился и продолжал вздыхать по «добрым старым временам», когда так славно жилось «при Адольфе». У этих людей романы Грасса, в пародийно-гротескном виде изображавшие нацизм и тех, кто его поддерживал, могли вызвать только ненависть, которую они пытались прикрыть религиозными, эстетическими и псевдоморальными аргументами. Таких нападок на автора «Жестяного барабана» было великое множество. Почтенным бюргерам, отцам семейств он представлялся чудовищем, к книгам которого прикасаться можно разве что в перчатках. Ореол аморальности окружал его с того самого момента, как сенат вольного ганзейского города Бремена отказался присудить ему литературную премию из-за «безнравственности» его романа.

Весьма активный в те годы публицист Курт Цизель, не расставшийся с нацистским идейным багажом, подал на Грасса в 1962 году в суд за распространение «развратных сочинений». После того как прокурор города Кобленца прекратил дело, Цизель обжаловал его решение, обратившись к генеральному прокурору. Он же послал премьер-министру земли Рейнланд-Пфальц письмо, в котором требовал, чтобы «глава христианского земельного правительства воздействовал на министра юстиции», дабы тот «положил конец скандальной деятельности» Грасса. Иначе, пригрозил Цизель, он обратится «к дружественным депутатам ландтага с просьбой послать запрос министру юстиции» и тем решительно противодействовать неунимающемуся автору «фекальных сочинений».

В итоге противники Грасса, именовавшие его «монстром похабщины», автором «непристойностей», вызывающих «сексуальный шок», и прочее и прочее, получили от судебных инстанций нечто вроде индульгенции. И хотя ПЕН-центр позднее выступил в защиту Грасса, некоторые его коллеги — писатели и критики — не без злорадства наблюдали за тем, как поносят выдающегося художника.

Спустя годы Грасс скажет об этом: «Для меня зло воплощалось не в судебном решении, а в молчании немецкой интеллектуальной общественности, с каким она встретила решение суда. Частично эта реакция, как я ее понял, означала: ну что ж, Грасс получил по зубам; и только немногие, я думаю, поняли, что тем самым и они получили по зубам... Я полагаю, — продолжал Грасс, — что такая нетолерантная, ханжеская позиция распространена в интеллектуальной среде так же широко, как и в обывательской».

Оставляя в стороне совершенно очевидные мотивы, заставившие пронацистски настроенных коллег обливать помоями писателя, яростно осуждавшего националистическое чванство, бредовые расовые идеи и кровопролитную войну, заметим, что эротические пассажи в сочинениях Грасса, выписанные мастерской рукой, уже через короткое время — на фоне сексуальной революции и молодежного движения на Западе, а также рядом с сочинениями многих других европейских и американских авторов — оказались скорее наивно-лукавыми и уж ни в коем случае не имеющими отношения к порнографии.

Они просто были частью изображаемого им мира, изображаемого абсурдистски и гротескно.

Что же касается его «аморализма», то любому, кто внимательно прочтет его произведения, станет ясно, что Грасс выступает не против морали, а против ее выхолощенного, лживого, застывшего образа, укоренившегося в обыденном сознании.

Заметим попутно, что многое из того, за что лицемеры и бездари обрушивались на Гюнтера Грасса, как раз и явилось причиной, что «Жестяной барабан» нельзя было издать у нас. Впрочем, главным препятствием были не только «порнографические мерзости», но прежде всего полное отсутствие пиетета по отношению к стране «реального социализма», представавшему у Грасса в неизменно пародийно-фарсовом виде.

В «Жестяном барабане» все было ново — и фигура рассказчика, и гротескный взгляд на Германию XX века. И все же это роман, прочно связанный с традицией прежде всего плутовского романа; недаром Грасс, говоря о своих предшественниках, всегда упоминает крупнейшего писателя XVII века Гриммельсхаузена с его «Симплициссимусом». Учителей и эстетических наставников у Грасса было немало — например, одну из своих статей он назвал «Мой учитель Дёблин», подчеркивая роль автора знаменитого романа «Берлин, Александерплац» (1929) в становлении собственных эстетических взглядов. Грасса не привлекает масштабное изображение больших событий. Для него важнее внимание к камерной сцене и выразительной детали. Даже трагедия войны предстает порой в фарсовом исполнении, что отнюдь не свидетельствует ни о бесчувственности, ни о цинизме автора. При всем абсурдизме эпизодов войны, они по-настоящему трагичны, выдают глубокую боль художника и органически присущее ему чувство ответственности за преступления немцев.

Но более всего поразил «Жестяной барабан» совершенно непривычной, гениально придуманной фигурой героя — юного Оскара Мацерата, который родился на свет уже с невыносимым отвращением к окружающему миру и с решением никак и никогда не участвовать в делах и делишках этого мира. В три года он перестает расти в знак протеста против неаппетитной жизни взрослых. И только подаренный матерью дешевенький детский барабан примиряет его с жизнью, позволяя найти в барабанной дроби свое призвание, прибежище, свой особый, не соприкасающийся со взрослыми мир. Яростный поклонник барабанной дроби не расстается с игрушкой никогда, выстукивая палочками все, что видит и слышит вокруг. Иными словами, он выражает свое миросозерцание не в слове, не в поэзии или живописи, а в форме непрерывного постукивания палочками по гладкой поверхности этого ударного инструмента. История Германии XX века как соло на барабане и герой, наблюдающий мир со своеобразной дистанции — снизу, «из-под трибун», вряд ли кто оспорит оригинальность и эстетическую новизну подобной художественной идеи.

Оскар с его сугубо негативным отношением к миру взрослых (ведь это они лгут, распутничают, затевают войны, убивают себе подобных) отвечает на зло, творимое ими, «магией разрушения». На жестокость абсурдного мира он отвечает абсурдной жестокостью, на аморализм окружающих — отрицанием любых табу, низвержением любых авторитетов. Его «тотальный инфантилизм» — маска, прикрывающая лицо обиженного и, по сути, несчастного человека.

В интервью 1970 года Грасс сформулировал главную тему своего творчества, доминирующую над остальными при всем разнообразии его художественных мотивов: это тема вины немцев. Во всем, «что касается эпохи, которую я описываю, с которой веду спор и которую хочу осмыслить», «во всем, что с этим связано, — верой, сомнениями, переходом от одной веры к другой, обычно называемым оппортунизмом», — всегда главной темой остается вина нацизма, вина тех, кто его поддерживал, кто соучаствовал и сочувствовал.

После «данцигской трилогии» Грасс напишет еще много замечательных произведений — романов, пьес, стихов, публицистических статей и эссе. В романе «Под местным наркозом» (1969) он, в середине 60-х активно включившийся в политическую борьбу, обратится к теме молодежного движения, поняв и выразив главную его опасность: экстремизм и склонность к террору. Отголоски его политического предвыборного турне, предпринятого в пользу социал-демократов, в сочетании со столь характерным для него возвращением к эпизодам нацистского прошлого, станут предметом изображения в художественно-публицистическом произведении «Из дневника улитки» (1972), где он решительно выскажется против насильственного, немирного способа преобразования общества. В метафоре «улитки», передвигающейся, как известно, не с самой большой скоростью, он выразит свое представление о подлинном прогрессе, несовместимом с революционными потрясениями. В 70—80-е годы, как и многие писатели в разных уголках мира, он обратится к теме судеб человечества, над которым в те годы отчетливо нависла опасность тотальной ядерной войны. Будущее человека, пути цивилизации не могли не занимать Грасса — об этом он в присущей ему гротескно-абсурдистской, фантастической форме написал в романах «Палтус» (1977) и «Крысиха» (1986).

Быть может, самый внимательный и зоркий, самый тонкий и афористичный наблюдатель и комментатор немецкой истории, человек, который любит свою страну и желает ей добра, Грасс в последние годы выступил с множеством публицистических эссе, откликнувшись, в частности, на проблему объединения Германии. И здесь преобладающей нотой стали опасение и тревога: не вернутся ли к объединившимся немцам былое националистическое чванство и ощущение превосходства над остальными народами? Ведь уже выплеснулись на улицы некоторых городов волны неонацистской ксенофобии, жертвами которой стали турки и цыгане, румыны и вьетнамцы.

По его мнению, неоднократно высказанному в публицистике последних лет, слово «Освенцим», понятие «Освенцим», преступление геноцида позорным грузом лежит на ставшем уже единым государстве. «Тот, кто сейчас думает о Германии и ищет ответа на немецкий вопрос, должен включить в круг своих размышлений «Освенцим» как «пример незаживающей травмы...»

Впрочем, когда и кто хотел слышать то, что слышать неприятно? Не потому ли одна из статей Грасса называется «Зачем я говорю? Кто еще меня слушает?». Для него очевидно: «державность», тем более «великодержавность», «великодержавный дух» не принесут народу и человеку ни процветания, ни спокойствия, ни достоинства.

Как бы ни обрушивались — в прошлом и настоящем — недруги и недоброжелатели на Гюнтера Грасса, он остается крупнейшим писателем современности, оказавшим заметное влияние не только на духовную жизнь ФРГ, но и на художественно-эстетическое развитие XX века. Его взнос в сокровищницу искусства уходящего столетия трудно переоценить. И главным, самым замечательным его художественным достижением был и остается эпический первенец — «Жестяной барабан».

ИРИНА МЛЕЧИНА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И СОБЫТИЯ В КНИГЕ ВЫДУМАНЫ АВТОРОМ. ЛЮБОЕ СХОДСТВО С ЖИВЫМИ ЛИБО УМЕРШИМИ ЛЮДЬМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЧИСТО СЛУЧАЙНЫМ.

АННЕ ГРАСС

Просторная юбка

Не скрою: я пациент специального лечебного учреждения, мой санитар следит за мной, он почти не спускает с меня глаз, ибо в двери есть смотровое отверстие, а глаз моего санитара — он того карего цвета, который не способен видеть насквозь голубоглазого меня.

И следовательно, мой санитар никак не может быть моим врагом. Я даже полюбил его, этого соглядатая за дверью, и едва он переступает порог моей комнаты, рассказываю ему всякие эпизоды из своей жизни, чтобы он узнал меня поближе, несмотря на помеху в виде смотрового глазка. Добряк судя по всему ценит мои рассказы, ибо стоит мне сочинить для него очередную побасенку, как он, желая выразить свою признательность, демонстрирует мне очередной, новейший образец своего рукоделия. Оставим в стороне вопрос, можно назвать его художником или нет, хотя не исключено, что выставка его творений стяжала бы одобрительные отклики в прессе и даже привлекла бы несколько покупателей. Он вывязывает из обыкновенной бечевки, которую подбирает и затем распутывает в палатах у своих пациентов, когда тех покинут посетители, многоузловых чудищ, затем обмакивает их в гипс, дает высохнуть и накалывает на вязальные спицы, укрепленные на деревянных брусочках.

Порой он носится с мыслью делать свои творения цветными, но я его отговариваю. Я указываю на мою крытую белым лаком металлическую кровать и прошу его мысленно представить себе это совершенство в размалеванном виде. Тогда он в ужасе всплескивает над головой своими санитарскими руками, пытается одновременно выразить на своем, несколько неподвижном лице все мыслимые формы ужаса и отрекается от своих многоцветных планов.

Итак, моя казенная, металлическая, крытая белым лаком кровать служит образцом. Для меня она даже нечто большее: моя кровать — это наконец-то достигнутая цель, мое утешение, она могла бы стать моей верой, дозволь начальство моего заведения предпринять некоторые усовершенствования: я бы сделал повыше решетку кровати, чтоб никто не подходил ко мне слишком близко.

Один раз в неделю день посещений разрывает мою переплетенную белыми металлическими прутьями тишину. Тогда приходят они, те, кто желает меня спасти, те, кому доставляет удовольствие любить меня, те, кто ценит, уважает и хотел бы поближе узнать во мне самих себя. До чего ж они слепы, неврастеничны, невоспитанны. Они царапают маникюрными ножницами по белому лаку моей решетки, они рисуют ручками и синим карандашом продолговатых непристойных человечков. Мой адвокат, взрывая комнату громогласным «привет!», всякий раз напяливает свою нейлоновую шляпу на левый столбик в изножье кровати. И ровно на столько, сколько продолжается его визит, — а адвокаты могут говорить долго — он подобным актом насилия лишает меня равновесия и бодрости духа.

После того как посетители разложили свои гостинцы на белой, крытой клеенкой тумбочке под акварелью с анемонами, после того как им удалось поведать мне о своих текущих либо планируемых идеях по спасению и убедить меня, кого они без устали рвутся спасать, в высоком уровне своей любви к ближнему, их снова начинает тешить собственное бытие, и они прощаются со мной. Затем приходит санитар — проветрить и собрать бечевку от пакетов с гостинцами. Нередко у него еще остается время, чтобы, присев после этого на мою кровать и распутывая бечевку, распространять вокруг себя тишину до тех пор, пока я не начинаю называть тишину именем Бруно, а Бруно — тишиной.

Бруно Мюнстерберг — я имею в виду своего санитара — на мои деньги купил мне пятьсот листов писчей бумаги. Бруно, неженатый, бездетный и родом из Зауэрланда, готов, если запасов не хватит, снова наведаться в маленькую лавчонку писчебумажных товаров, где торгуют также и детскими игрушками, дабы обеспечить меня необходимой, нелинованной площадкой для моей, будем надеяться, надежной памяти. Никоим образом не мог бы я попросить об этой услуге своих визитеров, скажем адвоката или Клеппа. Хлопотливая, прописанная мне любовь наверняка не позволила бы моим друзьям приносить с собой нечто столь опасное, как бывает опасна чистая бумага, и предоставлять ее в распоряжение моему непрерывно извергающему слова духу.

Когда я сказал Бруно: «Ах, Бруно, не купишь ли ты мне пятьсот листов невинной бумаги?», тот закатил глаза к потолку и, воздев в том же направлении указательный палец, что невольно устремляло мысли к небесам, ответил: «Вы подразумеваете белую бумагу, господин Оскар?»

Я остался при своем словечке «невинная» и попросил Бруно употребить в лавочке именно его. Вернувшись ближе к вечеру с пачкой, он предстал передо мной как Бруно, обуреваемый мыслями. Многократно и подолгу задерживал он взгляд на потолке, откуда черпал все свои откровения, и немного спустя высказался: «Вы порекомендовали мне должное слово. Я попросил у них невинной бумаги, и продавщица сперва залилась краской и лишь потом выполнила мою просьбу».

Опасаясь затяжной беседы о продавщицах писчебумажных лавок, я раскаялся, что назвал бумагу невинной, а потому молчал, дожидаясь, когда Бруно выйдет из комнаты, и лишь после этого вскрыл упаковку, содержащую пятьсот листов бумаги.

Я не стал слишком долго держать и взвешивать на руке упругую, неподатливую пачку. Я отсчитал десять листов, запрятал в тумбочку остальные, авторучку я обнаружил в ящике рядом с альбомом фотографий; ручка заправлена, недостатка в чернилах быть не должно, как же мне начать?

При желании рассказ можно начать с середины и, отважно двигаясь вперед либо назад, сбивать всех с толку. Можно работать под модерниста, отвергнуть все времена и расстояния, дабы потом возвестить самому или передоверить это другим, что наконец-то только что удалось разрешить проблему пространства и времени. Еще можно в первых же строках заявить, что в наши дни вообще нельзя написать роман, после чего, так сказать, у себя же за спиной сотворить лихой триллер, чтобы в результате предстать перед миром как единственно мыслимый сегодня романист. Я выслушивал также слова о том, что это звучит хорошо, что это звучит скромно, когда ты для начала заявляешь: нет больше романных героев, потому что нет больше индивидуальностей, потому что индивидуальность безвозвратно утрачена, потому что человек одинок, каждый человек равно одинок, не имеет права на индивидуальное одиночество и входит в безымянную и лишенную героизма одинокую толпу. Так оно, пожалуй, и есть и имеет свой резон. Но что касается меня, Оскара, и моего санитара Бруно, я бы хотел заявить: мы с ним оба герои, герои совершенно различные, он — за смотровым глазком, я — перед глазком; а если он открывает мою дверь, мы оба, при всей нашей дружбе и одиночестве, отнюдь не превращаемся в безымянную, лишенную героизма толпу.

Я начинаю задолго до себя, поскольку никто не смеет описывать свою жизнь, если он не наделен достаточным терпением, чтобы, перед тем как наметить вехи собственного бытия, упомянуть на худой конец хоть половину своих дедов и бабок. Позвольте же мне всем вам, мои друзья и мои еженедельные посетители, принужденным вести запутанную жизнь за стенами моего специализированного лечебного учреждения, всем вам, даже и не подозревающим о моих запасах писчей бумаги, представить бабку Оскара с материнской стороны.

Моя бабка Анна Бронски сидела на исходе октябрьского дня в своих юбках на краю картофельного поля. До обеда можно было наблюдать, как бабка умело сгребает вялую ботву в аккуратные бурты, к обеду она съела подслащенный сиропом кусок хлеба с жиром, затем последний раз промотыжила поле и, наконец, осела в своих юбках между двух почти доверху наполненных корзин. Рядом с подметками ее сапог, что стояли торчком, устремясь носками друг к другу, тлел костерок из ботвы, порой астматически оживая и старательно рассылая дым понизу над едва заметным уклоном земной коры. Год на дворе был девяносто девятый, а сидела бабка в самом сердце Кашубской земли, неподалеку от Биссау, но еще того ближе к кирпичному заводу перед Рамкау, за Фиреком, где шоссе между Диршау и Картхаусом вело на Брентау; сидела спиной к черному лесу Гольдкруг и обугленной на конце ореховой хворостиной заталкивала картофелины под горячую золу.

Если я только что с особым нажимом помянул юбки моей бабушки, если я, будем надеяться, вполне отчетливо сказал: «она сидела в своих юбках», да и главу назвал «Просторная юбка», значит, мне известно, чем я обязан этой части одежды. Бабка моя носила не одну юбку, а целых четыре, одну поверх другой. Причем она не то чтобы носила одну верхнюю и три нижних юбки, нет, она носила четыре так называемых верхних, каждая юбка несла на себе следующую, сама же бабка носила юбки по определенной системе, согласно которой их последовательность изо дня в день менялась. То, что вчера помещалось на самом верху, сегодня занимало место непосредственно под этим верхом, вторая юбка оказывалась третьей, то, что вчера было третьей юбкой, сегодня прилегало непосредственно к телу, а юбка, вчера самая близкая к телу, сегодня выставляла на свет свой узор, вернее отсутствие такового: все юбки моей бабушки Анны Бронски предпочитали один и тот же картофельный цвет, не

иначе этот цвет был ей к лицу.

Помимо такого отношения к цвету, юбки моей бабушки отличал непомерный расход ткани. Они с размахом круглились, они топорщились, когда задувал ветер, сникали, когда ветер отступал, трепетали, когда он уносился прочь, и все четыре летели перед моей бабкой, когда ветер дул ей в спину. А усевшись, она группировала все четыре вокруг себя.

Помимо четырех постоянно раздутых, обвисших, падающих складками либо пустых, стоящих колом возле ее кровати, бабка имела еще и пятую юбку. Эта пятая решительно ничем не отличалась от прочих четырех картофельного цвета. К тому же пятой юбкой не всегда была одна и та же пятая юбка. Подобно своим собратьям — ибо юбки наделены мужским характером, — она тоже подвергалась замене, входила в число четырех надеванных и, подобно всем остальным, когда наставал ее черед, то есть каждую пятую пятницу, шла прямиком в корыто, по субботам висела на веревке за кухонным окном, а потом ложилась на гладильную доску.

Когда моя бабка после такой приборочно-пирогово-стирально-гладильной субботы, после дойки и кормления коровы целиком погружалась в лохань, сообщала что-то мыльному раствору, потом давала воде снова опасть, чтобы в цветастой простыне сесть на край постели, перед ней на полу пластались четыре надеванные юбки и одна свежевыстиранная. Бабка подпирала указательным пальцем правой руки нижнее веко правого глаза, ничьих советов не слушала, даже своего брата Винцента и то нет, а потому быстро принимала решение. Стоя босиком, она пальцами ноги отталкивала в сторону ту юбку, которая больше других утратила блеск набивной картофельной краски, а освободившееся таким образом место занимала свежевыстиранная.

Во славу Иисуса, о котором у бабки были вполне четкие представления, воскресным утром для похода в церковь в Рамкау бабка обновляла измененную последовательность юбок. А где же бабка носила стираную юбку? Она была женщина не только опрятная, она была женщина тщеславная, а потому и выставляла лучшую юбку напоказ, да еще по солнышку, да при хорошей погоде!

Но у костерка, где пеклась картошка, бабка моя сидела после обеда в понедельник. Воскресная юбка в понедельник стала ей на один слой ближе, а та, что в воскресенье согревалась теплом ее кожи, в понедельник с самым понедельничным видом тускло облекала ее бедра. Бабка насвистывала, не имея в виду какую-нибудь песню, и одновременно выгребала из золы ореховой хворостиной первую испекшуюся картофелину. Картофелину бабка положила подальше, возле тлеющей ботвы, чтобы ветер мог овеять и остудить ее. Затем острый сук наколол подгорелый, с лопнувшей корочкой клубень и поднес его ко рту, и рот теперь перестал свистеть, а вместо того начал сдувать золу и землю с зажатой между пересохшими, треснувшими губами кожуры.

При этом бабушка прикрыла глаза. Потом же, решив, что сдула сколько надо, она открыла сперва один, потом другой глаз, куснула хотя и редкими, но в остальном безупречными резцами, снова раздвинула зубы, держа половинку слишком горячей картофелины, мучнистой и курящейся паром, в распахнутом рту и глядя округленными глазами поверх раздутых, вдыхающих дым и окружающий воздух ноздрей на поле до близкого горизонта с рассекающими его телеграфными столбами и на верхнюю треть трубы кирпичного завода.

Между телеграфных столбов что-то двигалось. Бабушка закрыла рот, поджала губы, прищурила глаза и пожевала картофелину. Что-то двигалось между телеграфных столбов. Что-то там прыгало. Трое мужчин скакали между телеграфных столбов, трое летели к трубе, потом обежали ее спереди, а один, с виду короткий и широкий, повернул, разбежался по новой и перемахнул через штабеля кирпичей, а двое других, тощие и длинные, не без труда, но тоже перемахнули через кирпичи и опять припустили между столбов, а широкий и короткий петлял, как заяц, и явно спешил больше, чем тощие и длинные, чем те прыгуны, а тем двум пришлось снова броситься к трубе, потому что короткий уже перемахнул через нее, когда те на расстоянии в два прыжка от него еще только разбегались и вдруг исчезли, махнув рукой, так это все выглядело со стороны, да и короткий на середине прыжка рухнул с трубы за горизонт.

Там они все и остались, сделали перерыв, или, может быть, переоделись, или начали ровнять свежие кирпичи, получая за это плату.

Когда же моя бабка, решив воспользоваться перерывом, хотела наколоть вторую картофелину, она промахнулась. Потому как тот, что вроде был широкий и короткий, перелез в том же обличье через горизонт, будто через обычный забор, будто он оставил обоих преследователей по ту сторону забора, между кирпичей, либо на шоссе на Брентау, но все равно он очень спешил, хотел обогнать телеграфные столбы, совершал длинные, замедленные прыжки через поле, так что от его ног во все

стороны разлетались комья грязи, а сам он выпрыгивал прочь из этой грязи, и как размашисто он прыгал, так же упорно лез он по глине. Иногда он, казалось, прилипает ногами, потом зависает в воздухе ровно настолько, чтобы хватило времени ему, короткому и широкому, утереть лоб, прежде чем снова упереться опорной ногой в то свежевспаханное поле, которое всеми своими бороздами вместе с пятью моргенами под картофель сбегало в овраг.

И он добрался до оврага, короткий и широкий, но едва исчез в нем, как оба других, тощие и длинные, которые, вероятно, успели тем временем заглянуть на кирпичный завод, тоже перевалили через линию горизонта и начали оба, тощие и длинные, но не сказать чтобы худые, вязнуть в глине, из-за чего бабка моя опять не смогла наколоть картофелину, потому что не каждый день можно увидеть, как трое взрослых людей, хоть и разного роста, скачут между телеграфных столбов, чуть не обламывают трубу на кирпичном заводе, и потом друг за дружкой, сперва короткий и широкий, потом тощие и длинные, но все трое с одинаковым трудом, упорно, таща все больше глины на подметках, скачут во всем параде по полю, вспаханному два дня назад Винцентом, и исчезают в овраге.

Итак, все трое исчезли, и моя бабка могла наконец перевести дух и наколоть почти остывшую картофелину. Она небрежно сдула с кожуры землю и золу, целиком засунула картофелину в рот, подумала, если, конечно, вообще о чем-нибудь думала: они не иначе как с кирпичного, — и начала двигать челюстями, когда один выскочил из овражка, над черными усами дико сверкнули глаза, сделал два прыжка — до костра, возник сразу и перед, и сзади, и рядом с костром, выругался, задрожал от страха, не знал, куда бежать, назад нельзя, потому что сзади надвигались из овражка тощие и длинные, и рухнул на колени, и глаза его чуть не выскочили из орбит, и пот выступил на лбу. Задыхаясь, с дрожащими усами, он позволил себе подползти поближе, доползти до самых ее подметок, почти вплотную подполз он к бабке, поглядел на нее, словно маленький и широкий зверь, так что бабка вздохнула, перестала жевать, опустила подметки на землю, не думала больше ни о заводе, ни о кирпичах, ни об обжигальщиках, ни о загладчиках, а просто-напросто подняла юбку, нет, подняла сразу все четыре, подняла достаточно высоко, чтобы тот, который был вовсе не с кирпичного, короткий, но широкий, мог юркнуть под них, под все четыре, и он скрылся вместе со своими усами и не походил больше на зверя, и был не из Рамкау и не из Фирека, а был заодно со своим страхом под юбками, и больше не падал на колени, и стал не коротким и не широким, и, однако же, занял свое место, забыл про дрожь, и про пыхтение, и про руку на колене, и стало тихо, как в первый день, а может, как в день последний, слабый ветерок лепетал в тлеющей ботве, телеграфные столбы беззвучно рассчитывались на первый-второй, трубы кирпичного завода вернулись в исходное положение, она же, моя бабка, благоразумно разгладила первую юбку поверх второй, почти не чувствовала его под четвертой юбкой и вместе со своей третьей юбкой никак не могла взять в толк, что там совершается нового и удивительного для ее кожи. И поскольку это было удивительно, хотя поверху все лежало вполне благопристойно, а во-вторых и в-третьих, нельзя было взять в толк, она выгребла из золы две-три картофелины, достала из корзины, что под правым локтем, четыре сырых, по очереди сунула каждую сырую бульбу в горячую золу, присыпала сверху еще больше золы, поворошила, отчего костер вновь начал чадить, — а что ей еще оставалось делать?

Но едва юбки моей бабушки успокоились, едва густой чад тлеющей ботвы, сбитый с толку сильным падением на колени, переменой места и помешиванием, снова желтизной заволок поле и, сообразуясь с направлением ветра, пополз на юго-запад, как из оврага выплюнуло обоих тощих и длинных, которые гнались за коротким и широким, обитающим ныне под ее юбками, и тут выяснилось, что они худые, длинные и по долгу службы носят мундиры полевой жандармерии.

Они чуть не промчались мимо бабки. Никак, один из них перемахнул через костерок? Но вдруг они спохватились, что на них форменные сапоги, а стало быть, есть чем думать, притормозили, повернулись, затопали сапогами — оказались при сапогах и мундирах в дыму, кашляя, спасли мундиры из дыма, увлекая дым за собой, не перестали кашлять, заговорили с моей бабкой и поинтересовались, не видела ли она Коляйчека, потому что она непременно должна была его видеть, раз она сидит здесь у оврага, а Коляйчек как раз ушел по оврагу.

Бабка моя Коляйчека не видела, потому что никакого Коляйчека не знала. Она спросила, не с кирпичного ли он, часом, завода, потому что никого, кроме тамошних, она не знает. Мундиры описали ей Коляйчека как человека, который не имеет к кирпичному никакого отношения, а из себя короткий и широкий. Бабка вспомнила, что вроде бы видела, как бежал один такой, и, определяя направление побега, указала дымящейся картофелиной на остром суку в направлении Биссау, которое, если

верить картофелине, лежало, считая от завода, между шестым и седьмым столбами. Но был ли этот бегун Коляйчек, моя бабка не знала, она извинилась за свою неосведомленность, сославшись на огонь, что тлел перед подошвами ее сапог: у нее-де и без того хватает с ним хлопот, он горит еле-еле, вот почему ее не занимают люди, которые пробегают мимо либо стоят и глотают дым, а уж тем паче ее не занимают люди, которых она не знает, ей известны лишь те, кто из Биссау, Рамкау, Фирека или с кирпичного, с нее и довольно.

Сказав эти слова, бабка вздохнула, слегка, но достаточно громко, так что мундиры полюбопытствовали, с чего это она так развздыхалась. Она кивком указала на свой костерок, очевидно, в том смысле, что вздыхает она из-за слабого огня да малость из-за людей в дыму, потом откусила своими редкими резцами половину картофелины, всецело отдавшись жеванию, а глаза закатила вверх и налево.

Мундиры полевой жандармерии решительно не могли истолковать отсутствующий взгляд бабки, не знали, стоит ли поискать за телеграфными столбами в направлении Биссау, и поэтому время от времени тыкали своими карабинами в соседние, еще не занявшиеся кучи ботвы. Потом, следуя внезапному побуждению, разом опрокинули обе полные корзины, что стояли под локтями у бабки, и никак не могли уразуметь, почему из плетенок покатились им под ноги сплошь картофелины, а никакой не Коляйчек. Исполненные недоверия, они обошли картофельные бурты, словно Коляйчек мог за такое короткое время укрыться соломкой на зиму, они кололи уже с умыслом, но так и не дождались крика проколотого. Их подозрения устремлялись даже на самый чахлый кустарник, на каждую мышиную норку, на целую колонию кротовых холмиков и — снова и снова — на мою бабку, которая сидела, словно приросши к месту, испускала вздохи, закатывала глаза, но так, чтобы белок оставался виден, перечисляла имена всех кашубских святых, но слабо тлеющий костерок и две опрокинутых корзины навряд ли могли объяснить слишком скорбные и слишком громкие вздохи.

Мундиры простояли около бабки с полчаса, не меньше. Порой они стояли поодаль, порой ближе к огню, прикидывали на глаз расстояние до трубы кирпичного завода, намеревались прихватить и Биссау, но отсрочили атаку, подержали над огнем лиловые руки, пока не получили от моей бабки, которая все так же непрерывно вздыхала, каждый по лопнувшей картофелине на палочке. Но в процессе пережевывания мундиры вспомнили, что носят мундиры, отбежали на расстояние брошенного камня через поле, вдоль стеблей дрока по краю оврага, спугнули зайца, который тоже не был Коляйчеком. У костра они снова обнаружили мучнистые, исходящие горячим паром бульбы, а потому из миролюбия и слегка утомясь приняли решение снова покидать картошку в корзины, опрокинуть которые сочли ранее своим долгом.

Лишь когда вечер выдавил из октябрьского неба тонкий, косой дождь и чернильные сумерки, они торопливо и без всякой охоты совершили атаку на темнеющий вдали межевой камень, но после этого броска отказались от дальнейших попыток. Еще недолго переминались с ноги на ногу, подержали руки благословляющим жестом над полузалитым, во все стороны чадящим костерком, еще закашлялись от зеленого дыма, залились слезой от дыма желтого, потом с кашлем и слезами сапоги двинулись в сторону Биссау... Раз Коляйчека здесь нет, значит, Коляйчек в Биссау. Полевые жандармы всегда допускают лишь две возможности.

Дым от медленно умирающего огня окутал мою бабку наподобие пятой юбки, до того просторной, что бабка в своих четырех юбках, со вздохами и с именами всех святых на устах тоже оказалась под юбкой, словно Коляйчек. Лишь когда мундиры обратились в подпрыгивающие точки, медленно уходящие в вечер между телеграфными столбами, бабка поднялась, да с таким трудом, словно успела за это время пустить корни, а теперь, увлекая за собой корешки и комья земли, прерывает едва начавшийся процесс роста.

Коляйчеку стало холодно, когда внезапно он оказался без колпака, под дождем, широкий и короткий. Он поспешно застегнул штаны, которые страх и безграничная потребность в укрытии повелели ему держать под юбкой в расстегнутом виде. Опасаясь слишком скорого охлаждения своего прибора, он торопливо пробежал пальцами по пуговицам, ибо в такую погоду легче легкого подцепить осеннюю простуду.

Бабка моя обнаружила под золой еще четыре горячие картофелины. Три из них она дала Коляйчеку, одну — самой себе и, прежде чем надкусить свою, еще спросила, не с кирпичного ли он завода, хотя уже могла бы понять, что Коляйчек взялся не с кирпичного, а из другого места. Потому она, не обращая внимания на его ответ, взвалила на него корзинку, что полегче, сама согнулась под той, что тяжелее, одна рука у нее осталась свободной для граблей и для мотыги, и в своих четырех юбках, помахивая корзиной, картошкой, граблями и мотыгой, двинулась по направлению Биссау-Аббау.

Собственно, это было не само Биссау. Это было скорее в направлении Рамкау. Кирпичный завод они оставили по левую руку, дигаясь к черному лесу, где располагался Гольдкруг, а за ним уже шло Брентау. Но перед лесом в ложбине как раз и лежало Биссау-Аббау. Вот туда и последовал за моей бабкой короткий и широкий Йозеф Коляйчек, который уже не мог расстаться с четырьми юбками.

Под плотами

Отнюдь не так просто, лежа здесь, на промытой мылом металлической кровати специального лечебного заведения, под прицелом стеклянного глазка, оснащенного взглядом Бруно, воспроизвести полосы дыма над горящей кашубской ботвой да пунктирную сетку октябрьского дождя. Не будь у меня моего барабана, который, при умелом и терпеливом обращении, вспомнит из второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге главное, и не располагай я санкцией заведения на то, чтобы от трех до четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жестянке, я был бы разнесчастный человек без документально удостоверенных деда и бабки.

Во всяком случае барабан мой говорит следующее: в тот октябрьский день года девяносто девятого, покуда дядюшка Крюгер в Южной Африке с помощью щетки взбивал свои кустистые англофобские брови, между Диршау и Картхаусом, неподалеку от кирпичного завода в Биссау, под четырьмя одноцветными юбками в чаду, страхах, стонах, под косым дождем и громким поминанием всех святых, под скудоумные расспросы и затуманенные дымом взоры двух полевых жандармов короткий, но широкий Йозеф Коляйчек зачал мою мать Агнес.

Анна Бронски, моя бабушка, успела еще под черным покровом той же ночи переменить имя: она позволила стараниями щедро расточающего святые дары патера переименовать себя в Анну Коляйчек и последовала за своим Йозефом хоть и не совсем в Египет, но все же в центральный город провинции, что на реке Моттлау, где Йозеф нашел работу плотогона, а вдобавок — правда, на время — укрылся от жандармов.

Лишь с тем, чтобы несколько усилить напряжение, я покамест не называю город в устье Моттлау — хотя он вполне заслуживает упоминания, по меньшей мере как то место, где родилась моя матушка. Под конец июля в году ноль ноль — тогда как раз было принято решение удвоить кайзеровскую программу по строительству военного флота — моя матушка под знаком Льва явилась на свет. Вера в себя и мечтательность, великодушие и тщеславие. Первый дом, именуемый также Domus vitae[1], асцендент: впечатлительные Рыбы. Констелляция такая: Солнце в оппозиции к Нептуну, седьмой дом, или Domus matrimonii uxoris[2], сулит осложнения. Венера в оппозиции к Сатурну, который, насколько известно, вызывает заболевания печени и селезенки, именуется «кислой» планетой, властвует в Козероге и празднует поражение во Льве, который потчует Нептуна угрями, а взамен получает крота, который любит красавку, лук и свеклу, изрыгает лаву и подбавляет кислоты в вино: совместно с Венерой он обитал в восьмом доме, доме смерти, навевал мысли о беде, в то время как зачатие на картофельном поле сулило дерзновеннейшее счастье под покровительством Меркурия в доме родственников.

Здесь я не могу не вставить протест матушки, которая во все времена решительно отрицала, что была зачата на картофельном поле. Правда, ее отец — это она не могла не признать — уже там предпринял первые попытки, но само его положение, равно как и поза Анны Бронски, были слишком неудачно выбраны, чтобы создать Коляйчеку необходимые условия для оплодотворения.

— Думаю, это случилось в ночь бегства или на возу у дяди Винцента, а то и вовсе на Троиле, когда мы нашли у сплавщиков прибежище и кров.

Такими речами матушка обычно датировала свое зачатие, и бабушка, кому, казалось бы, следует это лучше знать, кротко кивала и сообщала миру:

— Само собой, донюшка, твоя правда, не иначе на возу это было, а то и вовсе на Троиле, только уж никак не на поле, тогда и ветер дул, и дождь лил как из ведра.

Винцентом звали брата моей бабки. Рано овдовев, он совершил паломничество в Ченстохову, и Матка Боска Ченстоховска повелела ему признать ее будущей королевой Польши.

С той поры Винцент только и делал, что рылся в диковинных книгах, отыскивал в каждой фразе подтверждение прав Богоматери на польский престол, а сестре пере-

[1] Дом жизни *(лат.)*.
[2] Дом семейный/супружеский *(лат.)*.

доверил все хлопоты по двору и полю. Сын Винцента Ян, в то время четырех лет от роду, хилый, плаксивый мальчишка, пас гусей, собирал пестрые картинки и — на удивление рано — почтовые марки.

Вот на этот самый двор, благословенный небесной королевой Польши, бабка доставила корзины с картофелем, а заодно — и Коляйчека, таким образом, Винцент тоже узнал, что произошло, а узнав, помчался в Рамкау и там принялся барабанить в дверь к патеру, дабы тот, вооружась святыми дарами, вышел и обручил девицу Анну Йозефу. Не успел еще заспанный служитель Бога преподать свое благословение, чрезмерно затянувшееся из-за неудержимой зевоты, и, вознагражденный хорошим шматом сала, обратить к публике свою священную спину, как Винцент запряг свою кобылу, разместил новобрачных на соломе и пустых мешках, усадил озябшего и хнычущего Яна возле себя на козлы, после чего сказал лошади, чтобы та ехала, никуда не сворачивая, прямо, в ночь: новобрачные торопились.

Среди все еще темной, но уже изрядно поистраченной ночи наши ездоки достигли лесоторгового порта, что лежал в главном городе провинции. Дружки, которые, подобно Коляйчеку, сплавляли плоты, приняли парочку беглецов. Винцент мог повернуть и гнать свою конягу назад в Биссау; корова, коза, свинья с поросятами, восемь гусей и дворовая собака ждали, когда им зададут корм, а сын Ян ждал, когда его уложат в постель, потому что у него была небольшая температура.

Йозеф Коляйчек скрывался три недели, приучил свои волосы к другой прическе, с пробором, сбрил усы, обзавелся безупречными бумагами и получил работу как плотогон Йозеф Вранка. Но зачем понадобилось Коляйчеку предъявлять лесоторговцам и хозяевам лесопилок документы на имя сброшенного — о чем власти не были проинформированы — во время драки с плота и утонувшего в Буге пониже Модлина Йозефа Вранки? А затем, что Коляйчек, некоторое время назад покинувший сплавное дело, работал на лесопильне под Швецем и там повздорил с мастером из-за вызывающе размалеванного в бело-красный цвет его, Коляйчека, рукой забора. И, чтобы некоторым образом придать убедительность своим забористым ругательствам, хозяин выломил из забора две планки, одну красную, другую белую, измочалил сугубо польские планки о кашубскую хребтину Коляйчека, отчего возникло такое количество щепок для растопки, что избитый счел себя совершенно вправе в следующую же, скажем так, яснозвездную ночь пустить красного петуха на свежевыстроенную и чисто выбеленную лесопильню, во славу хоть и разделенной, но именно из-за раздела единой Польши.

Итак, Коляйчек был поджигатель, поджигатель-рецидивист, ибо в последовавший затем период лесопильни и дровяные склады по всей Западной Пруссии служили отличной растопкой для двухцветья национальных чувств. И, как всякий раз, когда речь идет о будущем Польши, Дева Мария была и во время этих пожаров на стороне поляков, есть даже очевидцы, причем некоторые, возможно, живы и по сей день, своими глазами видевшие увенчанную короной Богоматерь на горящих стропилах многих лесопилен. А толпа, которая всегда собирается при больших пожарах, якобы запевала хорал во славу Богородицы, Матери Божьей — отсюда нетрудно предположить, что на Коляйчековых пожарах царила торжественная обстановка и приносились клятвы.

И сколь отягощен прошлым был разыскиваемый поджигатель Коляйчек, столь беспорочен, бесприютен, безобиден, слегка ограничен, никем на свете не разыскиваем, почти никому не известен был плотовщик Йозеф Вранка, регулярно деливший свой жевательный табак на ежедневные порции, покуда река Буг не приняла его в свои воды, а три дневные пайки табака остались у него в куртке вместе с документами. А поскольку утонувший Вранка никак не мог объявиться вновь и никто не задавал заковыристых вопросов по поводу его исчезновения, Коляйчек, имевший примерно ту же стать и такой же круглоголовый, как и утопленник, залез поначалу в его куртку, потом в его официально-документальную с незапятнанным прошлым шкуру, отучился курить трубку, перешел на жевательный табак, позаимствовал даже сугубо личные черты Вранки, дефекты произношения, к примеру, и все последующие годы изображал надежного, бережливого, малость заикающегося плотогона, который пускал вплавь по воде целые леса с берегов Немана, Бобра, Буга и Вислы. Остается лишь добавить, что этот Вранка у лейб-гусаров кронпринца, возглавляемых Маккензеном, дослужился до ефрейтора, поскольку настоящий Вранка еще не был на службе, тогда как Коляйчек же, четырьмя годами старше, чем утонувший, успел очень плохо проявить себя у артиллеристов под Торном.

Наиболее опасные из всех грабителей, убийц и поджигателей, еще не перестав грабить, убивать и поджигать, ждут, когда подвернется возможность заняться делом более почтенным. И многим подвертывается шанс — иногда отысканный, иногда выпавший: Коляйчек, став Вранкой, стал одновременно хорошим и настолько исце-

ленным от своего огневого порока супругом, что его приводил в дрожь даже вид обычной спички. Спичечные коробки, свободно и безмятежно лежавшие на кухонном столике, никогда не были застрахованы от его посягательств, хотя, казалось бы, именно он способен изобрести спички. Подобное искушение он выбрасывал в окно. Бабке приходилось очень стараться, чтобы вовремя подать на стол теплый обед. Порой семья и вовсе сидела в потемках, потому что керосиновая лампа осталась без огня.

И однако Вранка вовсе не был тираном. По воскресеньям он водил свою Анну в Нижний город, и при этом позволял ей, обрученной с ним также и официально, надевать, как тогда, на картофельном поле, четыре юбки, одну поверх другой. Зимой, когда реки затягивались льдом и для плотогонов наступали тощие времена, он исправно сидел в Троиле, где жили лишь плотогоны, грузчики да рабочие с верфи, и присматривал за своей дочкой Агнес, которая явно уродилась в отца, потому что если и не залезала под кровать, то уж верно забиралась в платяной шкаф, а когда приходили гости, забивалась под стол, и вместе с ней ее тряпичные куклы.

Итак, девочка Агнес любила укрываться от глаз и в этом укрытии чувствовала себя столь же надежно, как и Йозеф, хотя и находила там иные радости, нежели те, которые нашел он под юбками у Анны. Поджигатель Коляйчек был достаточно опытен, чтобы понять тягу своей дочери к укрытиям, и поэтому на заменяющем балкон выступе, которым завершалась их полуторакомнатная квартира, он, когда мастерили закут для кроликов, пристроил к нему еще и конурку как раз по ее росту. В этой пристройке матушка моя ребенком сидела, играла в куклы и тем временем подрастала. Позднее, уже школьницей, она, по рассказам, забросила своих кукол и, забавляясь стеклянными бусинами и пестрыми шариками, впервые проявила тягу к хрупкой красоте.

Надеюсь, мне, горящему желанием поскорее обозначить истоки собственного бытия, будет дозволено снять наблюдение с семейства Вранка, чей супружеский плот спокойно скользит по течению вплоть до тринадцатого года, когда под Шихау сошел со стапелей «Колумб», ибо именно в тринадцатом полиция, которая никогда ничего не забывает, напала на след лже-Вранки.

Началось с того, что Коляйчек, как на исходе каждого лета, так и в августе тысяча девятьсот тринадцатого, должен был перегонять большой плот из Киева по Припяти, через канал по Бугу до Модлина, а уж оттуда вниз по Висле. Дюжина плотогонов вышла на буксире «Радауна», который дымил по велению их лесопильни, от Западного Нойфера на Мертвую Вислу до Айнлаге. Потом вверх по Висле мимо Кеземарка, Лецкау, Чаткау, Диршау и Пикеля и вечером пристала к берегу в Торне. Там на борт поднялся новый хозяин, который должен был в Киеве проследить за покупкой древесины. Когда «Радауна» в четыре утра отчалила, стало известно, что на борту хозяин. Коляйчек впервые увидел его за завтраком на баке. Они сидели как раз друг против друга, жевали и прихлебывали ячменный кофе, Коляйчек сразу его узнал. Кряжистый, уже облысевший человек велел подать водки и разлить ее по пустым кофейным чашкам. Не переставая жевать, когда в конце бака еще разливали водку, он представился:

— Чтоб вы знали: я новый хозяин, звать меня Дюкерхоф, и я требую от всех порядка!

По требованию хозяина плотогоны в той последовательности, в какой сидели за столом, называли себя и опрокидывали свои чашки, так что кадыки подпрыгивали. Коляйчек же сперва опрокинул, потом сказал «Вранка», пристально глядя на Дюкерхофа. Тот кивнул, как кивал и предыдущим, и повторил «Вранка», как повторял имена других сплавщиков. И все же Коляйчеку почудилось, будто Дюкерхоф выделил имя утонувшего плотогона не то чтобы резко, скорее задумчиво.

Искусно уклоняясь от песчаных отмелей при помощи сменяющих друг друга лоцманов, «Радауна» одолевала мутно-глинистую струю, знающую лишь одно направление. По левую и правую руку за валами лежала одна и та же плоская либо чуть всхолмленная земля, с которой уже собрали урожай. Живые изгороди, овраги, котловина, поросшая дроком, равнина между хуторами, прямо созданная для кавалерийских атак, для заходящей слева на ящике с песком уланской дивизии, для летящих через изгородь гусар, для мечтаний молодых ротмистров, для битвы, которая уже состоялась и повторится вновь и вновь, и для полотна: татары, припавшие к луке, драгуны, выпрямясь, рыцари-меченосцы, падая на скаку, орденские магистры в цветных плащах, на кирасе целы все застежки, кроме одной-единственной, которую отсек герцог Мазовецкий, и кони, кони — ни в одном цирке не сыщешь таких арабских скакунов, — нервные, под великолепными темляками, все жилки натянуты, как по линеечке, ноздри раздуты, карминовые, из них облачка, пронзаемые копьями, на копьях перевязь, пики опущены и делят небо, вечернюю зарю, еще сабли, а там, на заднем

плане, — ибо у каждой картины есть свой задний план, — прочно прильнув к горизонту, мирно курится деревенька между задними ногами вороного, приземистые хатки, обросшие мохом, крытые соломой, а в хатках — танки, красивые, законсервированные, в ожидании грядущих дней, когда им тоже дозволят возникнуть на этом полотне, на этой равнине, за дамбами Вислы, подобно легконогим жеребятам среди тяжелой кавалерии.

У Влоцлавека Дюкерхоф ткнул Коляйчека пальцем: «А скажите-ка, Вранка, вы, часом, сколько-то лет назад не работали в Швеце на лесопильне? Она еще тогда сгорела, лесопильня-то?»

Коляйчек упрямо, словно преодолевая сопротивление, покачал головой, и ему удалось придать своим глазам усталое и печальное выражение, так что Дюкерхоф, на которого упал этот взгляд, воздержался от дальнейших расспросов.

Когда под Модлином, там, где Буг впадает в Вислу и «Радауна» поворачивает, Коляйчек, перегнувшись через релинг, трижды сплюнул, как это принято у всех плотовщиков, рядом возник Дюкерхоф с сигарой и попросил у него огня. Это словечко, как и «спички», пронзило Коляйчека. «С чего это вы краснеете, когда я прошу огня? Девушка вы, что ли?»

Они успели оставить Модлин далеко позади, когда с лица у Коляйчека наконец сошла краска, которая была вовсе не краска стыда, а запоздалый отблеск подожженных им лесопилок.

Между Модлином и Киевом, короче, вверх по Бугу, через канал, соединяющий Буг с Припятью, покуда «Радауна», следуя по Припяти, вышла в Днепр, не произошло ничего, что можно бы счесть переговорами между Коляйчеком-Вранкой и Дюкерхофом. Само собой, на буксире между плотогонами, между кочегарами и плотогонами, между штурманом, кочегарами и капитаном, между капитаном и вечно меняющимися лоцманами что-нибудь да происходило, как следует быть, а может, как бывает между мужчинами. Я мог бы вообразить нелады между кашубскими плотовщиками и штурманом, уроженцем Штеттина, возможно, даже зачатки бунта: общий сбор по левому борту, тянут жребий, выдумывают пароль, натачивают ножички.

Но не будем об этом. Не случилось ни политических акций, ни польско-немецкой поножовщины, ни приличествующего данному кругу развлечения в виде хорошего, порожденного социальной несправедливостью бунта. Исправно пожирая уголь, «Радауна» шла своим путем, один раз — сдается мне, это было сразу за Плоком — села на песчаную отмель, но смогла высвободиться собственными силами. Короткий, ядовитый обмен репликами между капитаном Барбушем из Нойфарвассера и украинцем-лоцманом — вот и все, даже и судовой журнал не мог больше ничего добавить.

Но имей я обязанность — и желание — завести судовой журнал для мыслей Коляйчека, а то и вовсе хронику дюкерхофской лесопильно-внутренней жизни, в нем достаточно говорилось бы о переменах и приключениях, подозрениях и подтверждениях, недоверии и — почти сразу — о поспешном устранении этого недоверия. Бояться боялись оба, и Дюкерхоф даже больше, чем Коляйчек, ибо находились они в России, и Дюкерхоф мог запросто свалиться за борт, как некогда бедный Вранка, или — а мы тем временем уже в Киеве — на одном из лесоторговых складов, которые так велики и необозримы, что в этом столпотворении вполне можно потерять своего ангела-хранителя, угодить под штабель внезапно пришедших в движение балок, которые уже не остановишь, — угодить или быть спасенным. Спасенным благодаря Коляйчеку, который сперва выудит хозяина из Припяти либо из Буга, который в последнюю минуту выдернет Дюкерхофа на лишенном ангелов-хранителей киевском дровяном складе из неотвратимо надвигающейся лавины. Ох, до чего ж было бы хорошо, сумей я на этом месте поведать, как полузахлебнувшийся или почти раздавленный Дюкерхоф, еще тяжело дыша и с приметами смерти во взоре, шепнул на ухо лже-Вранке: «Спасибо, Коляйчек, спасибо!» и после необходимой паузы: «Теперь мы с тобой квиты и забудем обо всем!»

И они сурово-дружески и смущенно улыбаясь, чуть не со слезами на глазах поглядели бы друг на друга как мужчины и обменялись бы робким, но мозолистым рукопожатием.

Эта сцена превосходно нам знакома по снятым с умопомрачительным мастерством фильмам, когда режиссеру вдруг втемяшится превратить упоительно актерствующих братьев-врагов в друзей-соратников, которым еще предстоит пройти огонь и воду в тысяче совместных приключений.

Но Коляйчеку так и не представился ни случай дать Дюкерхофу пойти на дно, ни случай вырвать его из когтей накатывающейся смерти под балками. Внимательно, радея о благе родной фирмы, Дюкерхоф закупил в Киеве партию леса, проследил,

как вяжут и спускают на воду девять плотов, по обычаю разделил между плотовщиками изрядную толику русских денег на карманные расходы для обратной дороги, после чего сам уселся в поезд, доставивший его через Варшаву — Модлин — Дойч-Эйлау — Мариенбург — Диршау на фирму, лесопильни которой располагались вдоль дровяной пристани между Клавиттерской и Шихауской верфями.

Прежде чем дать плотогонам возможность после нескольких недель серьезнейшей работы пройти через все реки, каналы и, наконец, вниз по Висле, я задаюсь вопросом, а точно ли Дюкерхоф был уверен, что Вранка и есть поджигатель Коляйчек. И хочу сказать, что, пока хозяин лесопилки плыл с безобидным, добродушным и, несмотря на известную ограниченность, снискавшим всеобщую любовь Вранкой, он надеялся, что его попутчик никак не Коляйчек, способный на любой дерзкий проступок. От этой надежды он отрекся лишь сидя на подушках железнодорожного купе. Но пока поезд достиг конечной станции, въехав под своды главного вокзала в городе Данциге — теперь я наконец произношу это название, — Дюкерхоф пришел к своим дюкерхофским выводам, приказал перенести свои чемоданы в экипаж, а экипажу ехать домой, сам же бойко — благо уже без багажа — помчался к близлежащему президиуму полиции, на Вибенвалл, там вприпрыжку взбежал по ступеням главного портала, нашел после недолгих, но тщательных поисков ту комнату, где царила обстановка достаточно деловая, дабы выслушать короткий, приводящий лишь факты отчет Дюкерхофа. Из этого не следует, что хозяин лесопильни сделал заявление. Нет, он просто попросил заняться делом Коляйчека-Вранки, что и было обещано полицией.

За последующие недели, покуда плоты из закупленного лесоматериала с камышовыми шалашами и плотогонами медленно скользили вниз по реке, во множестве управлений исписали множество бумаги. Взять, к примеру, военное дело Йозефа Коляйчека, рядового канонира в западно-прусском полку полевой артиллерии под номером таким-то и таким-то. Дважды по три дня умеренного ареста отсидел дурной канонир за громогласно выкрикиваемые в состоянии алкогольного опьянения анархистские лозунги отчасти на немецком, отчасти на польском языке. Словом, позорные пятна, которых не удалось обнаружить в бумагах ефрейтора Вранки, служившего во втором лейб-гусарском полку в Лангфуре. Напротив, ефрейтор Вранка проявил себя с хорошей стороны, при маневрах произвел приятное впечатление на кронпринца и получил от последнего, всегда носившего в кармане талеры, кронпринцев талер. Однако последний талер не был зафиксирован в военных бумагах ефрейтора Вранки, о чем с громкими рыданиями поведала моя бабка Анна, когда ее допрашивали вместе с братом Винцентом.

Но не только с помощью этого талера сражалась моя бабка против словечка «поджигатель». Нет, она могла предъявить документы, которые многократно подтверждали, что Йозеф Вранка уже в одна тысяча девятьсот четвертом году вступил в добровольную пожарную дружину Данцига-Нидерштадта и зимними месяцами, когда у плотогонов мертвый сезон, боролся против множества малых и больших пожаров. Была среди бумаг и грамота, которая свидетельствовала, что пожарный Вранка в большом железнодорожном депо Троила в году тысяча девятьсот девятом не просто тушил пожары, но и спас из огня двух учеников слесаря. Точно так же высказался и вызванный в качестве свидетеля брандмейстер Хехт. Для протокола он показал следующее:

— Как может быть поджигателем тот, кто сам тушит пожары! Да я до сих пор вижу, как он стоит на пожарной лестнице, когда горит церковь в Хойбуде! Феникс, возникающий из пепла и огня, гасящий не только огонь, но и пожар этой земли и жажду господа нашего Иисуса Христа. Истинно говорю я вам: кто обзывает поджигателем этого великолепного феникса, человека в пожарной каске, который пользуется правом преимущественного проезда, которого любят страховые компании, который всегда носит в кармане горстку золы, как символ или как знак профессии, тому бы лучше повесить на шею мельничный жернов...

Вы, верно, уже заметили, что капитан Хехт, капитан добровольной пожарной дружины, был красноречивый патер, из воскресенья в воскресенье он стоял на кафедре приходской церкви Святой Барбары в Ланггартене и не упускал случая, покуда шло расследование против Коляйчека-Вранки, в подобных же выражениях вбивать в головы своей паствы притчи о небесном пожарном и адском поджигателе.

Но поскольку чиновники уголовной полиции не посещали церковь в приходе Святой Барбары да вдобавок усмотрели в словечке «феникс» скорее оскорбление его королевского величества, нежели оправдание Вранки, деятельность последнего в добровольной дружине была воспринята как отягчающее обстоятельство.

Собирали показания различных лесопилен, свидетельства родных общин: Вранка увидел свет в Тухеле, Коляйчек же был родом из Торна. Некоторые нестыковки в показаниях пожилых плотогонов и отдаленных родственников. Повадился кувшин

по воду ходить, там ему и голову сломить, потому как ничего другого кувшину не остается. Покуда допросы шли своим чередом, большая связка плотов как раз пересекла государственную границу и, начиная с Торна, находилась под тайным наблюдением, а на стоянках ей просто садились на хвост.

Дедушка заметил это лишь после Диршау, чего, впрочем, и ожидал. Но овладевшая им в ту пору пассивность, граничащая с меланхолией, вероятно, помешала ему предпринять попытку бегства в Лецкау или в Кеземарке, что вполне могло увенчаться успехом в столь знакомой местности и с помощью некоторых, расположенных к нему плотовщиков. Начиная с Айнлаге, когда плоты медленно, толкая друг друга, входили в Мертвую Вислу, какой-то рыбацкий катер с показной незаметностью бежал рядом, имея на борту слишком уж многочисленную команду. Сразу за Пленендорфом из камышей прытко выскочили оба моторных баркаса портовой полиции и принялись вдоль и поперек вспарывать воды Мертвой Вислы, что своим гниловатым запахом все больше свидетельствовали о близости порта. А уж за мостом после Хойбуде начиналась заградительная цепь «синих мундиров». Штабеля леса напротив Клавиттерской верфи, маленькие лодочные верфи, все расширяющиеся к Моттлау дровяные пристани, причальные мостки всевозможных лесопилок, мостки собственной фирмы с пришедшими встречать родственниками, и повсюду «синие мундиры», только у Шихау их нет, там все было разукрашено флажками, там совершалось какое-то другое действие, не иначе, что-то должно было сойти со стапелей. Там собралось много народу, это взволновало чаек, там давали праздник — уж не в честь ли моего дедушки?

Лишь когда мой дедушка увидел запруженную «синими» дровяную пристань, когда все более зловещим стал выглядеть курс, взятый баркасами, волны от которых уже захлестывали плоты, он постиг смысл этой расточительной концентрации сил ради него, в нем проснулось сердце поджигателя Коляйчека, он исторг из себя незлобивого Вранку, выскочил из шкуры члена добровольной пожарной дружины, во весь голос и без запинки отрекся от заикающегося Вранки и побежал, побежал по плотам, по обширным шатким поверхностям, побежал босиком по неструганому «паркету», с одного хлыста на другой, по направлению к Шихау, где веселые флажки на ветру, побежал вперед по доскам, туда, где что-то лежало на стапелях — а вода, она ведь может и поддержать, — где они произносили красивые речи, где никто не выкликал Вранку, а тем более Коляйчека, где говорили так: я нарекаю тебя именем «Его Величества Корабль «Колумб», Америка», водоизмещением свыше сорока тысяч тонн, тридцать тысяч лошадиных сил, Его Величества Корабль, курительный салон первого класса, на корме кухня второго класса, спортивный зал из мрамора, библиотека, Америка, Его Величества Корабль, коридор гребного вала, прогулочная палуба, «Слава тебе в победном венке», праздничный флажок родной гавани, принц Генрих встанет за штурвал, а мой дед Коляйчек босиком, едва касаясь ногами бревен, — навстречу духовой музыке. Народу дан великий князь, с одного плота на другой, приветственные клики толпы, «Слава тебе в победном венке», и все сирены на верфи, и все сирены стоящих в порту судов, буксиров и пароходов для увеселительных прогулок, Колумб, Америка, свобода, и два баркаса, ошалев от радости, вслед за ним с одного плота на другой, плоты Его Величества перекрывают дорогу и портят игру, так что он должен остановиться, а ведь так хорошо разбежался, и он стоит один-одинешенек на плоту и видит уже Америку, а баркасы заходят с длинной стороны, ну что ж, надо оттолкнуться — вот уже мой дед плывет, плывет к плоту, который входит в Моттлау. А теперь приходится нырять — из-за баркасов, и оставаться под водой — из-за баркасов, а плот надвинулся на него, и конца этому плоту нет, он порождает все новые и новые плоты: плот от твоего плота и во веки веков — плот.

Баркасы заглушили моторы, и неумолимые пары глаз принялись обшаривать поверхность воды. Но Коляйчек распрощался раз и навсегда, ушел от жестяного воя сирен, от судовых колоколов, от корабля Его Величества и от речи по поводу крещения, произнесенной принцем Генрихом, от безумных чаек Его Величества, от «Славы тебе в победном венке», от жидкого мыла Его Величества для вящего скольжения по стапелям корабля Его Величества, от Америки, и от «Колумба», и от полицейских расследователей — ушел навсегда под не имеющим конца плотом.

Тело моего деда так никогда и не было обнаружено. Я, твердо убежденный в том, что он нашел смерть под плотами, должен, однако, дабы не поколебать доверия к сказанному, взять на себя труд и изложить все варианты чудесных спасений.

Итак, люди рассказывали, что под плотом ему удалось отыскать щель между бревнами, снизу достаточно широкую, чтобы держать над водой нос и рот, а кверху эта щель настолько сужалась, что оставалась невидимой для полицейских, которые до поздней ночи обыскивали плоты и даже камышовые шалаши на них. Затем под покровом темноты — так говорилось далее — дед отдал себя на волю волн и, хоть и

выбившись из сил, но с известной долей везения достиг противоположного берега Моттлау на территории Шихауской верфи, там укрылся в горе отходов, а позднее, возможно с помощью греческих матросов, попал на один из тех грязных танкеров, которые, по слухам, предоставили убежище уже не одному беглецу.

Другие говорят так: Коляйчек и пловец был хороший, а легкие у него были и того лучше, и проплыл он не только под плотом, нет, он прошел под водой и оставшуюся, довольно широкую часть Моттлау, благополучно достиг берега на территории Шихауской верфи, там, не привлекая к себе внимания, затесался в толпу рабочих, а попозже — и в ликующую публику, вместе с народом пел: «Слава тебе в победном венке», поаплодировал после речи принца Генриха на крещение «Колумбом» Корабля Его Величества, после удачного схода его со стапелей вместе с толпой в наполовину высохшей одежде покинул празднество и уже на другой день — здесь первая версия смыкается со второй — бесплатным пассажиром вступил на борт славно-пресловутого греческого танкера.

Для полноты картины надлежит также вспомнить третью бессмысленную версию, согласно которой моего деда, как сплавной лес, вынесло в открытое море, где его, не мешкая, выудили рыбаки из Бонзака и за пределами трехмильной зоны передали шведскому катеру, приспособленному для океанского плавания. Там, на шведском катере, версия давала ему возможность чудесным образом, хоть и медленно, восстановить силы, добраться до Мальмё — ну и так далее и тому подобное.

Все это вздор и рыбацкие байки. Точно так же я и гроша ломаного не дам за рассказы равно не заслуживающих доверия очевидцев из разных портовых городов, которые якобы видели моего деда в Буффало (США) вскоре после окончания первой мировой войны. Звали его вроде бы Джо Колчик, и вел он, по их словам, торговлю дровяным товаром с Канадой. Акции спичечных фирм. Основатель страховых компаний — страхование от огня. Описывали его как человека чрезвычайно богатого и одинокого: сидит-де он в небоскребе за огромным письменным столом, на всех пальцах — перстни со сверкающими камнями, муштрует своих телохранителей, которые одеты в пожарную форму, умеют петь по-польски и называются Гвардией Феникса.

Мотылек и лампочка

Некий человек оставил все, что имел, переплыл океан, попал в Америку и разбогател — на этом я хочу завершить все разговоры о моем дедушке, как бы он себя ни называл: Голячек по-польски, Коляйчек на кашубский лад или по-американски — Джо Колчик.

Не очень-то легко на простом жестяном барабане, какие продают в магазинах игрушек и в универсальных магазинах, выбить деревянные, уходящие почти за горизонт плоты. И однако же мне удалось пробарабанить на нем дровяную гавань, весь плавник, что качается на волне в излучинах реки, измочаливается в камышах; чуть легче удалось мне пробарабанить эллинги на Шихауской верфи, на Клавиттерской, на многочисленных, по большей части занятых мелким ремонтом лодочных верфях, свалку металлического лома при вагонном заводе, склады прогорклых кокосов при маргаринной фабрике, все знакомые мне закоулки острова Шпайхер. Дед умер, он не даст мне ответа, не проявит интереса к кайзеровскому сходу со стапелей, к затягивающейся порой на десятилетия и начинающейся уже в момент схода гибели корабля, который в нашем случае нарекли «Колумбом», называли также гордостью флота, который, натурально, взял курс на Америку, а позже был затоплен либо сам утонул. Возможно, его подняли со дна, перестроили, переименовали или пустили на лом. А может, «Колумб» просто ушел под воду, как в свое время поступил мой дед, может, он и по сей день дрейфует со всем своим сорокатысячным водоизмещением, курительным салоном, спортивным залом из мрамора, плавательным бассейном и кабинетами для массажа на глубине, скажем, шесть тысяч метров где-нибудь в Филиппинской впадине либо на траверзе Эмдена; об этом можно прочесть в «Вейере» или в морских календарях — помнится, не то первый, не то второй «Колумб» добровольно ушел на дно, потому что капитан не сумел пережить некий связанный с войной позор.

Часть плотовой истории я вслух зачитал Бруно, после чего задал свой вопрос, настаивая на объективности.

— Прекрасная смерть, — мечтательно промолвил Бруно и принялся не мешкая с помощью упаковочной бечевки превращать моего дедушку в одно из своих узелковых творений. Пришлось мне удовольствоваться таким ответом и не устремлять дерзновенный полет мыслей в Америку, чтобы там выхлопотать себе наследство.

Навестили меня мои друзья Витлар и Клепп. Клепп принес с собой пластинку,

где на обеих сторонах — Кинг Оливер, а Витлар, жеманясь, протянул мне шоколадное сердце на розовой ленточке. Они по-всякому дурачились, пародировали сцены из моего процесса. Я же, дабы доставить им удовольствие, изображал, как и во все дни посещений, превосходное настроение и способность смеяться даже самым глупым шуткам. Как бы вскользь, прежде чем Клепп успел приступить к своей неизбежной лекции о взаимосвязях между джазом и марксизмом, я поведал им историю человека, который в тринадцатом году, незадолго до того, как все это разразилось, угодил под воистину бесконечный плот, можно сказать, не имеющий конца, и уже не выбрался из-под него, даже тело его так никогда и не было найдено. На мой вопрос — я задал его непринужденно, как бы скучливым тоном — Клепп с неудовольствием помотал головой на толстой шее, расстегнул все пуговицы, потом опять застегнул, сделал несколько плавательных движений, короче, повел себя так, будто он сам находится под плотом. В конце концов, он отмахнулся от моего вопроса, взвалив вину за отсутствие ответа на слишком ранние сумерки.

Витлар сидел неподвижно, закинув нога на ногу и не забывая при этом про складку на брюках, сидел и демонстрировал то изысканно-полосатое причудливое высокомерие, которое присуще разве что ангелам на небесах.

— Я нахожусь на плоту. Находиться на плоту прекрасно. Меня кусают комары. Это неприятно. Я нахожусь под плотом. Под плотом прекрасно. Комары меня больше не кусают. Это приятно. Сдается мне, под плотом вполне можно жить, если, конечно, у тебя нет намерения в то же время находиться на плоту и разрешать комарам кусать тебя.

Тут Витлар сделал свою испытанную паузу и внимательно поглядел на меня, затем поднял, как всякий раз, когда хотел походить на сову, свои и без того высокие брови и, театрально интонируя, изрек:

— Сдается мне, что в случае с этим утопленником, с этим человеком под плотами, речь идет о твоем двоюродном, а то и вовсе о твоем родном дедушке. Поскольку он, будучи твоим двоюродным дедушкой, а тем паче — будучи родным дедушкой, сознавал свои перед тобой обязанности, он и нашел смерть, ибо ничто на свете не могло быть для тебя более тягостным, чем наличие живого дедушки. Итак, ты не просто убийца своего двоюродного дедушки, ты вдобавок еще и убийца своего родного дедушки. Но поскольку сей последний, как это вообще принято у дедушек, хотел бы тебя наказать, он лишил тебя того удовлетворения, которое испытывает внук, гордо указывая на раздувшееся в воде тело и произнося таковые слова: «Взгляните на моего мертвого дедушку. Он был героем! Он прыгнул в воду, когда увидел, что его преследуют». Твой дедушка лишил весь мир и собственного внука возможности своими глазами увидеть его тело с единственной целью принудить оставшихся, и в том числе внука, еще долго им заниматься.

Потом, ударившись из одной патетики в другую, мне явился хитрый, чуть наклоненный вперед и разыгрывающий примирение Витлар:

— Америка! Возрадуйся, Оскар! У тебя есть цель и есть задача! Здесь тебя натурально оправдают и выпустят. Так куда ж тебе и податься, как не в Америку, где снова можно сыскать все, даже и без вести пропавшего дедушку!

Как ни язвителен и даже обиден был ответ Витлара, он вселил в меня большую уверенность, чем почти не делающая разницы между жизнью и смертью болтовня моего друга Клеппа или ответ санитара Бруно, который лишь потому назвал смерть моего дедушки прекрасной смертью, что сразу после нее, разводя волны, сошел со стапелей «ЕВК Колумб». И потому я воздаю хвалу витларовской Америке, консервирующей дедушек, намеченную цель, образец, соизмеряя себя с которым я могу выпрямиться, когда, наскучив Европой, захочу отложить в сторону барабан и перо.

Пиши дальше, Оскар, сделай это ради твоего неслыханно богатого, но усталого дедушки Коляйчека, который торгует в Буффало древесиной, а в недрах своего небоскреба играет спичками.

Когда Клепп и Витлар наконец откланялись и ушли, Бруно, решительно проветрив, удалил из комнаты назойливый запах моих друзей. После этого я снова взял свой барабан, но выбивал на нем не бревна укрывающих смерть плотов, а тот быстрый, прыгучий ритм, которому должны были повиноваться все люди после августа одна тысяча девятьсот четырнадцатого. Потому мой текст вплоть до часа моего рождения может лишь в общих чертах начертать путь траурной процессии, оставленной в Европе моим дедушкой.

Когда Коляйчек исчез под плотами, среди тех, кто поджидал на причальных мостках лесопильни, встревожились моя бабушка с дочерью Агнес, Винцент Бронски и его семнадцатилетний сын Ян. Немного в стороне стоял страший брат Йозефа Грегор Коляйчек, которого вызвали в город на допросы. Грегор неизменно давал полиции один и тот же ответ:

— Я своего брата почти и не знаю. Знаю, по правде говоря, только, что звать его Йозефом, а когда я его видел последний раз, лет ему было десять или, скажем, двенадцать. Он мне еще ботинки чистил и за пивом бегал, когда нам с матерью хотелось пивка.

Хотя при этом и выяснилось, что моя прабабка любила пиво, полиции от такого ответа особого проку не было. Зато от наличия старшего Коляйчека сыскался прок для моей бабушки Анны. Грегор, проживший много лет в Штеттине, Берлине и под конец в Шнайдемюле, осел теперь в Данциге, нашел работу на пороховой мельнице бастиона «Кролик» и, когда истек положенный год траура, а все сложности, например история с выходом замуж за лже-Вранку были улажены, разъяснены и сданы в архив, женился на моей бабушке, которая не пожелала расстаться с Коляйчеками и никогда или, по крайней мере, так быстро не вышла бы за Грегора, не будь он Коляйчеком.

Работа на пороховой мельнице избавила Грегора от необходимости перелезать в пестрый, а потом сразу в походный мундир. Жили они втроем все в той же квартирке из полутора комнат, которая много лет служила прибежищем поджигателю. Но вскоре выяснилось, что Коляйчеки не все на одну стать, ибо не прошло и года, как они поженились, а моей бабке уже пришлось снять пустующий подвал доходного дома в Троиле и, торгуя всякой мелочью — от английской булавки до капустного кочана, — малость подрабатывать, потому что Грегор, хоть и получал кучу денег на своей мельнице, домой не приносил даже самого необходимого, а все как есть пропивал. В то время как Грегор, возможно уродившийся в мою прабабку, был пьяницей, мой дедушка Йозеф лишь изредка охотно пропускал рюмочку. Грегор пил не от плохого настроения. Даже когда у него, казалось бы, хорошее настроение, а это случалось нечасто, ибо он питал склонность к меланхолии, он пил не для того, чтобы развеселиться, а потому, что хотел дойти до сути всякого предмета, в том числе и до сути алкоголя. Покуда Грегор Коляйчек был жив, никто ни разу не видел, чтобы он оставил недопитую стопку можжевеловки.

Матушка, в то время кругленькая пятнадцатилетняя девочка, тоже не сидела сложа руки, она помогала в лавке, наклеивала продовольственные талоны, по воскресеньям разносила товар и писала хоть и не очень складные, но продиктованные богатой фантазией письма-напоминания должникам. Жаль, у меня не сохранилось ни одного из ее писем. Как было бы хорошо процитировать на этом месте несколько полудетских-полудевичьих призывов, сочиненных полусироткой, потому что Грегор Коляйчек оказался не совсем полноценным отчимом. И даже более того, моей бабушке и ее дочери стоило немалых трудов укрывать их наполненную медью и лишь малым количеством серебра кассу, состоявшую из двух опрокинутых одна на другую жестяных тарелок, от меланхолических Коляйчековых взглядов вечно томимого жаждой пороховщика. Лишь когда Грегор в девятьсот семнадцатом году умер от гриппа, доходы их возросли, хоть и не слишком, потому как чем было торговать в семнадцатом году?

В спальню полуторакомнатной квартиры, которая после смерти пороховщика осталась пустой, потому что матушка моя из страха перед адскими муками не захотела туда перебраться, въехал Ян Бронски, на ту пору примерно двадцатилетний ее кузен, покинувший и родной город Биссау, и своего отца Винцента, чтобы с хорошим свидетельством об окончании средней школы в Картхаусе и завершив ученичество на почте окружного города начать теперь на главном почтамте Данцига I карьеру служащего среднего класса. Помимо чемодана, Ян привез в квартиру своей тетки весьма объемистую коллекцию марок. Марки он собирал с самого раннего детства, а потому имел к почте не только служебное, но и чисто личное, очень почтительное отношение. Тщедушный, чуть сутулый молодой человек являл миру приятное, овальное, возможно, чуть приторное лицо и голубые глаза, словом, вполне достаточно, чтобы моя матушка, которой тогда минуло семнадцать лет, в него влюбилась. Яна уже трижды призывали на военное освидетельствование и всякий раз браковали из-за болезненного состояния, что в те времена, когда все мало-мальски стройное прямиком отправлялось к Вердену, дабы потом на французской земле навек принять горизонтальное положение, весьма красноречиво говорило о конституции Яна Бронски.

Роман должен был, собственно, начаться уже за совместным рассматриванием марок, за изучением голова к голове зубчиков на особо ценных экземплярах. Но начался он или, скажем, прорвался, лишь когда Яна вызвали на четвертое освидетельствование. Матушка его провожала, потому что ей все равно надо было в город, и дожидалась там перед постовой будкой, которую охранял резервист; вместе с Яном они решили, что уж на сей-то раз ему надо отправиться во Францию, дабы исцелить свою хилую грудную клетку богатым железом и свинцом воздухом этой страны. Воз-

можно, моя матушка многократно пересчитывала пуговицы на мундире ополченца, и всякий раз с другим результатом. Я вполне могу себе представить, что пуговицы на любом мундире расположены таким образом, что последняя по счету пуговица всякий раз подразумевала Верден, либо одну из многочисленных вершин Вогезов, либо речушку — Сомму или Марну.

Когда в четвертый раз прошедший освидетельствование паренек спустя почти час выскочил из портала окружной комендатуры, скатился вниз по лестнице и, бросаясь на шею Агнес, то есть моей матушке, шепнул ей на ушко столь распространенную тогда присказку: «Ни кожи, ни рожи, на годик отложим», матушка впервые обняла Яна Бронски, и я не уверен, что ей и в будущем доводилось быть столь же счастливой, когда она обнимала Яна.

Подробности этой юной любви военных лет мне не известны. Ян продал часть своей коллекции марок, чтобы соответствовать претензиям матушки, имевшей ярко выраженную тягу ко всему красивому, модному и дорогому, кроме того, он в ту же пору вел дневник, впоследствии, к сожалению, утерянный. Бабушка, судя по всему, снисходительно относилась к связи молодых людей — нетрудно догадаться, что эта связь выходила за рамки чисто родственных отношений,— поскольку Ян Бронски все так же обитал в тесной квартирке на Троиле. Он выехал лишь вскоре после войны, да и то лишь когда уже никак нельзя было замалчивать существование некоего господина Мацерата и, следовательно, пришлось таковое признать. Матушка, надо думать, познакомилась с упомянутым господином летом восемнадцатого года, когда служила помощницей сестры в лазарете Зильберхаммер у Оливы. Альфред Мацерат, родом из Рейнланда, лежал там со сквозным ранением мягких тканей бедра и благодаря своей рейнландской жизнерадостности вскоре заделался любимцем всех сестер, не исключая сестры Агнес. Едва выздоровев, он ковылял по коридору под ручку с какой-нибудь из сестер и подсоблял на кухне сестричке Агнес, потому что уж очень шел к ее круглому личику сестринский чепец, а вдобавок потому, что он страстно увлекался стряпней и умел претворять свои чувства в супы.

После выздоровления Альфред Мацерат остался в Данциге и тотчас нашел работу как представитель своей рейнской фирмы — крупного предприятия бумагоделательной индустрии. Война шла на убыль, и, создавая повод для грядущих войн, народ сел за составление мирных договоров: область вокруг устья Вислы примерно от Фогельзанга на Свежей косе вдоль по реке Ногат до Пикеля, там, следуя вниз по течению Вислы, до Чаткау, потом влево под прямым углом до Шёнефлиса, там, выгорбясь дугой, вокруг Заскошинского бора до Оттоминского озера, оставляя в стороне Маттерн, Рамкау и Биссау моей бабушки и выходя к Балтийскому морю возле Кляйн-Каца — эта область была провозглашена Вольным городом Данцигом и переподчинена Лиге Наций. Польша получила в черте города свободный порт — Вестерплатте с арсеналом, правлением железной дороги и собственной почтой на Хевелиус-плац.

В то время как марки Вольного города предлагали для писем красно-золотую ганзейскую пышность с изображением торгового судна и герба, поляки клеили на письма жуткие фиолетовые картины, иллюстрирующие истории про Казимира и Батория.

Ян Бронски перешел служить на польскую почту. Переход его выглядел неожиданным, равно как и выбор польского гражданства. Одной из причин, по которой он принял польское подданство, многие сочли поведение моей матушки. В двадцатом году, когда маршал Пилсудский разбил под Варшавой Красную армию и за это чудо на Висле люди, подобные Винценту Бронски, возблагодарили Деву Марию, а сведущие в военном деле приписали все заслуги либо генералу Сикорскому, либо генералу Вейганду, словом, в том польском году матушка моя обручилась с имперским немцем Мацератом. Мне хочется думать, что бабушка Анна так же мало одобрила это обручение, как и сам Ян. Она уступила дочери подвальную лавочку на Троиле, которая тем временем достигла известного расцвета, перебралась в Биссау к своему брату Винценту, короче, на польские земли и, как в доколяйчековские времена, взяла на себя двор, поля свеклы и картофеля, предоставив своему осененному благодатью брату больше времени для общения и диалога с девственной королевой Польши, сама же удовольствовалась возможностью в своих четырех юбках сидеть у осеннего костерка с горящей ботвой и глядеть в сторону горизонта, по-прежнему расчлененного телеграфными столбами.

Лишь когда Ян Бронски нашел свою Хедвиг, кашубскую девушку, хоть и горожанку, но имеющую пашню под Рамкау, а найдя, женился, отношения между моей матушкой и Яном несколько улучшились. На танцах в кафе Войке, где они случайно встретились, матушка представила Яна Мацерату. Оба столь различных, но применительно к моей матушке столь единодушных человека приглянулись друг другу,

хотя Мацерат на своем рейнском диалекте обозвал переход Яна на польскую почту дурацкой блажью. Ян танцевал с матушкой, Мацерат — с ширококостой дылдой Хедвиг, наделенной загадочным коровьим взглядом, что побуждало ближайшее окружение неизменно считать ее беременной. Они еще много танцевали друг с другом и крест-накрест и при каждом новом танце уже думали о следующем, при звуках уанстепа опережая друг друга, а при звуках английского вальса чувствуя себя раскрепощенными и, наконец, обретая веру в себя при чарльстоне, а при медленном фокстроте — чувственность, граничащую с религиозным экстазом.

Когда Альфред Мацерат в двадцать третьем году — а в том году за стоимость одного коробка спичек можно было обклеить целую спальню орнаментом из нулей — женился на моей матушке, Ян был одним из свидетелей, а владелец лавки колониальных товаров Мюлен — другим. О свидетеле Мюлене я могу поведать немного. Упомянуть же его следует потому, что матушка и Мацерат откупили его разоренную неисправными должниками лавку в пригороде Лангфур как раз в тот момент, когда ввели рентную марку. За короткое время матушке, усвоившей в подвальной лавке на Троиле формы искусного обращения со всякого рода берущими в кредит покупателями, да вдобавок наделенной от природы деловой хваткой, чувством юмора и бойкостью в разговоре, удалось настолько поднять захиревшую лавку, что Мацерату пришлось оставить место представителя в бумагоделательной отрасли, тем более что там и без него толклась уйма народу, и помогать в лавке.

Оба великолепно дополняли друг друга. То, чего достигла матушка, общаясь с покупателями за прилавком, рейнландцу удавалось в общении с представителями фирм и при оптовых закупках. Прибавьте еще тягу Мацерата к кухонному фартуку, к работе на кухне, включавшей в себя и мытье посуды, что весьма разгрузило матушку, предпочитавшую блюда, состряпанные на скорую руку.

Хотя квартира, примыкавшая к лавке, была тесной и заставленной, но по сравнению с жильем на Троиле, которое, впрочем, известно мне лишь по рассказам, она была достаточно мещанской, чтобы матушка, по крайней мере в первые годы супружества, благоденствовала на Лабесвеге.

Помимо длинного, с небольшим изгибом коридора, где по большей части громоздились пачки стирального порошка, существовала еще просторная, однако также наполовину заставленная товарами — типа консервных банок, мешков с мукой и пачек с овсяными хлопьями — кухня. Основу же всей этой квартиры в первом этаже составляла гостиная с двумя окнами, глядевшими на выложенный летом балтийскими раковинами палисадник и на улицу. Если в обоях преобладал винно-красный цвет, шезлонги были обтянуты чуть что не пурпуром. Раздвижной, с закругленными углами обеденный стол, четыре черных, крытых кожей стула и круглый курительный столик, который то и дело менял место, упирались черными ножками в голубой ковер. Черные с золотом напольные часы в простенке. Черное, прильнувшее к пурпурному шезлонгу пианино — сперва брали напрокат, но постепенно выкупили, вертящийся табурет на изжелта-белой шкуре. Напротив пианино — буфет. Черный буфет с раздвижными дверцами шлифованного стекла в обрамлении черных пузатых столбиков, с массивно-черным фруктовым барельефом на нижних, скрывающих посуду и столовое белье дверцах, с черными лапами-ножками, черной резной насадкой, а между хрустальной вазой с фруктами из папье-маше и зеленым, выигранным в лотерею, кубком — тот самый проем, который благодаря активной коммерческой деятельности матушки был немного спустя заполнен светло-коричневым радиоприемником.

Спальня была выдержана в желтых тонах, окнами смотрела на двор четырехэтажного доходного дома. И поверьте мне, пожалуйста, на слово, что балдахин над широким супружеским ложем был нежно-голубого цвета, что над изголовьем среди этой нежной голубизны в рамочке и под стеклом лежала в пещере кающаяся Магдалина телесного цвета, вознося вздохи к правому верхнему углу картины и ломая перед грудью руки с таким количеством пальцев, что из-за подозрения, будто их больше десяти, хотелось на всякий случай пересчитать. Против супружеской кровати — крытый белым лаком платяной шкаф с зеркальными дверцами, слева — туалетный столик, справа — комод под мраморной крышкой, с потолка свисает не обтянутая тканью, как в гостиной, а на двух медных цепях со светло-розовыми фарфоровыми плафонами, так что видны изливающие свет лампочки, спальная люстра.

Сегодня я пробарабанил всю долгую первую половину дня, задавал своему барабану вопросы, спрашивал, какие лампочки были у нас в спальне, на сорок свечей или на шестьдесят. Я уже не первый раз задаю себе и своему барабану этот столь важный для меня вопрос. Иногда проходят часы, прежде чем я отыщу путь к этим лампочкам, ибо разве не следует всякий раз забывать про те тысячи источников света, которые, посещая или покидая тысячи квартир, я оживлял либо усыплял с помощью соответствующих выключателей, дабы затем уже без запинки, барабаня, отыс-

кать путь из этого леса определенной мощности лампочек к светильникам нашей спальни на Лабесвеге.

Рожала матушка дома. Когда начались схватки, она еще стояла в лавке, рассыпая песок по синим фунтовым и полуфунтовым кулькам. А потом было уже поздно везти ее в женскую клинику, пришлось сбегать на соседнюю Герташтрассе за старой акушеркой, которая время от времени еще бралась за свой чемоданчик с инструментами. В спальне она помогла мне и моей матушке отделиться друг от друга.

Итак, я впервые увидел свет в образе двух шестидесятиваттных лампочек. А потому и по сей день библейский текст «Да будет свет, и стал свет» представляется мне чрезвычайно удачным рекламным лозунгом фирмы Осрам. Если не считать неизбежного разрыва промежности, рождение меня прошло гладко. Я безо всякого труда вышел головкой вперед — положение, столь высоко ценимое роженицами, эмбрионами и акушерками.

И чтобы сразу же поставить вас в известность: я принадлежу к числу тех восприимчивых младенцев, чье духовное развитие уже завершено к моменту появления на свет, в дальнейшем же его надлежит только подтверждать. Сколь самостоятельно я на стадии эмбрионального развития внимал лишь самому себе и, отражаясь в околоплодных водах, испытывал самоуважение, столь же критически внимал я первым спонтанным репликам моих родителей под светом упомянутых двух лампочек. Мое ухо проявляло редкую остроту слуха. Пусть оно было маленькое, приплюснутое, слипшееся и во всяком случае заслуживало наименования «прелестное», оно сохранило каждую из тех столь важных для меня — как первые впечатления — фраз. Более того: все воспринятое ухом я тотчас оценивал своим крохотным мозгом и, должным образом обмыслив услышанное, решил сие непременно делать, то же, без сомнения, оставить.

«Мальчик, — сказал тот господин Мацерат, которого я счел своим отцом. — Когда-нибудь к нему отойдет лавка. Теперь наконец мы знаем, чего ради так надрываемся».

Матушка про лавку думала меньше, а больше про экипировку своего сына. «Так я и знала, что будет мальчик, хоть и говорила не раз, что будет Мариэль».

Так я раньше срока познакомился с женской логикой, после чего услышал еще такие слова: «Когда маленькому Оскару исполнится три года, он у нас получит жестяной барабан».

Долгое время сравнивая материнские и отцовские посулы, я, Оскар, наблюдал и следил за ночным мотыльком, которого ненароком занесло в комнату. Не очень крупный, мохнатый, он облетал кругами обе шестидесятисвечовые лампочки, отбрасывая тени, значительно превосходящие истинный размах его крыльев. Они перекрывали всю комнату своим подрагиванием, наполняли ее и расширяли. На мою долю, однако, выпала не столько игра света и тени, сколько тот звук, который возникал между мотыльком и лампой: мотылек стрекотал, словно торопился избавиться от своего знания, словно на будущее у него уже не осталось времени для бесед с источниками света, словно беседа между мотыльком и лампой была, во всяком случае, последней исповедью мотылька и, получив своего рода отпущение, которое могут даровать лишь лампы накаливания, он больше никогда не сподобится ни грешить, ни увлекаться.

Нынче Оскар говорит просто: мотылек барабанил. Я слышал, как барабанят кролики, лисы и сони. Лягушки могут набарабанить непогоду. Про дятла поговаривают, будто, барабаня, он выгоняет червей из дерева. В конце концов, и человек бьет в литавры, в тарелки, в барабаны, он ведет разговоры о револьверах с барабаном, о барабанной дроби выстрелов; барабанным боем человека вызывают, барабанным боем скликают по тревоге, барабанным боем провожают в могилу. Это делают барабанщики, маленькие барабанщики. Есть композиторы, которые пишут концерты для смычковых и ударных инструментов. Я позволю себе напомнить вам также про вечернюю зорю, обычную и торжественную, про уже имевшие место усилия Оскара, но все перечисленное не идет ни в какое сравнение с той барабанной оргией, которую учинил ночной мотылек в честь моего рождения на двух примитивнейших лампочках по шестьдесят ватт каждая. Возможно, в самой темной Африке встречаются негры, как встречаются и в Америке негры, еще не позабывшие Африку, возможно, этим людям, от природы наделенным чувством ритма, дано так же, как и моему — или подобно моему, — мотыльку или в подражание африканским мотылькам, которые, как известно, много крупнее и роскошней, чем мотыльки Восточной Европы, — барабанить дисциплинированно и в то же время раскрепощенно, я же держусь своих восточноевропейских масштабов, иными словами, держусь своего средних размеров с коричневой пыльцой ночного мотылька в час моего рождения и называю его «наставник Оскара».

Все это происходило в первые дни сентября. Солнце стояло под знаком Девы. Издалека наползала сквозь ночь запоздалая гроза, сдвигая ящики и шкафы. Меркурий даровал мне критический настрой, Уран сделал гораздым на выдумки, Венера позволила мне поверить в свою малую удачу, а Марс — в свое честолюбие. Близились к восходу Весы, что наделяло меня чувствительностью и подталкивало к преувеличениям. Нептун достиг десятого дома, середины жизни, и поместил меня между чудом и разочарованием, Сатурн же в третьем доме, противостоя Юпитеру, поставил под вопрос мое существование. Но кто наслал мотылька, кто дозволил ему, как и наставительному рокоту грозы на исходе лета, усилить во мне любовь к обещанному матушкой жестяному барабану, делая этот инструмент все более для меня сподручным и желанным?

Для отвода глаз крича и изображая лилового новорожденного, я принял решение наотрез отклонить предложение моего отца, то есть все, связанное с лавкой колониальных товаров, зато желание моей матушки в указанное время, то есть в третью годовщину рождения, подвергнуть благосклонному рассмотрению.

В ходе всех этих раздумий касательно моего будущего я убедился: матушке, как и Мацерату, не дано воспринимать мои возражения и выводы и — в случае надобности — относиться к ним с уважением. Одинокий, никем не понятый, лежал Оскар под лампочками и сделал для себя вывод, что так все и останется до тех пор, пока через шестьдесят-семьдесят лет завершающее короткое замыкание не обесточит все источники света, а потому и вообще расхотел жить, еще раньше, чем началась эта жизнь под лампами; только обещанный барабан помешал мне тогда более активно выразить свое желание вернуться в нормальное положение эмбриона головкой вниз.

Вдобавок и повитуха уже перерезала пуповину, так что больше ничего нельзя было поделать.

Фотоальбом

Я храню сокровище. Все эти тяжкие, состоящие лишь из календарных дат годы я хранил его, прятал, снова доставал; во время поездки в товарном вагоне я, как драгоценность, прижимал его к груди, а когда я засыпал, Оскар спал на своем сокровище, на фотоальбоме.

Ну что бы я делал без этого все ставящего на свои места, открытого доступу фамильного склепа? В нем сто двадцать страниц. И на каждой странице одна подле другой, одна под другой, прямоугольные, тщательно распределенные, то соблюдая симметрию, то, напротив, ее нарушя, приклеены фотографии, по четыре, по шесть, а иногда всего по две. Альбом переплетен в кожу, и чем старше он становится, тем сильнее пахнет кожей. Были времена, когда альбому сильно вредили ветер и непогода. Фотографии отставали от страниц и своим беспомощным видом вынуждали меня искать покоя и удобного случая, чтобы клеем обеспечить исконное место чуть не потерявшемуся снимку.

Есть ли хоть что-нибудь в этом мире, есть ли роман, способный достичь эпической широты фотоальбома? Наш милосердный господь, который, словно прилежный фотолюбитель, каждое воскресенье щелкает нас сверху, то есть в крайне укороченном ракурсе при более или менее удачном освещении, после чего наклеивает снимок в свой альбом, наверняка мог бы, пресекая любые попытки помешкать хоть и с наслаждением, но до неприличия долго, твердой рукой провести меня через мой альбом, не давая пищи для любви Оскара ко всякой запутанности; я же предпочел бы снабдить наличные снимки оригиналами.

Попутно заметим: тут встречаются разнообразнейшие мундиры, тут меняются моды и прически, матушка становится толще, Ян худосочнее, тут попадаются люди, которых я вовсе и не знаю, тут можно только гадать, кто делал снимок, потом все деградирует, а художественная фотография на рубеже веков вырождается в бытовую фотку наших дней. Взять хотя бы тот памятник моему деду Коляйчеку и этот снимок на паспорт моего друга Клеппа. Даже если просто положить рядом портрет дедушки, отретушированный коричневым, и гладкое, ждущее печати клепповское фото, сразу станет ясно, куда нас завел прогресс в области фотографии. К примеру, все эти штучки моментальной фотографии. Причем я должен сделать себе больше упреков, чем делаю их Клеппу, ибо на правах владельца альбома мне следовало бы заботиться о сохранении уровня. Если в один прекрасный день перед нами разверзнется пасть ада, одна из утонченнейших мук будет выглядеть так: обнаженного человека запирают в одном помещении со всеми его фотографиями. Быстренько подбавим немного пафоса: О ты, человек, между моментальными снимками, срочными снимками, фотогра-

фиями на паспорт! О человек, освещенный лампой-вспышкой, человек, выпрямившийся перед косой Пизанской башней, человек из кабинки фотоателье, который должен подставить свету свое правое ухо, дабы снимок годился для паспорта! А теперь уберем пафос: возможно, этот ад окажется вполне терпимым, ибо самые гадкие снимки существуют лишь в воображении, а сделаны никогда не были или хоть и были сделаны, но не были проявлены.

Клепп и я, мы оба в наши первые дни на Юлихерштрассе, когда, поедая спагетти, свели дружбу, не только давали себя фотографировать, но давали и проявить пленку. Я в ту пору вынашивал планы путешествий. Иными словами, я так тосковал, что надумал совершить путешествие, а для этой цели должен был заказать паспорт.

Но поскольку у меня все равно не хватило бы денег, чтобы оплатить полноценное путешествие, включающее Рим, Неаполь или, на худой конец, Париж, я невольно порадовался отсутствию наличности, ибо нет ничего печальнее, чем уезжать в таком подавленном настроении. А поскольку, с другой стороны, у нас обоих все же хватало денег, чтобы ходить в кино, мы с Клеппом принялись посещать кинотеатры, где, учитывая вкусы Клеппа, смотрели вестерны, а следуя моим потребностям — фильмы, в которых проливала слезы Мария Шелл — сестра милосердия, а Борше как главный врач, едва завершив сложнейшую операцию, играл у распахнутой балконной двери сонаты Бетховена и проявлял чувство ответственности. Мы очень страдали от того, что сеанс длится всего два часа, ибо некоторые программы вполне можно бы посмотреть по второму разу. Частенько после окончания мы вставали и прямиком шли в кассу, чтобы снова взять билет на то же самое представление. Но когда, выйдя из зала, мы видели перед кассой очередь, порой побольше, порой поменьше, у нас пропадала всякая охота. Мы слишком стеснялись, и не только кассирши, но и совершенно посторонних типов, которые с откровенным бесстыдством изучали наши физиономии, чтобы рискнуть и увеличить очередь перед окошечком.

Вот почему мы почти после каждого сеанса шли в фотосалон неподалеку от площади графа Адольфа, чтобы заказать снимки для паспорта. Нас уже там знали, улыбались, когда мы входили, покорнейше просили садиться, мы были клиенты, а значит, пользовались уважением. И едва освобождалась кабинка, нас туда по очереди заталкивала барышня, о которой я только и помню, что она была миленькая; сперва она одергивала и несколькими движениями приводила в порядок меня, потом Клеппа, велела смотреть в определенную точку, покуда световые вспышки и связанный с ними звонок не извещали, что мы шесть раз подряд запечатлены на пленке.

Едва снявшись, еще чувствуя легкую оцепенелость в уголках губ, мы препровождались в удобные плетеные кресла той же барышней, которая любезно просила нас — очень милая и мило одетая — пять минут подождать. Мы с удовольствием соглашались подождать. В конце концов нам было чего ждать: снимков на паспорт, которые вызывали у нас живой интерес. Всего через семь минут от силы все такая же миленькая, а в остальном трудно описуемая барышня протягивала нам два конвертика, и мы расплачивались.

О, это чувство торжества в чуть выпученных глазах Клеппа... Едва получив конвертик, мы получали также и повод направиться в ближайшую пивную, ибо никто не захотел бы разглядывать собственные фотографии посреди шумной и пыльной улицы, создавая помехи для потока пешеходов. И так же, как мы хранили верность одному и тому же фотосалону, мы всегда посещали одну и ту же пивную на Фридрихштрассе. Заказывали пиво, кровяную колбасу с луком и черным хлебом, раскладывали еще до того, как принесут заказ, чуть влажные снимки по всему кругу столешницы и за поданной без промедления колбасой и пивом углублялись в напряженные черты собственного лица.

Вообще мы всегда имели при себе фотокарточки, сделанные по поводу последнего похода в кино, и тем самым получали возможность для сравнения; а там, где есть возможность для сравнения, есть и законное право заказать вторую, третью, четвертую кружку пива, чтобы развеселиться или, как говорят рейнландцы, прийти в настроение.

Однако из этого вовсе не следует, что человеку тоскующему возможно при помощи собственной фотографии для паспорта сделать свою тоску беспредметной, ибо истинная тоска уже сама по себе беспредметна, моя во всяком случае, да и для Клепповой тоски тоже не находилось сколько-нибудь внятного объяснения, и своей, можно сказать, бодро-веселой беспредметностью она являла ничем не умаляемую силу. Если и была возможность поладить с собственной тоской, то лишь при помощи фотографий, поскольку в серийно изготавливаемых моментальных снимках мы видели себя пусть и не очень отчетливо, но — а это было важней — пассивными и нейтрализованными. Мы могли обходиться с собой, как нам заблагорассудится, при этом пить пиво, терзать кровяную колбасу, приходить в настроение и — играть. Мы перегиба-

ли снимки, складывали их, резали ножницами, каковые постоянно имели при себе для этой цели. Мы совмещали изображения постарше и помоложе, делали себя одноглазыми, трехглазыми, приставляли носы вместо ушей, молчали либо вещали правым ухом и заменяли подбородок лбом. Подобный монтаж совершался не только на основе собственного портрета: Клепп часто заимствовал у моего детали для своего лица, я брал характерное у него: нам удавалось создать новые и, как мы полагали, более счастливые существа. Время от времени мы дарили очередной снимок.

У нас — я ограничиваюсь мной и Клеппом, а смонтированные физиономии оставляю в стороне, — у нас вошло в привычку в каждый свой приход — а пивная эта видела нас не реже чем раз в неделю — дарить кельнеру, которого мы называли Руди, по фотографии, и Руди, человек, достойный иметь двенадцать собственных детей и опекать еще восьмерых, входил в наше положение и, обладая уже дюжинами снимков в профиль, а того больше — анфас, тем не менее каждый раз, когда после долгого обсуждения и напряженных поисков мы вручали ему очередной снимок, изображал на лице участие и благодарил.

Буфетчице и рыжеволосой девушке с лотком сигарет на ремне Оскар не подарил ни одной своей фотографии, женщинам нельзя дарить фотографии, они используют твой подарок во зло. Клепп же, который при всей своей вальяжности в отношениях с женщинами никогда не мог вовремя остановиться, сообщительный до безрассудства и готовый ради каждой менять рубашку, в один прекрасный день без моего ведома явно подарил девушке, торгующей сигаретами, свою фотографию, ибо обручился с этой задорной соплюхой, а позднее даже женился на ней, дабы вызволить у нее свою карточку.

Но я забежал вперед и посвятил слишком много слов последним страницам альбома. Дурацкие моментальные снимки такого внимания не заслуживают или заслуживают лишь как предмет для сравнения, долженствующего лишний раз показать, насколько великим или недостижимым, насколько высоким в художественном смысле и по сей день представляется мне портрет моего деда Коляйчека на первой странице альбома.

Короткий и широкий, стоит он возле фигурного столика. К сожалению, снялся он не как поджигатель, а как добровольный член пожарной дружины по имени Вранка и, следовательно, у него нет усов, хотя ловко пригнанная пожарная форма с медалью за спасение и пожарной каской, превращающей столик в алтарь, до некоторой степени заменяют усы поджигателя. Как серьезно, предвидя грядущие скорби на рубеже веков, умеет он смотреть в объектив. Этот, несмотря на весь трагизм, гордый взгляд, вероятно, был весьма любим и распространен в период второй империи, недаром же мы наблюдаем его и у Грегора Коляйчека, выпивохи с пороховой мельницы, который на снимке выглядит вполне трезвым. С уклоном в мистику — ибо снимали в Ченстохове — аппарат запечатлел Винцента Бронски с освященной свечой в руках. Фото молоденького и тщедушного Яна Бронски, без сомнения, можно воспринимать как добытое средствами начального периода фотографии доказательство меланхолического возмужания.

Женщинам того периода этот взгляд при соответственной позе давался реже. Даже моя бабка Анна, а уж она-то, видит бог, была личностью, украшает себя на карточках перед началом первой мировой войны глуповатой и ненатуральной улыбкой и не дает ни малейшего представления о ширине своих четырех дарующих прибежище и падающих одна на другую столь немногословных юбок.

Даже в войну они улыбались фотографу, который, щелкая затвором, суетливо выплясывал под своим черным платком. Я имею также на твердом картоне форматом в две почтовые открытки двадцать три боязливых сестрички милосердия, среди них — моя матушка как вспомогательный персонал в госпитале Зильберхаммер, где все они теснятся вокруг сулящего надежную опору штаб-лекаря. Чуть непринужденнее ведут себя госпитальные дамы в поставленной сцене костюмированного бала, где принимают участие и почти исцеленные воины. Матушка позволяет себе прищурить глаза и выпятить губки как для поцелуя, что, несмотря на ангельские крылышки и волосы из мишуры, должно означать: ангелы тоже не бесполы. Стоящий перед ней на коленях Мацерат избрал костюм, который с превеликой охотой сделал бы своим повседневным: в накрахмаленном поварском колпаке он взмахивает шумовкой. Зато в мундире, при железном кресте второй степени, он, подобно Коляйчеку и обоим Бронски, смотрит прямо перед собой, полный трагического самосознания, и превосходит женщин на всех фотографиях.

После войны входят в моду другие лица. У мужчин, глядящих в объектив, трафаретный вид, теперь именно женщины умеют подать себя на карточке, именно у них есть причины серьезно глядеть в объектив, именно они, даже улыбаясь, не способны отринуть подмалевку познанной боли. Она была им очень к лицу, печаль женщин

двадцатых годов. Неужели они, сидя, стоя, полулежа с приклеенными к вискам крендельками черных волос, не сумеют найти гармонию между Мадонной и продажной женщиной?

Карточка моей двадцатитрехлетней матушки — снятая, вероятно, до ее беременности — показывает нам молодую женщину, которая слегка наклоняет круглую, аккуратной формы голову на гладкой круглой шее, при этом, однако, смотрит прямо на возможного зрителя; которая смягчает чувственность черт уже упоминавшейся горестной улыбкой и парой скорее серых, нежели голубых глаз, привыкших, судя по всему, созерцать души людей и свою собственную тоже, как рассматривают некий твердый предмет, скажем, кофейную чашку или кончик сигареты. Словечко «проникновенный», пожелай я описать взгляд своей матушки соответственным прилагательным, едва ли покажется удовлетворительным.

Не более интересны, но легче поддаются оценке, а потому более поучительны групповые снимки тех лет. Просто диву даешься, насколько красивее и новобрачнее выглядели подвенечные платья, когда был подписан Раппальский договор. У Мацерата на свадебной фотографии жесткие воротнички, выглядит он хорошо, элегантно, почти интеллигентно. Правая нога выставлена вперед, возможно, от желания походить на какого-нибудь киноактера той поры, на Харри Лидтке, к примеру. Платья тогда носили короткие. Подвенечное платье моей подвенечной матушки, белая плиссированная юбка в тысячу складок, едва заходит за колено, открывая ее стройные ножки и изящные ступни в белых туфельках с пряжками. На остальных снимках собрались все свадебные гости. Среди одетых и позирующих по-городскому бабушка Анна и ее взысканный божьей милостью брат Винцент неизменно выделяются своей провинциальной строгостью и внушающим доверие смущением. Ян Бронски, который, подобно моей матушке, родом с того же самого картофельного поля, как и его тетка Анна и его преданный Деве Небесной отец, умеет, однако, скрыть свое деревенское, свое кашубское происхождение за праздничной элегантностью секретаря на польской почте. Как ни мал и хрупок кажется он, когда стоит среди занимающих много места здоровяков, его необычные глаза, почти женская пропорциональность его лица, даже когда он стоит с краю, создают центр любого снимка.

Уже долгое время я рассматриваю некую группу, сфотографированную вскоре после свадьбы. Мне надо взяться за барабан и попытаться, глядя на этот матовый коричневый четырехугольник, заклинаниями палочек по лакированной жести оживить узнаваемое на картоне трехзвездие.

Возможность сделать этот снимок представилась на углу Магдебургерштрассе и Хеересангер возле общежития для польских студентов, иными словами, в квартире семейства Бронски, ибо он демонстрирует заднюю сторону озаренного солнцем, наполовину закрытого вьющейся фасолью балкона той модели, которую строители любили налеплять на квартиры польской слободы. Матушка сидит, Мацерат и Ян Бронски стоят. Но любопытно поглядеть, как она сидит и как они оба стоят! Было время, когда я по наивности пытался с помощью циркуля, за которым посылал Бруно в лавку, линейки и угольника изменить расстановку сил в этом триумвирате — да, да, триумвирате, ибо матушка вполне заменяла мужчину. Угол наклона шеи — неравнобедренный треугольник, это привело к будущему смещению параллелей, к насильственному совпадению при наложении, к оборотам циркуля, каковые судьбоносно встречались уже за пределами треугольника, то есть на фоне зеленых побегов фасоли, образуя точку пересечения, а я и отыскивал точку, был исполнен веры в точки, исполнен тяги к точкам опоры, исходным точкам, а то и вовсе точкам зрения.

Эти дилетантские обмеры не привели ни к чему, кроме едва заметных и в то же время раздражающих дырок, которые произвела ножка циркуля на важнейших местах этого бесценного снимка. Что ж в нем такого особенного, в этом снимке? Что побудило меня искать математические и — того нелепее — космические ассоциации, не только искать, но и находить, если угодно. Три человека, сидящая женщина, двое стоящих мужчин. У нее — укладка на темных волосах, у Мацерата — светлые кудри, у Яна гладко зачесанные назад каштаново-русые волосы. Все трое улыбаются, Мацерат больше, чем Ян Бронски, оба вместе открывают верхние зубы в пять раз больше, чем матушка, у которой лишь тень улыбки притаилась в уголках рта, а в глазах нет и следа улыбки. Мацерат возложил левую руку на правое плечо матушки, Ян же довольствуется легким возложением на спинку стула своей правой руки. Она, повернув колени вправо, сидя вполне прямо, на коленях держит некую тетрадку, которую я долгое время принимал за альбом Яна с марками, позднее — за модный журнал, наконец, — за коллекцию потретов знаменитых актеров из сигаретных пачек. Руки матушки выглядят так, словно надумали перелистнуть страницу, едва изображение окажется на фотопластинке и снимок будет сделан. Все трое выглядят вполне счастливыми, поддерживая друг друга, дабы быть неуязвимыми при неожиданностях, кото-

рые могут возникнуть, если кто-нибудь из партнеров по тройственному союзу заведет собственные тайны или уже скрывает их с самого начала. Будучи связаны друг с другом, они не могут обойтись без четвертого участника, а именно — без жены Яна Хедвиг Бронски, урожденной Лемке, которая об эту пору уже, возможно, ждала родившегося позже Стефана, не могут в том смысле, что она должна направлять на них, и тем самым на счастье этих троих, объектив фотоаппарата, дабы удержать это тройное счастье по крайней мере средствами фотографии.

Я извлек из альбома и другие четырехугольники и прикладывал их к этому. Снимки, на которых можно узнать либо матушку с Мацератом, либо матушку с Яном Бронски. Но ни на одном из снимков неотвратимое, единственно оставшееся решение не читается так отчетливо, как на этом, «балконном» снимке. Ян и матушка на одной карточке — здесь веет трагедией, золотоискательством, чрезмерностью, которая оборачивается пресыщением, и пресыщением, которое влечет за собой чрезмерность. Мацерат рядом с матушкой: тут сочится по капле потенциал воскресений, тут скворчит шницель по-венски, тут немного воркотни перед трапезой, тут немного зевоты после еды, тут необходимость перед сном рассказать друг другу анекдоты или припомнить налоговую декларацию, дабы брак обрел духовную основу. И однако же я предпочитаю эту запечатленную на фотографии тоску отвратному моментальному снимку более поздних лет, запечатлевшему матушку на коленях у Яна Бронски на фоне Оливского леса неподалеку от Фройденталя. Эта непристойность — Ян запустил руку матушке под платье — выражает лишь безрассудную страсть несчастной, с первого же дня брака с Мацератом прелюбодействующей парочки, для которой, как я предполагаю, Мацерат выступил в качестве безучастного фотографа. Нет и следа того спокойствия, тех осторожно сознательных жестов, которые мы наблюдаем на «балконном» снимке и которые, вероятно, возможны лишь тогда, когда оба мужчины стоят позади матушки, рядом с ней, либо лежат у ее ног, как на пляже в Хойбуде, — см. фотографию.

Есть и еще один четырехугольник, который показывает мне трех самых главных людей моих первых лет, образующих треугольник. Пусть здесь и не достигнута та степень концентрации, что на «балконном» снимке, он тем не менее излучает все тот же чреватый напряжением мир, который, пожалуй, нельзя ни заключить, ни подписать иначе как между тремя участниками. Можно сколько угодно браниться по поводу излюбленной темы треугольника на театре, но если на сцене всего два человека, то что им прикажете делать, кроме как до смерти задискутироваться или втайне мечтать о третьем. Так вот, на моей картинке их трое. Они играют в скат. Вернее сказать, они держат свои карты, как хорошо подобранные веера, но смотрят не на свои козыри, как полагается, чтобы назначить игру, а в объектив. Рука Яна, если не считать воздетого указательного пальца, плоско лежит на столе, рядом с мелочью, Мацерат впился ногтями в скатерть. Матушка позволяет себе небольшую и, как мне думается, вполне удачную шутку: она приоткрыла одну карту и показала ее фотографу, но так, что другие игроки не могли ее увидеть. Как легко, оказывается, одним-единственным жестом, одной лишь приоткрытой дамой червей возродить древний таинственный символ: кто из нас не клялся в верности своей даме сердца.

Скат — а в него, как известно, можно играть лишь втроем — для матушки и обоих ее партнеров был не только наиболее подходящей игрой, но и прибежищем, той самой тихой гаванью, в которой они укрывались всякий раз, когда жизнь соблазняла их наконец создать пару, все равно, в каком сочетании, и играть в дурацкие игры типа шестьдесят шесть или пьяница.

Но теперь оставим тех троих, что произвели меня на свет, хотя у них и так всего было достаточно. Прежде чем перейти к самому себе, несколько слов про Гретхен Шефлер, мамину подружку, и ее пекаря, равно как и законного супруга Александра Шефлера. Он — лыс, она демонстрирует в улыбке лошадиную челюсть, состоящую преимущественно из золотых зубов. Он — коротконог и, сидя на стуле, никогда не достает ногами ковра. Она в платьях собственной вязки, на которых всегда слишком много узоров. Позднее — фотографии обоих Шефлеров в шезлонгах или на фоне спасательных шлюпок парохода «Вильгельм Густлов», принадлежащего обществу «Сила через радость», либо на прогулочной палубе «Танненберга» от морского судоходства Восточной Пруссии. Каждый год они совершали путешествие на пароходе и привозили из Пиллау, Норвегии, с Азорских островов, из Италии в целости и сохранности сувениры домой, на Кляйнхаммервег, где он пек булочки, а она отделывала наволочки кружевами «мышиные зубки». Когда Александр Шефлер молчал, он безостановочно увлажнял кончиком языка верхнюю губу, а друг Мацерата зеленщик Грефф, живущий от нас наискосок, осуждал такую манеру держать себя как непристойную.

Хоть Грефф и состоял в браке, он был более вождь скаутов, нежели супруг. Фо-

тография показывает его, широкоплечего, поджарого, здорового, в форме с короткими штанами, со шнурами, как положено вождю, и в шляпе скаута. Рядом, в такой же экипировке, стоит белокурый, пожалуй, чересчур глазастый мальчуган лет примерно тринадцати; Грефф положил левую руку ему на плечо и, в знак благосклонности, прижимает к себе. Мальчишку я не знал, а Греффа мне еще предстояло узнать и понять через его жену Лину.

Я увяз в снимках туристов, путешествующих с помощью «Силы через радость», и свидетельствах нежной эротики скаутов. Хочу быстро перевернуть несколько страниц и обратиться к себе, к своему первому фотографическому изображению.

Я был красивым ребенком. Снимок сделан на Троицу в двадцать пятом году. Мне исполнилось тогда восемь месяцев, меньше на два месяца, чем Стефану Бронски, который изображен на соседней странице, на карточке того же формата, и излучает несусветную заурядность. У открытки — волнистый, как бы искусно оборванный край, обратная сторона разлинована для адреса, вероятно, было отпечатано много экземпляров для семейного употребления. Вырез на странице альбома демонстрирует посреди горизонтально лежащего прямоугольника овал чересчур симметричного яйца. Голый, очевидно символизируя желток, я лежу на животе, на белой шкуре, которую, вероятно, какой-нибудь белый медведь ссудил какому-нибудь восточноевропейскому фотографу-профессионалу, специализирующемуся на детских снимках. Для моего первого изображения, как и для многих снимков того времени, был безошибочно избран теплый коричневатый тон, который не спутаешь ни с каким другим и который мне хотелось бы назвать человечным, в отличие от бесчеловечно гладких черно-белых снимков наших дней. Тускло-расплывчатая, должно быть прорисованная, листва создает темный, кое-где разбитый бликами света задний план. В то время как мое гладкое здоровое тельце в плоском спокойствии чуть наискось возлежит на шкуре, поддаваясь воздействию полярной родины белого медведя, сам я с усилием поднимаю круглую, как шар, детскую головку и гляжу на потенциального наблюдателя блестящими глазами.

Можно бы сказать: фотография — как все детские фотографии. Но посмотрите, пожалуйста, на мои руки, и вам придется признать, что мое первое изображение принципиально отличается от бесчисленных изображений, в равной мере демонстрирующих по разным альбомам очарование детства: я лежу со сжатыми кулаками. Не пухленькие пальчики-сардельки, которые самозабвенно, повинуясь хватательному инстинкту, играют космами медвежьей шкуры, а серьезно сжатые маленькие хваталки парят по обеим сторонам головы, вечно готовые в любую минуту опуститься, задать тон. Какой, спрашивается, тон? Да барабанный же!

Покамест его нет еще в поле зрения, его, который при свете лампочек был мне обещан к третьему дню рождения, но для специалиста по фотомонтажу не составило бы ни малейшего труда приделать соответственное, то есть уменьшенное, изображение детского барабана, не предпринимая никаких изменений в моей позе. Пришлось бы разве что убрать глупого и ненужного тряпичного зверя. Он и без того выглядит как чужеродный элемент в этой, в общем-то удавшейся, композиции, чьей темой является тот проницательный, сметливый возраст, когда режутся первые зубки.

Впоследствии меня больше не укладывали на шкуру белого медведя. Мне было, надо полагать, полтора года, когда меня в коляске с высокими колесами поставили на фоне дачного забора, зубцы и поперечник которого столь точно повторены снежным покровом, что я должен отнести этот снимок к январю двадцать шестого. Грубая, пахнущая просмоленной доской конструкция забора, если долго ее рассматривать, ассоциируется у меня с пригородом Хохштрис, в чьих обширных казармах первоначально были расквартированы гусары маккензеновского полка, а уже в мое время — полиция Вольного города. Но поскольку моя память не сохранила ни одного имени, связанного с этим пригородом, остается предположить, что снимок сделан во время разового визита моих родителей к людям, которых я позже не видел или видел лишь мельком.

Ни матушка, ни Мацерат, поставившие коляску между собой, несмотря на холодное время года, не надели зимних пальто. Напротив, на матушке — русская блуза с длинными рукавами и вышитым орнаментом, которые придают зимнему снимку такой вид: это в глубинах России снимают царскую фамилию, Распутин держит аппарат, я — царевич, а за забором притаились меньшевики и большевики и, мастеря самодельные бомбы, принимают решение о гибели моего самодержавного семейства. Корректное, среднеевропейское и, как станет ясно лишь впоследствии, судьбоносное мещанство Мацерата смягчает остроту насилия у притаившейся в снимке злодейской банды. Люди посетили мирный Хохштрис, ненадолго, даже не надевая зимних пальто, вышли из гостеприимной квартиры, попросили хозяина сфотографировать их с веселым, как и положено, Оскаром посредине, чтобы сразу после этого

вернуться в тепло, к сластям и прочим приятностям жизни за кофе с пирожными и взбитыми сливками.

Сыщется еще добрая дюжина моментальных снимков лежащего, сидящего, ползущего, бегущего, годовалого, двухлетнего, двухсполовинойлетнего Оскара. Все снимки более или менее удачные и представляют собой предварительную стадию того портрета во весь рост, который заказали по поводу моего третьего дня рождения.

Здесь, на этом снимке, я уже получил его, мой барабан. Здесь он висит у меня на животе, с белыми и красными зубцами. Здесь я с чувством собственного достоинства и с серьезной решимостью на лице скрещиваю над жестью деревянные палочки. Здесь на мне полосатый пуловер. Здесь я щеголяю в блестящих лаковых туфельках. Здесь и мои волосы, как щетка, желающая что-нибудь почистить, ежиком стоят у меня на голове, а в моих голубых глазах, в каждом из них, светится жажда власти, не желающая ни с кем ее делить. Здесь мне удалось занять позицию, изменять которой у меня нет ни малейшего повода. Здесь я сказал, здесь я решился, здесь принял решение никоим образом не становиться политиком и уж подавно не торговать колониальными товарами, а напротив, поставить точку и навсегда остаться таким — вот таким я и остался, задержался на этих размерах, в этой экипировке на долгие годы.

Большие люди и маленькие люди, Большой Бельт и Малый Бельт, буквы большие и буквы маленькие, карлики и Карл Великий, Давид и Голиаф, Мальчик с пальчик и гвардейцы-великаны; я же остался трехлеткой, гномом, карапузом, вечным недомерком, чтобы меня не заставили разбираться в малом и в большом катехизисе, чтобы мне не стать большим, достигнув роста метр семьдесят два, не стать так называемым взрослым и не угодить в руки человека, который, бреясь перед зеркалом, сам себя называет моим отцом, чтобы не взваливать на себя обязательства перед лавкой, которая по желанию Мацерата в качестве лавки колониальных товаров должна была означать для Оскара, когда тому минет двадцать один год, мир взрослых. Чтобы не пришлось мне щелкать кассовым аппаратом, я уцепился за барабан и с третьего дня рождения не вырос ни на один дюйм, остался трехлетним, но по меньшей мере трех пядей во лбу, которого все взрослые превзошли ростом, который всех взрослых превзошел умом, который не хотел сравнивать свою тень с их тенями, который завершил свое развитие, как внутреннее, так и внешнее, тогда как взрослые и в глубокой старости продолжают лепетать о развитии, который без усилий постигал то, что другим давалось с превеликим трудом, а порой и через мучения, у которого не было надобности каждый год носить штаны и ботинки все больших размеров с единственной целью подтвердить процесс роста.

Но при этом — тут даже сам Оскар не может отрицать процесса развития — у него все-таки росло нечто, и не всегда мне на пользу, росло, достигло в конце концов мессианских размеров; только кто из взрослых в мое время присматривался, кто прислушивался к неизменно трехлетнему барабанщику Оскару?

Стекло, стакан, стопарик

Если я только что дал описание снимка, где во весь рост представлен Оскар, его барабан и барабанные палочки, и попутно открыл вам, какие давно вызревшие решения окончательно — покуда его фотографировали — принял Оскар, созерцая праздничное застолье вокруг пирога с тремя свечками, я считаю своим долгом, когда альбом уже безмолвно лежит возле меня в закрытом виде, упомянуть о тех обстоятельствах, которые хоть и не объясняют мое затянувшееся трехлетие, однако же — спровоцированные мной — имели место.

Мне с первой минуты было ясно: взрослые не поймут тебя, если ты не будешь расти так, чтобы они это могли видеть, припишут тебе задержку в развитии и начнут таскать тебя и свои деньги от одного врача к другому в поисках если и не твоего выздоровления, то по крайней мере объяснения твоей болезни. Стало быть, чтобы свести консультации к терпимому минимуму, от меня требовалось, прежде чем врач даст какое-то объяснение, подыскать со своей стороны уважительную причину для задержки роста.

Солнечный сентябрьский день, мой третий день рождения. Нежные стеклянные пузыри позднего лета, даже смех Гретхен Шефлер звучит не так резко. Матушка за фортепиано наигрывает из «Цыганского барона», позади стула-вертушки, за спиной у матушки, стоит Ян, касаясь ее плеча и якобы изучая ноты. Мацерат уже собирает ужин на кухне. Бабушка Анна с Хедвиг Бронски и Александром Шефлером плотней придвигаются к зеленщику Греффу, ибо тот знает много историй, скаутских историй, по ходу которых неизменно проявляются верность и сила духа; прибавьте к этому

напольные часы, которые не пренебрегают ни единой четвертью часа в тончайшей вязи сентябрьского дня. А поскольку все, подобно часам, были заняты делом и от венгерской земли, где подвизался цыганский барон, через шагающих по греффовским Вогезам скаутов протянулась незримая линия мимо мацератовой кухни, где на сковороде устрашающе шипели кашубские лисички с яйцом и шпиком, по коридору к лавке, я двинулся туда же, тихонько погромыхивая на своем барабане, и оказался за прилавком, подальше от пианино, лисичек и Вогезов, приметив, что крышка погреба откинута: видно, Мацерат, который лазил туда, чтобы достать банку со смешанным компотом на сладкое, забыл ее захлопнуть.

И все же мне понадобилась целая минута, прежде чем я понял, чего от меня требует незахлопнутая крышка нашего погреба. Не самоубийства, Боже избави! Это было бы чересчур просто. Но другое было трудным, было болезненным, требовало от меня жертвы, и уже в тот день, как и потом всякий раз, когда от меня требовалась очередная жертва, лоб мой покрылся потом. Самое главное — чтобы не пострадал барабан, поэтому для начала следовало снести его вниз по шестнадцати щербатым ступеням и разместить между мешков с мукой, объясняя этим впоследствии, почему барабан остался невредим. Потом снова подняться до восьмой ступеньки, нет, пожалуй, на одну ниже, или нет, сгодится и пятая. Но, падая с этой ступени, трудно сочетать надежность с убедительностью увечий. Поднимемся выше, нет, это слишком высоко — десятая снизу ступенька, и наконец я рухнул с девятой, головой вперед, на цементный пол нашего погреба, увлекая за собой целую батарею бутылок с малиновым сиропом.

Еще до того, как задернулась гардина, закрывшая мое сознание, я мог убедиться в успехе своего эксперимента: умышленно сброшенные бутылки с малиновым сиропом произвели шум, достаточный для того, чтобы выманить Мацерата из кухни, матушку — от пианино, остальную часть общества — с Вогезов в нашу лавку.

Но прежде чем подоспели они, сам я успел поддаться запаху пролитого сиропа, удостовериться, что из головы у меня течет кровь, а вдобавок, когда они уже вступили на лестницу, поразмышлять над вопросом, что нагоняет на меня такую усталость, то ли кровь Оскара, то ли сладкий сироп, и, однако, испытать величайшую радость, поскольку все удалось как нельзя лучше, а барабан, благодаря предпринятым мерам предосторожности, остался цел и невредим.

Помнится, Грефф вынес меня наверх. Лишь в гостиной Оскар выплыл из своего облака, которое, вероятно, наполовину состояло из малинового сиропа, а наполовину — из его детской крови. Врач еще не подоспел, матушка кричала, несколько раз ударила пытавшегося ее успокоить Мацерата ладонью, а потом и тыльной ее стороной по лицу и обозвала убийцей.

Итак — и врачи снова и снова подтвердили мою правоту, — благодаря единственному, хоть и не безболезненному, но хорошо рассчитанному падению с лестницы я получил не только крайне важное для взрослых объяснение приостановки моего роста, но вдобавок превратил доброго и безобидного Мацерата в Мацерата повинного. Это он не захлопнул крышку погреба, это на него матушка взвалила всю вину, и он пронес сознание этой вины, в которой матушка упрекала его хоть и не часто, но неуклонно, через вереницу лет.

Мне же падение обеспечило четыре недели на больничной койке, а потом, если не считать визитов по средам к доктору Холлацу, относительную свободу от врачей; уже в первый мой барабанный день мне удалось подать миру знак, и случай мой был разъяснен еще прежде, чем взрослые смогли уразуметь истинное, мною предопределенное положение дел. В дальнейшем говорилось так: как раз в день своего рождения наш маленький трехлетний Оскар свалился с лестницы и хотя ничего себе не сломал, но расти после этого перестал.

И начал я барабанить. В нашем доходном доме было четыре этажа, и от первого этажа до чердачных закоулков я барабанил вверх и вниз по лестнице. От Лабесвега к Макс-Хальбе-плац, оттуда на Нойшотланд, Антон-Мёллер-Вег, Мариенштрассе, Клейнхаммерпарк, Акционерную пивоварню, Акционерный пруд, Фребелевский луг, школу Песталоцци, Новый базар и снова — Лабесвег. Мой барабан хорошо это выдерживал, взрослые — хуже, они хотели заткнуть глотку моему барабану, хотели подставить ножку моим палочкам — но обо мне позаботилась природа.

Способность при помощи жестяного детского барабана выбарабанить необходимую дистанцию между мной и взрослыми вызрела вскоре после моего падения с лестницы, и почти сразу же у меня прорезался голос, давший мне возможность петь вибрато на таких высоких нотах, или кричать, или петь крича, что никто не рисковал более отбирать у меня барабан, от которого закладывало уши, ибо если кто-нибудь пытался схватить его, я начинал кричать, а когда я кричал, ценные вещи разлетались на куски: мой крик убивал цветочные вазы, мое пение крушило оконные стекла и

передавало власть сквозняку, мой голос, подобно целомудренному, а потому и не ведающему сострадания алмазу, резал стеклянные горки, чтобы в их глубинах, не теряя при этом своей невинности, надругаться над гармоничными, благородно закругленными, подаренными любящей рукой и покрытыми легким налетом пыли ликерными рюмочками.

Прошло немного времени, и мои способности стали широко известны на нашей улице, от Брёзенервег до поселка при аэродроме, короче, во всем квартале. Стоило соседским детям, чьи игры типа «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», либо «Где у нас кухарка, черная кухарка?», или «Что я вижу, ты не видишь» меня не привлекали, завидеть меня, как целый хор немытых рож начинал вопить:

Стекло, стакан, стопарик
Сахар есть, пива нет — очень жаль
Госпожа Метелица зажжет свой фонарик
И сядет за рояль.

Без сомнения, дурацкие, лишенные смысла припевки. Но меня они не смущали, когда вместе с моим барабаном я шагал сквозь «Госпожу Метелицу», заимствуя примитивный, но не лишенный приятности ритм, выбивал «Стекло, стакан, стопарик» и, не будучи крысоловом, увлекал за собой детей.

Впрочем, и сегодня, когда Бруно намывает окно в моей комнате, я выделяю этой песенке и этому ритму местечко на своем барабане.

Куда несноснее, чем дразнилки соседских детей, куда огорчительнее, особенно для моих родителей, оказался тот дорогостоящий факт, что на меня или, точнее сказать, на мой голос начали сваливать любое окно, разбитое в нашем квартале наглыми, невоспитанными хулиганами. Поначалу матушка добродетельно оплачивала все, по большей части разбитые с помощью рогаток, кухонные окна, потом, уразумев наконец особенности моего голоса, она, прежде чем возмещать убытки, начала требовать доказательств, и при этом у нее делались холодные деловые глаза. А люди, живущие по соседству, и впрямь были ко мне несправедливы. Ничто в этот период не могло быть несправедливее, чем утверждать, будто виной всему — живущий во мне детский дух разрушения, что я испытываю ничем не объяснимую ненависть к стеклу и стеклянным изделиям, как и другие дети порой в приступах бешенства дают выход своим темным и бессмысленным антипатиям. Лишь тот, кто занят игрой, разрушает умышленно. Я же никогда не играл, я работал на своем барабане, а что до голоса, то первоначально я употреблял его лишь в пределах необходимой обороны. Только опасения за мою работу на барабане вынуждали меня целенаправленно пускать в ход голосовые связки. Будь я наделен способностью тем же методом и теми же звуками резать унылые, закрытые сплошной вышивкой, порожденные художественной фантазией Гретхен Шефлер скатерти или отслаивать с поверхности пианино темный лак, я бы куда как охотно оставил в покое все стеклянное. Но скатерти и лак были равнодушны к моему голосу. Точно так же не мог я даже с помощью нескончаемого крика стереть узоры с обоев, как не мог с помощью двух протяжных, нарастающих, трущихся друг о друга, будто в каменном веке, тонов добыть тепло, потом жар и, наконец, искру, необходимую для того, чтобы на обоих окнах гостиной занялись декоративным пламенем пересохшие, пропитанные табачным духом гардины. Ни у одного стула, на котором сидел Александр Шефлер или Мацерат, я не мог своим голосом «отпеть» ножку. Право же, я предпочел бы защищаться не столь чудесными и более безобидными средствами, но безобидных средств в моем распоряжении не было, одно только стекло покорялось мне и несло свой крест.

Первую успешную демонстрацию этой способности я провел вскоре после своего третьего дня рождения. Барабан принадлежал мне уже четыре недели с хвостиком, и за это время при моем усердии я пробил его до дыр. Правда, бело-красные зубцы обечайки еще удерживали вместе верх и низ, но дыру в центре звучащей стороны уже трудно было не заметить, и — поскольку я презирал нижнюю сторону — эта дыра становилась все больше, по краю пошли острые зазубрины, стертые от игры частички жести осыпались и провалились внутрь барабана, где недовольно звякали при каждом ударе, и повсюду, на ковре гостиной и на красно-бурых полах в спальне, поблескивали белые частички лака, которые не пожелали долее удерживаться на истерзанной жести моего барабана.

Родители боялись, как бы я не порезал себе руки об угрожающе острые жестяные края. Особенно Мацерат, который после моего падения с лестницы громоздил одну меру предосторожности на другую. Поскольку, активно размахивая руками, я и в самом деле мог задеть острые края, опасения Мацерата были хоть и преувеличены, но не лишены оснований. Правда, с помощью нового барабана можно было избегнуть всех грозящих мне опасностей, но они вовсе и не помышляли о новом бара-

бане, а просто хотели отобрать у меня мою добрую старую жестянку, которая вместе со мной падала, вместе лежала в больнице и была оттуда выписана, вместе — вверх-вниз по лестнице, вместе — на булыжной мостовой и на тротуарах, сквозь «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать», мимо «Что я вижу, ты не видишь», мимо «Где у нас кухарка, черная кухарка?», — отобрать и ничего не дать взамен. Дурацкий шоколад должен был служить приманкой. Мама протягивала его мне и при этом складывала губки бантиком. Именно Мацерат с напускной строгостью ухватился за мой раненый инструмент, а я вцепился в моего инвалида. Мацерат потянул его к себе, а силы мои, достаточные лишь для того, чтобы барабанить, были уже на исходе. Один красный язычок пламени за другим медленно ускользал из моих рук, вот и круглая обечайка готовилась покинуть меня, но тут Оскару, который до того дня слыл вполне спокойным и, можно сказать, слишком благонравным ребенком, удался его первый разрушительный и действенный крик. Круглое граненое стекло, защищавшее медово-желтый циферблат наших напольных часов от пыли и умирающих мух, разлетелось на куски, упало — причем некоторые куски в падении сломались еще раз — на красно-коричневый пол, ибо ковер не доставал до подножия часов. Впрочем, внутреннее устройство дорогого механизма ничуть не пострадало. Маятник спокойно продолжал свой путь — если про маятник можно так сказать, то же делали и стрелки. И даже механизм боя, обычно крайне чувствительно, я бы даже сказал, истерически реагирующий на каждый толчок, на проезжающие мимо пивные фургоны, даже он никак не воспринял мой крик; разлетелось только стекло, но уж зато оно разлетелось вдребезги.

«Часы пропали!» — вскричал Мацерат и выпустил барабан из рук. Беглый взгляд убедил меня, что мой крик не причинил собственно часам никакого вреда, что погибло лишь стекло. Однако для Мацерата, как и для матушки, и для дяди Яна, который в тот день нанес нам воскресный визит, судя по их поведению, погибло нечто большее, нежели простое стекло. Побледнев, они смотрели друг на друга беспомощно растерянным взглядом, ощупывали изразцовую печь, держались за буфет и за пианино, не смели сдвинуться с места, и Ян Бронски, умоляюще закатив глаза, шевелил сухими губами, так что я и по сей день полагаю, будто усилия дяди Яна были адресованы молитве, взывающей о помощи и сострадании, как, например, «О агнец божий, ты искупаешь грехи мира, смилуйся же над нами» — и это три раза подряд, а потом и еще: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи хоть слово...»

Господь, разумеется, ни слова не сказал, да и не часы это сломались, а только стекло. Однако взрослые очень странно относятся к своим часам, странно и по-детски в том смысле, в котором лично я никогда ребенком не был. Хотя часы, быть может, самое великолепное творение взрослых, но дело обстоит так: в той же мере, в какой взрослые способны быть творцами и, при наличии усердия, честолюбия и некоторой доли везения, таковыми становятся, они, едва сотворив нечто, сами превращаются в творения своих эпохальных открытий.

Притом часы, как сейчас, так и прежде, ничего не стоят без взрослого человека. Он их заводит, переводит вперед, отводит назад, несет их к часовщику, чтобы тот проверил правильность хода, почистил и, в случае надобности, починил. Как и крику кукушки, который слишком рано обрывается, опрокинутой солонке, пауку поутру, черным кошкам, перебежавшим дорогу слева направо, дядиному портрету, писанному маслом, который падает со стены, потому что разболтался крюк, вбитый в штукатурку, разбитому зеркалу, так и часам и тому, что за ними стоит, взрослые придают большее значение, чем имеют собственно часы.

Матушка, несмотря на некоторые мечтательно-романтические черты, наделенная трезвым взглядом и по склонности к легкомыслию умеющая истолковать любую сомнительную примету в положительном для себя смысле, нашла спасительное слово. «Стекло бьется к счастью!» — воскликнула она, прищелкивая пальцами, затем принесла совок и метелочку и вымела все осколки или все счастье.

Если принять на веру слова матушки, я принес своим родителям, родственникам, знакомым, а также незнакомым людям премного счастья, ибо у каждого, кто пытался отнять мой барабан, я раскричал, распел, расколол оконные стекла, пустые бутылки из-под пива, дышащие весной флакончики духов, хрустальные вазы с искусственными плодами, короче, все, что было стеклянным, все, что было произведено дыханием стеклодува на стекольных заводах, порой имея стоимость простого стекла, порой, однако, расцениваясь как произведение искусства.

Чтобы не натворить слишком много бед, ибо мне и тогда нравились, и по сей день нравятся изящные стеклянные изделия, я, когда у меня вечером хотели отнять мой барабан, хотя ему, барабану, следовало ночью лежать вместе со мной в кроватке, разрушал одну или несколько лампочек в нашей четырежды проливающей свет люстре под потолком. Именно так на свой четвертый день рождения, в начале сен-

тября двадцать восьмого года, я поверг все праздничное общество: родителей, супругов Бронски, бабушку Коляйчек, Шефлеров и Греффов, которые натащили мне кучу всяких подарков, оловянных солдатиков, парусный кораблик, пожарную машину — но только не барабан, словом, поверг их всех, предпочитавших, чтобы я забавлялся с оловянными солдатиками, чтобы я счел достойной игры бессмысленную пожарную машину, не желавших оставить меня при моем старом, дырявом, но верном барабане, отбиравших у меня жесть, но вместо того совавших мне в руки кораблик, помимо всего прочего, еще и непрофессионально оснащенный, всех, имеющих глаза лишь затем, чтобы не видеть моих желаний, их всех я поверг своим криком, который, обежав по кругу, убил четыре лампы нашего висячего светильника, в допотопную тьму.

Но уж таковы они взрослые: после первых испуганных криков, после исступленного желания вернуть свет, они освоились с темнотой, и когда моя бабушка Коляйчек, единственная — если не считать маленького Стефана, — кто не знал, на кой ей сдалась эта темнота, вместе с хныкающим Стефаном, который держался за ее подол, сходила в лавку за свечами и озарила комнату их светом, остальная, изрядно подвыпившая часть компании оказалась разбитой на странные парочки.

Ну, мамаша моя, как и следовало ожидать, в расхристанной блузке сидела на коленях у Яна Бронски. Крайне неаппетитное зрелище являл коротконогий пекарь, почти исчезнувший в Греффихе, Мацерат облизывал золотые и лошадиные зубы Гретхен Шефлер. Одна лишь Хедвиг Бронски сидела в пламени свечи с набожным коровьим взглядом, руки сложила на коленях, сидела близко, но отнюдь не слишком к зеленщику Греффу, который хоть и не выпил, но все же пел, пел сладким голосом, пел, распространяя грусть и меланхолию, пел, подбивая Хедвиг Бронски ему подпевать. Они пели на два голоса песню скаутов, где некий Рюбецаль вынужден бродить в Исполиновых горах.

А про меня забыли. Оскар сидел под столом с останками своего барабана, он извлек еще несколько ритмов из пробитой жести, и вполне возможно, что нечастые, но равномерные звуки барабана были не лишены известной приятности для тех, кто, перемешавшись в упоении, лежал или сидел в комнате. Ибо барабан словно защитным слоем перекрывал все чавкающие и сосущие звуки, невольно издаваемые теми, кто демонстрировал напряженные и лихорадочные доказательства своих усилий.

Я оставался под столом, когда со свечами вернулась бабушка, подобно гневному архангелу узрела в пламени свечи Содом, признала в пламени свечи Гоморру, и с задрожавшими в ее руках свечами подняла крик, устроила скандал, и, назвав все это свинством, положила конец идиллии о том, как прогуливается Рюбецаль по Исполиновым горам, потом, расставив свечи по блюдечкам, достала карты из буфета, кинула их на стол и, попутно утешая все еще хнычущего Стефана, провозгласила вторую часть праздника. Вскоре Мацерат ввинтил новые лампочки в старые патроны нашего висячего светильника, наверху задвигались стулья, защелкали, подпрыгивая, пробки от пивных бутылок, и над моей головой зашлепали по столу карты — скат по одной десятой пфеннига. Матушка сперва предложила по четверти, но дяде Яну это показалось слишком рискованным, и если бы не очередные партии, да при случае гранд с четырьмя время от времени весьма значительно не повышали ставки, все так бы и остались при крохоборской одной десятой.

Я неплохо себя чувствовал под столешницей, укрытый от сквозняков свисающей скатерью, легким барабанным боем отвечая кулакам, которые над моей головой грохотали по столу, я подчинился ходу игры и вылез наружу примерно через час. Ян Бронски проиграл. Карты ему достались хорошие, тем не менее он проиграл. И не диво, что он был так рассеян; голова у него была занята не бубнами без двух. Ведь в начале игры, еще беседуя со своей теткой и стараясь как-то оправдать предшествующую их разговору небольшую оргию, он скинул с левой ноги полуботинок, протянул над моей головой левую ногу в сером носке, поискал колено матушки, которая сидела как раз напротив, и нашел его. После прикосновения левой ноги Яна матушка подсела поближе к столу, так что Ян, которого как раз провоцировал Мацерат и который решил пасовать при тридцати трех, приподнял край ее платья, сперва пальцами, потом всей ступней в носке, а носок, к слову сказать, был почти чистый, надет не далее как сегодня, и устроился у нее между ногами. Можно только восхищаться моей матушкой, которая, несмотря на шерстяные прикосновения под столом, выиграла над столом, поверх туго натянутой скатерти самую что ни на есть рискованную игру, в том числе — трефы без четырех, выиграла уверенно, и с юмористическими комментариями, в то время как Ян, становясь все более предприимчивым внизу, проиграл несколько партий наверху, да таких, которые даже Оскар довел бы до победного конца с уверенностью сомнамбулы. Позднее усталый Стефан тоже перебрался под стол, где вскоре заснул, так и не поняв перед сном, что это делает брючина его

папаши под юбкой у моей мамаши.

Ясно, временами облачно. Во второй половине дня незначительные осадки. На другой день снова пришел Ян Бронски, забрал предназначенный для меня подарок, парусный кораблик, выменял эту унылую игрушку у Сигизмунда Маркуса в Цойгхаус-пассаже на жестяной барабан, явился ближе к вечеру, слегка промокший, с тем самым бело-красным, столь любезным моему сердцу барабаном, протянул его мне и одновременно схватил мою добрую старую жестянку, на которой сохранились лишь чешуйки бело-красного лака. И покуда Ян хватал отслужившую свое жесть, а я хватался за новую, все они, Ян, матушка, Мацерат, не сводили глаз с Оскара — я даже не мог сдержать невольной улыбки: неужели они думают, что я держусь за устаревшее, что я таю в груди какие-то принципы?

Не издав ожидаемого всеми крика, не испустив громкого, режущего стекло пения, я отдал старый барабан и тотчас обеими руками взялся за новый инструмент. Через два часа тщательной работы я с ним вполне освоился.

Но не все взрослые из моего окружения проявили такое же понимание, как Ян Бронски. Вскоре после моего пятого дня рождения, в двадцать девятом году — тогда еще шло много разговоров про панику на нью-йоркской бирже и я размышлял о том, не понес ли убытков мой дедушка, торгующий лесом в далеком Буффало,— матушка не могла дольше не замечать отсутствия у меня признаков роста и, встревоженная этим обстоятельством, принялась по средам водить меня за руку на прием к доктору Холлацу, что на Брунсхёфервег. Я терпеливо сносил все крайне докучные и бесконечно долгие обследования, потому что мне уже тогда нравилась белая, ласкающая глаз форма сестрички Инги, которая стояла рядом с Холлацем и помогала ему, напоминая мне о запечатленной при посредстве фотографии сестринской поре моей матушки во время войны, и еще потому, что интенсивное разглядывание всякий раз по-новому ложившихся складок на халате помогало мне отвлечься от гулкого, подчеркнуто энергичного, а потом снова неприятно покровительственного словоизвержения из уст доктора.

Отражая в стеклах очков обстановку своего кабинета — а там было много хрома, никеля и лака, вдобавок много полок и витрин, в которых стояли аккуратно надписанные склянки со змеями, ящерицами, жабами, свиными, человеческими и обезьяньими зародышами, — и вбирая стеклами очков все эти заспиртованные фрукты, доктор Холлац после обследования задумчиво качал головой, листал мою историю болезни, снова и снова заставлял матушку рассказывать о том, как я упал с лестницы, и успокаивал ее, если она принималась без удержу ругать Мацерата, не захлопнувшего крышку погреба, и предавать его проклятию на все времена.

Когда спустя несколько месяцев во время очередной консультации в среду, желая продемонстрировать то ли себе, то ли сестре Инге успех проводимого им лечения, доктор захотел взять мой барабан, я разрушил большую часть его коллекции жаб и змей, а также всех собранных им эмбрионов различного происхождения.

Если не считать полных, но не закрытых кружек пива и матушкиного флакончика с духами, Оскар ни разу еще не пробовал силы на таком количестве наполненных и тщательно закрытых стеклянных сосудов. Успех был уникальный и для всех участников, даже для матушки, которая уже знала мои отношения со стеклом, потрясающий и убедительный. Первым же, еще не в полную силу звуком я взрезал вдоль и поперек витрину, где Холлац хранил свои мерзкие экспонаты, потом заставил почти квадратное стекло с внешней стороны упасть на крытый линолеумом пол, куда оно легло и, не теряя своей квадратной формы, растрескалось на тысячу кусков, далее я придал своему крику более выраженные черты и почти чрезмерную настойчивость и этим столь щедро оформленным звуком проделал путь от одной колбы к другой.

Колбы разлетались со звоном, зеленоватый, слегка сгустившийся спирт, увлекая за собой свое препарированное, бледное, тоскливое содержимое, разбрызгивался, растекался по красному линолеуму кабинета и наполнял помещение своим, я бы даже сказал — осязаемым, запахом до такой степени, что матушке стало дурно, а сестре Инге пришлось распахнуть окна на Брунсхёфервег. Но доктор Холлац ухитрился обратить в достижение потерю своей коллекции. Через несколько недель после моего злодеяния в медицинском вестнике «Врач и мир» появилась принадлежащая ему статья о голосовом феномене Оскара М., разрезающем стекло. Позиция доктора Холлаца, изложенная там, вызвала в профессиональных кругах широкий отклик, как внутри страны, так и за ее пределами, встретила и приятие и неприятие со стороны компетентных лиц. Матушка, которой было прислано сразу несколько экземпляров журнала, испытала прилив странной гордости, заставившей меня призадуматься, и не могла отказать себе в удовольствии зачитывать отрывки из этой статьи Греффам, Шефлерам, своему Яну и — снова и снова, после обеда — своему супругу Мацерату. Даже покупатели, приходившие в лавку, вынуждены были заслушивать выдержки

из статьи и при этом восхищались матушкой, которая лихо произносила различные термины, демонстрируя хоть и неправильные ударения, но зато богатую игру воображения. Лично меня то обстоятельство, что мое имя впервые появилось на страницах печати, ничуть не трогало. Мой тогда уже недремлющий скептицизм побудил меня считать статью доктора Холлаца именно тем, чем она, если вникнуть, и была на самом деле: многостраничные, не лишенные ловкости разглагольствования врача, имеющего виды на университетскую кафедру.

Сегодня в своем специальном лечебном учреждении Оскар, чей голос не способен более сдвинуть с места даже стаканчик для чистки зубов, когда врачи, подобные Холлацу, одолевают его своими визитами, учиняют над ним ассоциативные, так называемые роршаховские и прочие тесты, чтобы его принудительное пребывание в данном учреждении наконец-то получило благозвучное наименование, сегодня Оскар с удовольствием вспоминает архаические, ранние времена своего голоса. Если в тот начальный период он разрезал изделия из кварцевого песка хоть и основательно, но лишь бывая к тому вынужден, то впоследствии, когда его искусство достигло расцвета, а затем пошло на убыль, он уже пользовался своими способностями без всякого внешнего принуждения. Поддавшись на искусы позднего маньеризма, ради игры как таковой, служа искусству для искусства, Оскар проникал голосом в структуру стекла и при этом взрослел.

Расписание уроков

Порой Клепп часами напролет составляет для себя распорядок дня. То обстоятельство, что во время этого составления он непрерывно поглощает кровяную колбасу с разогретой чечевицей, лишь подтверждает мой тезис, гласящий: все мечтатели — обжоры. А то, что Клепп, заполняя отдельные рубрики, проявляет совершенно очевидное прилежание, подтверждает другой мой тезис: лишь истинные ленивцы способны совершать открытия, делающие работу менее трудоемкой.

Вот и в этом году Клепп две недели подряд тщился составить почасовое расписание. Навестив меня вчера вечером, он первым делом напустил на себя таинственность, затем достал из нагрудного кармашка многократно сложенный лист бумаги и протянул его мне, сияя, даже с выражением гордости: он снова сделал открытие, позволяющее экономить рабочее время.

Я пробежал его записи глазами, но ничего такого уж нового не обнаружил: в десять — завтрак, до обеда — работа мысли, после обеда — тихий час, далее — кофе, по возможности — в постель; не вылезая из постели час игры на флейте, затем встать и еще час маршировать по комнате под звуки волынки, еще полчаса волынки во дворе на свежем воздухе, потом — чередуя каждые два дня: либо два часа кровяной колбасы под пиво, либо два часа в кино, но в любом случае перед кино или за пивом незаметно поагитировать за нелегальную КПГ, не более получаса, чтобы не переборщить. Три вечера в неделю займет производство танцевальной музыки в «Единороге», по субботам послеобеденное пиво вкупе с агитацией за КПГ переносится на вечер, поскольку день отведен бане с массажем на Грюнштрассе, после бани — бросок в «U9», где три четверти часа гигиенических упражнений с одной девушкой, потом с той же девушкой и ее подружкой — кофе и пирожные у Шваба, незадолго до конца трудового дня — бритье, а если понадобится, то и стрижка, наскоро сняться в фотоавтомате, потом пиво, колбаса, агитация за КПГ и приятное ничегонеделание.

Я похвалил тщательно выполненный Клеппом хронометраж, попросил сделать для меня копию, полюбопытствовал, как он преодолевает минуты изнеможения. «Сплю или думаю о КПГ», — после кратчайших раздумий ответил Клепп.

Рассказывал ли я ему, как Оскар впервые столкнулся с понятием «распорядок дня»?

Все началось вполне безобидно в детском саду у тети Кауэр. Хедвиг Бронски каждое утро заходила за мной и отводила меня вместе со Стефаном к тете Кауэр на Посадовскивег, где шесть-десять ребятишек — некоторые вечно пропускали по болезни — должны были играть, пока их не затошнит. К счастью, мой барабан шел по разряду игрушек, а поэтому мне не навязывали кубиков, да и лошадку-качалку подсовывали, лишь когда по ходу игры требовался барабанящий рыцарь в бумажном шлеме. Клавиром для меня служило черное шелковое платье тети Кауэр, тысячекратно застегиваемое и расстегиваемое. Я с полным основанием могу утверждать, что при помощи моего барабана мне удавалось по нескольку раз на дню одевать и раздевать щуплую, морщинистую фройляйн, когда барабанным боем я застегивал и расстегивал ее платье, даже и в мыслях не держа ее тело.

Послеобеденные прогулки по каштановым аллеям до Йешкенталького леса, вверх по Эрбсбергу, мимо памятника Гутенбергу были так приятно скучны и беззаботно глупы, что я и по сей день мечтаю совершать подобные хрестоматийные прогулки, держа тетю Кауэр за пергаментную ручку.

Восемь нас было или двенадцать, все равно нам полагалось войти в упряжку. Упряжка эта состояла из вязаной голубой ленты, заменяющей дышло. Слева и справа от шерстяного дышла отходило по шесть шерстяных уздечек для двенадцати — если пришли все — детей. Через каждые десять сантиметров на уздечках висело по бубенчику. Перед тетей Кауэр, которая держала вожжи, мы, звякая и брякая, а я упорно барабаня, топали по улицам пригорода. Порой тетя Кауэр заводила песню «Иисусе, тобой живу я, Иисусе, тобой умру я» или «Привет тебе, звезда морская», и прохожих умиляло, когда мы воссылали в ясный октябрьский воздух «О помоги мне, дева Мария!» и «О сладостная Матерь Божья!» Если мы переходили через главную улицу, транспорт останавливался. Скапливались трамваи, машины, экипажи, пока мы вели свою «морскую звезду» через мостовую. И всякий раз тетя Кауэр своей хрусткой ручкой благодарила переведшего нас чере́з улицу полицейского.

«Господь наш Иисус вознаградит вас», — сулила она и шуршала прочь своим шелковым платьем.

Сказать по правде, я очень сожалел, когда весной, после шестого дня рождения, Оскар вместе со Стефаном и, собственно, из-за Стефана покинул фройляйн Кауэр, которую можно было застегивать и расстегивать. Как и всякий раз, когда в дело замешивалась политика, не обошлось без актов насилия. Мы поднялись на Эрбсберг, тетя Кауэр сняла с нас упряжь. Поблескивали молодые деревца, в ветвях царил веселый гомон. Тетя Кауэр сидела на замшелом камне, который указывал различные направления для одно- и двухчасовых прогулок. Подобно молоденькой девушке, не понимающей, что с ней творится по весне, она напевала песенку, встряхивая головой, как это можно наблюдать у цесарок, и одновременно вязала для нас новую сбрую, сбруя предполагалась дьявольского красного цвета, жаль только, мне так и не довелось ее носить: в кустах раздался крик, фройляйн Кауэр вспорхнула и, увлекая за собой красную нить, ринулась с вязанием на донесшийся из кустов крик. Я последовал за ней и за нитью, мне предстояло увидеть еще больше красного: из носа у Стефана текла кровь, а мальчишка по имени Лотар, кудрявый и с голубыми жилками на висках, сидел на груди у слабенького и жалкенького Стефана и вел себя так, словно хотел вогнать его нос внутрь лица.

«Полячишка! — шипел он между ударами. — Полячишка!»

Когда пять минут спустя тетя Кауэр снова надела на нас голубую упряжку — только я бежал сам по себе, разматывая красную нить, — она начала для всех нас молитву, которую обычно произносят между жертвой и претворением: «Посрамлен я, полон раскаяния и боли...»

Потом — вниз с Эрбсберга, и остановка перед памятником Гутенбергу. Длинным пальцем указывая на Стефана, который хныкал и прижимал к носу платок, она мягко пояснила: «Стефан не виноват, что он маленький поляк». По совету тети Кауэр Стефану не следовало больше ходить в ее сад, и Оскар, хоть и не был поляком и не так уж чтобы любил Стефана, тут проявил солидарность. Когда пришла Пасха, решили рискнуть, и доктор Холлац в своих очках с толстой роговой оправой заключил, что повредить это не может. Он даже высказал свое заключение вслух: «Маленькому Оскару это не повредит».

Ян Бронски, который после Пасхи тоже намеревался отдать своего маленького Стефана в польскую народную школу, не давал себя отговорить, снова и снова твердя матушке и Мацерату, что он чиновник на польской государственной службе и что за достойную работу на польской почте он получает от польского государства достойное вознаграждение. В конце концов, он поляк, и Хедвиг тоже станет полячкой, как только удовлетворят ее заявление. К тому же такой умный и одаренный выше среднего ребенок, как Стефан, вполне способен изучать немецкий язык в семье, ну а что до маленького Оскара — всякий раз, произнося имя «Оскар», он слегка вздыхал, — так Оскару, как и Стефану, шесть лет, он, правда, и говорить еще толком не умеет и вообще для своих лет довольно неразвит, и расти не растет, попробовать тем не менее стоит: обязательное обучение — оно и есть обязательное обучение, если, конечно, школьное начальство не станет возражать.

Школьное начальство сперва засомневалось и потребовало медицинское заключение. Холлац назвал меня здоровым мальчиком, который ростом с трехлетнего ребенка, однако умом, если отвлечься от того, что он пока не умеет как следует говорить, ни в чем не уступит пяти- шестилетним. Еще Холлац говорил что-то про мою щитовидку.

В ходе всех обследований, во время уже привычного для меня тестирования я

вел себя спокойно, от «равнодушно» до «доброжелательно», тем более что на мой барабан никто не покушался. Разрушение холлацевской коллекции змей, жаб и эмбрионов было еще свежо в памяти у тех, кто меня обследовал и тестировал, и внушало опасения.

Только дома, причем в первый день занятий, я оказался вынужден продемонстрировать алмаз в своем голосе, поскольку Мацерат, не наученный прежним горьким опытом, потребовал, чтобы я проделал путь до школы Песталоцци через Фребелевский луг без своего барабана и чтобы я не брал его с собой в школу.

Когда же он дал волю рукам, захотел взять то, что ему не принадлежит, то, с чем он и обращаться-то не умеет, то, для чего у него отсутствует понимание, я раскричал пополам пустую вазу, о которой говорилось, будто она подлинная. Когда подлинная ваза в виде подлинных осколков оказалась на полу, Мацерат, высоко ее ценивший, чуть меня не ударил. Но тут подскочила матушка, да и Ян, который вместе со Стефаном и школьным подарочным набором наскоро и как бы случайно заглянул к нам, тоже вмешался.

— Прошу тебя, Альфред, — произнес он в своей спокойной, чуть елейной манере, и Мацерат, пораженный голубым взглядом Яна и серым — матушки, опустил занесенную было руку и сунул ее в карман.

Школа имени Песталоцци представляла собой новое, кирпично-красное, в современном духе украшенное граффити и фресками, трехэтажное, продолговатое здание с плоской крышей, построенное сенатом богатого на детей пригорода по шумному настоянию еще весьма активных тогда социал-демократов. Мне этот ящик понравился, если не считать запаха и занимающихся спортом мальчиков в стиле модерн на граффити и фресках.

Неестественно крохотные и, однако же, зеленеющие деревца стояли между защитными, похожими на епископский посох железными прутьями на гравии перед порталом. Со всех сторон к школе стекались мамаши, держа пестрые остроконечные фунтики и волоча за собой орущих либо примерных мальчиков. Ни разу еще Оскар не видел так много матерей, направляющихся в одну сторону. Казалось, будто они совершают паломничество к некоему рынку, где намерены выставить на продажу своих первенцев либо вторых по старшинству.

Уже в вестибюле — этот школьный запах, неоднократно описанный и превосходящий по своей интимности любые известные на земле ароматы. На каменных плитах пола в живописном беспорядке стояло не то четыре, не то пять гранитных чаш, где одновременно из многих источников била вверх вода. Окруженные мальчиками, включая моих ровесников, чаши напоминали мне свинью моего дяди Винцента в Биссау, та тоже ложилась порой на бок и подвергалась столь же свирепому натиску со стороны своих жаждущих поросят.

Мальчики наклонялись над чашами и над неизменно сникающими фонтанчиками, позволяли своим волосам попадать под струю, а струе попадать им в рот. Уж и не знаю, пили они или просто забавлялись. Порой два мальчика одновременно выпрямлялись, раздув щеки, чтобы неприлично громко прыснуть друг другу в лицо согревшейся во рту водой, наверняка перемешанной со слюной и хлебными крошками. Я, который сразу у входа по недомыслию бросил взгляд в примыкающий слева к вестибюлю открытый спортивный зал, увидев там кожаную кобылу, шест и канаты, а также ужасный, требующий раскрутить на нем «солнце» турник, вдруг почувствовал настоящую, ничем не заглушаемую жажду и, подобно другим мальчикам, был бы рад хоть немного попить. Но не мог же я попросить маму, которая держала меня за руку, чтобы она подняла малышку Оскара до края чаши. Даже став на свой барабан, я и то не сумел бы дотянуться до фонтанчика. Но когда, чуть подпрыгнув, я бросил взгляд через край одной из этих чаш и заметил, как жирные крошки почти перекрыли сток, отчего чаша заполнилась какой-то неаппетитной похлебкой, жажда, которую, блуждая среди гимнастических снарядов в спортивной пустыне, я вызвал хоть и мысленно, но очень ощутимо, тотчас меня покинула.

Матушка повела меня наверх по монументальным, изготовленным для великанов ступеням, по гулким коридорам в помещение, над дверью которого висела табличка с надписью 1А. Помещение кишело мальчиками моего возраста. Матери этих мальчиков жались к стене, что напротив окон, и скрещенными руками прижимали к груди традиционные пестрые, остроконечные, затянутые сверху шелковой бумагой фунтики больше меня ростом, предназначенные для первого дня занятий. У матушки тоже был при себе такой.

Когда я вошел, держась за ее руку, народ рассмеялся и матери этого народа — тоже. Толстого мальчика, который тотчас захотел постучать по моему барабану, мне, чтобы не сразу резать голосом стекло, пришлось ударить ногой по косточке, причем ударить не один раз, мальчишка упал, испортив прическу от соприкосновения со

школьной скамьей, за что и я схопотал от матушки хороший подзатыльник. Мальчишка вопил, я, разумеется, нет, я кричу лишь когда у меня хотят отобрать барабан. Матушка, которой эта стычка на глазах у других матерей была крайне неприятна, сунула меня за первую парту в тот ряд, что у окна. Парта, конечно же, была слишком для меня велика. Но дальше, назад, где народ становился все крепче и веснушчатей, парты были еще больше.

Я со всем примирился, я сидел спокойно, потому что причин для беспокойства у меня не было. Матушка, по-моему все еще в смущении, примешалась к толпе других матерей. Возможно, она стыдилась себе подобных из-за моей так называемой задержки в развитии. А те, напротив, вели себя так, будто у них есть веские причины гордиться своими слишком быстро, на мой взгляд, подросшими оболтусами.

Я не мог бросить взгляд из окна на Фребелевский луг, поскольку высота подоконника так же мало соответствовала моему росту, как и размеры парты. А мне очень хотелось поглядеть на луг, где, как я знал, скауты, предводительствуемые зеленщиком Греффом, разбивают палатки, играют в войну, и, как и положено скаутам, творят добро. Дело не в том, что мне хотелось принять участие в этой чрезмерно возвеличенной лагерной жизни, нет, меня занимала фигура самого Греффа в коротких штанах. Столь велика была его любовь к щуплым, большеглазым, хотя и бледным мальчикам, что он облек ее в форму зачинателя бойскаутского движения Бадена-Поуэлла.

Лишенный из-за подлостей архитектуры весьма занятного зрелища, я мог глядеть лишь на небо, и в конце концов вполне удовольствовался этим. Все новые и новые облака проплывали с северо-запада на юго-восток, словно именно это направление сулило облакам какие-то неслыханные радости. Свой барабан, который до сих пор ни единым ударом не намекнул на уход, я зажал между коленями и ящиком парты. Доска, предназначенная для спины, защищала затылок Оскара. Позади меня гоготали, ревели, смеялись, плакали и бушевали мои так называемые одноклассники. В меня кидали бумажными шариками, но я не оборачивался, считая вид целеустремленных облаков более эстетичным, чем зрелище целой орды гримасничающих, совсем сдуревших оболтусов.

После того как вошла женщина, называвшаяся «фройляйн Шполленхауэр», в классе 1А сделалось чуть потише. Мне же становиться потише было незачем, я и без того сидел вполне тихо и, уйдя в себя, ждал грядущих событий. А если уж быть честным до конца: Оскар вообще не считал необходимым ждать грядущих событий, ему не требовалось развлечений, а значит, он ничего и не ждал, а просто сидел, ощущая лишь прикосновение своего барабана, за партой, и радовался виду облаков за или, вернее сказать, перед пасхально намытыми окнами класса.

Фройляйн Шполленхауэр носила грубо скроенный костюм, придававший ее облику что-то мужское. Это впечатление лишь усугублялось жестким, пристежным и, как мне показалось, целлулоидным воротничком с пуговицей у горла, отчего шея у нее пошла складками. Едва переступив в своих туристских башмаках порог класса, она захотела снискать всеобщую любовь и потому задала вопрос:

— А ну, милые дети, вы можете спеть какую-нибудь песенку?

Ответом ей был всеобщий рев, который она истолковала, однако, как утвердительный ответ, ибо тотчас же на нарочито высоких нотах завела весеннюю песенку «Май наступил», хотя дело происходило в середине апреля. Но едва она провозгласила приход мая, разразился настоящий ад. Не дожидаясь знака начинать, не зная толком слов, не обладая ни малейшим чувством ритма, даже столь простого, как в этой песенке, банда у меня за спиной принялась горланить кто в лес, кто по дрова, так что со стен попадала штукатурка.

Несмотря на желтоватую кожу, стрижку под мальчика и мужской галстук, выглядывающий между углами воротника, Шполленхауэр вызывала у меня жалость. И оторвавшись от облаков, у которых сегодня явно не было занятий, я собрался с духом, одним движением извлек палочки из-за подтяжек и громко и доходчиво отбил на барабане ритм песенки. Но у банды за моей спиной не имелось ни понимания, ни слуха. Одна только фройляйн Шполленхауэр одобрительно мне кивнула, улыбнулась подпиравшей стенку группе матерей, наградила особым взглядом мою матушку, побудив меня воспринять это как призыв спокойно продолжать барабанную дробь, все более ее усложняя и демонстрируя все мое мастерство. Банда позади меня давно уже перестала сопровождать варварскими воплями голос моего барабана. Я уже возомнил, будто мой барабан выступает в роли преподавателя, учит, превращает моих соучеников в моих учеников, но тут перед моей партой воздвиглась Шполленхауэр, внимательно и даже не натянуто, а скорее самозабвенно улыбаясь, поглядела на мои руки и на мои палочки, попыталась даже отбить такой же такт, на короткое мгновение предстала не лишенной приятности немолодой девушкой, которая, позабыв о

своем педагогическом предназначении, отринув предписанный ей карикатурный рисунок бытия, становится человечной, иными словами, ребячливой, любопытной, непростой, ненаставительной.

Когда же фройляйн Шполленхауэр не удалось сразу же и правильно повторить мой барабанный такт, она вернулась к своей прежней, прямолинейно глупой, а вдобавок и плохо оплачиваемой роли, взяла себя в руки, как время от времени приходится всем учительницам, и сказала:

— Ты, конечно, маленький Оскар, мы уже много про тебя слышали. Как красиво ты барабанишь! Правда, дети? Ведь правда, наш Оскар хороший барабанщик?

Дети заревели, матери сдвинулись плотнее, Шполленхауэр тем временем совершенно собой овладела.

— А теперь, — фальцетом произнесла она, — мы положим барабан в наш шкаф, он уже наверняка устал и хочет отдохнуть. А потом, когда занятия кончатся, ты получишь его обратно.

Еще раскручивая эту полную фальши речь, она продемонстрировала мне свои коротко подстриженные учительские ногти, десятикратно попытавшись этими коротко подстриженными ногтями схватить мой барабан, который, видит Бог, и устать ничуть не устал, и спать не собирался. Сперва я держался, обхватив пальцами, укрытыми в рукавах пуловера, бело-красный круг, поглядел на нее и увидел, что она неизменно сохраняет исконный стандартный облик школьной учительницы, поглядел сквозь нее, обнаружил внутри у фройляйн Шполленхауэр много такого, чего хватит для пересказа на три полных аморальных главы, но, поскольку речь шла о моем барабане, отвлекся от ее внутренней жизни и, когда мой взгляд пронзил ее между лопатками, обнаружил на хорошо сохранившейся коже большое — с гульден, поросшее длинными волосами родимое пятно.

То ли она почувствовала, что я вижу ее насквозь, то ли дело было в моем голосе, который, уже предостерегая, но еще не причиняя вреда, царапал правое стекло ее очков; однако она отказалась от применения грубой силы, из-за чего у нее даже побелели костяшки пальцев, вероятно, не вынесла царапания по стеклу, из-за чего покрылась гусиной кожей и с зябкой дрожью выпустила из рук мой барабан, сказав только: «Какой же ты злой, Оскар!», бросила моей матушке, которая и без того не знала, куда глаза девать, укоризненный взгляд, оставила в покое мой ни капельки не сонный барабан, повернулась, стуча низкими, широкими каблуками, взошла на кафедру, достала из своего портфеля другие очки, вероятно для чтения, решительным движением сняла с носа то устройство, которое поскреб мой голос, как скребут ногтями по оконному стеклу, словно я голосом осквернил его, оттопыривая мизинец, насадила себе на нос вторые очки, затем потянулась, так что внутри у нее что-то хрустнуло, и, снова запустив руку в свой портфель, сказала:

— А сейчас я зачитаю вам расписание занятий.

Из вместилища свиной кожи она достала стопку бумажек, одну взяла себе, остальные раздала матерям, стало быть, и моей тоже и наконец-то растолковала шестилеткам, начинающим терять терпение, с чем его едят, это расписание:

— Понедельник: закон божий, письмо, счет, игры; вторник: счет, чистописание, пение, природоведение; среда: счет, письмо, рисование, рисование; четверг: краеведение, счет, письмо, закон божий; пятница: счет, письмо, игры, чистописание; суббота: счет, пение, игры, игры.

Вот что возвестила нам Шполленхауэр как неумолимый рок; она снабдила это детище учительской конференции своим строгим, не проглатывающим ни одной буквы голосом, потом, припомнив семинарские занятия, стала «прогрессивно ласковой», ахнула, разражаясь воспитательской веселостью:

— Ну, дорогие детки, теперь все вместе повторим. Итак: понедельник?

Стая заревела:

— Понедельник!

Она, тотчас:

— Закон божий!

Крещеные язычники проревели слова «Закон божий». Я свой голос щадил и вместо того выбил религиозные слова на барабане.

С подачи фройляйн Шполленхауэр они орали у меня за спиной:

— Пись-мо!

Мой барабан отвечал дважды. «Счет!» Еще один удар.

Так продолжался крик позади меня, так запевала Шполленхауэр впереди меня, и я размеренно, делая хорошую мину при плохой игре, отбивал счет на моей жестянке, пока Шполленхауэрша — уж и не знаю, какая муха ее укусила, — не вскочила с места, явно озлясь, но озлилась она вовсе не на придурков, что сидели позади меня,

нет, это из-за меня ее щеки вспыхнули лихорадочным румянцем, это безобидный барабан Оскара стал для нее камнем преткновения, достаточным, чтобы приняться за наделенного чувством ритма барабанщика.

— Оскар, а теперь слушай меня. Четверг: краеведение!

Пренебрегая словом «четверг», я семь раз ударил по барабану, обозначив «краеведение», два раза — «письмо» и один раз — «счет», а «закон божий» я отметил, как и положено, не четырьмя ударами, а вразбивку, два раза по два, исключительно благодетельными ударами барабана.

Но Шполленхауэрша не оценила моей точности. Ей вообще надоел барабанный бой. Десять раз, как и немногим раньше, она показала мне свои коротко обрезанные ногти и десять раз хотела схватить барабан.

Однако, прежде чем она успела коснуться моей жестянки, я уже издал свой стеклоразрушительный крик, который лишил три превышавших размерами обычные классных окна их верхней части. Жертвой второго крика пали средние стекла. Мягкий весенний воздух беспрепятственно ворвался в комнату. То обстоятельство, что третьим криком я изничтожил и нижние стекла, было, по сути, излишней наглостью, потому что уже после падения верхних и средних стекол Шполленхауэрша втянула свои когти. Вместо того чтобы из чистого и, с точки зрения искусства, бессмысленного озорства расправиться с нижними стеклами, Оскар, видит Бог, поступил бы куда умней, проследи он за отпрянувшей Шполленхауэршей.

Черт знает, откуда она наколдовала свою камышовую трость. Но трость вдруг возникла, подрагивая в том самом перемешавшемся с дуновением весны воздухе, и сквозь эту воздушную смесь она со свистом взмахнула тростью, сделала ее гибкой, голодной, жаждущей, одержимой мечтой о лопающейся под ударами коже, о свисте «с-с-с-с», о множестве завес, которые способна заменить быстрая трость при полном, всеобщем удовлетворении. И она ударила тростью по крышке моей парты, так что фиолетовым язычком подпрыгнули чернила в чернильнице. И когда я не пожелал подставить ей руку, она ударила по моему барабану, ударила по моей жестянке. Она, какая-то Шполленхауэрша, ударила по моему жестяному барабану! Какое она имела право ударить? Ладно, если ей так уж хотелось ударить, пускай, но при чем тут мой барабан? Ей что, не хватает чисто намытых оболтусов у меня за спиной? Ей понадобилась именно моя жесть? Ей, которая ничего, ровным счетом ничего не смыслит в барабанном бое, ей обязательно надо было лезть к моему барабану? А что это блестит у нее в глазах? Как называется зверь, пожелавший ударить? Из какого он сбежал зоопарка, какой алчет пищи, чего ищет? В Оскаре нечто поднялось, его толкало нечто, возникшее неизвестно из каких глубин, сквозь подметки, сквозь подошвы наверх, нечто, овладевшее его голосовыми связками, и оно побудило Оскара испустить истошный крик, которого вполне хватило бы, чтобы оставить без единого стекла целый, великолепный, прекрасноконный, вбирающий свет, преломляющий свет готический собор.

Короче говоря, я сотворил двойной крик, поистине обративший в прах оба стекла очков Шполленхауэрши. Моргая под слегка кровоточащими бровями сквозь совершенно пустую оправу, она отступила назад и под конец начала некрасиво и для учительницы слишком несдержанно рыдать, а банда за моей спиной примолкла в страхе, частично скрываясь под скамейками, частично выбивая зубами дробь. Некоторые даже переползали со скамейки на скамейку, поближе к матерям. Те, однако, поняв, что я натворил, начали искать виноватого, хотели наброситься на мою матушку и непременно набросились бы, если бы я, прихватив барабан, не сполз со скамьи.

Мимо полуослепшей Шполленхауэрши я пробился к своей окруженной фуриями матери, схватил ее за руку и увлек из класса 1А, где гуляли сквозняки. Гулкие коридоры. Каменные ступени для великанских детей. Крошки хлеба в гранитных чашах с фонтанчиками. В открытом спортзале тряслись под перекладиной мальчишки. Матушка все еще держала в руках бумажку. Перед порталом школы имени Песталоцци я отобрал у нее бумажку и скатал из расписания уроков лишенный смысла бумажный шарик.

Однако фотографу, который между колоннами портала караулил первоклассников в сопровождении матерей и фунтиков, Оскар разрешил сфотографировать себя и свой не потерявшийся во все этой сумятице фунтик. Вышло солнце, над головой у нас жужжали классные комнаты. Фотограф поставил Оскара на фоне классной доски с надписью: «Мой первый день в школе».

Распутин и азбука

Повествуя моему другу Клеппу и вполуха внимающему санитару Бруно о первой встрече Оскара с расписанием, я только что сказал: на той доске, которая давала фотографу традиционный задник для того, чтобы снимать в формате почтовой открытки шестилетних мальчиков при ранцах и фунтиках с гостинцами, было написано: «Мой первый день в школе».

Разумеется, эту надпись могли прочесть лишь мамаши, стоявшие за спиной у фотографа и еще более взволнованные, чем их дети. А мальчишки на фоне доски могли лишь через год, когда новые первоклассники приступали на Пасху к занятиям, либо по оставшимся у них фотографиям догадаться, что те неслыханной красоты снимки были сделаны по поводу их первого учебного дня.

Буквы зюттерлиновского шрифта с ложными, подбитыми изнутри закруглениями ползли по доске злобными остриями, выводили меловую надпись, возвещавшую новый отрезок жизни. На самом деле зюттерлиновская готика годится лишь для всего броского, кратко сформулированного, например для лозунгов дня. Существуют также известные документы, которых мне хоть и не довелось видеть, но которые я тем не менее могу себе представить написанными только этим шрифтом. Мне видятся справки о прививках, спортивные грамоты и написанные от руки смертные приговоры. Уже в тот день, когда я сумел проникнуть в сущность этого шрифта, хоть и не умел еще читать, двойная петля зюттерлиновского готического «М», с которого начиналась пропись, коварно, издавая запах пеньки, напомнила мне эшафот. И однако же я был бы куда как рад не только догадываться о смысле написанного, но и читать букву за буквой. Пусть никто не подумает, будто свою встречу с фройляйн Шполленхауэр, когда я пением резал стекло и мятежно барабанил в знак протеста, я провел с позиций превосходства, ибо уже овладел азбукой. Нет и еще раз нет. Я прекрасно понимал, что, проникнув в скрытый смысл зюттерлиновского шрифта, ничего еще не достиг, что мне не хватает элементарных школьных знаний. Жаль только, Оскару не понравился метод, с помощью которого некая фройляйн Шполленхауэр надумала вести его к этим знаниям.

А потому, покидая школу, я вовсе не принял твердого решения: мой первый школьный день да будет и последним. Последний день, учиться лень. Ничего подобного! Уже в то время, когда фотограф увековечивал меня, я думал: «Вот ты стоишь перед школьной доской, возможно, под очень важной, возможно, под судьбоносной надписью. По ее внешнему виду ты, конечно, можешь судить о надписи, перечислить все ассоциации типа «одиночная камера», «предварительное заключение», «под надзор полиции» и «раз-два-взяли», но растолковать ее ты не способен. Вдобавок, несмотря на все твое вопиющее к облачному небу невежество, ты решил никогда более не переступать порога этой школы с ее твердым расписанием. Итак, Оскар, где ты собираешься изучать прописные и строчные буквы алфавита?»

К выводу, что на свете существуют большие и маленькие буквы, я, которому за глаза хватило бы одних маленьких, пришел на основе не поддающегося замалчиванию факта, что существуют большие люди, сами себя величающие взрослыми. Мы не устаем подтверждать право на существование больших и маленьких букв наличием большого и малого катехизиса, большой и малой таблицы умножения, а во время государственных визитов речь, в зависимости от количества задействованных дипломатов в парадных мундирах и сановников, идет о большом либо о малом вокзале.

Ни Мацерат, ни матушка в течение последующих месяцев не думали о моем образовании. Родители решили ограничиться первой, столь тягостной и постыдной для матушки попыткой отдать меня в школу. Теперь они вели себя, как дядя Бронски, вздыхали, глядя на меня сверху вниз, ворошили старые истории, например мой третий день рождения. «Незахлопнутая крышка! Это ты ее не захлопнул, верно? Ты был на кухне, а потом спустился в погреб, верно? Ты достал на десерт банку с фруктовым компотом, верно? А крышку за собой не захлопнул, верно?»

Верно было все, в чем матушка упрекала Мацерата, и — как мы знаем — все было неверно. Но Мацерат нес бремя вины и даже иногда плакал, ибо дух его способен был смягчаться. Тогда матушке и Яну Бронски приходилось его утешать, и меня, Оскара, называли крестом, который надо нести, судьбой, которую нельзя умолить, испытанием, про которое невозможно сказать, за что оно тебе ниспослано.

Иными словами, от этих тяжко испытуемых, задавленных неумолимой судьбой крестоносцев помощи ждать не следовало. Тетя Хедвиг Бронски, которая часто заходила за мной, чтобы я поиграл в песочнице штеффеновского парка с ее двухлетней Маргой, как учительница в счет не шла: она хоть и была добродушная, но глупа прямо до святости. Одновременно мне пришлось выкинуть из головы Ингу, сестру у доктора Холлаца, хоть та и не была ни добродушной, ни глупой: дело в том, что она

была умная, не просто помощница во время приемных часов, а незаменимая ассистентка, поэтому времени у нее для меня не оставалось.

По нескольку раз на дню я одолевал более ста ступенек нашего четырехэтажного дома, ища подмоги, барабанил на каждой площадке, нюхал; что будет сегодня на обед у каждого из девятнадцати семейств, и однако же не стучал ни в одну дверь, так как ни в старике Хайланде, ни в часовщике Лаубшаде и уж подавно ни в толстой фрау Катер или — при всей симпатии — в мамаше Тручински не видел своего будущего наставника.

Правда, под самой крышей обитал музыкант и трубач Мейн. Господин Мейн держал четырех кошек и всегда был пьян. Он играл танцевальную музыку в кафе «Цинглерова горка», а в Сочельник вместе с пятеркой таких же забулдыг месил снег по улицам и с помощью хоралов пытался одолеть жестокий мороз. Я как-то застал его на чердаке: в черных брюках и белой нарядной рубашке он лежал на спине, перекатывая необутыми ногами пустую бутылку из-под можжевеловой водки и дивно играя на трубе. Не отрывая жесть от губ и лишь чуть поведя глазами, чтобы искоса поглядеть в мою сторону — а стоял я как раз за ним, — он воспринял меня вполне уважительно как барабанщика-аккомпаниатора. Его жесть была ему не более дорога, чем моя. Наш дуэт загнал на крышу его четырех кошек и заставил черепицу слегка вибрировать.

Когда мы завершили игру и опустили жесть, я извлек из-под своего пуловера старую газету «Новейшие вести», разгладил бумагу, присел на корточки перед трубачом, сунул ему под нос это чтиво и потребовал преподать мне большие и маленькие буквы.

Но господин Мейн, едва покончив с трубой, погрузился в сон. В его жизни существовало лишь три истинных состояния: бутыль с можжевеловкой, труба и сон. Мы еще не раз, точнее говоря, вплоть до тех самых пор, пока он не поступил в качестве музыканта к конникам СА и не отрекся на несколько лет от можжевеловки, разыгрывали с ним на чердаке дуэты без предварительных репетиций, разыгрывали для труб, черепиц, голубей и кошек, но на роль учителя он никак не годился.

Тогда я попытал счастья у зеленщика Греффа. Без барабана, потому что Грефф не жаловал барабан, я неоднократно посещал подвальную лавку, что расположилась наискось против нашей. Казалось бы, здесь наличествуют все предпосылки для углубленных занятий, недаром же по всей двухкомнатной квартире, на прилавке, под прилавком, даже в сравнительно сухом погребе для картошки лежали книги — книги приключений, книги песен, «Херувимский странник», труды Вальтера Флекса, «Простая жизнь» Вихерта, «Дафнис и Хлоя», монографии о художниках, кипы спортивных журналов, иллюстрированные тома с полуобнаженными мальчиками, которые Бог весть почему гонялись за мячом, чаще всего между дюнами, на берегу, демонстрируя намащенную мускулатуру.

Уже в те времена у Греффа были неприятности с лавкой. Контролеры из Пробирной палаты обнаружили при проверке его весов и гирь кой-какие изъяны. Прозвучало словечко «обвес». Пришлось Греффу платить штраф и обзаводиться новым гирями. И в таком горестном состоянии Греффа могли развеселить лишь книги, да вечерние встречи со скаутами, да походы с ними по выходным дням.

Он почти не обратил внимания на мой приход, а продолжал заполнять ценники, я же, используя благоприятную ситуацию, схватил три или четыре белые картонки и красный карандаш, после чего, с великим тщанием, используя уже надписанный картон как основу, начал усердно имитировать на нем зюттерлиновский шрифт, чтобы привлечь внимание Греффа.

Но Оскар был, должно быть, на его взгляд, слишком мелкий, не большеглазый и не бледный. Тогда я отложил красный карандаш, выбрал себе книжку, полную бросающихся Греффу в глаза голышей, постарался привлечь его внимание, держа снимки нагибающихся, подтягивающихся мальчиков, которые, как мне казалось, чем-то привлекательны для Греффа, наклонно, чтобы и он мог их видеть.

А поскольку зеленщик, когда в лавке не было покупателей, желавших купить свеклы, слишком старательно выписывал цифры на ценниках, мне пришлось более звучно шлепать переплетами либо шумно и быстро перелистывать страницы, чтобы он вынырнул наконец из-за своих ценников и принял участие во мне, не умеющем читать.

Скажу прямо: Грефф меня так и не понял. Когда в лавке находился кто-нибудь из его скаутов, а после обеда там всегда толпилось двое-трое младших командиров, он и вовсе не замечал Оскара. Когда же Грефф был один, он мог, осердясь на то, что ему мешают заниматься ценниками, вскочить с нервическим раздражением и сердито скомандовать:

— Оскар! Оставь книгу в покое! Тебе с ней все равно делать нечего. Ты для нее слишком мал и слишком глуп. Еще испортишь. Она стоила больше шести гульденов.

Если хочешь играть, здесь хватает картошки и капусты.

Затем он отобрал у меня книжку, полистал ее, не меняя выражения лица, а меня бросил посреди капусты савойской, капусты брюссельской, капусты красной, капусты белокочанной, посреди репы и бульбы изнывать в одиночестве: ведь у Оскара барабана при себе не было.

Существовала еще, правда, фрау Грефф, и, отвергнутый зеленщиком, я чаще всего прокрадывался в спальню супругов. Фрау Грефф в ту пору уже несколько недель не вставала с постели, вид у нее был больной, от нее пахло прелой ночной рубашкой, и хотя она много чего брала в руки, книг, по которым мне можно бы учиться, она не брала вовсе.

С налетом легкой зависти Оскар разглядывал на спинах у ровесников школьные ранцы, по бокам которых болтались губки и тряпки для аспидной доски. И однако же он не припомнит, чтобы хоть раз у него мелькнули мысли такого рода: ты сам заварил эту кашу, Оскар. Мог бы сделать хорошую мину при школьной игре. Мог бы не портить на веки вечные отношения со Шполленхауэршей. Эти оболтусы тебя обгоняют! Они уже знают назубок весь алфавит, а ты даже не умеешь правильно держать в руках «Новейшие вести».

Как я уже сказал, легкую зависть, но не более того. Ибо достаточно было элементарной пробы на запах, чтобы навсегда отвергнуть эту самую школу. Вам хоть раз доводилось принюхиваться к плохо промытым полуискрошившимся губкам и тряпкам около пожелтевшей по краям, облупившейся доски, которые в наидешевейшей коже школьных ранцев хранят испарения всевозможных чистописаний, запах большой и малой таблицы умножения, осклизлость скрипящих, застревающих, выскальзывающих из рук, увлажненных слюной мелков? Порой, когда ученики, возвращаясь из школы, неподалеку от меня скидывали ранцы, чтобы поиграть в футбол или просто в мяч, я наклонялся к сохнущим на солнце губкам и представлял себе, что, ежели существует на свете сатана, именно у него под мышками вызревает такой кисловатый дух.

Короче, школа с аспидными досками была мне никак не по вкусу. Хоть Оскар и не рискнул бы утверждать, что Гретхен Шефлер, которой в непродолжительном будущем предстояло взять на себя заботу об его образовании, воплощала его представления о хорошем вкусе.

Вся обстановка шефлеровской квартиры при пекарне на Кляйнхаммервег оскорбляла меня. Эти салфеточки, эти вышитые гербами подушечки, эти притаившиеся в углах дивана куклы, эти плюшевые зверушки, куда ни ступи, этот фарфор, при виде которого хотелось призвать слона, туристские сувениры, куда ни глянь, начатое вязание крючком, спицами, вышивки, плетение, макраме, кружева на коклюшках, кружевные окантовки. По поводу этого премиленького, очаровательно уютненького, удушающе тесного, зимой чересчур натопленного, летом отравленного цветами жилья я нахожу лишь одно объяснение: Гретхен Шефлер не имела детей, а была бы куда как рада иметь их, чтобы обшивать и обвязывать, куда как рада, кто бы ни был тому причиной, сам ли Шефлер, она ли, ах, как бы она хотела — прямо так и съела бы — ребеночка для обвязывания, для украшения бисером, для окантовки, для вышивки крестиком.

И тут явился я, чтобы изучать большие и маленькие буквы. Я очень старался не повредить какой-нибудь туристский сувенир, какое-нибудь фарфоровое изделие. Мой стеклоубийственный голос я, так сказать, оставил дома, я как бы пропустил мимо ушей заявление Гретхен, что хватит уже барабанить, после чего, улыбаясь золотыми и лошадиными зубами, она взяла барабан у меня с колен и положила мою жестянку между плюшевых медведей.

Я подружился с двумя кукляшками, прижимал их к себе, перебирал, как влюбленный, реснички этих всегда с удивлением взирающих дам, чтобы моя неискренняя, но выглядящая тем подлиннее дружба с куклами сумела оплести и сердце Гретхен — две лицевых, две изнаночных.

План оказался неплох. Уже при втором моем визите Гретхен распахнула мне свое сердце, верней сказать, она распустила его, как распускают чулки, показала мне всю длинную, уже непрочную, с узелками в нескольких местах нить, распахнув передо мной все шкафы, сундуки и ларцы, разложила передо мной расшитый бисером хлам, продемонстрировала мне столько детских кофточек, детских нагрудничков, детских штанишек, что их хватило бы на целую пятерню, прикладывала ко мне, надевала на меня и опять снимала.

Далее она продемонстрировала мне награды Шефлера, полученные им в стрелковом ферейне, затем фотоснимки, отчасти совпадающие с теми, что у нас, и, наконец, — поскольку она еще раз взялась за детские вещи, ища что-нибудь типа ползунков, — и, наконец, на свет выглянули книги; Оскар так и рассчитывал найти среди

детского барахла книги, он ведь слышал, как она разговаривает с матушкой про книги, он ведь знал, как активно обе, когда еще только обручились и почти в одно время вышли замуж, брали книги в библиотеке, возле Дворца кино, чтобы, подпитавшись начитанным, придать браку с торговцем колониальными товарами и с пекарем больше широты, кругозора и блеска.

Много мне Гретхен предложить не смогла. Она, совсем переставшая читать с тех пор, как занялась вязаньем, вероятно, как и матушка, которой больше некогда было читать из-за Яна Бронски, раздарила внушительные тома книжного общества, членами которого обе долгое время являлись, людям, еще не переставшим читать, поскольку они и вязать не вязали, и Яна Бронски при себе не имели.

Даже плохие книги все равно остаются книгами и потому священны. То, что я обнаружил, трактовало, в основном, сорта капусты и брюквы и, вероятно, было родом из книжных запасов ее брата Тео, который нашел свою моряцкую смерть в районе Доггеровской банки. Семь или восемь томов кёллеровского морского календаря, полного давно затонувших кораблей, чины и звания на королевском флоте, Пауль Бенеке, герой-моряк — едва ли это была именно та пища, которой алкало сердце Гретхен. История города Данцига, написанная Эрихом Кейзером, и та битва за Рим, которую предположительно вел некий человек по имени Феликс Дан с помощью Тотилы и Тейи, Велизария и Нарсеса, тоже, наверное, утратили под руками ушедшего затем в море брата свой блеск, а иногда и свои корешки. Одну из книг я приписывал запасам самой Гретхен, книгу, рассуждавшую о приходе-расходе, и еще что-то про «избирательное родство» Гёте, а также богато иллюстрированный толстый том: «Распутин и женщины».

После долгих раздумий — выбор был слишком мал, чтобы я мог быстро принять решение, — я выхватил, даже и не зная, что выхватываю, и повинуясь лишь привычному внутреннему голосишке, сперва Распутина, а потом Гёте.

И этот двойной улов был призван определить мою жизнь и воздействовать на нее, на ту ее часть, во всяком случае, которую я дерзал вести в отрыве от барабана. И по сей день — ибо Оскар, исполнясь тягой к образованию, мало-помалу переманивает в свою комнату библиотечные фонды специального лечебного учреждения — я, пренебрегая Шиллером и иже с ним, колеблюсь между Гёте и Распутиным, между целителем и всеведущим, между одним, сумрачным, околдовывающим женщин, и другим, светлым королем поэтов, который столь охотно позволял женщинам околдовывать себя. И если порой я считал себя подлежащим более Распутину и страшился гётевской нетерпимости, это объяснялось смутным подозрением: доведись тебе, Оскар, барабанить в эпоху Гёте, он угадал бы в тебе лишь антиестество, он отверг бы тебя как воплощение антиестества, свое же естество — которым ты всегда восторгался, к которому всегда тянулся, даже если оно топорщилось самым неестественным образом, — свое естество он бы подкармливал переслащенными конфетками, а тебя, убогого недомерка, пристукнул бы пусть и не «Фаустом», то уж, верно, каким-нибудь толстым томом своего «Учения о цвете».

Впрочем, вернемся к Распутину. С помощью Гретхен Шефлер он научил меня буквам большим и маленьким, научил меня со вниманием относиться к женщинам и утешал меня, когда Гёте меня оскорблял.

Учиться читать и одновременно строить из себя незнайку было совсем не так просто. Это давалось мне с еще большим трудом, чем необходимость годами изображать по ночам детское недержание. Ведь недержание сводилось к тому, чтобы каждое утро демонстрировать недостаток, без которого я вполне мог обойтись. А вот изображать незнайку для меня означало таить свои быстрые успехи, вести постоянную борьбу с пробуждающимся интеллектуальным тщеславием. Если взрослые считали, что я писаю в постель, я лишь пожимал плечами, но вот то, что из года в год я должен был разыгрывать перед ними придурка, оскорбляло и самого Оскара, и его учительницу.

Стоило мне спасти книги из горы детского белья, как Гретхен тотчас, с веселыми охами и вздохами, постигла свое педагогическое призвание. Мне удалось выманить обвязавшую себя с головы до ног бездетную Гретхен из ее пряжи и сделать почти счастливой. Ну конечно, она предпочла бы, чтобы я избрал в качестве учебника приходно-расходную книгу, но я желал Распутина, настаивал на Распутине, когда ко второму уроку она купила настоящую книгу для первоклассника, когда же она принялась потчевать меня романами о жизни шахтеров, сказками типа «Карлик-нос» и «Дюймовочка», я даже решился наконец заговорить. «Расупин!» — кричал я, или: — « Рашушин!» А порой совсем уж по-глупому: «Рашу!», «Рашу!» — лепетал Оскар, чтобы Гретхен, с одной стороны, поняла, какая литература для меня приятней, с другой стороны — так и не догадалась о его проснувшейся, так и склевывающей буквы гениальности.

Я учился быстро, не слишком обременяя себя мыслями. Через год я ощущал себя как дома в Петербурге, в семейным покоях самодержца всех россиян, в детской вечно хворого царевича, среди заговорщиков и попов и, не в последнюю очередь,— свидетелем распутинских оргий. Это имело импонирующий мне колорит, ибо все тут группировалось вокруг центральной фигуры. О том же свидетельствовали разбросанные по книге современные гравюры, изображавшие бородатого Распутина с угольно-черными глазами в окружении обнаженных дам в черных чулках. Смерть Распутина преследовала меня. Сперва его травили отравленными пирожными и отравленным вином, а когда он потребовал еще пирожных, расстреляли из пистолетов, а когда свинец в груди разбудил в нем желание поплясать, связали и утопили в проруби на Неве. Все это сделали мужчины, офицеры. Дамы столичного города Петербурга ни за что бы не дали Распутину отравленных пирожных, зато, если не считать пирожных, дали бы ему все, чего он от них потребует. Дамы верили в него, тогда как офицерам необходимо было сперва убрать его с дороги, чтобы снова поверить в себя.

Стоит ли удивляться, что не только я увлекся жизнью и смертью этого атлетического знахаря? Вот и сама Гретхен снова нашла дорогу к чтению первых лет супружеской жизни, читая вслух, она приходила в бурное волнение, трепетала, наткнувшись на слово «оргия», произносила волшебное слово «оргия» с особым придыханием, а произнося, была вполне готова к оргии и однако же не могла себе представить оргию при слове «оргия».

Хуже было, когда на Кляйнхаммервег заявлялась матушка, чтобы присутствовать при моих занятиях в квартире над пекарней. Вот это и выливалось порой в оргию, это и становилось самоцелью, а отнюдь не занятия с маленьким Оскаром, от этого пересыхали и трескались губы, это заставляло обеих замужних дам, стоило Распутину того пожелать, сесть поближе друг к другу, это заставляло их беспокойно ерзать на диванных подушках, наводило на мысль поплотнее сжать ляжки, первоначальное дурачество перерастало в завершающие вздохи, вот что получалось после двенадцати прочитанных страничек Распутина, чего, может быть, они вовсе и не хотели и навряд ли ожидали, но безропотно принимали средь бела дня и против чего Распутин, конечно же, не стал бы возражать, а, наоборот, до скончания века будет раздавать задаром.

Под конец, когда обе женщины уже простонали «обожебожебоже» и смущенно поправили растрепавшиеся прически, матушка выразила охватившие ее сомнения:

— А Оскархен и в самом деле ничего не понимает?

— Да где ж ему, — успокаивала ее Гретхен, — я и так старалась, и эдак, а он ничему не учится, и читать, я боюсь, он тоже никогда не научится.

Чтобы лишний раз засвидетельствовать мое ничем не сокрушимое невежество, она еще добавила:

— Ты только подумай, Агнес, он вырывает страницы из нашего Распутина, скатывает их в шарик и потом они куда-то исчезают. Иногда мне хочется все бросить, но потом, когда я вижу, как он радуется этой книге, я не мешаю ему рвать и портить. Я уж и Алексу сказала, чтобы он подарил нам к Рождеству нового Распутина.

Итак, мне удалось — и вы, верно, это уже заметили — мало-помалу, в течение трех-четырех лет — столько времени, а то и еще дольше занималась со мной Гретхен Шефлер — извлечь из Распутина не меньше половины страниц, осторожно, выказывая при этом признаки досады, скатывать из них шарики, чтобы потом дома, в моем барабанном уголке доставать листочки из-под пуловера, разглаживать, раскладывать по порядку, а уж потом употреблять для тайного, не нарушаемого женщинами чтения. Точно так же обошелся я и с Гёте, которого на каждом четвертом уроке с воплем «Дёте» требовал у Гретхен. Полагаться только на Распутина я не хотел, поскольку очень скоро понял, что в этом мире каждому Распутину противостоит свой Гёте, что Распутин приводит за собой Гёте или Гёте — Распутина, и не просто приводит, а, если понадобится, и творит, дабы потом подвергнуть его суду.

Когда Оскар пристраивался где-нибудь на чердаке или в сарае у старого господина Хайланда, за стояками для велосипедов, и перемешивал выдранные листы «Избирательного сродства» с пачкой Распутина, подобно тому как тасуют карты, он читал заново возникшую книгу со все растущим, но вместе с тем смешливым удивлением, видел, как Оттилия благопристойно вышагивает под руку с Распутиным через средненемецкие парки, тогда как Гёте с неслыханно аристократичной Ольгой мчится в санях по зимнему Петербургу с одной оргии на другую.

Но вернемся еще раз в мою классную комнатку на Кляйнхаммервег. Хотя я с виду вроде бы не делал никаких успехов, Гретхен радовалась мне совершенно как молоденькая девушка. Она заметно расцветала не только от моего присутствия, но и под благословляющей, невидимой, хоть и волосатой рукой русского чудодея, заражая даже комнатные липки и кактусы. Ах, догадайся Шефлер в те годы хоть раз вы-

нуть пальцы из муки и променять булочки в пекарне на совсем иную булочку! Гретхен охотно позволила бы ему замесить себя, раскатать, смочить кисточкой и выпечь. Поди знай, какая сдоба вышла бы из этой печки. Может, и детенок в конце концов? Видит Бог, Гретхен заслуживала таких выпечных радостей. Ну а так она сидела после утомительной работы над текстом с пылающими глазами, слегка взлохмаченной прической, выставляла напоказ свои золотые и лошадиные зубы, твердила: о Боже, о Боже, но укусить ей было нечего, и речь шла про перестоявшую опару. Матушка, у которой был ее Ян, помочь ничем не могла, а потому минуты после этой части занятий могли завершиться самым печальным образом, не будь у Гретхен ее веселого нрава.

Она быстро убегала на кухню, приносила кофейную мельницу, бралась за нее, как за любовника, и, размалывая кофе, пела с горестной страстью при поддержке матушки «Черные глаза» либо «Красный сарафан», уводила «Черные глаза» за собой на кухню, ставила воду на огонь, пока вода грелась, бегала в пекарню, набирала там — иногда под протесты Шефлера — свежую и старую выпечку, ставила на стол сборные чашки в цветочек, сахарницу, вилки для пирожных, между ними рассыпала по скатерти анютины глазки, потом наливала кофе, переходила к мелодиям из «Царевича», подавала эклеры и медовую коврижку, запевала «Стоит солдат на волжском берегу», укладывая на тарелках осыпанный миндальной крошкой франкфуртский крендель, а под «Много ли там у тебя ангелят?» — безе со взбитыми сливками, такие сладкие-пресладкие, жуя снова заводила разговор о Распутине, только теперь уже соблюдая необходимую сдержанность, и спустя некоторое, нашпигованное пирожными время можно было от чистого сердца возмущаться этим ужасным, этим порочным царским временщиком.

В те годы я и впрямь поглощал слишком много пирожных. Как можно судить по снимкам, Оскар хоть и не стал от этого выше, но зато стал толще и бесформенней. Порой после слишком уж переслащенных уроков на Кляйнхаммервег он не ведал другого выхода, кроме как взять за прилавком на Лабесвеге, если, конечно, поблизости не было Мацерата, кусок черствого хлеба, обвязать его ниточкой, опустить в норвежский бочонок с селедкой и вытащить лишь тогда, когда хлеб до отказа пропитается рассолом. Вы, пожалуй, не поверите, что после неумеренного потребления пирожных эта закуска действовала как рвотное средство. Порой, чтобы похудеть, Оскар исторгал из себя в нашей уборной пирожных от Шефлера больше чем на данцигский гульден, а это тогда были немалые деньги.

И еще кое-чем мне приходилось оплачивать уроки Гретхен. Она, столь охотно шившая и вязавшая детские вещи, превратила меня в портняжный манекен: я должен был примерять и терпеть курточки, шапочки, штанишки, пальтишки с капюшоном и без, любого фасона и любого цвета.

Уж и не знаю, кто именно, матушка или Гретхен, придумал нарядить меня в честь моего восьмилетия маленьким, обреченным к расстрелу царевичем. Распутинский культ у обеих женщин достиг к тому времени апогея. Снимок, сделанный тем днем, показывает, как я сижу возле праздничного пирога, украшенного восемью неоплывающими свечами, в расшитом русском кафтанчике, лихо заломленной казацкой шапке, со скрещенными патронташами, в белых галифе и коротких сапожках.

Великая удача, что мой барабан был тоже допущен на фотографию. И другая удача, что Гретхен Шефлер, уступая, возможно, моим настояниям, скроила, сшила и, наконец, подогнала для меня по мерке костюм, который, будучи в равной мере свидетельством и мещанских вкусов, и «Избирательного сродства», по сей день заклинаниями вызывает в моем альбоме дух Гёте и свидетельствует о том, что две души живут во мне, словом, дает мне возможность с помощью одного-единственного барабана в Петербурге и Веймаре нисходить к матерям и одновременно устраивать оргии с дамами.

Пение с дальним радиусом действия на Ярусной башне

Фройляйн доктор Хорнштеттер, которая почти каждый день заходит ко мне, чтобы выкурить одну сигарету, вроде бы должна как врач меня лечить, но вместо этого я сам ее лечу, и она покидает комнату менее нервная, так вот, эта самая фройляйн доктор Хорнштеттер, до того робкая, что способна вступать в тесный контакт лишь со своими сигаретами, не устает повторять: мне с детских лет недоставало кон-

тактов, я слишком мало играл с другими детьми.

Ну, насчет других детей она не так уж и неправа. Но занятия с Гретхен Шефлер настолько меня поглотили, настолько раздирали между Гёте и Распутиным, что я при всем желании не мог бы выбрать время для считалок и хороводов. А всякий раз, когда я, подобно истинному ученому, отвращал свой лик от чтения, даже проклиная книги как место захоронения букв, и искал контактов с простым народом, я наталкивался на малышню из нашего дома и после некоторых контактов с этими каннибалами был рад-радехонек живым и невредимым вернуться к своим книгам.

Квартиру своих родителей Оскар мог покинуть либо через лавку, тогда он оказывался на Лабесвеге, либо он захлопывал за собой дверь квартиры и оказывался в подъезде, откуда мог выйти влево прямо на улицу, или подняться на четыре этажа на чердак, где обитал музыкант Мейн, и, наконец, последнюю возможность предоставлял двор нашего дома. Улица — ну это булыжник... На утрамбованном песке двора выбивались ковры и размножались кролики. Чердак, помимо дуэтов с хмельным господином Мейном, предлагал вид из окна, дальние пейзажи и то прекрасное, но обманчивое чувство свободы, которого ищут все, восходящие на башню, и которое превращает обитателей мансард в романтиков.

И если двор был для Оскара полон опасностей, чердак сулил ему надежность, до тех пор пока Аксель Мишке со своей компанией не вытеснил его и с чердака. Двор по ширине совпадал с домом, но в глубину насчитывал всего семь шагов, после чего просмоленным, поросшим сверху колючей проволокой дощатым забором упирался в три других двора. С чердака весь этот лабиринт был виден как на ладони: дома вдоль Лабесвега, на поперечных улицах — Герташтрассе и Луизенштрассе и подальше, напротив Марienштрассе, замыкали весьма обширный, состоящий из дворов четырехугольник, где, помимо всего прочего, располагались еще и фабрика, производящая пастилки от кашля, и несколько мастерских по переработке трав. Там и сям из дворов выбивались деревья и кусты, обозначая время года. В остальном же, хоть дворы и различались по величине, но что до кроликов и стоек для выколачивания ковров, были все на одну стать. Впрочем, если кроликов можно было наблюдать круглый год, то ковры, согласно заведенному порядку, выколачивали только по вторникам и пятницам. В такие дни величина двора находила свое оправдание. С чердака Оскар мог это видеть и слышать: более сотни ковров, дорожек, прикроватных ковриков натирались квашеной капустой, потом их чистили щеткой и выбивали, принуждая рано или поздно продемонстрировать свой исконный узор. Сотни домохозяек выносили из подъездов трупы ковров, вздымали при этом круглые голые руки, защищали волосы и прически с помощью завязанных узлом платков, перебрасывали ковры через перекладину, хватались за плетеные выбивалки и взрывали сухими ударами тесноту дворов.

Оскар терпеть не мог этот единодушный гимн порядку. На своем барабане он пытался бороться против шума и, однако, был принужден даже на чердаке, обеспечивавшем необходимое удаление, признать свое бессилие перед домашними хозяйками. Сотни выбивающих ковры женщин могли опрокинуть небо, могли затупить крылья молодых ласточек и несколькими ударами заставляли рухнуть маленький храм, воздвигнутый Оскаром в апрельском воздухе из барабанного боя.

В те дне, когда ковров не выбивали, ребята нашего дома кувыркались на деревянных перекладинах. Я во двор выходил редко. Лишь сарай господина Хайланда предоставлял мне более или менее надежное убежище, ибо старик допускал меня в кладовую, а прочей ребятне не позволял даже бросить взгляд на полуистлевшие швейные машины, некомплектные велосипеды, тиски, подъемники, хранящиеся в коробках из-под сигарет кривые, подлежащие выпрямлению гвозди. Это было такое занятие: если он не вытаскивал гвозди из досок, то прямил на наковальне вытянутые днем ранее. Помимо того что он не давал пропасть ни одному гвоздю, он еще и помогал людям при переездах, забивал перед праздниками кроликов, сплевывая табачную жвачку по всему двору, на лестнице и на чердаке.

Однажды ребятня, как это делают дети, варила суп рядом с его сараем, и Нухи Эйке попросил старика трижды плюнуть в варево. Старик сделал это с большого расстояния, после чего снова исчез в своей берлоге, где продолжал стучать по гвоздям, а Аксель Мишке добавил в суп еще один компонент — толченый кирпич. Оскар с любопытством наблюдал этот кулинарный процесс, но стоял в сторонке. Из тряпок и покрывал Аксель Мишке и Харри Шлагер соорудили некое подобие палатки, чтобы никто из взрослых не заглянул в их суп. Когда кирпичный порошок выкипел, Хенсхен Коллин, опорожнив свои карманы, пожертвовал для супа двух живых лягушек, пойманных в пруду. У Сузи Катер, единственной среди них девочки, скривился рот от горького разочарования, когда лягушки безропотно и беззвучно исчезли в супе, даже не попытавшись совершить последний прыжок. Тогда Нухи Эйке расстегнул

штаны и написал в варево, не считаясь с присутствием Сузи, потом Аксель, Харри и Хенсхен Коллин последовали его примеру. Маленький Кесхен тоже хотел достойно проявить себя перед десятилетками, но из его маленького краника ничего не потекло. Тут все уставились на Сузи, и Аксель Мишке протянул ей голубую, как персиль, эмалированную кастрюльку, отбитую по краям. Оскар уже тогда хотел уйти, но почему-то дождался, покуда Сузи, ходившая, вероятно, без штанишек, присела, обхватив руками коленки, задвинула кастрюлю под себя, уставилась вперед пустыми глазами, наморщила нос, и кастрюля жестяным звоном известила, что и Сузи внесла в суп свою лепту.

И вот тогда я побежал. Лучше бы мне не убегать, а спокойно уйти, но раз уж я побежал, все, кто до тех пор стоял, уставив глаза в котелок, поглядели мне вслед, и я услышал за спиной голос Сузи: «Чегой-то он побежал, верно, продать нас хочет». Это кололо меня, даже когда я одолел четыре этажа, и отдышался я только на чердаке. Мне было в ту пору семь с половиной, Сузи примерно девять, маленькому Кесхену едва исполнилось восемь, Акселю, Нухи, Хенсхену и Харри — по десять-одиннадцать. Оставалась еще Мария Тручински. Она была немногим старше меня, но никогда не играла во дворе, а играла она в куклы на кухне у своей матери фрау Тручински либо со своей взрослой сестрой Густой, прислуживавшей в евангелическом детском саду.

Стоит ли удивляться, что я и по сей день не могу слушать, как женщины мочатся в горшок. Когда в тот раз на чердаке Оскар, с помощью барабана успокоив свой слух, мнил себя спасенным от этого варева, они заявились туда гурьбой, одни босиком, другие в ботинках, все, кто внес свою лепту в изготовление супа, а Нухи принес и суп. Все они расположились вокруг Оскара, последним приполз маленький Кесхен. Они подталкивали друг друга, шипели: «Ну, давай!», пока наконец Аксель не обхватил Оскара сзади, прижал его руки, вынуждая к послушанию, а Сузи с влажными, ровными зубами — между ними язык — весело хохотала, нимало тем не смущаясь. Она взяла ложку у Нухи, до блеска натерла ее о свои ляжки, окунула в исходящий паром котелок, медленно помешала, наслаждаясь густотой варева и, напоминая при этом хорошую хозяйку, подула, желая остудить полную ложку, и накормила Оскара, накормила меня, я в жизни никогда больше ничего подобного не пробовал и никогда не забуду этот вкус.

Лишь после того как чрезмерно озабоченный моим здоровьем народ покинул меня, потому что Нухи вырвало прямо в котелок, я, забившись в угол чердака, где сушилось несколько простынь, тоже исторг из себя это красноватое варево, не приметив в исторгнутом лягушечьих останков. Потом я взобрался на сундук под слуховым окном, посмотрел на отдаленные дворы, со скрежетом перетирая между зубами крошки кирпича, ощутил потребность к действию, оглядел сверкающие стеклами окна домов на Мариенштрассе, закричал, запел в ту сторону и, хоть и не мог наблюдать результаты, был, однако, столь твердо убежден в дальнобойном воздействии своего голоса, что отныне двор и все дворы сделались тесны для меня, что, алкая дали, отдаленности и дальних видов, я пользовался каждой возможностью, уводившей меня — одного ли, за руку ли матушки — прочь с Лабесвега, из пригорода, от козней всех поваров нашего двора.

Каждую неделю по четвергам матушка делала покупки в городе. Чаще всего она брала меня с собой. И всегда брала меня с собой, когда предстояло купить у Сигизмунда Маркуса в Цойгхаус-пассаже на Угольном рынке новый барабан. В те времена, примерно между седьмым и десятым годом моей жизни, я добивал барабан ровно за четырнадцать дней. С десяти до четырнадцати мне уже и недели не требовалось, чтобы пробить жесть. Позднее мне иногда удавалось превратить барабан в рухлядь с первого удара, иногда же, при уравновешенном состоянии духа, — три, а то и четыре месяца бережно и вместе с тем энергично барабанить, не причиняя своей жестянке никакого вреда, если не считать небольших трещин на лаке.

Впрочем, здесь речь пойдет о том периоде, когда я покидал наш двор с перекладиной для выбивания ковров, со стариком Хайландом, прямившим гвозди, с сорванцами, изобретавшими супы, чтобы каждые две недели в сопровождении матушки появляться у Сигизмунда Маркуса и в богатом ассортименте детских барабанов выбирать для себя новый. Иногда матушка брала меня с собой, когда и старый еще вполне прилично выглядел, и я наслаждался этими выходами в пестроту Старого города, всегда смахивавшего на музей и непременно трезвонившего каким-нибудь из своих колоколов.

По большей части наши выходы протекали в приятном единообразии. Кой-какие покупки у Ляйзера, Штернфельда или Махвица, потом к Маркусу, который взял за правило говорить матушке изысканные и лестные учтивости. Он явно ухаживал за ней, но, сколько мне помнится, никогда не позволял себе более пылкого изъявления

своих восторгов, нежели с горячностью схватив золотую, как он выражался, ручку, беззвучно ее поцеловать, — никогда, если не считать одного-единственного коленопреклонения, о котором сейчас и пойдет речь.

Матушка, унаследовавшая от бабки Коляйчек статную подбористую фигуру и приятное легкомыслие, соединенное с добродушием, тем охотнее принимала восторги Сигизмунда Маркуса, что время от времени он скорее одаривал, чем снабжал ее практически бесплатно шелковыми нитками либо превосходными чулками, купленными им по случаю на развале. Не говоря уж о подаваемом каждые две недели через прилавок жестяном барабане.

И в каждый свой приход матушка ровно в половине пятого просила у Сигизмунда разрешения доверить Оскара его заботам, потому что ей надо уладить еще несколько спешных дел. Маркус с непонятной усмешкой склонял голову и в самых цветистых выражениях обещал матушке беречь ее Оскарчика как зеницу ока, покуда она будет улаживать свои столь важные дела. Едва заметная, хоть и не оскорбительная ирония, придававшая его словам особую интонацию, порой заставляла матушку краснеть и подозревать, что Маркус знает, какие это дела.

Я, впрочем, тоже знал, какого рода дела, столь усердно улаживаемые матушкой, она называет важными. Недаром же мне поначалу какое-то время дозволялось сопровождать ее в дешевый пансион на Тишлергассе, где она исчезала на подступах к лестнице и не возвращалась примерно сорок пять минут, заставляя меня дожидаться возле неизменно потягивающей ликер хозяйки за стаканом без слов поданного и отвратительного на вкус лимонада, пока матушка, почти не изменившись, возникала передо мной, прощалась с хозяйкой, которая не поднимала глаз от своей рюмки, и брала меня за руку, не догадываясь, что даже температура руки ее выдает. Потом, держась за горячие руки, мы шли в кафе Вайцке, что на Вольвебергассе. Матушка заказывала себе чашечку кофе мокко, Оскару лимонное мороженое и ждала, пока вдруг и как бы случайно Ян Бронски не пройдет мимо, не подсядет к нам за стол и точно так же не велит поставить чашечку мокко на успокоительно холодный мрамор столешницы.

Они разговаривали при мне без всякого стеснения, и речи их лишь подтверждали то, что я уже давно знал: мама и дядя Ян встречались почти каждый четверг в снятой на деньги Яна комнате на Тишлергассе, чтобы там сорок пять минут грешить друг с другом. Может быть, именно Ян и высказал желание не водить меня больше на Тишлергассе, а оттуда в кафе Вайцке. Он порой бывал очень стыдлив, стыдливее даже матушки, не видевшей ничего особенного в том, что я становлюсь невольным свидетелем истекающего часа любви, в законности которого она всегда, и потом тоже, была глубоко убеждена.

Вот так получилось, что я почти каждый четверг по желанию Яна с половины пятого до без малого шесть торчал у Сигизмунда Маркуса, мог разглядывать его ассортимент барабанов, мог испробовать, мог — а где еще предоставлялись Оскару такие возможности? — барабанить на нескольких барабанах зараз и глядеть при этом в печальное собачье лицо Маркуса. Пусть я даже не знал, откуда приходят его мысли, зато я догадывался, куда они идут, что идут они на Тишлергассе, скребутся там о нумерованные двери или, подобно бедному Лазарю, прикорнули под мраморным столиком кафе Вайцке, дожидаясь... чего же? Крошек со стола?

Но мама и Ян Бронски не оставляли крошек. Они все подчистую съедали сами. Они были наделены отменным аппетитом, который нельзя утолить, который сам себя кусает за хвост.

Они были так заняты, что даже мысли сидящего под столом Маркуса приняли бы за докучную нежность легкого сквознячка.

В один из тех дней — дело, по-моему, было в сентябре , ибо матушка покинула лавку Маркуса в осеннем костюме ржаво-красного цвета — меня, поскольку я знал, что Маркус, позабытый, позаброшенный и, наверное, потерянный, сидит за прилавком, вынесло вместе с только что приобретенным барабаном в Цойгхаус-пассаж, темный и прохладный тоннель, по обеим сторонам которого изысканные магазины — ювелирные, деликатесные — и библиотеки жались друг к другу витринами. Впрочем, меня не влекло к заведомо дешевым, но для меня недоступным выкладкам в витринах: нет, меня влекло прочь из тоннеля, на Угольный рынок. Выйдя под этот пыльный свет, я застыл перед фасадом Цойгхауса, чья базальтовая серость была нашпигована пушечными ядрами различных размеров из различных времен осады, для того чтобы эти железные полусферы вызывали в памяти у каждого прохожего историю города. Мне эти ядра ничего не говорили, хоть я и знал, что торчат они в стене не сами по себе, что есть в этом городе каменщик, которого содержит и оплачивает управление наземного строительства на пару с управлением по охране памятников, чтобы он вмуровывал оружие минувших веков в фасады церквей, ратуш, а также в

переднюю и заднюю стену Цойгхауса.

Я хотел пройти в Городской театр, что выставлял напоказ свой портал по правой стороне, отделенный от Цойгхауса узкой, полутемной уличкой. Поскольку театр, как я и предполагал, оказался об эту пору закрыт — вечерняя касса открывалась лишь в семь часов — я нерешительно, уже подумывая об отступлении, начал, барабаня, смещаться влево, покуда Оскар не оказался между Ярусной башней и Ланггасскими воротами. Пройти через ворота на Ланггассе и потом свернуть налево, в Большую Вольвебергассе я не рискнул, потому что там сидели матушка и Ян Бронски, а если даже еще не сидели, то, может, как раз управились на Тишлергассе и были на пути к освежающей чашке мокко на мраморном столике.

Уж и не помню, как я перешел через проезжую часть Угольного рынка, где постоянно сновали трамваи, либо желая проехать через ворота, либо со звонками уже выезжали из них и, скрежеща на поворотах, сворачивали к Угольному рынку, к Дровяному рынку, в сторону Главного вокзала. Наверно, меня взял за руку какой-нибудь взрослый, возможно полицейский, и заботливо провел сквозь транспортные опасности.

И вот я стоял перед круто упершимися в небо кирпичами башни и, собственно, лишь по чистой случайности, из-за одолевающей меня скуки сунул барабанные палочки между кирпичом и железной притолокой двери, ведущей в башню. Но, возведя взгляд вверх по кирпичам, я уже не мог вести его вдоль фасада, потому что с выступов и из бойниц башни то и дело обрушивались голуби, чтобы без промедления и по-голубиному недолго отдохнуть на водосточных желобах и эркерах, а потом снова, низринувшись с камня, увлечь мой взор за собой.

Возня голубей меня раздражала. Мне было слишком жалко собственного взгляда, я отвел его и серьезно, чтобы избавиться от злобы, использовал свои палочки как рычаг, дверь поддалась, и Оскар, еще не успев до конца открыть ее, оказался внутри башни, вот уже на винтовой лестнице, вот уже поднимался, вынося вперед правую ногу и подтягивая к ней левую, достиг первых, зарешеченных темниц, ввинчивался выше, оставил позади камеру пыток, где помещались бережно сохраняемые и снабженные поучительными надписями инструменты, поднимался дальше, шагал теперь с левой ноги и подтягивал правую, бросил взгляд сквозь узкие зарешеченные оконца, прикинул высоту, оценил толщину каменной стены, спугнул голубей, встретил тех же голубей за очередным витком лестницы, снова зашагал с правой ноги, подтягивая левую, и, когда в очередной раз сменил ногу, Оскар оказался наверху, он мог бы еще подниматься и подниматься, хотя и правая и левая ноги у него заметно отяжелели. Но сама лестница сдалась раньше времени. И он постиг всю бессмысленность и все бессилие башенной архитектуры.

Не знаю, какой высоты башня была — а также есть, потому что она пережила войну. Нет у меня и охоты просить Бруно, моего санитара, принести мне какой-нибудь справочник по восточнонемецкой кирпичной готике. Но уж свои-то сорок пять метров до шпиля она, пожалуй, имела.

Мне — и причиной была до срока утомившаяся лестница — пришлось задержаться на галерее, опоясывающей крышу башни. Я сел, просунул ноги между столбиками балюстрады, наклонился вперед и мимо столбика, который я обвил правой рукой, поглядел вниз, на Угольный рынок, тогда как левая рука удостоверивалась тем временем в наличии моего барабана, проделавшего со мной весь подъем.

Я не намерен докучать вам описанием многобашенного, гудящего колоколами, древнего и якобы до сих пор хранящего дыхание средневековья, отображенного на тысячах вполне приличных гравюр города Данцига с высоты птичьего полета. Не займусь я и голубями, сколько бы ни твердили, будто про голубей легко писать. Лично мне голубь вообще ничего не говорит, уж скорее чайка. Выражение «голубь мира», может быть, справедливо лишь как парадокс. Благую весть мира я бы скорее доверил ястребу, а то и вовсе стервятнику, чем голубю, сварливому жильцу поднебесья. Короче говоря: на Ярусной башне были голуби. Но голуби в конце концов есть и на любой мало-мальски приличной башне, которая при поддержке положенной ей охраны памятников следит за своей внешностью.

Нет, взгляд мой был нацелен совсем на другое: на здание Городского театра, двери которого я, выходя из пассажа, нашел закрытыми. Этот куб, увенчанный куполом, являл пугающее сходство с увеличенной до несуразных пределов классической кофейной мельницей, хотя, конечно, куполу недоставало рукоятки, необходимой для того, чтобы в ежевечерне переполненном храме муз и просвещения перемалывать в отвратительные отруби пятиактную драму вместе с лицедеями, кулисами, суфлерами, реквизитом и всеми занавесами. Меня раздражало это здание, где идущее к закату и разливающее все больше багрянца пополуденное солнце никак не желало покинуть обрамленные колоннами окна.

В тот час, на высоте примерно тридцати метров над Угольным рынком, над трамваями, над радующимися концу рабочего дня служащими, высоко над источающей сладкий запах мелочной лавкой Маркуса, над прохладой мраморного столика в кафе Вайцке, возвышаясь над двумя чашками мокко, над мамой и Яном Бронски, оставив внизу наш дом, двор, все дворы, гвозди, прямые и кривые, соседских детей с их супом из кирпича, я, который до сих пор кричал лишь по необходимости, стал крикуном без причин и без принуждения. Если до подъема на башню я лишь тогда рассылал свои пронзительные звуки в структуру стакана, в нутро лампочки, в застоявшиеся пивные бутылки, когда у меня хотели отобрать барабан, то теперь я издал крик с башни, хотя мой барабан здесь был решительно ни при чем.

Никто не собирался отнимать у Оскара барабан, и все же он закричал, не потому даже, что какой-нибудь голубок сбросил ему на барабан свой помет, желая выманить из него крик. Поблизости, правда, была патина на листах меди, патина, но не стекло. И все же Оскар закричал. У голубей были блестящие глаза с краснотой, но ни один стеклянный глаз не устремлялся на него, а он все же кричал. Куда же он кричал, какое расстояние манило его? Может, здесь предстояло целеустремленно наверстать то, что на чердаке после кормления кирпичным супом без толку разлетелось по-над дворами? В какое стекло метил Оскар? Над каким стеклом — речь могла идти только о стекле — он желал провести эксперимент?

Это Городской театр, это драматическая кофемолка своими закатными окнами притянула мои новоявленные, мои впервые испробованные у нас на чердаке, я бы даже сказал — граничащие с маньеризмом, звуки. Через несколько минут различной силы крика, который, однако, ни к чему не привел, мне удалось издать крик почти беззвучный, и с радостью, с предательской гордостью Оскар мог отрапортовать себе: два средних стекла в левом окне фойе вынуждены были отказаться от солнечного света и представили взору два черных, требующих скорейшего застекления четырехугольника.

Теперь следовало закрепить успех. Я выступал подобно современному художнику, который являет свой найденный после многолетних поисков стиль, одаряя потрясенный мир целой серией равнопрекрасных, равнодерзновенных, равноценных, а порой даже и равновеликих проявлений своей творческой манеры.

Менее чем за четверть часа мне удалось лишить стекол все окна фойе и часть дверей. Перед театром начала собираться взволнованная, как можно было судить отсюда, толпа. Зеваки всегда найдутся. Почитатели моего искусства меня не слишком занимали, Оскара же они побудили действовать еще более строго и более формально. Только я вознамерился, проведя еще один дерзкий эксперимент, обнажить потайную суть вещей, а именно через открытое фойе, сквозь замочную скважину в дверях направить в еще темный зрительный зал совершенно особый крик, дабы поразить гордость всех держателей абонементов — театральную люстру со всеми ее отшлифованными, зеркальными, преломляющими свет многогранными висюльками, как углядел в толпе перед театром ржаво-красную ткань: это матушка совершала обратный путь из кафе Вайцке, выпив кофе и покинув Яна.

Впрочем, нельзя не признать, что Оскар адресовал свой крик и роскошной люстре. Но успеха он, судя по всему, здесь не имел, ибо на следующий день газеты сообщали только о треснувших по загадочным причинам окнах и дверях фойе. Полунаучные и научные изыскания в фельетонном разделе прессы еще много недель заполняли столбцы невероятной чепухой. Так, «Новейшие вести» использовали для объяснения идею космических лучей. Люди из обсерватории, иными словами высококвалифицированные деятели умственного труда, рассуждали о пятнах на солнце.

Со всей возможной скоростью, которую только допускали мои короткие ноги, я скатился вниз по винтовой лестнице и, немного задохнувшись, примешался к толпе перед театральным порталом. Ржаво-красный осенний комплект матушки не сиял больше сквозь толпу, не иначе, она в лавке у Маркуса, возможно, рассказывает там о бедах, которые натворил мой голос, а Маркус, принимающий и мое запоздалое развитие, и алмаз в моем голосе как нечто вполне естественное, думалось Оскару, двигает кончиком языка и потирает изжелта-белые руки.

Но от порога лавки моему взору представилась такая картина, которая сразу же заставила меня позабыть про голос, режущий стекло на расстоянии, ибо: Сигизмунд Маркус стоял на коленях перед моей матерью и все плюшевые звери, медведи, обезьяны, собаки, даже куклы с закрывающимися глазами, равно как и пожарные машины, и лошадки-качалки, и все паяцы, охраняющие его лавку, казалось, тоже готовы вместе с ним рухнуть на колени. Он сжимал двумя руками обе руки матушки, демонстрируя коричневатые, поросшие светлым пушком пятна на тыльной стороне ладони,— и плакал.

У матушки тоже был серьезный, соответствующий ситуации взгляд.

— Не надо, Маркус, — говорила она, — пожалуйста, не надо здесь, в лавке.

Но Маркус не унимался, и в речи его звучала незабываемая для меня, заклинающая и в то же время утрированная интонация:

— Не делайте этого больше с Бронски, ведь он работает на польской почте, на польской, добром оно не кончится, верьте мне, потому что он с поляками. Не делайте ставку на поляков, если уж хотите делать ставку, ставьте на немцев, потому что они поднимутся не сегодня, так завтра, они и сегодня уже поднимаются, их уже видно, а фрау Агнес все еще делает ставку на Бронски. Ставьте тогда на Мацерата, он у вас есть, если уж хотите ставить, или, если, конечно, пожелаете, ставьте на Маркуса, и будьте с Маркусом, потому что он недавно окрестился. Поедем с вами в Лондон, фрау Агнес, у меня есть там свои люди, и есть документы, если только пожелаете уехать, а если вы не хотите с Маркусом, потому что его презираете, ну тогда презирайте. Только он просит вас от всего сердца, чтоб вы не делали ставку на этого психованного Бронски, который так и останется при польской почте, а Польше скоро конец, потому что скоро они придут, немцы-то.

Но именно когда матушка, потрясенная таким количеством возможностей и невозможностей, хотела разрыдаться, Маркус увидел меня в дверях лавки и, выпустив одну руку матушки, указал на меня пятью красноречивыми пальцами:

— Вот, пожалуйста, его мы тоже возьмем в Лондон, пусть как принц там живет, как принц!

Тут и матушка на меня поглядела и чуть улыбнулась. Может, подумала про пустые окна фойе, а может, виды на другую столицу, на Лондон, ее развеселили. Но, к моему великому удивлению, она замотала головой и сказала небрежно, словно отказывалась от приглашения на танцы:

— Благодарю вас, Маркус, но ничего у нас и в самом деле не получится — из-за Бронски.

Восприняв дядино имя как сигнал, Маркус быстро поднялся с колен, сложился, будто нож, в поклоне и произнес:

— Вы уж не серчайте на Маркуса, я так и думал, что вы из-за него не хотите.

Когда мы вышли из лавки в пассаже, Маркус, хотя время еще не подошло, запер ее снаружи и проводил нас до остановки пятого трамвая. Перед фасадом Городского театра до сих пор стояли прохожие и несколько полицейских. Но я не боялся и почти не вспоминал о своих победах над стеклом. Маркус нагнулся ко мне и прошептал скорее для себя, чем для нас:

— Как он все у нас умеет, маленький Оскар! Бьет в барабан и устраивает скандал перед театром.

Матушку, проявившую при виде осколков заметную тревогу, он утешил движением руки, а когда пришел трамвай и мы сели в прицепной вагон, он еще раз произнес свои заклинания, тихо, опасаясь чужих ушей:

— Ну, ладно уж, оставайтесь с Мацератом, который у вас есть, а на Польшу больше не ставьте...

Когда сегодня, лежа или сидя на своей металлической кровати, но барабаня в любом из этих положений, Оскар вновь отыскивает путь к Цойгхаус-пассажу, каракулям на стенах темниц в Ярусной башне, самой башне, смазанным маслом орудиям пытки, за колоннами — трем окнам в фойе Городского театра и снова к Цойгхаус-пассажу и лавке Сигизмунда Маркуса, чтобы суметь точно воспроизвести отдельные детали того сентябрьского дня, ему приходится одновременно искать страну поляков. Но чем он ищет ее? Да своими барабанными палочками. Ищет ли он страну поляков также и своей душой? Он ищет ее всеми органами чувств — но ведь душа не орган.

Я тоже ищу страну поляков, которая «сгинела», которая еще раз не «сгинела». Другие говорят: скоро сгинет, уже сгинела, снова сгинела. Здесь, в этой стране начали заново искать страну поляков с помощью кредитов, фотоаппаратов, компасов, радаров, волшебных палочек и делегаций, гуманизма, лидеров оппозиции и союзов изгнанников, что до поры до времени уложили в нафталин свои национальные костюмы. Покуда здесь, в этой стране ищут страну поляков душой, наполовину с Шопеном в сердце, наполовину с идеями реванша, покуда они здесь ставят крест на четырех разделах Польши и уже замышляют пятый, покуда они летят в Варшаву на самолетах «Эр Франс» и выражают сожаление, возлагая веночек на том месте, где некогда было варшавское гетто, покуда в этой стране намерены искать страну поляков с помощью ракет, я ищу Польшу на моем барабане, я выбиваю: сгинела, еще не сгинела, снова сгинела, ради кого сгинела, скоро сгинет, уже сгинела, Польска сгинела, все сгинело, «Еще Польска не сгинела».

Трибуны

Разрезая пением окна в фойе нашего Городского театра, я искал и впервые обрел контакт со сценическим искусством. Несмотря на то что внимание матушки было полностью отдано Маркусу, она явно догадалась о моем непосредственном отношении к театру, потому что перед ближайшим Рождеством купила четыре билета — для Стефана, Марги Бронски, а также для Оскара — и в последнее воскресенье перед Рождеством взяла нас троих на представление рождественской сказки. Второй ярус, первый боковой ряд. Роскошная люстра, нависая над партером, старалась изо всех сил, и я был рад, что не распилил ее своим пением с башни.

Уже и в те времена детей было чересчур много. На ярусах их насчитывалось больше, чем матерей, тогда как в партере, где сидели люди состоятельные и более осторожные в детопроизводстве, соотношение между теми и другими составляло примерно один к одному. Это ж надо, до чего дети не умеют себя вести. Марга Бронски, сидевшая между мной и сравнительно воспитанным Стефаном, сползла с откидного сиденья, хотела залезть снова, потом предпочла кувыркаться перед балюстрадой, подол ее платья застрял в откидном механизме, Марга завопила, хотя, по сравнению с остальными горлопанами вокруг нас, вопль ее звучал вполне терпимо и не слишком долго, потому что матушка заткнула этот глупый детский рот конфетами. Сося конфету и до срока выбившись из сил от ерзанья на мягком стуле, маленькая сестричка Стефана уснула вскоре после начала представления, а после каждого действия ее приходилось будить для аплодисментов, которым она предавалась с великим усердием.

Показывали сказку про Мальчика с пальчик, которая с первой сцены увлекла меня и, что вполне понятно, лично касалась. Сделано все было вполне искусно. Мальчика и вовсе не показывали, давали лишь услышать его голос, а взрослых заставляли бегать за хоть и невидимым, но вполне активным забавным героем. Вот он сидит в ухе у лошади, вот он разрешает отцу продать себя за большие деньги двум жуликам, вот он проказничает на полях шляпы у одного из жуликов, потом забивается в мышиную норку, потом — в домик улитки, потом действует заодно с ворами, попадает в сено, а вместе с сеном — в живот к корове, но корову забивают, потому что она говорит голосом Мальчика с пальчик. А коровий сычуг вместе с проглоченным пареньком попадает на мусорную кучу, где его проглатывает волк. Но разумными речами мальчик заманивает волка в дом своего отца, в кладовую, и там, когда волк только собрался было заняться грабежом, поднимает страшный шум. Ну, а конец именно такой, как и положено в сказках: отец убивает злого волка, мать вскрывает ножницами брюхо обжоры, Мальчик с пальчик выходит на волю, иными словами, слышно, как он кричит: «Ах, папочка, я побывал и в мышиной норке, и в коровьем сычуге, и в волчьем брюхе, а теперь я останусь у вас».

Меня растрогал такой конец, а бросив взгляд на матушку, я заметил, что она спрятала лицо в носовой платок, потому что, подобно мне, восприняла действие на сцене как глубоко личное переживание. В последующие недели матушка легко приходила в умиление и, пока шли рождественские праздники, то и дело прижимала меня к себе, целовала и называла Оскара, наполовину шутливо, наполовину грустно, — мой Мальчик с пальчик. Или же: мой бедный-бедный Мальчик с пальчик.

Лишь летом тридцать третьего мне вторично предложили поход в театр. Из-за некоторого недоразумения, мною вызванного, получилось не совсем так, как надо, но все равно спектакль произвел на меня глубокое и длительное впечатление. Еще и по сей день во мне все гудит и колышется, ибо приключилось это в Лесной опере Сопота, где под открытым ночным небом, из лета в лето поверяли природе музыку Вагнера.

Вообще-то матушка жаловала оперы, а Мацерат и оперетты едва выносил. Ян, конечно же, ориентировался на матушку и обожал арии, хотя при всей своей музыкальной внешности был начисто лишен музыкального слуха для восприятия дивных звуков. Зато он был лично знаком с братьями Формелла, бывшими своими одноклассниками из средней картхаусской школы, которые проживали теперь в Сопоте, ведали освещением променада, фонтанов перед курзалом и казино, а также трудились осветителями на оперных фестивалях в Сопоте.

Дорога в Сопот шла через Оливу. Утро в Дворцовом парке. Золотые рыбки, лебеди, матушка и Ян Бронски в знаменитом Гроте шепотов. Потом опять золотые рыбки и опять лебеди, тесно сотрудничавшие с фотографом. Когда делали снимок, Мацерат усадил меня к себе на плечи. Барабан я возложил ему на голову, что неизменно, даже и тогда, когда снимок был уже наклеен в альбом, вызывало всеобщий смех. Прощание с рыбками, лебедями и Гротом шепотов. Воскресенье было не только в Дворцовом парке, но и за железной решеткой ограды, и в трамвае на Глеткау, и

в курзале Глеткау, где мы обедали, пока Балтийское море непрестанно, словно больше ему и заняться нечем, приглашало искупаться, — решительно повсюду царствовало воскресенье. Когда променад вывел нас к Сопоту, воскресенье выступило против нас, и Мацерату пришлось уплатить курортный сбор.

Купались мы в Южной купальне, по слухам там было свободнее, чем в Северной. Мужчины переодевались в мужском гардеробе, меня же матушка завела в кабинку при дамском и настояла, чтобы я купался в семейной купальне голышом, тогда как она, изрядно к тому времени вышедшая из берегов, погрузила свои телеса в соломенно-желтый купальный костюм. Чтобы не слишком светить наготой в тысячеглазой семейной купальне, я прикрыл барабаном причинное место, потом упал животом на песок и предпочел не окунаться в зазывную морскую воду, а, напротив, хранить срам в песке, исповедуя страусиную политику. Мацерат, да и Ян Бронски, оба с намечающимися животиками, имели вид до того уморительный и почти, можно сказать, жалкий, что я был рад, когда ближе к концу дня они посетили кабинки, где каждый натер кремом свой загар, после чего, как помазанники «Нивеи», влезли в свою обычную воскресную одежду.

Кофе с пирожными в «Морской звезде». Матушка возжелала получить еще одну, третью порцию пятиэтажного торта. Мацерат был против, Ян и за и против сразу. Матушка заказала, скормила кусочек Мацерату, малость подбросила Яну, словом, ублажила обоих мужчин и лишь после этого ложечку за ложечкой переправила к себе в желудок приторный клин.

О ты, священный масляный крем, ты, усыпанный сахарной пудрой, ты, ясный, временами с небольшой облачностью, воскресный день! Польская аристократия сидела под синими солнечными очками за крепким лимонадом, к которому она не прикасалась. Дамы поигрывали лиловыми ноготками и при посредстве морского ветра потчевали нас запахом нафталина, исходящим от меховых накидок, взятых, надо полагать, напрокат к соответствующему сезону. Мацерат счел это дурацким кривляньем. Матушка тоже не отказалась бы хоть на полдня взять напрокат такую пелерину. Ян утверждал, что скука, овладевшая польским дворянством, достигла нынче такого расцвета, что даже невзирая на безудержный рост долгов оно больше не дает себе труда говорить на французском, а из чистого снобизма изъясняется исключительно по-польски.

Но нельзя было так и сидеть в «Морской звезде» до скончания века, неотрывно созерцая лиловые ногти и синие очки польских аристократов. Набитая тортом матушка возжаждала движения, и приморский парк принял нас в свои объятия, мне пришлось поездить на осле и остановиться для очередного снимка. Золотые рыбки, лебеди — чего только не выдумает природа — и снова золотые рыбки и лебеди, придающие ценность пресной воде.

Между подстриженными кустами тисса, который вовсе и не думал шептать, как гласит молва, мы повстречали братьев Формелла, осветителей казино Формелла, осветителей Лесной оперы Формелла. Младший Формелла должен был для начала извергнуть из себя все анекдоты, которых наслушался на посту осветителя. Старший Формелла знал все эти анекдоты наперечет, но из братской любви заразительно смеялся в нужных местах, демонстрируя при этом на один золотой зуб больше, чем имелось у младшего брата, а имелось у младшего всего лишь три. Все пошли к Шпрингеру выпить рюмочку можжевеловки. Матушка же предпочла «Курфюрста». Далее, попрежнему рассыпая остроты из своих запасов, щедрый младший Формелла пригласил нас всех отужинать у «Попугая». В «Попугае» мы встретили Тушеля, а Тушелю принадлежала половина Сопота плюс Лесная опера и пять кинотеатров. К тому же он был шефом обоих братьев Формелла и был весьма рад, как и мы были весьма рады, познакомиться с нами, познакомиться с ним. Тушель без устали вращал кольцо у себя на пальце, но это навряд ли было кольцо желаний или волшебное кольцо, так как ровным счетом ничего не случилось, если не считать, конечно, что Тушель, в свою очередь, начал рассказывать анекдоты, и не какие-нибудь, а именно те, которые нам уже рассказал Формелла, только еще подробнее из-за меньшего количества золотых зубов. И однако же весь стол хохотал, потому что рассказывал Тушель. Только я держался серьезно, пытаясь своей серьезной миной погубить соль анекдота. Ах, какой уют вкупе с круглыми утолщенными стеклами в окнах того уголка, где обедали мы, создавали эти, пусть и не совсем искренние, взрывы смеха. И Тушель сумел доказать свою признательность: все еще рассказывая анекдот, он велел подать «Золотой» ликер, а плавая в волнах смеха и блестках ликера, на радостях вдруг по-другому повернул кольцо. И тут в самом деле кое-что произошло: Тушель пригласил нас всех в Лесную оперу, ну, поскольку ему принадлежит кусочек оперы, сам он, правда, к сожалению, не может, у него встреча и тому подобное, но он надеется, что мы не побрезгуем его местами, ложа обита бархатом, ребеночек может поспать, если он

устал, и Тушель написал серебряным карандашом Тушелевы слова на Тушелевой визитной карточке, она распахнет перед вами все двери, сказал он — и оказался прав.

А то, что было потом, можно изложить в нескольких словах: теплый летний вечер, опера битком набита и все сплошь иностранцы. Еще до того, как началось представление, прилетели комары. Но лишь когда последний комар, тот, что всегда прилетает последним, считая это аристократичным, возвестил кровожадным звоном о своем появлении, все и началось — в самом деле и одновременно. Ставили «Летучего голландца». Из того леса, который и дал опере название «Лесная», выдвинулся скорее браконьерский, нежели пиратский корабль. Матросы пели, адресуясь к деревьям, я уснул на мягких сиденьях тушелевской ложи, а когда проснулся, матросы все еще пели — или уже опять пели : «Штурман на вахте стоит...», но тут Оскар снова заснул и порадовался при этом, что матушка его так активно участвует в судьбе голландца, и скользит, словно на волнах, и делает вдох и выдох, сообразуясь с Вагнером. Она совсем не замечала, что Мацерат и Ян, заслонившись ладонями, издавали звуки, похожие на звук пилы, распиливающей деревья разной толщины: у одного — звук пониже, у другого — повыше, что и сам я то и дело выскальзывал у Вагнера из рук, покуда Оскар окончательно не стряхнул сон, ибо среди леса стояла женщина и громко кричала. У женщины были желтые волосы, и она кричала, потому, может быть, что осветитель, а это, надо полагать, был младший из братьев Формелла, слепил и раздражал ее своим прожектором. «Нет!» — кричала женщина. «О горе мне!» — кричала женщина, и еще: «Кто причинил мне это зло?» Но Формелла, который именно что и причинил ей это зло, не отвел прожектор, и вопли одинокой женщины, которую матушка позже обозвала солисткой, перешли в изредка вскипающее серебряной пеной хныкание, от которого хоть и поблекли до срока листья на деревьях сопотского леса, но которое ничего не могло поделать с прожектором Формелла. Перед прожектором голос, хоть и не лишенный силы, спасовал. Требовалось вмешательство Оскара, чтобы отыскать невоспитанный источник света и при помощи одного-единственного крика с дальним радиусом действия, крика еще более неслышного, чем тихая настырность комаров, убить прожектор.

Что при этом возникнет короткое замыкание, тьма, россыпь искр и лесной пожар, который, хотя его скоро удалось потушить, успел вызвать панику, я совершенно не мог предвидеть — я ведь и сам потерял в толчее не только матушку, но и обоих грубо разбуженных господ, да и мой барабан пропал в этой сумятице.

Матушку, которая после лесного пожара начала осваивать Вагнера в переложении для нашего пианино, эта третья моя встреча с театром навела на мысль весной одна тысяча девятьсот тридцать четвертого года приобщить меня к воздуху цирка.

Оскар не намерен разглагольствовать о серебряных дамах на трапециях, о тиграх из цирка Буш и о ловких тюленях. Никто не рухнул вниз из-под купола, ни у одного дрессировщика ничего не откусили. И тюлени делали все, чему их учили: жонглировали мячами и ловили на лету живых селедок в награду. Цирку я благодарен за веселые представления для детей и за столь для меня важное знакомство с Беброй, музыкальным клоуном, который играл на бутылках «Джимми-тигра» и руководил группой лилипутов.

Встретились мы с ним в зверинце. Мама и двое мужчин при ней решили подвергнуться оскорблениям перед обезьяньей клеткой. Хедвиг Бронски, тоже составившая нам компанию, показывала своим детям пони. После того как лев разинул на меня пасть, я по легкомыслию решил заняться совой и попытался победить взглядом птицу, но птица сама меня победила, и Оскар сконфуженно, с красными ушами, оскорбленный до глубины души, забился куда-то между бело-синими жилыми фургончиками, потому что там, кроме карликовых коз — да и те на привязи, — других зверей не имелось.

В подтяжках, в домашних туфлях он прошел мимо меня, неся ведро воды. Наши взгляды бегло встретились, но мы узнали друг друга немедля. Он поставил ведро на землю, наклонил к плечу большую голову, подошел ко мне, и я прикинул, что он выше меня сантиметров на девять.

— Вы только поглядите, — проскрежетал он сверху вниз, — нынче уже трехлетки больше не желают расти.

И поскольку я не отвечал, он сделал второй заход:

— Мое имя Бебра, происхожу по прямой линии от принца Евгения, чьим отцом был Людовик Четырнадцатый, а отнюдь не какой-то савояр, как утверждают.

И поскольку я все так же молчал, он сделал третий заход:

— Прервал свой рост в десятый день рождения. Поздновато, но все-таки...

Раз он был так со мной откровенен, я и сам представился, но расписывать свое родословное древо не стал и назвал себя просто: Оскар.

— Скажите-ка, дорогой мой Оскар, вам теперь должно быть годков четырнад-

цать-пятнадцать, а то и вовсе шестнадцать. Просто не верится, неужели всего девять с половиной, как вы говорите?

Теперь и мне следовало определить его возраст, и я нарочно занизил.

— Да вы льстец, дорогой мой друг. Тридцать пять — это осталось в прошлом. В августе я отпраздновал пятьдесят третий день рождения. Я бы вполне мог быть вашим дедушкой.

Оскар сказал ему несколько учтивостей по поводу его акробатических номеров как клоуна, высоко оценил его музыкальность и, повинуясь зову тщеславия, тоже продемонстрировал некий фокус. Три лампочки из циркового освещения послужили убедительным тому доказательством, после чего господин Бебра вскричал: «Браво, брависсимо!» и выразил готовность зачислить Оскара в свою труппу.

Еще и по сей день я порой сожалею, что не принял его предложения, что придумал какую-то отговорку и сказал:

— Видите ли, господин Бебра, я предпочитаю быть среди зрителей, предоставляя своему скромному искусству возможность цвести втайне, вдали от шумных звуков одобрения, но я никогда не буду среди тех, кто не наградит аплодисментами ваше выступление.

Господин Бебра поднял морщинистый указательный палец и воззвал ко мне:

— Дражайший Оскар, поверьте на слово опытному коллеге. Наш брат не имеет права находиться среди зрителей. Наш брат обязан быть на сцене, на эстраде. Наш брат должен задавать тон и определять ход действия, не то зритель будет воздействовать на тебя и куда как охотно устроит тебе пакость.

Почти влезая мне в ухо, он шептал, делая древние глаза:

— Они придут! Они рассядутся на почетных местах! Они устроят факельные шествия! Они воздвигнут трибуны, они заполнят трибуны и возвестят нашу погибель. Вы еще увидите, мой юный друг, что будет твориться на этих трибунах! Вот и постарайтесь всегда сидеть среди тех, кто на трибунах, и никогда не стоять перед ними.

Но тут, поскольку меня окликнули, господин Бебра схватил свое ведро.

— Вас ищут, дорогой друг! Но мы еще увидимся. Слишком мы малы, чтобы потерять друг друга. Бебра всегда твердит одно: маленькие люди вроде нас с вами отыщут местечко даже на самой переполненной сцене. А если не на ней, то уж верно под ней, но ни за что — перед ней. Это говорит вам Бебра, происходящий по прямой линии от принца Евгения.

Матушка, которая, крича «Оскар», вышла из-за фургончика, еще успела увидеть, как господин Бебра поцеловал меня в лоб, затем подхватил свое ведро и, загребая плечами, взял курс на один из фургончиков.

— Вы только подумайте! — так немного спустя матушка выражала свое возмущение перед Мацератом и семейством Бронски, — Он был у лилипутов. И какой-то гном поцеловал его в лоб. Будем надеяться, что это ничего не значит.

Но поцелуй, запечатленный Беброй на моем челе, значил для меня очень много. Политические события ближайших лет подтвердили его правоту: началась пора факельных шествий и маршировки перед трибунами.

Подобно тому как я внял советам господина Бебры, матушка близко приняла к сердцу по крайней мере часть тех предостережений, которыми осыпал ее Сигизмунд Маркус в Цойгхаус-пассаже и неизменно их повторял с тех пор при каждом ее визите по четвергам. Пусть даже матушка и не уехала вместе с Маркусом в Лондон — лично я не возражал бы против такого переезда,— но она осталась при Мацерате, а Яна Бронски видела не так чтобы часто, другими словами, на Тишлергассе за счет Яна либо играя дома в скат, каковой с каждым разом обходился Яну все дороже, поскольку он неизменно проигрывал. Мацерат же, на которого матушка поставила, вняв совету Маркуса, и на чье имя сохранила вклад, не удвоив его, вдруг в одна тысяча девятьсот тридцать четвертом году, то есть сравнительно рано признав силы порядка, вступил в партию, хотя и не смог там подняться выше целленляйтера. В связи с производством в чин, явившимся, как и все нестандартные события, поводом для очередного вечера за картами, Мацерат впервые изложил свои предостережения, которые уже неоднократно высказывал Яну Бронски по поводу его деятельности на польской почте, с более строгой, но и более озабоченной интонацией.

В остальном же сколько-нибудь заметных перемен не произошло. С гвоздя над пианино был удален сумрачный Бетховен, подарок Греффа, и на тот же самый гвоздь водружен для всеобщего обозрения Гитлер с не менее сумрачным взглядом. Мацерат, не испытывавший особой любви к серьезной музыке, явно намеревался подвергнуть глухого композитора окончательному изгнанию. Однако матушка, очень ценившая медлительные пассажи Бетховена, разучила два или три в еще более медленном темпе, чем положено, и время от времени выдавала их по капле, и настояла на том, чтобы Бетховена перевесили на другое место, если не над кушеткой, то уж по

крайней мере над буфетом. Возникло наиболее мрачное из всех возможных противостояний: Гитлер и гений висели теперь друг против друга, глядели друг на друга и видели друг друга насквозь, но никакой радости друг другу не доставляли.

Мало-помалу Мацерат докупил все составные части формы. Если память мне не изменяет, он начал с приобретения форменной партийной фуражки, которую носил даже в ясную погоду, опустив вниз ремень, натирающий подбородок. Какое-то время он носил к этой фуражке белые сорочки с черным галстуком или ветровку с повязкой на рукаве. Когда же он приобрел первую коричневую рубашку, ему неделю спустя захотелось обзавестись бриджами цвета фекалий и сапогами. Матушка этому воспротивилась, и опять прошел месяц с лишком, прежде чем Мацерат собрал наконец полное обмундирование.

Повод обрядиться в форму выпадал по нескольку раз на неделе, но Мацерат ограничивался лишь участием в воскресных манифестациях на Майском лугу возле спортзала. Зато уж тут он стоял, как скала, отказываясь брать зонтик даже при самой пакостной погоде, и нам нередко доводилось слышать из его уст присказку, которая стала для него постоянной: «Служба есть служба, — говорил Мацерат, — а водка есть водка», после чего, приготовив жаркое, он каждое воскресное утро покидал матушку, ставя меня в щекотливое положение, ибо Ян Бронски, умевший правильно оценить новую воскресную политическую ситуацию, наносил моей покинутой матушке по-штатски однозначные визиты, покуда Мацерат стоял в строю.

Что ж мне еще оставалось делать, кроме как скрыться с глаз? Я не желал ни мешать парочке на кушетке, ни наблюдать за ней. И едва мой облаченный в форму отец исчезал из поля зрения, а на горизонте маячил визит гражданского лица, которого я уже в ту пору называл своим предполагаемым отцом, мы с барабаном двигались из дома к Майскому лугу.

Вы, пожалуй, спросите, а почему обязательно туда? Поверьте на слово, что по воскресеньям в порту почти ничего не происходило, что предпринимать лесные прогулки я как-то не осмеливался и что внутреннее убранство церкви Сердца Христова тогда еще ничего не говорило моему сердцу. Оставались, правда, скауты господина Греффа, но тамошней подавленной эротике я предпочитал, уж признаюсь честно, суету на Майском лугу, даже если вы теперь назовете меня попутчиком.

Выступали там либо Грайзер, либо гауляйтер по идеологии Лёбзак. На Грайзера я никогда не обращал особого внимания, он был слишком умеренный, и вскоре его заменили на куда более шустрого баварца по имени Форстер, которого и сделали гауляйтером. Зато Лёбзак был таков, что и сам вполне мог заменить Форстера. Не будь Лёбзак горбат, этому типу из Фюрта было бы куда как сложно утвердиться в портовом городе. По достоинству ценя Лёбзака и видя в его горбе примету высокой интеллигентности, партия сделала его гауляйтером по идеологии. И дело свое этот человек понимал. Покуда Форстер с нелепым баварским акцентом только и знал что орать: «В объятья рейха!», Лёбзак уделял больше внимание подробностям, говорил на всех разновидностях данцигского нижненемецкого, рассказывал анекдоты про Боллермана и Вульсудского, умел разговаривать и с портовыми рабочими в Шихау, и с простым народом в Оре, и с жителями Эмауса, Шидлица, Бюргервизена и Прауста. Я просто испытывал наслаждение, слушая, как этот человек, чей горб становился особенно заметен под коричневым сукном гимнастерки, отвечает уныло-серьезным коммунистам и на слабые выкрики отдельных социалистов.

Лёбзак умел острить, эти остроты он извлекал из своего горба, а свой горб называл по имени, людям такое всегда нравится. Уж скорее у него, мол, горб исчезнет, утверждал Лёбзак, чем коммунисты отпразднуют победу. С самого начала было ясно, что горб никуда не денется, что горб сидит несокрушимо, а стало быть, горб прав, и вместе с ним — вся партия, на основе чего можно сделать вывод, что горб — идеальная основа для любой идеи.

Когда Грайзер, Лёбзак, а позднее Форстер выступали, они всякий раз поднимались на трибуны. Речь шла о тех трибунах, которые нахваливал мне маленький господин Бебра. Поэтому я довольно часто принимал оратора Лёбзака, одаренного и горбатого Лёбзака, каким он был на трибунах, за посланца Бебры, который, облачившись в коричневую форму, отстаивает свое, а по сути также и мое дело.

Что это вообще такое: трибуны? Неважно, для кого и перед кем их воздвигнут, они, во всяком случае, должны быть симметричны. Вот и трибуны на Майском лугу перед спортивной школой отличались подчеркнутой симметричностью. Пойдем сверху вниз: шесть знамен со свастикой, одно подле другого. Ниже флаги, вымпелы и штандарты. Потом ряд черных эсэсовцев с подбородными ремнями. Потом два ряда штурмовиков, которые во время песнопения и говорения держали руки на пряжке ремня. Потом — эти сидели — члены партии в несколько рядов, все в форме, за спиной у оратора на кафедре — те же партайгеноссен и фюрерши из женской организа-

ции с материнским выражением лица, представители сената в гражданском платье, гости из рейха и полицайпрезидент или его заместитель.

Подножие трибун омолаживали своим присутствием гитлерюгенд или, вернее говоря, территориальный взвод фанфаристов из юнгфолька, а также взвод барабанщиков и трубачей из гитлерюгенда. Во время некоторых манифестаций слева и справа, то есть опять-таки строго симметрично, располагался смешанный хор, который либо скандировал лозунги, либо воспевал столь излюбленный балтийский ветер, который, если верить песне, лучше всех других ветров приспособлен для разворачивания знаменного кумача.

Бебра, поцеловавший меня в лоб, сказал также : «Оскар, никогда не стой перед сценой. Наш брат должен быть на сцене».

По большей части мне удавалось отыскать место между руководительницами женских организаций. К сожалению, дамы не упускали случая во время манифестаций из пропагандистских соображений гладить меня по головке. Я с моим жестяным барабаном не мог примешаться к литаврам, фанфарам и большим барабанам у подножия трибуны, мой барабан отвергал дробь ландскнехтов. Да и надежды, которые я возлагал на гауляйтера по идеологии Лёбзака, тоже пошли прахом. Я жестоко разочаровался в этом человеке. И посланцем Бебры, как я предполагал, он не был, и ни малейшего представления о моем истинном возрасте он не имел.

Во время одного из политических воскресений я попался ему перед самой кафедрой и приветствовал его партийным приветствием, посмотрел ему прямо в глаза, после чего, подмигивая, шепнул: «Бебра — наш фюрер!», но никакой мысли у Лёбзака при этом не возникло, и он погладил меня по головке точно так же, как это делали фюрерши из женских организаций, а под конец велел даже — ему ведь надо было произносить речь — спустить Оскара на землю, после чего Оскара с двух сторон зажали две фюрерши Союза немецких девушек и во время всей манифестации выспрашивали про «папочку и мамочку».

Поэтому никого не должно удивлять, что уже летом тридцать четвертого года и безотносительно к рэмовскому путчу партия начала мало-помалу меня разочаровывать. Чем больше я разглядывал трибуны, стоя перед ними, тем подозрительнее мне казалась вся эта симметрия, которую смягчал лишь горб Лёбзака. На поверхности лежит объяснение, что мой критический настрой разжигали барабанщики и фанфаристы; в августе тридцать пятого, в душное воскресенье с очередной манифестацией я пристроился у подножия трибун вместе со взводом барабанщиков и трубачей.

Мацерат вышел из дома уже в девять часов. Я еще помогал ему драить коричневые кожаные краги, чтобы он не опоздал. Даже в этот ранний утренний час стоял невыносимый зной, и, прежде чем попасть на воздух, Мацерат успел напотеть под мышками на своей коричневой рубашке темные, все увеличивающиеся полукружья. Ровно в половине десятого явился Ян Бронски в легком и светлом летнем костюме, в ажурных, жемчужно-серых полуботинках и при соломенной шляпе. Ян немножко поиграл со мной, но и во время игры не сводил глаз с матушки, которая как раз накануне вымыла голову. Я быстро заметил, что мое присутствие мешает их разговору, делает их поведение неестественным, а движения Яна скованными. Легкие летние брюки явно начали стеснять Яна. Я и выкатился из дому, пошел по стопам Мацерата, отнюдь не считая его образцом для подражания. Из осторожности я обходил стороной улицы, полные устремляющихся к Майскому лугу людей в форме, и подоспел к месту манифестации со стороны теннисных кортов, расположенных возле спортивного зала. Благодаря этому кружному пути я мог полюбоваться видом трибун сзади.

Вам когда-нибудь доводилось смотреть на трибуны сзади? Поистине, следовало бы всем людям — это просто такое предложение — показать, как выглядят трибуны сзади, прежде чем собирать их перед трибунами. Кто хоть раз посмотрел на них сзади, и посмотрел внимательно, тот будет с этого самого часа взыскан судьбой и недоступен ни для какого колдовства, в той или иной форме подносимого с трибун. То же можно сказать и о виде церковных алтарей сзади; впрочем, это уже из другой оперы.

Однако Оскар, которого во все времена отличала тяга к основательности, не удовольствовался разглядыванием неприкрытого и истинного в своем безобразии помоста, он припомнил слова своего магистра Бебры, зашел с грубой, оборотной стороны возвышения, предназначенного лишь для разглядывания спереди, протиснулся вместе с барабаном, без которого никогда никуда не ходил, между стропилами, ударился о выступающую балку, разодрал колено о предательски торчащий из дерева гвоздь, услышал, как у него над головой шаркают сапоги партайгеноссен и туфельки фюрерш, и, наконец, забился туда, где было всего жарче в полном соответствии с месяцем августом: перед внутренним подножием кафедры за распоркой он нашел достаточно удобное и безопасное место, где мог наслаждаться акустическими соблазнами политической манифестации, не позволяя знаменам отвлекать себя, а

мундирам оскорблять свой взор.

Итак, я присел как раз под тем местом, где была кафедра. Слева и справа от меня и надо мной стояли, расставив ноги и, как я догадывался, зажмурив ослепленные солнцем глаза, самые юные барабанщики из юнгфолька и постарше — из гитлерюгенда. А потом — толпа. Я носом чуял ее сквозь щели обшивки. Все это стояло, соприкасаясь локтями и воскресными одеждами, все это прибыло пешком либо на трамвае, все это частично побывало на утренней мессе, но не получило полного удовлетворения, все э о пришло, чтобы, ведя под ручку невесту, что-то ей предложить, все это желало присутствовать, когда делается история, пусть даже убив на это полдня.

Нет, внушал себе Оскар, пусть не окажется, что они напрасно били ноги. И он устремил глаза сквозь дырку в обшивке сцены, заметил беспокойное движение со стороны Гинденбургаллее. Они приближаются! Над ним громыхнули слова команды, предводитель взвода барабанщиков и фанфаристов взмахнул своим жезлом, музыканты чуть дохнули в свои фанфары, приладились к мундштукам и вот уже разом на самый сквернейший ландскнехтовский лад дунули в свои надраенные сидолом медяшки, так что у Оскара заболели уши, и он сказал: «Бедный штурмовик Бранд», и еще: «Бедный гитлерюнге Квекс, вы погибли зазря».

Словно желая подтвердить прощальное слово по адресу жертв движения, к звукам фанфар примешался тяжелый грохот по телячьей коже барабанов. Проход, ведущий сквозь толпу к сцене, позволял угадывать приближение мундиров, и Оскар промолвил: «Вот теперь, мой народ, слушай меня, народ».

Барабан уже лежал в должной позиции, с небесной раскованностью я дал взыграть обеим палочкам, нежным движением запястий извлек из своей жести прекрасные, веселые такты вальса и, все горячей заклиная Вену и голубой Дунай, придал им нужную громкость, покуда наверху, надо мной, первому и второму из ландскнехтовских барабанов вдруг тоже полюбился мой вальс, да и плоские барабаны старших мальчиков с большей или меньшей степенью искусности подхватили мою прелюдию. Конечно, нашлись и среди них несгибаемые, лишенные слуха, которые знай себе бумкали и бумкали, а я ведь задавал столь любимый народом счет на три четверти. Оскар уже готов был прийти в отчаяние, но тут фанфаристов наконец осенило, и поперечные флейты тоже запели — о Дунай, голубой Дунай. Лишь оба командира — фанфарного и барабанного взвода — никак не желали уверовать в короля вальсов и выкрикивали свои докучные команды, но я их сместил, теперь пошла моя музыка. И народ был мне за это благодарен. Перед трибуной послышался уже громкий смех, кто-то начал подпевать: «День золотой, чуть блещет река», и по всей площади растекался голубой Дунай, до Гинденбургаллее — такой голубой, и до Стеффенспарка голубой, скакал мой ритм, усиленный раскрученным на полную громкость микрофоном у меня над головой. А глянув в мою дырочку и не переставая при этом барабанить, я заметил, что людям мой вальс доставляет удовольствие, что они взволнованно подпрыгивают, что он передался им в ноги, и вот уже девять пар танцевали на лугу, и еще одна, и свел их король вальсов. Только Лёбзаку, который вместе с крайсляйтерами, штурмбаннфюрерами, с Форстером, Грайзером и Раушнингом, который с длинным хвостом из руководящих деятелей варился в гуще толпы, перед которым грозил сомкнуться проход к сцене, вальс, как ни странно, пришелся не по вкусу. Лёбзак уже привык, что прямолинейная маршевая музыка сквозь все шлюзы выводит его к трибунам. А легковесные звуки отняли у него веру в народ. Сквозь дырку я наблюдал его страдания. В дырку задувал ветер. И хотя у меня даже глаз воспалился, Лёбзак почему-то внушал мне жалость, и я сменил вальс на чарльстон «Джимми-тигр», я воспроизводил тот ритм, который клоун Бебра выбивал на бутылках из-под сельтерской; но мальчишки перед трибуной не поняли чарльстон, это было другое поколение, и оно, конечно же, не имело ни малейшего понятия ни о чарльстоне, ни о «Джимми-тигре». Они барабанили — о мой добрый друг Бебра — не Джимми и не тигра — они молотили кто в лес, кто по дрова, они выдували из своих фанфар Содом и Гоморру. А поперечным флейтам это было без разницы. Командир взвода фанфаристов крыл их последними словами. Но мальчики из взвода фанфаристов и барабанщиков барабанили, свистели, трубили, наяривали что есть мочи, и это для Джимми обернулось великой радостью среди жаркого тигрового августа, а до соотечественников, которые тысячами тысяч столпились перед трибуной, наконец-то дошло: это Джимми-тигр приглашает людей на чарльстон!

А те, кто на Майском лугу еще не танцевал, принялись, пока не поздно, расхватывать последних свободных дам. Только Лёбзак принужден был танцевать на пару со своим горбом, ибо по соседству все, носившее юбку, было уже давным-давно ангажировано, а те дамы из женских организаций, которые могли бы его выручить, ерзали далеко от одинокого Лёбзака на жестких скамьях сцены. И тем не менее — это, конечно, присоветовал ему его горб — он танцевал, желая сделать хорошую мину

при плохом чарльстоне и спасти то, что еще можно спасти.

Но спасти уже ничего было нельзя. Народ оттанцевал с луга, и тот, хоть и весь истоптанный, стал совершенно пустым и зеленым. Народ за компанию с «Джимми-тигром» рассеялся по просторным куртинам примыкающего к лугу парка. Именно там открывались джунгли, которые посулил им Джимми, там тигры мягко выступали на бархатных подушечках, заменяя первобытный лес людям, которые еще совсем недавно теснились на Майском лугу. Закон и дух порядка — все пошло к черту. Те же, кто отдавал предпочтение культуре, вполне могли на широких ухоженных променадах той Гинденбургаллее, которая впервые была насажена в восемнадцатом веке, спилена в одна тысяча восемьсот седьмом году, при осаде города войском Наполеона, и в одна тысяча восемьсот десятом вновь насажена теперь уже в честь Наполеона, короче — танцоры вполне могли наслаждаться моей музыкой на исторических землях, потому что микрофоны над моей головой так и не выключили, потому что меня было слышно до Оливских ворот, потому что я не сдавался, покуда мне и молодцам у подножия трибун не удалось при посредстве выпущенных на свободу тигров Джимми очистить Майский луг решительно от всего — если не считать лютиков.

И даже когда я предоставил своей жести давно ею заслуженный покой, юные барабанщики все еще не унимались. Потребовалось некоторое время, прежде чем утратило свою силу мое музыкальное воздействие.

Остается добавить, что Оскар не мог сразу покинуть внутренности трибун. Группы штурмовиков и эсэсовцев больше часа простукивали сапогами доски, выдирали клочья из синих и коричневых гимнастерок, явно отыскивая что-то во всем устройстве трибуны — может, социалиста, а может, целую группу вредителей из коммунии. Не перечисляя здесь все уловки и хитрости Оскара, заметим коротко: они его не нашли. А не нашли они его потому, что не доросли до него.

Наконец тишина и спокойствие воцарились в деревянном лабиринте, размерами, пожалуй, равном тому киту, во чреве которого сидел, пропитываясь рыбьим жиром, Иона. Оскар не был пророком, и он захотел есть. Но не случилось рядом Господа Бога, который сказал бы ему: «Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем!» И не дал господь возрасти растению, которое потом по Божьему велению подточил бы червь. Я не скорбел ни о том библейском растении, ни о городе Ниневия, пусть даже этот город звался Данциг. Мой барабан, совсем не библейский, я засунул под пуловер, у меня и своих-то забот хватало, ни на что не наткнувшись, не зацепившись ни за один гвоздь, я выбрался из внутренностей трибун, воздвигнутых для манифестаций всякого рода и лишь по случайному совпадению имевших размеры заглатывающего пророков кита.

И никому не было дела до маленького мальчика, который насвистывал и медленно, как трехлетка, двигался по краю Майского луга в сторону спортивного зала. Позади теннисных кортов прыгали мои ребятишки, те, что раньше стояли у подножия трибун, держа перед собой солдатские барабаны, малые барабаны, поперечные флейты, фанфары. Штрафные учения, подумал я и лишь умеренно посочувствовал им, прыгающим по свистку гебитсфюрера. В стороне от своего штаба, прохаживался Лёбзак со своим одиноким горбом. На конечных пунктах целенаправленного маршрута, который он совершал, разворачиваясь на каблуках, ему удалось изничтожить всю траву и все лютики.

Когда Оскар вернулся домой, обед уже стоял на столе. Подавали мясную запеканку с картошкой и красной капустой, а на десерт шоколадный пудинг с ванильным соусом. Мацерат не проронил за обедом ни слова, матушка витала мыслями где-то в другом месте, зато после обеда был семейный скандал на тему «ревность и польская почта». Под вечер освежающая гроза с ливнем и великолепной барабанной дробью града дала длительное представление. Утомленной жестянке Оскара дозволили отдыхать и внимательно слушать.

Витрина

Долго, в течение очень долгого времени, а точнее сказать — до ноября тридцать восьмого, стоя со своим барабаном под разными подмостками, я с большим или меньшим успехом срывал манифестации, заставлял заикаться ораторов, преобразовывал марши, а также хоралы в вальсы и фокстроты.

Нынче, будучи частным пациентом специального лечебного учреждения, когда все описанное стало достоянием истории и разрабатывается пусть даже усердно, но как новости вчерашнего дня, я наконец сумел достичь необходимой дистанции между собой и моим барабанничаньем под трибунами. Ничто не может быть ошибоч-

ней, чем из-за шести либо семи сорванных манифестаций, трех либо четырех сбившихся с ноги на подходе и на проходе колонн провозгласить меня борцом Сопротивления. Говорят о духе Сопротивления, об очагах Сопротивления. Сопротивление можно даже сделать чисто внутренним, и тогда это называется: внутренняя эмиграция. Не говоря уже о тех библейской твердости мужах чести, которые за недостаточное затемнение окон спальни во время войны получили разнос от стража военно-воздушной обороны и уплатили штраф, а теперь называют себя борцами Сопротивления, мужами Сопротивления.

Попытаемся еще раз заглянуть под сценические площадки Оскара. Оскар ли задавал ритм на своем барабане? Брал ли он по совету своего наставника Бебры действие в собственные руки и заставлял народ отплясывать перед трибунами? Расстроил ли он замысел Лёбзака, столь языкастого, прошедшего огонь, воду и медные трубы гауляйтера по идеологии? Сорвал ли он в августе тридцать пятого года, в то воскресенье, когда полагался обед из одного блюда, первый раз, а потом и еще несколько раз, манифестацию в коричневых тонах при помощи хоть и бело-красного, но отнюдь не польского барабана?

Да, вам придется признать, все это я сделал. Но можно ли утверждать, что я, пациент специального лечебного учреждения, стал из-за этого борцом Сопротивления? На этот вопрос я отвечу отрицательно, прошу также и вас, отнюдь не являющихся пациентами специального лечебного учреждения, видеть во мне не более чем чудаковатого человека, который из сугубо личных и вдобавок эстетических соображений, да и приняв близко к сердцу наставления своего учителя Бебры, отверг цвет и покрой мундиров, ритм и громкость принятой на трибунах музыки и лишь поэтому с помощью обыкновенной детской игрушки пробарабанил своего рода протест.

В те времена с людьми перед рядами трибун и на них можно было совладать при посредстве жалкого барабана, и скажу вам честно: я до совершенства довел свой номер, равно как и разрезание голосом стекол на расстоянии. Я барабанил не только против коричневых манифестаций. Оскар сидел также под трибунами у красных и у черных, у скаутов и у молодых католиков в салатных рубашках, у свидетелей Иеговы и у союза Кифхойзер, у вегетарианцев и у младополяков из движения ультранационалистов. Что бы они ни собирались пропеть, протрубить, вознести в молитве, возвестить миру, — мой барабан умел лучше, чем они.

Итак, мое дело есть дело разрушителя. И то, что я не мог одолеть барабаном, я убивал голосом, почему наряду с мероприятиями, проводимыми при свете дня и направленными против трибунной симметрии, я приступил также к ночной деятельности: зимой тридцать шестого — тридцать седьмого года я разыгрывал искусителя. Первые уроки в науке искушения ближних своих я получил от бабушки Анны Коляйчек, которая той суровой зимой открыла ларек, иными словами: в своих четырех юбках она сидела за рыночным прилавком и жалобным голосом предлагала к празднику: «Свежие яечки, маслицо желтенькое и гусятки, не жирны, не постны!» Базарные дни бывали по вторникам. Она приезжала из Фирека по узкоколейке, снимала перед самым Лангфуром валенки, надетые на дорогу, меняла их на бесформенные галоши, продевала руки в обе корзины и топала на Банхофштрассе к своему прилавку, где висела табличка «Анна Коляйчек, Биссау». Ах, как дешевы были тогда яйца! За гульден можно было купить целых полтора десятка, а кашубское масло стоило дешевле, чем маргарин. Моя бабушка стояла между двух рыбных торговок, которые наперебой выкликали: «А вот кому камбалы!» и «Треска-тресочка, подходи!» Благодаря морозу масло каменело, яйца не портились, рыбья чешуя превращалась в тончайшие бритвенные лезвия, а одноглазый человек по имени Швердфегер получал работу и, соответственно, заработок: он разогревал кирпичи над открытым костерком из древесного угля, после чего, завернув их в газетную бумагу, выдавал напрокат базарным торговкам.

Моя бабка наказывала Швердфегеру каждый час подсовывать ей под юбки горячий кирпич, Швердфегер производил эту операцию железным заступом. Он совал под слегка приподнятые юбки дымящийся сверток — разгрузочное движение, затем погрузочное, — и заступ Швердфегера с почти остывшим кирпичом выползал из-под бабкиных юбок.

Ах, как я завидовал этим накапливающим и раздающим тепло кирпичам! Я и сегодня мечтаю теплым кирпичом лежать под юбками у своей бабушки, чтоб меня снова и снова меняли на меня же. Вы, пожалуй, спросите: а чего ищет Оскар под юбками у своей бабушки? Уж не хочет ли он в подражание своему деду Коляйчеку надругаться над старой женщиной? Или, может, он ищет забвения, родину, завершающую нирвану?

И Оскар отвечает: Африку искал я у нее под юбками, возможно, Неаполь, который, как известно, надо увидеть. Там воедино сливались потоки, там проходил водо-

раздел, там дули особые ветры, но могло царить и безветрие, там шумели дожди, но человеку там было сухо, там корабли становились на якорь, а может, и выбирали якоря, там рядом с Оскаром восседал Господь Бог, который всегда любил тепло, там черт начищал свою подзорную трубу, а ангелочки играли в жмурки; под юбками у моей бабушки всегда стояло лето, даже когда горели свечи на рождественской елке, даже когда я отыскивал в саду пасхальные яички или праздновал День всех святых. Нигде более я не мог жить так спокойно и в полном соответствии с календарем, как под юбками у своей бабушки.

Однако бабушка не пускала меня к себе в базарный день, да и вообще пускала очень редко. Я сидел рядом с ней на ящике, ее рука заменяла мне источник тепла, я глядел, как приходят и уходят кирпичи, и учился у бабушки на искусителя. Она выбрасывала старый кошелек Винцента Бронски на веревочке в утоптанный снег тротуара, до того испачканный посыпанным песком, что веревочку видели только мы с бабушкой.

Хозяйки приходили, уходили, покупать ничего не желали, хотя все было очень дешево, может, желали вообще получать это в подарок да еще и в придачу что-нибудь, ибо вот одна дама нагнулась за подброшенным кошельком Винцента, уже коснулась кожи пальчиками, но тут бабушка подтаскивала к себе удочку со слегка смущенной милостивой госпожой, прямо к своему ящику подтаскивала она хорошо одетую рыбку и была при этом само дружелюбие: «Ну, мадамочка, маслица не желаете, желтенькое, как золото, а то яечки, полтора десятка за гульден?»

Таким манером Анна Коляйчек распродавала свои натуральные продукты. Я тоже постиг магию искушения, не того искушения, которое заманивало четырнадцатилетних оболтусов в подвал с Сузи Катер, чтобы поиграть там во врача и больного. Меня это не искушало, от этого я уклонялся, после того как ребятня из нашего дома, Аксель Мишке и Нухи Эйке как производители вакцины, а Сузи Катер как врач однажды сделали меня пациентом и заставили глотать лекарство, в котором хоть и не было столько песка, как в супе из кирпичной крошки, зато оно оставляло по себе вкус тухлой рыбы. Нет, мое искушение было почти бестелесным и действовало на расстоянии от партнера.

Много спустя после того, как стемнеет, через час или два после того, как закроются лавки, я ускользал от матушки и от Мацерата. И занимал место посреди зимней ночи. На тихих, почти безлюдных улицах, в укрытых от ветра подъездах я наблюдал расположенные напротив витрины гастрономических магазинов, галантерейных лавок, вообще всех магазинов, выставивших на обозрение ботинки, часы, драгоценности, словом, все удобное и желанное. Далеко не каждая витрина была освещена. Я даже предпочитал те лавки, что предлагали свой товар в стороне от уличных фонарей, ибо свет привлекает всех, даже и самых заурядных, тогда как полумрак замедляет шаги избранных.

Меня не интересовали люди, которые на ходу, мельком бросали взгляд в ярко освещенную витрину, причем скорее на ценник, чем на товар, или те, кто проверял в зеркальном стекле, не криво ли сидит шляпа. Нет, клиенты, которых я дожидался то в сухой безветренный мороз, то за пляской снежных хлопьев, под густым беззвучным снегопадом или под ясной луной, растущей вместе с морозом, мои клиенты замирали перед витриной как по команде и не шарили долго глазами по выкладке, а, напротив, через короткое время либо сразу устремляли взгляд на один-единственный предмет.

И замысел мой был замыслом охотника. Чтобы осуществить его, требовалось терпение, хладнокровие, свободный и острый глаз. Лишь при наличии всех этих предпосылок моему голосу дозволялось бескровным и безболезненным способом подстрелить дичь, соблазнить дичь — но на что?

На кражу: ибо своим беззвучным криком я как раз на уровне нижнего ряда товаров, а если удастся, то прямо напротив желанного предмета вырезал круглую дыру, последним взлетом голоса заталкивал вырезанный круг внутрь витрины, так что можно было услышать приглушенное звяканье, которое, однако, не было звяканьем разбитого стекла, — можно было услышать, но только не мне. Слишком далеко стоял Оскар, но вот молодая женщина с кроличьим мехом на воротнике коричневого, наверняка уже лицованного зимнего пальто, она могла услышать и увидеть круглый вырез, она вздрогнула всем своим кроличьим мехом, хотела уйти прочь, по снегу, но не ушла, может быть, потому, что валил снег, а еще потому, что при снегопаде, если только он достаточно густой, все дозволено. И она все оглядывалась, сердясь на снежные хлопья, оглядывалась, словно за этими хлопьями не было других хлопьев, все еще оглядывалась, когда ее правая рука вылезла из муфты, тоже кроличьей. Но потом она больше не оглядывалась, а просто сунула руку в круглую дыру, сперва отодвинула в сторону стекло, которое упало как раз на вожделенный предмет, вынула через дыру сперва одну матово-черную туфлю, потом — левую, не поцарапав каблук,

не порезав руку об острые края дыры. Туфли исчезли в правом и левом карманах пальто. Одно мгновение продолжительностью в пять снежных хлопьев Оскар мог видеть приятный, но не слишком выразительный профиль, уже подумал было, что это чудесным образом оживший манекен из торгового дома Штернфельд, но тут она растворилась в снежной пелене, еще раз возникла в желтом свете ближайшего фонаря и скрылась из светового круга, то ли недавно вышедшая замуж молодая женщина, то ли оживший манекен.

Мне же после проделанной работы — а ожидать, подкарауливать, не иметь возможности барабанить и, наконец, резать пением и оттаивать замерзшее стекло было работой, и работой нелегкой, — не оставалось ничего другого, кроме как подобно все той же воровке, но без ее добычи и с душою, столь же воспаленной, сколь и озябшей, уйти домой.

Не всегда мне удавалось, как в изложенном выше образцовом случае, завершить столь несомненным успехом уловки совращения. Вершиной моих честолюбивых замыслов было превращение парочки влюбленных в парочку воришек. Иногда оба не хотели, иногда он уже протягивал руку, а она тянула его назад, или, напротив, она проявляла должную смелость, а он пасовал и хныкал, в результате она повиновалась, но потом начинала его презирать. А один раз я совращал перед витриной парфюмерного магазина одну парочку, казавшуюся из-за снегопада совсем уж юной, он изображал героя и похитил одеколон. Она хныкала и изъявляла готовность отказаться от всех ароматов мира. Все равно он хотел, чтобы она благоухала, и смог утвердить свою волю до ближайшего фонаря. Там же эта юная особа с вызывающей откровенностью, словно мне назло, поднялась на цыпочки и целовала его до тех пор, пока он не побежал по собственным следам обратно и не вернул витрине похищенное.

Точно так же получалось у меня порой с пожилыми господами, от которых я ожидал даже большей прыти, чем сулил их молодцеватый шаг в зимней ночи. Благоговейно останавливались они перед магазином сигар, уносились мыслями куда-то в Гавану, в Бразилию, а то на острова Бриссаго, и когда мой голос, как по мерке, производил надрез, после чего вырезанный кусок аккуратно шлепался на коробку «Черной мудрости», в таких господах словно бы защелкивался перочинный нож. Они поворачивали и, размахивая тростью, пересекали улицу, пробегали мимо меня и моей подворотни, меня не замечая, и давали возможность Оскару усмехнуться над смятенным выражением стариковского лица, как бы искаженного усилиями дьявола, впрочем, к его усмешке примешивалась легкая озабоченность, ибо все эти господа, чаще всего преклонных лет любители сигар, обливались то холодным, то горячим потом, короче, особенно при неустойчивой погоде, рисковали серьезно простудиться.

Страховым компаниям пришлось той зимой выплатить изрядные суммы по большей части застрахованным от взломов магазинам нашего пригорода. Пусть даже я ни разу не доводил дело до крупных грабежей, намеренно вырезая дыры такого размера, что из витрины можно было вытащить один, ну от силы два предмета, случаи, именуемые «кража со взломом», участились до такой степени, что криминальная полиция просто сбилась с ног, хотя все равно пресса бранила ее за бездеятельность. С ноября тридцать шестого до марта тридцать седьмого года, когда полковник Коц образовал в Варшаве правительство национального единства, набралось шестьдесят четыре попытки и двадцать восемь успешных хищений подобного рода. Правда, служащим полиции либо удавалось снова отобрать добычу у части этих пожилых женщин, франтоватых приказчиков, горничных и учителей на пенсии, которые не были ворами по призванию, либо этих неквалифицированных витринных мародеров на другой день после того, как предмет их вожделений обеспечил им бессонную ночь, осеняла идея сходить в полицию с повинной: «Ах, ах, простите меня, больше это не повторится. Просто в стекле вдруг возникла дыра, когда же я опомнился от испуга, а разбитая витрина уже осталась за три квартала от меня, вдруг выяснилось, что в левом кармане моего пальто лежит пара превосходных и наверняка очень дорогих, если не сказать вообще бесценных, кожаных перчаток».

Поскольку полиция в чудеса не верит, всех пойманных, даже тех, кто сам пришел с повинной, препровождали в тюрьму на срок от одного до двух месяцев.

Мне же в ту пору тоже доводилось сиживать под домашним арестом, ибо матушка наверняка подозревала, хотя благоразумно не признавалась в том ни себе самой, ни тем более полиции, что мой, более сильный, чем стекло, голос был каким-то боком причастен к этой преступной игре.

А вот Мацерату, который, изображая из себя мужа чести, учинил мне допрос, я не сказал ни словечка; я со все большей ловкостью прикрывался своим жестяным барабаном и обликом недоразвитого трехлетки.

— Во всем виноват тот лилипут, который поцеловал нашего Оскархена в лоб, — снова и снова восклицала матушка после таких допросов, — чуяло мое сердце, что он

недаром его поцеловал, ведь раньше Оскар был совсем не такой.

Должен признать, что господин Бебра все время продолжал в какой-то мере воздействовать на меня. Ведь даже и домашние аресты не могли удержать меня от того, чтобы при удачном стечении обстоятельств без спросу отлучиться на часок, который давал возможность пропеть в витринном стекле пресловутое круглое отверстие и сделать исполненного надежд молодого человека, засмотревшегося на витрину, обладателем винно-красного галстука из чистого шелка.

Если вы спросите меня: не само ли зло повелевало Оскару усилить соблазн, который и без того исходил от ослепительно чистой витрины, с помощью отверстия величиной в ладонь, я буду вынужден ответить: да, само зло. Это было злом хотя бы потому, что я стоял в темных подъездах, а подъезд, как всем должно быть известно, есть излюбленное местопребывание зла. С другой стороны, отнюдь не желая умалить зло моих искушений, сегодня, когда у меня нет более ни возможности, ни желания вводить кого-либо во искушение, я обязан сказать себе и своему санитару Бруно:

— Оскар, ты не просто утолял малые и средние пожелания зимних фланеров, влюбленных в предмет своей мечты, ты вдобавок помогал людям перед витринами познать самих себя. Ни одна солидная и элегантная дама, ни один добропорядочный дядюшка, ни одна престарелая, но сохранившая свежесть с помощью веры девица никогда не признали бы в себе воровских задатков, когда б твой голос не подбил их на воровство, и сверх того — не посодействовал перевоспитанию горожан, готовых ранее в каждом маленьком и неудачливом воришке видеть подлого и опасного негодяя.

После того как я из вечера в вечер подкарауливал его, а он трижды отказывался от совершения кражи, прежде чем сдаться и стать так никогда и не пойманным вором, доктор Эрвин Шолтис, прокурор и внушающий страх обвинитель при Верховном суде, сделался, по слухам, снисходительным, кротким и почти человечным в своих приговорах юристом, потому что принес жертву мне, маленькому полубогу воров, и похитил кисточку для бритья из натуральной барсучьей щетины.

В январе тридцать седьмого я долго мерз напротив ювелирного магазина, который, несмотря на укромное местоположение на аккуратно обсаженной кленами пригородной аллее, был весьма известен и пользовался хорошей репутацией. Перед витриной с украшениями и часами появлялась, правда, кой-какая дичь, которую я без раздумий и немедля подстрелил бы перед всякой другой витриной — с дамскими чулками, велюровыми шляпами, бутылками ликера.

Но украшения оказывают воздействие на человека; он становится разборчив, неспешно следует он за бегом бесконечных цепочек, измеряет время не по минутам, а по возрасту жемчужин, исходит из того, что жемчужное ожерелье переживет шею, что исхудает запястье, но отнюдь не браслет, что порой в захоронениях удавалось обнаружить кольца, внутри которых не сохранилось пальца; короче, одного созерцателя витрин признают чересчур кичливым, другого чересчур мелкотравчатым, чтобы унизывать его драгоценностями.

Витрина ювелира Банземера не была перегружена товаром. Несколько изысканных часов швейцарской ручной сборки, россыпь обручальных колец на голубом бархате, в центре выкладки — шесть или, верней, семь изысканнейших экспонатов: завившаяся в три кольца, сработанная из разноцветного золота змейка, чью филигранно отделанную головку украшали, придавая ей особую ценность, топаз, два бриллианта и, вместо глаз, два сапфира. Вообще-то я не люблю черный бархат, но змейке господина Банземера пристал этот фон, равно как и серый бархат, который благодаря умопомрачительно простым, привлекающим своей пропорциональной формой серебряным украшениям излучал пикантное спокойствие. Кольцо, державшее столь изящную гемму, что по нему сразу было видно: оно выберет лишь руки столь же изящные, само будет становиться все изящнее и под конец достигнет той высокой степени бессмертия, которая дарована лишь драгоценностям. Цепочки, которые нельзя носить невозбранно, цепочки, навевающие усталость, и, наконец, на изжелта-белой бархатной подушечке, упрощенно повторявшей формы дамской шеи, — легчайшее колье. Изысканное членение, причудливая оправа — ажурная паутина. Что за паук исторг из себя эту золотую нить, чтобы в нее угодили шесть малых и один большой рубин? И где он сидел, этот паук, чего дожидался? Уж, верно, не новых рубинов, а скорее кого-нибудь, чей взгляд притянули бы угодившие в сеть рубины, напоминая затвердевшие капли крови, другими словами: сообразуясь с собственным настроением либо с настроением паука, плетущего золотую нить, кому должен был я преподнести это колье?

Восемнадцатого января тридцать седьмого года, на скрипучем, утоптанном снегу, в ночь, которая сулила еще больше снега, столько снега, сколько может лишь пожелать себе тот, кто хотел бы все отдать во власть снега, я увидел, как Ян Бронски

правее и выше моего наблюдательного поста пересекает улицу, проходит, не поднимая глаз, мимо ювелирного магазина, потом то ли просто мешкает, то ли останавливается, как по приказу, поворачивает — или что-то поворачивает его, — и вот уже Ян стоит перед витриной между укрытыми белой ношей безмолвными кленами.

Изящный, всегда чуть вызывающий жалость, на службе — смиренно-покорный, в любви — тщеславный, равно глупый и помешанный на красоте Ян Бронски, который жил плотью моей матушки, который — во что я до сих пор верю, в чем я до сих пор сомневаюсь — произвел меня на свет от имени Мацерата, Ян стоял теперь в своем зимнем пальто, элегантном, словно из ателье варшавского портного, стоял перед витриной, обратясь в памятник самому себе, таким окаменелым казался он мне, таким живым символом, устремив взгляд — подобно Парсифалю, который вот так же стоял в снегу и видел на снегу кровь, — на рубины золотого колье.

Я мог бы отозвать, отбарабанить его прочь. Ведь мой барабан был при мне. Я ощущал его под пальто. Всего-то и надо было расстегнуть одну пуговицу, и он бы сам выскочил на мороз. Сунь я руки в карманы — и палочки оказались бы у меня в руках. Ведь и охотник Губерт не стрелял, когда на мушке у него оказался совершенно необычный олень. И Савл сделался Павлом. И Аттила повернул вспять, когда папа Лев воздел палец с перстнем. Я же выстрелил, не перевоплотился, не повернул вспять, я остался охотником Оскаром, я желал поразить цель, я не расстегнул пуговицу, не выставил барабан на мороз, не скрестил палочки на белой по-зимнему жести, не превратил январскую ночь в барабанную, а вместо того беззвучно закричал, закричал, как, может быть, кричит звезда или рыба в самой глубине, сперва вторгся своим криком в структуру мороза, чтобы наконец выпал свежий снег, а уж потом закричал в стекло, в толстое стекло, в дорогое стекло, дешевое стекло, в прозрачное стекло, в разъединяющее стекло, в стекло между двумя мирами, и в девственном, в мистическом, в витринном стекле между Яном Бронски и рубиновым колье я выкричал отверстие по известному мне размеру Яновых перчаток и предоставил стеклу упасть, подобно откидной крышке, подобно небесным вратам, подобно вратам ада: и Ян не вздрогнул, Ян выпустил на свободу свою руку в тонкой лайке и дал ей из кармана пальто подняться в небо, и перчатка покинула ад, отъяла у неба — или у ада — колье, рубины которого пришлись бы к лицу любому ангелу, даже падшему, после чего он опустил пригоршню рубинов и золота в карман, продолжая, однако, стоять перед дырявым стеклом, хоть это и было чревато опасностью, хоть и не истекали больше кровью рубины, чтобы навязать единственное направление его — или Парсифалеву — взгляду.

О, Отец, Сын и Святой дух! С духом должно было что-то произойти, раз уж не произошло оно с Яном, отцом. И тогда Оскар, сын, расстегнул пальто, поспешно ухватился за барабанные палочки и воззвал на своей жести «Отец, отец!», пока Ян Бронски не обернулся, медленно, слишком медленно не перешел через улицу и не обнаружил в подворотне меня, Оскара.

Как прекрасно, что именно в тот миг, когда Ян все еще без выражения, но незадолго перед оттепелью взглянул на меня, начал падать снег. Он подал мне руку — руку, а не перчатку, которая прикасалась к рубинам, и молча, но без уныния, повел меня домой, где матушка уже обо мне беспокоилась, а Мацерат в своей обычной манере, с подчеркнутой строгостью, хотя едва ли всерьез, пригрозил мне полицией. Ян не дал никаких объяснений, не стал засиживаться и не пожелал играть в скат, хотя Мацерат для вящего соблазна уже поставил на стол пиво. Уходя, Ян погладил Оскара, но тот так и не понял, чего он взыскует — молчания или дружбы.

Немного спустя Ян преподнес это колье матушке. Явно догадываясь о происхождении колье, она носила его неподолгу, когда Мацерат уходил, либо для себя, либо для Яна, а может, и для меня.

Вскоре после войны я выменял это колье на черном рынке в Дюссельдорфе на дюжину американских сигарет «Лаки страйк» и кожаную папку.

Чуда не будет

Сегодня, лежа на кровати моего специального лечебного заведения, я часто с тоской вспоминаю о силе, которой тогда был наделен, о силе, которая, одолевая ночь и холод, заставляла таять морозные узоры, вскрывала витринные стекла и за руку подводила к ним похитителя.

Ах, как бы мне хотелось удалить стекло из глазка, помещенного в верхней трети моей двери с тем, чтобы Бруно, моему санитару, было сподручней наблюдать за мной.

Ах, как за год до водворения в эту лечебницу я страдал от бессилия своего голо-

са. Когда в стремлении к успеху я издавал свой крик на ночной улице, но успеха, однако ж, не имел, могло случиться, что я, ненавидящий всякое насилие, хватался за камень, избрав себе мишенью какое-нибудь кухонное окно на убогой окраинной улице Дюссельдорфа. С особой радостью я продемонстрировал бы что-нибудь эдакое Витлару, оформителю. Когда далеко за полночь я узнавал его, закрытого сверху шторами, снизу по красно-зеленым носкам за стеклом магазина мужской одежды на Кёнигсаллее либо — парфюмерного неподалеку от бывшей Тонхалле, я бы, хотя он и мой ученик или мог им стать, охотно разрезал для него стекло витрины, ибо до сих пор не знаю, как мне его называть, Иудой или Иоанном.

Витлар благородного происхождения, имя его Готфрид. Когда после постыдно тщетных певческих усилий я привлек к себе внимание оформителя легкой барабанной дробью по невредимому стеклу витрины, когда он на четверть часика вышел ко мне, поболтал со мной и посмеялся над своими оформительскими изысками, мне пришлось называть его Готфридом, ибо мой голос не сотворил того чуда, которое давало бы мне право наречь его Иудой или Иоанном.

Пение перед ювелирным магазином, сделавшее Яна Бронски вором, а мою матушку — обладательницей рубинового колье, на время положило конец моим вокальным упражнениям перед витринами с соблазнительным товаром. На матушку нашла набожность. По какой-такой причине? Связь с Яном Бронски, краденое колье, сладостные жизненные тяготы неверной жены сделали ее благочестивой, алчущей святости. А грех можно упорядочить наилучшим образом: по четвергам — встретиться в городе, маленького Оскара оставить у Маркуса, предпринять некоторые усилия, приносящие удовлетворение на Тишлергассе, отдохнуть в кафе Вайцке за кофе и пирожными, забрать сыночка у еврея, получить от него несколько комплиментов и в придачу почти задаром пакетик шелковых ниток, отыскать свой номер трамвая — номер пять, с улыбкой и витающими где-то далеко мыслями насладиться поездкой мимо Оливских ворот, по Гинденбургаллее, почти не заметить возле спортивного зала Майский луг, где Мацерат проводит свои воскресные утра, порадоваться объезду вокруг спортзала — до чего ж безобразно может выглядеть эта коробка, когда ты совсем недавно пережил нечто прекрасное, — еще поворот, теперь налево, и за пыльными деревьями Конрадова гимназия с гимназистами в красных шапочках, как красиво, ах, если бы и Оскархена украшала такая же красная шапочка с золотым «К», ему было бы уже двенадцать с половиной, и сидел бы он в четвертом классе, и скоро начал бы изучать латынь, и вел бы себя как настоящий «конрадист» — маленький, прилежный, хотя дерзковатый и заносчивый.

После железнодорожного переезда — на пути к рейхсколонии и школе Елены Ланг мысли госпожи Агнес Мацерат по поводу гимназии и упущенных возможностей для ее сыночка Оскара улетучиваются. Еще один поворот налево, мимо Христовой церкви с куполом-луковкой, мимо площади Макса Хальбе и кофейной лавки Кайзера, потом выйти, окинуть беглым взглядом витрины конкурентов и одолеть тяжелый путь по Лабесвегу, как одолевают крестный путь; подступающая досада, рядом — неполноценный ребенок, нечистая совесть, страстное желание повторить, с ненасытностью и с пресыщением, с неприязнью и добродушной симпатией к Мацерату — так одолевала моя матушка вместе со мной, с моим новым барабаном, с пакетиком почти дармовых ниток дорогу по Лабесвегу до лавки, до овсяных хлопьев, до керосина подле бочек с селедкой, к изюму, к кишмишу, миндалю, пряностям для пряников, пекарскому порошку от доктора Эткера, к «Персиль — он всюду Персиль», к порошку «Урбин — вот что вам надо», к Магги и Кнорру, к желудёвому кофе от Катрайнера и кофе Хаага, к постному маслу «вителло» и «пальмин», к уксусу от Кюне и к мультифруктовому мармеладу, к обеим жужжащим в разной тональности мухоловкам вела меня матушка, к мухоловкам, источавшим над нашим прилавком медово-сладкий запах и подлежащим в летние месяцы замене через каждые два дня; по субботам же матушка со столь же приторно-сладкой душой, которая и зимой, и летом, и вообще круглый год притягивала жужжащие на высоких и низких нотах грехи, ходила в церковь Сердца Христова, где исповедовалась у его преподобия Винке.

Как матушка водила меня с собой в город по четвергам и делала, так сказать, соучастником, так водила она меня и по субботам, через портал, на холодные католические плиты, засунув мне предварительно мой барабан под пуловер или под пальтишко, потому что без барабана я решительно не мог обойтись, без жести на животе я никогда бы не сумел осенить себя католическим крестом, коснувшись лба, груди и живота, и согнуть колено, словно надевая ботинки, и спокойно сидеть на отполированной церковной скамье в то время, как на переносице у меня медленно высыхает святая вода.

Церковь Сердца Христова запомнилась мне еще с моих крестин: тогда из-за языческого имени возникли известные трудности, но все-таки настояли на Оскаре, и Ян,

крестный отец, так и объявил о том в церковном портале. Далее его преподобие Винке трижды дунул мне в лицо, дабы изгнать из меня сатану, осенил крестом, возложил руку, посыпал солью и предпринял еще какие-то меры против сатаны. В самой церкви — очередная остановка перед собственно крестильницей. Покуда мне преподносили «Отче наш» и Символ веры, я вел себя спокойно. Но его преподобие счел уместным еще раз возгласить «Изыди, сатана!» и полагал, будто отныне отверзает мне — который и без того все знал — органы чувств, прикоснувшись к носу и ушам Оскара. Затем он возжелал услышать все это громко и отчетливо и вопросил: «Противостанешь ли ты сатане? И делам его? И пышности его?» Но еще прежде чем я успел отрицательно помотать головой, ибо даже и не думал отрекаться, Ян трижды вместо меня произнес: «Противостану!»

И его преподобие помазало мне грудь и между лопатками, хоть я и не испортил дальнейших отношений с дьволом. Перед крестильницей еще раз провозглашение Символа веры, потом, наконец, троекратное окропление водой, помазание темечка святым мирром, белые одежды — дабы сажать пятна, свеча для темных дней, отпущение — Мацерат расплачивается, — и когда Ян вынес меня через портал церкви Сердца Христова, где при погоде «ясно, временами облачно» нас дожидалось такси, я спросил сатану во мне : «Ну как, ты в порядке?» На что сатана, подпрыгнув, шепнул: «А ты обратил внимание на церковные окна, Оскар? Кругом стекло, сплошное стекло».

Церковь Сердца Христова была сооружена в годы грюндерства, а потому с точки зрения стиля отдавала неоготикой. Но поскольку сложили ее из быстро темнеющего кирпича, а обшитый медью шпиль в два счета покрылся традиционной патиной, различия между староготическими кирпичными церквами и новой кирпичной готикой были доступны и несносны лишь взгляду знатока. А исповедовались что в старых, что в новых церквах на один манер. Подобно его преподобию Винке, сотни других преподобий по субботам после закрытия контор и магазинов садились в исповедальню и прижимали к блестящей почернелой решетке волосатое пастырское ухо, в то время как паства силилась сквозь зазоры решетки впустить в пастырское ухо ту нить грехов, на которую — жемчужиной к жемчужине — нанизывалось греховно-дешевое украшение.

Покуда матушка сквозь слуховой канал его преподобия в строгой последовательности доводила до сведения высших инстанций, что она сделала и что упустила, что случалось в мыслях, словах и делах, я, которому не в чем было исповедоваться, сползал со слишком истертой церковной скамьи и становился на каменные плиты.

Не скрою, что и плиты в католических церквах, и запах католической церкви, и весь католицизм даже и по сей день влекут меня, как влечет, к примеру, рыжеволосая девушка, хоть я и не прочь бы перекрасить ее рыжие волосы, а католицизм внушает мне всевозможные богохульства, которые снова и снова напоминают, что я пусть и напрасно, но тем не менее навек крещен в католическую веру. Порой, во время банальнейших занятий, скажем за чисткой зубов либо даже испражняясь, я ловлю себя на том, что снабжаю комментариями литургию, например: на святой мессе обновляется кровопролитие Христово, дабы кровь текла ради твоего очищения, вот чаша крови его, вино становится истинным и реальным, едва прольется кровь Христова, истинная кровь Христова с нами, благодаря созерцанию святой крови душа окропляется кровью Христовой, драгоценная кровь, омытая кровью, при претворении течет кровь, запятнанный кровью плат, голос крови Христовой пронзает все небеса, кровь Христова источает аромат пред ликом Господним.

Вы, верно, согласитесь, что в известном смысле я сохранил католические интонации. Раньше я не мог даже просто дожидаться трамвая, не помянув при этом Деву Марию. Я называл ее — любвеобильная, блаженная, благословенная, дева всех дев, мать милосердия, о ты, к святым причисленная, ты, достойная любых почестей, ты, породившая того, о сладостная мать, девственная мать, прославленная дева, позволь мне наслаждаться сладостью имени Иисуса, как ты наслаждаешься им в глубине твоего материнского сердца, это воистину достойно и праведно есть, подобающе и целебно, о Царица благословенная, благословенная...

Временами, особенно когда матушка и я каждую субботу посещали церковь Сердца Христова, это словечко «благословенная» так услаждало и отравляло меня, что я признателен сатане, который внутри меня претерпел обряд крещения и снабдил меня противоядием, дававшим мне возможность хоть мысленно и богохульствуя, но все же гордой поступью вышагивать по плитам церкви Сердца Христова.

Иисус, чье сердце и дало имя церкви, многократно появлялся, помимо святых даров, благодаря изобразительному искусству, на пестрых станциях крестного пути, трижды — объемно и вместе с тем в цвете и в различных позах.

Например, один был из раскрашенного гипса. Он стоял с длинными волосами, в

одеждах прусской синевы и в сандалиях на золоченом цоколе. Он раздирал одежды у себя на груди, и посредине грудной клетки, вопреки всем законам природы, демонстрировал помидорно-красное, в ореоле, истекающее стилизованной кровью сердце, дабы церковь оправдывала свое название.

При первом же знакомстве с разверстогрудым Иисусом, я должен был констатировать, сколь тягостно совершенным было сходство Спасителя с моим крестным, он же дядя, он же предполагаемый отец Ян Бронски. Эти наивно-самоуверенные голубые глаза мечтателя! Этот цветущий, вечно готовый скривиться в плаче рот для поцелуев, эти брови, ставшие средоточием мужской скорби. Округлые полнокровные щеки, жаждущие поругания. У обоих было то соблазняющее женщин на ласку глуповатое лицо для пощечин, вдобавок по-женски усталые, холеные и чурающиеся работы руки, которые выставляли напоказ свои язвы, как работающий при княжеском дворе ювелир — свои шедевры. Меня терзали нарисованные кисточкой на Иисусовом лице, по-отцовски не понимающие меня глаза Яна. Ведь и у меня был тот же самый голубой взгляд, который мог восхищать, но не мог убедить.

От Сердца Христова Оскар проследовал в правый неф, спеша вдоль станций крестного пути, от первой, где Иисус взваливает на себя крест, до седьмой, когда он вторично падает под тяжестью креста, к главному алтарю, над которым висел очередной, тоже скульптурный, Иисус. Впрочем, этот то ли от усталости, то ли чтобы лучше сосредоточиться, глаза закрыл. Ну и мускулы были у этого Иисуса! Атлет с фигурой десятиборца заставил меня тотчас забыть Яна-Сердце-Христово, и всякий раз, когда матушка исповедовалась у его преподобия Винке, я, благоговейно созерцая гимнаста, собирался с мыслями перед главным алтарем. Поверьте слову, я молился! О мой сладостный учитель гимнастики, обращался я к нему, о спортсмен всех спортсменов, о чемпион по висению на кресте, хотя и не без помощи дюймовых гвоздей. И ведь он ни разу не дрогнул! Вечный свет дрожал, он же выполнял упражнение, зарабатывая максимальное количество очков. Тикали хронометры. Замеряли время. В ризнице грязноватые пальцы служки уже начищали заслуженную спортсменом золотую медаль. Но Иисус занимался этим видом спорта не ради почестей. Вера мне вспомнилась, и я, насколько это позволяло какое-нибудь из моих колен, преклонял его, выбивая крест на своем барабане, и пытался увязать слова типа «благословенный» и «скорбящий» с именами Джесси Оуэна и Рудольфа Харбига, героев прошлогодней берлинской олимпиады, но это мне не всегда удавалось, потому что тогда мне пришлось бы назвать поведение Иисуса непорядочным по отношению к разбойникам. Поэтому я его просто-напросто дисквалифицировал, повернул голову влево и, исполнясь новой надежды, узрел там третье скульптурное изображение небесного олимпийца.

«Позволь мне вознести молитву не ранее, чем я трижды узрю тебя», — пролепетал я, снова ощутил подметками каменные плиты, использовал шахматный узор пола, чтобы попасть к левому алтарю в боковом приделе, и на каждом шагу чувствовал: он смотрит тебе вслед, святые смотрят тебе вслед, Петр, которого они распяли головой вниз, Андрей, которого они прибили к косому кресту — отсюда и Андреевский крест. А кроме того, существует и Греческий крест наряду с Латинским или Страстным крестом. Кресты с поперечинами, кресты с перекладинами на каждом конце и ступенчатые кресты изображают на тканях, картинах и книгах. Якорный крест, крест с перекладинами и Клеверный крест мне доводилось встречать в скульптурных изображениях. Очень хорош крест с лилиями, очень желанен Мальтийский, запрещен крест-свастика, Деголлевский крест, Лотарингский крест, в морских сражениях Антониев крест называют Crossing the T. На цепочке висит крест с ушком, безобразен крест-вилка, по-папски выглядит крест папы, а русский крест называют также Лазарев крест. Ну, есть еще и Красный Крест. Синие, хоть и не от спирта, скрещиваются перекладины синего креста, желтый крест отравит тебя, один крейсер потопит другой, крестовые походы обратят меня в другую веру, пауки-крестовики пожирают друг друга, на перекрестках я перекрещиваюсь с тобой, крест-накрест, перекрестный допрос, крестословица призывает: разгадай меня. Паралич крестца, я свернул, оставил крест позади, повернулся спиной к спортсмену на кресте, рискуя, что он пнет меня ногой в крестец, ибо я приближался к Деве Марии, держащей мальчика Иисуса на правом своем колене.

Оскар сидел перед левым боковым алтарем в левом приделе. У Марии было такое же выражение лица, какое, вероятно, бывало у его матушки, когда семнадцатилетней девушкой, помогая в мелочной лавке, в Троиле, она не имела денег на кино, но взамен углубленно созерцала афиши с Астой Нильсон.

Однако Мария не занималась Иисусом, она разглядывала другого мальчика у своего правого колена, которого я во избежание дальнейших ошибок сразу назову Иоанном Крестителем. Оба мальчика были моих размеров. Иисусу, если уж быть

совсем точным, я бы дал сантиметра на два больше, хотя согласно писанию он был моложе Крестителя. Скульптора явно тешила возможность представить трехлетнего Спасителя голым и розовым. На Иоанна, поскольку он впоследствии удалился в пустыню, была накинута косматая шкура шоколадного цвета, прикрывавшая половину его груди, живот и поливалочку.

Оскар предпочел бы находиться возле главного алтаря или уж не мудрствуя лукаво возле исповедальни, вместо этих двух мальчиков, не по летам разумных, а вдобавок до ужаса на него похожих. У них, конечно же, были голубые глаза и его каштановые волосы. Не хватало только, чтобы цирюльник-ваятель снабдил обоих стрижкой под бобрик, как у Оскара, срезав предварительно спиральки локончиков.

Впрочем, я не хочу без нужды мешкать возле Крестителя, который левым указательным пальцем тычет в младенца Иисуса, словно намерен начать считалку: «Аты-баты, шли солдаты...» Не желая участвовать в этой считалке, я сразу называю Иисуса по имени и прихожу к выводу: двойняшка! Однояйцевый близнец! Вполне мог быть моим братом. У него мой рост, моя фигура, моя поливалка, на ту пору еще не знавшая иного применения. Моими глазами кобальтовой синевы — глазами Яна Бронски он взирал на мир и демонстрировал — что меня больше всего раздражало — даже мою жестикуляцию.

Мой двойник вздымал обе длани и сжимал их в кулак таким манером, что туда можно было без труда что-нибудь засунуть — мои барабанные палочки, к примеру; догадайся скульптор это сделать, прикрепи он вдобавок к розовым бедрам мой красно-белый барабан, и из Иисуса получился бы я, воплощенный Оскар, который сидит на коленях у Богородицы и сзывает паству барабанным боем. Есть многое на свете, друг Горацио, во что — сколь ни свято оно в нашем представлении — лучше не вникать.

Три ступени, влекущие за собой ковровую дорожку, вели к серебристо-зеленому облачению Девы, к шоколадного цвета косматой звериной шкуре на плечах Иоанна и к младенцу Иисусу цвета сырокопченого окорока. Был там алтарь Марии с чахоточными свечками и цветами на любые цены. У зеленой Богородицы, у коричневого Иоанна, у розового Иисуса к затылку были прилеплены нимбы с тарелку величиной. Сусальное золото увеличивало стоимость тарелок.

Не будь перед алтарем этих трех ступеней, я никогда бы туда не полез. Но ступени, но дверные ручки, но витрины вводили тогда Оскара в соблазн. Даже и сегодня, когда он, казалось бы, вполне может довольствоваться казенной кроватью, они не оставляют его равнодушным.

Вот он и позволял каждой ступеньке соблазнять себя на очередную, все это время не сходя с дорожки. От алтаря Марии статуи были совсем близко и дали Оскару возможность костяшками пальцев простукать, отчасти пренебрежительно, отчасти благоговейно, всю троицу. А его ногтям удалось произвести соскоб, который обнажает гипс под краской. Складки вокруг Девы закручивались, ниспадали до кончиков ее пальцев на гряде облаков. Чуть намеченная голень Девы наводила на мысль, что сперва скульптор лепил плоть, а уж затем драпировал ее складками. Когда Оскар внимательнейшим образом ощупал поливалочку младенца Иисуса, по ошибке не обрезанную, затем погладил и осторожно стиснул, словно хотел привести ее в движение, он отчасти с удовольствием, отчасти с непривычным смятением ощутил свою собственную поливалочку, а потому оставил в покое поливалочку Иисуса, чтобы за это его собственная тоже оставила его в покое.

Ну, обрезанный или необрезанный — этим я пренебрег, извлек из-под пуловера барабан, снял его с шеи, перевесил, не повредив при этом нимб, на шею Иисусу. При моих размерах это оказалось не так-то просто. Пришлось взбираться на самое скульптуру, чтобы уже с гряды облаков, заменяющей постамент, наделить Иисуса инструментом.

Оскар совершил это не по случаю своего первого посещения церкви после крестин, то есть не в январе тридцать седьмого года, а на Страстной неделе того же года. Его матушка всю зиму прилагала усилия, чтобы при посредстве исповеди разобраться в своих отношениях с Яном Бронски. А потому у Оскара оказалось вдоволь времени и вдоволь суббот, чтобы продумать свою запланированную акцию, проклясть ее, оправдать, спланировать заново, осветить со всех сторон и в результате, отвергнув все предшествующие планы, просто-напросто осуществить ее с помощью молитвы-беседы в Страстной понедельник.

Поскольку матушка изъявила желание исповедаться еще до пика пасхальной суеты, она вечером Страстного понедельника взяла меня за руку, повела через Лабесвег и угол новой базарной площади на Эльзенштрассе, потом — на Марienштрассе, мимо мясной лавки Вольгемута, свернула у Кляйнхаммерпарка налево, под путями,

по пешеходному тоннелю, где сверху всегда сочилось что-то желтое и мерзкое, — к церкви Сердца Христова, в церковь Сердца Христова, что как раз напротив железнодорожной насыпи.

Пришли мы поздно. Всего лишь две старухи да робкий молодой человек дожидались перед исповедальней. И покуда матушка предавалась мыслям о своих грехах — она листала реестр грехов, как листают амбарную книгу, слюня большой палец, заполняя налоговую декларацию, — я выскользнул из объятий дубового сиденья и, стараясь не попадаться на глаза ни Сердцу Христову, ни спортсмену на кресте, шмыгнул к алтарю в левом приделе.

Хотя действовать следовало как можно быстрее, я не обошелся без Introitus [1]. Три ступени — Introibo ad altare dei[2]. К богу, который даровал мне радость с первых дней моего бытия. Снять барабан с шеи и, растягивая Kyrie[3], влезть на гряду облаков, не задерживаться у поливалки, даже, напротив, незадолго перед Gloria перевесить жестянку на Иисуса, острожнее с нимбом, вниз — с гряды, расслабление, отпущение, прощение, но до того еще надо сунуть палочки в сложенные как раз для этой цели руки Иисуса, одна ступенька, две, три, я возвожу очи горе, еще немного дорожки, наконец-то каменные плиты и молитвенная скамеечка для Оскара, который тотчас встал коленями на подушечку и, закрыв лицо сложенными руками барабанщика — Gloria in excelsis Deo[4] — мимо этих сложенных рук, все поглядывал на Иисуса и его барабан, дожидаясь чуда: будет он барабанить, или он не умеет барабанить, или ему нельзя барабанить, или он забарабанит, или он не настоящий Иисус, скорее уж Оскар настоящий Иисус, чем этот, если, конечно, он так и не станет барабанить.

Тот, кто хочет чуда, должен запастись терпением. Вот я и ждал, и поначалу делал это терпеливо, но, может, без должного терпения, ибо чем дольше я повторял слова: «Очи всех уповают на тебя», заменив, в соответствии с моими намерениями, глаза на уши, тем большее разочарование испытывал Оскар на своей молитвенной скамеечке. Правда, он предоставлял Богу разнообразные возможности: закрывал глаза, дабы тот скорей решился, пусть еще неумело, начать, поскольку за ним никто не наблюдает, но наконец после третьего «Верую», после Отец, Творец, зримый и незримый, Сына единородного, от Отца, истинный от истинного, зачатый, не сотворенный, он и отец — одно, через него, ради нас и во имя наше он сошел, принял облик, покинул, стал и даже был, внизу был он, погребен, воскрес, как сказано, вознесся, восседает одесную Бога, и вершит суд над, и судимы будут мертвые, несть конца, верую во... тот будет одновременно, рек устами, верую во единую святую католическую...

Нет, тут я ощущал только запах католицизма. О вере едва ли можно было говорить. Но и запах был мне ни к чему, я жаждал другого: я хотел услышать свою жесть, Иисус должен был кое-что ниспослать мне, маленькое негромкое чудо! Не обязательно становиться ему громом, с бегущим во всю прыть викарием Рашцейей, с его преподобием Винке, одышливо влекущим свои телеса по направлению к чуду, с протоколами — в епископат, в Оливу, с епископским докладом по направлению к Риму, нет, тут я не имел амбиций, и Оскар не хотел, чтобы его причислили к лику святых. А хотел он маленького, сугубо личного чуда, чтобы увидеть и услышать, чтобы раз и навсегда определить, как ему, Оскару, барабанить: за или против, чтобы во всеуслышание установить, кто из двух голубоглазых однояйцевых близнецов сохраняет на будущее право числиться Иисусом.

Я сидел и ждал. Меня тревожило, что матушка тем временем вошла, наверное, в исповедальню и уже миновала шестую заповедь. Старичок, который всегда ковыляет по церквам, проковылял мимо главного алтаря и, наконец, мимо того, что в левом приделе, приветствовал Богородицу с мальчиком, может, даже углядел барабан, но не понял, что это, а зашаркал дальше, старясь на ходу.

Время уходило, а Иисус все еще не ударил по барабану. С хоров я слышал голоса. Как бы они там не вздумали играть на органе, тревожился я. С них станется устроить предпасхальную репетицию, и тогда своим грохотом и громом они заглушат как раз начавшуюся тоненькую дробь младенца Иисуса.

Но они не стали играть на органе. Иисус не стал барабанить. Чуда не произошло, и я приподнялся с подушечки, хрустнув коленками, и потащился, смурый и недовольный, по ковровой дорожке, и влачился от ступеньки к ступеньке, хотя на сей раз не стал повторять те же молитвы, влез на облачную гряду, опрокинул при этом некоторое количество цветов по умеренным ценам, с целью изъять у этого дурацкого голыша свой барабан.

---

[1] Вводная молитва.
[2] К алтарю Господню хочу приблизиться *(лат.)*.
[3] Помилуй, Боже *(греч.)*.
[4] Слава в вышних Богу на земле *(лат.)*.

Сегодня я могу прямо сказать и повторяю снова и снова: я совершил ошибку, когда надумал учить его. Ну что меня побудило сперва отобрать у него палочки, оставив барабан при нем, чтобы этими палочками сперва едва слышно, далее — подобно нетерпеливому учителю наставить лже-Иисуса, наиграв что-нибудь, потом снова сунуть палочки ему в руки, чтобы он мог показать, чему выучился у Оскара.

Но прежде чем я успел, не щадя нимб, отобрать у самого тупого из всех учеников палочки и барабан, за спиной у меня возник его преподобие Винке — моя дробь заполнила церковь в высоту и в ширину, — за спиной у меня возник викарий Рашцейя, за спиной у меня возникла матушка, за спиной у меня возник старичок, и викарий дернул меня, и его преподобие шлепнул меня, и матушка оплакала меня, и его преподобие шепотом воззвал ко мне, и викарий упал на колени, вскочил с колен, отобрал у Иисуса палочки, с палочками еще раз упал на колени, вскочил — за барабаном, отнял у Иисуса барабан, повредил нимб Иисуса, задел поливалочку Иисуса, обломил кусочек облака и на коленях — еще раз на коленях — скатился назад по ступенькам, не пожелал вернуть мне барабан, сделал меня еще злей, чем я был, принудил меня лягнуть его преподобие, устыдить матушку, которая и в самом деле устыдилась, потому что я лягался, кусался, царапался, наконец вырвался от его преподобия, викария, матушки, старичка, очутился перед главным алтарем, почувствовал, как скачет во мне сатана, и услышал его голос, словно тогда при крестинах: «Оскар, — шептал сатана, — ты только взгляни, всюду окна и все из стекла, все сплошь из стекла».

И поверх спортсмена на кресте — а спортсмен даже и не дрогнул, спортсмен промолчал — я поразил своим пением три высоких окна апсиды, изображавших красным, желтым и зеленым на синем фоне двенадцать апостолов. Но ни в Марка, ни в Матфея я не метил. А метил я в голубя над ними, что стоял на голове и праздновал Троицу, и в Святого духа я метил, начал вибрировать, вступил своим алмазом в бой против птицы и — я ли был причиной? Или спортсмен, который был против, раз он не дрогнул? Или совершилось чудо, но никто того не понял? Они видели, как я дрожу и беззвучно устремляюсь в апсиду, все истолковали мое поведение — все, кроме матушки, — как молитву, хотя я просто хотел получить осколки; но Оскар сплоховал, его время еще не приспело. И я рухнул на плиты, и зарыдал в голос, потому что Иисус сплоховал, потому что Оскар сплоховал, потому что его преподобие и Рашцейя неправильно меня поняли, начали бормотать что-то о раскаянии. Не сплоховала только матушка. Она поняла мои слезы, хотя, казалось бы, должна радоваться, что дело обошлось без осколков.

И тут матушка взяла меня на руки, попросила викария вернуть барабан и палочки, пообещала его преподобию возместить убытки, в результате получила от них — я ведь не дал ей исповедаться до конца — отпущение. Оскару тоже перепало немножко благодати, но моему сердцу это ничего не говорило.

Покуда матушка на руках выносила меня из церкви, я считал по пальцам: сегодня — понедельник, завтра — Страстной вторник, среда, Чистый четверг, потом Страстная пятница — тут ему и конец, ему, который даже барабанить не умеет, который даже осколков для меня пожалел, который похож на меня и, однако, ненастоящий, который должен сойти в гроб, я же могу барабанить и барабанить дальше, но уже никогда не возжелаю чуда.

Угощенье на Страстную пятницу

Двоякие — вот подходящее слово, чтобы обозначить мои чувства между Страстным понедельником и Страстной пятницей. С одной стороны, я сердился на гипсового младенца Иисуса, который не захотел барабанить, с другой стороны — барабан все-таки оставался при мне. Если, с одной стороны, мой голос оказался бессилен против церковных окон, то, с другой стороны, Оскар при виде невредимого и пестрого стекла сохранил те остатки католической веры, которым еще предстояло подвигнуть его на изрядное количество отчаянных святотатств.

Но продолжим разговор об этой двоякости: пусть мне, с одной стороны, посчастливилось на обратном пути из церкви ради пробы разрезать пением какое-то мансардное окно, успехи моего голоса по отношению к повседневному усугубляли горькое сознание провала в сакральной сфере. Двояко — так я выразился. И этот надлом сохранился, не поддавался лечению, зияет и сегодня, когда я не принадлежу более ни к сакральному, ни к повседневному, а, напротив, пребываю где-то в стороне, в специальном лечебном заведении.

Матушка оплатила урон, нанесенный правому алтарю. Пасхальная торговля протекала весьма успешно, хотя на Страстную пятницу Мацерат, будучи лицом про-

тестантской веры, приказал закрыть лавку. Матушка, которая обычно умела настоять на своем, по Страстным пятницам всякий раз уступала, лавку запирала, но взамен, уже как католичка, настаивала на своем праве закрывать лавку колониальных товаров в праздник тела Христова, заменять пачки персиля и всякие витринные заманки, вроде кофе Хааг, пестрым изображением Девы Марии, подсвеченным лампочками, а также участвовать в Оливской процессии.

Имелась картонка, на одной стороне которой можно было прочесть: «Закрыто по случаю Страстной пятницы». Другая сторона картонки сообщала: «Закрыто по случаю праздника тела Христова». В ту Страстную пятницу, первую пятницу за Страстным понедельником без барабана и без алмаза в голосе, Мацерат вывесил в витрине картонку: «Закрыто по случаю Страстной пятницы», и мы отправились трамваем в Брёзен. Чтобы еще раз вернуться к употребленному выше слову: Лабесвег тоже выглядел двояко, протестанты шли в церковь, а католики тем временем мыли окна и выбивали на задних дворах все, хоть отдаленно смахивающее на ковер, с такой силой и с таким грохотом, что можно было подумать, будто по всем дворам доходных домов библейские рабы одновременно прибивали многократно размноженного Спасителя к многократно размноженному кресту.

Мы же, оставив позади выбивание ковров, возвещающее приближение страстей Господних, уселись в привычном составе — матушка, Мацерат, Ян Бронски и Оскар — в трамвай девятой линии и поехали вдоль по Брёзенервег, мимо аэродрома, мимо старого и мимо нового армейского плаца, на стрелке у кладбища Заспе дождались встречного трамвая со стороны Нойфарвассер-Брёзена. Ожидание на стрелке матушка использовала, чтобы довести до нашего сведения ряд соображений, высказанных хоть и с улыбкой, но тоном, свидетельствующим об известной житейской усталости. Маленький заброшенный погост, где под узловатыми соснами раскинулись растущие вкривь и вкось замшелые могильные плиты прошлого века, она назвала прелестным, романтическим и полным очарования.

— Вот где я хотела бы лежать, если его до тех пор не закроют, — размечталась матушка. Мацерат же нашел почву слишком песчаной, отрицательно высказался о забивших всю прочую растительность береговом осоте и глухом овсе. Ян Бронски со своей стороны добавил, что и шум с аэродрома, и расходящиеся на стрелке подле кладбища трамваи неизбежно будут нарушать покой этого в остальном столь идиллического уголка.

Встречный трамвай проехал мимо, кондуктор дважды позвонил, и мы, оставив позади Заспе и заспенское кладбище, тронулись в сторону Брёзена, морского курорта, который об эту пору, в конце марта, выглядел каким-то похилившимся и унылым. Киоски забиты гвоздями, в курзале заколочены окна, с мостков сняты флажки, в купальне — ряды пустых кабинок числом двести пятьдесят. На доске, где указывают температуру, — следы мела еще с прошлого года: воздух — двадцать, вода — семнадцать, ветер — норд-ост, прогноз — переменная облачность.

Сперва мы думали дойти пешком до Глеткау, но потом без всяких обсуждений вдруг пошли в прямо противоположную сторону, к молу: Балтийское море широко накатывало на берег и лениво облизывало песок. До самого входа в гавань, где по одну сторону — белый маяк, а по другую — мол с навигационной вышкой, не было видно ни души. Прошедший накануне дождь нарисовал на песке ровный узор, разрушать который, оставляя на нем отпечатки босых ног, было очень приятно. Мацерат подбирал облизанные морем осколки кирпича величиной с монетку, бросал их, чтобы прыгали по зеленоватой воде, проявляя при этом изрядное честолюбие. Ян Бронски, не столь искусный метатель, в промежутках между бросками отыскивал янтарь, нашел кой-какие кусочки, один даже размером с вишневое зернышко, каковой и преподнес матушке, что, подобно мне, бежала босиком, то и дело оглядываясь, словно из любви к своим следам. Солнце пригревало весьма сдержанно. Было прохладно, безветренно и ясно, так что можно было видеть на горизонте полоску, означающую полуостров Хела, еще два-три исчезающих дымовых хвостика да палубные надстройки торгового парохода, вприпрыжку одолевающего линию горизонта.

Поочередно, через неравные промежутки мы подошли к первым гранитным глыбам, лежащим в широком основании мола. Матушка и я снова надели чулки и ботинки. Матушка помогла мне зашнуровать их, а Ян и Мацерат уже прыгали с камня на камень по неровной поверхности мола в сторону моря. Осклизлые бороды водорослей беспорядочно торчали между камнями в основании мола. Оскар хотел бы расчесать их. Но матушка взяла меня за руку, и мы побежали догонять мужчин, которые шли впереди и резвились, как школьники. На каждом шагу барабан ударял меня по колену, но даже здесь я не хотел, чтобы его с меня сняли. На матушке было голубое весеннее пальто с малиновыми обшлагами. Гранитные глыбы причиняли множество неудобств ее высоким каблукам. Как и всегда по воскресеньям и праздникам, я мы-

кался в своем матросском пальтишке с золотыми якорными пуговицами. Старая ленточка из сувенирных запасов Гретхен Шефлер с надписью «ЕВК Зейдлиц» обвивала мою бескозырку и трепетала бы на ветру, если бы, конечно, был хоть какой-нибудь ветер. Мацерат расстегнул коричневое пальто. Ян был, как всегда, элегантен в ульстере с переливчатым бархатным воротником.

Мы добрались почти до навигационной вышки на самом конце мола. Под вышкой сидел пожилой мужчина в шапке грузчика и ватнике. Рядом лежал мешок, который все время вздрагивал и двигался. А человек, по всей вероятности житель Брёзена или Нойфарвассера, держал в руках конец бельевой веревки. Опутанная морской травой веревка уходила в затхлую воду Мотлавы, которая, еще не осветленная и без помощи морских волн, билась в устье о камни мола.

Мы полюбопытствовали, почему этот человек удит рыбу с помощью обычной бельевой веревки и явно без поплавка. Матушка задала свой вопрос тоном добродушной насмешки и назвала его дядей. Дядя хмыкнул, обнаружив побуревшие от табака пеньки на месте зубов, и без иных объяснений послал длинный, перемешанный с крошками хлеба, растекающийся на лету плевок в месиво, кипевшее между нижними, покрытыми смолой и нефтью, гранитными горбылями. Там плевок и качался до тех пор, покуда не прилетела чайка и, искусно уклонившись от встречи с камнями, не подхватила его, после чего увлекла за собой остальных крикливых чаек.

Мы уже собрались уходить, потому что на молу было холодно и солнце ничуть не грело, но тут человек в грузчицкой шапке начал понемногу выбирать веревку. Матушка все равно хотела уйти, но Мацерата было невозможно сдвинуть с места. Да и Ян, который обычно повиновался всем высказанным вслух пожеланиям матушки, на сей раз заупрямился, ну а Оскару было все равно, уйдем мы или останемся. Но раз мы остались, я глядел. Покуда грузчик равномерными рывками выбирал веревку и при каждом рывке очищал ее от водорослей, зажимая между коленями, я убедился, что торговый пароход, чьи надстройки каких-то полчаса назад едва выглянули из-за горизонта, при глубокой осадке сменил курс и теперь входил в гавань. Раз у него такая осадка, значит, это швед, груженный рудой, смекнул Оскар.

Но я отвлекся от шведа, когда грузчик медленно привстал с камней.

— А ну-ка посмотрим чуток, чего там у него есть.

Это он сказал Мацерату, который, с готовностью согласился, хоть ничего и не понял. То и дело приговаривая: «Чуток посмотрим!» и «Чего там у него есть!», грузчик продолжал выбирать канат, хотя сейчас уже с натугой, потом он полез вниз по камням к канату и запустил — матушка не успела во время отвернуться, — широко раскинув, запустил руки в клокочущую воду бухты между гранитных глыб, пошарил, нащупал, схватил и, громко требуя посторониться, швырнул что-то мокро-тяжелое, что-то бурлящее жизнью на землю перед нами: лошадиную голову, свежую, совершенно как настоящую, голову вороного коня, то есть черногривой лошади, которая вчера еще, позавчера еще, возможно, заливалась ржанием, потому что она совсем не разложилась, эта голова, и не издавала зловония, разве что речной водой от нее пахло, но этой водой пахло все на молу.

И вот уже человек в шапке стоит, широко расставив ноги над останками коня, из которого яростно прут светло-зеленые маленькие угри. Грузчик не без труда ловил их, потому что угри быстро и ловко скользили на гладких, мокрых еще камнях. Вдобавок над нами тотчас возникли чайки со своим обычным криком. Они налетали играючи, втроем-вчетвером подхватывали маленького либо среднего угря, и отогнать их не было никакой возможности, потому что мол принадлежал им. Однако грузчику, который бросился между чаек, удалось кинуть дюжины две угрей к себе в мешок, поддерживаемый Мацератом, который любил изображать готовность помочь. А потому Мацерат и не мог видеть, что у матушки лицо вдруг сделалось изжелта-бледное, что она положила сперва руку, а потом и вовсе голову на плечо и на бархатный воротник Яна.

Но когда все мелкие и средние угри проследовали в мешок, а грузчик, у которого во время этой процедуры слетела с головы шапка, начал выдавливать из дохлой головы темных угрей покрупнее, матушке и вовсе пришлось сесть, Ян даже хотел повернуть ее голову в сторону, но она не далась, она продолжала неподвижно и тупо смотреть вытаращенными глазами на возню грузчика с этими змеями.

— Посмотри-ка! — стонал тот время от времени. — Ну-кась, ну-кась! — и, подсобляя себе рыбацким сапогом, распялил лошадиный рот, вставил палку между челюстями, так что могло показаться, будто лошадь скалит в ухмылке желтые целые зубы. Но когда грузчик — лишь теперь стало видно, что голова у него лысая и похожа на яйцо, — запустил обе руки глубоко в лошадиную пасть и извлек оттуда сразу двух угрей толщиной по меньшей мере в руку, да и длины такой же, у матушки тоже развело челюсти, и она исторгла из себя весь завтрак: комковатый белок и тягучие

нити желтка среди комьев белого хлеба в струе кофе с молоком обрушились на камни мола, рвотные позывы еще давали себя знать, но больше из нее ничего не вышло, не так уж и много съела она за завтраком, потому что набрала лишний вес и непременно хотела похудеть, ради этого перепробовала множество диет, хотя до конца ни одну не выдерживала — тайком она, конечно, ела,— и только от одного никак не могла отказаться, от гимнастики по вторникам в женском объединении, хотя Ян и даже Мацерат над ней смеялись, когда, прихватив мешочек со спортивным костюмом, она ходила к этим смешным теткам в синей блестящей одежде, делала упражнения с булавой — и все равно не худела.

Вот и в тот раз матушка исторгла из себя на камни мола не более полуфунта, она могла давиться сколько угодно, похудеть еще больше ей не удалось. Ничего, кроме зеленой слизи, из нее не вылетало, а тут налетели чайки, налетели, едва она начала давиться, кружились все ниже, падали вниз, жирные, гладкие, дрались из-за завтрака моей матушки, ни капельки не боялись растолстеть, не давали себя отогнать, да и кто стал бы их отгонять, если Ян Бронски сам их боялся и даже закрыл руками свои красивые голубые глаза.

Впрочем, и Оскару, когда тот пытался выдвинуть против чаек свой барабан, когда дробью по белому лаку он начал войну против их белизны, они не подчинились, ничуть его барабан не помог, он разве что сделал чаек еще белей. А Мацерат, тот и вовсе не заботился о матушке. Он смеялся, он подыгрывал грузчику, изображал человека с крепкими нервами, и когда грузчик почти завершил свое дело и под занавес извлек из уха у коня здоровенного угря, а заодно с угрем выпустил белую кашу из лошадиных мозгов, Мацерат, хоть и сам позеленел от дурноты, но хорохориться не перестал и откупил у грузчика почти задаром два средних и два больших угря, да еще пытался сбить цену.

Тут я не мог не похвалить Яна Бронски. Тот хоть и сам выглядел, как будто вот-вот зарыдает, однако помог матушке выпрямиться, обхватил ее одной рукой за плечи, другой — спереди и повел прочь, что со стороны выглядело смешно, ибо матушка ковыляла на своих высоких каблуках с камня на камень по направлению к берегу, ноги у ней подгибались на каждом шагу, однако она ухитрилась ничего себе не сломать.

Оскар остался с грузчиком и с Мацератом, поскольку грузчик, несколько ранее повторно водрузивший на голову свою шапку, подробно объяснял нам, почему мешок из-под картошки до половины набит солью грубого помола. Итак, соль в мешке служила для того, чтобы угри убегались в ней до смерти, чтобы соль впитала слизь с их кожи, а также изнутри. Потому как если угри попадают в соль, они не перестают двигаться, пока вся слизь не перейдет в соль и пока сами они не уснут. Так поступают, если хотят их потом закоптить. Правда, полиция это запрещает, и общество защиты животных — тоже, но без соли не обойтись. Как иначе очищать угрей от наружной слизи, да и от внутренней? Потом мертвых угрей начисто обтирают сухим торфом и подвешивают в коптильной бочке над горящими буковыми поленьями.

Мацерат счел вполне разумным, что угрей суют в соль.

— Они ведь и сами залезают в лошадиную голову,— сказал он.

— И в мертвецов, — добавил грузчик. — Говорят, после сражения в Скагерраке угри сделались на особицу жирные.

А врач из моего специального лечебного учреждения как раз на днях рассказывал про одну замужнюю женщину, которая надумала позабавиться с живым угрем, а угорь так вцепился в нее зубами, что женщину пришлось отправить в больницу, и детей у нее теперь больше не будет.

Грузчик затянул мешок с угрями и солью и перекинул его через плечо, хоть в мешке все время что-то двигалось. Высвободившуюся веревку он обмотал себе вокруг шеи и затопал в сторону Нойфарвассера. Тут и торговое судно приблизилось. Водоизмещением оно было примерно в тысячу восемьсот тонн и оказалось оно не шведским, а вовсе даже финским, и привезло оно не руду, а лес. Грузчик с мешком, надо полагать, имел знакомых на «финне», он замахал в сторону этой ржавой посудины и что-то прокричал. А с «финна» замахали и закричали в ответ. Но вот почему замахал Мацерат и почему выкрикнул такую ерунду, как «Эй, на корабле, ахой!», я так и не смог понять. Ведь будучи уроженцем Рейнланда, он вообще ничего не смыслил в морском деле, и ни одного знакомого у него среди финнов не было. Но такая уж у него была привычка, махать, если другие машут, кричать, смеяться, аплодировать, если кричат, смеются, аплодируют другие. Потому он сравнительно рано и вступил в партию, когда в этом еще не было особой необходимости, когда это еще ничего не давало, только отнимало у него воскресные утра.

Оскар медленно следовал за Мацератом, грузчиком из Нойфарвассера и перегруженным судном. Время от времени я оборачивался, потому что грузчик так и бро-

сил лошадиную голову под навигационной вышкой. Но сама голова была уже не видна, потому что чайки ее облепили. Белая, едва заметная дырка среди бутылочной зелени моря. Свежевымытое облачко, ежеминутно готовое аккуратненько взмыть в воздух, громкими криками укрывая лошадиную голову, которая издавала теперь не ржание, а крик.

Вдосталь наглядевшись, я убежал и от Мацерата, и от чаек, бил на ходу кулаком по жести своего барабана, обогнал грузчика, успевшего тем временем раскурить свою носогрейку, догнал Яна Бронски и матушку у начала мола. Ян обнимал матушку, как и раньше, только одна из его рук находилась теперь у нее за пазухой. Впрочем, ни этого, ни того, что и матушка со своей стороны запустила руку в карман Яновых брюк, Мацерат видеть не мог: он был слишком далеко от нас и как раз заворачивал в газету, подобранную между камнями, четырех угрей, которых грузчик по его просьбе предварительно оглушил камнем. Догнавший нас Мацерат размахивал свертком с угрями и бахвалился:

— Запросил полтора, но я дал ему гульден, и хватит с него.

Матушка уже выглядела лучше, и обе руки у нее были теперь на виду; и она ответила Мацерату:

— Только не воображай, что я стану есть твоего угря! Я вообще в жизни не съем больше ни куска рыбы, а уж про угрей и говорить нечего.

Мацерат засмеялся:

— Да будет тебе, девочка. Ты ведь и раньше знала, куда лазят угри, а сама их всегда ела, свежих тоже. Вот поглядим, что ты скажешь, когда твой покорный слуга отменно их приготовит со всеми штучками-дрючками и немного зелени к тому же.

Ян Бронски, своевременно выдернувший руку у матушки из-за пазухи, ничего не сказал. Я начал барабанить, чтобы они не заводили снова речь про своих угрей, и барабанил, пока мы не пришли в Брёзен. На трамвайной остановке и потом в прицепном вагоне я не давал трем взрослым заговорить. Угри вели себя довольно спокойно. Стоять на разъезде у Заспе не пришлось, потому что встречный уже прошел.

Сразу за аэродромом Мацерат, несмотря на мой барабан, начал рассказывать, до чего он проголодался. Матушка не реагировала и смотрела куда-то мимо нас, пока Ян не предложил ей одну из своих «Регат». Когда он дал ей огня, она, зажимая губами золотой мундштук, улыбнулась Мацерату, так как знала, что он не любит, если она курит на людях.

Мы вышли из трамвая на Макс-Хальбе-плац, и матушка против моих ожиданий взяла под руку Мацерата, а не Яна, Ян пошел рядом со мной — он вел меня за руку и докурил до конца ее сигарету.

На Лабесвеге домохозяйки католической веры все еще выколачивали свои ковры. Покуда Мацерат возился с замком, я увидел фрау Катер, что жила на пятом этаже по соседству с трубачом Мейном. Мощными сине-красными руками она поддерживала на правом плече скатанный бурый ковер. Под мышками у нее сверкали белокурые, слипшиеся от соленого пота волосы. Ковер свисал спереди и сзади. С тем же успехом она могла бы нести, перекинув через плечо, пьяного мужа, только ее муж давно умер. Когда она проносила мимо меня свои телеса под черной юбкой из блестящей тафты, мне ударили в нос испарения ее тела: нашатырь, огурец, карболка — не иначе у нее были месячные.

Вскоре со двора донесся тот равномерный стук палок по коврам, который гонял меня по квартире, преследовал меня так, что под конец мне пришлось укрыться от него в платяном шкафу нашей спальни, поскольку висящие там зимние пальто перехватывали большую часть предпасхальных шумов.

Но не только от фрау Катер, выбивающей ковры, укрывался я в шкафу. Мама, Ян и Мацерат еще не успели скинуть свои пальто, как уже завязался спор по поводу обеда на Страстную пятницу. Тема не ограничилась одними лишь угрями, пошло в ход и мое знаменитое падение с лестницы: «Ты виноват, ты во всем виноват, а вот я сейчас сварю суп из угрей, и перестань ломаться, можешь варить что угодно, только не угрей, как будто в погребе не хватает консервов, достань банку с лисичками, только крышку потом захлопни, чтоб опять не случилось беды, да хватит тебе талдычить одно и то же, на обед будут угри — и баста, с молочком, с горчицей, с картошечкой, и лавровый листик туда положим, и гвоздичку, нет, будет тебе, Альфред, раз она не хочет, а ты, между прочим, не вмешивайся, я ведь не зря купил угрей, я их выпотрошу как следует и в воде подержу, нет-нет-нет, вот когда я их подам на стол, тут мы и поглядим, кто будет есть, а кто нет».

Мацерат захлопнул за собой дверь гостиной, скрылся в кухне, и мы услышали, как он на удивление громко там возится. Угрей он убивал поперечным надрезом позади головы, а матушка, наделенная слишком большим воображением, вынуждена была опуститься на кушетку, что вслед за ней проделал и Ян. И вот они уже ухватили

друг друга за руки и принялись шептаться на кашубском наречии.

Когда трое взрослых распределились по квартире таким образом, я еще не сидел в шкафу, а сидел, как и они, в гостиной. Возле изразцовой печки стоял детский стульчик. Я поболтал ногами, подставив себя пристальному взгляду Яна и отлично сознавая, до чего я мешаю обоим, хотя едва ли они могли учинить что-нибудь серьезное, когда за стеной, пусть даже невидимый отсюда, но вполне реальный Мацерат грозил полудохлым угрем, которым размахивал, словно кнутом. Они сплетались руками, сжимали до хруста в суставах все двадцать пальцев и этим хрустом окончательно меня доконали. Разве ударов Катерихи по ковру было недостаточно? Разве не проникали они со двора сквозь стены, разве не приближались, хоть и не становясь при этом громче?

Оскар соскользнул со своего стульчика, помешкал мгновение возле печки, чтобы уход его не выглядел слишком демонстративным, затем, всецело занятый своим барабаном, шмыгнул в спальню.

Желая избегнуть каких бы то ни было звуков, я даже оставил дверь в спальню полуоткрытой и с удовлетворением констатировал, что меня так никто и не окликнул. Я все еще прикидывал, куда лучше залезть Оскару — то ли под кровать, то ли в платяной шкаф. Я предпочел шкаф, потому что под кроватью мог испачкать свой синий и очень маркий костюмчик. Я еще смог дотянуться до ключика, повернул его, развел зеркальные створки и с помощью барабанных палочек сдвинул в сторону висящие на перекладине плечики с пальто и прочей зимней одеждой. Чтобы дотянуться до тяжелых тканей да еще сдвинуть их, мне пришлось встать ногами на барабан. Возникшая посреди шкафа брешь была хоть и невелика, но все же достаточно просторна, чтобы принять залезшего туда и присевшего на корточки Оскара. Мне даже удалось, хоть и не без труда, закрыть за собой зеркальные дверцы и так засунуть между створками шаль, которую я обнаружил на дне шкафа, что возникла щель с палец шириной, обеспечивавшая как возможность наблюдения, так и приток свежего воздуха. Барабан я положил на колени, но барабанить не стал, даже тихо — и то не стал, а, напротив, безвольно позволил испарениям зимних пальто окутывать и пронизывать себя.

Как хорошо, что был у нас этот шкаф и тяжелые, слабо дышащие ткани, которые почти позволяли мне собраться с мыслями, увязать их воедино и вручить некоему идеалу, достаточно богатому, чтобы воспринять мой дар со сдержанной, едва заметной радостью.

Как и всякий раз, когда мне удавалось сосредоточиться и жить в ладу со своими возможностями, я переносился мыслями в приемную доктора Холлаца на Брунсхёферверг и заново переживал ту часть еженедельных визитов по средам, которая меня привлекала. Поэтому мысли мои устремлялись не столько к врачу, сколько к сестре Инге, его ассистентке. Ей дозволялось раздевать и одевать меня, ей одной — измерять, взвешивать, испытывать меня; короче, все те эксперименты, которые учинял надо мной доктор Холлац, сестра Инга выполняла очень точно, хоть и не без досады, после чего с оттенком ехидства рапортовала об отсутствии успехов, что доктор Холлац, со своей стороны, именовал известными успехами. На чистой крахмальной белизне сестринского облачения, на невесомой конструкции, которую она носила в качестве сестринского чепца, на скромной, украшенной красным крестом брошке частенько отдыхал мой взгляд и мое, порой затравленное, сердце барабанщика. Как отрадно было следить за все новым и новым расположением складок на ее сестринском одеянии! А имелось ли тело под этими складками? Ее стареющее лицо, ее грубые, несмотря на тщательный уход, руки позволяли догадываться, что сестра Инга все-таки женщина. Однако запахов, способных подтвердить ее телесную суть, запахов, которые, к примеру, предъявляла моя матушка, когда Ян или Мацерат у меня на глазах помогали ей скидывать одежды, такого рода ароматов сестра Инга не источала. А исходил от нее запах мыла и наводящий усталость запах лекарств. Сколько раз, покуда она обследовала мое маленькое и, как все полагали, больное тельце, меня мог сморить сон — сон легкий, рожденный складками белой ткани, овеянный карболкой сон, сон без сновидений, разве что брошка ее в этом сне разрасталась бог весть до чего: до моря знамен, до отблеска зари на снежных вершинах Альп, до полей дикого мака, изготовясь к мятежу против бог весть чего: против индейцев, вишен, кровотечений из носа, петушиных гребешков, скопления красных кровяных шариков, покуда все поле зрения не заливалось краснотой, являя достойный фон для некоей страсти, которая тогда, равно как и сегодня, представлялась и представляется мне вполне естественной, хотя поименовать ее очень трудно, ибо само по себе словечко «красный» еще ничего не означает, текущая из носу кровь здесь ничем не поможет. И кумач знамен со временем блекнет, и если я все равно говорю «красный», эта краснота меня не приемлет, краснота выворачивает свои покровы наизнанку: они черные, вот

она, вот она, черная кухарка, меня пугает желтый цвет, обманывает синий, я не верю синему, не лжет мне и не зеленит мне — зеленый, зелен гроб, в котором я пасусь, зелень укрывает меня, с зеленью я сам себе бел. Это крестит меня в черный цвет, а черный пугает меня желтым, а желтый обманывает синим, а синему я не верю в зеленый, а зеленый расцветает красным, а красной была брошка у сестры Инги, она носила красный крест, точнее сказать — носила на съемном воротничке своего сестринского халата; но редко, даже и в платяном шкафу, мне удавалось задержаться на этом, самом одноцветном из всех впечатлений.

Многоцветный шум, проникнув из гостиной, ударился о дверцы моего шкафа, пробудил меня от начавшегося и посвященного сестре Инге полусна. Я сидел вполне бодрый, с распухшим языком, барабан — на коленях, между разноокрашенных зимних пальто, вдыхал запах мацератовского партийного обмундирования, соседствовал с кожей портупеи, ремня, петли для карабина, не видел больше ничего из белых складок на сестринском халате: здесь падала шерсть, здесь висели шерстяные ткани, здесь вельвет сминал фланель, а надо мной — шляпные моды последних четырех лет, а у моих ног — ботинки, туфельки, начищенные голенища, каблуки с подковками и без, полоса света, падая из комнаты, позволяет мне все увидеть; Оскар пожалел, что оставил щель между дверцами шкафа.

Ну чего мне ждать от них, от тех, кто сидит в гостиной. Допустим, Мацерат застукал обоих на софе, что навряд ли возможно, поскольку Ян всегда, а не только за игрой в скат соблюдал остатки осторожности. Вероятно — так оно впоследствии и оказалось — Мацерат водрузил на стол посреди гостиной большую суповую миску с готовым к употреблению картофельным супом из умерщвленных, выпотрошенных, вымоченных, отваренных со специями угрей и даже позволил себе, поскольку никто не садился за стол, нахваливать свою стряпню, перечисляя все приправы и все премудрости рецепта. Матушка закричала. По-кашубски, а кашубского Мацерат и не понимал, и не выносил, и, однако же, принужден был слушать, да верно и понял, о чем это она: речь могла идти только об угрях, и как всякий раз, когда матушка кричала о моем падении с лестницы, Мацерат ответствовал. Оба хорошо заучили свои роли. Ян подавал реплики. Без него театр просто не получился бы. И вот наконец второе действие: с грохотом откинута крышка пианино, без нот, по памяти, ноги на обеих педалях, отставая, забегая вперед, сливаясь — хор охотников из «Волшебного стрелка», — «Что может прекраснее быть на земле». И на самой середине, где «Эгей-эгегей!», с грохотом падает крышка пианино, ноги прочь с педалей, опрокинут табурет-вертушка, матушка приближается, еще один взгляд в зеркальные дверцы, и вот она уже бросилась — я все мог видеть через свою щелку, — бросилась поперек на супружескую постель под синим балдахином, рыдала и столь же многопальцево ломала руки, как это делала кающаяся Магдалина с цветной литографии в золотой рамке над изголовьем супружеской крепости.

Долгое время я мог слышать, как скулит матушка, легкое поскрипывание кровати да приглушенный шепот из гостиной. Ян успокаивал Мацерата. Мацерат просил Яна успокоить матушку. Шепот мало-помалу иссяк, в спальню вошел Ян. Действие третье: он постоял перед кроватью, переводя взгляд с матушки на кающуюся Магдалину и обратно, осторожно присел на край, погладил спину и зад лежащей на животе матушки, успокоительно заговорил по-кашубски и — поскольку слова на нее больше не действовали — запустил руку ей под юбку, пока наконец она не перестала скулить, а Ян смог отвести взгляд от многопальцевой Магдалины. Стоило посмотреть, как Ян встал после выполненной работы, отер пальцы носовым платком и громко, но уже не по-кашубски, чтобы и Мацерат в гостиной либо на кухне мог услышать и понять, произнес, отчетливо выделяя каждое слово:

— Ну пошли, Агнес, и забудем эту историю. Альфред давно уже вынес угрей и утопил в сортире. А мы сейчас закрутим хороший скат, по четверть пфеннига, я не против, и когда все останется позади и мы успокоимся, Альфред поджарит нам грибы с яйцом и картофелем.

Матушка ничего не ответила, съехала с постели, разгладила желтое стеганое одеяло, перед зеркальными дверцами снова привела в порядок свою прическу и вслед за Яном покинула спальню. Я отвел глаз от щели и вскоре услышал, как они тасуют карты. Маленький, робкий смешок, Мацерат снял колоду, Ян сдает карты, и начался торг. Сдается мне, Ян предложил Мацерату заказывать игру, но тот спасовал уже на двадцати трех. Тогда матушка подняла заказ до тридцати шести, после чего Яну тоже пришлось пасовать, и матушка разыграла гранд, который едва не продула. Следующий кон выиграл Ян — на простой бубне, без сучка-задоринки, а за ним матушка заказала черву без прикупа и, хоть и с трудом, но вылезла.

В твердой уверенности, что этот семейный скат продлится до поздней ночи, единожды прерванный на яичницу с грибами и жареным картофелем, я перестал уделять

внимание последующим партиям и даже — более того — попробовал вернуться мыслями к сестре Инге и ее белым, навевающим сон одеждам. Но мои предстоящие визиты к доктору Холлацу были омрачены. И не потому только, что зеленый, синий, желтый и черный цвета то и дело вторгались в красный цвет красного креста, но и потому, что события минувшего утра вклинивались туда же; всякий раз, когда отворялась дверь в приемную доктора, к сестре Инге, мне являлся не чистый и легкий облик сестринского халата, нет, это грузчик на молу в Нойфарвассере под навигационной вышкой вытаскивал угрей из мокрой, кишащей живностью конской головы, а то, что виделось белым, то, что я хотел отнести на счет сестры Инги, оказывалось крыльями чаек, которые на какое-то мгновение обманно закрыли и падаль, и угрей в этой падали, покуда вновь не разверзлась рана, но она не кровоточила, порождая красный цвет, а, напротив, лошадь была черной, бутылочно-зеленым — море, немного ржавчины примешал к общей картине груженный лесом «финн» и чайки — не говорите мне больше про голубей — облаком закрыли жертву, обмакнули концы крыльев и подбросили одного угря моей сестре Инге, а Инга перехватила угря, воздала ему почести и сама стала чайкой, приняла образ, нет, не голубя, а если даже Святого духа, то все равно в обличье, которое зовется чайкой, облаком налетает на мясо и справляет Троицу.

Отказавшись от усилий, я отказался тогда и от шкафа, неохотно распахнул изнутри зеркальные дверцы, вылез из ящика, увидев себя в зеркале, нашел, что нисколько не изменился, но все же порадовался, что фрау Катер перестала выколачивать ковры. Правда, для Оскара Страстная пятница закончилась, но хождению по мукам предстояло начаться лишь после Пасхи.

Сужение от головы к ногам

Лишь когда миновала пятница угреносной лошадиной головы, лишь после Пасхи, которую мы вместе с семейством Яна Бронски провели в деревенском Биссау, у бабушки и у дяди Винцента, хождение по мукам должно было начаться и для моей матушки, и даже приветливая майская погода тут ничем помочь не могла.

Неправда, что Мацерат заставил матушку снова есть рыбу. По доброй воле, охваченная загадочной прожорливостью спустя недели две после Пасхи, она, не заботясь больше о своей фигуре, начала поглощать рыбу в таких количествах, что Мацерат сказал:

— Да не ешь же ты столько этой рыбы, будто тебя заставляют.

Но она начинала сардинками в масле — к завтраку, часа через два, если в лавке не было покупателей, набрасывалась на фанерный ящик с бонзакскими шпротами, на обед требовала жареную камбалу или треску в горчичном соусе, а после обеда ее уже снова можно было увидеть с консервным ножом в руках: угорь в желе, рольмопс, сельдь жареная, когда же Мацерат отказывался жарить или варить рыбу еще и к ужину, она не тратила лишних слов, не бранилась, а просто спокойно вставала со своего места и возвращалась с куском копченого угря из лавки, от чего у нас у всех пропадал аппетит, потому что она соскребала весь жир с угриной шкурки изнутри и снаружи, да и вообще ела теперь рыбу только при помощи ножа. За день ее по нескольку раз рвало. Встревоженный Мацерат спрашивал растерянно:

— В чем дело? Ты, часом, не беременна?

— Не мели вздор, — отвечала матушка, если вообще хоть что-нибудь отвечала, и бабка Коляйчек, когда в воскресенье на обед у нас подали отварного угря с картофелем и все это плавало во взбитых сливках, хлопнула ладонью по столу и сказала:

— Ну, Агнес, — сказала она, — объясни наконец, что с тобой? Ну чего ты ешь рыбу, если тебя от нее воротит, и не говоришь ни словечка, и ведешь себя как не знам кто.

Матушка лишь покачала головой, картофель сдвинула в сторону, угря обмакнула в сливки и принялась есть как заведенная: словно ей задание такое дали. Ян Бронски ничего не говорил. Когда я однажды застал обоих на кушетке, они хоть и держались по обыкновению за руки и одежда у них была в беспорядке, но меня поразили заплаканные глаза Яна и апатия матушки, которая, однако, сменилась вдруг на полную свою противоположность. Она вскочила, схватила меня, стиснула, подняла, на мгновение открыв перед мной бездну, которую нельзя было заполнить даже горами жареных, пареных, маринованных и копченых рыб.

Несколько дней спустя я мог наблюдать, как она не только набросилась в кухне на уже привычные чертовы сардины, но слила даже масло из множества старых банок, которые сохранила, в маленькую сковородку для соусов, разогрела на газу и начала пить его, отчего у меня, стоявшего в дверях кухни, выпали из рук палочки.

Тем же вечером матушку доставили в городскую клинику. Мацерат плакал и причитал, поджидая «скорую помощь»:

— Ну почему ты не хочешь ребеночка? Не все ли равно, от кого он. Или ты все еще из-за этой дурацкой лошадиной головы? И что нас туда понесло?! Забудь ты про это, Агнес. Я ведь не нарочно.

Пришла машина, матушку вынесли, на улице собрались дети и взрослые, матушку увезли, и впоследствии нам предстояло узнать, что матушка не забыла ни мол, ни лошадиную голову, что воспоминание об этом коне, все равно как его звали — Ханс или Фриц, — она унесла с собой. Ее органы с болезненной наглядностью вспоминали о прогулке в Страстную пятницу и тем вынудили мою мать, которая разделяла точку зрения своих органов, умереть из страха перед повторением подобной прогулки.

Доктор Холлац толковал о желтухе и о рыбной интоксикации. В больнице установили, что матушка на третьем месяце беременности, отвели ей отдельную палату, где четыре дня подряд она демонстрировала нам, которым разрешили ее навещать, полное отвращения, но порой улыбающееся мне измученное судорогами лицо.

Хоть она и старалась доставлять своим посетителям маленькие радости, как нынче стараюсь я в дни посещений изображать перед своими друзьями чувство глубокого удовлетворения, не в ее силах было помешать регулярно возникающим рвотным позывам сотрясать медленно отступающее тело, пусть даже оно ничего больше не могло из себя исторгнуть, кроме как уже под конец, на четвертый день этого трудного умирания — малую толику дыхания, того, что в конце должен исторгнуть каждый, чтобы получить право на свидетельство о смерти.

Мы все, можно сказать, вздохнули, когда в матушке не осталось больше причин для уродующих ее позывов. Едва она, обмытая, улеглась в саване, мы вновь увидели ее родное, круглое, наивно-лукавое лицо. Старшая сестра отделения закрыла ей глаза, поскольку Мацерат, как и Ян Бронски, совсем ослепли от слез.

Я не мог плакать именно потому, что плакали все остальные, мужчины и бабушка, Хедвиг Бронски и Стефан, которому было уже без малого четырнадцать. К тому же, лично меня смерть матушки ничуть не удивила. Разве Оскару, который по четвергам сопровождал ее во время поездок в Старый город, а по субботам — в церковь Сердца Христова, не казалось, что она вот уже много лет судорожно ищет способа разрушить треугольник отношений таким образом, чтобы Мацерату, которого она, может быть, ненавидела, досталась в наследство вина за ее смерть, тогда как Ян Бронски, ее Ян, мог и впредь служить на польской почте с мыслью: она умерла ради меня, она не хотела стоять у меня поперек дороги, она принесла себя в жертву.

При всем хитроумии, которое умели проявить как матушка, так и Ян, когда речь шла о том, чтобы обеспечить своей любви ложе в спокойных условиях, они одновременно проявляли и склонность к романтике: при желании в них можно видеть Ромео и Джульетту или, если угодно, двух королевских детей, которые по сюжету никак не могли встретиться, потому что вода была слишком глубока. Покуда матушка, успевшая своевременно причаститься святых тайн, холодная и чуждая отныне любым волнениям, лежала под молитвой священника, я нашел в себе не только время, но и желание наблюдать за сестрами, которые исповедовали по большей части протестантскую веру. Они складывали руки не так, как это делали католики, с большей уверенностью, сказал бы я, читали «Отче наш», с некоторыми отклонениями от оригинального католического текста, и не осеняли себя крестом, как это, к примеру, делали бабушка Коляйчек, все семейство Бронски, да и я сам. Мой отец Мацерат — в данном случае назову его так, хоть у меня и нет уверенности, что именно он зачал меня, протестант, отличался от других протестантов, потому что во время молитвы не складывал руки перед грудью, а, напротив, держа сцепленные пальцы примерно на уровне причинного места, как бы совершал переход от одной религии в другую и явно стыдился своей молитвы. Бабушка вместе со своим братом Винцентом стояла на коленях у смертного одра, молилась громко и безоглядно на кашубском наречии, тогда как ее брат Винцент лишь шевелил губами, на польском, надо полагать, зато до предела распахивал глаза на зрелище духовных свершений. Я был бы не прочь побарабанить. В конце концов, это ей, бедной моей маме, я был обязан множеством бело-красных барабанов. Это она, в противовес пожеланиям Мацерата, положила мне в колыбель материнское обещание барабана, вдобавок ее красота время от времени, когда она еще была стройной и не бегала на гимнастику, служила темой для моего барабана. Под конец я уже не мог больше сдержать себя: в комнате, где умерла моя матушка, я еще раз воплотил на барабане идеальный образ ее сероглазой прелести и был крайне удивлен, что именно Мацерат укротил немедленно за тем последовавший протест старшей медсестры, что он встал на мою сторону, прошептав:

— Оставьте его, сестра, они ведь так любили друг друга.

Мама могла быть очень веселой. Мама могла быть очень робкой. Мама могла скоро забывать. Однако у мамы была хорошая память. Мама выплеснула вместе с водой и меня, и она же сидела со мной в одной ванне. Я иногда терял маму, но ее искатель ходил рядом с ней. Если я пением разрезал стекла, мама подавала замазку. Будучи неправа, мама часто стояла на своем, хотя вокруг хватало стульев, чтобы сесть. Даже когда мама была застегнута на все пуговицы, она оставалась для меня открытой. Мама боялась сквозняков и, однако, то и дело поднимала бурю. Она жила на издержки и не любила накладных расходов. Я был рубашкой верхней карты в ее колоде. Когда мама ходила с червей, она всегда выигрывала. Когда мама умерла, красные языки пламени на обечайке моего барабана несколько поблекли, зато белый лак стал еще белее и до того ослепительным, что сам Оскар порой невольно жмурился.

Погребли мою бедную маму, вопреки ее несколько раз высказанному желанию, не на кладбище Заспе, а на маленьком тихом кладбище Брентау. Там же покоился и ее умерший в семнадцатом году от гриппа отчим, пороховщик Грегор Коляйчек. Погребальная процессия, что вполне естественно, когда хоронят любимую всеми хозяйку лавки, оказалась весьма длинной, в ней мелькали не только физиономии постоянных покупателей, но и торговых посредников от различных фирм и даже представителей от конкуренции, как, например, торговец колониальными товарами Вайнрайх и фрау Пробст из продовольственной лавки на Герташтрассе. Кладбищенская часовня даже не смогла вместить всю эту толпу. Пахло цветами, пахло нафталином от черных костюмов. В гробу у бедной мамы было желтое, измученное лицо. За все время длительных церемоний я не мог отказаться от чувства: вот сейчас у нее вскинется голова и ее снова вырвет, у нее в теле еще кое-что осталось, и это кое-что хочет выйти наружу: не только трехмесячный зародыш, который, подобно мне, не знал, какому отцу будет обязан жизнью, не только он хотел выйти наружу и, подобно Оскару, потребовать в дар себе барабан, нет, там есть еще рыба, конечно, не сардинки в масле, про камбалу я и говорить не хочу, нет, я имею в виду есть еще кусочек угря, несколько бело-зеленых волокон угрятины, угря с морской битвы в Скагерраке, угря с мола в Нойфарвассере, угря Страстной пятницы, угря, вышедшего из лошадиной головы, возможно даже, угря из ее отца Йозефа Коляйчека, который угодил под плоты и стал добычей для угрей, угорь от угря, ибо угорь ты и в угря возвратишься...

Но нового приступа рвоты не случилось, она решила унести угря под землю, чтобы наконец-то обрести покой.

Когда мужчины подняли крышку гроба, чтобы прикрыть лицо моей бедной мамы, одновременно полное и решимости, и отвращения, Анна Коляйчек ухватила мужчин за руки, потом, топча цветы перед гробом, рухнула на тело дочери, и плакала, и разрывала белый дорогой саван, и громко кричала по-кашубски.

Многие потом говорили, что она осыпала проклятиями моего предполагаемого отца Мацерата и называла его убийцей своей дочери. Не осталось без упоминания и мое падение в погреб. Она унаследовала выдумку матушки и не позволила Мацерату забыть про его предполагаемую вину в моем предполагаемом несчастье. Она и потом не переставала его винить, хотя он, несмотря на все политические перемены, чуть ли не против воли, чтил ее и во время войны поддерживал сахаром и искусственным медом, кофе и керосином.

Зеленщик Грефф и Ян Бронски, плакавший высоким тонким голосом, отвели мою бабушку прочь от гроба. Мужчины наконец-то могли закрыть крышку и принять то выражение лица, которое они принимают всегда, когда изготовляются нести гроб. На полудеревенском кладбище Брентау, где было два поля — по одному с каждой стороны вязовой аллеи, где стояла часовня, которая скорее походила на поделку для рождественского представления, где был колодец с журавлем и на редкость оживленный птичий мир, на вычищенной граблями близлежащей аллее, возглавляя, вслед за Мацератом, траурную процессию, я впервые залюбовался формой гроба. В жизни мне еще не раз представится возможность скользнуть вглядом по черному, с коричневатым оттенком дереву, которое используют для последней потребности. Гроб моей бедной матери был черного цвета и на диво гармонично суживался к изножью. Сыщется ли на целом свете другая форма, которая столь же удачно соответствовала бы пропорциям человеческого тела?

Ах, если бы и кровать так же сужалась к изножью! И все наши как привычные, так и случайные ложа столь же недвусмысленно суживались бы к ногам! Ибо, как бы мы ни растопыривались, нашим ногам в конечном итоге достается лишь эта узкая основа, и начиная с той ширины, которую требуют для себя голова, плечи и тело, гроб становится к ногам все уже и уже.

Мацерат шел сразу за гробом. Цилиндр он нес в руке и, несмотря на великую скорбь, старался на каждом медленном шагу выпрямлять колено. Всякий раз, когда мой взгляд падал на затылок Мацерата, мне становилось его жаль: выпяченный за-

тылок и две толстые жилы, которые вырастали у него из-под воротничка и шли до края волос.

Почему меня взяла за руку мамаша Тручински, а не Гретхен Шефлер и не Хедвиг Бронски? Она жила на третьем этаже нашего дома, а имени у нее, надо полагать, не было, потому что ее повсюду так и звали: мамаша Тручински.

Над гробом — его преподобие Винке со служкой и с ладаном. Мой взгляд перебежал с Мацератова затылка на вкривь и вкось испещренные складками затылки тех, кто нес гроб. Мне предстояло подавить в себе дикое желание: Оскар желал вскочить на гроб. Он хотел сидеть на крышке гроба и барабанить. Не по жести — по крышке желал Оскар стучать своими палочками. Когда они, покачиваясь, несли гроб, Оскар желал оседлать его. Когда они позади него повторяли вслед за его преподобием слова молитвы, Оскар желал задавать ритм. Когда они с помощью досок и канатов опускали его в яму, Оскар желал сохранять спокойствие, сидя верхом на дереве. Когда была проповедь, колокольчики, ладан и святая вода, он желал отбарабанить свою латынь на деревянной крышке и дожидаться, пока они на канатах опустят его в могилу. Оскар хотел туда вместе с матерью и зародышем. Быть внизу, когда оставшиеся наверху будут забрасывать его пригоршнями земли, не вылезать наверх желал Оскар, сидеть на узком конце и барабанить, если удастся, барабанить даже под землей до тех пор, пока палочки не выпадут у него из рук, дерево — из-под палочек, пока его матушка ради него, пока он ради нее, пока все ради друг друга не сгниют, не предадут свою плоть земле и обитателям ее; даже костяшками пальцев Оскар с превеликой радостью барабанил бы для нежных хрящиков зародыша — если б это было возможно, если б это было дозволено.

Но никто не сидел на крышке. Неотягощенный гроб колыхался под вязами и плакучими ивами на кладбище в Брентау. Пестрые куры служки отыскивали между могил червей, сеять не сеяли, однако собирали в житницы. Потом между берез. Я позади Мацерата, меня держит за руку мамаша Тручински, сразу позади меня — моя бабушка, ее вели Грефф и Ян; Винцент Бронски под руку с Хедвиг, малышка Марга и Стефан, держась за руки, — перед Шефлерами. Часовщик Лаубшад, старый господин Хайланд, Мейн, трубач, однако без трубы и даже до известной степени трезвый.

Когда все кончилось и люди начали выражать соболезнование, я завидел Сигизмунда Маркуса. Черный и смущенный, он присоединился ко всем тем, кто подавал руку Мацерату, мне, моей бабушке и семейству Бронски, и желал что-то пробормотать. Поначалу я даже не понял, чего потребовал от Маркуса Александр Шефлер. Они едва были знакомы, если вообще были. Потом и музыкант Мейн заговорил с хозяином игрушечной лавки. Они стояли за невысокой живой изгородью из той зеленой штуковины, которая, если растереть ее между пальцами, пачкает руки и горькая на вкус. Фрау Катер со своей скрытой под носовым платком ухмылкой и слишком быстро повзрослевшей дочерью Сузи как раз выражали Мацерату соболезнование и не могли отказать себе в удовольствии погладить меня по головке. Голоса за изгородью стали громче, оставаясь такими же непонятными. Трубач Мейн тыкал Маркусу указательным пальцем в его черный костюм, толкал его перед собой, затем подхватил его под руку слева, а Шефлер тем же манером — справа, и оба, внимательно следя за тем, чтобы Маркус, двигаясь спиной вперед, не споткнулся о могильные ограды, вывели его на кладбищенскую аллею и показали Сигизмунду, где находятся ворота. Тот вроде бы поблагодарил за ценные сведения и двинулся к выходу, даже цилиндр надел, а оглядываться не стал, хотя и Мейн, и пекарь глядели ему вслед.

Ни Мацерат, ни мамаша Тручински не заметили, что я ускользнул от них и от соболезнователей. Сделав вид, будто ему надо в одно место, Оскар попятился задом мимо могильщика и его помощника, дальше побежал, не щадя плюща под ногами, добежал до вязов и настиг Сигизмунда Маркуса еще перед выходом.

— Оскархен! — удивился Маркус. — Скажи на милость, чего они хотят от Маркуса? Чего он им такое сделал, почему они так делают?

Я не знал, что сделал Маркус, я взял его за потную руку, провел его через чугунные распахнутые ворота, и оба мы, хранитель моих барабанов и я, барабанщик, возможно — его барабанщик, наткнулись на Лео Дурачка, который, подобно нам, верил в существование рая.

Маркус знал Лео, потому что Лео вообще был городской знаменитостью, я же о нем слышал, слышал, что Лео, еще когда был семинаристом, однажды в прекрасный солнечный день до того обезумел от мира, святых даров, конфессий, небес и ада, жизни и смерти, что его собственное представление о мире сделалось хоть и безумным, но зато безукоризненно полным.

Занятия Лео Дурачка сводились к тому, чтобы после каждых похорон — а он был осведомлен обо всех — поджидать траурную процессию в черном, лоснящемся, слишком свободном одеянии и при белых перчатках. Маркус, как и я, понял, что к

чугунного литья воротам кладбища его привели, так сказать, профессиональные обязанности, и он стоит здесь в выражающих глубокое соболезнование перчатках, закатив светлые водянистые глаза и пуская слюни навстречу процессии.

Середина мая, ясный солнечный день. Ограды и деревья унизаны птицами. Кудахчут куры, символизируя с помощью своих яиц и в них — бессмертие. Жужжание в воздухе. Свежая зеленая краска — без пыли. Лео Дурачок, держа свой дряхлый цилиндр в левой руке, что с перчаткой, легко приплясывая, ибо и в самом деле взыскан милостью, вышел навстречу, протянув мне и Маркусу пять растопыренных пальцев в пахнущей плесенью перчатке, и, как бы колыхаясь под ветром, хотя в воздухе не было ни малейшего ветерка, воздвигся перед нами, голову прижал к плечу, что-то невнятно бормотал, пуская слюни, пока Маркус — сперва неуверенно, потом решительно — не положил свою обнаженную руку в ухватистую перчатку:

— Какой прекрасный день. А она уже там, где все так дешево. Вы Господа не видели? Habemus ad Dominum[1]. Он прошел мимо нас, и он торопился. Аминь.

Мы сказали «аминь», Маркус согласился с Лео, что день и впрямь хороший, и признался, что тоже видел Господа.

За спиной у себя мы услышали, как близится жужжание похоронной процессии. Маркус выручил свою руку из перчатки Лео, нашел еще время для чаевых, бросил на меня свой, Маркусов, взгляд и затравленно поспешил к такси, которое дожидалось его перед брентауской почтой.

Я еще провожал глазами пыльное облако, которое укрыло от меня исчезающего Маркуса, когда мамаша Тручински уже перехватила меня за руку. Они возвращались группами и группками. Лео выразил всем свое соболезнование, проинформировал общество, что нынче прекрасный день, каждого спросил, видел ли тот Господа, а в ответ, как обычно, получил малые, большие или вовсе никакие чаевые. Мацерат и Ян Бронски расплатились с носильщиками, могильщиками, со служкой и с его преподобием Винке, который не без смущенного вздоха позволил Дурачку Лео поцеловать свою руку, после чего этой своей поцелованной рукой воссылал благословляющие жесты расходящемуся обществу.

Мы же, моя бабушка, ее брат Винцент, семейство Бронски с детьми, Грефф без жены и Гретхен Шефлер, разместились на двух обтянутых простой тканью возах, и повезли нас мимо трактира Гольдкруг, через лес, через близлежащую польскую границу в Биссау-Аббау на поминки.

Двор Винцента Бронски лежал в ложбине. Перед ним росли тополя — чтобы отводить удары молний. Ворота сняли с петель, уложили их на деревянные козлы, а сверху застелили скатертями. Подтянулись и еще люди — из соседних дворов. На еду ушло много времени. Мы сидели как раз в проеме ворот. Гретхен держала меня на коленях. Еда была жирная, потом сладкая, потом опять жирная, картофельный шнапс, пиво, гусь и поросенок, пироги с колбасой, тыква маринованная с уксусом и с сахаром, ягодное желе со сметаной, под вечер сквозь ригу задул небольшой ветерок, шебаршили мыши и дети семейства Бронски, которые вместе с сорванцами из соседних домов заполонили двор.

С керосиновыми лампами на стол подали карты. Шнапс так на нем и остался. Да плюс к тому яичный ликер собственного изготовления. От ликера все развеселились. Грефф, который не пил, начал петь песни. Кашубы тоже запели, а Мацерат начал сдавать карты. Ян был вторым, а подрядчик с кирпичного завода третьим. Лишь здесь я заметил, что нет моей бедной мамы. Играли до поздней ночи, но никому из мужчин ни разу не удалось выиграть с червями без прикупа.

Когда Ян Бронски непонятным для меня образом не сыграл черву без четырех, я услышал, как он шепчет Мацерату:

— Уж Агнес-то наверняка бы выиграла.

Тут я соскочил с колен Гретхен, отыскал во дворе свою бабку и ее брата Винцента. Оба сидели рядышком на тележной оглобле. Винцент вполголоса по-польски взывал к звездам. Бабушка уже не могла плакать, но запустила меня к себе под юбки.

А кто нынче возьмет меня под юбки? Кто закроет от меня свет дня и свет лампы? Кто вернет мне запах того оплывающего желтого, чуть прогорклого масла, которое, чтобы подкормить меня, бабушка накапливала у себя под юбками, хранила, сберегала и при случае подсовывала мне, чтобы пошло на пользу, чтобы пришлось по вкусу.

Я заснул под четырьмя юбками, неподалеку от истоков бедной моей мамы, и мне было так же тихо, хоть и не так же бездыханно, как ей в ее ящике, что суживался к ногам.

[1] Воспрянем к Господу *(лат.)*.

Спина Герберта Тручински

Говорят, ничто на свете не заменит родную мать. Уже вскоре после похорон мне начало недоставать моей бедной матушки. Отпали визиты по четвергам к Сигизмунду Маркусу, никто не водил меня больше на встречи с белым халатом сестры Инги, но всего болезненней напоминали мне о матушкиной смерти субботы: она больше не ходила к исповеди.

Короче, я остался без Старого города, без приемной доктора Холлаца, без церкви Сердца Христова. Интерес к манифестациям у меня пропал. Как мог я подманивать прохожих к витринам, когда даже профессия искусителя для Оскара сделалась пресной и утратила свою привлекательность? Больше не было матери, которая водила бы меня в городской театр на представление рождественской сказки, в цирк Кроне или Буша. Регулярно, хоть и мрачно я продолжал посещать только занятия, уныло брел по прямым улицам пригорода до Кляйнхаммервег, заходил к Гретхен Шефлер, которая рассказывала мне о путешествиях, организованных «Силой через радость» в край полуночного солнца, а я тем временем неуклонно сравнивал Гёте с Распутиным, сравнивал и все не мог остановиться и по большей части спасался от этого мрачно сияющего круговращения, уходя в занятия историей. Битва за Рим, кайзеровская история города Данцига, кёллеровский морской календарь — мои испытанные, образцовые произведения наделяли меня полузнанием обо всем на свете. Я и сегодня еще могу сообщить вам самые точные сведения о толщине брони, оснащении, спуске со стапелей, выходе в море и «судовой роли» всех кораблей, которые участвовали в Скагерракской битве, там же пошли ко дну либо получили повреждения.

Мне было уже без малого четырнадцать, я любил одиночество и много гулял. Мой барабан тоже гулял со мной, но я очень редко беспокоил его жесть, ибо из-за матушкиной смерти своевременная замена представлялась весьма сомнительной, так оно и оказалось на самом деле.

Когда это было, осенью тридцать седьмого или весной тридцать восьмого? Во всяком случае, я брел вдоль по Гинденбургаллее по направлению к центру и находился примерно на уровне кафе «Четыре времени года», при этом не то падали листья, не то лопались почки, словом, в природе что-то совершалось, и тут я повстречал своего друга и наставника Бебру, который происходил по прямой линии от принца Евгения и тем самым от Людовика Четырнадцатого.

Мы не виделись три года, но узнали друг друга за двадцать шагов. Бебра был не один, под ручку с ним шла изящная, южного вида красотка, сантиметра на два меньше Бебры, пальца на три выше меня; знакомясь, красотка назвала себя: Розвита Рагуна — известнейшая сомнамбула Италии.

Бебра пригласил меня на чашечку мокко в кафе «Четыре времени года», мы сели в «аквариум», и кумушки по соседству зашептались:

— Ты только погляди, лилипуты, Лизбет, Лизбет, ты видела? Будут они выступать в цирке? Надо будет сходить.

Бебра улыбнулся мне, показав при этом тысячу тонких, едва заметных морщинок.

Кельнер, принесший нам кофе, был очень большой. Когда Розвита заказала к кофе кусочек торта, она поглядела на человека во фраке, как глядят на башню.

Бебра наблюдал за мной.

— Боюсь, ему сейчас плохо, нашему покорителю стекла. В чем беда, мой друг? Стекло больше не поддается или голоса не хватает?

Юный и пылкий, каким я был, Оскар хотел немедля продемонстрировать свое неувядаемое искусство. Я оглянулся по сторонам, уже зафиксировал взглядом большую стеклянную плоскость перед декоративными рыбками и водорослями, но прежде чем я успел запеть, Бебра сказал:

— Нет, мой друг! Мы вам поверим на слово. Ради Бога, не надо разрушений, наводнений, рыбьей смерти.

Я пристыженно извинился, прежде всего перед синьорой Розвитой, которая, достав миниатюрный веер, взволнованно им обмахивалась.

— У меня мама умерла, — пробовал я объяснить свое поведение, — ей не следовало так поступать. Я на нее очень сердит. Ведь говорят же люди: мать все видит, все чувствует, все прощает. Сплошь фразы для Дня матери! А она видела во мне гнома. И избавилась бы от гнома, если б только могла. Но избавиться не могла, потому что дети, даже если это гномы, занесены в бумаги, от них нельзя просто так взять и избавиться. И еще потому, что я был ее собственный гном, потому что, избавившись от меня, она избавилась бы от самой себя. Погубила бы себя. Так как же, я или гном, спросила она себя, после чего уничтожила себя, начала есть одну рыбу и при этом даже не свежую, дала отставку своим любовникам, а теперь, когда она лежит на клад-

бище в Брентау, и любовники и покупатели в один голос твердят: «Это гном своим барабаном свел ее в гроб. Она не хотела больше жить из-за Оскархена, он убил ее!»

Я здорово преувеличивал, желая, может быть, произвести впечатление на синьору Розвиту. Ведь на самом деле большинство людей обвиняли в смерти матушки Мацерата и пуще того Яна Бронски. Но Бебра разгадал меня.

— Преувеличиваете, мой дорогой. Из чистой ревности вы сердитесь на свою мертвую матушку. Так как она сошла в гроб не столько из-за вас, сколько из-за утомительных любовных отношений, вы чувствуете, что вами пренебрегли. Вы злы, и вы тщеславны, как, собственно, и положено гению. — Далее, после вздоха и взгляда искоса на синьору Розвиту: — Нелегко проявлять терпение, будучи наших размеров. Оставаться человечным без внешних примет роста — сколь высокая это задача, сколь благородное призвание!

Розвита Рагуна, неаполитанская сомнамбула с кожей одновременно и гладкой, и морщинистой, та, которой я давал лет восемнадцать, не более того, и которой уже в ближайшее мгновение восхищался как восьмидесяти-, а то и девяностолетней старухой, эта самая синьора Розвита провела рукой по элегантному, английского покроя костюму господина Бебры, послала мне свои вишнево-черные средиземноморские глаза и далее темным, обещающим плоды голосом, который возволновал меня и заставил оцепенеть:

— Кариссимо, Оскарнелло! Как я ее понимаю, вашу боль! Андиамо, поехали с нами: Милан, Париж, Толедо, Гватемала!

У меня началось легкое головокружение. Я схватил цветущую свежестью и древнюю как мир ручку Рагуны. Волны Средиземного моря бились о мой берег, оливы зашептали мне в ухо:

— Розвита станет для вас матерью, Розвита будет вас понимать. Она, Розвита, великая сомнамбула, которая все видит насквозь, все понимает, только себя самое не может понять, о мама миа, только себя нет, дио!

Странным образом, едва начав видеть меня насквозь и пронизывать меня своим сомнамбулическим взглядом, Рагуна внезапно и со страхом выдернула у меня свою руку. Не ужаснуло ли ее мое четырнадцатилетнее, изголодавшееся сердце? Не открылось ли ей, что Розвита, все равно девушка или старуха, для меня означала лишь одно: Розвита? Она вздрагивала, и шептала по-неаполитански, и так часто осеняла себя крестом, будто страхи, которые она вычитала во мне, не имели конца, а после всего она безмолвно скрылась за своим веером.

Я растерянно попросил просветить меня, я попросил объяснений у господина Бебры, но даже Бебра, происходивший по прямой линии от принца Евгения, судя по всему сам потерял обычную уверенность, он что-то лепетал, и под конец я мог разобрать следующее:

— Ваш гений, мой юный друг, божественное, но и, без сомнения, дьявольское начало вашего гения несколько смутили мою добрую Розвиту, да и мне, признаюсь честно, присущая вам спонтанная безмерность представляется чуждой, хотя и не совсем непонятной. Но все равно, — Бебра успел собраться с духом, — все равно, как бы ни был устроен ваш характер, поезжайте с нами, будете выступать в «Волшебном шоу» Бебры. При известной доле самовоспитания и самоограничения вы вполне способны даже при сложившихся сегодня политических обстоятельствах найти свою публику.

Я тотчас смекнул, что Бебра, который в свое время посоветовал мне всегда быть на сцене и никогда — перед ней, сам приобщился к сонму стоящих перед, пусть даже он по-прежнему выступал в цирке. Вот по этой причине он и не был разочарован, когда я, с видом вежливого сожаления, отклонил его предложение. А синьора Розвита даже звучно вздохнула за своим веером и вновь показала мне свои средиземноморские глаза.

Мы еще немного поболтали, я попросил кельнера принести мне пустой стакан для воды, голосом вырезал в стакане сердечко, выпел вокруг прихотливую надпись «От Оскара — Розвите», подарил стакан ей, чем очень ее порадовал, а Бебра расплатился и щедро дал на чай, прежде чем мы ушли.

Оба проводили меня почти до самого спортзала. Я указал барабанной палочкой в сторону пустой сцены на противоположном конце Майского луга и — теперь я припоминаю, что было это весной тридцать восьмого года, — рассказал своему наставнику Бебре о собственной деятельности в качестве барабанщика под трибунами.

Бебра смущенно улыбнулся, синьора Розвита продемонстрировала строгое лицо. А когда синьора на несколько шагов отошла в сторону, Бебра, прощаясь, шепнул мне на ухо:

— Я сплоховал, дорогой друг, как же я могу и впредь оставаться вашим наставником? Ох уж эта грязная политика!

После таких слов он, как и много лет назад, когда я впервые повстречал его между жилыми фургончиками цирка, поцеловал меня в лоб, дама Розвита протянула мне словно бы фарфоровую ручку, я церемонно склонился — для четырнадцатилетнего это выглядело чересчур отработанным жестом — над пальчиками сомнамбулы.

— Мы еще увидимся, сын мой! — помахал мне господин Бебра,— увидимся, как бы ни сложилась жизнь. Люди, подобные нам, не могут потеряться.

— Не держите зла на своих отцов! — наставляла меня синьора. — Привыкайте к собственному существованию, дабы сердце ваше обрело покой, а сатана злобствовал.

Мне почудилось, будто синьора еще раз, хоть и снова напрасно, окрестила меня. Изыди, сатана,— а сатана не уходил. Я печально, с опустошенным сердцем поглядел обоим вслед, помахал, когда они сели в такси и совершенно исчезли в нем, ибо «форд» был построен для взрослых, а с ними внутри казался пустым и, когда помчался прочь, унося моих друзей, выглядел так, будто ищет седоков.

Впоследствии я, правда, пытался уговорить Мацерата сходить в цирк Кроне, но Мацерат не поддавался на уговоры, он с головой ушел в скорбь по моей бедной матушке, которая по сути никогда ему полностью не принадлежала. Да и кому она принадлежала полностью? Даже Яну Бронски — и то нет, разве что мне, ибо Оскар больше всех страдал от ее отсутствия, нарушавшего нормальный ход его повседневной жизни и даже поставившего эту жизнь под сомнение. Мать ужасно меня подвела. От отцов и вовсе ожидать было нечего. Наставник Бебра сам обрел своего наставника в лице Геббельса, министра пропаганды. Гретхен Шефлер с головой ушла в «зимнюю помощь». Говорилось так: никто не должен голодать, никто не должен мерзнуть. Я же держался за свой барабан и окончательно покорился одиночеству, работая над истончившейся под ударами палочек белой некогда жестью. По вечерам мы с Мацератом сидели друг против друга, он листал свои поваренные книги, я изливал жалобы на своем инструменте. Иногда Мацерат плакал, уронив голову на поваренные книги. Ян Бронски бывал у нас все реже. Учитывая политические обстоятельства, мужчины пришли к выводу, что надо соблюдать сугубую осторожность, кто его знает, как оно все обернется. Поэтому вечера со скатом и с меняющимся третьим игроком устраивались все реже, а если и устраивались, то в поздний час, без разговоров о политике, у нас в гостиной, под висячей лампой. Бабушка моя Анна, казалось, начисто забыла дорогу из Биссау к нам, на Лабесвег. Она сердилась на Мацерата, возможно, сердилась и на меня, я ведь сам слышал, как она говорит: «Моя Агнешка, она померла, ей из-за этого барабана больше жить не хотелось».

Пусть даже и повинный в смерти матушки, я тем судорожнее цеплялся за свой охаянный барабан, он ведь не умирал, как умирают матери, барабан можно купить новый либо отдать в починку старому Хайланду или часовщику Лаубшаду, барабан меня понимал, на все давал правильный ответ и держался за меня, как я держался за него.

В тот период, когда собственное жилище становилось для меня слишком тесным, улицы — слишком короткими либо слишком длинными для моих четырнадцати лет, когда в течение дня мне ни разу не представлялась возможность разыграть искусителя перед витриной, а по вечерам само искушение не получалось достаточно сильным, чтобы изображать правдоподобного искусителя, в темной подворотне, я, задавая такт, топал на пятый этаж, отсчитав по пути сто шестнадцать ступеней, делал остановку на каждом этаже, ловя носом запахи, которые просачивались через все пять дверей на каждой лестничной площадке, потому что запахам, как и мне самому, было слишком тесно в двухкомнатной квартире.

Поначалу мне хоть изредка да везло с трубачом Мейном. Валяясь в пьяном виде на чердаке между сохнущих простынь, он мог на удивление музыкально дышать в свою трубу, доставляя тем великую радость моему барабану. В мае тридцать восьмого Мейн отказался от можжевеловки, возвестив людям: «Сейчас начнется новая жизнь». После этого он стал членом музыкантской роты при кавалерийских частях штурмовиков. В дальнейшем я мог наблюдать, как он в сапогах и с подбитым кожей задом за один шаг одолевает на лестнице сразу пять ступенек. Четверых кошек, из которых одна звалась Бисмарк, он держал по-прежнему, ибо, как можно было предположить, можжевеловка порой торжествовала и настраивала его на музыкальный лад.

Лишь изредка я стучал в двери часовщика Лаубшада, тихого человека среди сотен шумливых часов. Но столь расточительное обращение со временем я мог себе позволить не более раза в месяц.

Старик Хайланд по-прежнему держал свою берлогу во дворе доходного дома. И по-прежнему он прямил кривые гвозди. И еще были, как в прежние времена, кролики и крольчата от кроликов. Только ребятня во дворе стала другая. Теперь они ходили

в мундире, при черном галстуке и не варили больше супов из кирпичной пыли. Пришло другое поколение, а мое уже одолело школу и пошло в ученье: Нухи Эйке стал парикмахером, Аксель Мишке собирался стать сварщиком на Шихауской верфи, Сузи Катер училась на продавщицу в торговом доме Штернфельд и у нее уже был постоянный кавалер. До чего все может измениться за какие-нибудь три-четыре года. Правда, во дворе по-прежнему стояла перекладина, чтобы выбивать ковры, и в домовом распорядке так и было записано: вторник и пятница — выбивание ковров, но в эти два дня раздавались только редкие и какие-то смущенные удары: с тех пор как Гитлер пришел к власти, в хозяйствах появлялось все больше и больше пылесосов, перекладины стояли в одиночестве и годились теперь лишь под воробьев.

Словом, мне оставалась только лестничная клетка да еще чердак. Под черепичной крышей я читал мои испытанные книги, а на лестнице, когда хотел пообщаться с людьми, стучал в первую дверь слева на третьем этаже. Мамаша Тручински всегда мне открывала. С тех пор как на Брентауском кладбище она держала меня за руку и за руку же подвела к гробу моей бедной матери, она открывала всякий раз, когда перед ее дверью возникал Оскар со своими палочками.

— Только не барабань так громко, Оскархен. Герберт-то наш спит, потому как ночь у него опять выдалась крутая и пришлось его на машине везти домой.

После этих слов она затягивала меня к себе в квартиру, наливала солодового кофе с молоком, а впридачу давала кусочек коричневого леденца на ниточке, чтоб макать и облизывать. Я пил, сосал леденец, а барабан не трогал.

У мамаши Тручински была маленькая, круглая головка, обтянутая тонкими пепельно-седыми волосами до того скудно, что сквозь них светилась розовая кожа. Жидкие пряди стремились к дальней точке на ее затылке и там образовывали узел, который, несмотря на малые размеры — меньше бильярдного шара, — был виден с любой стороны, как она ни крутилась, как ни вертелась. Держался этот узел с помощью вязальных спиц. Свои круглые, казавшиеся накладными — когда она смеялась — щечки мамаша Тручински каждое утро натирала оберткой от пачки цикория, обертка была красная и линючая. Взгляд у мамаши Тручински был, как у мыши, четверо ее детей звались: Герберт, Густа, Фриц, Мария.

Мария была одних со мной лет, только что окончила начальную школу и теперь жила и училась на экономку в Шидлице, в чиновничьей семье. Фриц, работавший на вагонном заводе, дома появлялся редко. При нем всегда было две-три девушки, которые стелили ему постель и с которыми он ходил в Ору на танцы. Во дворе нашего дома он держал кроликов, голубых венских, но заботы о кроликах падали на мамашу Тручински, потому что у Фрица и без того хватало дел с многочисленными девушками. Густа, симпатичная особа лет примерно тридцати, служила горничной в отеле «Эдем» у главного вокзала. Будучи все еще не замужем, она, как и положено персоналу первоклассного отеля, жила там же, в верхнем этаже многоэтажного здания. И наконец, Герберт, старший из всех, единственный, кто жил вместе с матерью, — если, конечно, не считать редких ночевок монтера Фрица, — служил кельнером в портовом пригороде Нойфарвассер. Речь здесь пойдет именно о нем. Потому что после смерти моей матушки Герберт был короткое, но счастливое время целью моих устремлений, да я и по сей день называю его своим другом.

Герберт служил у Штарбуша. Так звали хозяина, которому принадлежал трактир «У шведа». Он был расположен напротив протестантской церкви для моряков, и посетители его, как легко угадать по названию, были по большей части скандинавы. Впрочем, захаживали туда и русские, и поляки из Вольного города, и грузчики из Хольма, и матросы только что пришедшего с визитом из германского рейха боевого корабля. Служить кельнером в этом, можно сказать, европейском трактире было отнюдь не безопасно, и лишь опыт, которого Герберт поднабрался в «Бегах Ора» — прежде чем перекочевать в Фарвассер, Герберт послужил какое-то время кельнером в этой третьеразрядной танцульке, — дал ему возможность в вавилонском смешении языков, царящем «У шведа», утвердить свой нижненемецкий диалект из пригорода, перемешанный с вкраплениями польского и английского. И однако же раз или два раза в месяц его доставляла домой санитарная машина, хоть и против его воли, зато бесплатно.

Тогда Герберту приходилось лежать на животе, громко пыхтеть — потому что весу в нем было килограммов сто — и несколько дней обременять своей тяжестью кровать. По этим дням мамаша Тручински бранилась без передышки, по этим же дням неутомимо заботилась о нем и, завершив очередную перевязку, всякий раз указывала выдернутой из волос спицей на отретушированный снимок под стеклом, как раз напротив кровати, а изображал этот снимок мужчину с серьезным и неподвижным взглядом, усатого и весьма походившего на часть тех усачей, что населяют первые страницы моего фотоальбома.

Однако господин, на которого указывала спица мамаши Тручински, не принадлежал к числу членов моей семьи, а был вовсе даже отцом Герберта, Густы, Фрица и Марии.

— Ты еще когда-нибудь кончишь так, как кончил твой отец, — язвительно шипела она на ухо пыхтящему и стонущему Герберту, но так ни разу и не сказала, где и когда этот мужчина обрел — или, может быть, отыскал — свой конец.

— Ну и кто это был на этот раз? — допытывалась седенькая мышка поверх скрещенных рук.

— Да как всегда, шведы и норвежцы, — Герберт поворачивался, и кровать его кряхтела.

— Как всегда, как всегда! Не делай вид, будто это вечно шведы или норвежцы, вот давеча это были ребята с учебного судна, как его звали-то, дай Бог памяти, ну да, со «Шлагетера», ну вот, а ты мне знай талдычишь про шведов и про норвежцев.

Ухо Герберта — лица я видеть не мог — залилось краской до самого края.

— Гады, вечно из себя строят незнамо что и нос дерут.

— Ну и не лезь к ним, не твое это вовсе дело. В городе, когда они сойдут на берег, вид у них вполне приличный. Ты небось опять разводил разговоры про Ленина или совал нос в испанскую войну?

Герберт ничего больше не отвечал, и мамаша Тручински затрюхала на кухню к своему кофе.

Как только спина у Герберта подживала, мне разрешалось ее разглядывать. Герберт садился на кухонный стул, сбрасывал с плеч помочи, которые падали на синее сукно, обтягивавшее его ляжки, и медленно, словно тяжелые мысли ему мешали, снимал шерстяную рубашку.

Спина была круглая и подвижная. По ней неустанно перекатывались мускулы. Розовый ландшафт, усеянный веснушками. Пониже лопаток по обе стороны утопающего в жире позвоночника кустились рыжие волосы. Они кудрявились вниз по спине, пока не исчезали в подштанниках, которые Герберт носил даже летом. А над краем подштанников и вверх до мускулов шеи спину Герберта покрывали рубцы, вздутые, мешающие росту волос, прерывающие россыпь веснушек, оставляющие вокруг себя складки, зудящие перед переменой погоды, многоцветные — от иссиня-черных до зеленовато-белых. И вот эти рубцы мне было дозволено трогать.

Была ли у меня, лежащего в постели, глядящего в окно невидящим взглядом, вот уже несколько месяцев созерцающего хозяйственные постройки специального лечебного заведения, а за ними Оберратский лес, была ли у меня до этого дня возможность потрогать что-нибудь столь же твердое, столь же чувствительное и столь же туманящее разум, как рубцы на спине у Герберта Тручински? Разве что некоторые части тела у некоторых девушек и дам, да еще мой собственный член, да еще гипсовую поливалочку у младенца Иисуса, да тот безымянный палец, который без малого два года назад собака притащила с ржаного поля и который целый год мне дозволялось хранить, правда, только в банке и чтоб не трогать, но зато я так отчетливо его видел, что до сих пор могу ощутить и отсчитать каждый суставчик того пальца, дайте мне только взяться за мои палочки. Всякий раз, когда мне хотелось вспомнить про спину Герберта Тручински, я начинал барабанить, барабанным боем взбадривать свою память, сидя перед банкой с пальцем. Всякий раз — а это случалось весьма редко,— изучая тело женщины, я, не до конца убежденный его похожими на рубцы частями, возвращался мыслями к рубцам Герберта Тручински. С тем же успехом я мог бы сказать и по-другому: первые прикосновения к этим вздутиям на необъятной спине моего друга уже тогда сулили мне знакомство и временное обладание теми затвердениями, которые ненадолго появляются у открытых для любви женщин. Одновременно знаки на спине у Герберта уже в тот ранний период сулили мне в будущем заспиртованный указательный палец, но еще задолго до рубцов Герберта, еще с третьего дня рождения барабанные палочки сулили мне рубцы, органы размножения и, в конце концов, указательный палец.

Хочу, впрочем, вернуться к временам еще более отдаленным: даже будучи зародышем, когда Оскар еще не стал Оскаром, игра с собственной пуповиной поочередно сулила мне то барабанные палочки, то рубцы Герберта, то при случае разверзающиеся кратеры дам помоложе и дам постарше, то безымянный палец и снова — начиная с поливалки младенца Иисуса — мой собственный член, который я неизменно таскаю при себе как капризный символ моего бессилия и ограниченных возможностей.

Сегодня я вновь обратился к барабанным палочкам. К рубцам и мягким частям тела, к моей собственной снасти, лишь время от времени демонстрирующей прилив силы, я пришел окольным путем воспоминаний, предписываемых мне моим барабаном. Чтобы получить возможность еще раз отпраздновать свой третий день рождения, я должен достичь тридцати лет. Вы, верно, уже догадались: высшая цель Оскара

— возвращение к пуповине; ради этого затеяна вся история, ради этого — возвращение к рубцам и шрамам Герберта Тручински.

Прежде чем продолжить описание и расшифровку спины моего друга, я должен заявить, что, если не считать следов от укуса на левой голени, нанесенного зубами одной проститутки в Оре, на передней стороне его мощного, довольно уязвимого, словом, представляющего собой отличную мишень тела вообще никаких рубцов не было. Враги могли подступиться к нему только со спины. Только со спины он был уязвим, только спину разметили финские и польские ножи, выкидные ножи портовых грузчиков со Шпайхеринзель и ножи для парусов, принадлежащие кадетам с учебных кораблей.

Когда Герберт, бывало, поест — три раза в неделю у них подавались картофельные оладьи, которые никто не мог почти без жира сделать такими тонкими и все же такими хрустящими, как мамаша Тручински, — короче, когда он отодвигал тарелку в сторону, я подавал ему «Новейшие вести». Он сбрасывал с плеч подтяжки, вылуплялся из своей рубашки и разрешал мне выспрашивать свою спину, покуда сам он занимался чтением. Во время этого часа вопросов-ответов мамаша Тручински тоже по большей части сидела за столом, распутывая шерстяную пряжу из старых чулок, сопровождая всю процедуру одобрительными либо уничижительными репликами и не упуская случая время от времени напоминать об ужасной — как можно догадаться — смерти ее мужа, который, сфотографированный и отретушированный, висел под стеклом на стене как раз напротив Гербертовой кровати.

Опрос начинался, когда я тыкал пальцем в один из рубцов. Иногда вместо пальца я тыкал барабанной палочкой.

— Нажми-ка еще разочек. Не пойму, про какой ты спрашиваешь. Не иначе он у меня сегодня спит.

И я нажимал еще раз, повыразительнее.

— Ах, этот! Это был украинец. Они сцепились с одним типом из Гдингена. Сперва сидели за одним столом все равно как братья. А потом который из Гдингена сказал украинцу: русский. Украинец этого стерпеть не мог, его как хочешь назови, только чтоб не русский. Они спустились вниз по Висле с лесом, а до того прошли две других реки, и у него была прорва денег в сапоге, и полсапога он уже спустил у Штарбуша, всем ставил выпивку, а тут ему говорят: русский, и мне приходится их разнимать, культурненько, как я всегда разнимаю. А дел у меня и без того полно, и тут украинец мне говорит, полячишка ты, говорит, а другой поляк, который землечерпалкой цельный день вынимает тину, тот чего-то мне еще сказал вроде как «наци». Ну, Оскархен, ты-то ведь знаешь, каков у нас Герберт Тручински, а который с землечерпалки, бледный такой тип вроде кочегара, тоже у меня в два счета улегся перед гардеробом, а сам я только было собрался объяснить украинцу, какая разница между полячишкой и данцигским хлопцем, как он взял да и подколол меня сзади: вот этот самый рубец и есть.

Когда Герберт произносил «вот этот самый рубец и есть», он всякий раз, как бы в подтверждение своих слов, переворачивал страницу газеты и отхлебывал глоток солодового кофе, прежде чем мне дозволялось раз или два нажать на очередной рубец.

— Ах, этот! Ну, он совсем ерундовый. Это было, когда года два назад флотилия торговых катеров из Пилау стала здесь на якорь. Они тут корчили из себя... Играли «Синие мундиры», все девки по ним прямо с ума посходили. Как этот забулдыга попал на флот, мне и по сей день непонятно. Он из Дрездена был, ты только подумай, Оскархен, из Дрездена. Впрочем, ты и ведать не ведаешь, что это такое, когда моряк оказывается родом из Дрездена.

Чтобы отвлечь мысли Герберта, которые упорно возвращались к прекрасному городу на Эльбе, и переместить их в Нойфарвассер, я еще раз нажал на этот, как он полагал, ерундовый рубец.

— Ну да, я уже говорил. Он был сигнальщик на торпедном катере, изображал из себя крутого парня и хотел всласть покуражиться над одним тихим таким шотландцем, чья посудина стояла в сухом доке. Насчет Чемберлена, зонтика и тому подобное. Я ему спокойненько посоветовал — ты ведь знаешь, я такой,— посоветовал заткнуться, тем более шотландец ни слова не понимал и только разводил шнапсом узоры на столешнице. А как я ему сказал, уймись, говорю, сынок, ты не у себя дома, тут у нас Лига Наций, этот придурок с торпедного и говорит мне, немец ты, говорит, трофейный, да еще говорит-то на своем саксонском диалекте, ну, конечное дело, он тут и схлопотал у меня по морде и сразу успокоился. А спустя эдак с полчасика — я как раз нагнулся за гульденом, что упал под стол, — саксонец вытащил свою колючку, да как кольнет!

Герберт, смеясь, продолжал листать «Новейшие вести» и сказал еще:

— А вот он и есть, этот рубец. — После чего придвинул газету бормочущей себе под нос мамаше Тручински и изготовился встать. Но прежде чем Герберт уйдет в сортир — я по его лицу видел, куда он собрался, недаром он уже протискивался вверх над краем стола,— я быстро ткнул в лилово-черный зашитый шрам, шириной с длинную сторону игральной карты.

— Мальчик, Герберту нужно в сортир, а потом я все тебе расскажу.

Но я все тыкал и тыкал и, топоча ногами, изображал из себя трехлетку: это всегда помогало.

— Ну ладно. Чтоб ты отвязался. Но только коротко. — И Герберт снова сел. — Было это в тридцатом году на Рождество. В порту все затихло. Грузчики стояли на каждом углу и соревновались, кто дальше плюнет. После полуночной мессы — а у нас уже и пунш был готов — из моряцкой церкви, что напротив, потекли причесанные, все в синем и в лаке шведы и финны. Я сразу почувствовал, что дело пахнет керосином, стою себе в дверях, гляжу на эти уж до того благочестивые рожи, думаю, чего это они все пуговицы теребят,— а тут оно и началось. Ножи-то длинные, а ночь-то короткая! Ну финны и шведы, они и всегда не больно жаловали друг дружку. Только причем здесь Герберт Тручински, я, хоть убей, не пойму. Просто он такой заводной. Где какая каша заварится — а он уже тут как тут, словно его шилом кольнуло. Я прыг от дверей, а Штарбуш мне и кричит вдогонку: «Осторожней, Герберт!», но и у Герберта есть своя боевая задача, он хочет вызволить пастора, щуплый такой парнишка, только-только приехал из Мальмё, из семинарии, и ни разу еще не служил рождественскую мессу с финнами и шведами в одной церкви, Герберт хочет ему помочь, чтобы тот живехонек и здоровехонек вернулся домой, но не успел я ухватить божьего человека за суконце, как у меня уже в спине что-то торчало. Я еще подумал: «С Новым годом вас!», хотя на дворе было Рождество. А как пришел в себя, лежу это я у нас прямо на стойке, и моя распрекрасная кровь задаром льется в пивные кружки, и Штарбуш уже спешит с аптечкой от Красного Креста и желает оказать мне так называемую первую помощь.

— И чего было соваться? — рассердилась мамаша Тручински и выдернула спицу из своего пучка. — Сам-то ведь никогда в церковь не ходил. Наоборот даже.

Герберт отмахнулся, затем, не поднимая подтяжек и волоча за собой рубашку, побрел в уборную. Сердито побрел и сердито сказал по дороге: «Вот он, этот шрам», словом, двинулся в путь так, словно этим походом хотел раз и навсегда отмежеваться от церкви и связанной с ней поножовщины, словно сортир был именно тем местом, где человек становится вольнодумцем либо укрепляется в своем вольнодумстве.

Несколько недель спустя я застал Герберта неразговорчивым и не готовым отвечать на вопросы. Мрачным показался он мне, хотя на спине у него и не было привычной повязки. Более того, я увидел, что он вполне нормально лежит на спине, в гостиной, на софе, а не как раненый в своей постели, но тем не менее он производил впечатление тяжелораненого. Я слышал, как Герберт вздыхает, как он обращается к Богу, к Марксу и к Энгельсу и клянет все на свете. Время от времени он выбрасывал кверху кулак, потом ронял его на грудь, проделывал то же с другим кулаком, словом, бил себя в грудь, словно католик, когда он кричит: «Mea culpa, mea maxima culpa!»[1]

Герберт, оказывается, убил одного латвийского капитана. Впрочем, суд оправдал Герберта — он, как это часто бывает у людей его профессии, действовал в пределах необходимой обороны. Но латыш, несмотря на оправдательный приговор, так и остался мертвым латышом и лег на кельнера тяжким грузом, хотя люди говорили, что это был щуплый человек, да еще с больным желудком.

На работу Герберт больше не ходил. Он уволился. Хозяин трактира Штарбуш часто заглядывал к нему, садился на софу либо к мамаше Тручински за кухонный стол, доставал из портфеля булытку можжевеловки для Герберта, а для мамаши полфунта необжаренных кофейных зерен родом из Вольной гавани. Потом он пытался либо уговорить Герберта, либо уговаривал мамашу Тручински уговорить своего сына. Но Герберт оставался тверд — либо мягок, можно называть и так и эдак, — и служить кельнером больше не желал, а уж тем паче — в Нойфарвассере, напротив моряцкой церкви. И вообще не желал больше служить кельнером. Кто служит кельнером, того режут ножом, а кого режут ножом, тот рано или поздно убьет маленького латвийского капитана только потому, что захочет оттолкнуть этого капитана, только потому, что не захочет, чтобы латвийский нож наряду со всеми финскими, шведскими, польскими, вольногородскими и имперскими ножами прибавил латвийский шрам на вдоль и поперек исполосованной спине некоего Герберта Тручински.

— Уж лучше я пойду в таможенники, чем снова заделаюсь кельнером в Нойфарвассере, — сказал Герберт.

Но он не пошел в таможенники.

[1] Мой грех, мой тягчайший грех (*лат.*).

Ниобея

В тридцать восьмом году были повышены таможенные пошлины и временно закрыты границы между Польшей и Вольным городом Данциг. Теперь моя бабушка не могла по базарным дням приезжать на пригородном поезде в Лангфур, и ей пришлось закрыть свою палатку. Она, если можно так выразиться, осталась сидеть на своих яйцах, не имея, однако, особого желания их высиживать. В порту возносилась к небу вонь от селедок, товар копился, государственные мужи проводили встречи и были едины в своих решениях, только мой безработный друг Герберт страдал разочарованностью, лежа на софе, и как истинный мыслитель предавался раздумьям.

Между тем таможня давала жалованье и давала хлеб. Еще она давала зеленые мундиры и зеленую границу, которую стоило охранять. Герберт не пошел в таможню, Герберт не вернулся в кельнеры, Герберт желал лежать на софе и размышлять.

Но у человека должна быть работа. Не одна мамаша Тручински так думала. Она хоть и не пыталась по наущению хозяина Штарбуша уговорить Герберта снова начать в Фарвассере, зато она тоже считала, что Герберта надо поднять с софы. Да ему и самому прискучила их двухкомнатная квартира, он размышлял теперь только для виду, в один прекрасный день начал читать объявления в «Новейших вестях», и — хоть и не без отвращения — в «Форпосте», отыскивая работу в порту.

Я был бы рад ему подсобить. Разве такому человеку, как Герберт, нужно, кроме достойных его занятий в портовом пригороде, искать источники побочных доходов? Поиски места, случайная работенка, закапывание протухших селедок? Я не мог представить себе Герберта, стоящего на молу, плюющего на чаек, балующегося табачком. У меня возникла идея, я вполне мог бы создать вместе с Гербертом совместное предприятие: два часа напряженнейшей работы раз в неделю или даже в месяц — и мы стали бы обеспеченными людьми. Оскар, приобретший большой опыт в этой сфере, мог бы своим все еще алмазным голосом взрезать витрины с достойной внимания выкладкой, а заодно стоял бы на стреме, Герберт же тотчас, как это говорят, оказывался бы под рукой. Нам не понадобились бы сварочные аппараты, дубликаты ключей, ящики с инструментами. Мы обходились бы без кастета и без огнестрельного оружия. «Черный ворон» и мы — это были два отдельно существующих мира, которым не к чему соприкасаться. А Меркурий, бог торговли и воровства, благословил бы нас, ибо я, рожденный под знаком Девы, обладал его печатью, которой при случае припечатывал твердые предметы.

Не имеет смысла замалчивать данный эпизод. Изложу его вкратце — и не надо считать это добровольным признанием: Герберт и я за то время, пока он ходил без работы, предприняли два обычных масштабов вторжения в деликатесные лавки и одно чрезвычайное — в меховой магазин: три чернобурки, одна нерпа, одна каракулевая муфта и красивое, хоть и не слишком дорогое пальто из жеребка, которое, наверное, с превеликим удовольствием носила бы моя бедная матушка, — так выглядел наш улов.

И если мы в дальнейшем отказались от хищений, то не столько из-за неуместного, однако же временами докучливого чувства вины, сколько из-за растущих трудностей со сбытом нашего улова. Чтобы выгодно продать добро, Герберту надо было снова ездить в Нойфарвассер, ибо только в портовом пригороде водились подходящие посредники. Но поскольку упомянутая местность снова и снова напоминала ему о щуплом и страдающем болезнью желудка латвийском капитане, он сбагривал наше добро где попало: на Шихаугассе, у Хакелевского завода, на Бюргервизен, везде — только не в Фарвассере, где меха ушли бы за милую душу. Вот почему сбыт добычи настолько затягивался, что товары из деликатесных лавок оседали в конце концов на кухне у мамаши Тручински, и даже каракулевую муфту он ей подарил, вернее — пытался подарить.

Завидев муфту, мамаша Тручински настроилась на серьезный лад. Хотя она безропотно принимала продукты, думая, может быть, о не запрещенной законом краже для утоления голода, но муфта означала роскошь, а роскошь означала легкомыслие, а легкомыслие означало тюрьму. Так просто — и так верно — рассуждала мамаша Тручински, она сделала мышиные глазки, выдернула спицу из своего узелка волос и сказала со спицей в руках: «Ты еще кончишь так же, как кончил твой отец», после чего подсунула Герберту не то «Новейшие вести», не то «Форпост», что, если выразить словами, означало: а сейчас ты пойдешь и подыщешь себе приличное место, не какую-нибудь там случайную халтурку, не то я для тебя стряпать не стану.

Герберт еще с неделю провалялся на диване, предназначенном для размышлений, брюзжал и не желал беседовать ни о рубцах, ни об искушении многообещающих витрин. Я отнесся к своему другу с полным пониманием, дал ему возможность избыть до дна остатки душевных терзаний, сам околачивался у часовщика Лаубшада,

среди его пожирающих время часов, еще раз попытал счастья у музыканта Мейна, но этот не позволял себе больше ни единой рюмашки, скакал со своей трубой лишь по нотам кавалерийской капеллы штурмовиков, был с виду ухоженный и бодрый, тогда как четыре его кошки, пережиток хоть и запойных, но чрезвычайно музыкальных времен, хирели от плохого питания. Зато Мацерата, который, пока жива была матушка, выпивал только за компанию, я частенько заставал по вечерам с остекленелым взглядом за маленькой стопочкой. Он листал альбом с фотографиями, как делаю сейчас я, пытаясь оживить бедную матушку на маленьких, лучше или хуже освещенных квадратиках, к полуночи приходил от слез в должное настроение и взывал то к Гитлеру, то к Бетховену, которые по-прежнему мрачно висели друг против друга, взывал, переходя на доверительное «ты», и вроде бы получал ответ от глухого гения, в то время как трезвенник фюрер помалкивал, ибо Мацерат, мелкий, пьяный целленляйтер, был недостоин забот провидения.

В один из вторников — такие точные воспоминания дарует мне барабан — дело вызрело само собой. Герберт вырядился, иными словами, позволил мамаше Тручински вычистить холодным кофе синие, узкие сверху, широкие внизу брюки, втиснулся в свои тихоступы, влился в пиджак с якорными пуговицами, опрыскал белое шелковое кашне, добытое им в Вольной гавани, одеколоном, который в свою очередь возрос на беспошлинном перегное той же гавани, и вскоре возник перед нами квадратный и неподвижный, под синей фуражкой.

— Пойду погляжу, как там насчет халтурки, — и хлопком, для вящего удальства, сдвинул влево фуражку памяти принца Генриха. Мамаша Тручински опустила газету.

Уже на другой день у Герберта появилась и служба, и форма. Он теперь ходил в темно-сером, а не в таможенно-зеленом; он стал смотрителем при Морском музее.

Как и все достойное сохранения в этом самом по себе достойном сохранения городе, сокровища Морского музея заполняли старинный, тоже музейного вида, патрицианский дом, сохранивший спереди каменное крыльцо и причудливый, хотя и сочный орнамент на фасаде, а внутри — резьбу по темному дубу и винтовые лестницы. Здесь демонстрировали специально увековеченную в каталогах историю торгового города, неизменно ставившего себе в заслугу умение среди множества могущественных, но по большей части бедных соседей достичь немыслимого богатства и, достигнув, сохранить. О эти выкупленные у орденских магистров и польских королей, увековеченные в грамотах привилегии! Эти пестрые гравюры — изображение многочисленных осад, которым подвергалась морская крепость в устье Вислы! Вот в стенах города пребывает несчастный Станислав Лещинский, спасаясь от саксонского короля. Картина маслом отчетливо показывает, до чего ему страшно. И примас Потоцкий, и французский посланник де Монти ужас как боятся, ибо русские под предводительством генерала Ласки осадили город. Все это точнейшим образом описано, и названия стоящих на рейде французских кораблей под флагом с лилиями тоже вполне можно прочесть. Стрелка указывает: на этом корабле король Станислав Лещинский бежал в Лотарингию, когда третьего августа город пришлось сдать. Однако большую часть выставленных экспонатов составляли трофеи, привезенные с победоносных войн, ибо войны проигранные лишь очень редко, а то и вовсе никогда не передают музеям трофеи.

Гордость собрания составляла галионная фигура с флорентийского галеаса, который хоть и был приписан к порту Брюгге, принадлежал двум уроженцам Флоренции, купцам Портинари и Тани. Данцигским пиратам и капитанам Паулю Бенеке и Мартину Бардевику удалось в апреле одна тысяча четыреста семьдесят третьего года, курсируя у зеландского берега перед гаванью Слагельсе, взять этот галеас. Сразу после захвата они прикончили многолюдную команду вкупе с офицерами и капитаном, а самое судно и его содержимое были доставлены в Данциг. Складень с «Страшным судом» художника Мемлинга и золотая крестильница — то и другое по заказку флорентийца Тани изготовлено для одной флорентийской церкви — были выставлены в Мариенкирхе; сколько мне известно, «Страшный суд» и по сей день услаждает католическое око Польши. Что сталось с галионной фигурой после войны, покамест не выяснено. В мое же время ее хранил Морской музей.

Пышная деревянная зелено-голая баба, которая из-под воздетых рук, небрежно скрещенных и демонстрирующих все пальцы поверх целеустремленных грудей, смотрит прямо перед собой янтарными глазами. И вот эта баба, эта галионная фигура приносила несчастье. Заказывал ее купец Портинари, велев воспроизвести пропорции фламандской девушки, любезной его сердцу, некоему резчику по дереву, составившему себе имя на изготовлении подобного рода фигур. Но едва зеленая фигура возвысилась над бугшпритом галеаса, самое девушку, как тогда было заведено, обвинили в колдовстве. А прежде чем ей сгореть ясным пламенем, она под пыткой показала на своего покровителя, флорентийского купца, и уж заодно — на скульптора,

который так хорошо воспроизвел ее размеры. Портинари, говорят, повесился, поскольку боялся костра, а скульптору отрубили его даровитые руки, дабы ему впредь было неповадно. Процесс в Брюгге, привлекший к себе большое внимание, ибо Портинари был очень богатый человек, еще не подошел к концу, как судно с галионной фигурой угодило в руки пиратской шайки Пауля Бенеке. Когда его брали на абордаж, синьор Тани, второй купец, рухнул под ударами пиратского топора, да и сам Пауль Бенеке вскоре за ним последовал: через несколько лет патриции родного города сочли его недостойным помилования и утопили во дворе, рядом с Ярусной башней. Суда, на которые после смерти Бенеке водружали эту фигуру, сгорали еще в гавани, сразу же после сборки, и вдобавок перебрасывали огонь на другие суда, кроме фигуры, разумеется, — фигура была неуязвима для огня, а благодаря своим соразмерным пропорциям она снова и снова находила любителей среди судовладельцев. Но стоило этой бабе занять свое место на носу корабля, как у нее за спиной поднимался бунт среди доселе миролюбивой команды, отчего численность команды изрядно уменьшалась. Бесславный поход данцигского флота против Дании под водительством весьма способного Эберхарда Фербера в году одна тысяча пятьсот двадцать втором привел к падению Фербера и кровавой смуте в самом городе. История, правда, толкует о религиозных разногласиях — в двадцать третьем году протестантский пастор Хегге повел толпу иконоборцев на штурм семи приходских церквей города, — мы же возложим вину за это столь затянувшееся бедствие на галионную фигуру: именно она украшала бугшприт ферберовского корабля.

Когда пятьюдесятью годами позже Стефан Баторий тщетно осаждал город, Каспар Йешке, настоятель Оливского монастыря, прямо обвинил во всем галионную фигуру, эту греховную бабу. Король поляков получил ее от города в дар, увез к себе на бивуак и внимал ее плохим советам. До какой степени деревянная дама воздействовала на шведские походы против города, на многолетнее заточение религиозного фанатика доктора Эгидиуса Штрауха, который вел тайные переговоры со шведами и настаивал на предании огню зеленой бабы, снова возвратившейся в город, нам неизвестно. Если верить недоказанным слухам, бежавший из Силезии поэт по имени Опиц на несколько лет нашел приют в городе, однако умер до срока, ибо набрел в каком-то складе на пагубную фигуру и попытался воспеть ее в стихах.

Лишь ближе к концу восемнадцатого века, в период разделов Польши, пруссаки, которым пришлось брать город силой, издали королевско-прусский запрет на «деревянную Ниобею». Впервые ее документально назвали по имени и одновременно эвакуировали или, вернее, заточили в Ярусную башню, именно во дворе которой был утоплен Пауль Бенеке, именно с галереи которой я впервые — и успешно — опробовал действие своего голоса на расстоянии, заточили с тем, чтобы она подле изысканнейших образцов человеческой фантазии, то есть орудий пыток, спокойно пережила девятнадцатый век.

Но когда в тридцать втором году я влез на Ярусную башню и своим голосом поразил окна в фойе Городского театра, Ниобею, именуемую в народе Зеленая Маричка или Марья Зеленая, уже много лет назад, благодарение Богу, удалили из башенной камеры пыток. Поди знай, удалась бы мне в противном случае атака на классическое строение или нет.

То был, верно, неосведомленный, пришлый директор музея, который извлек Ниобею из благотворно действующей на нее камеры пыток и, вскоре после образования Вольного города, поместил ее во вновь основанный Морской музей. Вскоре этот энтузиаст умер от заражения крови, которое заработал, прикрепляя табличку с надписью, что здесь выставлена галионная фигура, откликающаяся на имя Ниобея. Его преемник, осмотрительный знаток городской истории, пожелал вновь спровадить Ниобею куда-нибудь подальше. Он надумал подарить эту опасную деревянную девицу городу Любеку, и лишь потому, что любекцы отвергли сей дар, город в устье Траве, если не считать его кирпичных церквей, вполне благополучно пережил бомбардировки.

Ниобея, она же Зеленая Маричка, так и осталась в музее и за период без малого четырнадцать лет споспешествовала смерти двух директоров, не того осмотрительного — тот получил по собственной просьбе перевод в другое место, гибели у ее ног престарелого священнослужителя, насильственного ухода из жизни одного студента Технического института, двух старшеклассников из Петровской гимназии, только что успешно сдавших экзамены на аттестат зрелости, и четырех вполне достойных, по большей части женатых смотрителей.

Всех их, включая студента, обнаружили с просветленными лицами и вонзенными в грудь острыми предметами той разновидности, которую можно найти лишь в Морском музее: резаки для парусов, абордажные крючья, гарпуны, тонкой чеканки наконечники копий с Золотого берега, иглы для сшивания парусов; только послед-

ний гимназист прибег сперва к перочинному ножу, а уж потом — к обычному школьному циркулю, ибо незадолго до его смерти все острые экспонаты были либо прикреплены цепями, либо упрятаны под стекло.

Хотя криминалисты из комиссии по убийствам всякий раз твердили о трагическом самоубийстве, по городу и даже по страницам газет бродил слух, согласно которому «это все учиняет Зеленая Маричка собственными руками». На Ниобею пали серьезные подозрения, что именно она спровадила на тот свет мужчин и мальчиков. Шли жаркие дебаты, под тему «Ниобея» многие газеты учредили специальную колонку для свободного обмена мнениями; речь там шла о фатальных происшествиях. Городское управление толковало об устаревших суевериях: никто не намерен предпринимать опрометчивые шаги, покуда не будет доказано, что здесь действительно совершается нечто загадочное.

Вот почему зеленая деревяшка оставалась украшением музея, поскольку и Краеведческий музей в Оливе, и Городской на Флайшергассе, и дирекция Юнкерского двора наотрез отказались приютить у себя эту охочую до мужиков персону.

Музею не хватало смотрителей. И не только смотрители отказывались караулить деревянную деву. Даже посетители, и те стороной обходили зал с янтарноглазой. Долгое время за ренессансными окнами, которые давали пропорциональной скульптуре необходимое боковое освещение, царила тишина. Пыль оседала на ней. Уборщицы перестали сюда приходить. Некогда столь докучные фоторепортеры, из которых один вскоре после того, как навел свой объектив на галионную фигуру, умер хоть и естественной, но, учитывая сделанный перед этим снимок, не совсем понятной смертью, не только перестали поставлять фотографии убийственного творения газетам Вольного города, Польши, Германского рейха и даже Франции, но, напротив, уничтожили портреты Ниобеи в своих архивах, впредь же запечатлевали исключительно прибытие и убытие различных президентов, глав государств и королей в изгнании, жили под знаком стоящих в плане мероприятий — выставок домашней птицы, партсъездов в рейхе, автогонок и весенних паводков.

Так все и оставалось, пока Герберт Тручински, который не желал больше служить кельнером и ни за что не хотел идти в таможенники, в мышино-серой форме музейного работника не занял место на кожаном стуле перед входом в тот зал, который именовался в народе Маричкиной горницей.

В первый же рабочий день я проводил Герберта до остановки трамвая на Макс-Хальбе-плац. Я очень за него тревожился.

— Ступай назад, Оскархен! Я не могу тебя туда взять.

Но я вместе с моим барабаном и палочками так старательно мозолил Герберту глаза, что он наконец сказал:

— Ну уж ладно. Дойдешь со мной до Высоких ворот. А потом поедешь домой и не будешь озорничать.

Но у Высоких ворот я не пожелал возвращаться домой на пятом номере, и Герберт довел меня до улицы Святого духа, еще раз попробовал отвязаться от меня уже на крыльце, потом с тяжким вздохом купил для меня детский входной билет. Мне, правда, было уже четырнадцать, и я должен был проходить по взрослому билету, но их это не касалось.

Мы провели спокойный, дружественный день. Посетителей нет, контролировать нечего. Иногда я барабанил с полчасика, иногда Герберт задремывал на часик, Ниобея таращилась прямо перед собой янтарными глазами и устремляла свои груди к цели, которая отнюдь не была и нашей целью. Мы о ней почти и не думали.

— Вообще не в моем вкусе, — отмахивался Герберт, — ты глянь только на эти складки жира и на двойной подбородок.

Герберт чуть склонил голову к плечу и продолжал обследование.

— А эта поясница, это же шкаф двустворчатый, а Герберт, он уважает изящных дамочек, таких, знаешь ли, куколок.

Я слушал, как Герберт расписывает свои предпочтения по этой части, я наблюдал, как он своими мощными лапами лепит очертания стройной особы женского пола, которая долгое время, да, собственно, и по сей день, даже скрытая под сестринским халатом, остается для меня идеалом женщины.

Уже на третий день нашей службы в музее мы рискнули покинуть стул у дверей. Под предлогом уборки — а зал и в самом деле выглядел ужасно, — сметая пыль, паутину и сенокосцев с дубовых панелей и в прямом смысле слова пролагая путь к «чистой горнице Марички», мы приблизились к освещенной и отбрасывающей тени зеленой фигуре деревянной женщины. Нельзя сказать, будто Ниобея оставила нас совершенно равнодушными. Уж слишком наглядно она демонстрировала свою хоть и пышную, но отнюдь не бесформенную красоту. Но мы созерцали ее не глазами тех, кто стремится к обладанию. Скорей мы примеряли к себе роль трезвых, все взвесив-

ших знатоков. Герберт и я, два хладнокровных, холодно-восторженных эстета, измерили с помощью больших пальцев женские пропорции, приняв за классическую основу высоты восьмикратно повторенные размеры головы — этим требованиям Ниобея вполне соответствовала, если не считать коротковатых бедер, тогда как применительно ко всем поперечным размерам — таз, плечи, грудная клетка — она соответствовала канонам голландским, а не греческим.

Герберт опустил большой палец книзу:

— На мой вкус, она была бы слишком уж активная в постели. Такие сражения Герберт знает по Оре и по Фарвассеру. Мне не нужна женщина, которая меня эдаким потчует. — О да, Герберт был у нас человек опытный. — Вот будь она только чуть-чуть в теле, такая хрупкая, когда прямо страх берет из-за талии, вот тут бы Герберт не прочь.

Конечно, дойди оно до дела, мы бы против Ниобеи возражать не стали и против ее воинственной натуры — тоже. Герберт прекрасно понимал, что желанная или нежеланная пассивность или активность голых или полуодетых женщин вовсе не есть непременный дар стройных и грациозных, как не есть и непременный изъян полных или даже толстых; встречаются кроткие на вид девушки, которые секунды не полежат спокойно, и дородные тетехи, которые подобно сонным водам залива почти не имеют течения. Мы намеренно упрощали, намеренно сводили всю сложность к двум знаменателям и намеренно оскорбляли Ниобею, намеренно и все низкопробнее. Так, например, Герберт поднял меня на руки, чтобы я побарабанил у нее на груди, покуда облака древесной муки не посыпались из необитаемых благодаря опрыскиванию, но, однако же, многочисленных ходов древоточца. А когда я барабанил, мы оба глядели в куски янтаря, заменяющие ей глаза. Ничто не дрогнуло, не мигнуло, не пустило слезу. Ничто не сузилось угрожающе до дышащих ненавистью глаз-щелок. Полноценно, хотя исказив преломлением, оба шлифованных, скорее желтоватых, чем красноватых камня отразили обстановку зала и часть освещенных окон. Янтарь обманчив, кто же этого не знает? Вот и мы знали о коварстве этой возвышенной до уровня украшений смолы. И однако, продолжая с мужским недомыслием делить все женское по принципу активность-пассивность, мы истолковали безучастность Ниобеи в свою пользу и почувствовали себя уверенней. Герберт с наглым хмыканьем забил ей гвоздь в колено, в моем колене каждый удар отдавался болью, она же и бровью не повела. Каких только глупостей мы не вытворяли под взглядом этой зеленой деревяшки: Герберт накинул на себя шинель английского адмирала, вооружился подзорной трубой, встал под подходящую к случаю адмиральскую треуголку. А я с помощью аллонжевого парика и красной жилетки превратил себя в адмиральского пажа. Мы играли в Трафальгар, обстреливали Копенгаген, рассеивали флотилию Наполеона под Абукиром, обходили на парусах тот либо иной мыс, принимали исторические позы, потом снова вполне современные перед глазами этой, как мы полагали, все одобряющей или просто ничего не замечающей галионной фигуры с пропорциями голландской ведьмы.

Сегодня-то я знаю, что глядит решительно все, что ничему не дано остаться неувиденным, что даже у простых обоев память лучше, чем у человека. И это вовсе не всевидящий Боженька! Кухонного табурета, плечиков для одежды, наполовину заполненной пепельницы или деревянного изображения женщины по имени Ниобея вполне достаточно, чтобы для каждого поступка сыскались ничего не забывающие свидетели.

Четырнадцать дней, а то и еще дольше несли мы службу в Морском музее. Герберт подарил мне барабан и вторично принес мамаше Тручински недельное жалованье с надбавкой за опасность.

Но однажды во вторник, поскольку по понедельникам музей закрыт, мне отказались продать в кассе детский билет и вообще меня не пропустили. Герберт пожелал узнать причину. Мужчина в кассе хоть и ворчливо, но не без приветливости заговорил о поданной жалобе, и что пора этому положить конец, и что детей больше пускать нельзя. Отец мальчика против, то есть он не против, если я буду сидеть внизу у кассы, раз сам он, как хозяин лавки и как вдовец, не располагает временем, чтобы следить за сыном, но в зал, в Маричкину горницу, мне больше незачем, потому как безответственно.

Герберт уже готов был сдаться, но я толкал его, подначивал, и тогда он сказал, что, с одной стороны, кассир более чем прав, но с другой — я для него все равно как талисман, ангел-хранитель, он толковал о детской невинности, которая служит ему защитой, короче: Герберт, можно сказать, подружился с кассиром и добился, чтобы меня пропустили, в последний раз, как сказал кассир.

И вот, держась за руку своего большого друга, я еще раз поднялся по причудливой, как всегда свеженатертой винтовой лестнице на третий этаж, где обитала Ни-

обея. Выдалось тихое утро и еще более тихий день. Герберт сидел, полузакрыв глаза, на своем кожаном стуле с золотыми шляпками гвоздей. Я притулился у его ног. Барабан хранил молчание. Задрав голову, мы разглядывали военно-торговые судна, фрегаты, корветы, пятимачтовики, галеры и шлюпы, каботажные парусники и клиперы, которые висели под дубовой обшивкой потолка, дожидаясь попутного ветра. Мы изучали игрушечный флот, мы вместе с ним дожидались свежего бриза, мы боялись штиля, царившего в чистой горнице, и все это с единственной целью: чтоб не надо было глядеть на Ниобею и бояться ее. Ах, чего бы мы не отдали за трудовые шорохи жука-древоточца, которые доказали бы нам, что нутро зеленого дерева истачивается и пустеет, медленно, но неуклонно, что Ниобея тоже не вечна. Но ни один жучок не работал у нее внутри. Реставратор надежно защитил деревянное тело от жучка и тем обрек на бессмертие. И остались нам только модели кораблей да безрассудная надежда на попутный ветер, причудливая игра со страхом перед Ниобеей, которую мы отвергли, тщились не замечать и, может, даже позабыли бы, когда бы пополуденное солнце быстрым и метким ударом не поразило и не заставило вспыхнуть янтарь левого глаза.

Причем пожар этот отнюдь не должен был нас удивить. Мы уже изучили солнечные пополуденные часы на третьем этаже музея, знали, сколько пробило или сейчас пробьет, когда свет падает с карниза и озаряет корабли. Вдобавок и церкви Правого города, Старого города, Порохового города привносили свою лепту, чтобы привязать к точному времени движение поднимающего пыль солнечного света и усладить нашу историческую коллекцию историческим же звоном. Не диво, что для нас и солнце приобрело исторические черты, созрело для того, чтобы стать экспонатом, и явно вступило в сговор с янтарными глазами Ниобеи.

Но в тот самый день, когда у нас не стало ни охоты, ни смелости для игр и дерзких глупостей, вспыхнувший взгляд обычно безжизненного дерева вдвойне поразил нас. С тяжелым чувством мы дожидались, когда пройдет еще полчаса, которые нам полагалось отсидеть. Ровно в пять музей закрывался.

А на другой день Герберт в одиночестве заступил на службу. Я проводил его до музея, но дожидаться у кассы не пожелал и отыскал себе местечко напротив патрицианского дома. Вместе с барабаном я сидел на гранитном шаре, из которого сзади рос хвост, используемый взрослыми как перила. Излишне добавлять, что и второе ответвление лестницы охранялось аналогичным шаром с аналогичным чугунным хвостом. Я барабанил лишь изредка, зато с ужасающей громкостью в знак протеста против пешеходов женского пола, которых увлекала возможность помешкать возле меня, узнать мое имя и погладить потной ладошкой мои уже тогда красивые, хоть и короткие, но слегка вьющиеся волосы. Утро проходило. В конце улицы Святого духа кирпичной наседкой восседала красно-черная, с маленькими зелеными башенками под толстой разбухшей башней церковь Святой Марии. Голуби то и дело выталкивались из разверстых стен башни, падали на землю неподалеку от меня, болтали всякий вздор и не знали — не ведали, сколько времени наседка еще будет кого-то высиживать, и кого именно, и не превратилось ли это высиживание за сотни лет в самоцель.

К обеду Герберт вышел на улицу. Из коробки с завтраком, которую матушка Тручински набила так, что она с трудом закрывалась, он достал для меня хлеб, намазанный по разрезу жиром и переложенный куском кровяной колбасы в палец толщиной. Он подбадривающе и механически кивнул мне, потому что я не хотел есть. Под конец все же начал, а Герберт, ничего не евший, курил сигарету. Прежде чем музей снова принял его в свои объятья, он скрылся в кабачке на Бротбенкенгассе, где пропустил два или три стаканчика можжевеловки. Когда он пил, я не сводил глаз с его кадыка. Не понравилось мне, как он их опрокидывает, эти стаканчики. И даже когда он уже одолел винтовую лестницу музея, а я снова уселся на свой гранитный шар, перед глазами у Оскара все еще стоял подрагивающий кадык его друга Герберта.

День наплывал на бледно-пестрый фасад музея. Он крался от завитушки к завитушке, скакал верхом на нимфах и рогах изобилия, пожирал толстых ангелов, что тянулись за цветами, делал переспелыми нарисованные гроздья спелого винограда, ворвался в сельский праздник, поиграл там в жмурки, взгромоздился на увитые розами качели, облагородил бюргеров, что в пышных штанах совершали торговые сделки, поймал оленя, гонимого собаками и, наконец, достиг того окна на третьем этаже, которое позволило солнцу коротко и, однако же, навеки осветить некий янтарный глаз.

Я медленно съехал со своего шара. Барабан жестко ударился о камень на постаменте. Лак белой обечайки и частицы лакированных языков пламени отскочили и легли белыми и красными пятнышками на ступени крыльца.

Может, я что-то твердил про себя, творил молитву, вел отсчет: сразу же после этого перед порталом музея остановилась карета «скорой помощи». Прохожие вы-

строились по обе стороны от входа. Оскару удалось проскользнуть внутрь вместе с санитарами, а уж лестницу я нашел скорее, чем они, хотя после всех несчастных случаев им следовало бы свободно ориентироваться в музее.

Увидев Герберта, я с трудом удержался от смеха. Он висел на Ниобее спереди, он затеял совокупиться с этим деревом. Его голова закрывала ее голову, его руки обхватывали ее воздетые и скрещенные руки. Рубахи на нем не было. Позднее рубаху обнаружили аккуратно сложенной на кожаном стуле у дверей. Его спина зияла всеми рубцами и шрамами. Я читал эту тайнопись, я подсчитывал знаки. Все были на месте. Но нигде не смог я отыскать даже наметок нового рисунка.

Санитарам, хлынувшим почти сразу вслед за мной в зал, стоило немалых трудов оторвать Герберта от Ниобеи. Короткий, заостренный с обеих сторон корабельный топорик он в порыве страсти сорвал с цепи, одно лезвие всадил в Ниобею, другое, одолевая бабу, в самого себя. Как ни безупречно удалось ему соитие наверху, снизу, где у него были расстегнуты штаны, из которых все еще торчало нечто, торчало бессмысленно и твердо, он так и не сумел отыскать подходящий грунт для своего якоря.

Когда они накрыли Герберта одеялом с надписью «Городская служба скорой помощи», Оскар, как и после каждой утраты, вернулся к своему барабану. Он продолжал барабанить по жести кулаками, когда служащие вывели его из Маричкиной горницы вниз по лестнице и наконец доставили домой на полицейской машине.

Вот и сейчас, в лечебном заведении, воскрешая эту попытку любви между деревом и плотью, Оскар принужден работать кулаками, дабы еще раз предпринять странствие по спине Герберта Тручински, пестрой, покрытой рубцами, дабы еще раз пройти лабиринт шрамов, твердый и чувствительный, все предвещающий, все предсказующий, все превосходящий по твердости и чувствительности. Подобно слепцу, читает Оскар письмена на этой спине.

Лишь теперь, когда они оторвали Герберта от этого не ведающего любви резного дерева, приходит Бруно, мой санитар, и вся его грушевидная голова выражает отчаяние. Он бережно снимает мои кулаки с барабана, вешает жестянку на левый столбик в ногах моей металлической кровати, расправляет мое одеяло.

— Но, господин Мацерат, — увещает он меня, — если вы и впредь будете так громко барабанить, как бы в другом месте не услышали, что здесь барабанят слишком громко. Не желаете ли вы отдохнуть или хотя бы барабанить потише?

Ладно, Бруно, я попробую продиктовать своему барабану очередную, более тихую главу, хотя именно очередной теме скорее пристал свирепый рев изголодавшегося оркестра.

Вера, надежда, любовь

Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, под крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, а сам с утра до вечера прикладывался к бутылке с можжевеловкой. Так он все пил да пил до тех пор, пока беда не заставила его протрезветь.

Сегодня Оскар еще не согласен верить в предзнаменования. Хотя тогда накопилось уже довольно предзнаменований беды, которая натягивала сапоги все большего размера, и в сапогах все большего размера делала все большие шаги, вознамерясь разнести беду по белу свету. А тут как раз умер мой друг Герберт Тручински от ранения в грудь, нанесенного ему деревянной женщиной. Сама-то женщина не умерла. Ее опечатали и переправили в музейные подвалы якобы для реставрации. Но беду не упрячешь в подвал. Вместе со сточными водами она попадает в канализацию, перетекает в газовые трубы, распределяется по всем кухням, и никто из ставящих свой супчик на бледно-синее пламя горелки не знает и не ведает, что пища его варится на беде.

Когда Герберта хоронили на Лангфурском кладбище, я второй раз увидел Дурачка Лео, с которым познакомился на кладбище в Брентау. И всем нам — мамаше Тручински, Густе, Фрицу и Марии Тручински, толстой фрау Катер, старику Хайланду, который по праздникам забивал для мамаши Тручински Фрицевых кроликов, моему предполагаемому отцу Мацерату, который в своем великодушии, охотно выставляемом напоказ, взял на себя добрую половину расходов по похоронам, а также Яну Бронски, который почти и не знал Герберта, а пришел лишь затем, чтобы повидать Мацерата и, может быть, меня на нейтральной территории, — нам всем, пуская слюни и протягивая дрожащие руки в белых перчатках, Лео Дурачок выразил свое безумное, не отличающее радость от горя, соболезнование. Но когда перчатки Лео

Дурачка протянулись к музыканту Мейну, который пришел наполовину в гражданском, наполовину в форме штурмовика, нам было явлено еще одно предзнаменование грядущей беды.

Бледная ткань перчаток испуганно взмыла кверху и полетела прочь, увлекая за собой Лео через могильные холмы. Мы услышали его крик, однако то, что обрывками слов оседало на кладбищенских кустах, ничем не напоминало соболезнование.

Люди вовсе не отхлынули от трубача Мейна, и все же среди пришедших на похороны он стоял как бы одиноко, опознанный и отмеченный Лео Дурачком, стоял, смущенно возился со своей трубой, которую нарочно принес с собой и на которой перед этим дивно играл над могилой Герберта. Дивно, потому что Мейн, чего уже давно не делал, заранее хлебнул можжевеловки, потому что смерть Герберта, с которым он был одних лет, больно его задела, тогда как меня и мой барабан смерть Герберта заставила умолкнуть.

Давным-давно жил да был один музыкант по имени Мейн, и он умел дивно играть на трубе. Обитал он у нас на пятом этаже доходного дома, как раз под крышей, держал четырех кошек, из которых одну звали Бисмарк, и с раннего утра до позднего вечера пил можжевеловку, пока году, думается, в тридцать шестом или тридцать седьмом не вступил в конные части штурмовиков и там, уже как трубач музыкантской роты, начал трубить хоть и грамотнее, но совсем не дивно, ибо, влезши в подбитые кожей кавалерийские рейтузы, он принужден был отречься от своей бутылочки и впредь уже только в трезвом виде дудел в свою трубу.

Когда у штурмовика Мейна умер друг его молодости Герберт Тручински, с которым он в двадцатые годы принадлежал к коммунистической молодежной группе, а позднее платил членские взносы «Красным соколам», когда Герберта опускали в могилу, Мейн схватился за свою трубу и одновременно за бутылку. Ибо он хотел трубить дивно, а не трезво, ибо, восседая верхом на гнедом коне, не утратил свой музыкальный слух, а потому, уже на кладбище, отхлебнул еще глоток и потому, даже трубя, оставался в штатском плаще, надетом поверх формы, хотя первоначально собирался трубить по-над кладбищенской землей в коричневом мундире, правда с непокрытой головой.

Давным-давно жил да был штурмовик, который не снял плаща, надетого поверх формы, когда дивно и просветленно — от можжевеловки — трубил над могилой друга юности. А когда тот самый Дурачок Лео, который является непременной принадлежностью любого кладбища, пожелал выразить собравшимся свое соболезнование, каждый из нас услышал эти соболезнования. Только штурмовику Мейну не довелось прикоснуться к белой перчатке Лео, ибо Лео опознал штурмовика, испугался и с громким криком отказал ему в своей перчатке и в своем соболезновании. И тогда штурмовик без соболезнования и держа в руках холодную трубу побрел домой, где и застал у себя в квартире под самым чердаком нашего доходного дома четырех своих кошек.

Давным-давно жил да был штурмовик по имени Мейн. Со времен, когда Мейн ежедневно пил можжевеловку и дивно играл на трубе, у него сохранились четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк. Однажды, воротясь с похорон Герберта Тручински, друга молодости, печальный и снова вполне трезвый, потому что кто-то не пожелал выразить ему соболезнование, Мейн увидел себя в полном одиночестве и с четырьмя кошками. Кошки терлись о его кавалерийские сапоги, и Мейн дал им на куске газеты селедочные головы, что заставило кошек забыть про его ноги. В тот день здесь стоял особенно сильный запах от четырех кошек, которые, собственно говоря, все были коты, из которых одного звали Бисмарк и ходил он в черной шкурке на белых лапках. Но дома у Мейна как на грех не оказалось можжевеловки. А от этого в квартире все сильней пахло кошками, вернее говоря — котами. Мейн, конечно, мог бы прикупить бутылочку и у нас, в лавке колониальных товаров, не живи он на пятом этаже, под самой крышей. А так он боялся лестницы и боялся соседей, перед которыми не раз и не два торжественно клялся, что ни одна капля можжевеловки не увлажнит больше его музыкальные губы, что для него началась новая жизнь, что отныне и впредь жизнь его будет посвящена порядку, а не хмельным утехам разгульной и бесшабашной юности.

Давным-давно жил да был человек по имени Мейн. И как-то раз, когда он обнаружил себя в своей квартире под крышей наедине со своими четырьмя кошками, из которых одну звали Бисмарк, кошачий запах показался ему совсем уж несносным, потому как утром того же дня с ним произошло нечто постыдное, а еще потому, что в доме не сыскалось ни капли можжевеловки. Но поскольку постыдность и жажда все крепли, усиливая тем кошачий запах, Мейн, будучи музыкантом и членом кавалерийской духовой капеллы у штурмовиков, схватил кочергу, что стояла возле холод-

ной печки, и до тех пор охаживал своих котов, пока не решил, что все четверо, включая кота по имени Бисмарк, уже испустили дух, подохли, хотя кошачий запах, надо сказать, не стал от этого менее пронзительным.

Давным-давно жил да был часовщик по имени Лаубшад, и жил он на втором этаже нашего дома, в двухкомнатной квартире окнами во двор. Был этот часовщик не женат. И еще он был член национал-социалистской благотворительной организации, а также Общества защиты животных. У Лаубшада было доброе сердце, и он помогал снова встать на ноги всем усталым людям, больному зверью и сломанным часам. Когда однажды после обеда часовщик в глубокой задумчивости, вспоминая состоявшиеся утром похороны одного из соседей, сидел у окна, он увидел, как музыкант Мейн, проживающий на пятом этаже того же дома, вынес во двор мешок из-под картошки, заполненный до середины, а снизу явно влажный, так что из мешка даже капало, вынес и сунул в один из двух мусорных ящиков, но поскольку мусорный ящик был уже на три четверти заполнен, музыканту лишь с трудом удалось закрыть крышку.

Давным-давно жили да были четыре кота, из которых одного звали Бисмарк. Принадлежали коты одному музыканту по имени Мейн. Поскольку коты не были кастрированы, от них сильно пахло, и запах котов пересиливал все остальные, в день, когда этот запах по особым причинам стал музыканту особенно невыносим, он взял да и убил кочергой всех четырех котов, сунул их в мешок из-под картошки, снес мешок по лестнице с пятого этажа и очень торопился как можно скорей затолкать мешок в мусорный ящик возле перекладины для выбивания ковров, потому что мешковина была редкая и уже на третьем этаже из мешка начало капать. А поскольку мусорный ящик и без того уже был набит, музыканту Мейну пришлось сильно утрамбовать мусор мешком, чтобы крышка снова закрылась. Но едва он успел выйти со двора на улицу, потому что возвращаться в пропахшую кошками, но лишенную кошек квартиру ему не хотелось, как примятый мусор начал расправляться, приподнял мешок, а вместе с мешком и крышку от мусорного ящика.

Давным-давно жил да был музыкант, который убил своих четырех кошек, засунул их в мусорный ящик и ушел из дому, чтобы навестить своих друзей.

Давным-давно жил да был один часовщик, который в задумчивости сидел у окна и наблюдал, как музыкант Мейн засунул в мусорный ящик неполный мешок, после чего ушел со двора, а крышка от ящика вскоре после его ухода начала подниматься и поднималась все выше и выше.

И еще давным-давно жили да были четыре кота, которых убили за то, что в один особенный день от них особенно сильно пахло, убив, сунули в мешок, а мешок сунули в мусорный ящик. Но кошки, из которых одну звали Бисмарк, были еще не совсем мертвые, а оказались живучими, как и все кошки. Они двигались в мешке, отчего задвигалась и крышка мусорного ящика и тем поставила перед часовщиком Лаубшадом, который все так же в глубокой задумчивости сидел у окна, следующий вопрос: а ну угадай-ка, что лежит в мешке, который музыкант Мейн засунул в мусорный ящик?

Итак, жил да был часовщик, который не мог спокойно видеть, как в мусорном ящике что-то шевелится. И тогда он покинул свою квартиру на втором этаже доходного дома, и отправился во двор, и поднял крышку мусорного ящика, и открыл мешок, и достал четырех избитых, но все еще живых котов, чтобы их выходить. Но уже на следующую ночь коты умерли под пальцами часовщика, и не осталось у него иного выхода, как принести жалобу в Общество защиты животных, членом которого он состоял, а вдобавок известить руководство местной партгруппы об издевательстве над животными, пагубном для партийной репутации.

Давным-давно жил да был один штурмовик, который убил четырех котов, но поскольку коты не совсем чтобы умерли, они его выдали, а один часовщик на него донес. Дело кончилось судебным разбирательством, и штурмовику пришлось платить штраф. А вдобавок у штурмовиков этот случай тоже обсуждался и было решено за недостойное поведение изгнать штурмовика Мейна из рядов СА. И хотя наш штурмовик в ночь с девятого на десятое ноября тридцать восьмого года, ту самую, что позже была названа «хрустальной ночью», проявлял чудеса храбрости, вместе с другими поджигая синагогу на Михаэлисвег, а также не щадил сил, когда на другое утро следовало очистить предварительно помеченные лавки, его изгнание из рядов СА осталось в силе. За бесчеловечное отношение к животным его разжаловали и вычеркнули из списков. Лишь год спустя ему удалось вступить в ополчение, перешедшее в дальнейшем под начало частей СС.

Жил да был владелец лавки колониальных товаров, который неким ноябрьским днем закрыл свою лавку, потому что в городе кое-что происходило, взял своего сына Оскара за руку и поехал на трамвае номер пять до Ланггассовских ворот, ибо там, как и в Сопоте, горела синагога. Синагога уже почти догорела, и пожарники следи-

ли, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Перед дымящимися развалинами люди в форме и в штатском сносили в кучу священные предметы и диковинные ткани. Потом кучу подожгли, и лавочник, воспользовавшись случаем, отогрел свои пальцы и свои чувства над общедоступным огнем. Сын его Оскар, видя отца столь деловитым и увлеченным, незаметно исчез и поспешил на направлению Цойгхаус-пассажа, ибо судьба его барабанов из лакированной, белой с красным, жести внушала ему тревогу.

Давным-давно жил да был продавец игрушек, звали его Сигизмунд Маркус, и в числе прочего он торговал также барабанами, покрытыми белым и красным лаком. А Оскар, о котором шла речь, был основным потребителем жестяных барабанов, потому что он по роду занятий был барабанщик и без барабана не мог жить, не мог и не хотел. Вот он и помчался прочь от горящей синагоги к пассажу, ибо там обитал хранитель его барабанов, но хранителя он нашел в том состоянии, которое делало для него торговлю барабанами невозможной впредь и вообще на этом свете.

Они же, те самые поджигатели, которых Оскар мнил опередить, уже успели наведаться к Маркусу. Обмакнув кисточки в краску, они уже успели готическим шрифтом написать поперек витрины «еврейская свинья», потом, возможно, недовольные собственным почерком, выбили стекло витрины каблуками своих сапог, после чего о прозвище, которым они наградили Маркуса, можно было лишь догадываться. Пренебрегая дверью, они проникли в лавку через разбитую витрину и там на свой лад начали забавляться игрушками.

Я еще застал их за этими забавами, когда подобно им вошел через витрину. Некоторые спустили штаны и навалили коричневые колобашки, в которых можно было увидеть непереваренный горох, на парусники, обезьян, играющих на скрипке, и на мои барабаны. Все они напоминали музыканта Мейна, носили, как и он, коричневую форму штурмовика, но самого Мейна среди них не было, как и тех, кто был здесь, не было в каком-нибудь другом месте. Один из них, достав свой кинжал, вспарывал животы куклам и всякий раз выглядел донельзя разочарованным, когда из туго набитого тельца, из рук и ног сыпались лишь опилки.

Судьба моих барабанов внушала мне опасения. Барабаны им не понравились. Моя жесть не устояла перед их яростью, она безмолвствовала, она пала на колени. Зато Маркус сумел от их ярости уклониться. Пожелав с ним побеседовать в его конторке, они, конечно же, не стали стучать, а просто выломали дверь, хоть она и так не была заперта.

Продавец игрушек сидел у себя за письменным столом. Как и обычно, на нем были нарукавники поверх темно-серого повседневного костюма. Перхоть на плечах свидетельствовала о болезни волос. Один из вошедших, с кукольными головками всех членов семьи Касперле на всех пальцах, толкнул Маркуса деревянной головой Касперлевой бабушки, но Маркус был уже недоступен ни для бесед, ни для оскорблений. Перед ним на письменном столе стоял стакан, который нестерпимая жажда заставила его выпить до дна именно в ту минуту, когда вскрикнувшая всеми осколками витрина его лавки вызвала сухость у него во рту.

Давным-давно жил да был барабанщик по имени Оскар. Когда у него отняли продавца игрушек и разгромили игрушечную лавку, он почуял, что для барабанщиков ростом с гнома — а он был именно таков — настают тяжелые времена. Поэтому он, перед тем как покинуть лавку, выковырял из обломков один совсем целый и два лишь чуть подпорченных барабана и, обвешанный ими, вышел из лавки, чтобы поискать на Угольном рынке своего отца, который, возможно, и сам его искал. Был конец ноябрьского дня. Возле Городского театра неподалеку от трамвайной остановки стояли верующие женщины и уродливые замерзшие девицы, которые раздавали религиозные брошюрки, собирали подаяние в жестяные кружки и демонстрировали плакат с текстом из Первого послания к Коринфянам, глава тринадцатая: «Вера — Надежда — Любовь» — прочитал Оскар и принялся играть этими словами, как жонглер играет бутылками: легковерие — мыс Доброй Надежды — любомудрие — верительные грамоты — вотум доверия. А ты веришь, что завтра будет дождь? Целый легковерный народ верил в Деда Мороза. Но Дед Мороз на поверку оказался газовщиком. Я верил, что это пахнет орехами и миндалем, а на деле пахло газом. Скоро будет, по-моему, первое предрождественское воскресенье, во всяком случае так говорят. Потом отвернут кран на первом, втором и так до четвертого воскресенья, как отворачивают газовый кран, чтобы запах орехов и миндаля выглядел вполне достоверно, чтобы все щелкунчики могли спокойно уверовать:

Он идет! Он на подходе! И кто ж это у нас пришел? Младенец Иисус? Спаситель? Или это пришел небесный газовщик, неся под мышкой газовый счетчик, который непрерывно тикает? И он рек: «Я спаситель этого мира, без меня вы не сможете стря-

пать». Он проявил готовность к переговорам, и запросил вполне разумную цену, и отвернул свеженачищенные газовые краны, и пустил по трубам Святого духа, дабы отварить голубя. Еще он раздавал орехи и миндаль, чтобы их тут же расколоть, и они тоже начали источать — дух и газ, так что для легковерных не составило труда сквозь плотный и синеватый воздух узреть во всех газовщиках перед торговыми домами Дедов Морозов и Младенцев Иисусов на любую цену и любого размера. А так они уверовали во всеблагой газовый завод, который при помощи счетчиков с падающими и поднимающимися стрелками символизирует судьбу и за умеренную цену организует те предрождественские воскресенья, когда еще многие веровали в предстоящее Рождество, однако утомительные дни праздника сумели пережить лишь те, для кого недостало запасов миндаля и орехов, хоть все и верили, будто их хватит с лихвой.

Но после того как вера в Деда Мороза обернулась верой в газовщика, было решено пренебречь последовательностью Послания к Коринфянам и начать с любви. Говорилось так: я тебя люблю, о, я люблю тебя. А ты себя любишь? Любишь ли ты меня, скажи, ты меня и в самом деле любишь? Я себя тоже люблю. И от сплошной любви они называли друг друга редисками, любили редиску, кусали редиску, одна редиска из любви откусывала редиску у другой. Они приводили примеры дивной, неземной, но также и земной любви между редисками, и перед тем как впиться зубами, голодные, острые и свежие, шептали: редисочка, скажи, ты меня любишь? Я себя тоже люблю.

Но после того как они исключительно из любви откусили друг у друга редиску, а вера в газовщика была вознесена на уровень государственной религии, после веры и предвосхищенной любви в лавке залежался только третий ингредиент из Послания к Коринфянам: надежда. И, хрумкая редиской, орехами и миндалем, они уже надеялись, что скоро будет конец, чтобы можно было то ли начать снова, то ли продолжить в том же духе после финальных аккордов, либо уже во время финальных аккордов, в надежде, что концу скоро придет конец. Хотя они все еще не знали, чему именно конец. Они только надеялись, что конец скоро, прямо завтра, но уж никак не сегодня, ибо что им прикажете делать с неожиданным концом? А когда и в самом деле пришел конец, они обратили его в богатое надеждами начало, ибо в этих краях конец всегда означает начало и надежду в каждом, даже самом окончательном конце. Ибо сказано в Писании: покуда человек не утратил надежды, он будет начинать снова и снова в исполненном надежды финале...

Но вот я, я не знаю. Я не знаю, например, кто сегодня скрывается под бородой Деда Мороза, не знаю, что спрятал в мешке разбойник Рупрехт, не знаю, как заворачивают газовые краны, как перекрывают газ, ибо уже снова струится по трубам предрождественское воскресенье — или не снова, а все еще, не знаю, не знаю, может, ради пробы, не знаю, кому понадобилась проба, не знаю, могу ли я верить, что они, будем надеяться, с любовью прочищают горлышки горелок, чтобы те кукарекали, не знаю, в какое утро, в какой вечер, не знаю, при чем здесь вообще время дня, ибо любовь не знает времени, а надежда не имеет конца, а вера не знает границ, лишь знание и незнание привязаны ко времени и к границам и по большей части уже до срока кончаются бородами, заплечными мешками и миндалем, так что я снова вынужден повторять: я не знаю, о, я не знаю, чем они, к примеру, начиняют кишки и чьи кишки потребны, чтобы их начинять, и не знаю, чем начинять, пусть даже цены начинки выписаны изящно или грубо, но вполне отчетливо, не знаю, из чего складывается цена, в каких словарях они подыскивают названия для видов начинки, не знаю, чем они начиняют словари и чем кишки, не знаю, чье мясо, и не знаю, чей язык: слова обозначают, мясники замалчивают, я нарезаю кружками, ты открываешь книги, я читаю то, что мне по вкусу, ты не знаешь, что тебе по вкусу: кружки колбасы и цитаты из книг и кишок — и нам никогда не доведется узнать, кому пришлось умолкнуть навек, кому онеметь, чтоб было чем начинить кишки, чтоб книги обрели голос, набитые, сжатые, густо исписанные, но я не знаю, я догадываюсь: одни и те же мясники начиняют книги и кишки словами и колбасным фаршем, нет на свете никакого Павла, этого человека звали Савл, он и был Савлом и как Савл рассказывал людям из Коринфа о неслыханно дешевых сортах колбасы, которые он именовал верой, надеждой и любовью, о колбасах, которые якобы прекрасно усваиваются, которые он и по сей день навязывает людям в неизменно переменчивом облике Савла.

А у меня они отняли торговца игрушками, желая вместе с ним изгнать из мира все игрушки.

Давным-давно жил на свете музыкант, которого звали Мейн и который умел дивно играть на трубе.

Давным-давно жил на свете торговец игрушками, которого звали Маркус и ко-

торый продавал лакированные жестяные барабаны, красные с белым.

Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и у него были четыре кошки, из которых одну звали Бисмарк.

Давным-давно жил один барабанщик по имени Оскар, и он не мог обойтись без того человека, который продавал игрушки.

Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и он насмерть забил кочергой четырех своих кошек.

Давным-давно жил часовщик по имени Лаубшад, и он состоял в Обществе защиты животных.

Давным-давно жил барабанщик по имени Оскар, и они отняли у него торговца игрушками.

Давным-давно жил торговец игрушками по имени Маркус, и он унес с собой все игрушки из этого мира.

Давным-давно жил музыкант по имени Мейн, и если он не умер, то жив и по сей день и опять дивно играет на трубе.

■

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН

Стихи

Перевод с испанского Н. ВАНХАНЕН

Кто ты, слово?

Кто ты? Откуда? И что тебе, слово?
Рана моя или ропот больного?

По́ следу шел. От погони знобило.
Искорка в небе, ночное светило,
камень дремотный в воде сонно-синей,
луч, проступивший
сквозь снег или иней?

Если б вслепую, на ощупь, слабея,
слово, тебя отыскал бы в себе я,
мы бы с тобой убежали подальше
от легковесной и тягостной фальши —
алчного времени с гулкой стеной.

Слово, приди и останься со мной.
Тополь в тумане и песня его —
наше с тобой волшебство, колдовство.

Наследство

Себастьяну Фаррайсу Родригесу

Имена поэтов стирает время,
но слова их каменеют в воздухе
валами замершего океана:
вот он, неосквернённый храм — язык.

Свидетель скорбей и радо̀стей мира,
очевидец их, ясновидец,
он греет и утешает нас
перед лицом быстротечности
и, заверенный гением, вводит в права наследования
нас, вяло плетущихся тропой забвения.

© Justo Jorge Padrón, 1988

Возможный удел поэта

Всю жизнь бороздить океан времени,
чтобы в итоге выловить в волнах дюжину
невесть кем оброненных худосочных вяленых рыбешек.

В ненарушимой вдумчивости зноя

Сухие вспышки
мотыльковых крыльев
в ненарушимой вдумчивости зноя.

Высокий луч на серебристом кубке
большого кипариса, сонный голос
шмеля над разомлевшими цветами.

Стрекозы солнца пляшут на закате
прощальный танец.

Жизнь еще в новинку, как это лето.
Где уж догадаться,
что этот мягкий жаркий мох остынет.

С приходом ночи

С приходом ночи,
дряхлый и разбитый,
скользну под одеяло.
И обступит бессонная, томительная жажда:
вся эта шелковистость, эта гладкость
и легкий запах, издали знакомый,
с ума сводящий:
память о тебе...

В пустом доме

В ночной теснине, в гуле каменистом
бежит река, раскатываясь громом.
И ветер в стекла тычется со свистом.
И ломятся в ворота перед домом
угрюмые деревья, и на клочья
разорванные тени льнут к потемкам
и ластятся к постели. Этой ночью
лишь страх и горе в доме одиноком.
Заплачет птица брошенным ребенком
в своей ночной неведомой обиде.
И ночь, и ветер над глухим потоком,
и сам поток на каменистом ложе
без устали твердят одно и то же:
отчаявшийся, страждущий, прииди!

Стихи для ангела

Как-то раз мне случилось сочинить стихи для ангела.
Невесомые и незримые, как его крылья.
Еще неизвестно, кто лучше держался в воздухе.
Порою, невесть с чего, они вдруг вспоминаются мне,
и, стоит задремать, я чувствую на губах
душистую мякоть белоснежной дыни,
и волны неведомых звуков вливаются в мои уши.
Смутные, неясные слова нашептывает мне ангел —
слова-ключи, отворяющие стеклянные двери родников,
слова-лучи, пронизывающие тьму.
Уверенной рукой он ведет меня
заветными лабиринтами прочитанных книг,
и чудится: я — сама юность,
и все живое моими глазами
ловит дружеские порывы морского ветра.

Я угадываю дрожь влюбленных цветов
и жалобу упавшей в лужу звезды.
Эта поэма-невидимка — моя тайна.

Я раскрыл ее вам сейчас, но ненадолго:
одно мгновение — и прозрачные крылья моего ангела
наложат на ваши смеющиеся уста печать забвения.

Северное сияние в Исландии

После крепких объятий и долгих ласк
я приблизился к балконной двери
и обернулся назад. Комната в полутьме.
Светоносное тело Сигрун
на поверженных простынях
и ее огненная грива,
вяло стекающая во сне на ковер.
Я вдохнул неотвратимо близящийся рассвет,
а с ним — сладкую усталость, примиряющую с жизнью.
Дыхание рисовало на стеклах чьи-то недолговечные лица,
тотчас сдуваемые обезумевшим ветром.

Среди вулканов и льдов
стыла беспокойная осень Рейкьявика.
Шел пограничный час меж тьмою и светом.
Вдруг волокнистый мрак дрогнул —
легкая судорога, резкий толчок.
То был не крепнущий ветер, не зябкое замерзшее море —
это забрезжил иной, новый свет,
чей источник — в себе самом.

Гигантские ленты белой бахромы пошли развертываться
над зачарованным великолепием залива
во всю ширь небосвода,
напор сверкающей мощи
обрушился на летучие ветви северных ветров.
Молнии света пронзили меня головокружительными вспышками.
Безмолвный вопль зеленой зари повис в воздухе.
Голубое и желтое
раскрылись во всей полноте, закипело золото,
брызнула немыслимая лиловость, оранжевые восторги охры,

янтарь и пламя — сказочные, быстролетные, —
и белоснежность, и голубизна, и свет, а за ними — еще и еще.

И тут необъятное многоцветье
точно обуздало на миг свое вселенское ликование,
мороз прихватил его, сковал
в незримом застенке — и свершилось чудо рождения.
Зоркие хрусталики льда загорелись в морском тумане,
нотные линейки, флаги, знамена, целые парусные флотилии,
раскаленные угли и огненные цветы
закачались, поплыли в вышине,
воздвигая над собой неисчислимые небесные своды.

Сколько лет пронеслось с тех пор — стремительных и неспешных.
Как знать, может, бóльшая часть прожитóго —
лишь повторение пройденного,
сгинувшего без следа в темных глубинах памяти.
И одного только мне никогда не забыть:
это сонная улыбка пробуждающейся Сигрун
под северным сиянием далекой Исландии.

■

Виткевич. Автопортрет. 1939.

СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ

Перевод с польского АНДРЕЯ БАЗИЛЕВСКОГО

Энергия постижения

Станислав Игнаций Виткевич — поздний гость России. Родившийся в 1885-м, он вошел в нашу культуру на рубеже 1990-х, лет через тридцать после своего посмертного возвращения в Польшу. Лигатура имени и фамилии — Виткаций — автопсевдоним, под которым он сегодня известен далеко за пределами своей страны. В 60—70-е Виткаций, предтеча и творец новых форм в живописи и театре, создатель самобытных философских и художественных концепций, заговорил на многих языках. И стало ясно: он многое предугадал, он — среди тех, чье творчество не кануло в Лету вместе с эпохой; его тревожная, бескомпромиссная мысль созвучна сознанию потомков.

Отсутствие Виткевича с его острым аналитическим умом, феерическим воображением, даром сатирико-философского гротеска было давно ощутимо в России. Это — как и многое другое — делало невозможным полноценный диалог русской и польской культур. В год пятидесятилетия смерти писателя его искусство все же к нам прорвалось: вышла небольшая книжка избранных драм[1]. Виткевич явился как один из многих авторов, ранее отторгнутых от сознания россиян, одновременно с Оруэллом, Хаксли, Кёстлером, Беккетом, Набоковым — теми, от чьего пагубного влияния нас прежде оберегали столь же ревностно.

У нас Виткевич может быть воспринят как «свой». Здесь поймут его дело, его жизнь, пронизанную отвращением к насилию, лжи, скуке, убивающей душу. Оценят его защиту Единичного Бытия личности и утверждение неутилитарной связи между людьми. По Виткевичу, красота возвратит человеку ощущение Тайны Бытия, спасет его от одиночества. Это созвучно пафосу русской литературы.

Он близок нам опытом, проблематикой своих произведений. Созданное им представляет для России особый интерес — как весьма пристальный и проницательный взгляд извне на нашу суть. Багаж российских впечатлений создает в творчестве Виткевича тот знаковый минимум, которым сглажен барьер, разделяющий две культуры: на этом фоне польская специфика становится для русского читателя более понятна.

В России Виткевич провел четыре года — с осени 1914-го до лета 1918-го. Доброволец первой мировой, он окончил Павловское военное училище, сражался на германском фронте, был контужен, награжден орденом, мыкался по лазаретам. Жил в Петрограде, бывал в Москве и Киеве. Много работал как художник, размышляя над проблемами, которые останутся с ним навсегда и обретут вид трактатов, романов, пьес.

Хлебнув сполна «новой действительности», бывший царский офицер, а затем — член «Бюро труда интеллигентских тружеников», Виткевич вернулся в Польшу с грузом картин и рукописей, чтобы уже никогда не покинуть родину. В чем состояло его «почти активное», как он сам пишет, участие в революции — неизвестно. Рассказы о том, что он был «красным комиссаром» или, арестованный большевиками, чудом спасся, прикинувшись сумасшедшим, как и прочее в том же роде, относятся к области легенд.

Бесспорно другое: для Виткевича одной из главных загадок стала попытка опередить время, предпринятая Россией. Попытка трагическая, но как бы там ни было впечатляющая. «*У вас демоническое лицо, я хочу рисовать ваш портрет*», — эти сказанные по-русски слова Виткевича, обращенные к незнакомке в ночной Москве, — как бы предначертание его судьбы в искусстве. Всю жизнь он с восторгом и ужасом, с симпатией и

---

[1] «Сапожники». М., «Известия», 1989 (Библиотека «ИЛ»). А вот солидный том «Театр» в издательстве «Художественная литература» в 1992 году уже не увидел света, хотя и был доведен до типографских форм.

отвращением рисовал «многократный портрет» таинственного мира с «демоническим лицом».

Виткаций — участник мирового переворота сознания, шедший к прозрениям своей, особенной тропой. Он — современник эпохи, но и наследник других времен, его не привязать ни к какому течению. Открытость разнородному, программная несводимость воедино придают его творчеству сюрреалистический оттенок. Мифологическая инфраструктура искусства, архетипический код у Виткевича «варварски» проявлены и препарированы. Воспринимая полноту времен в их взаимопроникновении, как поэтическое настоящее, художник восстанавливает целостность мира, демонстрирует его неуничтожимость.

Стремление к игре и мистификации не менее характерны для него, чем серьезность и принципиальность. Этот «деклассированный» (по собственному определению) художник жизни боялся более всего скуки и монотонности. Он был счастлив на сцене своего «Формистического» театра и на маскараде артистов в Закопане. Был собой, когда, потешаясь над снобами, цитировал несуществующего гения Асфоделя Парагибу, и даже с друзьями «первой категории» разрывал отношения «без объявления причин». Тем, кто знал его, казалось, что он постоянно дурачится, но если б захотел, был бы совершенно «нормальным» человеком.

Экстравагантные выходки, трюки, нацеленные на то, чтоб всполошить честную компанию, ошеломить приличное общество, давали повод не принимать Виткация всерьез. Реакция на его художественную работу была — за редким исключением — раздраженно-враждебной или снисходительно-игнорирующей. Он не был «своим» ни в одном стане. Благополучию и славе, легкодостижимым при его богатой одаренности, предпочел одинокую борьбу и видимость поражения. «Со мною в жизни приключились два несчастья — то, что я родился художником, и то, что я родился поляком», — сумрачно шутил он, отлично понимая, что такова участь людей его типа в любой стране.

Непризнанность бесила, но и устраивала Виткация. Положение аутсайдера позволяло сохранить свободу. Неофициальность предоставляла возможность следовать своим путем. Лишь одну ироническую уступку публике сделал он, когда в середине 20-х годов, демонстративно оставив «существенную» деятельность в изобразительном искусстве, основал «Портретную фирму», в которой сам был единственным сотрудником. Его фиктивная фирма обслуживала имущих, чтобы философу было на что жить (впрочем, он запрашивал весьма скромные гонорары).

Согласно уставу, фирма «производила» портреты трех основных типов: «вылизанные», «искривленные» и «приближенные к Чистой Форме (основное понятие эстетики Виткевича). Используя тесный кадр, устраняя подробности, экспрессивно прорабатывая лишь фрагменты лица, Виткевич — особенно в портретах второго и третьего типа — стремился заглянуть в потаенное, показать изменчивость души. Те же цели он преследовал и в фоторабо тах.

«Беря на аппарат» других, Виткевич старался создать у фотографируемого настроение, органичное для его душевного склада. Когда же моделью себе служил сам, то «строил мины», шаржировал — словно выискивая в себе двойников. Многочисленные автопортреты Виткация (часто многофазные циклы) — фототеатр масок, документирующий психологическую драму его жизни. Фотолицедейство— мимическая игра, выпускающая двойников из его души.

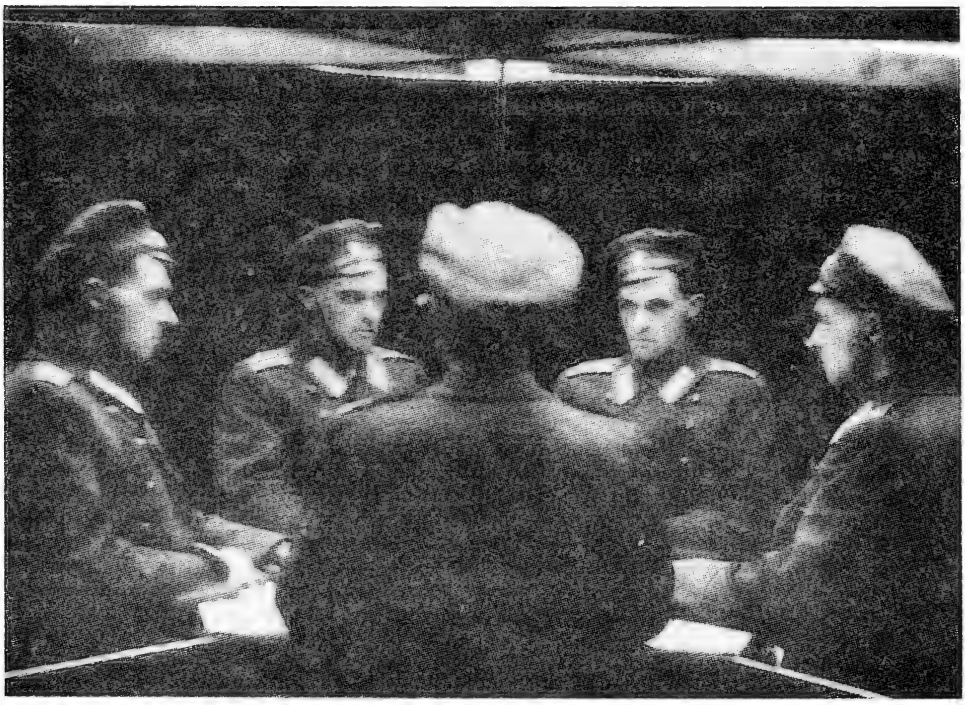
Его картины — то же отражение двойственности мира, попытка запечатлеть поток трансформаций странного бытия. Даже притом, что множество работ Виткевича-художника не сохранилось, сегодня в музеях и частных коллекциях их более тысячи. «Страшная вещь: перестать писать гораздо труднее, чем начать», — лукаво сокрушался маэстро. В ранние годы он писал тонкого колорита пейзажи, сюжетные картины, психологические портреты, изредка натюрморты. В 1913-м спроектировал плакат для львовской выставки «футуристов, кубистов и т.п.», в которой сам участия не принял. Острота видения, интенсивность выражения сближают Виткевича с экспрессионизмом. Глубина пространства, нежность оттенков, четкая светотень, столь присущие раннему Виткевичу, в зрелых работах — исключение. Предметность нейтрализована динамикой насыщенных, контрастных цветов, плоскостностью изображения, напряженными гармониями форм и линий — то гибких, змеящихся, то резко изломанных, зигзагообразных.

С середины 1910-х Виткевич увлечен «рисованием чудовищ». Мотивы, разрабатываемые им в станковых композициях и графике, — это эсхатологический круг: сотворение мира, борьба всего со всем, хаос, из которого все рождается и в котором все исчезает.

Работы Виткевича-художника фантастичны, они показывают мир сдвинутых пропорций, монстров, человеко-предметов и человеко-растений. Это лаборатория, где рождаются герои его литературных сочинений — дети кошмара и рефлексии.

Искусство, утверждал Виткевич, есть «необходимость передать другим существам в форме Прекрасного ужас одинокого существования в бесконечной Вселенной». Эстетическое чувство в своих истоках тождественно философскому созерцанию и мистическому порыву: все это формы «успокоения» человека, преодоления страха перед неведомым и непостижимым. Художественная правда для Виткевича — это правда формы, воплотившей метафизический опыт. В Чистой Форме опосредованно заключена Тайна Бытия, поэтому форма, полагает он, есть высшее содержание искусства. Искусство призвано приблизить человека к истине, доступной ему лишь в ощущении Странности Бытия.

Истинные цели личности, по убеждению Виткевича, — самопознание, самовыраже-



Множественный автопортрет в зеркалах. Петербург. 1915 — 1917.

ние себя и утверждение себя в сознании других. Полная самореализация, однако, недостижима, неизбежный комплекс неполноценности диктует мнимые задачи, включает механизмы самообмана. Неутолимый метафизический голод можно приглушить, создав видимость снятия проблемы. Несостоявшийся человек стремится принизить мир, внушая себе, что тайны нет, или находит подмену, полагая, что это и есть путь к тайне. Развенчанию мнимого познания посвящена вся многообразная и глубокая духовная работа Виткевича.

Драматургия Виткевича (а он автор более чем тридцати пьес) — отрицание не только традиционной театральности с ее атрибутами, но и сценичности как таковой — натуралистической ли, самой ли что ни на есть антиреалистической. В идеале он — за спектакль, в котором нет иных закономерностей, кроме логики самой формы становления, интуитивно угадываемой творцом. В действительности его сценические тексты подчинены логике занимающих его проблем. Авторские определения жанра пьес «Дюбал Вахазар» и «Водяная Курочка», пожалуй, выражают наиболее важные характеристики его драматургии в целом: «неэвклидовы драмы», не следующие никаким внешним законам, раскрывают «сферическую трагедию» бесконечной повторяемости жизненных событий и неразрешимости противоречий.

Свой театр Чистой Формы Виткаций уподобил «мозгу сумасшедшего на сцене», и сумасшествие это — не что иное, как безоглядная дерзость постижения мира и образотворчества. Хитросплетения житейских коллизий менее всего заботят автора: он произвольно заполняет ими фактуру пьесы — ради нас, читателей и зрителей, — иначе мы не в силах воспринять то главное, ради чего все это писалось в действительности: Чистую Форму духа.

Виткевича интересует в человеке момент прорыва к величию подлинности, пробуждения метафизической тревоги, почти утраченной в рутинном, предсказуемом существовании. Возбудить в себе ощущение индивидуальной неповторимости — только так возможно противостоять механизации жизни. Однако он пародирует псевдофилософский жаргон «посвященных», групповые модели поведения, вытесняющие личностную рефлексию, влекущие людей к эзотерическим сектам, к подчинению харизме вождя.

Еще в 1918 году Виткевич писал : «Мы живем в страшную эпоху, какой еще не знало человечество, но она так сильно замаскирована различными идеями, что сегодняшний человек во лжи рождается, живет и умирает, не зная себя, не понимая всей глубины своего падения». Во времена, когда жестокие прагматики, слепо убежденные в истинности своих доктрин, загоняли человечество в концлагерь, идеологическое шаманство — опора тоталитаризма — нашло в лице Виткевича непримиримого оппонента. Мало кто из европейских интеллектуалов так рано осознал опасность и столь последовательно искал выход. Теоретическое допущение Виткевича о грядущей социальной стабильнос-

ти не отменяло трезвой оценки кризиса цивилизации в XX веке.

Опьянение абсолютной идеей, мания своей исключительности — первопричина преступлений. В пьесах Виткевича вновь и вновь повторяется роковая схема посрамления титана. Здесь пародийно перекраиваются собственные теории автора, обнаруживается тесное соседство метафизической ненасытимости и «жизненного абсолютизма» (слова писателя) как воплощенного зла. На карту поставлены чужие жизни: освобожденная страсть оборачивается кровью. Угнавшие «Безумный Локомотив» философствующие уголовники — одновременно и герои бульварного романа, и персонажи творимой истории.

Романы Виткевича так же далеки от «нормальной» беллетристики, как его пьесы — от привычного современникам театра. В свое время они ошеломили читателей шокирующим «смешением материй». Виткевич отводит роману роль жанра эстетически «неполноценного» — вместилища, которое писатель вправе набить чем угодно. Его формула: роман — «мешок всех вещей». Приемы письма в прозе Виткевича обнажены и снижены, текст соткан из цитат и отступлений. Здесь разными красками и гранями переливается фантастическая реальность. Речь повествователя пестра и гиперболична, нацелена на выражение невыразимого.

Так, место действия одного из романов, «Ненасытимость» (1932), неопределенно и призрачно — «вне нашего пространства, там, в тошнотворном небытии». Перспектива искажена, формы размыты и нестойки, линейность времени нарушена самой действительностью — накопителем анахронизмов: «время было эластичным, точно гуттаперчевым: оно то замирало, то пускалось вскачь». Непредсказуемая «коллективная душа» живущих в этом мире есть «метафизическое состояние, лишенное формы». Психика героев предстает как поток некоординированных импульсов, изменчивый, изобилующий внезапными поворотами.

Герои — те же, что и в пьесах (порой у них и имена те же) — во власти маниакально-депрессивных психозов. У них нет свободы выбора, их действия жестко детерминированы, и в первую очередь — сексуальным инстинктом как непреодолимой жизненной силой. Крушение общества — праздник их самоосуществления. Их азарт приближения к небытию, их тоска о смерти символически знаменуют собой конец прежней цивилизации и присущей ей культуры.

Самоубийство стало уделом и самого Виткевича. В новом мире он не видел шансов для духовного бытия и ушел, чтобы не быть свидетелем того, как сбываются его худшие опасения. Философ, фантазер, поэт, он умер в сентябре 1939 года в белорусском Полесье, на узкой полоске между немецкими нацистами и двинувшейся им навстречу Красной Армией.

Когда незадолго до гибели Виткевич уезжал от знакомых, на плечо ему сел воробей. «Ого, это знак, что я здесь в последний раз», — печально отозвался он. Говорили, что Виткевич по ауре может определить час смерти; сам он был убежден, что умеет творить чудеса. Гадал на картах, придавал значение приметам. Питал интерес к парапсихологическим феноменам, был членом метапсихического общества, участвовал в спиритических сеансах. При демонстративной «антирелигиозности» Виткевич в духовном поиске глубоко мистичен. Искусство в его представлении — путь к трансценденции, «единственный наш потусторонний мир, столь же реальный, как и сама жизнь».

Своим существованием и творчеством Виткаций бросал вызов небытию. Он мучительно хотел понять, можно ли расширить сознание до восприятий, недоступных органам чувств, есть ли предел, где иссякает энергия постижения... Поэтому так важны сны и галлюцинации в его поэтике, так весомы в его опыте психоделические эксперименты.

Воздействию наркотиков на человека Виткевич посвятил особый «трактатец» — «Наркотики (алкоголь, никотин, кокаин... пейотль)». Мыслитель и артист выступает здесь в роли наставника, призывая соотечественников к отказу от дурманящих средств, прежде всего от табака и спиртного. Эта книга, опубликованная в 1932 году, по замыслу автора, должна была поставить крест на сплетнях о его «наркомании», однако лишь подогрела обывательские страсти, что неудивительно при таких, например, суждениях: «В человеке есть известная неспособность насытиться бытием как таковым; она первична, необходимо связана с самим фактом существования личности, я называю ее метафизической ненасытимостью; если она не подавлена перенасыщенностью жизненными чувствами, трудом, властью, творчеством и тому подобным, то может быть отчасти утолена только наркотиками».

В 1926 — 1931 годах Виткевич экспериментировал с наркотиками, стремясь изучить их галлюциногенные свойства и влияние на творческие силы. Многие его изобразительные работы обозначены «марками» различных «ядов», как выполненные под их воздействием. Наркотический транс описан в романах и пьесах. В конечном счете Виткевич разочарованно констатировал: все, что могут дать наркотики, — «реалистическая странность», «диковинность жизни», духовный же эффект ничтожен по сравнению с необратимыми разрушениями организма.

На исключительное место Виткевич ставит пейот («пейотль», как он именует его в соответствии с традицией своего времени) — психоделик, которому в XX веке отдали должное многие художники, в частности А.Арто, О.Хаксли, А.Мишо. Виткаций отмечает его «стойкое позитивное воздействие на психику», основанное на метафизическом потрясении. «Запретный рай» оборачивается нравственным чистилищем: сознание получает сильнейший толчок, совести предъявлен счет в форме причудливых, агрессивных видений.

Шок сродни эффекту виткевичевского гротеска. Путешествуя в «мире закрытых глаз»,

Виткаций учится понимать «язык пейотля» и открывает, как ему кажется, исток всех искусств. Когда поднимается «великий занавес пейотля», художник прозревает тайну, вглядываясь в глубь неземной красоты вездесущих очей, в которых светится «некое всеведение — словно издевка над нашим человеческим сознанием».

Раздел о пейотле, подводящий итог книге о наркотиках, написан летом 1930 года, когда Станислав Игнаций Виткевич завершал свое важнейшее философское сочинение «Понятия и утверждения, имплицированные понятием «Бытие». Сущностная связь этих текстов неоспорима. Пьеса «Безумный Локомотив», как и размышления о наркотиках, нацелена на снятие ложных экзистенциальных ориентаций, на освобождение энергии постижения. Закономерно и их соседство в одной публикации.

АНДРЕЙ БАЗИЛЕВСКИЙ

Черный сигнальщик с башен Пурибонга и его несуществующие чудовища. 1928.

Безумный Локомотив

Пьеса без «морали» в двух действиях с эпилогом

«No more rum»[1]
Билли Бонс из «Острова сокровищ» Р.-Л.С.

Извлечение из заповедей машиниста:
«VI. Женщины должны держаться подальше
от машин: ни в коем случае не брать их с собой на локомотив».
Из «Учебника для бешеных машинистов».

ПОСВЯЩАЕТСЯ ИРИНЕ ЯНКОВСКОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Зигфрид Тенгер — машинист, 35 лет. Лицо вытянутое, очень выразительное. Бросаются в глаза волевые очертания подбородка и надбровных дуг. Темная бородка клинышком, небольшие усики. Одет в темную куртку и черные брюки с красным кантом, заправленные в желтые кожаные гетры. Шапка с козырьком.

Николай Войташек — кочегар, 28 лет. Бритый. Черты резкие, грубые, но лицо — можно сказать — с оттенком какой-то мерзкой мечтательности. Волосы чер-

[1] «Больше никакого рома» *(англ.)*.

ные. Куртка серая. Брюки зеленые, заправлены в высокие желтые ботинки.

Зофья Тенгер — жена машиниста, 28 лет. Брюнетка, очень красивая, демонической наружности. Одета изысканно.

Юлия Томасик — невеста кочегара, 18 лет. Блондинка, весьма красива, но какой-то животной красотой.

Турбуленций Дмидрыгер — пожилой господин в дорожном костюме.

Минна, урожденная графиня де Барнхельм — истеричная и банальная девица, не лишенная, однако, известного обаяния, отличающего старые обедневшие фамилии. В дорожном костюме.

Трое пассажиров III класса — с виду сущие негодяи. Один из них вор, в наручниках. Выдает себя за машиниста.

Двое жандармов — конвоиры закованных в наручники негодяев. Форма вымышленная.

Компаньонка Минны, девица Мира Капустинская — 45 лет. Толстуха в очках.

Начальник поезда — в австрийском мундире с оранжевой выпушкой. В кивере.

Доктор Марцелий Васьницкий — молодой брюнет с острой бороденкой. В белом халате. Свое дело знает.

Брат Миры, Валерий Капустинский — блондин, 30 лет. Банковский чиновник и тайный формист в искусстве.

Путевой обходчик Ян Гугонь — рыжая борода. Красно-зеленый фонарь.

Его жена, красавица Янина Гугонь — блондинка. Деревенская ворожея.

Толпа пассажиров. Говорят все громко и очень отчетливо.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена представляет хвостовую часть локомотива и переднюю часть тендера. Их стык приходится чуть правее середины сцены. Локомотив может быть гигантским, еще неизвестного типа. Направление движения — направо. Соответственно движению к левой или правой кулисе будут различаться правая и левая стороны самой машины. Регулятор, разумеется, справа. Кабина ярко освещена двумя фонарями. Можно рассмотреть рычаги, трубы и переключатели аппаратуры управления, поблескивающей в свете фонарей. Топка открыта, из нее бьет свет, вырываются кровавые языки пламени. Локомотив должен быть сконструирован так, чтобы свободное пространство между углем в тендере и котлом было довольно велико (размером со среднюю комнату), а крыша локомотива не закрывала обзор тем, кто смотрит с галерки. Время от времени впереди из клапанов вырываются клубы пара и заволакивают все. Станционная платформа должна иметь в высоту примерно полметра, кроме того, по обеим ее сторонам — барьер, отделяющий машину от остальной части сцены. Надо, чтобы люди, стоящие на земле возле локомотива, были видны до пояса. Декорации на заднике выполняются при помощи кинематографического аппарата, проецирующего картины на экран; аппарат расположен сзади, за локомотивом. Поначалу фон в глубине неподвижен и изображает вокзал. В момент, когда поезд трогается, картина начинает смещаться влево (вид из поезда на ходу). Одни и те же кадры могут в известных пределах повторяться. Итак: сначала вид вокзала со стороны перрона. На горизонте догорает вечерняя заря; слева виднеются паровозное депо, силуэты локомотивов, мерцают световые сигналы. Семафоры с красными и зелеными огнями и поднятыми крыльями.

Действие начинается за станционными строениями, в пустой части перрона. Дальше, за семафором, виден освещенный город, огни которого соперничают с закатом. На этом фоне вырисовываются силуэты домов с огоньками, башен, небо- и туческребов и т.д. Топка котла открыта. Пламя бушует. **Кочегар Войташек** набивает топку здоровенными кусками угля, насвистывая «Идеальное танго». Покой недолог — слева приближается **Юлия**. Одета она элегантно, но абсолютно безвкусно. В руке корзинка. Все время, пока поезд стоит, слышны обычные вокзальные шумы: свистки паровозов, стук сталкивающихся вагонов, звонки, гомон людской толпы.

Юлия. Николай, я тут тебе еды кой-какой собрала. Ей-Богу, нынче ночью ты просто лопнешь. Здесь твои любимые пирожки со сливами и бутылка шартреза.

Николай (*бросив лопату, закрывает топку; машина начинает пыхтеть*). Спасибо, Юлечка. (*Спускается, берет корзинку, опять поднимается, оставляет корзинку на тендере и спускается снова. Все это проделывает с обезьяньей ловкостью.*)

Юлия (*тем временем*). А где же господин Тенгер?

Николай. Пошел с женой в буфет выпить кружку пива. Но ты ведь сюда не ради него пришла.

Юлия. А может, как раз ради него. Откуда тебе знать, дурачок, вон, ты весь чумазый от угля!

Николай (*уже спустился*). Только не позволяй себе лишнего, а то ведь если меня разозлить...

Слева не спеша приближаются Тенгер с женой, одетой скромно, но с большим вкусом. Жена несет корзинку.

Юлия. Делай что хочешь. Я тебя не держу. Это ты каждый день грозишься меня убить.

Николай. Ох... если б я мог тебе все рассказать, тогда все было бы иначе!

Юлия. Так расскажи! Я не боюсь.

Николай (*яростно, вполголоса*). Тихо, Тенгеры идут.

Тенгер. Сколько атмосфер, Николай?

Николай. Шесть с половиной, господин Тенгер.

Тенгер. Подкиньте еще.

Николай взбирается на локомотив, подкидывает; пламя бушует.

Сдается мне, пару сегодня потребуется немало — как для шести компаундов. У этой бестии жуткая скорость, когда она разгонится, но совершенно нет силы тяги. А тут еще sleeping-car[1] прицепили. (*Другим тоном.*) Как хороша нынче госпожа Юлия — просто маленький дьяволенок! Не то дьяволенок, не то блондинка, настоящая дьяблондинка. Ох... все было бы иначе, если б не эта моя машина! Она меня держит в узде. А то бы я взорвался как граната.

Зофья дергает его за рукав.

Да оставь ты меня в покое...

Юлия. Уж вы, господин Тенгер, всегда такое скажете...

Зофья. Да он вечно куражится. Но, в сущности, безобиден, как муфлон. Не выношу подобной мягкотелости в мужчинах.

Юлия. Вы, наверное, шутите.

Зофья. Отнюдь. Вчера я ему изменила с младшим кондуктором Северного экспресса. А он и бровью не повел.

Юлия. Кто? Ваш муж? Или младший кондуктор?

Николай, с грохотом захлопнув топку, высовывается из кабины.

Тенгер. Глупые шутки! Не слушайте их, Николай.

Николай (*злобно*). Вы портите мне невесту, мадам Зофья. Я же просил не рассказывать ей таких историй.

Юлия. Ну и дурак же ты, Николай. Я и так давно испорчена! Уж в чем, в чем, а в этом опыта мне не занимать.

Николай (*намереваясь спуститься с машины*).Молчи, трясогузка проклятая, или я тебя...

Его слова прерывает рожок — слева появляется начальник поезда.

Тенгер. В путь! (*Целует жену и, издав дикий вопль, напоминающий кошачье мяуканье, вскакивает на локомотив.*)

Женщины убегают налево. Николай высовывается наружу.

Включить инжектор! Живей! Семерка на шкале — это...

Вой гудка, приведенного Тенгером в действие, заглушает его слова. Он жмет на регулятор. Из клапанов цилиндра вырывается пар и застилает все. Когда пар рассеивается, декорации уже бегут налево. Слышно громыхание поезда и все более частое пыхтенье паровоза. Исчезают огни вокзала. Проплывают мимо предместья и окрестности города, озаренные луной. Пауза.

Николай (*глядя на манометр*). Семь атмосфер. Похоже, вентиль перегружен.

Тенгер (*у регулятора*). А теперь — сбросим маски! Мы снова на нашем необитаемом острове: **Робинзон и Пятница**. Сыграем в Робинзона, как когда-то в детстве.

В этот момент еще виден блеск городских огней, потом мимо плывут поля, леса, долины и деревни.

Николай. Господин Тенгер, так дальше продолжаться не может! Мы должны поговорить начистоту — раз и навсегда. Опуская другие, более существенные вопросы: скажите, вы что, влюблены в мою невесту?

Тенгер (*сильней нажав на регулятор*). Дорогой Николай, сперва подкиньте уголька, потом поговорим.

---

[1] Спальный вагон (*англ.*).

Николай. Господин Тенгер — трубы!!!
Тенгер. А мне что за дело до труб?

Николай подкидывает, пламя бушует.

Вот видите: если захочу, я могу быть простым машинистом, да и вы, как я полагаю, тоже можете быть обыкновенным кочегаром. И как знать — быть может, вам это удается легче, чем мне.

Движения Тенгера при переключении регулятора утрированны, это бросается в глаза. Локомотив между тем дышит все чаще.

Николай. Это еще надо доказать. (*Закрывает топку.*)
Тенгер. То, что вы говорите, интересно, но пока речь не о том. С тех пор как мы на этой машине, все идет неплохо. Отвлечемся от вокзальных проблем, их легко разрешить — мы находимся здесь, на этой стальной бестии и полностью изолированы от внешнего мира. Мчимся в пространстве, осознавая это. Для машиниста, как сказал Ленар, относительности движения не существует. Уж он-то знает, что движется вовсе не пейзаж за окном, поскольку топливо и смазку потребляет не пейзаж, а машина. То же относится и ко всем живым созданиям, способным двигаться. Даже существование блохи противоречит всем законам физики. Потому-то физическая точка зрения на проблему относительности никогда не может быть адекватна реальности!
Николай. Господин Тенгер, вы либо уходите от вопроса, либо шутите.
Тенгер. Минуточку — дайте подумать. Таким образом, если бы мы вдвоем — хотя я бы лучше чувствовал себя в полном одиночестве, — так вот, если бы мы вдвоем могли смонтировать малую планету или метеор, все было бы удобней, чем свернуть шею на рельсах. Ведь куда они в конечном счете нас приведут, оба мы слишком хорошо знаем. Лучше бы это был корабль, но я не выношу воды и проблем, с нею связанных... Корсарство в нашу эпоху, увы, уже невозможно...
Николай (*заинтригован*). Так вас интересуют не вполне легальные способы извлечения материальной прибыли?
Тенгер. Ах нет... У меня это просто так вырвалось. К тому же на корабле невозможно оказаться вдвоем, а лодка — посудина слишком утлая: выхода нет.
Николай (*глядя на манометр*). Восемь с половиной, господин Тенгер, — не многовато ли?
Тенгер. Можно догнать и до десяти. Сегодня мне все время зачем-то нужен пар, сам не знаю зачем. С утра перед глазами неясно маячит какой-то проект. Мы должны хоть на миг разорвать привычные, обыденные связи. Тогда все само прояснится. Нанесем внезапный удар в точку, где его меньше всего ожидают.
Николай. Поразительно — мне тоже с утра лезут в голову какие-то невероятные, странные мысли, но о чем именно — не пойму. Едва только я принялся растапливать эту скотину (*шлепает по котлу ладонью*), как что-то неясное забрезжило у меня в уме. Но внутренняя тьма по-прежнему застилает мне смысл бытия. Не созерцание, а только действие может все прояснить. До чего же, однако, невелик у нас выбор поступков, из ряда вон выходящих — не считая психических извращений, как вы, господин Тенгер, изволите называть эти вещи.
Тенгер. Вот и со мной то же самое. Признаюсь: я люблю Юлию, но при этом люблю и свою жену, вернее — считаю ее сообщницей во всякого рода делишках, о которых сейчас предпочел бы не распространяться. Юлия же для меня — воплощенное очарование женской тайны, несмотря на свою глупость, более того — именно благодаря ей. Но разве на самом-то деле все это так уж важно? Что хорошо здесь, по той же причине может быть вовсе не так уж хорошо там, на относительно неподвижной земле. Но отсюда, с этой бешено разогнавшейся стальной махины, все выглядит иначе. Перенести эту точку зрения туда, в сферу закоснелой неподвижности, и в то же время наблюдать все с локомотива, мчащегося в пространстве! Вот проблема!
Николай. Честное слово, я думал о том же, хоть и не так четко. Читал и я брошюрку о теории Эйнштейна. Преобразование координат, всеобщая относительность — известное дело.
Тенгер. Итак, возникает вопрос: следует ли смотреть с паровоза на землю или с земли на паровоз? Ведь на земле все, что я сейчас говорю, должно казаться абсурдом — Чистой Формой, как выражаются они, формисты, — недавно я прочел на эту тему статейку их лучшего эссеиста. Но все это не имеет ни малейшего значения. Скажем прямо: вот бы переселиться на локомотив, а?.. Могут заметить, что сие вполне заменимо спальным вагоном или вагоном-рестораном. Однако между двумя этими вещами — пропасть.

Николай (*со смехом*). Ну уж нет, разница даже мне заметна. Но в конце концов жизнь — это женщины, те, которые нам принадлежат, и все прочие. Путешествовать на локомотиве, основав на нем четырехугольник женато-обрученных, — недурно? A propos, господин Тенгер, стоило мне взобраться вместе с вами на эту махину — на этот остров, как вся обида прошла, даже из-за Юлии. Тут я кочегар, у меня есть свое место в мире. Никакого другого шефа я бы уже не потерпел. Здесь вроде бы все точно так же, но при этом все сглажено — как барельеф, как поверхность холста, — все остается на месте, будто замороженное, хотя в действительности движется. Забавно! (*Смеется.*)

Тенгер. Не смейтесь, Николай. Не так это глупо, как вам кажется. А просто неосуществимо. Но само по себе? Гм... Я бы сказал, такое возможно — но один только раз: это неповторимо и необратимо. Да-да: сдается мне, что вот он — мой проект.

Николай. Но ведь по существу — это смерть.

Тенгер (*с горячностью*). А ты откуда знаешь?

Николай. Я бы попросил мне не тыкать. Девяносто два в час, господин Тенгер. Еще полкилометра, и начнется снижение скорости. Пора перекрыть регулятор.

Тенгер. Попрошу меня не учить, как надо вести машину. Ваше дело — топка. Еще угля! Живей, пан Войташек!

Николай выполняет приказ. Огонь бушует.

Откуда вам известно, что мой проект грозит смертью? Лично я не вижу в нем никакой жесткой предопределенности.

Николай. Это — там! (*Указывает вперед по ходу поезда.*)

Тенгер. Может, и там. Люблю я вас за этот ваш внутренний сейсмограф: вы и не подозреваете о его существовании, а он тем не менее чертит у вас внутри кривую колебаний, непонятных даже вам самому. (*С изумлением.*) Такое примитивное животное, а до чего точно все предчувствует! (*Пауза.*) Подкиньте уголька.

Николай выполняет приказ. Огонь бушует.

Николай (*швыряя уголь*). Пока что мы с вами друг друга стоим. Подумать только: все бесконечное Бытие — и мы двое, одинокие, покинутые всем человечеством, на этой бешено несущейся бестии, в такую эпоху. Да хоть тысячу лет ломай голову, ничего подобного не придумаешь.

Тенгер. Что вы имеете в виду, говоря «покинутые всем человечеством»? Должен признать: это действительно так. Но все же сформулируйте поточнее.

Николай (*бросая лопату*). Повторяю: перекройте этот чертов регулятор и включите тормоз, предоставьте господину Вестингаузу сделать свое дело, иначе мы сойдем с рельсов на первом же повороте.

Тенгер перекрывает регулятор и жмет на тормоза. Машина перестает сопеть. Слышен стук вентилей тормозного цилиндра и скрежет колес.

Тенгер. Ну, а теперь продолжайте.

Николай. Вы только и думаете о женщинах. Вам хочется женщин даже на локомотиве.

Тенгер. Опять вы об этом, господин Войташек. Поверьте, женщина для меня только символ — видимый знак безвозвратно уходящей минуты. Впрочем, не скрою: я — профессиональный соблазнитель. Однако это скорее лишь способ обозначать кульминации известных характерных моментов.

Николай. И все же сдается мне, что вы птица поважнее, чем тот, за кого себя выдаете.

Тенгер (*стараясь отвлечь его внимание*). Э-э-э... нет на свете такого вздора, который был бы достоин выразить Тайну Бытия. Об этом знают безумцы и те, кто готов спятить в любую минуту.

Николай. Вы снова отклоняетесь от темы. Рискну и скажу вам открыто: я не Войташек. Войташек давно в могиле. Я живу за него по его документам. Моя фамилия — Травайяк.

Тенгер (*отпускает тормоза, скрежет прекращается*). Вы меня обошли на полкорпуса. Я тоже как раз хотел вам представиться. Так, значит, вы — тот самый великий Травайяк, которого тщетно разыскивает полиция всего мира. Да стоит мне в Дамбелл-Джанкшн отдать приказ, как вас тут же арестуют.

Николай (*пытаясь залезть в задний карман брюк*). Неужели я ошибся?..

Тенгер. Оставьте ваш револьвер, господин Травайяк. Это была шутка. Такому злодею, как вы, и я могу представиться: герцог Карл Трефальди. Меня самого могут схватить на первой же станции.

Пожимают друг другу руки.

Николай-Травайяк. Нет, интуиция меня никогда не подводила. Иначе я давно бы гнил

в тюрьме. Большая радость для меня познакомиться с коллегой столь высокого ранга. В минуты интенсивной работы я всегда мечтал об этом. Быть может, теперь-то мы вместе вынырнем из этого взбаламученного омута международного паскудства.

Тенгер-Трефальди. Нет уж, хватит с меня всех этих злодеяний, а в особенности их последствий. Разумеется, я говорю не о тюрьме, а о последствиях внутренних. Преступления нынче ведут к известной утрате индивидуальности. Для того же, чтоб начать нормальную жизнь, я слишком сложно устроен, несмотря на кажущуюся простоту. Вот только Юлька... ну-ну, не обижайся. Послушай, Травайяк: дальше так продолжаться не может. Мы должны совершить нечто поистине сатанинское, но не с другими, а с собой — сегодня же, сейчас же, немедленно. Просто я люблю твою невесту, и ничего с этим не поделаешь, если не произойдет самая ужасающая катастрофа. Здесь, на этой машине, я, по крайней мере, мчусь куда-то, и хоть это слегка успокаивает. Жена меня удерживает только с помощью шантажа.

Травайяк. Как? Значит, это Эрна Абракадабра, та самая шансонетка из Бистли-холла в Нью-Йорке? Ваша сообщница во всех преступлениях?

Трефальди. Она самая — та, вместе с которой я убил свою тетку, княгиню ди Боскотреказ. Перекрасила волосы в черный цвет, а нос у нее из парафина. Она мне совсем разонравилась. Но благодаря этому я жив. Я ведь и сам на себя уже не похож...

Травайяк. Ясно, всем нам то и дело приходится изменяться. Но вы только подумайте: мы тут с вами беседуем, а там, в каком-нибудь из вагонов нашего поезда кто-то себе едет и почитывает точь-в-точь такую же историю из дорожной библиотечки детективов. Забавно!

Трефальди. Возможно; это стечение обстоятельств не преуменьшает ни величия наших помыслов, ни странности нашей встречи. Однако — к делу: я знаю, как быть! Это и есть то, что гнетет меня уже три месяца кряду. С того момента, как ты стал моим кочегаром.

Травайяк. Так говори, Карл, будь абсолютно искренен! Я готов на все!

Трефальди. Этой ночью мы должны принять решение. Вот оно: м ч и м с я в п е р е д б е з о с т а н о в к и, н а п о л н о й с к о р о с т и и смотрим, что из этого выйдет.

Травайяк. То есть нечто вроде поединка или суда Божия. Ладно, это не ранит моего честолюбия. Выходит, дорогой Карл, несмотря на свой возраст, ты так сильно ее любишь?

Трефальди. Да, но это же вполне естественно — пойми: речь о том, чтоб отбить ее не у подчиненного, а у коллеги по высшей профессии. Мы должны провернуть дело так, чтобы оно было достойно нас, людей старой закалки, роковым образом заблудившихся в чужой эпохе.

Травайяк. Что-то меня не тянет в аристократы. Я не сноб.

Трефальди. Все равно: лет двести назад ты был бы жуткой канальей в высших сферах человечества. Итак: жму на регулятор.

Травайяк. Хорошо — но поезд? Жизнь стольких людей?

Трефальди. И это говорит человек, да что там — чудовище, у которого на совести как минимум тридцать жутчайших, а вернее, великолепнейших убийств!

Травайяк. Да, правда, но в конце концов у меня тогда были определенные, реальные цели.

Трефальди. Неужели же цель этой ночи не самая реальная из всех известных нам целей? Мы решим самую что ни на есть существенную проблему — проблему смысла всей этой пошлой комедии, в которую выродилось наше существование после того, как эпоха преступлений окончательно себя исчерпала.

Травайяк. Я еще не могу вполне осмыслить значение этого плана, но в принципе он меня устраивает. Как видно, я должен его исполнить — ведь в жизни нет уже ничего, что могло бы меня насытить.

Трефальди. Не думай об этом больше. Надо, чтоб хоть что-то произошло. Месторождения злодейств исчерпаны. К прежней жизни мы вернуться не можем. Подумай, однако, каким очарованием наполнится все, если кто-то из нас переживет эту историю. Живой свалит вину на мертвого — никакого риска.

Травайяк. Хорошо, я согласен. Мы столкнемся с пятидесятым, с которым у нас по графику пересечение, если, разумеется, без катастрофы проскочим Дамбелл-Джанкшн. На перегоне между станциями этот поезд ничто не задержит. Я готов на все, но если оба мы останемся живы, нам придется туго.

Трефальди (*полностью открывает регулятор; машина сопит как бешеная*). Я не подумал о возможности увечья, но теперь спорить поздно. Пускаю состав на полные обороты, несемся на всех парах.

Пожимают друг другу руки. На тендер по куче угля вползает **Юлия**.

Юлия (*встает, шатаясь из-за того, что платформа болтается между тендером и локомотивом; машина дышит все чаще, пейзаж перемещается с дикой скоростью*). Я решила сделать вам сюрприз. Уж этого вы никак не ожидали. Госпожа Тенгер ползет сзади. Мы запрыгнули в последний момент. Ох и трудно было лезть по буферам. Но почему вы гоните как бешеные? Вот-вот станция!

Травайяк. Скоро узнаешь. Посмотрим, стоишь ли ты сделанной нами ставки.

Юлия. Ставки? Что ты мелешь, Николай? Ты что, уже выпил шартрез, который я принесла? Вы должны нас где-нибудь спрятать, пока не прибудем на станцию, — под углем или еще где.

Трефальди. Свершилось: сбылась наша мечта. Надо сказать им правду.

По тендеру ползет **Зофья Тенгер** recte **Эрна Абракадабра**.

Эрна, послушай: я люблю Юлию, и мы с Травайяком устраиваем суд Божий. Я пустил поезд вперед на всех парах — будь что будет. Уцелеем — отлично, расшибемся в лепешку — еще лучше. Не могу я больше терпеть этот шантаж. У меня предчувствие, что ты погибнешь — ты, единственная, кого мне было совестно убивать. Видишь, по-своему я люблю тебя — ты была хорошей помощницей и подругой. Быть может, тебе суждено погибнуть по воле случая. Ты сама сюда пришла. Это не моя вина.

Женщины слушают, совершенно обескураженные.

Абракадабра. С каким Травайяком, Зигфрид? Ты с ума сошел? У тебя галлюцинации.

Трефальди (*указывая на Травайяка*). Это не Войташек, а Травайяк. Тот самый, знаменитый. Вглядись-ка в него хорошенько. Припоминаешь? Мы про него читали в «Бульдог-мэгэзин». Маски сорваны.

Абракадабра. Господи! Да он рехнулся! Господин Войташек, его надо связать! И зачем только я дала себя уговорить — ох уж этот дурацкий сюрприз! Ты во всем виновата, змея! (*Бросается на Юлию.*) Это ты меня уговорила ехать!

Травайяк придерживает Эрну.

Юлия. Но, простите, я ничего не хотела, ни о чем не знала! (*Мужчинам.*) А теперь я с вами заодно! Мне это нравится! Теперь мне ясно: я люблю вас обоих. Но до чего жаль, господин Тенгер, что вы не преступник, как Николай.

Абракадабра. Он еще похлеще, чем этот. (*Травайяку.*) Пусти меня, ты, падаль! Карл, спаси меня! Перекрой регулятор! Я хочу жить!

Трефальди (*в двух местах перерезает шнур свистка*). Травайяк, ну-ка свяжи эту женщину! Впервые в жизни она не сумела вести себя как подобает. (*Бросает ему шнур.*)

Юлия. Я вам помогу.

Вопящую Эрну связывают.

Абракадабра. Перекройте регулятор! Включите тормоза! Я хочу жить! Хватит с меня всей этой мерзости!

Травайяк затыкает Абракадабре рот кляпом и бросает ее на кучу угля.

Трефальди (*Юлии*). Что же касается того, преступник я или нет, позволю себе представиться: Карл, герцог Трефальди — этого, полагаю, довольно.

Юлия. Не может быть... вы... невероятно! Сам Трефальди, великолепный Трефальди! Ах — именно теперь, как же все чудесно! Я так счастлива! Всегда мечтала о чем-нибудь необычайном — чтоб было как в кино!

Травайяк. А я что, не в счет? А мои преступления — ничто? Юлия, советую тебе, поосторожней, а то ведь я могу убить господина герцога и остановить поезд.

Юлия (*целует Травайяка*). Я люблю вас обоих. Только теперь я впервые действительно полюбила, но — обоих. Вы оба необыкновенны в этот миг. Происходит что-то немыслимое — словно до сотворения мира.

Трефальди. Вот женщина, которая нас достойна! И разве можно не сделать того, что мы вознамерились сделать? Мы должны, Травайяк! Иначе нам не жить. Не так ли?

Травайяк. Ясное дело. (*Высовывается из кабины с другой стороны.*) Уже видны сигналы Дамбелл-Джанкшн.

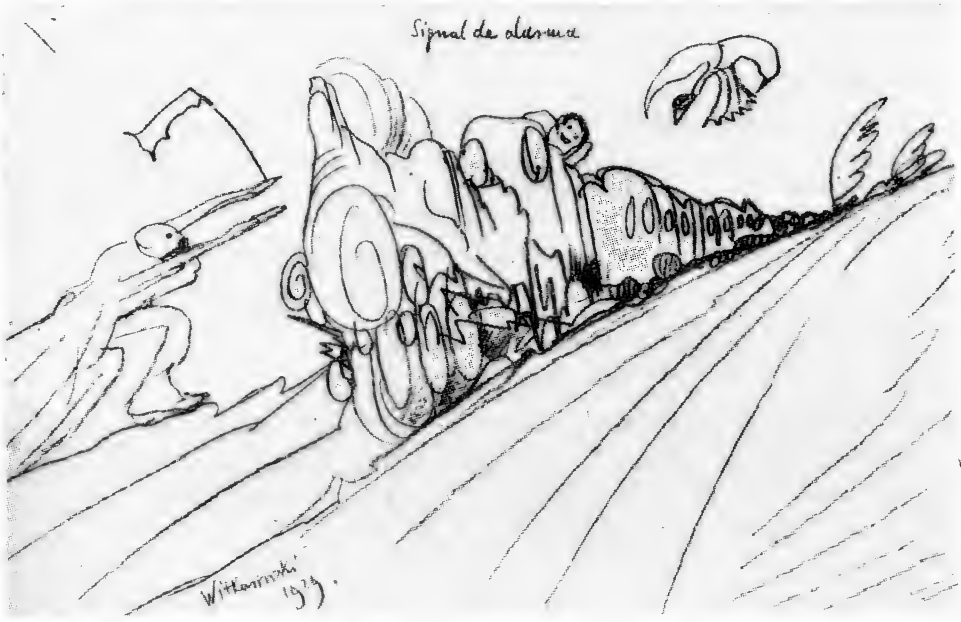
Трефальди (*глядя на приборы*). Восемь с половиной атмосфер — сто двадцать два километра в час. У меня предчувствие, что мы проскочим станцию благополучно. Представляю себе, что за лица будут у этих кретинов!

Абракадабра (*воет сквозь кляп*). Ахррмбунглохрамкопр...

Юлия (*восторженно заломив руки*). Ох — это восхитительно! Замечательно! Двое пре-

ступников за миг до катастрофы, и я с ними, я люблю их обоих, и они меня любят! Ах, только это — жизнь! Мне хочется разлететься вдребезги! Я не выдержу до конца!

Ее прерывает оглушительный рев паровоза.



Signal de alarma[1]. 1929.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация та же, что в первом действии. Пейзаж перемещается с невероятной скоростью. Во время антракта киноленту поменяли: в какой-то момент должны пронестись огоньки деревни, потом освещенный вокзал. В правой части локомотива приникший к регулятору **Трефальди** свесился в окно. Все заволакивает пар, вырывающийся через клапаны из цилиндров.

Трефальди. То, что мы хотим сказать друг другу, мы должны сказать быстро. Через полминуты пройдем первый семафор Дамбелл-Джанкшн. Не уверен, что мы при такой скорости не полетим под откос на первой же стрелке.

Травайяк. Одно скажу: одиннадцать атмосфер и сто тридцать километров в час. Голова моя, как снаряд, улетает по спирали в бесконечную бездну Вселенной.

Юлия. А я вам говорю, что чувствую себя превосходно. По-моему, ничто и никогда не было так очаровательно, как это, хотя мне и раньше говорили, что я истеричка. Ради такого стоит умереть, хоть десять раз подряд.

Трефальди. Что до меня, я ничего не скажу. Все мысли из черепа как ветром выдуло. Я только продолжение регулятора, словно мозг мой насажен на этот железный рычаг, как на вертел. А точнее — я весь отождествился с машиной. Мчусь в пространстве, как бык, чтоб напороться на клинок судьбы! Нет, мгновенье действительно высокое. Над нами можно сделать надпись: «Не прикасаться, высокое напряжение, смертельно!!!» Если бы до меня дотронулся кто-нибудь неподвижный, нормальный, он рухнул бы, как пораженный громом. Может, это только начало механизированного безумия?

Травайяк. Карл, твоя скромность восхитительна: заявляешь, что сказать тебе нечего, а потом болтаешь как заводной.

Трефальди. Вся моя болтовня — негативна, ничего положительного я сказать не могу. Я — лишь подвижная проекция бездонной пустоты на экране. Думаю, если б машина вдруг остановилась, я бы тут же умер.

Юлия. Ах — да перестаньте вы анализировать! Увы — таковы все настоящие мужчи-

[1] Сигнал тревоги (*исп.*).

ны, даже такие титаны, как вы. Это же единственный миг, когда мы можем сполна насытиться действительностью. В обычной жизни что нам перепадает — только осколки, крохи, объедки. А теперь у меня есть все — ничего определенного я уже не жду, — но ведь у меня оно есть! Даже крушение — ничто, я обладаю вами, вами обоими — в эпицентре смерти, которая во мне, в вас и в этой адской машине. Разве могла бы я так обладать вами в жизни, в какой-нибудь комнате, в обыкновенный час обычной ночи?!

Абракадабра (*сверхчеловеческим усилием освобождается, вырывает кляп, кричит*). Я знаю! Ты, гнилая обезьяна! Я хорошо знаю, о чем ты мечтаешь, ты, смердящая плебейская гусыня, ты, ненасытный комок поганой падали! Карл! В последний раз тебя умоляю!

Травайяк ее удерживает. Они борются. Юлия разражается безумным диким хохотом.

Трефальди (*громовым голосом*). Станция все ближе! Я не могу оставить регулятор. Вышвырните прочь эту бездушную мразь! Да не осквернит этой единственной минуты своим присутствием эта мегера, это олицетворение самого подлого шантажа!!!

Травайяк и Юлия вышвыривают Эрну Абракадабру налево.

Травайяк (*высовывается, чтобы проверить, все ли в порядке*). Размозжила голову об насос. Вот и станция!!! Первый семафор! Путь свободен!!! Стрелки свободны. Второй семафор сигналит, что линия занята. Значит, пятидесятый на подходе к Дамбелл-Джанкшн. Близится решающий миг!

Трефальди (*жмет на регулятор; все бросаются в левую часть машины и высовываются наружу*). Все в порядке. Если б не страшная пустота в голове, я был бы счастлив.

Мелькает семафор, потом освещенный вокзал, слышен стук колес на стрелках. Толпа на перроне голосит, раздаются дикие вопли. Опять мелькает семафор, потом несколько фабричных труб на фоне городских огней, и снова начинает перемещаться залитый лунным светом пейзаж.

Травайяк (*высунувшись слева; Юлия высунулась посредине; справа стоит Трефальди*). Кто-то на ходу вскочил в поезд! Какой-то безумец! Он может все испортить...

Юлия (*восторженно их целует*). Кто же может быть безумней, чем мы? Кроме нас, ничего не существует. Мы единственные, мы одни такие. Мы гиганты. Я наконец поняла, что такое величие! Как же я вам благодарна! До чего я люблю вас обоих!

Трефальди. Если пятидесятый опоздает, может приключиться скверная история. Мы не выдержим напряжения. А если наш внутренний настрой спадет, трудно сказать, чем кончится катастрофа.

Юлия. Не говори так, я хоть три часа выдержу. Вся моя жизнь в ожидании этого сжалась, как замороженный газ в баллоне!

Травайяк. Ну да, у женщин вообще выше сопротивляемость, чем у мужчин. Для нас же это хорошо, но ненадолго. Если дело затянется, все пойдет не так гладко, а может обернуться и вовсе гнусно.

Трефальди. Постойте: кто-то ползет по тендеру сзади!

Все смотрят налево.

Голос (*доносящийся из невидимой части тендера*). Вот они! Здесь! Я же вам говорил — еще не все потеряно! Должно быть, отказали тормоза. Все за мной! Мы им поможем!

Травайяк (*пытаясь дотянуться до заднего кармана*). К дьяволу! Вот теперь-то нам придется туго! Стрелять или нет — я вовсе не хочу марать руки! (*В отчаянии.*) Ого! Целая банда ползет!

Трефальди. Не стрелять — все само образуется.

Юлия. Николай, он отступает! Хочет все бросить на произвол судьбы!

Трефальди. Ты же видишь, я по-прежнему выжимаю сто тридцать в час, а еще брюзжишь. Ох, что за ненасытность!

Из тендера по глыбам угля вползает на локомотив **Валерий Капустинский**, одетый в жакет. Голова его перевязана окровавленным платком. Руки сбиты в кровь.

Капустинский. Я Валерий Капустинский. Здесь женщина? Что вы тут делаете, черт возьми? А впрочем, какая разница. Чем я могу помочь? Говорите быстрее — пятидесятый уже отошел от соседней станции и мчится прямо на нас. Его никто не остановит. У обходчика на двадцатой линии сломался телефон. Так говорили на станции.

Юлия (*в отчаянии*). В этом мире просто быть не может ничего идеально прекрасного! Вечно влезет какой-нибудь человеко-скот и все испортит!

Трефальди. Так, значит, и впрямь не все потеряно? Пся крев! Sangue del cane![1] А я и забыл об этом телефоне, я, железнодорожник! Ха-ха... Вся надежда, как всегда,

[1] Собачья кровь! (*итал.*).

на скорость. Тот кретин с товарняка ни за что не даст заднего хода на скорости сто тридцать в час.

Капустинский. Что вы несете! Это же сумасшедшая! Вон та!!! А вы что, тоже свихнулись? Не можете остановить машину? Говори — я все что надо сделаю. Быстро!

Медленно переползая через груды угля, на локомотив выбираются: **Минна де Барнхельм,** ее компаньонка **Мира Капустинская**, **Турбуленций Дмидрыгер**, **трое негодяев и двое жандармов.** Все в ужасе.

Травайяк (*жандармам*). Хорошо сделали, что пришли. Нам как раз нужно два рычага, мне и моему шефу, чтоб остановить поезд. Регулятор полетел. Дайте-ка ваши карабины. (*Смертельно перепуганные жандармы отдают карабины.*) Отлично! И проваливайте! (*Бросает карабины в левое окно и выхватывает из кармана револьвер.*) Положение все больше осложняется, но ничего, разберемся. Без фокусов, иначе — пуля в лоб!

Капустинский. Да, и все-таки это сумасшедшие! Массовое помешательство — заразная штука! Мы все пропали, если никто ни на что не решится. Что до меня, я выдохся, пока штурмовал поезд. Больше я ни на что не способен! Меня это абсолютно доконало!

Минна. Неужели ни у кого не хватит смелости сразиться с этими убийцами? Через пять секунд может быть поздно! Смерть так или иначе неизбежна, если никто из вас не придет себе и нам всем на помощь!

Трефальди стоит скрестив на груди руки. Рядом с ним Юлия под прикрытием револьвера Травайяка.

Мира Капустинская. Заклинаю вас, умоляю! Мой брат, Капустинский, всего лишь банковский чиновник — правда, он слывет безумцем, потому что пишет по ночам формистические картины, но как бы там ни было, он на ходу прыгнул в поезд, чтобы спасти меня, а значит, и всех нас. Сто в час — а он встречал меня с цветами на вокзале! Понимаете? Я первая подняла тревогу в нашем вагоне!

Дмидрыгер. Да, но ни у кого из нас нет оружия! Можно ли было предполагать? Ведь такая солидная линия! Смерть с каждой секундой все ближе! Тут смерть, там смерть — с ума сойти можно!

Вползает **начальник поезда** с фонарем.

Начальник поезда. О Боже, господин Дмидрыгер, что творится в этом поезде? Никто ничего не понимает! Люди думают: проехали мимо станции, значит, так надо. В задних вагонах ни у кого не было билетов до Дамбелл-Джанкшн. Они оба сошли с ума. Алкоголь всему причиной! Но увы, я тоже безоружен!

Дмидрыгер. Ради Бога, господин начальник, не будем тратить время на пререкания! Это же не театральный спектакль! Должны же вы как-то помочь! Я ведь знаком с вами лично.

Начальник поезда. Но я вообще ничего не знаю. Понятия не имею, где тут рычаги управления! Я умею только компостировать билеты да проверять, прокомпостированы они уже или нет. Узкая специализация — самое ужасное бедствие нашей эпохи! Не правда ли?

3-й негодяй (*в наручниках*). Я тоже с вами знаком лично, хотя и несколько специфическим образом. Я не был вам представлен, но, несмотря на это, однажды ночью напал на вас на улице. Простите меня и замолвите словечко, чтобы мне освободили руки. Когда-то я был машинистом.

Дмидрыгер (*жандармам*). Снять с него наручники.

Минна (*3-му негодяю*). Спасите нас, и я вас вызволю из тюрьмы! Мой дядя — прокурор апелляционного суда. Уже две минуты, как я полюбила этого кочегара. Он в моем вкусе. Наконец-то я нашла его. Я должна его отнять у этой девицы и жить с ним до самой смерти — не насильственной! Я должна жить! Понимаешь? Вы слышите, господин кочегар?

Трое безумцев разражаются неистовым хохотом. Тем временем жандармы возятся с наручниками 3-го негодяя.

Травайяк. Знаете, а нам повезло с этой девицей! Ее присутствие вносит разнообразие в ситуацию.

Трефальди. Семь судеб столкнулись в одной точке почти с математической четкостью. На эту тему ничего интересного не скажешь, кроме избитых фраз, которыми не слишком сноровистые драмоделы заполняют пустоту своих пьес. Так что подождем. Пока что меня интересует, на что у них хватит храбрости. Юлечка, ты ведь нам не изменишь, если мы вдруг уцелеем.

Юлия. Никогда в жизни! Я сверхженщина, я не от мира сего. Одно меня бесит: они сорвали нам такое прелестное приключение!

Минна. Гнусная лгунья! Теперь я знаю, какими штучками ты удерживала этого красавца кочегара!

Травайяк. Карл, встань-ка на всякий случай поближе к регулятору! С горя они и впрямь могут выкинуть какой-нибудь фортель!

Начальник поезда (*посветив фонарем*). Карл? Его всю жизнь звали Зигфридом!

Трефальди (*проскользнув вдоль котла в правую часть машины*). Не всю, мой дорогой! Если выживешь, узнаешь еще немало интересного! Знаешь, Травайяк, может, и к лучшему, что они сюда заявились! Это меня заставляет сопротивляться. Если б не это — признаюсь, — быть может, в момент смерти я бы отступил. Хорошо все-таки оставить хоть какую-то мелочь на волю презренного случая.

Юлия. Меня восхищает героизм, с которым ты признаешь свою вину, Карл.

Дмидрыгер. Это страшно, на нынешнем этапе цивилизации наша жизнь — в руках таких людей! Просто поверить не могу, что я на локомотиве!

Капустинский падает без чувств на кучу угля. Все чрезвычайно возбуждены, ждут, к чему приведет освобождение негодяя.

Травайяк (*Дмидрыгеру*). А ты думал, мы все — такие же безвольные манекены, как ты? Мы — преступники, а в особенности те из нас, кто преступник ради самого преступления, без корысти и без причины, мы — единственные, кто еще что-то значит в этом испоганенном мире.

Юлия. Да — преступники и, быть может, еще художники. Кроме них, никого не существует! Правда, художников я знаю только по их творениям. Может, безумцы? Но безумцев я не знаю вообще.

3-й негодяй (*которого освободили*). Прочь отсюда! А эти что — не безумцы? А вы-то сами что — разве не сумасшедшая? А?

Минна. Ложь, подлая ложь! Вот оно, влияние современного искусства!

3-й негодяй (*освобожденный*). А теперь отволоките-ка этих в сторонку, а я попробую остановить машину. Быстрей, а то впереди уже что-то гудит!

Дмидрыгер, двое негодяев и двое жандармов подталкивают друг друга. Ни у кого не хватает смелости.

Минна. Ха! Раз ни у кого из вас не хватает смелости, что ж, придется мне рискнуть! Подлые трусы!

3-й негодяй (*сунув руки в карманы*). Только величайшие трусы смелеют от страха, средним это не по плечу.

Пока он говорит, Минна хватает лопату и бьет Трефальди по голове, Трефальди падает на барьер. Остальные, приободрившись, наваливаются на Травайяка. Тот дважды стреляет из револьвера, но ни в кого не попадает. Травайяка скручивают. 3-й негодяй перекрывает регулятор и вращает кулису локомотива в противоположную сторону; снова открывает регулятор, чтобы дать контрпар; говорит.

Кулиса системы Хайзингера фон Вальдека. Прекрасная штука — в мое время таких не было.

Внутри машины раздается скрежет. Юлия все так же стоит опираясь на котел. Сжимает голову в ладонях. Остальные издают радостные вопли.

Дмидрыгер (*высунувшись наружу с левой стороны машины, истерически вопит*). Поздно! Пятидесятый прет на нас на всех парах! Мы не успеем остановиться! Дайте же гудок, господин Икс! Скорее!!!

3-й негодяй выжимает из машины пронзительный гудок. Вопли отчаяния. Все, объятые безумным ужасом, выглядывают из окон, бросив Травайяка.

Травайяк (*кричит*). Юлия! Не бойся! Ты будешь моей! У шефа пропорото брюхо, он откинул копыта! До чего ж у него хамское выражение лица после смерти!

Минна. Нет, ты создан для меня! Для меня! Ты мой! Мы погибнем вместе! От нас останется мокрое место!

Целует Травайяка, тот вырывается. Компаньонка Минны оттаскивает ее от Травайяка. В тот же миг раздается чудовищный грохот и скрежет. Все застилает пар, и видно, как машина разлетается на куски [1].

[1] Я сам видел, как после такого взрыва рухнул дом в пьесе Бьёрнсона «Свыше наших сил» (в Краковском театре). Знаю, что технически это осуществимо. (*Прим. автора.*)

ЭПИЛОГ

Неподвижный пейзаж. Ночь, лунный свет. По небу плывут белые облака. От разбитого локомотива осталась только куча искореженного железа. **Толпа пассажиров.** Стоны и крики. **Путевой обходчик Гугонь**, держа красный фонарь, разговаривает с **начальником поезда**. Из-под обломков извлекают раненых и трупы.

Путевой обходчик. В чем дело, господин начальник? Столько народу на паровозе? Стреляли? Это что — налет?

Начальник поезда (*схватившись за голову, без кивера; шинель разодрана*). Пе-пе-пе-пе-пе-пе... Ах, ах... Боже, Боже...

Путевой обходчик. Да говорите вы по-человечески! Я как заметил, что делается, тут же подал сигнал «стоп» — вам и номеру пятидесятому. Вы тогда, должно быть, уже прошли станцию, если только у меня часы не врут. Моя жена сошла с ума — у нее сегодня был припадок буйного помешательства. Да еще этот телефон с пяти вечера не работает! Я не хочу нести ответственность.

Начальник поезда (*разводит руками и что-то невнятно бормочет, потом говорит*). Эт-т-то т-т-т-т-а-а-а-йна!!! Какое чудо, что я уцелел! У меня каша вместо мозга, в голове дыра. Того и гляди, все из нее вывалится.

Откапывают **Юлию**, та с криком выбегает на авансцену.

Юлия (*безумно*). Ничегошеньки прекрасного в этой жизни просто быть не может! Все — сплошное свинство! Все, в чем была красота, раз навсегда коччилось! Довольно! Убейте меня! Я ничего не хочу — ни видеть, ни знать! Уже не знаю даже, действительно ли я — это я. Не знаю, что будет через минуту. Бессмысленные слова заливают оголенный мозг, все чужое, мерзкое, все уже не то, а что-то совсем другое. Мне страшно! Я не знаю, живы эти люди на самом деле или нет. (*Указывает на присутствующих.*) Вязкая, безликая, черная бездна разверзлась передо мной! (*Садится на кучу обломков*)

Путевой обходчик. Тронулась на почве нервного шока. Плетет невесть что, совсем как моя благоверная.

Из-под обломков откапывают **Трефальди**, трупы троих негодяев и 2-го жандарма.

1-й жандарм. Так-так — трое негодяев и мой коллега превратились просто в кучу фарша. (*Указывает на Трефальди.*) Вот главный виновник. Хватайте его!

Трефальди. Ты что, любезный, не видишь: у меня и так все кишки выпущены... Я же вот-вот концы отдам. Регулятор вонзился в брюхо самое меньшее сантиметров на тридцать.

Извлекают **Травайяка** и **Минну**, целых и невредимых.

А кроме того, у меня нервный шок от удара лопатой, который мне нанесла эта дама. (*Указывает на Минну.*)

Минна. Итак, мы целы и невредимы. Иди сюда, Войташек, и забудь о той, что довела тебя до этого кошмара. Со мной ты совершенно успокоишься.

Травайяк. Разумеется — но ответственность? У нас же есть свидетели. Все пошло наперекосяк. Право, после всего этого хочется только одного — покоя.

Минна. Ерунда. Побудешь полгодика в психбольнице, отдохнешь. Потом я тебя освобожу. Мой дядя — прокурор апелляционного суда. Ты должен жить и быть свободным. Ты в моем вкусе. Другого такого мне не найти, хоть я и графская дочь. (*Жандарму.*) Господина кочегара я забираю под свою ответственность.

Жандарм берет под козырек.

Травайяк. Раз так, ничего не поделаешь. До свиданья, шеф. Увы, для меня все начинается сначала. Спасибо Юлии с ее магнетизмом за все эти поразительные вещи, что мы пережили. Теперь уж с меня на всю жизнь хватит истеричек! (*Выходит с Минной налево.*)

Дмидрыгер (*выбираясь из-под обломков*). Капустинские расшиблись в лепешку, нашинкованы, как капуста. Я весь забрызган потрохами мадемуазель Миры. У меня такое чувство, будто все это мне приснилось.

Входит **Янина Гугонь.** Волосы растрепаны, вся в белом, украшена цветами, словно Офелия. Спокойно наблюдает за происходящим.

Начальник поезда. Пойдемте-ка пропустим по кружечке пива, господин путевой обходчик Гугонь. Пока все выяснится, откупорим новую бочку! Остальным займется спасательный поезд. Только бы это не стало началом эпидемии среди машинистов всего мира!

Янина Гугонь (*подойдя к Юлии, обнимает ее*). Я тоже знаю все, как и она. Только мы

— я и она — знаем все, остальные — болваны. Я всегда этого ждала. Ждала всякий раз, когда мимо проносился поезд. Вы не знаете, что это за мука — ждать и смотреть на поезда, которые пролетают мимо, мчатся куда-то и везут, везут людей, столько людей. И вот результат — я ждала не напрасно. Сегодня в пять я перерезала телефонный провод. Дух сказал мне ночью: так надо. У него была темная бородка и блестящие кошачьи глаза. С ним-то я и изменила мужу во сне. Ха-ха-ха!!!

Путевой обходчик. Янина, успокойся и возвращайся домой. Слушать стыдно, что ты болтаешь!

Трефальди (*приподнявшись*). Янина! Почему я не знал тебя прежде? Вне всякого сомнения, я бы тебя соблазнил!

Янина. Это он! Он снился мне сегодня ночью!

Падает наземь с диким воплем. Юлия целует ее. Слева вбегают **доктор Марцелий Васьницкий** и **двое жандармов.**

Доктор Васьницкий (*указывая на Трефальди*). Прежде всего спасать вон того! Это величайший преступник на свете, знаменитый герцог Трефальди, король убийц. По крайней мере, хоть он один должен жить, чтоб понести примерное наказание за свои злодейства. (*На коленях возле Трефальди.*) Полиция получила телеграмму. Мы прибыли на дрезине из Дамбелл-Джанкшн. Там его как раз должны были арестовать. Публика ни о чем не подозревала. (*Осматривает Трефальди.*) Черт возьми. Ничего не поделаешь! Кишки наружу!

Трефальди. Поздно, доктор. Даже ради удовольствия судей я уже не мог бы отсрочить час смерти. Предчувствие у меня было, но клянусь: я ни о чем не знал. Умираю без сожаления, так что можете радоваться. До встречи.

Умирает. Все обнажают головы.

Путевой обходчик. Господин доктор, оставьте вы убийц и займитесь-ка лучше женщинами! (*Указывает на свою жену и на Юлию.*) Обе совсем спятили!

Доктор Васьницкий. Сейчас, сейчас, любезный. Прежде всего правосудие, потом раненые, а уж психические подождут — все равно мы им ничем не поможем.

Занавес

Конец эпилога и всей пьесы

1923

Из книги «Наркотики»[1]

Предисловие

Поскольку так называемым «свободным творчеством», то бишь так называемым «щебетом птички на ветке», я не смог ничего сделать для общества и народа, я решил после ряда экспериментов публично исповедаться в своих взглядах на наркотики, начиная с самого банального — табака и кончая самым, пожалуй, удивительным — пейотлем (для которого резервирую особое место), исповедаться, дабы хоть немного помочь силам добра в борьбе с этими ужаснейшими — после нищеты, войны и болезней — врагами человечества. Быть может, и к этой моей работе (из-за специфики тона при произнесении горьких истин) отнесутся юмористически или отрицательно, как и к моей эстетике, философии, сценическим пьесам, «*существенным*» портретам, прежним композициям и тому подобным «свободным твореньям». Официально заявляю, что я пишу всерьез, желая сделать наконец нечто непосредственно полезное, а на идиотов и людей бесчестных управы нет, как я имел возможность убедиться в ходе своей достаточно печальной деятельности. Кому-то говорят: «Ты глуп, учись, авось поумнеешь», — ничто не поможет, ибо глупец, как правило, самонадеян, и это, даже если бы он мог поумнеть при усиленной работе, делает для него невозможным выход из замкнутого круга. Скажут мерзавцу: «Нехорошо быть такой сволочью, подумай, исправься», — напрасные речи, мы не понимаем, что большинство подлецов именно сознательно подличают — они знают это за собой и не хотят быть иными, если только в силах эту

[1] *Перевод дается с некоторыми сокращениями (прим.ред.).*

подловатость пристойно замаскировать. «Можно ли палку *простить*, что она — палка?» — говаривал Тадеуш Шимберский, и он был прав.

Когда-то я был fighting man[1] — человеком воинственным par excellence[2], у меня были идеи, и я хотел за них бороться — но было негде и не с кем. Я отнюдь не изменил своим идеям (Чистая Форма в живописи и в театре, реформа художественной критики), но пришел к убеждению, что они, во всяком случае сегодня, несвоевременны и, быть может, их время вообще уже прошло. Я утверждал еще до войны и выразил это в четвертой части книги «Новые формы в живописи...»: искусство гибнет — это происходит на наших глазах, а потому не имеет значения, будет ли существовать и какова будет художественная критика в моем смысле, то есть формальная. Другое дело, если речь идет о литературе не как об искусстве — тут еще есть что сказать, и, возможно, я на эту тему еще выскажусь. В настоящее время я — относительно умиротворенный индивид средних лет, который ни о каких великих подвигах уже не мечтает и хочет лишь как-нибудь дотянуть до конца этой жизни, о которой — по крайней мере пока —я не жалею, несмотря на все поражения и неудачи. Будь что будет. Я только должен подчеркнуть, что данный «трактатец» имеет характер в высшей степени личный, а стало быть, в некотором роде посмертный. Это не мания величия и не стремление привлечь к своей персоне (до сих пор никому не нужной) внимание людей, занятых чем-то другим, гораздо более приятным. Но когда пишешь о том, что сам лично пережил, обойти себя молчанием невозможно. Во всяком случае, здесь будет доступно изложена часть правды обо мне, причем правды, непосредственно полезной для самых широких слоев.

Что́ все это в сравнении с чудовищными сплетнями, которые обо мне бродят. В этом смысле в нашем обществе, и так исключительно сплетническом и любящем развлечься клеветой, я, похоже, отмечен особой наградой. Несмотря на полное отсутствие мании величия, что я со всей искренностью подчеркиваю, у меня складывается впечатление, что не всякий более или менее известный у нас человек может похвастать такой коллекцией нелепостей и лживых слухов, которые обо мне распускали и распускают. Не буду здесь вдаваться в причины этого явления, но, как я полагаю, известную роль в формировании общей неприязни ко мне сыграло то, что люди без соответствующей квалификации с трудом меня понимают, а во-вторых — то, что я не слишком считался с мнением общества, из-за чего поступки, которые у других остались бы незамеченными (скажем, целых три рюмки водки, выпитые в каком-нибудь баре), в моем случае вызывали возмущение, несоразмерное их значимости и весьма для меня вредоносное. Но все это неважно.

Итак: сегодня (6.II.1930 г.) я начинаю писать эту книгу в состоянии «К», то есть курения. Завтра, как всегда, бросаю курить — думаю, на этот раз окончательно или на очень долгий срок; главу о никотине буду писать по мере отвыкания от сигарет, причем не исключено, что посреди писания снова закурю, в чем не замедлю признаться возможным читателям. Сколько уж раз такое случалось!.. За это предисловие я взялся с отчаянья, будучи не в силах из-за отравления никотином заняться чем-нибудь более достойным, желая наконец начать этот «трактатец» и тем самым оправдать перед собой собственное существование. Но разве у всякого творчества не́ те же истоки?

Возвращаясь к общественному мнению: я был и остаюсь заядлым курильщиком, который вот уж двадцать восемь лет героически борется с кошмарной привычкой. До известной степени и*в определенные периоды* меня можно счесть горьким пьяницей, если таковым (различны стандарты-образцы) признать того, кто напивается в среднем раз в неделю, а потом не пьет месяц, а то и больше, того, с кем лишь однажды в жизни случился пятидневный запой (по случаю театральной премьеры — обстоятельство весьма смягчающее), а сверх того — не более десятка «трехдневок», того, кто сроду не хлестал водяру поутру за бритьем. Но никогда в жизни я не был кокаинистом — это я отрицаю категорически, несмотря на то что для многих извращенных кретинов и это мое заявление может послужить доводом именно «за», а не «против». Если на протяжении десяти лет меня можно было бы назвать «воскресным пьяницей» («Wochensäufer»[3]), то для периода в три года я предложил бы название «Quartalkokainist»[4]), да и то с большой натяжкой. Дважды в жизни я принял кокаин на трезвую голову, но тут же постарался эту гадость запить. Прочие случаи приема этого зелья (а я их никогда не скрывал, подписывая рисунки, сделанные в этом состоянии, соответствующей маркой «Co») всегда сочетались с крупными попойками «à la manère Russe»[5]. Я никогда не был ни морфинистом, поскольку у меня идиосинкразия к этому снадобью (раз в жизни я получил минимальный укол и чуть не помер), ни эфироманом, из-за какого-то недоверия к эфиру, хотя пару раз я его пробовал: с водкой и

[1] Бойцом (*англ.*).
[2] В высшей степени (*франц.*).
[3] Еженедельный пьяница (*нем.*).
[4] Ежеквартальный кокаинист (*нем.*).
[5] В русском стиле (*франц.*).

вдыхая пары. Рисунки действительно были довольно интересны, при вдыхании возникало чувство, что мир и тело исчезают, а потом — ощущение «метафизического одиночества в пустыне пространства»; забавно, но это меня как-то никогда не впечатляло...

Словом, я решительно отвергаю упреки в патологическом пристрастии к вышеназванным препаратам, в то же время признаваясь в спорадическом употреблении пейотля и мескалина, первого — производства д-ра Руйе, а второго — изготовленного прекрасной фирмой «Мерк». Помимо этого, заодно я отрицаю, что будто бы привержен гомосексуализму, к коему питаю глубочайшее отвращение; что будто бы нахожусь в сожительстве со своей сиамской кошкой Шизей (она же Шизофрения, Изотта и Сабина — я нежно ее люблю, но не более того) и якобы котята (впрочем, беспородные), которых она принесла, похожи на меня; что у меня свой портретный лоток на Познаньской ярмарке, где я фабрикую портреты-десятиминутки по два злотых за штуку (чего только эти мерзавцы не выдумают!); что я увожу мужей у жен, взбираюсь во фраке (у меня отродясь не было фрака) на гору Гевонт, кропаю сценические пьесы шутки ради, шарлатанствую, блефую и не умею рисовать. Все это сплетни, пущенные какими-то гнусными бабами, кретинами и идиотами, а более всего — подлецами, мечтающими мне навредить. Я отвергаю как все эти — известные мне — сплетни, так и — заранее — все те, что еще будут распущены обо мне в Закопане и на его выселках. Шлюс [1].

Еще одно: кто-нибудь может вообразить, будто я пишу эту книгу ради саморекламы. Так нет же: здесь будут описаны вещи, которые вовсе не делают мне чести, а главная цель книги — уберечь последующие поколения от двух ужасающих «оглупьянсов» (stupéfians[2]) — табака и алкоголя, тем более страшных, что они дозволены, а опасность их недостаточно осознана. «Белыми» наркотиками высшей пробы увлечена сегодня элита человечества, да они не так и опасны — это удел аристократии наркотизма. Опаснее же всего — серые, обыденные, демократические яды, которые всякий может безнаказанно себе позволить.

Мой метод — чисто психологический. Я хочу привлечь внимание к психическим последствиям действия этих ядов, к последствиям, которые любой, даже тот, кто едва начал, может в миниатюре наблюдать на себе задолго до того, как порок полностью им овладеет. Я не намерен бить перед вами яйца (куриные) и бросать их в спирт, дабы вы убедились, что белок сворачивается под влиянием «прозрачной жидкости» (подобно тому, как, на моей памяти, это проделывал покойный кн. Гедройч); не буду вам демонстрировать диапозитивы — ни прокопченные легкие и вздувшееся сердце курильщика, ни переродившуюся печень пьяницы, ни атрофированный, с кулачок величиной, желудок кокаиниста: «не стану вам играть печальной песни, о тени, дам я вам триумф жестокий и чудесный...» и т.д., — я хочу показать вам те мелкие *психические* сдвиги, которые в своем окончательном развитии являют картину личности совершенно иной, нежели в исходной точке, личности духовно деформированной, лишенной всякого так называемого «гейста» (польское слово «дух» не передает того, что немецкое «Geist»[3] и французское «esprit»[4] — вздрыг, искрник, вспых, мчун, возгон и т.п.), творческой силы и того разбега в неведомое, для которого необходимы отвага и игривость ума, систематически убиваемые отвратительным пороком.

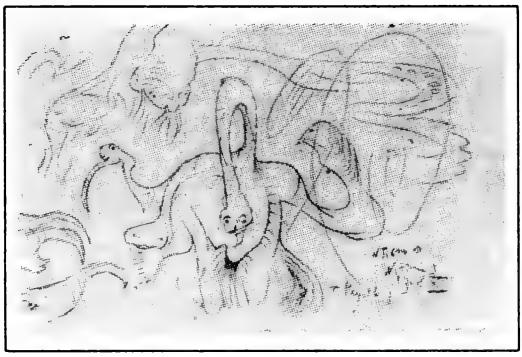
Есть такие, кто говорит: «Я курю и пью, и мне это ни капли не вредит, я превосходно себя чувствую», — разумеется, до поры до времени. Множество мелких психофизических недомоганий постепенно накапливается, чтобы потом вдруг вспыхнуть совершенно конкретной психической или физической болезнью. Но подумай, о несчастный, как замечательно ты бы себя чувствовал, если б этого вовсе не было, коль скоро твой организм так силен, что даже при постоянном отравлении может еще сносно функционировать. Каким бы ты был, если б этого не делал, тебе не узнать никогда. Этот ущерб невозможно измерить и оценить. Кое-что о нем известно тем, кто бросал и начинал опять. Дорого бы я дал, чтоб вернуть двадцать восемь лет, потраченных, хоть и с перерывами, на курение. Сегодня, когда это вредит мне стократ больше, чем тогда, в восемнадцать лет, мне и бросить гнусный порок стократ труднее, чем в добрые старые времена. А что же в таком случае делается с настоящими алкоголиками и кокаинистами, к каковым я себя причислить не могу, невзирая на великое желание моих врагов, страшно подумать.

Итак, приступим: завтра бал, напьюсь в последний раз, а послезавтра — баста. Разделаться с никотином гораздо легче на фоне легкой послеалкогольной «глятвочки» — хоть чуток с похмелья.

7.II.1930 г.

---

[1] От немецкого Schluss — конец.
[2] Дурманящих средств (*франц.*).
[3] Дух, душа, ум.
[4] Дух, сознание, разум.



Пейотлевый рисунок. 1928.

Пейотль

Теперь мне предстоит задание особенно трудное: не быть превратно понятым, что очень даже возможно при той исключительной позиции, которую мне придется занять относительно пейотля. Меня могут заподозрить в том, что, смешав с грязью три вышеупомянутых яда, я тщусь доказать, будто единственно достоин употребления именно этот, четвертый, и что я уберегся от трех пороков, чтобы предаться четвертому. Люди весьма скептически настроены в этом смысле, и отчасти они правы. При помощи пейотля я на долгое время (около полутора лет) совершенно перестал пить и вообще больше уже не вернулся к тем дозам алкоголя, которые потреблял прежде, перед решительным отказом от спиртного и прочих ядов, спорадически принимаемых в основном ради рисовальных экспериментов (эвкодал, гармин или синтетический банистерин Мерка, либо — что то же самое — так называемое я-йо, эфир и мескалин — полученный синтетически один из пяти компонентов пейотля). В этот период я часто сталкивался с высказываниями, выражавшими сомнение в том, что я покончил с питием и прочими процедурами, в порочном пристрастии к коим меня самым несправедливым образом подозревали. Мне говорили так: «Выходит, ты бросил пить, чтобы впасть в злостный пейотлизм» либо: «Хо-хо, вот, значит, как — из огня да в полымя» и т.д. и т.п. Так вот, прежде всего: во всем мире запойных пейотлистов практически нет. Есть, говорят, в Мексике редкие, исключительные дегенераты, которые беспрерывно жуют так называемые «mescal-buttons»[1], то есть кусочки сушеного пейотля. Это последнее отребье среди гибнущих — увы — племен красной расы, очень малочисленное и, очевидно, столь предрасположенное к упадку, что даже пейотль, привыкнуть к которому невероятно трудно, они сумели обратить в порок.

Не буду повторять то, что всякий может найти в специальной научной литературе, начиная с труда д-ра Александра Руйе «Peyotl, la plante qui fait les yeux émerveillés»[2] до последних изысканий проф. Курта Беринтера, посвященных синтетическому мескалину Мерка, под названием «Meskalinrausch»[3]. Расскажу лишь о собственных опытах с пейотлем, каковой считаю абсолютно безвредным при спорадическом употреблении. Пейотль к тому же, помимо небывалых зрительных впечатлений, позволяет столь глубоко проникнуть в скрытые пласты психики и так отбивает охоту

[1] Мескалиновые пуговицы (*англ.*).
[2] «Пейотль, растение, наполняющее глаза восторгом» (*франц.*).
[3] «Мескалиновая одурь» (*нем.*).

ко всяким прочим наркотикам, прежде всего к алкоголю, что ввиду почти абсолютной невозможности привыкания к нему его следовало бы применять во всех санаториях, где лечат разного рода наркоманов. В доказательство невозможности привыкания к пейотлю отмечу только, что мексиканские индейцы, употребляющие это растение, которому они поклоняются как Божеству Света, на протяжении тысячелетий принимают его не иначе как во время религиозных празднеств; вместе со сбором кактуса в пустыне — а поход длится порой несколько недель — празднества продолжаются неполных два месяца, причем у почитателей пейотля не обнаруживается никаких дурных последствий, как это имеет место, например, у перуанских поклонников коки, жевание которой ведет к самому обычному кокаинизму и деградации, как моральной, так и физической.

Естественно, с тех пор как я прослышал о пейотле и видениях, им вызываемых, моей мечтой стало испробовать чудесное зелье. Увы, в Европе оно считалось столь великой редкостью, что у меня никогда не было надежды удостоиться этой благодати... И вдруг совершенно неожиданно я стал обладателем максимальной порции пейотля — семи пилюль величиной с горошину: их передал мне г-н Проспер Шмурло, за что я до конца дней своих буду питать к нему ничем невыразимую благодарность...

Я был очень занят и не мог принять таинственное снадобье в тот же день, а потому прожил двадцать четыре часа в нервном напряжении, граничащем с горячкой тем более что г-н Шмурло вкратце рассказал мне о своих видениях, не слишком их, впрочем, перехваливая. Но даже его рассказ представлялся мне легким «приукрашиванием». Известны гиперболы при пересказе сновидений людьми, ничего общего не имеющими с бахвальством, — припертые к стенке, люди эти иной раз отказываются от многих значащих деталей. А сон для некоторых есть нечто не имеющее ничего общего с жизненной реальностью. Иное утверждает Фрейд: для него даже изменения, вносимые в сны при пересказе, есть выражение сущностных отношений, властвующих над подсознанием. Я утверждаю, что то же применимо и к пейотлевым видениям: они могут показать человеку то, что он старательно пытается скрыть от самого себя. Свои видения я опишу с максимальной точностью, а вещи слишком личные полностью опущу, вместо того чтоб их искажать.

Первую дозу, две пилюли, я принял в 6 вечера. Поскольку мне не приходилось ничего читать о симптомах, вызываемых пейотлем, вся картина явления была абсолютно чистой, без малейшего самовнушения. Примерно через полчаса после первой дозы, перед тем как принять вторую, я испытал чувство легкого возбуждения, как после двух рюмок водки или малой порции кокаина. Я счел это проявлением нервозности, вызванной ожиданием предстоящих видений. Позже оказалось, что то был уже пейотлевый симптом. Я все время мучился опасением, что меня вырвет, — боялся утратить драгоценный препарат, прежде чем он успеет всосаться в кровь. К счастью, этого не произошло. Можно сказать, я преодолел тошноту усилием воли, из страха, что зря пропадет единственная, последняя доза пейотля, которая совершенно случайно стала моим достоянием. Я плотно занавесил окна — свет начал меня слегка раздражать — и прохаживался по комнате, чувствуя приятное отупение и легкость. Усталость после трех портретных сеансов как рукой сняло. В 6.50 вечера принимаю третью дозу и ложусь на кровать, опасаясь тошноты. Самочувствие странное. Безрезультатно жду видений и от скуки, не из потребности, закуриваю. Но после пары затяжек с отвращением бросаю сигарету. С этой минуты и до пяти пополудни следующего дня я не курил, не прилагая к тому ни малейших усилий, испытывая к табаку отвращение, смешанное с презрением.

В 7.20 я поднялся уже с некоторым трудом и принял последнюю, седьмую пилюлю. Апатия и уныние. Пульс ослабленный — с обычных восьмидесяти с чем-то упал до семидесяти. Самочувствие все хуже, зрачки расширены. Выпил чашку кофе, лежу. Когда пытаюсь встать, чувствую себя довольно скверно: головокружение, дурнота и странное ощущение — словно тело не вполне тождественно себе и слегка расслаблено. Должен заметить, что почти никогда (может, пару раз, да и то очень слабо) у меня не случалось так называемых «гипнагогов», то есть предсонных видений при закрытых глазах, что, кстати, у очень многих людей явление нередкое, почти обыденное. А тут я чувствую что-то вроде оживления фантазии, но видениями этого назвать еще не могу. Плоские картины — нечто наподобие гипнагогических грез. Вихревые движения как бы из тонких проволочек, светлых на темном фоне, иногда с радужным отливом. Поначалу плоские, понемногу они стали обретать третье измерение, раскручиваясь в черном пространстве то ко мне, то от меня: вместо обычного плоского фона, который виден при закрытых глазах, возникает пространство глубокое и динамичное — даже тогда, когда вихри на нем совсем не видны; оно таково неведомым образом, само по себе, хотя в нем ничего не меняется. Явление это столь тонко и неуловимо, что, пока оно длится, его трудно проанализировать, а потом трудно воссоздать это парадоксальное состояние в памяти: знаешь, что так было, и все тут

— ничего больше об этом сказать невозможно. Гипнагогические образы усиливаются, но я все еще не считаю их видениями в подлинном смысле слова, в том смысле, которого я на самом-то деле не знаю, но воображаю, что это должно быть нечто совершенно иное, более реальное.

8.20. Возникают все более отчетливые образы, однако почти бесцветные, едва проступающие на черном фоне. Это напоминает проявление недоэкспонированных фотопластинок и размытые отпечатки с них. Вот кто-то в широкополой шляпе черного бархата наклоняется с итальянского балкона и обращается с речью к толпе внизу. Откуда я знаю, что балкон *итальянский*, не могу понять, но знаю — и этого достаточно. Вообще, характерная вещь при пейотлевых видениях — тот факт, что некий таинственный голос, раздающийся словно из каких-то «подвалов души», подсказывает значение зрительных образов, дополняет их тем, чего в самих образах нет и следа...

Пейотлевые ощущения и *наиболее странные* зрительные образы (ибо иные вполне реалистичны) так же трудно реконструировать, как некоторые сны, где неведомо о чем идет речь и неведомо что происходит, сны, которых даже приблизительно не выразить никакими словами, но при этом, особенно сразу после пробуждения, как бы чувственно, ты совершенно точно представляешь их содержание. Образы удивительно переплетены с мускульными впечатлениями, ощущениями внутренних органов — так возникает целое, необычайно тонкое по общему настрою; его невозможно прояснить, оно ускользает от всякого анализа и рассыпается в прах, в хаос неопределенности, едва приложишь хоть минимальное усилие к тому, чтоб его осмыслить. Вообще, между обычными гипнагогами, сном и пейотлевыми видениями есть тесная связь — и тут, и там символически обработан тот же самый подсознательный материал. Однако для пейотлевого транса отличительны четыре явственные стадии, которые почти у всех одинаковы; кроме того, пейотль дает характерное и специфическое богатство видений: художественная, декоративная сторона вещей обретает, как правило, черты сходства с великими стилями искусства прошедших эпох. В этом заключена тайна, которую я не могу постигнуть до сих пор, но относительно которой выскажу позднее определенные — довольно, впрочем, фантастические — предположения. Догадки эти возникли во время самого транса, когда я, буквально ошеломленный обилием и великолепием видений, одурманенный не столько психически, сколько зрительно, пытался как-то объяснить самому себе, почему вижу именно это, а не что-то иное...

Самочувствие несколько улучшилось, но когда я встал, чтобы ответить на телефонный звонок, то почувствовал себя довольно «глупо». По контуру мебели и дверей видны светящиеся красные и фиолетовые ободки, но это меня не радует и не удивляет. В ту же минуту, заблудившись во дворе и войдя через черный ход, в прихожей с неожиданной стороны появляется г-н Шмурло в пелерине. Впечатление утрированно — испытываю легкий ужас, как если бы увидел привидение, но это быстро проходит, — снова ложусь, чувствую себя хуже. Пульс падает с семидесяти трех до шестидесяти с небольшим, он опять очень слаб, нитевиден. У меня такое чувство, будто мне хочется умереть, я говорю об этом г-ну Шмурло, который меня заверяет, что эти неприятные субъективные реакции совершенно неопасны. Появляются призраки зверей, морские чудовища, потом какой-то словно бы знакомый мне бородач. Я еще не считаю всего этого подлинными видениями — жду какого-то чуда и «упрекаю» пейотль, что он дает слишком уж мало ценой чересчур неприятных физических ощущений. Если это и есть те самые пресловутые видения, то я предпочел бы ничего не принимать, а сидеть в эту минуту за хорошим ужином, вместо того чтоб испытывать позывы к рвоте и падение пульса до степени, достаточной, как мне кажется, лишь для того, чтоб выжить. На фоне усилившихся гипнагогов время от времени перемещаются цветные полосы — красные, фиолетовые, синие и лимонно-желтые. Они словно в иной плоскости, чем видимые фигуры, — немного ближе и относятся к «иному видимому миру». Я наконец решительно ощущаю невероятное оживление фантазии, но пока еще не вижу ничего такого уж необычайного. Когда открываю глаза — а надо заметить, редко видишь что-либо при открытых глазах, — мир почти нормален. Только некая легкая деформация, притом *самого пространства, а не предметов*, и некоторая «странность действительности», слабо напоминающая состояние отравления кокаином. Но если алкоголь и кокаин можно причислить к ядам *реалистическим* — они заставляют воспринимать мир интенсивнее, не создавая настроения жуткой странности, — то пейотль я назвал бы наркотиком метафизическим, рождающим чувство странности Бытия, которое в обычном состоянии мы переживаем неимоверно редко: в минуты одиночества в горах, поздней ночью, в периоды сильного умственного переутомления, иногда глядя на вещи особенно прекрасные или слушая музыку, если только это не просто метафизически-художественное впечатление, производное от непосредственного постижения Чистой Формы произведения искус-

ства. Но тут чувство это имеет иной характер: не ужас перед странностью Бытия, но скорее мягкое оправдание ее метафизической *необходимости*...

9.30. Желание забыть о реальности. Разговор между г-ном Шмурло и моей женой — хоть и приглушенный — утомляет меня. Когда г-н Шмурло тихо наклонился надо мной, чтобы проверить, расширены ли мои зрачки, и я вдруг увидел его лицо прямо перед собой, он показался мне похожим на какое-то странное чудище, я почти оттолкнул его от себя. Все, что творилось до сих пор, происходило как бы на фоне какого-то занавеса. Только после, приняв пейотль несколько раз, я узнал об этом. Такое явление повторялось всегда, но тогда я еще не знал, что занавес поднимется. Наконец это произошло. А началось все с маленькой золотой статуэтки фавноподобного Вельзевула. Откуда мне было известно, что передо мной Вельзевул, не знаю и никогда не узнаю. Таинственный голос произносил названия картин, о смысле которых — будь я в нормальном состоянии — мне никогда бы не догадаться. Но я забыл: первое ощущение того, что *это уже видение*, родилось à propos[1] картинки, которая возникла *после череды трансформаций* из проволочных вихрей, постоянно повторявшихся в перерывах между призраками чудовищ. Проволочки начали слипаться в предметы: из них возникли плюмажи, которые превратились в деревья. Среди них, также при полной непрерывности претворения одних форм в другие (длившейся с этих пор до конца сеанса), возникли стилизованные страусы из проволочек, теперь уже явственно радужных на темном фоне. Страусы превратились в плезиозавров, и неподвижная картина с минуту оставалась в принципе неизменной. Шеи плезиозавров колыхались над каким-то прудом, а вокруг качался страусохвостый кустарник.

Я громко сказал: «Кажется, наконец первое видение». И начал диктовать своей жене содержание некоторых картин, чтобы запомнить их посреди той страшной зрительной неразберихи, которая тогда началась и длилась 11 (одиннадцать!) часов кряду с короткими перерывами, когда я открывал глаза, чтобы отдохнуть, перекусить или что-нибудь нарисовать. Итак, возвращаясь к Вельзевулу — завеса вдруг разорвалась: «le grandé rideau du peyotl c'est déchiré»[2] (непременно по-французски), и из темноты выплыло первое реальное видение. Уже не какие-нибудь там гипнагоги, не какие-то плоскостные картинки и иллюзии: это *была* новая действительность. И к тому же чувство, что теперь я отдан на гнев и милость наркотика и, что я ни делай, мне не удержать того потока странных событий, который впереди. Разве что сидеть всю ночь с открытыми глазами. Но и это, как я убедился позднее, не слишком бы помогло, поскольку, если всмотреться в обыденную действительность, то она тоже деформируется, и притом столь ужасающим образом, что с облегчением возвращаешься в «мир закрытых глаз», ибо именно закрытые глаза дают некоторую, хоть и неполную, уверенность в том, что этот мир нереален. Впрочем, и это обманчиво. Правы индейцы, когда утверждают, что если недостойный осмелится вкусить пейотля, не очистившись прежде от своих грехов, его может постигнуть страшная кара. Не следовало этого делать, но именно за несколько дней до пейотлевого праздника я напился и вдобавок принял проклятое «коко». «Так поди же — попляши!» Поначалу как будто ничего. Но что творилось потом!

Не все я могу описать — не только из-за самого себя, но и из-за читателей. А я хочу, чтоб эту книгу могли читать все. Не знаю только, сумею ли «перелить» в читающего эти слова — всю красоту и весь ужас того, что я видел. Вымысел в романе — одно дело, а действительность — нечто совсем иное. С вымыслом не церемонятся — можно «крыть во всю прыть», и всегда будет мало. По крайней мере, я так считаю — ибо есть люди, которым не по душе интенсивность стиля в литературе: абиссинским сукам, живьем зажаренным на вертелах и поливаемым соком я-йо, они предпочитают молочную кашку. Но мне кажется, что каждый должен писать со всей интенсивностью, на какую он способен, причем как в *утонченности*, так и в жестокости. Я отнюдь не утверждаю, что «дурной язык» (bad language в английском смысле: вульгарный, свинский и грубый) является условием хорошей литературы. Одни должны писать так, другие могут этим способом не пользоваться. Речь идет о напряжении качеств как ангельских, так и дьявольских — а этого-то как раз и не хватает нашей литературе. Ах, довольно отступлений — для меня-то в отступлениях иногда весь смак романа, а вот некоторые и их тоже не любят; впрочем, все зависит, конечно, от интеллектуального уровня.

Итак, Вельзевул... Никогда не забуду того адского впечатления, когда, будучи в совершенно здравом уме (если я не смотрел на реальный мир, не было и следа жуткой странности, того, что Руйе именует «étrangeté de la réalité»[3]) и ясно отдавая себе

---

[1] *Здесь*: по поводу (*франц.*).
[2] Великий занавес пейотля прорван (*франц.*).
[3] Странность реальности (*франц.*).

отчет в том, что у меня крепко закрыты глаза, я внезапно увидел в каком-то метре от себя маленькую скульптуру из чистого золота (я прямо-таки ощутил ее тяжесть), столь проработанную в деталях, так тщательно выточенную и вы — passez moi l'expression grotesque[1] — печенную (так некоторые художники обозначают «вылизанность»), что казалось, будто это произведение какого-нибудь и впрямь вельзевулейшего омининатюренного Донателло не от мира сего или какого-то европеизированного китайца, всю жизнь потратившего на то, чтоб изваять эту единственную вещь. Чудо свершилось. «Я это вижу, вижу», — повторял я мысленно. Сколько длилось мгновение счастья (ведь первые «разы» всегда лучше всего, об этом и говорить нечего: потом случаются вещи крупнее, мощнее, все развито, завершено, но это уже не то — вкус первого раза неповторим) — не знаю. Но впоследствии я убедился, как обманчива оценка длительности пейотлевых видений. Я назвал это на «языке пейотля» «разбуханием времени». Следует заметить, что пейотль, вызывая желание облечь в слова то, что выразить невозможно, создает понятийные неологизмы, присущие только ему, и подчиняет синтаксис предложений своим чудовищным измерениям невероятности (отличное выражение, я буду его использовать именно в этом смысле, пускай хоть сто профессоров повесятся на собственных кишках, язык — живая вещь, а если бы его всегда считали мумией и думали, что в нем ничего нельзя менять, то хорошо же выглядели бы литература, поэзия и даже сама эта жизнь, обожаемая и треклятая). А может, эта жажда создания новых смысловых комбинаций и есть тот самый «шизофренический сдвиг» («Schisophrenische Verschiebung»), о котором пишет Берингер в связи с мескалином Мерка. (Мерк — однако, адское имечко для тех, кто знался с белыми ядами. A propos, экстракт пейотля — черно-коричнево-зеленый, как асфальт, смешанный с гусиными экскрементами, — на вкус омерзителен: горький, острый и к тому же тошнотворный.) Похоже, под воздействием пейотля даже субъекты пикнического типа испытывают легкий мозговой вывих в направлении шизофренической психоструктуры — что же говорить о настоящих «шизиках». Но об этом позднее — в связи с мескалином.

И вдруг («о чудо из чудес!» — как воскликнул бы поэт) Вельзевул ожил, не переставая при этом быть мертвым золотым Вельзевулом: он улыбался, стрелял глазами и даже вертел головой. Несмотря на это, я хорошо знал: то, что я вижу перед собой, — всего лишь кусок чистого золота. В пейотлевых видениях выступают три рода объектов: мертвые, мертвые *оживленные* и — живые существа. Живые делятся на реальные и фантастические; реальные могут быть: 1) известными, простыми; 2) комбинированными, составленными из известных элементов в сочетаниях, не соответствующих действительности. Фантастическим созданиям попросту «претят» (как пишут, но, увы, никогда не говорят) всякие попытки их адекватно описать: их постигаешь только в момент видения, да и то не слишком. Едва они исчезают из пейотлевой реальности, никакая сила не может их воссоздать. Впредь я попробую хоть как-то обозначать, к какой из категорий они могут относиться. Кто этого типа созданий не видел, тот никогда не сумеет их воспроизвести. В довершение всего — эта прямотаки дьявольская проработка деталей исполнения! Пейотлевая действительность похожа на нашу, если за ней наблюдать в микроскоп, — разумеется, лишь в смысле точности «отделки». Поле зрения поначалу невелико — видения начинаются примерно посреди него. Но если долго не открывать глаза, поле расширяется и иногда даже почти «охватывает» запейотленного, окружая его по сторонам, подобно обычной действительности, и давая удивительный специфический эффект — как будто видишь спиной. При этом следует отметить (непременно), что пейотлевое поле зрения равно отчетливо во всякой точке своего пространства: в нем нет резкости в фокусе и нарастающего рассеяния к периферии; все оно имеет резкость ближайшего соседства к фокусу при обычном взгляде. Кроме того, я должен подчеркнуть: описанное здесь составляет, быть может, 1/2000 (одну двухтысячную) всех видений той незабываемой ночи. Почти все, чего я не записал во время самого транса, безвозвратно погибло в безумном нагромождении образов, постоянно меняющихся и переходящих один в другой неуловимо и как бы невзначай, при невероятных контрастах образов между собой.

Я вижу большое здание красного кирпича, обращенное ко мне торцом. Из каждого кирпича вырастает какое-то диковинное, карикатурное лицо. Лица становятся все ужасней, и вот уже целое здание встопорщилось компанией, напоминающей маскароны Нотр-Дам в Париже. Чудовищный Негр — его череп растет и раскрывается. Вижу внутренность мозга — на нем возникают язвы, пожирающие его с безумной скоростью. Многолетний процесс промелькнул за несколько секунд. Из гнойников вырываются снопы искр, и в одно мгновенье весь мозг и голова Негра сгорают в цветных фонтанах пламени, подобно пиротехническим составам. Призраки все бо-

[1] Простите мне гротескный оборот (*франц.*).

Фантастический пейзаж. 1923.

лее неприятны. Но пока я не чувствую никакого страха. Все происходит в присутствии моей жены и г-на Шмурло, так что, несмотря на странность переживаний, я чувствую себя в относительной безопасности. Сердечные симптомы проходят, как и позывы к рвоте и слабость...

Я в толще зеленоватой воды. Вижу над собой тень акулы, а потом саму акулу, проплывающую прямо над моей головой, — брюхо ее обращено ко мне, она шевелит челюстью. Реальность и детальность видения несравненно большая, чем в действительности и в фантазии. Если то, что я вижу, есть синтез и переработка образов, виденных если не наяву, то в кино или в каких-нибудь атласах, то чем объяснить неслыханную отчетливость пейотлевого видения, его трехмерную конкретность в сравнении со всегда очень летучими, нестойкими образами памяти и их комбинациями, которые никогда не удается усилить воображением сверх определенной степени реальности. Слева темные скалы, покрытые красными актиниями и полипами. У основания скал сражение черных головоногих моллюсков.

10.00. Вялость и оцепенение. Некоторая «пространственная деформация» при открытых глазах. Борьба вещей бессмысленных и не поддающихся определению. Ряд пышных покоев — они превращаются в подземный цирк. Странные скоты заполняют ложи. Смешанное — человечески-животное — общество в качестве публики. Ложи превращаются в ванны, объединенные с какими-то диковинными писсуарами в мексиканском, ацтекском стиле. Иногда ощущение двухслойности видения: в глубине картины в основном черно-белые, на их фоне наискось проплывают полосы гниловато-красного и грязно-лимонно-желтого цвета. Преобладают сухопутные и морские чудовища и страшные людские морды...

Огромная «безымянная пасть». (Слова и предложения в кавычках дословно цитируются по протоколу сеанса, который я сам вел в промежутках между видениями. Эти промежутки я, пожалуй, устраивал сам, открывая глаза, поскольку боялся, что в скоплении призраков забудутся те, что мне особенно важны.) Пасть так огромна, что вся не вмещается в поле зрения. Она лопается и рвется в клочья. Разрез земли, но поставленный вертикально. Вижу слои самых разных цветов и неслыханно буйную, словно тропическую, растительность. Снова борьба «беспредметных монстров» — я тщетно пытаюсь запомнить их ежеминутно меняющиеся формы. Они машинообразные, но живые. Поршни, цилиндры, род карикатур на механизмы и локомотивы, слитые воедино с чудовищными насекомыми наподобие кузнечиков, саранчи и богомолов. Машины, поросшие волосами. Гигантские стальные цилиндры вращаются с огромной скоростью, кое-где они поросли невероятно нежной рыжеватой меховой шубкой. Машины все внушительнее, они превращаются в чудовищной величины турбины, которые таинственный голос называет «мотор центра мира». Скорость вращения просто непостижимая. Непонятно, почему, несмотря на скорость, я вижу все так отчетливо...

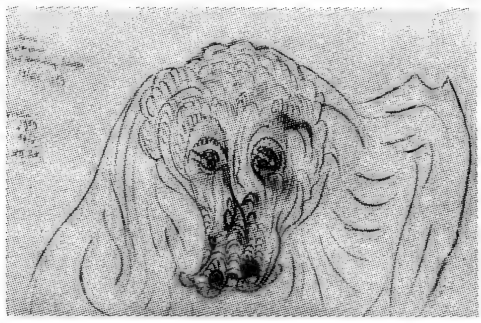
Появляется горный вулканический пейзаж. Я смотрю на него словно из аэроплана. Кратеры изрыгают красный огонь, *не дающий света.* Их края изгибаются и выкручиваются, и вдруг я вижу, что это вообще не вулканы и не кратеры, а колоссальные рыбины, торчащие вверх головами. Теперь они зеленые, их красные пасти чмокают и чавкают, а выпученные глаза так и зыркают во все стороны. Вообще, глаза, глядящие со всех сторон, — отличительная черта пейотлевых видений, взгляды так сатанински усилены, что никакие глаза никаких земных созданий, даже при высочайшей интенсивности самых диких страстей или умственного напряжения, не могут сравниться с ними по силе экспрессии. Целая гамма чувств, от самых тонких до самых чудовищных, но как же дико усиленная. Пластичность выражения — от ангельских ликов до ужасающих морд — доведена до крайних пределов возможного. Пейотлевые глаза, кажется, лопаются от невообразимого накала чувств и мыслей, сконденсированных в них, как в каких-то адских пилюлях. Это уже не мертвые шарики, вся экспрессия которых — помимо кручения и вращения — зависит только от обрамления и его метаморфоз; сквозь вековую условность мы будто видим психическую реальность таинственной, непостижимой личности. Это поистине «зеркала души» — адские зеркала, которыми нас обольщает демон пейотля, внушая нам, что и в жизни возможно познать чужую психику, слиться с ней воедино во вспышке некой немыслимой любви, когда тело и дух действительно составят абсолютное един-

ство, пусть даже ценой самоуничтожения. Хороша при этом звенящая тишина видений, рождаемых ацтекским Богом Света, — тишина, усиленная небывалой чередой событий, уплывающих перед нами в небытие в объятьях этой тишины. Однако небытие это не абсолютно. После пейотлевого транса остается нечто неуничтожимое — нечто высшее создано в нас этим потоком видений, почти все из которых обладают глубиной сокрытого в них символизма вещей наивысших, конечных.

И пускай никто не думает, что я восхваляю новый наркотик, якобы отрекаясь от прежних, подобных ему, но низших по действию. Это вещи качественно различные по духовному масштабу, а не только по самой ценности зрительных образов, не говоря уж о том, что они являют собой некоторый непосредственный способ увидеть себя и свое предназначение, давая при однократном приеме указание пути в далеких просторах будущего. А о привыкании в том смысле, как к прочим ядам, нет и речи: пейотль не дает физической, скотской эйфории, благодаря которой те «белые гадалки» постепенно втягивают человека в свой запретный рай, уничтожая волю и обесценивая жизнь и реальный мир. Пейотль физически неприятен в своем действии: за исключением кратких периодов довольно слабого «блаженства», к нему не возникает ни малейшего «плотского» влечения. Зато психически, но не в форме иллюзии или минутного обмана зрения, он дает неизмеримо много, притом — похоже — лишь в первый раз либо при очень редком его употреблении. Первые видения и ясновиденья при последующих попытках уже никогда не повторялись с первоначальной силой. Я сам принимал пейотль несколько раз — и с каждым разом видения были все слабее, а визийное действие, раскрывавшее мне глаза на самого себя, при следующих попытках почти исчезало, подлинной же наркотической тяги я не чувствовал никогда. Впрочем, что касается первых двух пунктов, многое зависело от качества самого препарата. Но с самого первого раза мне никогда не хотелось пейотля так, как иногда — алкоголя или, увы, почти всю жизнь — никотина. Быть может, на основании того, что я до сих пор описал, можно усомниться во всей этой превозносимой мною «моральной» ценности пейотля. Ведь в конце концов то, что некто узрел комбинацию жука-богомола и локомотива, сражающегося с ершом для чистки лампы, который каким-то чудом огиппопотамлен, еще ничего не говорит о его способности к нравственному совершенствованию...

То ли по причине того, что я принял пейотль в состоянии «недостойном», то ли потому, что слишком часто силой заставлял себя видеть некоторые вещи, видения часто были жуткими, с преобладанием всевозможных пресмыкающихся и эротических комбинаций, фантастичностью своей превосходящих все, что было создано на эту тему мировым искусством. Я не могу — дабы ненароком не оскорбить приличий — вдаваться в детальный анализ этих видений. Люблю *иногда* посмотреть на ужасы, но пейотль превзошел тут все мои ожидания. Одной той ночи хватит с меня на всю жизнь. Мне кажется, фантазия у меня достаточно развита, но если бы я жил тысячу лет и каждую ночь заставлял себя воображать самые дикие вещи, какие только мог, я не выдумал бы и миллионной доли того, что увидел в ту летнюю ночь. Я лишь обозначу увиденное, не вдаваясь в детальные описания. Обращаю внимание на то, что под воздействием пейотля возникает тяга к языковым неологизмам. Один мой друг, в речевом отношении самый что ни на есть нормальный человек, так определил во время транса свои видения, будучи не в силах совладать с их странностью, превосходящей всякие обычные комбинации слов: «Симфоровые пайтракалы и конь-дзёл в трикрутных порделянсах». Он родил множество подобных формулировок както ночью, когда лежал один в окружении призраков. Мне запомнилось только это. Так что же удивительного, если я, и в нормальном состоянии проявляющий такие склонности, тоже время от времени принужден был сотворить какое-нибудь словечко, силясь распутать и расчленить тот адский вихрь созданий, который сыпался на меня всю ночь из жерла пейотлевой преисподней.

Вижу ряд женских половых органов сверхъестественной величины: из них вываливаются потроха и извивающиеся черви. Под конец выскакивает зеленый эмбрион размером с сенбернара и с неописуемой радостью кувыркается. Чудной красоты море, освещенное каким-то гиперсолнцем. Сбоку «полосатые» — черно-бело-оранжевые — чудища, трущиеся друг о друга, что-то вроде акул. Потом я вижу их в разрезе: как будто кто-то у меня на глазах рассек гигантские акуловидные зельцы невыразимой красоты. С головокружительной скоростью пятятся задом муравьеды. А вот ехидны — среди них невероятно милый грызун вроде белого степного тушканчика, покрытый шерсткой, состоящей из *дважды* разветвленных волосков. Несмотря на мелькание, вижу все с микроскопической четкостью. Госпожа З. — очень красивая женщина — предстает передо мной безумно деформированной, как на моих портретах в композициях, выполненных под действием наркотиков; невзирая на это, она не потеряла ничего из своей красоты. Чудо непостижимое. Притом она еще лукаво подмигивает, что на фоне общего искажения лица дает чрезвычайно комичный эффект.



Пани Нена, увиденная под мескалином Мерка. 1929.

12.10. Пульс семьдесят два. «Разбухание времени» достигает степени невозможного. Я проживаю целые недели за несколько минут. Индийские скульптуры из золотистого металла, инкрустированные дорогими камнями чудесных цветов, оживают и движутся в изысканных танцах, каждое па которых исполнено художественной логики. Это целые танцевальные композиции — ничего подобного мне бы не выдумать в нормальном состоянии. Дьявольские метаморфозы стилизованных морд и звериных пастей, завершившиеся *Великим Змеиным Гнездом*: многие километры пространства, кишащие змеями самых удивительных расцветок — зелеными, желтыми, синими, красными. Змеи слипаются по нескольку штук, превращаясь в фантастические чудища. «Лягушачья праматерия» — куча чего-то лягушиного с бородавками, как у жаб, дышит, переливается волнами, из нее таращатся лягушачьи глаза и, как из расплавленной магмы, возникают застывающие на миг лягушачьи формы...

12.30. Превозмогая великую лень, рисую карандашом на маленьких листках обычной бумаги. Пересиливаю себя, чтобы осталось несколько рисунков с маркой «пейотль» для друзей, коллекционирующих самые «дикие» мои изделия. Рисунки весьма скромные, но на них — нечто наподобие того, что было в видениях. Исполнение тоже иное, чем обычно, и некоторая непредсказуемость того, что намереваешься рисовать. Рука движется автоматически, чего я не испытывал под действием ни одного из известных мне до сих пор наркотиков. Но жаль времени на рисование, когда видишь такое. «Как проработаны змеи! Стилизация и цвет. Жемчужные танки ассирийских царей». Часто прерываю видения, чтобы записать. Столько гибнет в этом вихре. Портрет Юлиуша Коссака работы Зиммлера, висящий на стене напротив, ожил, вышел из рамы и движется. Возвращаюсь в *тот* мир. «Обилие цветных гадов *чудовищно*. Высшая («метафизическая») акробатика хамелеонов. Как они только не погибают от этих пируэтов». Заметна некая наивность, но мир видений так убедителен, что простительна даже известная идиотизация от невероятных явлений, которые наблюдаешь. «Опухляки на мозге. Подвижные массы фарфоровых рептилий. Снова вижу полковника Б. — огромная куча *жидких свиней* вылилась из его левого глаза, который при этом чудовищно деформировался. Театральная сцена — на ней *искусственные* чудовища. Отвратное свинорыло в зеленой конфедератке с перышком». Немного водки, «чтобы протрезветь». Полное презрение к сигаретам. Водка была безвкусна, как вода.

12.55. Попытаюсь не писать, а получше вжиться в этот мир. На пробу гашу лампу. Не могу удержаться и записываю: «Разрезы рептильных механизмов (конечно, это только часть). Высестрение сдвоенных акул на водных балбесóвьях».

1.19. Вторая серия рисунков. Рычу от смеха. Рисунки довольно юморные, а подписи под ними — того более. К сожалению, цитировать их невозможно. «Брожу по комнате, поедаю сласти. Карикатурный рисунок, изображающий моих родственников». Проверить, чем они были заняты. На секунду закрываю глаза. Вижу крупного зверя за обломками скорлупы. Какая-то волосатая гиперскотина, которая мечется среди скорлуп недобитого яйца размером в несколько метров. Звери чередою *непрерывных* превращений *á la fourchette*[1] превращаются в людей.

1.28. Гашу лампу и решаю ничего не записывать. Не могу. Века прошли, а на часах всего 1.37. Все началось с большевиков (Троцкий) и их метаморфоз. Гипергениталии канкрозных цветов, потом — не поддающиеся описанию эротические сцены, а затем — картина, на которой символически представлено наслаждение в образе сражающихся страшилищ раковатых и голубых цветов. Иногда мигающие кобальтовые глаза на каких-то прутиках. Кончилось все гадами.

1.40. Пульс шестьдесят восемь. Странное впечатление, будто записывает не моя рука, а какой-то посторонний предмет, которым я непонятно как манипулирую на расстоянии...

2.05. Века прошли. Целые горы, миры, табуны видений. *Слишком много* гадов. Последнее пещера, сделанная из свиней. Я внутри огромной движущейся свиньи, составленной из *свинообразных* плиток. Стили в искусстве и архитектуре созданы наркотиками. Китайцы должны были знать пейотль. Все драконы, вся Индия отсю-

[1] *Здесь:* на глазах (*франц.*).

да. Художники — посвященные. Eine allgemeine Peyotltheorie[1] — панпейотлизм[2].

Музыка из граммофона внизу мешает серьезности видений. Не закурить ли? Иногда появляются пляшущие красные и синие бумажные фигурки.

2.15 . Вижу Августа Замойского — озмеенного (в том смысле, что он постепенно превращается в клубок желтых змей в черную полоску). Потом он же — в реалистическом виде, спящий на правом брюхобоку под красным стеганым одеялом. Болит голова. Стеклянные видения криминального свойства. Гипержулье. Стеклянные преступники в японских масках крадутся к загородной вилле господ С. и искушают идти вместе с ними. Разумеется, я возмущенно отвергаю предложение. Начальные сцены фантастического театра развеиваются. Вижу Алькор — двойную звезду из Большой Медведицы, которую я наблюдал в подзорную трубу. Огромное увеличение. Я знаю: звезды, составляющие Алькор, имеют период вращения сто шестьдесят лет. Но тут они вращаются очень быстро.

2.30. Вижу мозг сумасшедшего, но похожий не на мозг, а скорее — на огромную печенку. На нем возникают булькающие гнойные нарывы. Из каждого то и дело вылезает нечто вроде черничины и смотрит: это, собственно говоря, глазок. Мозг этот в когтях у зеленого птеродактиля (крылатый ящер — прапредок птиц), чья голова по шею погружена в мякоть. Он когтями выжимает лопающиеся нарывы...

2.45. Ем булку с маслом. Дикий, зверский аппетит. Выглядываю за занавеску. Уже почти светло. Каменный дом напротив производит тягостное впечатление. Казалось, реальности нет. Или, по крайней мере, она ограничивалась пространством комнаты. А ведь придется вернуться в реальный мир, масштаб которого действует угнетающе. Вижу господ С., спящих. Думаю, Януш Котарбинский, при характере его композиций, больше почерпнул бы из этого мира, чем, например, Рафал Мальчевский или я. Но в эту минуту я вообще преисполнен безумным, сильнейшим презрением к реалистической живописи, почти физическим к ней отвращением — как, впрочем, и *ко всему так называемому новому искусству*. Только великие стили древности симпатичны мне в эту минуту или самое большее примитив; остальное искусство кажется дешевкой, недостойной существования.

2.53. Ужасающие потроха, из которых низвергаются потоки цветных жидкостей.

2.58. Процессия со слонами и жемчужным (то есть сделанным из жемчужин) верблюдом в черной маске. Великолепные пропорции. Безумный реализм. За фантастическими внутренностями подглядывают окаймляющие их глаза на длинных стеблях. Интересный факт: в видениях выступают скульптура и архитектура — искусства, безусловно, мне чуждые по причине отсутствия у меня чувства третьего измерения. В нормальном сознании я не сумел бы сделать и простейшего скульптурного или архитектурного эскиза (как-то пробовал я ваять, а однажды — сделал проект памятника: вышло нечто смехотворное; лучше мне удавались архитектурные наброски, но они также отличались отсутствием изобретательности и абсолютной неконструктивностью), в видениях же передо мной предстают великолепно скомпонованные постройки, притом не только здания древних стилей, но и словно бы некая архитектура будущего — комбинации сегодняшнего, чудовищного, по-моему, стиля коробок с элементами прежнего искусства.

3.00. Человечек, похожий на Мицинского, летит на Луну; его приключения. Упал на парашюте с дряблой головой. Качели эльфов. (Комический номер.) Ороговелые гениталии царицы Савской в астральном музее. (Наблюдаю это с какой-то безумной высоты. Пропорции гигантские.)

3.05. Я сказал: «Довольно видений» — и погасил лампу. Не помогло. Пошли видения трупно-эротические. (Номер macabre[3].) Череп, который стал жидким и стек по выпяченному животу. Это было так омерзительно, что я поскорей включил лампу. Эротический дождь из юбкообразных цветов. Смеющийся бородач в стиле Валуа, стиснутый меж огромных воловьих морд.

3.10. Аид в моем представлении. (Я подумал: тот Аид мне внушил Шмурло — теперь я увижу свой собственный.) Это была серо-желтая пещера с выходом в пустыню того же цвета. В пещере светло. Адская скука той картины ужасает меня до сих пор. Справа группой толпятся робкие желтые скелеты, слева у свода эльфы хлопают крыльями, как летучие мыши, они тоже серо-желтые, как в «Капричос» Гойи. Записал «панпейотлистское» замечание: «Гойя наверняка знал пейотль».

3.30. Мучительные видения. Битва кентавров переходит в сражение фантастических гениталий. Необходимость отказа от наркотиков, даже в форме эксперимента или ради целей рисования. Своего рода житейское «просветление». Духовный уровень этого состояния, безусловно, превосходит все, что было в прошлом. Несмотря

[1] Общая теория пейотля (*нем.*).

[2] Все цитирую дословно по ночному протоколу. Под влиянием видений все это казалось мне доказанной истиной. (*Прим. автора.*)

[3] Мрачный, похоронный (*франц.*).

на чудовищность видений, показывающих мне мои собственные ошибки в ужасающем виде, я чувствую, что нахожусь в высшем духовном измерении, и у меня такое впечатление, что это состояние продлится. Гигантский череп, по которому снуют «красные крабы преступлений». Они что-то выжирают из язв на черепе. После чего отползают во тьму, боком, по-крабьи, словно от чего-то бегут. Окуропачивание ястреба. Чудесно мудрые ястребино-человечьи глаза поглупели, размножились и в птичьих головках упорхнули за дугообразный горизонт.

3.45. Фараон, похожий на меня. Процессии и тотемные обряды — отчасти ястребино-рептильные. На огромном подносе несут гиперзмееястреба. Он улетает в облике звериных духов. Гады в половом сплетении. Безумные извращения игуан — представленные совершенно реалистически.

3.50. Реалистический номер. Источник посреди пустыни, и змеи в нем. Еще *один вариант видения все того же печеночного мозга сумасшедшего.* Змеящееся птеродактилеватое чудище хлебает этот мозг, погрузив в него голову, вот оно вынуло голову и издевательски на меня посмотрело. У него гребень, как у динозавра, и желтые, фосфорически светящиеся глаза. Оно иронически осклабилось окровавленной мордой. Половая бездна с волосатым «блондином»-гиппопотамом. Там — ужасные глаза. Череп покрывается сажей, среди сажи — стыдливый топазовый глазок. Это никотин. Полчерепа отделяется. Из глазной впадины выползает змея радужной расцветки и пялится на меня черными глазками. Она покрыта перышками колибри. Это алкоголь. Снова отделяется полчерепа и покрывается необычайно нежным белым пухом. В пухе прячутся голубые женские глаза — умнющие, чудной красоты. Снизу вырастает маленькая ручка из белой замши с черными кошачьими коготками. Эта ручка то натягивает, то ослабляет белые вожжи, которые тянутся мне на загривок, но без осязательных ощущений. Это кокаин.

3.58. Встопорщенные чистые понятия, ощетинившиеся шипами. Из понятий этих вместо истины (что стояла рядом, *нарочито* отвернувшись, в облике бронзовой женщины с выпяченным задом) выходит странное животное и превращается в дикую свинью.

4.05. Рождение алмазного щегла. Радужная такса разлетелась фейерверком черно-розовых мотыльков на согнутых розовых прутиках. Снова египетские и ассирийские процессии. Невольница укрылась за колонной. Из этого позже рождается целая история дворцовой интриги в картинках, затем погрязшая в мерзких сальных потрохах.

4.10. Передо мной предстали в образах все мои пороки и ошибки.

4.15. Превращение скелета в эфирное (алмазное!) тело. Смешанные процессии — например, рококо с современной эпохой. Адская смесь стилей — фантастические скачки. Вид на трибуны снизу. «Запромежные межепромности». Необходимость отказа — только такой ценой можно все это одолеть. Индейцы правы: пейотль карает виноватых. Третья серия рисунков. Иногда хочется курить, но удержаться не составляет никакого труда.

4.40. Легкая боль в затылке — словно внутри болтается металлическое яйцо. Чувство, которого я до сих пор, по существу, не знал. Только раз в жизни, во время тифа, у меня болела голова. Портрет жены не оживает, сколько я в него ни вглядываюсь. Я утратил власть изменять предметы. Усталость от видений. Хочется спать — без снов. Пульс семьдесят два. Реальность, когда открываешь глаза, выглядит все более привычно, а уже не чудовищно сдвинуто, как в начале. Искривление пространства — Эйнштейн на практике — понемногу исчезает.

4.43. Толстые бабы, висящие на веревках над горным лугом в Хале Гонсеницовой. Непонятный символизм, даже под пейотлем.

4.55. Хочу увидеть маршала Пилсудского. Вижу его сидящим у стола, крытого зеленым сукном. Рядом стоит полковник П., живой и невредимый. Маршал — как на фотографии: я не видел его с 1913 года и не могу оживить образ. На нем серый мундир и алая перевязь на груди. Левый глаз слегка вылезает из орбиты, вижу его в сильном увеличении. Из этого глаза вылетает фиолетовый метеор и без боли прошивает мне голову. Я на головокружительной высоте над Польшей, земля подо мной как карта. Но, не видя моря, не могу сориентироваться, где юг, где север. Метеор мчится подо мной. Ударяет в какое-то место, исчерченное разноцветными лоскутьями полей. Следует взрыв — как если бы в землю врезалась граната. Из дымящейся воронки высыпается масса *железных* червей, желтых в черную полоску, и постепенно заливает весь пейзаж подо мной. Пытаюсь сообразить, где произошел взрыв — на Украине или в Поморье. Не зная сторон света, не могу разрешить эту проблему, но похоже, это Украина. Еще с войны я страдаю головокружениями и из-за этого не могу совершать восхождения на вершины, но теперь, хотя я километрах в двадцати над землей, не ощущаю ничего подобного.

5.00. Таинственная история в картинках о «даме с восточной границы». Жан-

дарм, поп и старичок в «дворянском мундире» (какого я сроду в глаза не видел). Английские фельдмаршалы — один в треуголке, другой в кирасирском мундире — тащат под дождем телегу с индийским божеством. Должно быть, это наказание. Гады. Все гады рождены во мне потреблением алкоголя — так мало было алкоголя и так много гадов!

5.04. Рождение чудовища. Дивной красоты блондинка с голубыми глазами — всегда один и тот же кобальтовый оттенок, — закутанная в меха. Ноги ее раздвигаются, лоснящееся тело пухнет и лопается — она рожает страшного гада, круглоголового, с лицом не то тюленя, не то кота и в то же время одного знакомого генерала: глаза навыкате, того же цвета, что ее глаза, усы желтые, щетинистые. Чудище ползет ко мне. Оно веселое, но такое страшное, что, когда его усы почти касаются моего лица, я с криком открываю глаза и («О ужас и — о чудо!» — как воскликнул бы поэт) вопреки этому вижу с безумным ужасом все ту же сцену на фоне шкафа.

5.08. Угрюмый флот с огромными лицами под рулями. *Хватит с меня этих видений...*

5.47. Снова масса видений. Прелестная гадина вроде динозавра. Говорю себе: гадина «pour les princes»[1]. Желто-зеленая с карминным отливом. Она смеется. Солнечный рыцарь под стеклом после географического видения с двойным восходящим солнцем. Пустой пузырь на очень стройной ножке норовит раздуться без предела. Вопрос о чести: французские офицеры в красных кепи и молодой чертовски красивый русский с бородкой. Столь замысловатую штуковину, как живопись или архитектура, мог породить только пейотль. Музыка могла родиться сама, но такие вещи, как древние стили ваяния и зодчества, не могли возникнуть без видений. Колодец с бело-красными чудовищами в пустыне засыпан смешанным отрядом бедуинов и французов на першеронах. Нарывающие титьки генерала Смороденко. Не знаю такого, однако вижу его нагим до пояса. Вполне симпатичный брюхан. Гидроцихнитин — моральная смердятина.

6.17. Безрезультатно принимаю валерьянку. Сон нейдет — невзирая на усталость, мешают все новые видения. Вот недопупище на конусе, облаиваемое летучими собако-драконами. Гнусный гад цвета bleu acier[2] в красную крапинку на дне мелкого прудика — плоский, как скат, без головы...

6.30. Выпиты остатки валерьянки. С меня решительно хватит этих видений. На фоне такого богатства форм все безобразие натурализма (не самой натуры) ясно как день. Неудивительно, что прежние люди, вместо того чтоб подражать природе, создали под воздействием видений столь величественные стили.

6.38. Я в Закопане, на веранде виллы «Зоська». Проливной дождь. Вижу листья, дрожащие от капель, и грязь на улице так детально, как если б я там был. Однако пейотль не позволяет мне выглянуть в окно. (Позже я установил, что в тот день с утра действительно был ливень.) Я в комнате спящей г-жи X. но разбудить ее не могу.

7.15. Франц I превращается во Владислава Оркана. Опять-таки дивно неприличная, но уже другая женщина (не та, предыдущая блондинка) рожает птичку-чудище, которая, выскользнув из нее, пьет воду из лужи и задирает вверх голову. Отвратительный половой акт с участием множества гадов. Страх перед светом. Состояние слегка ненормальное в смысле пространственных впечатлений, впрочем, такая усталость бывает и после обычной бессонной ночи в поезде, без всяких экстравагантностей.

8.15. Угасающие видения из радужных проволочек, как в начале сеанса. Завтрак, умывание. В десять — ложусь спать, еще есть остатки видений. Спал до двенадцати. Состояние нормальное, только легкая пришибленность и дезориентация в пространстве. Зрачки были расширены до самого вечера. Пульс в норме. В пять пополудни без особого удовольствия закуриваю первую сигарету.

На следующих сеансах с препаратами д-ра Руйе происходило нечто подобное, но гораздо слабее. Мескалиновые видения также были несопоставимы с действием оригинального мексиканского пейотля... Как бы там ни было, после той незабываемой ночи я сказал себе: «Теперь я могу умереть спокойно, потому что я видел тот свет». О мескалине я никогда бы так не сказал. В моем случае действие его было следующим: вместо замедленного пульса — ускоренный, до ста тридцати, общее физическое состояние хуже некуда: голова кружится, ноги подкашиваются; психическое: замутнение сознания, иногда довольно значительное, пропадает чувство реальности, эйфория и возбуждение чередуются с беспокойством, депрессией и неопределенным страхом. Шизофреническое раздвоение, в какие-то моменты граничащее с легким помешательством. Ощущение, что ты — не ты, тело — чужое, такое чувство,

[1] Для королей (*франц.*).
[2] Стальной синевы (*франц.*).

будто всё — *не то*. Зато автоматическое рисование — довольно точное; характер рисунков, безусловно, иной, чем при алкоголе и других наркотиках, близок марке пейотля. Весьма значительные деформации реальности, если вглядываться в темноту комнаты. Однако что касается самих видений, у меня они не превосходили второй стадии...

Что же до нравственного воздействия, я считаю, что пейотль, а быть может, и чистый мескалин должны применяться в период отвыкания закоренелых наркоманов от яда. Оба препарата вызывают острое отвращение к алкоголю и табаку — как физическое, так и нравственное. Отвращение длится еще долго после того, как транс проходит, и это можно использовать даже при однократном применении как основу для того, чтобы полностью бросить пить и курить. Надо отличать наркомана, который не может порвать с отравой, от того, кто этого сделать не хочет. Первое состояние, разумеется, есть следствие второго. Выходу из последнего может замечательно помочь пейотль — привив неприязнь к данному наркотику, с чем так трудно на первых стадиях. Желание лечиться (только, увы, не у алкоголиков: у них такое желание — исключение) появляется обычно, когда «домашние» средства применять уже поздно, а санаторное лечение в большинстве случаев невозможно. Конечно, ко всему можно пристраститься, даже к аспирину или касторовому маслу. Если кто изо всех сил упрется, он может стать завзятым пейотлистом или мескалинистом — но это, пожалуй, будет тип совершенно извращенный, так или иначе приговоренный к гибели. Я отнюдь не пропагандирую пейотлизм как новый способ «бегства от действительности», а лишь указываю на неоценимые заслуги пейотля в том, что касается возможности начать так называемую новую жизнь. Когда я впервые испробовал это чудотворное лекарство, был в периоде пития, слегка небезопасном. Частенько после изрядных доз алкоголя я был не прочь нюхнуть «белого порошка», чтобы прервать алкоголическую скуку. Конечно, я не назюзюкивался с утра пораньше и вообще не пил каждый день, но слишком уж часто мне требовалась легкая встряска, чтоб каждую неделю или через каждые пять недель снова и снова начинать «новую жизнь». На одной из так называемых оргий я встретил Оссовецкого, который потом дал мне знать, что у него ко мне есть важный разговор. К сожалению, пришлось уехать, не повидавшись с ним. Какое-то время спустя, когда я не пил уже девятый месяц, встречаю его в компании, спрашиваю, что он хотел мне тогда сообщить. Он, глянув испытующе, отвечает: «Теперь это уже ни к чему». Под моим давлением он признался, что хотел меня предостеречь от грозившего мне, по его мнению, безумия. «Еще две-три недели такой жизни, и вам бы конец», — ответил он. Так вот, в то время я и сам был близок к мысли, что надо бы надолго прекратить эксперименты, поскольку частота их (второй раз в жизни) стала переходить границы дозволенного — даже такому малоподвластному порокам индивиду, как я. И без сомнения, я сделал бы это сам, обойдясь без всяких искусственных средств, как делал это не раз даже в менее опасных «obstojatielstvach». Но мне, безусловно, помог пейотль, когда я резко бросил пить и ничего (разве что иногда немнож(-еч)ко пива) в рот не брал на протяжении четырнадцати месяцев, притом без малейших усилий. Конечно, для этого нужна воля. На одном пейотле, не приложив усилий, далеко не уедешь. Но иной раз надо только дать первый толчок (декланшировать, мгдыкнуть, прыкснуть, кравмпкнуть, щелбамкнуть), пробудить первый рефлекс здоровой воли, чтобы все здание на нем как бы само построилось. А пейотль, кроме отвращения к наркотикам, помогает глубже взглянуть внутрь себя — для лиц, не имеющих особой обязанности экономить свой мозг ради вещей более ценных, чем водяра и коко, это может быть особенно важно.

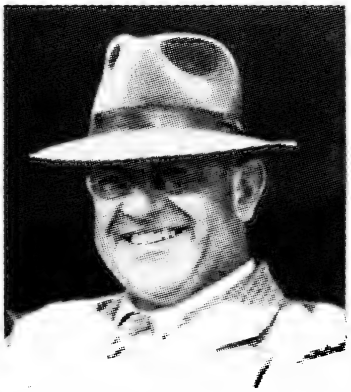
Кто-то мне сказал: «Ну зачем мне принимать именно это? Разные цвета я и так вижу и могу вообразить все что угодно; ничего сверх того, что знаю в нормальном состоянии, знать о себе не желаю, не курю, пью раза два в год, и то помаленьку, ничего иного не употребляю». Разумеется, он был прав. Я должен только защитить видения как таковые. Никто не может этого понять, если он этого не пережил. Но то, что можно жить припеваючи и без этаких переживаний (особенно если ты человек пикнического типа), — святая правда, и я никого не уговариваю садиться на пейотль. Возможно, в моих видениях было чересчур много юмористики и ужаса, перемешанных вместе, и по сей причине их можно проигнорировать. И все же помимо четырех основных стадий, одинаковых для всех, у каждого бывают такие видения, которые он заслужил. Я слыхал об одном господине, который неделю после пейотлевого транса не выходил из дому и никого не хотел видеть — из опасения, как бы действительность не опошлила те чудеса, что он пережил в своих видениях. Похоже, я оказался недостоин, но все равно ни о чем не жалею. Пейотль N2 и мескалин я не стал бы принимать больше никогда. А вот оригинальный мексиканский хотел бы испытать перед смертью еще разок, чтобы увидеть, как там со мной обстоит нынче дело в действительности.

Кроме описанных ядов, я принимал еще я-йо в виде гармина Мерка, эвкодал и гашиш — в виде экстракта Cannabis Indica[1], но оригинального, свежепривезенного из Персии, а также персидский гашиш для курения: принимал их и рисовал под их воздействием. Безусловно, каждый из них различен по вызываемому настроению и влиянию на рисунок. Гашиш в больших количествах дает, особенно в сочетании с алкоголем, какие-то видения, довольно странные, с умножением предметов и людей до бесконечности, дает он и интересные психические состояния: отождествление себя с предметом, утрату чувства тождества личности на малых отрезках времени и т.п. Но гашишные видения «в подметки не годятся» пейотлевым. Это вещи совершенно несоизмеримые. Гармин вызывает известный «сдвиг действительности» и автоматизм при рисовании. Однако из-за его воздействия на экстрапирамидные (sic!) центры и растормаживания рефлексов я не набрался смелости превысить максимальную терапевтическую дозу. В конце концов пускай с головой происходит все что угодно, но абсолютно утратить власть над иннервацией мышц — это, по крайней мере на мой вкус, вещь слишком уж малоприятная.

Заканчиваю эти рассуждения, взывая громовым голосом: очнитесь, пока не поздно, вы — курильщики, пьяницы и прочие наркоманы! Долой и никотин, и алкоголь, и всяческое «белое безумие». Если же пейотль окажется универсальным противоядием против этих мерзопакостей, то в таком, и только в таком случае: да здравствует пейотль!

■

[1] Индийская конопля (*лат.*).



ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС

Рассказы

С английского

Мир Вудхауса

Если вы спросите современного российского читателя, кого он считает самым лучшим и прославленным англоязычным писателем-юмористом двадцатого века, девять из десяти назовут О.Генри или Джерома К.Джерома. Если вы спросите о том же американца или англичанина, ответ будет другой: девять из десяти назовут имя Пэлема Гренвилла Вудхауса.

Популярность Вудхауса в Англии и в США огромна. В любом книжном магазине может не оказаться О. Генри, но книги Вудхауса будут занимать не меньше полки. По его произведениям ставились кинофильмы и телевизионные спектакли, есть клубы его почитателей и коллекционеры его книг, издаются его биографии.

За свою долгую жизнь (он умер в 1975 году в возрасте девяноста трех лет, получив за литературные заслуги титул «рыцаря») Вудхаус написал около ста книг. Айзек Азимов, всемирно известный ученый и писатель-фантаст, писал: «П.Г. Вудхаус, как мы знаем, создал свой собственный мир или, вернее, перенес один мир в другое время. Он взял Англию времен короля Эдуарда VII, очистил ее от наиболее вульгарных элементов и путем какой-то алхимии, секрет которой известен ему одному, оживил ее в эпоху вьетнамской войны».

Чем больше читаешь Вудхауса, тем интереснее и забавнее это чтение, так как персонажи его, переходящие из рассказа в рассказ, становятся все ближе и понятнее. Тут и старый, добродушный, немного слабоумный лорд Эмсворт, ищущий утешения от всех сваливающихся на него невзгод в бессмертном шедевре «Уход за свиньями»; и неунывающий прожектер Акридж, тратящий колоссальное количество энергии на то, чтобы оставаться бездельником, и изобретающий самые невероятные способы быстрого обогащения, имеющие между собой лишь одно общее: все они по какой-нибудь непредвиденной случайности с треском проваливаются; и бессмертная пара (пожалуй, третья по известности в мировой литературе после Дон Кихота — Санчо Пансы и мистера Пиквика — Сэма Уэллера) — молодой Берти Вустер, представитель «золотой молодежи» («человек золотого сердца и слабого интеллекта») и его слуга Дживз, подтянутый, застегнутый на все пуговицы, мастер по приготовлению напитков, поднимающих на ноги его хозяина наутро после поздней попойки, глубокий философ и эрудит и абсолютный гений по части нахождения выхода из совершенно безвыходных положений, в которые то и дело попадает его хозяин.

В России судьба книг Вудхауса оказалась необычной. В конце двадцатых годов он был очень популярен; в переводе на русский было издано много его произведений. Потом наступает полное забвение — его перестают печатать. Скорее всего, это было связано с тем, что в ряде своих рассказов Вудхаус едко высмеивал тогдашних английских революционеров и социалистов, и это никак не вязалось с наступившей в России эпохой «социалистического реализма». Сейчас интерес к творчеству Вудхауса в России снова возрождается. «Иностранная литература» опубликовала в 1992 году (№ 7) несколько его рассказов; был издан его роман «Положитесь на Псмита», совсем недавно издательство «Русская книга» выпустило сборник рассказов Вудхауса «Без пяти минут миллионер», а в издательстве «Остожье» выходит двухтомник его историй о лорде Эмсворте.

В нынешней России, с ее нравами «диких джунглей», Вудхаус может оказаться писателем, который даст необходимый читателю отдых от «чернухи» и всяческих шоков авангардистского искусства, добавляющихся к шокам экономическим и политическим. Исторически доказано, что юмор становится наиболее популярен в особо тяжелые для нации времена, как это было, например, во время «великой депрессии» в США. Уход в мир Вудхауса, где всегда светит солнце, где бурные переживания и неожиданные приключения героев всегда остаются в рамках комедии, поможет восстановить хорошее настроение и не раз даст повод для веселого смеха. А смех, как известно, — одно из самых лучших лекарств.

В. СЕРБИН

Командует парадом Дживз

Да, так насчет Дживза — знаете его? Мой камердинер. Многие считают, что я чересчур на него полагаюсь, тетя Агата — та даже вообще называет его «твоя няня». А по-моему, ну и что? Если он гений. Если он от воротничка до макушки на голову выше всех. Через неделю после того как он ко мне поступил, я полностью передоверил ему ведение всех моих дел. Это было лет пять назад, тогда у меня как раз произошла довольно удивительная история с Флоренс Крей, рукописью дяди Уиллоби и бойскаутом Эдвином.

Началось все, когда я возвратился в Уютное, дядину Шропширскую усадьбу. Я имел обыкновение гостить там недельку-другую каждое лето, но в тот год мне понадобилось срочно прервать свое пребывание в Шропшире и съездить в Лондон — нанять нового камердинера. Медоуз, человек, который у меня был, попался на краже моих шелковых носков, чего ни один мужчина и спортсмен не потерпит ни за какие коврижки. К тому же выяснилось, что он еще прибрал к рукам кое-какие вещи в доме. Словом, мне пришлось бросить злодею за носки перчатку и обратиться в лондонскую контору по найму, дабы мне представили на рассмотрение другой экземпляр. И мне прислали Дживза.

В жизни не забуду то утро, когда он явился. Случилось так, что накануне я принимал участие в довольно бойком застолье и с утра был немного не вполне. Да вдобавок я еще держал перед глазами и старался читать книгу, которую получил от Флоренс Крей. Она тоже гостила тогда в Уютном, и дня за два до моего отбытия в Лондон мы с ней обручились. В конце недели я должен был вернуться, и она, конечно, ожидала, что к этому сроку книга будет мною проштудирована. Дело в том, что Флоренс Крей решила во что бы то ни стало подтянуть мой интеллект поближе к своему уровню. Она была девушка с чудесным профилем, но по жабры погружена в высшие материи. А чтобы вам было понятно, о чем речь, скажу, что книга, которую она мне дала, называлась «Типы этических категорий», и, в первый раз открыв ее наобум, я прочитал вверху страницы следующее:

«Постулаты, или исходные предпосылки речи, безусловно, коэкстенсивны по задачам социальному организму, инструментом которого является язык, служа тем же целям».

Это все, несомненно, истинная правда, но не слишком полезная для приема внутрь с утра пораньше на больную голову.

Сижу я и прилагаю титанические усилия к тому, чтобы ознакомиться с этой занятной книжицей, и тут звонок. Сползаю с дивана, отпираю дверь — на пороге какой-то субъект, волосы черные, вид почтительный.

— Меня прислала контора по найму, сэр, — говорит он. — Мне дали понять, что вам нужен камердинер.

Скорее гробовщик, я бы сказал. Но я пригласил его войти, и он, бесшумно вея, проник в комнату, подобно целительному зефиру. Такое впечатление создалось у меня в первую же минуту. Медоуз страдал плоскостопием и бил оземь копытом. А у этого ног как бы вообще не было. Он просто просочился в квартиру, и лицо его выражало заботу и сострадание, словно ему тоже известно по собственному опыту состояние человека после дружеской попойки.

— Прошу прощения, сэр, — произнес он ласково. И будто испарился. Только что стоял передо мной, миг — и нет его. Послышалась возня в кухне, и вот он уже опять появился со стаканом на подносе.

— Окажите любезность, сэр, — проговорил он, склоняясь ко мне, как врач к больному, как придворный лекарь, подающий стаканчик живительного эликсира занемогшему принцу крови. — Это состав моего личного изобретения. Цвет ему придает «Соус пикан», питательность — сырое яйцо, а остроту — красный перец. Чрезвычайно бодрит, если засиделся накануне, так мне говорили многие.

В то утро я готов был уцепиться за любой спасательный кончик. Стакан этот осушил сразу. В первую минуту ощущение было такое, будто в башке кто-то взорвал мину и полез вниз по пищеводу с горящим факелом в руке, но затем все встало на свои места. Сквозь окно засияло солнце, в древесных кронах зачирикали птички, и вообще заря надежды вновь разрумянила небеса.

— Я вас беру, — выговорил я, как только смог.

Я ясно понял, что этот миляга принадлежит к племени неутомимых заботников, столь незаменимых в каждом доме.

— Благодарю вас, сэр. Моя фамилия — Дживз.

— Вы можете приступить сразу?

— Незамедлительно, сэр.

— Послезавтра нам надо быть в Шропшире в усадьбе Уютное.

— Очень хорошо, сэр. — Его взгляд соскользнул на каминную полку у меня за спиной. — Прекрасный портрет леди Флоренс Крей, сэр. Я видел ее сиятельство последний раз два года назад. Я некоторое время состоял в услужении у лорда Уорплсдона, но вынужден был отказаться от места, ввиду желания его сиятельства обедать в вечерних брюках, фланелевой рубахе и охотничьей куртке.

Он мог не трудиться мне объяснять: чудачества старика были известны повсеместно вдоль и поперек. Этот лорд Уорплсдон — не кто иной, как папаша Флоренс. Тот самый бузотер преклонных годов, который через пару лет сошел в одно прекрасное утро к завтраку, поднял первую попавшуюся крышку и с воплем «Яичница! Яичница и яичница! Чтоб ей пусто было!» рванул во Францию, откуда так никогда больше и не возвратился в лоно семьи. Для лона семьи, впрочем, эта была большая удача, ибо хуже норова, чем у старика Уорплсдона, не найдется во всем графстве.

С их семейством я знаком, можно сказать, с пеленок и перед старым Уорплсдоном испытываю животный ужас, который сохранил с тех еще пор, когда был мальчишкой. Время, великий целитель, так и не смогло изгладить у меня из памяти тот случай, когда старый лорд застиг меня, пятнадцатилетнего недоросля, в конюшне за курением сигары из его спецзапаса и бросился на меня с охотничьим хлыстом, в то время как мне было совсем не до того, душа жаждала одиночества и покоя, а он гнал меня добрую милю по пересеченной местности! Если в высшем блаженстве быть обрученным женихом Флоренс мыслим какой-то изъян, этим изъяном можно счесть разве лишь то обстоятельство, что она пошла до некоторой степени в папеньку и нельзя предугадать, в какой миг она взорвется. Но профиль у нее чудесный.

— Мы с леди Флоренс обручены, Дживз, — сообщил я.

— В самом деле, сэр?

И знаете, в его тоне просквозило что-то такое слегка настораживающее. Все вроде бы как надо, корректно и чин чинарем, но восторга определенно не слышно. Впечатление такое, будто Флоренс не совсем в его вкусе. Ну, мне-то что за дело. Наверно, когда он служил у старика Уорплсдона, она как-то успела наступить ему на мозоль. Флоренс — обаятельная девушка и в профиль потрясающе хороша собой; но если у нее можно найти недостаток, то это несколько темпераментное обращение с прислугой.

Между тем в дверь снова позвонили. Дживз исчез в прихожей и вернулся с телеграммой в руке. Я вскрыл ее. Там значилось:

«Возвращайтесь немедленно первым поездом. Неотложное дело. Флоренс».

— Чудно́, — сказал я.

— Сэр?

— Да нет, ничего.

Я не стал дальше обсуждать с Дживзом ситуацию, что показывает, как плохо я еще тогда его знал. Теперь-то мне и в голову бы не пришло прочитать непонятную телеграмму и не поинтересоваться, что о ней думает Дживз. А эта телеграмма была дьявольски загадочна. То есть: Флоренс прекрасно знала, что послезавтра я так и так приеду обратно в Уютное, к чему в таком случае этот экстренный вызов? Очевидно, что-то случилось. Но что могло случиться, я просто представить себе не мог.

— Дживз, — говорю я, — сегодня после обеда мы едем в Уютное. Вы управитесь?

— Безусловно, сэр.

— Успеете уложить чемоданы и все такое?

— Без труда, сэр. Какой костюм вы наденете в дорогу?

— Вот этот.

На мне в то утро был костюм в довольно веселенькую молодежную клетку, я к нему питал некоторую слабость; вернее даже сказать, он мне просто очень нравился. Цвета́, может быть, на первый взгляд, довольно неожиданные, но в целом костюмчик более чем недурен, в клубе и в других местах многие не таясь восхищались.

— Очень хорошо, сэр.

И снова нечто такое эдакое в голосе. Как-то он по-особенному это сказал. Ну, вы понимаете. Костюм ему явно не нравился. Тут я собрался с силами и решил твердо постоять на своем. Что-то подсказывало мне, что если я не проявлю осторожность и не задушу его в колыбели, он еще, пожалуй, начнет мною командовать. Судя по внешности, он парень из решительных.

Ну а я ничего подобного допускать был не намерен, черт подери. Мне известно много случаев, когда хозяин становился рабом своего слуги. Помню, Обри Фодер-

гилл как-то вечером в клубе прямо-таки со слезами на глазах жаловался, что вынужден был отказаться от любимых рыжих ботинок просто потому, что они не нравились Микину, его камердинеру. Надо, чтобы эта публика все-таки помнила свое место, знаете ли. Для чего незаменим старый добрый прием «железная рука в бархатной перчатке». Им только дай, та-рам, та-рам, что-то там такое, они отхватят... как там говорится?.. отхватят всю десницу.

— Вам этот костюм не нравится, Дживз? — холодно осведомился я.

— Отнюдь, сэр.

— Чем же он вас не устраивает?

— Превосходный костюм, сэр.

— Тогда в чем дело? Выкладывайте, черт возьми!

— Если позволительно предложить, сэр, гладкий коричневый или синий, может быть, в самый умеренный рубчик...

— Какая полнейшая чушь!

— Очень хорошо, сэр.

— Совершеннейший идиотизм, дорогой мой!

— Как скажете, сэр.

У меня возникло такое чувство, будто сделал шаг вверх по лестнице, а ступеньки уже кончились. Я был полон, так сказать, воинственного задора, но воевать, получается, не с чем.

— Ну, тогда ладно, — сказал я.

— Да, сэр.

И он отправился складывать свое хозяйство, а я вновь обратился к «Типам этических категорий» и решил попробовать силы на главе «Идиопсихологическая этика».

Почти всю дорогу в поезде я ломал голову над тем, что могло случиться. Совершенно непонятно! Уютное вовсе не тот одинокий загородный дом из дамских романов, куда заманивают юных дев якобы для игры в баккара, а вместо этого обдирают с них догола все драгоценности, и так далее. Когда я уезжал, там собралась теплая компания мирных граждан вроде меня. Да дядя никогда бы и не допустил у себя в доме ничего другого. Он довольно чопорный старый педант и любит, чтобы жизнь шла тихо. В то лето он как раз кончал писать не то свою родословную, не то еще что-то в том же духе и почти безвылазно сидел в библиотеке. Его примером наглядно подтверждается то мудрое житейское правило, что всегда лучше перебеситься смолоду. Я слышал, что в молодые годы дядя Уиллоби был греховодник каких мало. А теперь на него посмотреть — нипочем не скажешь.

Когда я вошел в дом, Оукшотт, дворецкий, сообщил мне, что Флоренс у себя в комнате — надзирает за тем, как горничная складывает вещи. Оказывается, вечером должен был состояться бал в одной усадьбе милях в двадцати по соседству, и Флоренс в компании еще кое с кем из гостей отправляется туда с несколькими ночевками. Оукшотту она велела, по его словам, уведомить ее, как только я вернусь. По этому случаю я пока что забрался в курительную комнату и стал ждать. Вскоре она является. С одного взгляда мне стало ясно, что она вся в волнении, даже, может быть, в сердцах. Глаза на лбу, и вообще весь вид выражает крайнее раздражение.

— Дорогая, — говорю и готов уже, как заведено, заключить ее в объятия.

Но она увернулась с ловкостью боксера легкого веса.

— Оставьте.

— Что случилось?

— Все случилось! Берти, помните, вы перед отъездом просили, чтобы я постаралась завоевать расположение вашего дяди?

— Да.

Это я в том смысле, что, поскольку я в общем и целом пока еще нахожусь от него в некоторой материальной зависимости, не может быть и речи о том, чтобы жениться без его согласия. И хотя ожидать от дяди Уиллоби возражений против Флоренс у меня не было причин: они с ее отцом еще в Оксфорде вместе учились, однако в таком деле все-таки лучше не рисковать. Вот я и сказал, чтобы она постаралась обаять старика.

— Вы сказали, что он особенно обрадуется, если попросить, чтобы он почитал мне кусок из своей родословной.

— А он что, не обрадовался?

— Пришел в восторг. Он как раз вчера после обеда дописал последнюю фразу и весь вечер читал вслух, с начала и чуть не до самого конца. Возмутительное сочинение. Скандальное. Ужас какой-то!

— Но черт подери, наше семейство не такое уж и плохое, мне кажется.

— Это вовсе не родословная. А всего лишь мемуары. И называются «Воспоминания долгой жизни».

Тут я начал понимать, в чем дело. Дядя Уиллоби, как я уже говорил, вел в молодости жизнь довольно разгульную, так что, предавшись воспоминаниям, он вполне мог выволочь на свет Божий немало разных пикантных подробностей.

— Если хоть половина из того, что там написано, — правда, — продолжала Флоренс, — значит, юность вашего дяди была... ну просто нет слов. Вчера он только раскрыл рукопись и сразу же попал на скандальную историю про то, как в 1887 году его и моего папочку вышвырнули из мюзик-холла!

— За что?

— Я решительно отказываюсь вам объяснить.

И вправду, должно быть, что-то из рук вон. В 1887 году так просто из мюзик-холлов не вышвыривали.

— Ваш дядя черным по белому пишет, что мой папочка начал вечер с того, что выпил полторы кварты шампанского, — продолжала возмущаться Флоренс. — И таких историй в его сочинении множество. Там рассказывается один безобразный случай с лордом Эмсвортом...

— С лордом Эмсвортом? Тем самым, что сейчас гнездится в Бландингсе?

Это один такой всем хорошо известный старый гриб, сама добродетель, с утра до ночи ковыряет цапкой у себя в саду.

— Именно. Вот почему сочинение вашего дядя — такая гадость. В нем рассказывается обо всех людях, которых хорошо знаешь, которые сегодня являются воплощением корректности. Выходит, что все они в Лондоне восьмидесятых годов имели такие манеры, каких не потерпели бы и в кубрике самого грязного китобойца. Ваш дядя помнит все постыдные поступки всех знакомых в двадцать лет. Например, он описывает один случай с сэром Стэнли Джервас-Джервасом в Рошервил-гарденс, с такими ужасными подробностями, оказывается, сэр Стэнли... нет, не могу вам этого пересказать!

— А вы попробуйте.

— Ни за что!

— Да ладно, что вы волнуетесь? Если в этой книге столько смака, ее ни один издатель не напечатает.

— Ошибаетесь. Ваш дядя сказал, что обо всем договорился с издательством «Риггз и Баллинджер» и завтра с утра отсылает им рукопись для немедленной публикации. Они специализируются на таких книгах. Выпустили мемуары леди Карнаби «Восемьдесят интересных лет».

— О, это я читал.

— Тогда, если я скажу, что мемуары леди Карнаби — просто детский лепет в сравнении с воспоминаниями вашего дяди, вы меня поймете. И что ни страница, упоминается имя папочки. Его поведение в молодые годы приводит меня в отчаяние!

— Ну и что же делать?

— Надо перехватить рукопись, прежде чем она уйдет к «Риггзу и Баллинджеру». И уничтожить!

Я чуть не вскочил. Вот это да! Учинить такую шутку — это по-нашему.

— И как вы думаете это проделать?

— При чем тут я? Ведь пакет уйдет завтра утром. А я сегодня вечером уезжаю на бал к Мергатройдам и буду обратно только в понедельник. Это должны сделать вы. Я потому вам и телеграфировала.

— Что-о?

Она холодно посмотрела на меня.

— Вы что, отказываетесь мне помочь, Берти?

— Н-нет, но... Послушайте!

— Это ведь совсем просто.

— Но даже если я... То есть, я хочу сказать... Разумеется, все что в моих силах... Вы меня понимаете...

— Берти! Вы утверждали, что хотите на мне жениться.

— Конечно, но все-таки...

На минуту она превратилась в совершенное подобие своего папаши.

— Я никогда не выйду за вас, если эти воспоминания увидят свет.

— Но, Флоренс, старушка...

— И не спорьте. Считайте, что это вам испытание, Берти. Если у вас достанет отваги и находчивости осуществить этот замысел, я получу доказательство того, что вы вовсе не такой лоботряс и тупица, каким вас считают многие. А если вы этого не

сделаете, я буду знать, что ваша тетя Агата была совершенно права, когда называла вас бесхребетным, беспозвоночным и решительно не советовала выходить за вас замуж. Перехватить рукопись, Берти, для вас не составит труда. Нужно только немного решительности.

— А вдруг дядя Уиллоби меня застукает? Он же не даст мне больше ни шиллинга.

— Ну, если вам дядины деньги дороже, чем я...

— Да нет же! Что вы!

— Вот и прекрасно. Пакет с рукописью будет положен завтра утром на стол в холле, чтобы Оукшотт отвез его в деревню на почту вместе со всеми письмами. От вас только требуется взять его со стола, унести и уничтожить. А дядя будет считать, что пакет затерялся при пересылке.

Мне это показалось довольно малоубедительно.

— А разве у него нет копии?

— Нет. Рукопись на машинке не перепечатана. Он шлет то, что написал от руки.

— Но ведь он может написать все заново.

— Это чересчур большая работа.

— Но...

— Берти, если вы намерены ничего не делать, а будете только выдвигать свои дурацкие возражения...

— Просто я хочу вам заметить, что...

— Не надо, пожалуйста. Отвечайте: да или нет. Вы согласны выполнить эту небольшую просьбу? Сделать для меня одно доброе дело?

То, как она это выразила, сразу натолкнуло меня на ценную мысль.

— Почему бы не поручить это Эдвину? Ограничиться, так сказать, семейным кругом. И к тому же порадовать дитя.

Мысль, на мой взгляд, была просто блестящая. Эдвин — ее младший брат, проводивший каникулы в Уютном. Эдакий малец с хорьковатой мордочкой, которого я терпеть не мог с самого его рождения. Кстати о мемуарах, это он, чертов малютка Эдвин, девять лет назад привел своего папашу туда, где я курил сигару, и навлек на меня тогда кучу неприятностей. Теперь ему сравнялось четырнадцать, и он недавно вступил в бойскауты. Это был необыкновенно серьезный ребенок, к своим новым обязанностям относившийся очень ответственно. Он постоянно пребывал в нервной лихорадке, так как отставал от расписания ежедневных добрых дел: прямо из кожи вон лез и все-таки не управлялся. Он часами рыскал по дому, носился наперегонки с самим собой, превращая усадьбу в истинный ад для людей и животных.

На Флоренс моя блестящая мысль должного впечатления не произвела.

— Ничего подобного я не сделаю, Берти. Неужели вы не способны оценить доверие, которое вам оказывают? Кажется, должны бы гордиться.

— Ясное дело, я горжусь. Просто я хочу сказать, у Эдвина это получилось бы в тысячу раз лучше, чем у меня. Бойскауты, они знают столько разных хитростей, и след умеют взять, и залечь где надо, и подкрасться незаметно, в таком роде.

— Берти, вы выполните мое совершенно элементарное поручение или нет? Если нет, скажите прямо, и положим конец этому дурацкому фарсу. К чему тогда притворяться, будто я для вас что-то значу?

— Дорогая старушка, я люблю вас всей душой!

— Так сделаете или не сделаете?

— Ну, ладно, ладно, — сдался я. — Ладно! Уговорили!

И я побрел куда глаза глядят, чтобы тщательно все обдумать. Но только ступил за порог, как чуть не налетел в коридоре на Дживза.

— Прошу прощения, сэр. Я как раз вас разыскивал.

— Что случилось?

— Вынужден поставить вас в известность, сэр, что кто-то измазал ваши коричневые уличные ботинки черной ваксой.

— Что?! Кто? Зачем?

— Не могу сказать, сэр.

— И это уже непоправимо?

— Непоправимо, сэр.

— Проклятье!

— Да, сэр.

После того случая я часто задумывался, как это убийцы умеют сохранять форму, пока вынашивают свои преступные замыслы? Передо мной стояла задача попроще, но и то, обмозговывая ее в ночные часы, я так извелся, что утром встал совершенно больной, под глазами — самые настоящие черные круги, честное слово! При-

шлось призвать на помощь Дживза с его живительным снадобьем.

Когда кончился завтрак, я стал чувствовать себя как чемоданный воришка на вокзале. Ошивался в холле, дожидаясь, пока на стол положат пакет. А его все не клали. Должно быть, думал я, дядя Уиллоби все еще сидит у себя в библиотеке, добавляет последние, завершающие штрихи к великому труду своей жизни; и чем дольше я думал, тем меньше мне все это нравилось. Шансов на успех у меня было на глазок примерно два к трем, и когда я пытался представить себе, что будет в случае провала, по спине у меня бежали холодные мурашки. Дядя Уиллоби был вообще-то нрава довольно мягкого, но мне приходилось наблюдать его и в гневе, и, клянусь Юпитером, если он застанет меня за кражей своего драгоценного манускрипта, его ярости не будет предела.

Время уже приближалось к четырем, когда он наконец пришкандыбал из библиотеки с пакетом под мышкой, положил его на стол и прошкандыбал прочь. *Я* в это время держался к юго-востоку, притаившись позади пустых лат на постаменте. Только он скрылся, я шасть к столу. Схватил пакет и вприпрыжку наверх, прятать добычу. Влетаю к себе, как молодой мустанг-иноходец, и натыкаюсь прямо на бойскаута Эдвина. Чертов мальчишка стоял у комода и копался в моих галстуках.

— Привет, — говорит он мне.

— Ты что здесь делаешь?

— Навожу порядок в вашей комнате. Это будет мое доброе дело за прошлую субботу.

— За прошлую субботу?

— Да, я отстал на пять суток. До вчерашнего вечера было на шесть, но я почистил ваши ботинки.

— Так это ты?..

— Да. Вы уже видели? Как это я раньше не подумал? А сюда вот зашел посмотреть — здесь, пока вас не было, жил мистер Беркли, сегодня только уехал, и я подумал, может, он что-нибудь забыл, а я найду и пошлю ему вдогонку. Я таким способом уже сделал не одно доброе дело.

— Благодетель ты наш.

Мне становилось все более и более ясно, что этого инфернального ребенка надо отсюда удалить, и как можно скорее. Я держал пакет за спиной, и можно было надеяться, что он его пока не заметил; но теперь надо было прорваться к комоду и быстренько спрятать украденное в ящик, пока никто не вошел.

— Бог с ней, с уборкой, можешь идти, — сказал я ему.

— А я люблю наводить порядок. Правда-правда. Мне это нисколько не трудно.

— Тут уже все в полном порядке.

— Погодите, увидите, как будет, когда я кончу свою работу.

Дело принимало совсем паршивый оборот. У меня не было желания прикончить парнишку, однако я просто не видел иного способа от него избавиться. Я нажал на умственный акселератор. Черепушка лихорадочно зачухала и родила ценную мысль.

— Могу тебе предложить другое дело, еще гораздо более доброе, — сказал я. — Видишь эту коробку с сигарами? Возьми ее, спустись в курительную и обстриги все кончики, хорошо? Избавишь меня от уймы хлопот. Ну давай топай отсюда, парень.

Он посмотрел на меня с сомнением во взоре, но все-таки потопал. А я упихал пакет в ящик, запер, ключ сунул в карман брюк, и мне сразу полегчало. Я, конечно, может, и обормот, но одержать в тактической борьбе верх над мальчишкой, повсюду сующим нос, это я уж как-нибудь да сумею. Потом я снова сошел вниз. Прохожу мимо двери в курительную, а Эдвин выкатывается кубарем прямо мне под ноги. И я подумал, что самое доброе дело, какое он мог бы сделать, это самоубийство.

— Стригу! — доложил он мне.

— Стриги, стриги.

— А как стричь, сильно или слегка?

— Средне.

— Ага, ладно. Тогда я пойду.

— И правильно сделаешь.

Люди, которые смыслят в таких делах, — сыщики там разные и тому подобное, — скажут вам, что самое трудное — это избавиться от мертвого тела. Помню, ребенком я учил стихотворение про одного типа по имени Юджин Арам, так вот он в этом отношении особенно натерпелся. От самого стихотворения у меня в памяти сохранились только две строки:

Та-ра, та-ра, та-рарара,
И я его убил!

Но я хорошо запомнил, сколько драгоценного времени бедняга потратил на возню с трупом, и в землю его закапывал, и в воде топил, и так далее, глядь, а труп опять перед ним! Не прошло и часа, как я запер пакет в ящик комода, когда я понял, что вляпался в точно такую же историю.

Хорошо было Флоренс болтать про то, что рукопись надо уничтожить. Однако если подойти к вопросу с практической стороны, то как, скажите на милость, как можно уничтожить такую основательную пачку бумаги в чужом доме и в разгар лета? Не попросишь же растопить в твоей комнате камин, когда на термометре под тридцать градусов. А если не сжечь, то как еще от нее избавиться? На театре военных действий, бывает, гонцу приходится съесть депешу, чтобы она не попала в руки врага. Но мне, чтобы съесть мемуары дяди Уиллоби, потребовалось бы не меньше года.

Признаюсь, я был в полной растерянности. Единственное, что я мог сделать, это оставить пакет у себя в ящике, и будь что будет.

Не знаю, знакомо ли вам такое переживание, но поверьте мне, иметь на совести преступление крайне неприятно. К вечеру уже один вид проклятого ящика стал давить мне на психику. Я сделался нервным; когда дядя Уиллоби бесшумно вошел в курительную, где я в одиночестве предавался мыслям, и нежданно-негаданно заговорил со мною, я поставил рекорд по прыжкам в высоту из положения сидя.

Я все время гадал: когда дядя Уиллоби спохватится и учует, что дело неладно? По моим подсчетам, это должно было произойти не раньше чем утром в субботу, когда он не получит ожидаемой издательской расписки в получении бандероли. Но уже вечером в пятницу он выглянул из библиотеки, когда я проходил мимо, и пригласил меня зайти на минутку. Вид у него был растерянный.

— Берти, — произнес он (он всегда изъяснялся с исключительной торжественностью), — случилась крайне тревожная неприятность. Как ты знаешь, вчера днем я отправил господам Риггзу и Баллинджеру, издателям, бандероль с рукописью моей книги. Они должны были получить ее с первой почтой сегодня утром. Затрудняюсь сказать, откуда возникло у меня недоброе предчувствие, но судьба бандероли меня беспокоила. И несколько минут назад я позвонил господам Риггзу и Баллинджеру, чтобы справиться о ее сохранности. К моему глубочайшему ужасу, они меня уведомили, что рукопись моя ими до сих пор не получена.

— Странно.

— Я отчетливо помню, что лично заблаговременно положил пакет на стол в холле, чтобы его отвезли в деревню на почту. Но вот что поразительно. Я говорил с Оукшоттом, отвозившим на почту всю корреспонденцию, и он не припоминает, чтобы среди писем был этот пакет. Вернее, он даже совершенно определенно утверждает, что, когда пришел в холл брать корреспонденцию, никакого пакета там не было.

— Удивительно.

— Берти, сказать тебе, что я подозреваю?

— Что?

— Тебе это подозрение, конечно, покажется невероятным, но только так можно увязать воедино все известные нам факты. Я склоняюсь к мысли, что пакет украли.

— Да что вы? Не может быть!

— Нет, ты погоди. Сначала выслушай. Я не говорил об этом ни тебе, ни кому другому, но не подлежит сомнению, что в последние несколько недель из дома исчезли отдельные предметы, одни ценные, другие нет. Напрашивается неизбежный вывод: среди нас находится клептоман! Для клептомании, как тебе, по-видимому, известно, именно характерно, что больной не различает цены вещей. Он с одинаковой готовностью украдет и старое пальто, и перстень с бриллиантами, для него равно соблазнительны и курительная трубка стоимостью в два-три шиллинга, и полный кошелек золотых монет. То обстоятельство, что моя рукопись ни для кого из посторонних не может представлять интереса, как раз и убеждает меня в том, что...

— Но дядя, одну минуточку! Об этих пропавших вещах мне все известно. Их присвоил Медоуз, мой человек. Я его изловил за воровством моих шелковых носков. Схватил, можно сказать, за руку в самый момент кражи.

Дядя весь всполошился:

— Ты меня поражаешь, Берти. Немедленно пошли за ним, и мы его спросим.

— Но его здесь нет. Как только я обнаружил, что он — носочный вор, я тут же его прогнал. Я за тем и в Лондон ездил: нанять нового камердинера.

— В таком случае, раз этого человека, Медоуза, здесь нет, стало быть, он не мог присвоить мою рукопись. Необъяснимо!

И дядя задумался. Он расхаживал взад-вперед по комнате, всем своим видом выражая недоумение, а я сидел и непринужденно посасывал сигарету, как тот тип,

про которого я где-то читал: он прикончил там одного и сунул труп под стол, а потом ему пришлось целый вечер, сидя за этим самым столом, развлекать и потчевать гостей. Моя преступная тайна так давила мне на психику, что в конце концов я не выдержал, закурил свежую сигарету и вышел прогуляться, немного спустить пары.

Был один из тех тихих вечеров, когда стоит кашлянуть улитке в саду, и слышно на милю вокруг. Солнце плавно спускалось за холмы, в воздухе куда ни глянь плясали мошки, и все благоухало по-сумасшедшему — как раз роса выпала, ну и все такое прочее, — я уже даже начал ощущать приятное умиротворение, но вдруг услышал в тиши свое имя:

— Я насчет Берти.

Сказано мерзким голосом юного мучителя людей Эдвина. Откуда он доносится, я сначала не понял. Но потом сообразил, что из библиотеки. Прогуливаясь, я сам не заметил, как очутился в двух шагах от распахнутого окна.

Я часто задумывался над тем, как это получается у героев книг, которые — знаете? — в мгновение ока успевают столько всего проделать, с чем другой бы и в десять минут не управился. Но тут, представьте себе, я тоже в мгновение ока отшвырнул окурок, выругался шепотом и, пролетев одним прыжком десять ярдов, приземлился в середине куста, росшего у окна библиотеки. И тут затаился, прижав уши. Мне было ясно, как никогда в жизни, что назревает куча неприятностей.

— Насчет Берти? — переспросил голос дяди Уиллоби.

— Насчет Берти и вашего пакета. Я слышал, вы сейчас с ним говорили. По-моему, он у него.

Если я вам скажу, что в ту самую минуту, как моего слуха коснулись эти убийственные слова, за шиворот мне упало с ветки какое-то насекомое довольно ощутимых размеров, а я не мог даже шевельнуться, чтобы его как-то придавить, — вы легко поймете, что на душе у меня было невесело. Я чувствовал, что против меня ополчился весь мир.

— О чем ты говоришь, мальчик? Минуту назад я обсуждал с Берти загадочную пропажу моей рукописи, и он выразил по этому поводу точно такое же глубокое недоумение, как и я.

— А я вчера вечером был у него в комнате, делал одно доброе дело, и вдруг он входит с каким-то пакетом, я заметил, хотя он прятал его за спиной. Он послал меня в курительную обрезать сигары, а через две минуты спускается следом, и в руках уже ничего. Так что пакет должен быть у него в комнате.

Этих чертовых бойскаутов, насколько мне известно, специально учат наблюдательности, методам дедукции и всему такому прочему. Но думают ли их руководители о последствиях, хотелось бы мне знать. Вы только взгляните, к чему это приводит.

— Крайне маловероятно, — произнес дядя Уиллоби, и у меня немного отлегло от сердца.

— Я могу сходить поискать у него в комнате, — предложил юный аспид. — Вот увидите, пакет окажется там.

— Но зачем ему могло понадобиться совершать такую противоестественную кражу?

— А может, у него вот та самая болезнь, про которую вы говорили.

— Клептомания? Вздор.

— Может, и все пропавшие вещи украл на самом деле Берти, — с надеждой в голосе развил свою мысль малолетний мерзавец. — Может быть, он как Раффлс.

— Как Раффлс?

— Это из книжки один парень, который норовил прикарманить все, что плохо лежит.

— Не допускаю мысли, чтобы Берти... э-э-э... норовил прикарманить все, что плохо лежит.

— Но пакет у него, я уверен. Вот что вы можете сделать: скажите ему, будто мистер Беркли прислал телеграмму, что забыл здесь какую-нибудь вещь. Он ведь жил в комнате Берти. И вы скажете, что хотите ее там поискать.

— Это, пожалуй, можно. Я бы...

Дальше я слушать не стал. Земля начала дымиться у меня под ногами. Нельзя было медлить ни минуты. Осторожно выбравшись из куста, я со всех ног бросился к парадному входу, взбежал по лестнице в свою комнату и подлетел к комоду. Сунул руку в карман — нет ключа! Потеряв уйму времени, я наконец вспомнил, что положил его вчера вечером в свои вечерние брюки, и там он, по-видимому, и остался.

Где, черт возьми, мой вечерний костюм? Я обыскал всю комнату, пока не сообразил, что, должно быть, Дживз унес его чистить. Подскочить к звонку и позвонить

было для меня делом одной секунды. Только отзвонил, как за дверью раздались шаги и входит дядя Уиллоби.

— Берти... — говорит он и не краснеет, — м-м-м... я получил телеграмму от Беркли, он жил в этой комнате, пока ты отсутствовал, и он просит отослать ему... э-э-э... портсигар, который он, по-видимому, забыл захватить, уезжая. Внизу его не оказалось, и я подумал, что он мог оставить свой портсигар в этой комнате. Сейчас я его... ммм... тут поищу.

Весьма омерзительная картина: старый, убеленный сединами человек, ему бы пора о душе подумать, а он лжет, как актер на подмостках.

— Я никакого портсигара не видел, — говорю.

— Но я все-таки поищу. Не пожалею... э-э-э... усилий.

— Если бы он здесь был, я бы его наверняка заметил, нет разве?

— Он мог ускользнуть от твоего внимания. Возможно, он... ммм... лежит в одном из ящиков комода.

Дядя Уиллоби принялся вытягивать ящик за ящиком и рыться в них, как старая ищейка, не переставая бормотать при этом про Беркли и его портсигар. Я стоял рядом и терял в весе фунт за фунтом.

Подошла очередь того ящика, где находился пакет.

— Этот, кажется, заперт, — заметил он, подергав ручку.

— Д-да. Я бы на вашем месте не стал беспокоиться. Он... Он... это... заперт, и вообще.

— А ключа у тебя нет, что ли?

Тихий, почтительный голос у меня за спиной произнес:

— Не этот ли ключ вам нужен, сэр? Он лежал в кармане ваших вечерних брюк.

Дживз, собственной персоной. Он просочился в комнату с моим костюмом и теперь протягивал мне ключ. Я готов был растерзать его за такую заботу.

— Благодарю вас, — говорит дядя.

— Не стоит, сэр.

Пролетела минута. Дядя Уиллоби выдвинул ящик. Я закрыл глаза.

— Нет, — произнес дядя. — Тут ничего нет. Пусто. Спасибо, Берти. Надеюсь, я не очень тебя побеспокоил. По-видимому, Беркли все-таки не оставлял у нас портсигара.

Он ушел, и я старательно запер за ним дверь. А потом обернулся к Дживзу. Он раскладывал на кресле предметы моего вечернего туалета.

— Э-э-э... Дживз.

— Да, сэр?

— Н-нет, ничего.

Дьявольски трудно было подыскать вступительные слова.

— М-м-м... Дживз!

— Да, сэр?

— Это не вы?.. То есть вы не?.. Не было ли там?..

— Я вынул пакет еще утром, сэр.

— Да? А по... почему?

— Нашел, что так оно будет вернее, сэр.

Я напряг мозги.

— Вам это все, должно быть, представляется необъяснимым, а?

— Вовсе нет, сэр. Я случайно слышал, как вы с леди Флоренс обсуждали положение, сэр.

— Ах, вот оно что!

— Да, сэр.

— Вот что, Дживз. Я думаю... в общем и целом... будет неплохо, если вы его придержите пока что у себя, до возвращения в Лондон.

— Совершенно с вами согласен, сэр.

— А там мы его, как говорится, куда-нибудь сплавим.

— Именно так, сэр.

— Оставляю его на ваше попечение.

— Можете не беспокоиться, сэр.

— А знаете, Дживз, вы, как бы это вернее сказать, отличный малый.

— Стараюсь, сэр.

— Один на миллион, я думаю.

— Вы очень добры, сэр.

— Что ж, пожалуй, тем самым — все.

— Очень хорошо, сэр.

Флоренс возвратилась в понедельник. Я увиделся с нею только в пять часов, когда все сошлись пить чай в холле. Но пока народ не разошелся из-за стола, мы не могли и словечком обменяться с глазу на глаз.

— Ну, Берти? — проговорила она, когда мы наконец остались одни.

— Все в порядке, — ответил я.

— Вы уничтожили рукопись?

— Не то чтобы уничтожил, но...

— В каком смысле это надо понимать?

— В том смысле, что не буквально...

— Берти, вы что-то крутите.

— Я же сказал: все в порядке. Дело в том, что...

И я уже было собрался ей все толком объяснить, но тут из библиотеки выкатился дядя Уиллоби, весь сияя, как новорожденный. Старика просто узнать было нельзя.

— Поразительная вещь, Берти! Я только что говорил по телефону с мистером Риггзом, и он сказал, что они получили мою бандероль сегодня утренней почтой. Не представляю себе, что могло послужить причиной такой задержки? Почтовая служба в загородной местности работает из рук вон плохо. Я напишу жалобу в министерство. Мыслимое ли дело, чтобы так задерживать ценные отправления?

Я в это время рассматривал профиль Флоренс, но тут вдруг она оборачивается и устремляет прямо на меня взор, пронзительный, как острый нож. Дядя Уиллоби пропетлял обратно к себе в библиотеку, и в холле воцарилась тишина, такая мертвая, хоть читай отходную.

— Не понимаю, — выговорил я наконец. — Клянусь Богом, я совершенно ничего не могу понять.

— А я могу. Я все отлично поняла, Берти. Вы смалодушничали. Боясь навлечь гнев своего дяди, вы предпочли...

— Нет-нет! Ничего подобного!

— Вы предпочли потерять меня, лишь бы не рисковать потерей денег. Может быть, вы думали, что я говорила не всерьез. Напрасно. Мое условие было вполне серьезно. Наша помолвка расторгнута.

— Но... послушайте!

— Ни слова больше.

— Но, Флоренс, старушка...

— Ничего не желаю слушать. Ваша тетя Агата была права, как я теперь вижу. Я еще легко отделалась. Было время, когда я думала, что при должном усердии из вас еще можно вылепить нечто достойное. Но оказывается, вы совершенно безнадежны.

Она выскочила вон, оставив меня подбирать черепки. Наведя порядок, я поднялся к себе и позвонил Дживзу. Он явился как ни в чем не бывало, будто ничего не случилось и не может случиться. Не человек, а само спокойствие.

— Дживз! — возопил я. — Пакет доставлен лондонскому адресату!

— Вот как, сэр?

— Это вы его отправили?

— Да, сэр. Я сделал как лучше, сэр. По моему мнению, вы с леди Флоренс переоценили опасность того, что кто-то может обидеться, прочитав о себе в мемуарах сэра Уиллоби. Нормальный человек, сэр, как подсказывает мне мой личный опыт, радуется, если видит свое имя в печати, вне зависимости от того, что именно о нем написано. У меня есть тетка, сэр, которая несколько лет мучилась от отечности ног. Потом стала пользоваться «Превосходной мазью Уокиншоу», и это ей сильно помогло, настолько, что тетка направила письмо в газету. И когда там описали ее случай, с фотографиями ее нижних конечностей «до» и «после», первые — совершенно отталкивающего вида, гордости ее не было предела, вследствие чего я и понял, что людям желанна известность, а какая — все равно. Более того, если вам случалось изучать психологию, сэр, вы, конечно, слышали, что самые почтенные пожилые джентльмены отнюдь не против, чтобы люди знали, какими лихими молодцами они были в молодости. У меня есть дядя...

Я сказал, что пусть провалятся его дядя, и его тетя, и он сам, и все прочие члены их семьи.

— Вам известно, черт побери, что леди Флоренс расторгла нашу помолвку?

— В самом деле, сэр?

Ни малейшего сочувствия в голосе, будто с ним говорят о погоде.

— Я вас увольняю!

— Очень хорошо, сэр.

Он вежливо кашлянул.

— Поскольку я уже не состою больше у вас в услужении, сэр, я могу высказаться, не нарушая субординации. По моему мнению, вы и леди Флоренс решительно не подходите друг другу. Ее сиятельство, в противоположность вам, обладает весьма настойчивым и деспотическим характером. Я без малого год прослужил у лорда Уорплсдона и имел возможность довольно близко наблюдать темперамент ее сиятельства. На людской половине о ней сложилось весьма неблагоприятное мнение. Ее манеры вызывали немало порицаний с нашей стороны. Иногда она переходила всякие границы. Вы не были бы с нею счастливы, сэр!

— Ступайте вон!

— Я также нахожу ее педагогические приемы чересчур для вас обременительными. Я пролистал книгу, которую ее сиятельство дала вам для изучения, — она все эти дни лежит у вас на столе — и считаю ее совершенно неподходящей. Вам бы она, безусловно, пришлась не по вкусу. А от личной горничной ее сиятельства, случайно слышавшей разговор между своей хозяйкой и одним из гостящих здесь джентльменов — мистером Максвеллом, редактором литературного ежемесячника, — я получил сведения, что она намерена сразу же вслед за этим усадить вас за Ницше. Вам не понравится Ницше, сэр. Это нездоровое чтение.

— Убирайтесь!

— Очень хорошо, сэр.

Удивительно, как бывает: утром видишь предмет в ином свете, чем с вечера. Со мной это случалось неоднократно. Почему-то, когда наутро я проснулся, сердце мое уже совсем не так обильно обливалось кровью. День был преотличный, и что-то в том, как весело заглядывало солнышко в окно и оглушительно галдели пташки в кустах, подсказывало мне, что Дживз, возможно, не так уж и не прав. В конце-то концов, профиль профилем, но действительно, такое уж ли это удовольствие — быть помолвленным с Флоренс Крей, как может показаться на посторонний взгляд? Не исключено, что в словах Дживза насчет ее норова что-то есть. Я начал сознавать, что для меня идеальная жена, как я ее себе представляю, — это нечто гораздо более томное, льнущее, лепечущее, ну, в общем, в таком духе. Когда я додумал до этого места, взгляд мой упал на книгу «Типы этических категорий». Я открыл ее наобум, и вот что, клянусь, без обмана, бросилось мне в глаза:

«Из двух антитез греческой философии лишь одна жизненна и внутренне непротиворечива, а именно Идеальная Мысль в противопоставлении объекту, который она пронизывает и формирует. Другая адекватна нашему понятию Природы, феноменологична сама по себе, нежизненна и не имеет перманентного основания, будучи лишена сколько-нибудь убедительных предикатов, — или говоря коротко, сохраняет убедительность лишь посредством внутренних реальностей, обретающих внешнее выражение».

Н-да. Как это на ваш вкус? А Ницше, говорят, еще гораздо хуже!

— Дживз, — сказал я ему, когда он принес мне поднос с утренним чаем, — я тут все хорошенько обдумал. Вы восстановлены на работе.

— Благодарю вас, сэр.

Я сделал большой оптимистический глоток. Меня начало разбирать глубокое уважение к аналитическому уму этого человека.

— Кстати, Дживз, — говорю я ему, — насчет этого клетчатого костюма...

— Да, сэр?

— Он что, действительно плоховат?

— Несколько эксцентричен, я бы сказал.

— Но ведь многие подходят, спрашивают фамилию моего портного.

— Несомненно с тем, чтобы обходить его стороной, сэр.

— Он пользуется в Лондоне превосходной репутацией.

— Я не подвергаю сомнению его моральные качества, сэр.

Я все еще колебался. Мне казалось, что я стою перед угрозой оказаться в когтях у собственного камердинера и если сейчас уступлю, то стану, как бедняга Обри Фодергилл, сам над собой не властен. Но с другой стороны, Дживз — явно малый с головой, и было бы очень даже славно передоверить ему обязанность думать, когда понадобится. Наконец я принял решение.

— Хорошо, Дживз, — сказал я. — Вам виднее. Можете его подарить кому-нибудь.

Он посмотрел на меня сверху вниз, снисходительно, как папаша на несмышленого сына.

— Благодарю вас, сэр. Я отдал его вчера вечером младшему садовнику. Еще чаю, сэр?

Перевод И. БЕРНШТЕЙН

Бестселлер

В безмятежной тишине, царившей в зале «Привала рыбака», раздалось душераздирающее всхлипывание. Подняв глаза, мы увидели, что мисс Постлтуэйт, наша чувствительная барменша, вытирает глаза посудным полотенцем.

— Простите, что встревожила вас, — сказала мисс Постлтуэйт в ответ на наши обеспокоенные взгляды, — но он только что отправился в Индию, а она осталась стоять, освещенная луной, у своего старого дома, сжав губы и не проронив ни одной слезинки. А ее собачка подползла и лизнула ей руку, словно все понимала и жалела ее.

Мы воззрились друг на друга в полном недоумении. Эту загадку, со своей обычной проницательностью, разгадал мистер Маллинер.

— А-а, — произнес мистер Маллинер, — значит, вы читаете «Руту для воспоминания»? И какое у вас впечатление?

— Ч-ч-чудесно! — ответила мисс Постлтуэйт. — Душа Женщины здесь вскрыта, словно скальпелем.

— Вы считаете, это на том же уровне, что и предыдущее? По-вашему, это не хуже «Разлуки»?

— Лучше.

— А-а! — догадался Крепкий Портер С Горьким Пивом. — Вы читаете роман?

— Последнее произведение, — сказал мистер Маллинер, — созданное тем же пером, что и «Разлука», которая, как вы, несомненно, помните, несколько лет назад произвела такой фурор. У меня особый интерес к творчеству этой романистки, поскольку она моя племянница.

— Ваша племянница?

— Жена племянника. В частной жизни это миссис Эгберт Маллинер. — Мистер Маллинер отхлебнул подогретого виски с лимоном.

— Не желаете ли, — сказал он после паузы, — послушать историю о моем племяннике Эгберте и его нареченной? Это простая история, одна из тех глубоких человеческих драм, что происходят среди нас каждый день. Если мисс Постлтуэйт, несмотря на эмоциональное потрясение, в состоянии налить мне еще стакан, я с удовольствием расскажу вам ее.

Я попрошу вас (сказал мистер Маллинер) представить себе моего племянника Эгберта в тот момент, когда прекрасным июньским вечером он стоит на краю пирса в живописном курортном городке Беруош-Бэй и собирается с духом, чтобы задать Эванджелине Пембери вопрос, который жизненно важен для него. Сто раз он собирался его задать, и сто раз у него не хватало смелости. Но сегодня он чувствовал себя в особенно хорошей форме и поэтому откашлялся и заговорил.

— Я хочу задать вам один вопрос, — тихо произнес он хриплым голосом.

Он замолк. У него вдруг перехватило дыхание. Девушка глядела вдаль на море, освещенное луной. Не было ни ветерка. Издалека доносились звуки городского оркестра, пробиравшегося сквозь мелодию «Рождественской песни» из «Тангейзера» — чему несколько мешал второй тромбон, перепутавший ноты и игравший «Свадьбу раскрашенной куколки».

— Хочу задать один вопрос, — повторил Эгберт.

— Спрашивайте, — прошептала девушка.

Он снова замолк. Он робел. Ее ответ так много значил для него.

Эгберт Маллинер приехал в этот тихий курортный городок для лечения покоем. Он состоял в штате «Еженедельного книгочея» и трудился там в должности младшего редактора, а как известно любому статистику, работа младших редакторов литературных еженедельников числится одной из первых в списке опасных профессий. Только самые выносливые способны без ущерба для здоровья выдержать то напряжение сил, которого требует интервьюирование романисток.

Каждую неделю в течение полугода Эгберт Маллинер слушал, как романистки говорят об Искусстве и о своих Идеалах. Он встречался с ними в уютных будуарах, смотрел, как они ласкают собак и чувствуют себя счастливее всего среди своих цветов. И вот в одно прекрасное утро владелец «Книгочея» заметил, что молодой человек, сидя за своим столом, тупо и без всякого выражения бормочет одно и то же: «Аурелия Макгоггин, она черпает вдохновение в аромате белых лилий!», а на губах у него выступила пена, — и тогда хозяин еженедельника незамедлительно отвел его к специалисту.

— Да, — сказал специалист, прослушав грудную клетку Эгберта при помощи чего-то вроде телефонной трубки, — значит, мы немного выбились из сил? Стало

быть, у нас перед глазами плавают черные мушки и такая депрессия, что иногда хочется выть волком? Так-так. Вот что нам нужно — повысить содержание эритроцитов в крови.

Чтобы добиться этого самого повышения содержания эритроцитов в крови, Эгберту оказалось достаточно всего один раз взглянуть на Эванджелину Пембери. Они встретились на пикнике. Эгберт как раз вытряхивал песок из тарелки с салатом, когда его взгляд упал на божественную девушку, которая давила ложечкой осу. И вот, впервые с тех пор, как Эгберт, пошатываясь, вышел из редакции «Еженедельного книгочея», он перестал ощущать себя чем-то таким, что кошка нашла на помойке, рассмотрела и отвергла как непригодное для кошачьего употребления. В одно мгновение его кровь превратилась в место массового купания эритроцитов. Миллионы их плескались и радостно кричали миллионам других, все еще стоящим на берегу: «Давайте скорее сюда! Кровь отличная!»

Через десять минут он пришел к заключению, что без Эванджелины Пембери его жизнь будет пустой и бесцельной.

И все же он колебался, прежде чем положить свое сердце к ее ногам. Судя по внешности и по его собственным ощущениям, с ней все было в порядке. Очень возможно, что с ней и в самом деле все было в порядке. Но прежде чем сделать предложение, он должен был убедиться в этом. Ему нужна была уверенность, что она вдруг не вытащит откуда-нибудь рукопись, скрепленную в левом верхнем углу розовой шелковой ленточкой, и не попросит его дать свое беспристрастное заключение. У всех есть своя идиосинкразия. Одни не выносят слизняков, другие — тараканов. Эгберт Маллинер не выносил романисток.

И вот теперь, когда они стояли рядом, освещенные луной, он спросил:

— Скажите, вы никогда не писали романов?

Вид у нее был удивленный.

— Романов? Нет.

— А рассказов?

— Нет.

Эгберт более не колебался. С ловкостью фокусника, извлекающего из шляпы кролика, он выложил перед ней свою душу. Он рассказал ей о своей любви, особенно подчеркнув такие ее качества, как глубина, чистота и прочность. Он просил, молил, закатывал глаза и сжимал ее маленькую ручку. А когда, сделав паузу, чтобы перевести дух, он узнал, что и она немало думала в том же направлении и чувствует к нему во многом то же, что он к ней, то чуть не свалился спиной в воду. Ему казалось, что чаша его радости полна.

Странно, как по-разному любовь влияет на людей. Эгберт на следующее утро отправился на поле для гольфа и послал мяч с одного удара в девять лунок подряд. А Эванджелина, ощутив в душе странное брожение, требующее немедленного выхода, уселась за псевдочиппендейловский столик, съела пять шариков зефира и начала писать роман.

Три недели солнца и озона в Беруош-Бэй так тонизировали нервную систему Эгберта, что его медицинский консультант со спокойной душой отпустил пациента в Лондон, к опасной работе. Эванджелина последовала за ним месяц спустя. В этот солнечный день она вошла в дом в 16 часов 15 минут, а в 16 часов 16 с половиной минут в дверь с огнем любви в глазах влетел Эгберт.

— Эванджелина!

— Эгберт!

Но мы не будем задерживаться на описании радостной встречи влюбленных. Мы перейдем к тому моменту, когда Эванджелина приподняла головку, покоившуюся на плече Эгберта, и хихикнула. Я предпочел бы сказать, что она рассмеялась. Но это был не смех. Это было хихиканье — смущенное, стыдливое, зловещее, от которого кровь в жилах Эгберта застыла от невыразимого ужаса. Он уставился на нее, а она снова хихикнула.

— Эгберт, — произнесла она, — я хочу тебе кое-что сказать.

— Да? — сказал Эгберт.

Эванджелина снова захихикала.

— Я знаю, это звучит очень глупо, — сказала она, — но...

— Да? Да?

— Эгберт, я написала роман.

В древнегреческой трагедии существовало незыблемое правило, согласно которому все события, способные вызвать слишком сильные жалость и страх у зрителя, не должны происходить у него на глазах. Таким образом, строго говоря, эту сцену

следовало бы опустить. Но у современной публики нервы крепче, чем у древних греков, и поэтому мы не будем скрывать от нее ничего.

Комната наконец перестала плыть перед помутившимся взором Эгберта Маллинера. Постепенно пианино, стулья, картины и стеклянный ящик с чучелами птиц встали на свои прежние места. Эгберт снова обрел дар речи.

— Ты написала роман? — повторил он тупо.

— Ну, я дошла до двадцать четвертой главы.

— Дошла до двадцать четвертой главы?

— А дальше будет легко.

— Дальше будет легко?

Наступило молчание, — его нарушало только прерывистое дыхание Эгберта. Затем Эванджелина возбужденно заговорила.

— Ах, Эгберт! — воскликнула она. — По-моему, кое-что у меня получилось совсем неплохо. Я сейчас тебе прочту.

Когда на нас обрушивается великая трагедия, как странно бывает оглянуться назад, на сравнительно безобидное начало наших несчастий и вспомнить свое тогдашнее ощущение: вот он, тягчайший удар Судьбы. В тот день Эгберт воображал, будто изведал всю глубину несчастья и страданья. Он сказал себе, что Эванджелина рухнула с пьедестала, на который он вознес ее. Она разоблачила себя как тайного автора романов. Дальше некуда, подумал он. Это конец света.

На самом деле — увы! — он попал пальцем в небо. Это так же походило на конец света, как первая капля дождя на грозу.

Его ошибка простительна. Ужасные мучения, которые Эгберт Маллинер испытал в тот день, более чем оправдывают его грубое заблуждение — будто он испил горькую чашу до дна. Слушая то, что она назвала «Разлукой», он не переставая корчился в муках. Его душа выворачивалась наизнанку.

Роман Эванджелины был ужасным, непристойным произведением. Не в том смысле, что он мог бы вызвать у кого-то краску стыда, но она перенесла на бумагу буквально все подробности той единственной любовной истории, которую ей довелось узнать, — своей собственной. Да, это был их роман — с начала и до конца, включая первый чистый поцелуй, а также ссору, случившуюся у них на второй день после помолвки. В своем романе она превратила эту ссору (которая в реальности длилась 23 минуты) в десятилетний разрыв, таким образом оправдав заглавие и не дав повествованию закончиться на двенадцатой странице. Что касается его предложения руки и сердца, то оно было вставлено в роман verbatim[1], и, слушая этот текст, Эгберт содрогнулся при мысли о том, что мог нести такую чудовищную ахинею.

Он поражался — как многие мужчины до и после него — тому, на что способны женщины. Лично он, слушая «Разлуку», чувствовал себя так, словно во время прогулки по Пиккадилли с него внезапно свалились штаны.

Он желал бы хоть частично выразить в словах обуревавшие его чувства, но Маллинеры славятся своим рыцарским благородством. Он полагал, что ему было бы несколько стыдно, если бы он ударил Эванджелину или прошелся по ее лицу в грубых башмаках, — но этот стыд был бы просто ничто перед тем, что он почувствовал бы, если бы высказал хоть одну тысячную того, что думал о «Разлуке».

— Блеск! — прохрипел он.

Ее глаза засияли.

— Ты действительно так считаешь?

— Класс!

(Он говорил односложно, так как это было легче.)

— Думаю, никто у меня этого не купит, — сказала Эванджелина.

Эгберт немного воспрянул духом. Да, роман она написала, это непреложный факт, но, может быть, его удастся скрыть.

— Поэтому я издам его за свой счет.

Эгберт ничего не ответил. Он уставился в пространство и попытался закурить, поднеся незажженную спичку к авторучке.

А Судьба мрачно захихикала, зная, что она лишь начала забавляться с Эгбертом.

Раз в несколько издательских сезонов происходит Событие. Без всякой видимой причины большое сердце Читающей Публики неожиданно вздрагивает, и она лезет в свой большой кошелек, чтобы выложить все деньги за какой-то роман, появившийся на свет Божий без предварительной рекламы, единственная рецензия на который (в

[1] Дословно (*лат.*).

«Газете торговцев спиртным») состоит из двух строчек и гласит, что его «можно читать».

Энергичная фирма «Мейнпрайс и Пибоди» выпустила первое издание «Разлуки» тиражом в 300 экземпляров. А когда издатели, к своему глубокому огорчению, поняли, что Эванджелина собирается купить только двадцать из них — почему-то Мейнпрайс, будучи оптимистом, считал, что она возьмет сто («Вы можете продать их друзьям»), — то весь их интерес к делу свелся к тому, чтобы следить за объявлениями о покупке макулатуры. Книгой, на которой они рассчитывали заработать, была «Падаль» Стультиции Бодуин; в связи с ней они заранее организовали газетную дискуссию на тему «Растущая угроза мотива секса в литературе: неужели этому не будет предела?».

Не прошло и месяца, как «Падаль» была предана забвению. Газетная дискуссия бушевала при полном равнодушии публики, которая совершила один из характерных для нее крутых поворотов и поняла, что секс ей надоел и хочется читать милые, добрые, высоконравственные, нежные истории чистой любви мужчин к юным девам, которые можно оставлять на виду, а не засовывать под диванные подушки каждый раз, когда слышишь шаги сына-подростка. А если говорить конкретно, то выбор пал на роман Эванджелины «Разлука».

Вот из-за таких-то быстрых и непредсказуемых перемен в настроении читающей публики издатели и начинают втыкать себе в волосы перья, а высокоодаренные юные романисты бегут в фирмы по оптовой бакалейной торговле и осведомляются, открыта ли еще вакансия младшего клерка. До самого момента Великого Поворота единственной надежной картой был секс. Портфели издательств лопались от жарких историй о Мужчинах, Которые Делали Это, и о Женщинах, Которым Делать Этого Не Следовало, Но Которые Попробовали. А теперь, без всякого предупреждения, спрос на все это упал до нулевой отметки, и практически единственное, что могли сделать читатели, дабы утолить возникшую у них жажду простого и чистого, — это с боем добывать «Разлуку».

Они бились за нее, как львы. Издательство «Мейнпрайс и Пибоди» гудело, точно улей. Печатные станки работали день и ночь. От Шотландии до Корнуолла стоял крик жаждущих «Разлуки». В каждом доме Западного Илинга на этажерке — рядом с аспидистрой и семейным альбомом — лежала «Разлука». Священники посвящали роману проповеди, пародисты его пародировали, брокеры сидели дома и обливались слезами над его страницами вместо того, чтобы ходить на ревю[1]. В прессе появилось множество сообщений о том, что из романа будет сделана пьеса, музыкальная комедия и киносценарий...

И на гребне этой волны, взволнованная, но счастливая, пребывала Эванджелина.

А Эгберт? Ах, это Эгберт барахтается там, внизу? Будем мы еще беспокоиться об Эгберте!

Зато сам Эгберт очень даже беспокоился. Сказать, что он недоумевал, значит не сказать о состоянии его духа ничего. Он был ошарашен, ошеломлен и потрясен. Он смутно сознавал, что более 100 000 совершенно не знакомых ему людей упиваются самыми священными тайнами его личной жизни, а точный текст его предложения руки и сердца запечатлен в более чем 100 000 душ. Но если не считать ощущения, что его вымазали в смоле и вываляли в перьях при стечении многочисленной и живо заинтересованной публики, он, можно сказать, и не волновался по этому поводу. По-настоящему его тревожило другое — перемена в Эванджелине.

Человеческая психика легко привыкает к успеху. Первая фаза, когда слава еще внове и смущает, у Эванджелины прошла быстро. То, как она робела и запиналась, отвечая на вопросы первого репортера, отошло в область воспоминаний. По прошествии двух недель она беседовала с прессой с непринужденностью крупного политика и такими словами парировала вопросы молодых людей с блокнотами, что им приходилось потом рыться в редакционном словаре Уэбстера. Она говорила им, что ее искусство скорее ритмично, чем архитектурно, и что единственное течение, к которому она, пожалуй, склоняется, — сюрреализм.

Она высоко парила над прозаическими интересами Эгберта. Когда он предложил съездить в Эддингтон поиграть в гольф, она извинилась и отказалась. Ей нужно отвечать на письма. Читатели постоянно пишут ей и рассказывают, как им помогла «Разлука», а с читателями следует быть вежливой. К тому же автографы. У нее просто нет ни минуты.

[1] В описываемое время так называлось эстрадное представление, состоящее из музыкальных, танцевальных и разговорных номеров. (*Прим.перев.*)

Он пригласил ее на любительский чемпионат по гольфу. Она покачала головой. На это число, сказала она, у нее назначена лекция на тему «Некоторые тенденции современной литературы» для «Дочерей литературного и прогрессивного клуба «Минерва» в Восточном Далвиче.

Эгберт мог бы выдержать все это, ибо, несмотря на ее несерьезное отношение к любительскому чемпионату, он все еще горячо любил ее. Но тут в его жизнь вплыла, словно облако ядовитого газа, зловещая фигура Хендерсона Бэнкса-младшего.

— Кто, — подозрительно спросил он в один прекрасный день, когда она уделила ему десять минут перед выступлением перед «Объединенными матерями Манчестера» на тему: «Роман: должен ли он поучать?», — кто этот мужчина, с которым я видел тебя на улице?

— Это не мужчина, — ответила Эванджелина. — Это мой литературный агент.

Так оно и оказалось. Хендерсон Бэнкс-младший теперь руководил делами Эванджелины. Этот социально опасный субъект был сладок, как патока, носил очки в черепаховой оправе и, разговаривая со своими клиентками, просто ворковал. У него было смуглое романтическое лицо, гибкая фигура, один из этих жутких шейных платков, которые дважды оборачиваются вокруг шеи, и манера начинать речь словами «дорогая леди». Короче, ни один жених и близко не подпустил бы подобного типа к своей невесте. Если уж Эванджелина не могла обойтись без литературного агента, то Эгберт предпочел бы одного их тех дородных агентов, что жуют недокуренную сигарету и входят в святилище редактора пыхтя и отдуваясь.

По лицу Эгберта пронеслась хмурая тень ревности.

— По-моему, это кошмар, — неодобрительно заметил он.

— Мистер Бэнкс великолепно знает свое дело, — парировала Эванджелина.

— Н-да? — протянул Эгберт с явной иронией.

И на этом пока что была поставлена точка.

Но ненадолго. В следующий понедельник утром Эгберт позвонил Эванджелине и пригласил ее позавтракать.

— К сожалению, — сказала Эванджелина, — меня уже пригласил на завтрак мистер Бэнкс.

— А? — сказал Эгберт.

— Да, — сказала Эванджелина.

— А-а! — сказал Эгберт.

Через два дня Эгберт позвонил Эванджелине и пригласил ее пообедать.

— К сожалению, — сказала Эванджелина, — я обедаю с мистером Бэнксом.

— А-а! — сказал Эгберт.

— Да, — сказала Эванджелина.

— А-а... — сказал Эгберт.

Через три дня после этого Эгберт появился в квартире Эванджелины с билетами в театр.

— К сожалению... — начала Эванджелина.

— Не продолжай, — сказал Эгберт. — Я попробую угадать. Ты идешь в театр с мистером Бэнксом?

— Да, иду. Он достал билеты на премьеру пьесы Чехова «Шесть трупов в поисках гробовщика».

— Так он достал?

— Да, достал.

— Ах, достал!

— Да, достал.

Эгберт сделал пару кругов по комнате, и на некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая только его громким зубовным скрежетом. Затем он заговорил.

— К вопросу об этой заразе — Бэнксе, — начал Эгберт. — Я ни в коей мере не против того, чтобы у тебя был литературный агент. Если ты хочешь писать романы — дело хозяйское. И раз уж тебе необходимо их писать, я полагаю, тебе нужен литературный агент. Но — и вот теперь я прошу следить за моей мыслью очень внимательно — я не вижу необходимости в услугах такого литературного агента, который нежно шепчет тебе что-то на ушко, который не только называет тебя «дорогая леди», но явно считает, что в интересах дела ему надо с тобой ежедневно завтракать, обедать и ходить в театр.

— Я...

Эгберт властным жестом остановил ее.

— Я еще не кончил, — сказал он. — Никто, — продолжал он, — не может обвинить меня в узости взглядов. Если бы Хендерсон Бэнкс-младший не так сильно по-

ходил на персонажа исторической серии «Знаменитые любовники», я бы ничего не имел против. Если бы голос Хендерсона Бэнкса-младшего при деловом разговоре с клиенткой хотя бы несколько меньше напоминал призывную трель соловья, я бы смолчал. Но его вид и его голос именно таковы, как я описал. И вот, принимая во внимание этот неоспоримый факт, а также то, что ты помолвлена со мной, я считаю своим долгом рекомендовать тебе как можно реже видеться с этим нежным созданием. По чести сказать, я бы настоятельно советовал вообще отказаться от этих встреч. Если он желает обсуждать с тобой дела, пусть звонит по телефону. И я надеюсь, что он ошибется номером.

Во время этой речи Эванджелина встала и теперь стояла перед Эгбертом, сверкая глазами.

— Вот как? — сказала она.

— Вот так, — сказал Эгберт.

— Разве я крепостная? — вопросила Эванджелина.

— Разве ты кто? — не понял Эгберт.

— Крепостная. Раба. Пеон. Существо, обязанное исполнять малейшую твою прихоть.

Эгберт подумал.

— Нет, — ответил он, — я бы не сказал.

— Нет, — повторила Эванджелина. — И я не давала тебе права диктовать мне выбор друзей.

Эгберт вытаращил глаза.

— То есть после всего, что я сказал, ты намерена и дальше позволять этому пошлому пижону увиваться вокруг тебя?

— Намерена.

— Ты серьезно хочешь по-прежнему водить дружбу с этим отвратным типом?

— Хочу.

— Ты в самом деле решительно отказываешься прогнать от себя эту ошибку природы?

— Отказываюсь.

— Ну-у! — сказал Эгберт.

Его голос зазвучал умоляюще.

— Но, Эванджелина, это же я, твой Эгберт.

Девушка рассмеялась надменным, ироническим смехом.

— Разве? — сказала она. — Ты воображаешь, что мы все еще помолвлены?

— Разве нет?

— Конечно нет. Вы оскорбили меня в лучших чувствах и показали себя злобным тираном, и я рада, что вовремя распознала вас. Прощайте, мистер Маллинер!

— Но послушай... — начал Эгберт.

— Ступайте! — воскликнула Эванджелина. — Вот ваша шляпа.

Она повелительно указала ему на дверь. Секундой позже дверь за ним с шумом захлопнулась.

Эгберт Маллинер мрачно вошел в лифт. Затем, еще более мрачно, он зашагал по Слоун-стрит. Было ясно: его мечты разбиты. И созерцая руины своего воздушного замка, он рассмеялся горьким смехом.

Что ж, у него оставалась работа.

В редакции «Еженедельного книгочея» шушукались о том, что с Эгбертом Маллинером произошла удивительная перемена. В нем появилась сила и твердость. Редактор — который со времен болезни Эгберта относился к нему с трогательной гуманностью, разрешая сидеть в редакции и писать короткие заметки о новых книгах, в то время как других, более крепких, он посылал на интервью с романистками, — теперь сделал его своей правой рукой.

Когда потребовалось дать колонку под названием «Мертл Бутл среди своих книг», то в мрачную пустыню Блумсбери редактор послал именно Эгберта. Когда юный Юстас Джонсон (новичок, которому нельзя было поручать такое опасное задание) после двадцатиминутной беседы со знаменитой секс-романисткой Лорой Ла Мотт-Гриндл начал ходить кругами и биться головой об решетку Риджентс-парка, то на прорыв бросили Эгберта. И Эгберт благополучно вернулся обратно, изнуренный, но невредимый.

Именно в этот период он в один и тот же день взял интервью у Мейбелл Грейнджерсон и миссис Гул-Плэнк — подвиг, о котором в редакции «Еженедельного книгочея» до сих пор говорят, почтительно понизив голос. И не только в редакции «Книгочея». По сей день все литературные редакторы, когда им надо ободрить слабых духом, робеющих и готовых отступить, бросают клич: «Вспомните Маллинера!»

— Разве Маллинер испугался? — говорят они. — Разве Маллинер дрогнул?

И вот, когда для большого специального рождественского номера понадобилась «Беседа с Эванджелиной Пембери», редактор прежде всего подумал об Эгберте. Он послал за ним.

— А, Маллинер!

— Да, шеф?

— Слышали анекдот? — сказал редактор. — Встречаются ирландец, шотландец и еврей...

Потом, когда с формальностями, необходимыми при общении редактора с его подчиненными, было покончено, он перешел к делу.

— Маллинер, — сказал он в своей добродушной отеческой манере, за которую его так любил весь штатный персонал, — я начну с того, что в вашей власти сделать большое дело для родной газеты. Однако сразу же обязан сказать вам, что вы вправе отказаться. Вы только недавно поправились, и если чувствуете, что не в силах выполнить это задание, я все пойму. Но дело в том, что для нашего специального рождественского выпуска необходима «Беседа с Эванджелиной Пембери».

Увидев, что молодого человека передернуло, он сочувственно закивал.

— Вы считаете, что вам это не под силу? Так я и думал. Говорят, она хуже всех. Надменная и говорит о возвышенном. Ну ладно. Я, пожалуй, испробую молодого Джонсона. Я слышал, что он совсем выздоровел и рвется проявить себя. Да. Я пошлю Джонсона.

Эгберт Маллинер снова стал самим собой.

— Нет, шеф, — сказал он. — Я пойду. Решено.

— Пойдете?

— Пойду.

— Нам требуется полтора столбца.

— У вас будут полтора столбца.

Редактор отвернулся, чтобы смахнуть скупую мужскую слезу.

— За дело, Маллинер, — произнес он. — Ни пуха ни пера!

Целая буря противоречивых чувств бушевала в душе Эгберта Маллинера, когда он нажимал на знакомую кнопку звонка, которую он уже и не чаял нажать. Со времени их разрыва он раза два видел Эванджелину, но только издали. Теперь ему предстояло встретиться с ней лицом к лицу. Рад он был или не рад? Он и сам не знал. Он знал только, что по-прежнему любит ее.

Он вошел в гостиную. Как уютно здесь, как все проникнуто ее присутствием! Вот диван, на котором он так часто сидел, обвив рукой ее талию...

Звук шагов за его спиной напомнил ему о том, что пришло время надеть маску. Изобразив на лице жесткую улыбку интервьюера, он обернулся.

— Добрый день, — сказал он.

Она похудела. То ли на нее так подействовал успех, то ли она сидела на трехнедельной диете. На ее прекрасном лице лежала печать заботы и, если он не ошибался, тревоги.

Ему почудилось, что в ее глазах блеснула радость, но он сохранил официальную отчужденность.

— Добрый день, мисс Пембери, — сказал он. — Я представляю «Еженедельного книгочея». Насколько я знаю, мой редактор связался с вами и вы любезно согласились побеседовать на темы, интересующие наших читателей, — о вашем творчестве и ваших идеалах.

Она закусила губу.

— Прошу садиться, мистер ... ?

— Маллинер, — сказал Эгберт.

— Мистер Маллинер, — сказала Эванджелина. — Садитесь, пожалуйста. Да, я буду рада ответить на все ваши вопросы.

Эгберт сел.

— Вы любите собак, мисс Пембери? — спросил он.

— Я их обожаю, — ответила Эванджелина.

— Потом, если позволите, я хотел бы, — сказал Эгберт, — сфотографировать, как вы ласкаете собаку. Наши читатели любят эти живые черточки, вы понимаете?

— Да, конечно, — сказала Эванджелина. — Я пошлю за собакой. Я люблю собак... и цветы.

— Вы, конечно, счастливее всего среди своих цветов?

— В целом, да.

— Вам иногда кажется, что они — души невинных деток, умерших в младенчес-

тве?

— Часто.

— А теперь, — сказал Эгберт, слюнявя карандаш, — не расскажете ли о ваших идеалах? Как ваши идеалы?

Эванджелина заколебалась.

— О, с ними все хорошо.

— Роман, — сказал Эгберт, — называли одним из величайших орудий нравственного совершенствования в нашем столетии. Как вы к этому относитесь?

— О да.

— Конечно, есть романы и романы.

— О да.

— Вы думаете написать новый роман после «Разлуки»?

— О да.

— Не будет ли нескромно осведомиться, мисс Пембери, на какой стадии находится работа над ним?

— Ах, Эгберт! — сказала Эванджелина.

Существуют такие высказывания, от которых холодное достоинство тает, как лед в августе, обида исчезает без следа и млеко милосердия изливается в раненую душу таким бурным потоком, словно прорвалась плотина. Слова «Ах, Эгберт!», особенно если они сопровождаются слезами, занимают одно из видных мест среди таких высказываний.

Сказав «Ах, Эгберт!», Эванджелина сопроводила это целой Ниагарой слез. Она упала на диван и в приступе отчаяния стала жевать подушку. Она глотала воздух, словно щенок бульдога, давящийся куском бифштекса. В одно мгновение суровая сдержанность Эгберта Маллинера рухнула, словно у нее подкосились ноги. Он бросился к дивану. Он жал ей руку. Он гладил ее по голове. Он сжимал ее талию. Он трепал ее по плечу. Он массировал ей позвоночник.

— Эванджелина!

— Ах, Эгберт!

Единственное, что несколько отравляло счастье Эгберта Маллинера, когда он, стоя на коленях рядом с любимой, бормотал слова утешения, — мрачная уверенность в том, что Эванджелина не преминет перенести всю эту сцену, вместе с диалогом, в свой следующий роман. Именно по этой причине он по возможности редактировал свои реплики.

Но, взявшись за дело по-настоящему, он совсем забыл о благоразумии. Она приникла к нему, жалобно шепча его имя. К тому моменту, как Эгберт кончил свой монолог, он успел наговорить около двух тысяч слов такого рода, что, услышав их, Мейнпрайс и Пибоди закричали бы от радости на всю редакцию.

Его это решительно не беспокоило. Ну и что? Он высказался, а если его высказывания будут продаваться тиражом в 100 000 экземпляров — что ж, пусть продают 100 000 экземпляров. Теперь, когда Эванджелина была в его объятиях, он спокойно отнесся бы даже к перспективе издания на всех языках мира, включая скандинавские.

— Ах, Эгберт! — произнесла Эванджелина.

— Любимая!

— Ах, Эгберт, у меня такая беда!

— Мой ангел! Что такое?

Эванджелина привстала и попыталась вытереть слезы.

— Это мистер Бэнкс.

Лицо Эгберта Маллинера потемнело. Он грозно нахмурился. Он сказал себе, что мог бы это предвидеть. Человек, носящий платок, который дважды оборачивается вокруг шеи, неизбежно должен был рано или поздно нанести гнусное оскорбление беззащитной женщине. Прибавьте сюда очки в черепаховой оправе — и перед вами практически дьявол в человеческом облике.

— Я убью его, — сказал Эгберт. — Я давно должен был это сделать, да как-то все откладывал. Что он сделал? Он приставал к тебе со своими гнусными ухаживаниями? Неужели этот сатир в черепаховой оправе пытался тебя поцеловать?

— Он железно договорился!

Эгберт заморгал.

— Что-что?

— Железно договорился. В журналах. Он договорился, что я напишу три сериала и уйму рассказов.

— То есть он устроил тебе контракты?

Эванджелина, вся в слезах, кивнула.

— Да. По-моему, он железно договорился почти со всеми. А они стали слать мне чеки с авансом, сотни чеков. Что же мне делать? Ах, что же мне делать!

— Получи деньги по этим чекам, — ответил Эгберт.

— А потом?

— Потрать эти деньги.

— Но потом?

Эгберт поразмыслил.

— Да, это, конечно, досадно, — сказал он, — но потом, я полагаю, тебе придется все это написать.

Эванджелина зарыдала, как кающаяся грешница.

— Но я не могу! Я уже которую неделю пытаюсь хоть что-то написать и не могу. И никогда не смогу. Я не хочу ничего писать. Я терпеть не могу писать. Я не знаю, о чем писать. Я хочу умереть.

Она прижалась к нему.

— Сегодня утром я получила от него письмо. Он только что железно договорился еще с двумя журналами.

Эгберт нежно поцеловал ее. До того как стать младшим редактором, он тоже был автором и все понимал. Тонкую душу художника ранят не авансы — ее ранит необходимость работать.

— Что мне делать? — всхлипнула Эванджелина.

— Брось это дело, — сказал Эгберт. — Эванджелина, ты помнишь, как ты в первый раз взяла в руки клюшку для гольфа? Меня там не было, но держу пари, что мяч пролетел около пятисот ярдов и ты с удивлением подумала: почему это гольф считают трудной игрой? А потом целую вечность у тебя ничего не получалось. И вот постепенно, после нескольких лет мучительного труда ты стала приобретать необходимую сноровку. То же самое и с писательством. Первый удар у тебя получился — да еще как! Теперь же, если ты хочешь продолжить, тебе предстоит мучительный труд. К чему это? Брось это дело.

— А деньги вернуть?

Эгберт покачал головой.

— Нет, — твердо ответил он. — Зачем такие крайности? Вцепись в них мертвой хваткой. Зажми их в обеих руках. Закопай их в саду и пометь это место крестом.

— А рассказы? Кто же их напишет?

Эгберт нежно улыбнулся.

— Я, — ответил он. — Пока я не прозрел, я тоже писал слюнявую муру вроде твоей «Разлуки». Когда нас будут венчать, я скажу тебе, если я правильно помню текст: «И наделяю тебя всем моим земным добром». В это добро входят три романа — я так и не нашел дурака, который бы их издал, — и по крайней мере двадцать рассказов, которых не брал ни один редактор. Я с радостью отдаю их тебе. Первый роман можешь получить уже сегодня вечером, а дальше нам остается только спокойно сидеть и смотреть, как Мейнпрайс и Пибоди продают полмиллиона экземпляров.

— Ах, Эгберт! — воскликнула Эванджелина.

— Эванджелина! — воскликнул Эгберт.

Перевод В. РЯПОЛОВОЙ

О том, как бросают курить

Среди мыслителей, каждый вечер собирающихся в «Привале рыбака», не всегда царит гармония. Мы люди пылкие, а пылкие люди неизменно спорят друг с другом. Поэтому в нашей мирной гавани можно услышать звон голосов, стук кулака, визг: «Нет, разрешите!..»; баритон: «Должен вам сказать...» и многое другое.

К счастью, мистер Маллинер всегда с нами, а чары его личности усмиряют любую бурю. Скажем, сегодня, когда я пришел туда, он разнимал Кружку Эля и Лимонного Сока.

— Господа, господа, — говорил он мягким голосом посланника, — зачем вам спорить?

Кружка указал сигарой на Сока.

— А что он говорит?

— Умные вещи.

— Что-то не слышал!

— Я говорю, что курить — вредно. Так оно и есть.

— Нет.

— Есть. Вот я курил, курил — и заболел. Щеки ввалились, лицо пожелтело, глаза погасли, словом — настоящий скелет. Бросил — и пожалуйста!

— Что «пожалуйста»? — спросил Кружка.

Но Сок, на что-то обидевшись, встал и исчез в ночи, а мистер Маллинер с облегчением вздохнул.

— Я рад, что он ушел, — сказал он. — У меня твердые взгляды. Табак — величайшее благо, доводы эти глупы. Как легко их опровергнуть! Хорошо, две капли никотина мгновенно убивают собаку — так не капайте! Кто вас просил?

Он попыхтел сигарой, помолчал, и его приятное лицо стало очень серьезным.

— Бросать курение не только глупо, — сказал он. — Это опасно. Просыпается бес, живущий в нас, и мы становимся угрозой для общества. Никогда не забуду, что случилось с моим племянником. Кончилось-то все хорошо, но сперва...

— Те из вас (сказал мистер Маллинер), кто вращается среди художников, знают имя и картины моего племянника Игнатия. Слава его неуклонно растет. Однако во времена, о которых я расскажу, он еще не был так известен, заказы случались реже, и в свободные дни он играл на укелеле[1], если не делал предложения прекрасной Гермионе, дочери сэра Герберта Росситера и леди Росситер, Кенсингтон, Скэнтлбери-сквер, 3. Скэнтлбери-сквер очень близко от его мастерской, так что у него вошло в привычку завернуть за угол, сделать предложение, получить отказ, вернуться, поиграть на своем укелеле, раскурить трубку и предаться размышлениям о том, почему Гермиона его отвергает.

Бедность? Нет, он не беден.

Сплетни? Нет, он чист.

Внешность? Он хорош собой, а в некоторых ракурсах — красив, и вообще, если ты выросла рядом с такими мордами, как Сиприан и Джордж, и не тому обрадуешься. Сиприан, тощий и бледный, был критиком; Джордж, толстый и розовый, развил в себе редкую прыть, которая помогала ему непрестанно занимать деньги.

Игнатию пришло в голову, что кто-то из них может знать причину. Как-никак они часто видели сестру, и она могла обмолвиться, почему отвергает любовь замечательного человека. Итак, он пошел к Сиприану — у того своя квартира — и прямо спросил, в чем дело. Сиприан выслушал его, поглаживая тонкой рукой левую бакендбарду.

— Страдаем от неразделенной любви? — уточнил он.

— Страдаем, — ответил мой племянник.

— Не понимаем, в чем дело?

— Не понимаем.

— Теряемся в догадках?

— Вот именно.

— Что ж, если мы не боимся истины, — сказал Сиприан, переходя к правой бакенбарде, — я случайно знаю причину. Ты напоминаешь ей Джорджа.

Игнатий попятился и закричал:

— Джорджа?!

— Да.

— Чушь какая! Человек не может быть похож на Джорджа.

— А вот ты похож.

Игнатий побежал в «Козла и бутылку» немного утешиться и тут же увидел другого брата Гермионы.

— Привет! — сказал Джордж. — Привет, привет, привет!

— Джордж, — сказал Игнатий, — ты часом не знаешь, почему твоя сестра меня не любит?

— Как же, знаю, — ответил Джордж.

— Знаешь?

— Да.

— Почему же?

— Сказать прямо?

— Говори.

— Ну ладно, только одолжи мне фунтик до пятницы.

— Нет.

---

[1] Гавайская гитара. (*Прим.ред.*)

— Не одолжишь?
— Ни в коем случае. Вернемся к нашей теме. Почему Гермиона мне отказывает?
— Потому, — отвечал Джордж, — что ты похож на Сиприана.
Игнатий пошатнулся.
— На Сиприана?
— Она так считает.
Вернувшись к себе, Игнатий стал размышлять. Чтобы облегчить себе дело, он составил такой список:

Джордж:	Сиприан:
Похож на свинью.	Похож на верблюда.
Прыщи.	Бакенбарды.
Ничего не дёлает.	Пишет об искусстве.
Говорит: «Привет!»	Говорит «мы», как врач какой-нибудь.
Жутко хохочет.	Мерзко хихикает.
Жрет.	Питается фруктами.
Рассказывает анекдоты.	Читает стихи.
Руки — толстые.	Руки — тонкие.

Тайна оставалась тайной. Он нахмурился; и вдруг прозрел:

Курит как паровоз.	К. как п-з.

Вот она, разгадка! Возможно ли?.. Да, конечно.
Любовь к Гермионе, звезда его жизни, стала лицом к лицу с другой любовью. Неужели надо поступиться трубкой? Способен ли он на эту жертву? Он заколебался.
И тут все одиннадцать фотографий Гермионы Росситер подбодряюще улыбнулись ему. Он решился. Мягко вздохнув, как вздыхает русский крестьянин, бросая сына волкам, бегущим за санями, он вынул трубку изо рта, взял табак, взял сигары, аккуратно все завернул и отдал приходящей служанке для ее мужа — человека очень достойного, но небогатого.
Игнатий Маллинер бросил курить.

Те, кто бросал курить, прекрасно знают, что поначалу муки не так уж велики, потому что тебя распирает гордыня, похожая на веселящий газ.
Весь следующий день Игнатий смотрел со снисходительной жалостью на курящих людей, ощущая при этом то, что ощущает святой аскетического типа. Ему хотелось сказать заблудшим, что табак содержит окись углерода, которая, входя в непосредственный контакт с красными кровяными шариками, лишает их способности поставлять тканям кислород. А пиридин, а раздражение слизистых оболочек? Да что там, курение — пагубная привычка, от которой сильный человек может отказаться, как только захочет.
Следующая фаза началась тогда, когда он вернулся в мастерскую.
Завтрак художника (две сардинки, остаток ветчины, бутылка пива) сменился странной пустотой, какую испытал Гиббон, закончив «Упадок и разрушение Римской империи». Жизнь лишилась смысла, и, мыкаясь по мастерской, мой племянник думал, что бы ему такое сделать. Иногда он пускал небольшие пузыри, иногда — лязгал зубами. Трубки между ними не было.
Снедаемый сумеречной тоской, он взял свое укелеле и поиграл песню «Старик-река», но лучше ему не стало. Однако он открыл причину: какая может быть радость, если ты не творишь добра?
Мир печален и угрюм, это ясно. Что отсюда следует? Если мы предадимся наслаждениям, мы увидим, что они пусты. Ветчина утратила свои чары, укелеле — свою прелесть. Конечно, есть трубка — но мы не курим. Так что остается добро. Короче говоря, к трем часам Игнатий Маллинер достиг третьей фазы — всерастворяющей жалости, которая и погнала его на Скэнтлбери-сквер.
Шел он туда не для того, чтобы жениться на Гермионе Росситер. Нет, из отдельных замечаний он давно вывел, что хозяйка дома хотела бы получить ее портрет, но оставался глух. Любовь — это любовь, но и художник — это художник, он не любит писать даром. До сей поры художник побеждал.
Теперь все изменилось. Коротко, но выразительно Игнатий сообщил леди Росситер, что больше всего на свете хочет написать ее дочь. За такую великую честь он, естественно, денег не возьмет, а потому — ждет их с Гермионой завтра в одиннадцать утра.
Он чуть не предложил написать и саму леди Росситер в вечернем платье с бель-

гийским грифоном, но удержался, зато потом, на улице, об этом горевал.

Снедаемый угрызениями, он решил пригласить Сиприана, чтобы тот высказал мнение о новой картине, а после отыскать дорогого Джорджа и одолжить ему денег. Через десять минут он был у критика.

— Чего, чего мы хотим? — недоверчиво переспросил тот.

— Мы хотим, — повторил Игнатий, — чтобы ты пришел ко мне завтра с утра и сказал, что ты думаешь о новой картине.

— Мы не шутим? — уточнил Сиприан, которого приглашали нечасто, а выгоняли из мастерских — очень много раз.

— Что ты, что ты! — заверил его Игнатий. — Мы хотим узнать мнение знатока.

— Значит, буду в одиннадцать, — сказал Сиприан.

И племянник мой побежал в «Козла и бутылку».

— Джордж! — воскликнул он там. — Мой дорогой! Я ночь не спал, думал, есть ли у тебя деньги. Если нет, возьми у меня.

Глаза над пивной кружкой просто полезли на лоб. Побледневший Джордж опустил кружку, но поднял руку.

— Все, — сказал он. — Бросаю пить. Слуховые галлюцинации.

Игнатий ласково похлопал его по плечу.

— Нет, мой дорогой, — ответил он, — это тебе не мерещится. Можешь верить своим ушам.

Джордж поверил им (заметим, что они были большими и красными), но все же не успокоился.

— Ты предлагал мне денег?

— Да.

— Денег???

— Вот именно.

— Я не писал, я ничего не говорил, а ты?..

— Ну, конечно!

Джордж глубоко вздохнул и снова поднял кружку.

— Вот теперь пишут, чудес не бывает, — сказал он. — Какая чушь! Что там — бред, — сурово прибавил он. — Сколько, фунт?

Игнатий укоризненно поднял брови.

— Так мало? — мягко удивился он.

Джордж побулькал и спросил:

— Пять?

Игнатий с мягкой укоризной покачал головой.

— Оставь эти мелочи, Джордж, — посоветовал он. — Бери шире. Мысли масштабней.

— Неужели десять?

— Я бы сказал, пятнадцать, — поправил его мой племянник. — Если не больше.

— Вот это да!

— Что ж, прекрасно. Приходи завтра ко мне с утра, так... в одиннадцать.

Сияя благожелательностью, он похлопал Джорджа по спине, а через несколько часов, ложась в постель, сказал самому себе: «Сотворивший добро заслужил ночной отдых».

Как все, кто живет напряженной жизнью духа, Игнатий спал крепко. Обычно он, проснувшись, долго лежал в полузабытьи, пока его не пробуждал манящий запах жареной грудинки. Однако в то утро, открыв глаза, он ощутил необычайную резвость. Иными словами, он достиг той фазы, когда пациент начинает нервничать.

Исследовав свои чувства, он понял, что нервы разгулялись. Кошка что-то свалила в коридоре, он взвился и крикнул было служанке, миссис Перкинс: «Да уберите вы ее!», когда она (служанка, не кошка) появилась пред ним, сообщая, что готова вода для бритья. Взвившись уже к потолку белым коконом простынь, он трижды перевернулся в воздухе и опустился на пол, дрожа, как перепуганный мустанг. Сердце его завязло в гландах, глаза совершенно вылезли.

Когда разум вернулся на свой престол, Игнатий тихо заплакал, но вспомнил, однако, что он — Маллинер, побрел в ванную, встал под душ и немного очухался. Помог и обильный завтрак, так что он совсем пришел в себя, но тут заметил, что нет трубки, и снова впал в меланхолию.

Долго сидел он, закрыв лицо руками, впивая все скорби мира. Вдруг что-то изменилось. Минуту назад он жалел людей так, что сердце лопалось, — и вот он ощутил, что ему на них наплевать; мало того, он терпеть их не может. Зайди к нему кошка, он бы пнул ее ногой. Зайди миссис Перкинс, он бы шлепнул ее муштабелем. Но кошка ушла отдохнуть на помойку, миссис Перкинс пела на кухне псалмы. Игнатий

кипел, как закрытый котел. Невесело усмехаясь, он поджидал, не появится ли живое существо.

Именно тогда, словно верблюд в оазисе, в дверях показался Сиприан.

— Здравствуй, дорогой мой, — заметил он. — Можно войти?

— Давай входи, — отвечал Игнатий.

При виде бакенбард, а главное — черного носка, который дважды обвивал шею критика, вдвое умножая его мерзостность, племянник мой впал в необыкновенное, болезненное волнение, словно тигр, завидевший служителя с грудой мяса. Медленно облизавшись, он мрачно глядел на Сиприана. Над постелью висел дамасский кинжал в роскошных ножнах. Он снял его, вынул и попробовал о палец.

Критик тем временем рассматривал картину сквозь монокль в черной оправе. Подвигав вдобавок головой и поглядев сквозь пальцы, он издал те специфические звуки, которые издают критики.

— Мда-ммм, — проговорил он. — Хммм... Хрффф! Есть ритм... да, ритм, ничего не скажешь... но можем ли мы признать, что это — искусство? Нет, не можем.

— Нет? — переспросил Игнатий.

— Нет и нет, — подтвердил Сиприан, поигрывая левой бакенбардой. — Где жизнь? Где налет вечности?

— Нет? — уточнил Игнатий.

— Ни в малейшей мере.

Поиграв с другой бакенбардой, Сиприан прикрыл глаза, откинул голову, задвигал пальцами и что-то прогудел, как бы понукая лошадь.

— Жизнью поступаться нельзя, — сообщил он. — Палитра — это оркестр, художник — дирижер. Краска должна быть плотной, должна быть весомой. Фигура на холсте должна дышать, что там — бодрствовать. Тогда и возникнет *жизнь*. Что до налета вечности...

Может быть, он знал, что о нем сказать, но его прервал тот звук, какой издает леопард, подкравшийся к добыче. Обернувшись, он увидел, что художник идет к нему, криво и неприятно улыбаясь. Глаза его сверкали, в правой руке он сжимал клинок с искусно украшенной рукоятью.

Критик, побывавший во многих мастерских, приучился действовать быстро. Мгновенно увидел он, что дверь закрыта, а между ним и нею — хозяин, и мгновенно юркнул за мольберт. Несколько минут художник и критик метались по обе стороны мольберта, и только с двенадцатого выпада Сиприан был ранен в руку.

Другой бы сдался, потерял голову — другой, но не он. Многоопытный критик два дня тому назад буквально измотал одного из лучших анималистов, больше часу гонявшегося за ним с настоящей дубинкой.

Сохранив спокойствие и обретя дополнительную резвость, он перескочил в шкаф, как истинный стратег, которым и должен быть критик, если он общается с художниками.

Игнатий покачнулся и не сразу обрел равновесие. Выпутавшись из циновки, он бросился к шкафу. Ручка не поддавалась. Сиприан держался, пока его враг не отступил.

Отступив, художник побрел обратно, взял укелеле, поиграл «Старика» и как раз дошел до «Никто не скажет — видно, что-то знают», когда дверь отворилась и в ней появился Джордж.

— Привет! — заметил он.

— Р-р-р, — ответил Игнатий.

— Что значит «р»? — осведомился гость.

— То и значит, — отвечал хозяин.

— Я насчет денег.

— Р-р-р!

— Двадцать фунтов, помнишь? Лежу сегодня и думаю: «А почему не двадцать пять?» Такая круглая цифра.

— Р-р-р!

— Что ты заладил «р» да «р»?

Игнатий гордо выпрямился.

— Моя мастерская, — сказал он. — Что хочу, то говорю.

— Конечно, старик, конечно, — заторопился Джордж. — Эй, привет! Шнурок развязался. Завяжу-ка я его, а то и упасть можно. Прости, минуточку.

Он наклонился, Игнатий примерился получше, раскачал правую ногу и смело метнул ее вперед.

Тем временем леди Росситер и дочь ее Гермиона, завернув за угол, подошли к

дверям мастерской. На лестнице они остановились, ибо мимо что-то пролетело, потюленьи пыхтя.

— Что это? — вскричала леди Росситер.

— Да, странно, — согласилась Гермиона. — Такое тяжелое... Надо спросить мистера Маллинера, не уронил ли он чего-нибудь.

Когда они вошли в мастерскую, Игнатий стоял на одной ноге и потирал пальцы другой. По рассеянности, присущей художникам, он забыл, что еще в домашних туфлях. Однако, несмотря на боль, вид у него был такой, какой бывает у человека, поступившего правильно.

— Доброе утро, — сказала леди Росситер.

— Доброе утро, — сказала Гермиона.

— Доброрр утррррр, — сказал Игнатий, с отвращением глядя на них. Теперь он понял, что хуже всех в семье — не братья, а именно сестра, и быстротечная радость сменилась горчайшей скорбью. Мы не смеем вообразить, что случилось бы, наклонись в этот миг Гермиона.

— Вот и мы, — сказала леди Росситер.

Шкаф тихонько приоткрылся, оттуда выглянуло бледное лицо. Взметнулась пыль, раздался свист рассекаемого воздуха, что-то вылетело в дверь — и она захлопнулась.

Леди Росситер, тяжко пыхтя, прижала руку к сердцу.

— Что это? — спросила она.

— Мне кажется, Сиприан, — предположила Гермиона.

— Ушел! — закричал Игнатий, выбегая на лестницу.

Когда он вернулся, кривясь от горя, леди Росситер думала о том, что два психиатра пришлись бы очень кстати, но не огорчалась — безумный художник ничуть не хуже разумного.

— Ну что же, — приветливо сказала она. — Гермиона готова позировать.

Игнатий очнулся.

— Кому?

— Вам, для портрета.

— Какого?

— Своего.

— Вы хотите заказать портрет?

— Вы же вчера предлагали...

— Да-а? Возможно, возможно. Ну что ж, выписывайте чек, пятьдесят фунтов. Книжку не забыли?

— Пятьдесят?

— Гиней. Точнее, сто. Пятьдесят — это задаток.

— Вы же сами хотели ее писать...

— Даром?

— Д-да...

— Очень может быть, — согласился Игнатий. — Видимо, вы лишены чувства юмора. Не понимаете шуток. Моя цена — сто гиней. Собственно, почему вам нужен ее портрет? Черты лица — неприятные, колорит — тусклый. Глаза — глупые, подбородка — нет, уши — торчат. Смотреть и то тяжело, а тут — пиши! Прибавим за вредность.

Сказав все это, он принялся искать трубку, но не нашел.

— О Господи! — кричала тем временем мать.

— Повторить? — осведомился художник.

— Где мои соли?!

Игнатий пошарил по столу, открыл оба шкафа, заглянул под кушетку. Трубки не было.

Маллинеры учтивы. Заметив, как сопит и клекочет гостья, племянник мой догадался, что чем-то ее обидел.

— Может быть, — сказал он, — я вас чем-то обидел. Тогда — простите. От избытка сердца глаголят уста. Очень уж мне надоело ваше семейство. Сиприана я чуть не заколол, но он для меня слишком прыток. Не будут заказывать статьи, пусть идет в русский балет. С Джорджем вышло лучше. Он мимо вас не пролетал?

— Ах, вот что это было! — обрадовалась Гермиона. — То-то я думала...

Леди Росситер, тяжело дыша, смотрела на него.

— Вы ударили мое дитя!

— Прямо в зад, — скромно, но гордо уточнил Игнатий. — С одного раза.

Несчастная с жалобным криком кинулась вниз по лестнице. Истинно говорят, что мать — лучший друг сына.

Гермиона глядела на Игнатия незнакомым взглядом.

— Я и не знала, что вы так красноречивы, — наконец сказала она. — Как вы меня описали! Поэма в прозе.

Игнатий что-то промычал.

— Вы вправду все это думаете? — продолжала она.

— Да.

— Значит, я тусклая? Может быть, желтая?

— Зеленоватая, — уточнил он.

— А глаза?.. — она замялась.

— Вроде устриц, — подсказал художник. — Не первой свежести.

— Словом, вам не нравится моя внешность?

— Ни в малейшей степени.

Дальше он не слушал, хотя она что-то говорила. Недавно, вспомнил он, какой-то гость уронил за бюро недокуренную сигару. Служанки там не убирают, так уж у них повелось, а значит — он кинулся туда и едва не задохнулся от восторга.

Окутанная пылью, погрызенная мышью, это была *сигара*.

Настоящая, вполне пригодная, набитая окисью углерода. Игнатий чиркнул спичкой и закурил.

В тот же миг млеко незлобивости хлынуло в его душу. С той быстротой, с какою кролик превращается в буфет, флаг или аквариум, Игнатий превратился в смесь сладости и света. Пиридин коснулся слизистых оболочек, и они приняли его как брата. Радость, восторг, блаженство сменили злобу и скорбь.

Игнатий взглянул на Гермиону. Глаза ее сияли, прекрасное лицо светилось. Судя по всему, он ошибся, тусклой она не была — напротив, превосходила красотой все, что только вдыхало блаженный воздух Кенсингтона.

Гермиона тоже смотрела на него, словно чего-то ожидая.

— Простите? — сказал Игнатий.

Она покачала головой.

— Что ж вы?.. — начала она.

— Простите? — повторил он.

— Ну, не обнимаете меня... и вообще... — ответила она, зардевшись.

— Это я? — проверил он.

— Кто же еще?

— Не обнимаю?

— Вот именно.

— А... вы... — хм-мм — этого хотите?

— Конечно.

— После — э-а... — всего, что я наговорил?

Она удивленно взглянула на него.

— Разве вы не слушали?

— Да, отключился... вы уж простите, — забормотал он. — А что?

— Я сказала: если вы меня так видите, вы любите не мою внешность, а мою душу. Как я этого ждала!

Игнатий положил сигару и часто задышал.

— Минуточку, — сказал он. — Так и вы меня любите?

— Конечно люблю, — отвечала она. — Вы мне всегда нравились, но я думала, для вас я — просто кукла.

Он снова взял сигару, затянулся для верности, сделал все, как она сказала, и затянулся еще раз.

— Кроме того, — продолжала Гермиона, — как не любить человека, который одним пинком спустил Джорджа с лестницы?

Игнатий опечалился.

— Ах, вспомнил! — сказал он. — Сиприан говорит, что ты говоришь, что я похож на Джорджа.

— Неужели передал?

— Да. Мне было очень тяжело.

— Почему? Просто вы оба играете на укелеле.

Игнатий снова ожил.

— Сегодня же отдам бедным. А Джордж сказал, ты сказала, что я похож на Сиприана.

— Одеждой, — утешила она. — Все такое мешковатое...

— Немедленно едем к лучшему портному! — воскликнул он. — Только обуюсь. Да, и сбегаю вниз, в табачную лавку.

Перевод Н. ТРАУБЕРГ

Цепь преступлений в Бландингском замке

День, когда Беззаконие подняло свою безобразную голову в Бландингском замке, был на редкость чудесным. Солнце сияло на небе васильковой голубизны, и куда как приятно было бы не спеша описать старинные стены замка, бархатные подстриженные лужайки, разбросанные по холмам парки, раскидистые деревья, благовоспитанных пчел и вежливых птиц — всю картину, на которую щедро изливало свои лучи солнце.

Но читатели детективной литературы — народ нетерпеливый. Их раздражают пейзажные рапсодии, и они хотят поскорее перейти к чему-то существенному. Когда, спрашивают они, начались преступные дела? Кто в них был замешан? Была ли кровь, и если была — то сколько? И — самое главное — где был и что делал в это время каждый персонаж? Рассказчик, который хочет завладеть вниманием читателей, должен предоставить всю эту информацию на самой ранней стадии.

Итак, волна преступлений, которой суждено было потрясти одно из самых величественных в Шропшире имений до самого основания, нахлынула на него в середине летнего дня, и расстановка персонажей, вовлеченных в эти преступления, была следующей.

Кларенс, девятый граф Эмсворт, владелец и властитель замка и поместья, находился в садовом домике, проводя совещание с Энгусом Макалистером, своим главным садовником, на тему выращивания зеленого горошка.

Его сестра, леди Констанция, прогуливалась по аллее со смуглым молодым человеком в очках, по имени Руперт Бакстер, который одно время был личным секретарем лорда Эмсворта.

Бидж, дворецкий, сидел в садовом кресле на лужайке позади замка, куря сигару и читая главу шестнадцатую «Человека без пальца на ноге».

Джордж, внук лорда Эмсворта, рыскал по зарослям кустарника с духовым ружьем, с которым он ни на минуту не расставался.

Джейн, племянница его светлости, находилась в летнем домике у озера.

И солнце безмятежно бросало свои лучи на — как мы уже указывали — лужайки, стены замка, деревья, пчел, птиц наилучших пород и раскинувшиеся по холмам парки.

Вскоре лорд Эмсворт покинул садовый домик и неспешной походкой направился к замку. Он пребывал в самом счастливом расположении духа. Весь день его не покидало чувство полнейшего довольства и умиротворенности, и в виде исключения Энгус Макалистер не сделал ничего, чтобы его нарушить. Обычно, когда лорд Эмсворт пытался спорить с этим мулом в образе человека, тот произносил: «М-мм...» — и становился похожим на упрямого шотландца, а затем произносил: «Гмм...» — и опять становился похожим на шотландца, а затем просто теребил пальцами свою бородку, продолжая молча быть похожим на шотландца, что действовало на его восприимчивого работодателя чрезвычайно раздражающе. Но в этот день все выглядело так, словно садовник прошел заочный курс хороших манер, и у лорда Эмсворта не было того тревожного чувства, которое его всегда охватывало в подобных случаях, что, как только он повернется к Макалистеру спиной, его тонко продуманная и высоконаучная система садоводства будет отправлена на полку, а на практике в деле выращивания зеленого горошка будет применен какой-нибудь «Новый курс», как будто бы лорд Эмсворт никогда ни слова не произнес по этому поводу.

Приближаясь к террасе, он мурлыкал какую-то песенку. У него была четкая программа на сегодня. Примерно с час, пока жара хоть немного не спадет, он будет читать в библиотеке книгу по свиноводству. После этого он пойдет понюхать розы и, может быть, снимет кое-где с листьев улиток. В этих маленьких радостях было все, что требовалось его простой душе. Он не желал большего. Просто спокойно жить, и чтобы никто его не тревожил.

И теперь, когда Бакстер уволился, думал он в приподнятом настроении, его действительно никто не тревожит. Правда, как он смутно припоминал, неделю назад возникли какие-то неурядицы — что-то насчет человека, за которого его племянница Джейн хочет выйти замуж, а его сестра Констанция не хочет, чтобы она выходила, но, очевидно, все обошлось. Однако даже когда вся эта история достигла своего апогея, даже когда воздух сотрясался от женских криков и Констанция наскакивала на него, крича: «Будешь ли ты наконец слушать, Кларенс!» — он всегда мог сказать сам себе, что, как бы все это ни было неприятно, оставалось нечто светлое: Руперт Бакстер больше у него не служит.

Существует порода бизнесменов с каменными лицами, которым отношение лорда Эмсворта к Руперту Бакстеру показалось бы поистине необъяснимым. Для этих титанов личный секретарь — это просто «Эй, вы!», «Эй, там!» — марионетка, которой можно манипулировать по своему усмотрению. Драма лорда Эмсворта заключалась в том, что марионеткой оказался он сам, а не его секретарь. Отношения между ними были такими, как между слабохарактерным монархом и молодым, напористым дьяволом, захватившим реальную власть и в считанные минуты установившим диктатуру. Пока Бакстер не смилостивился и не перешел на службу к американцу по имени Джевонз, он все время беспокоил лорда Эмсворта, командовал им, подгонял его и всегда заставлял что-то делать, что-то запоминать, что-то подписывать.

Ни минуты покоя. И теперь так отрадно было думать о том, что Бакстер навеки исчез с горизонта. Это исчезновение освободило райские кущи от обитающего в них змея.

Продолжая мурлыкать песенку, лорд Эмсворт ступил на террасу. Секунду спустя песенка замерла у него на устах, он отшатнулся, как от крепкого удара в переносицу.

— Боже, помоги мне! — воскликнул он, потрясенный до глубины души.

Его пенсне, как это всегда случалось в моменты эмоциональной встряски, спрыгнуло с носа. Он водрузил его обратно со слабой надеждой, что жуткое зрелище, которое он увидел, окажется оптическим обманом. Но нет. Сколько он ни моргал, он не мог изменить того факта, что человек, разговаривающий на террасе с его сестрой Констанцией, был не кто иной, как Руперт Бакстер. Лорд Эмсворт стоял, выпучив на него глаза с таким ужасом, как если бы тот восстал из могилы.

Леди Констанция улыбалась приятной улыбкой, как это часто делают женщины, когда собираются преподнести какую-нибудь пакость своим дорогим и близким.

— Это мистер Бакстер, Кларенс.

— А... — сказал лорд Эмсворт.

— Он путешествует по Англии на мотоцикле и, оказавшись в здешних местах, естественно, заглянул к нам.

— А... — сказал лорд Эмсворт.

Он отвечал тусклым голосом, потому что душу его угнетали тяжелые предчувствия. Конни легко было говорить, что Бакстер путешествует по Англии, как бы подразумевая, что минут через пять этот тип оседлает свой мотоцикл и уберется куда-нибудь за сотню миль отсюда. Он знал свою сестру. Не иначе как она что-то затеяла. Она всегда была бакстерианкой и теперь замыслила восстановить на службе главного злого духа Бландингского замка. Лорд Эмсворт готов был поспорить на что угодно — это именно так. Поэтому он и сказал: «А...»

Эти односложные высказывания в сочетании с отвисшей челюстью брата и агонизирующим взглядом сквозь стекла пенсне заставили леди Констанцию крепко сжать губы. В ее красивых глазах зажегся огонек, предвещающий дисциплинарное взыскание. Она стала похожа на укротительницу тигров, собирающуюся утвердить свой авторитет над одним из участников представления.

— Кларенс! — сказала она резко и повернулась к Бакстеру. — Извините меня, мистер Бакстер, я должна вас на минутку оставить. Мне нужно кое о чем поговорить с лордом Эмсвортом.

Она отвела побледневшего лорда в сторону и сказала с резким осуждением:

— Ты вел себя как свинья!

— Что? — произнес лорд Эмсворт. Мысли его разбегались, как это часто с ним бывало. Но магическое слово вернуло его к реальности. — Свинья? Ты что-то сказала о свиньях?

— Я сказала, что ты вел себя как свинья. Ты мог хотя бы сказать мистеру Бакстеру: «Как поживаете?»

— И так видно, как он поживает. Что он здесь делает?

— Об этом я уже говорила.

— Но как получилось, что он путешествует по Англии на мотоцикле? Я думал, что он служит у этого американского субъекта, как там его...

— Он ушел от мистера Джевонза.

— Что?

— Да. Мистер Джевонз вернулся в Америку, а мистер Бакстер не хотел уезжать из Англии.

Лорд Эмсворт пошатнулся. Джевонз был его спасительным якорем. Он никогда не встречался с этим добросердечным чикагцем, но всегда думал о нем с теплотой и благодарностью, как думают о враче, успешно выявившем и обезвредившем вредо-

носный микроб.

— Ты хочешь сказать, что этот субъект теперь без работы? — с ужасом воскликнул он.

— Да. И как нельзя более вовремя, потому что с Джорджем надо что-то делать.

— С каким Джорджем?

— У тебя есть внук с этим именем, — объяснила леди Констанция с кротостью и ледяным терпением, которые она часто выказывала в разговорах с братом. — У твоего наследника Босэма, если ты его помнишь, есть два сына, Джеймс и Джордж. Джордж, младший, проводит здесь летние каникулы. Возможно, ты его замечал. Мальчик двенадцати лет, с каштановыми волосами и с веснушками.

— Ах, Джордж? Ты имеешь в виду Джорджа? Да, я знаю Джорджа. Он мой внук. А что с ним?

— Он совершенно отбился от рук. Как раз вчера он разбил еще одно окно, стреляя из духового ружья.

— Он нуждается в материнской заботе? — лорд Эмсворт плохо соображал, но ему показалось, что это уместное высказывание.

— Он нуждается в заботе гувернера, и я рада сообщить, что мистер Бакстер любезно принял предложение поступить на эту должность.

— Что?!

— Да. Все уже улажено. Его вещи в гостинице «Эмсвортский герб», и я сейчас пошлю за ними кого-нибудь.

Лорд Эмсворт лихорадочно искал доводы, которые могли бы разрушить этот дьявольский заговор.

— Но он не может быть гувернером, если он носится по Англии на мотоцикле.

— Я предусмотрела эту деталь. Он перестанет носиться по Англии на мотоцикле.

— Но...

— Это будет прекрасным решением проблемы, которая становилась с каждым днем все сложнее. Мистер Бакстер будет держать Джорджа в рамках. У него твердый характер.

Она повернулась и пошла прочь, а лорд Эмсворт заковылял по направлению к библиотеке.

Это был черный час для девятого графа. Его худшие опасения оправдались. Он прекрасно понимал, что все это означает. Во время одной из своих нечастых поездок в Лондон он как-то услышал чрезвычайно выразительную фразу, которая произвела на него глубокое впечатление. Он потягивал свой послеобеденный кофе в Клубе старых консерваторов, когда какие-то члены клуба в креслах по соседству завели политический спор. Один из них сказал по поводу чего-то «острие клина», и лорд Эмсворт запомнил эти слова. И теперь он подумал, что случившееся сейчас было именно «острием клина». От Бакстера — временного гувернера к Бакстеру — постоянному секретарю будет, как он предчувствовал, один шаг, и при этой мысли он похолодел.

Близорукий человек в пенсне, соскакивающем с носа как раз в тот момент, когда стервятники терзают его грудь, редко смотрит под ноги. Всякий, кто увидел бы лорда Эмсворта, ковыляющего, как слепой, по террасе, смог бы предугадать, что вскоре он с чем-нибудь столкнется. Единственным открытым для догадок вопросом оставалось — с чем именно. Этим предметом оказался маленький конопатый мальчик с каштановыми волосами, который неожиданно появился из зарослей кустарника с духовым ружьем в руке.

— Ой! — сказал маленький мальчик. — Извини, дедушка.

Лорд Эмсворт поймал пенсне и, водрузив его на положенное место, мрачно воззрился на мальчика.

— Джордж! Почему, черт возьми, ты не смотришь, куда идешь?

— Извини, дедушка.

— Ты мог бы нанести мне серьезное увечье.

— Извини, дедушка.

— В другой раз будь внимательнее.

— О'кей, старина.

— И не называй меня «старина».

— Заметано, дедушка. Послушай, — сказал Джордж, меняя тему, — что это там за птица разговаривает с тетей Конни?

Он показал пальцем — вульгарность, которую хороший гувернер искоренил бы, — и лорд Эмсворт, посмотрев по направлению этого пальца, моргнул, когда его взгляд еще раз упал на Руперта Бакстера. Секретарь — лорд Эмсворт мысленно уже отказался от приставки «экс» — рассеянно смотрел на сбегавшие по холмам парки, и его

светлости этот взгляд показался собственническим. У Руперта Бакстера, сверкающего своими очками на земли Бландингского замка, был самодовольный вид — по крайней мере так казалось лорду Эмсворту — некоего безжалостного монарха стародавних времен, обозревающего завоеванную территорию.

— Это мистер Бакстер, — ответил он.

— Похож на ...[1], — сказал Джордж критическим тоном.

Это выражение было незнакомо лорду Эмсворту, но он сразу понял, что такая характеристика идеально подходит к Руперту Бакстеру. Его сердце смягчилось по отношению к малышу, и в этот момент он легко мог бы дать ему шестипенсовик.

— Ты так думаешь? — ласково спросил он.

— Что он здесь делает?

Лорд Эмсворт почувствовал острую боль. Немилосердно, жестоко погасить солнце в жизни этого чудесного мальчика. Но кто-то должен сообщить ему эту новость.

— Он будет твоим гувернером.

— Гувернером?!

Это слово прозвучало как вопль агонии, вырвавшийся из самых глубин детской души. На Джорджа обрушилось ошеломляющее ощущение того, что надругались над самыми священными основами приличий. Его голос дрожал от крайнего возмущения.

— Гувернер?! — завопил он. — Гу-вер-нер?.. Гу-ВЕР-нер? Во время летних каникул? Для чего мне гувернер в летние каникулы? Это уж слишком. В летние каникулы! Зачем мне гувернер?! Я хочу сказать, во время...

Он хотел продолжать, потому что он многое мог высказать по этому поводу, но в этот момент голос леди Констанции, мелодичный, но повелительный, прервал поток его речи.

— Джо-ордж!

— У! Прямо во время...

— Джордж, поди сюда. Я хочу, чтобы ты познакомился с мистером Бакстером.

— У! — опять пробормотал уязвленный ребенок и насупившись поплелся через террасу. Лорд Эмсворт снова заковылял к библиотеке, с теплым чувством в сердце по отношению к этому малышу, который своим точным описанием Руперта Бакстера обнаружил такой родственный ему дух. Он легко мог себе представить, что чувствовал Джордж. Непросто было вбить что-нибудь в голову лорду Эмсворту, но он безошибочно понял существо жалоб своего внука. Джордж, которому предстояло получить гувернера в разгар летних каникул, не хотел гувернера.

Вздохнув, лорд Эмсворт вошел в библиотеку и отыскал свою книгу.

Не так уж много было книг, которые в такой момент, как сейчас, могли бы отвлечь его мысли от нависших над ним неприятностей, но эта книга могла. Она называлась «Уход за свиньями» Уиффи, и, погрузившись в книгу, он позабыл обо всем. Глава, которую он читал, была посвящена благородной теме свиного пойла и толченых отрубей, и она до такой степени увела лорда Эмсворта от бренного мира, что, когда минут через двадцать дверь внезапно распахнулась, это произвело эффект разорвавшейся под самым его носом бомбы. Он уронил Уиффи и откинулся в кресле, ловя ртом воздух. Потом, хотя его пенсне, следуя традиции, слетело с носа, он каким-то шестым чувством угадал, что незваный пришелец не кто иной, как его сестра Констанция, и с его губ слетел возглас: «Боже мой, Конни!» — но она резко прервала его.

— Кларенс, — сказала она, и стало ясно, что ее нервная система, как и его собственная, сильно потрясена, — случилось самое страшное!

— Э?

— Этот человек здесь!

— Какой человек?

— О котором я тебе говорила в связи с Джейн.

— О ком ты говорила?

Леди Констанция уселась. Она предпочла бы обойтись без пространных объяснений, но продолжительный опыт общения с братом научил ее, что его память необходимо периодически освежать. Поэтому она принялась объяснять, размеренно и скучно, как школьная учительница, втолковывающая что-то самому тупому ученику своего класса.

[1] В наше либеральное время вместо пропуска можно было бы, конечно, напечатать выражение Джорджа, но в те времена оно явно считалось непечатным. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

— Человек, о котором я тебе говорила определенно не меньше ста раз, — это тот, с которым Джейн познакомилась весной, когда ездила в Девоншир навестить своих друзей Ли. У нее был с ним глупый флирт, который она, конечно, в своем воображении раздула до размеров великой любви. Она продолжает настаивать на том, что они помолвлены. А у него нет ни денег, ни перспектив. И даже работы, насколько я могла понять со слов Джейн.

В этот момент лорд Эмсворт вновь задал вопрос.

— Кто такая, — спросил он вежливо, — эта Джейн?

Леди Констанцию передернуло.

— О, Кларенс! Твоя племянница Джейн.

— Как, моя племянница Джейн?! А! Да, конечно. Моя племянница Джейн. Да, конечно, определенно. Моя...

— Кларенс, прошу тебя! Ради Бога! Перестань болтать вздор и выслушай меня. Я хочу, чтобы ты хоть раз в жизни проявил твердость.

— Проявил что?

— Твердость. Топни ногой.

— О чем ты говоришь?

— Я говорю о Джейн. Я надеялась, что это глупое увлечение прошло — все это время она выглядела вполне счастливой и довольной, — но оказалось, что это не так. Совершенно очевидно, что они регулярно переписывались, и теперь этот человек здесь.

— Здесь?

— Да.

— Где? — спросил лорд Эмсворт, заинтересованно оглядывая комнату.

— Он приехал вчера вечером и остановился в деревне. Я узнала об этом совершенно случайно. Я спросила Джорджа, видел ли он Джейн, потому что я хотела познакомить ее с мистером Бакстером, и он сказал, что встретил ее, когда она шла к озеру. Тогда я пошла к озеру, и там я увидела ее с молодым человеком в твидовом пиджаке и фланелевых бриджах. Они целовались в летнем домике.

Лорд Эмсворт поцокал языком и неодобрительно сказал:

— В такую погоду им следовало бы заниматься этим на солнце.

Леди Констанция сделала такое движение, словно собиралась ударить своего брата по голени, но лишь топнула ногой по ковру. Благородная кровь все же сказалась.

— Джейн вела себя вызывающе. По-моему, она совершенно потеряла рассудок. Она упрямо твердит, что собирается выйти замуж за этого человека. А как я уже говорила, у него не только нет ни гроша, но явно нет и работы.

— А чем он вообще занимался?

— Я выяснила, что он был управляющим в одном имении в Девоншире.

— Теперь мне все ясно, — сказал лорд Эмсворт. — Теперь припоминаю. Это, должно быть, тот, о котором мне вчера говорила Джейн. Да, точно. Она просила дать ему место Симмонса. Симмонс уходит через месяц. Хороший человек, — заметил лорд Эмсворт прочувствованно. — Работал здесь много лет. Видит Бог, без старины Симмонса здесь будет чего-то не хватать. Тем не менее, — сказал он, просветлев, ибо он был способен во всем видеть и светлую сторону, — без сомнения, этот новый парень вполне подойдет. Джейн, по-видимому, очень высокого мнения о нем.

Леди Констанция медленно поднялась со своего кресла, с невыразимым ужасом на лице.

— Кларенс! Не хочешь ли ты сказать, что ты обещал этому человеку место Симмонса?!.

— А? Да, я обещал. Почему бы и нет?

— Почему бы и нет?! Ты понимаешь, что как только он его получит, он тут же женится на Джейн?

— Ну, почему бы ему и не жениться? Она очень славная девушка. Возможно, будет ему хорошей женой.

Леди Констанция какое-то время боролась со своими чувствами.

— Кларенс, — сказала она. — Сейчас я пойду и найду Джейн. Я скажу ей, что, взвесив все за и против, ты изменил свое решение.

— Какое решение?

— О том, чтобы взять этого человека на место Симмонса.

— Но я его не изменил!

— Нет, изменил.

И, встретив ее взгляд, лорд Эмсворт понял, что он действительно изменил его. Так часто случалось, когда Конни и он заканчивали дискуссию. Но это совсем не

доставило ему удовольствия.

— Но, Конни, ей-богу...

— Мы больше не будем обсуждать этот вопрос, Кларенс.

Ее глаза гипнотизировали его. Затем она направилась к двери и вышла.

Оставшись наконец один, лорд Эмсворт опять принялся за свой «Уход за свиньями» Уиффи в надежде на то, что это ниспошлет покой его встревоженной душе, как это случалось раньше. Так оно и произошло, и он полностью погрузился в книгу, как вдруг дверь снова распахнулась.

На пороге стояла его племянница Джейн.

Племянница лорда Эмсворта была третьей по красоте девушкой в Шропшире. В целом ее наружность напоминала розу росистым утром, и можно было предположить, что у лорда Эмсворта, первейшего ценителя роз, при взгляде на нее сильно забьется сердце.

Этого не случилось. Сердце, правда, отреагировало, но не забилось, а упало. Он имел четкий и устоявшийся взгляд на розы. Он предпочитал розы без таких плотно сжатых губ и решительного подбородка. Ему не нравилось и когда на него смотрят как на нечто отвратительное и мерзкое, найденное под плоским камнем.

Бедняга теперь полностью осознал свое положение. Под магическими чарами Уиффи он на время мог прогнать из своей головы мысли о том, что скажет Джейн, услышав плохую новость; но теперь, когда она стала подходить к нему, медленно и зловеще — такой прием был характерен для многих его родственниц, — он понял, что ему уготовано, и его душа втянулась внутрь, как улитка, которую посыпали солью.

Он хорошо помнил, что Джейн — дочь его сестры Шарлотты, а многие беспристрастные судьи находили, что леди Шарлотта еще более твердый орешек, чем леди Констанция или его младшая сестра Джулия. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая слова, которые Шарлотта говорила ему в свое время; и, опасливо взирая на Джейн, он не имел никакого основания предполагать, что она не унаследовала от матери добрую порцию ее бурного темперамента.

Девушка сразу перешла к делу. Ее мать, вспомнил лорд Эмсворт, всегда поступала так же.

— Я хотела бы получить от вас объяснение, дядя Кларенс.

Лорд Эмсворт с несчастным видом откашлялся.

— Объяснение, моя дорогая?

— Вот именно, объяснение.

— Ах, объяснение? А, да. Э... насчет чего?

— Вы прекрасно знаете насчет чего. Насчет должности управляющего. Тетя Констанция говорит, что вы изменили свое решение. Это так?

— Э... а... ну...

— Это так?

— Ну... э... а... да.

— Слизняк! — сказала Джейн. — Несчастный, ползучий, раболепствующий, бесхребетный слизняк!

Лорд Эмсворт, хотя и ожидал тирады в этом роде, дернулся, как будто его пронзили гарпуном.

— Это, — сказал он, силясь хоть как-то сохранить свое достоинство, — не очень любезные выражения...

— Если бы вы знали, какие выражения рвутся у меня с языка! Но я сдержусь. Так, значит, вы изменили решение? Выходит, торжественное обещание для вас ничего не значит, дядя Кларенс? Счастье всей жизни девушки для вас ничего не значит? Никогда бы не поверила, что вы можете быть таким душегубом.

— Я не душегуб.

— Нет, душегуб. Вы пытаетесь загубить мою жизнь. Но у вас ничего не выйдет. Что бы ни случилось, я выйду замуж за Джорджа.

Лорд Эмсворт искренне удивился.

— За Джорджа? Но Конни сказала, что ты влюбилась в того парня, с которым познакомилась в Девоншире.

— Его имя Джордж Аберкромби.

— Да? — сказал лорд Эмсворт, прозревая. — Мой Бог, я думал, ты говоришь о моем внуке Джордже, и это меня озадачило. Потому что ты, конечно, не можешь выйти за него замуж. Он твой брат, или двоюродный брат, или что-то в этом роде. Кроме того, он слишком молод для тебя. Сколько Джорджу? Десять? Одиннадцать?

Он запнулся. Укоризненный взгляд ударил по нему, как снаряд.

— Дядя Кларенс!

— Дорогая?

— Вы считаете, что сейчас самое время нести околесицу?

— Дорогая!

— Самое время? Прислушайтесь к голосу своего сердца. Вот я стою перед вами, беззащитная, а все вокруг меня суетятся и норовят разрушить счастье всей моей жизни, и вместо того, чтобы проявить доброту, понимание и сочувствие, вы несете околесицу о маленьком Джордже.

— Я только говорил...

— Я слышала, что вы говорили, и меня тошнит. Вы, должно быть, самый черствый человек на свете. Не могу поверить, чтобы именно вы так себя вели, дядя Кларенс. Я-то считала, у вас ко мне есть какое-то чувство.

— У меня есть чувство.

— Не похоже. Вы влезли в этот вонючий заговор, чтобы загубить мою жизнь.

Лорду Эмсворту удалось вспомнить подходящую фразу.

— Я это сделал в твоих же интересах, моя дорогая.

Это не возымело желаемого эффекта. Глаза девушки метнули отчетливо видимое пламя.

— Что вы этим хотите сказать — в моих интересах? По словам тети Констанции и по тому, как вы ей подпеваете, можно подумать, что Джордж — это какой-нибудь тип в соломенной шляпе и в красном кушаке, которого я подцепила на пристани в Блэкпуле. Аберкромби — одно из самых старинных семейств в Девоншире. Их род известен со времен норманнского завоевания, и они были не последними в крестовых походах. Пока ваши предки отсиживались дома под предлогом оборонной работы национального значения и всякими ухищрениями получали тепленькие местечки в тылу, Аберкромби рубились с язычниками на полях сражений.

— Я учился в школе с мальчишкой по фамилии Аберкромби, — задумчиво сказал лорд Эмсворт.

— Надеюсь, он крепко колотил вас. Нет-нет, я не это хотела сказать. Извините. Я все время стараюсь, чтобы в нашей милой беседе не было этого — как бы это назвать?

Лорд Эмсворт сказал, что не знает.

— Желчи. Я хочу быть спокойной, хладнокровной и рассудительной. По совести, дядя Кларенс, вы бы полюбили Джорджа. Вы будете кретином, если выставите его, даже не повидав. Он самый замечательный человек на земле. В этом году на Уимблдоне он попал в одну восьмую финала.

— В самом деле? В одну восьмую?

— И он знает абсолютно все об управлении имением. Первое, что он сказал, когда мы вошли в парк, — что за многими деревьями нужен уход.

— Чертовски нахально, — любезно сказал лорд Эмсворт. — Мои деревья в прекрасном состоянии.

— Нет, раз Джордж так говорит. Джордж знает толк в деревьях.

— И я знаю в них толк.

— Но не так хорошо, как Джордж. Но оставим это. Вернемся к этому отвратительному заговору, задуманному, чтобы разрушить счастье всей моей жизни. Почему вы не можете проявить благородство и встать на мою сторону, дядя Кларенс? Вы что, не понимаете, что это для меня значит? Любили вы когда-нибудь?

— Конечно, любил. Десятки раз. Я расскажу тебе одну очень забавную историю...

— Я не желаю слышать забавных историй!

— Да, конечно, конечно. Именно.

— Все, что я хочу от вас услышать, это то, что вы возьмете Джорджа на место Симмонса, чтобы мы могли пожениться.

— Но у твоей тети, по-видимому, очень сильное предубеждение...

— Я знаю, что у нее сильное предубеждение... Она хочет, чтобы я вышла замуж за этого осла Роугейта.

— В самом деле?

— Да, но я не собираюсь этого делать. Вы можете сказать ей, что я не вышла бы за Роугейта, даже если бы он был единственным мужчиной в мире...

— Есть песенка с таким названием, — сказал лорд Эмсворт, оживившись. — Ее пели во время войны. Нет, там это был не мужчина. Там была девушка. «Когда бы ты была единственной девушкой в мире, а я — единственным парнем...»

— Дядя Кларенс!!

— Что, моя дорогая?

— Пожалуйста, не пойте. Вы не в «Эмсвортском гербе».

— Я никогда не был в «Эмсвортском гербе».

— И не на домашнем концерте. Честное слово, у вас самое невероятное представление о том, как себя вести при разговоре с девушкой, когда счастье всей ее жизни стараются разрушить все кому не лень. Сначала вы несете околесицу о маленьком Джордже, потом пытаетесь рассказывать забавные истории, а теперь поете комические куплеты.

— Это не комические куплеты.

— Комические, судя по вашему исполнению. Итак?

— Что?

— Вы решили, что предпринять в этом отношении?

— В отношении чего?

Девушка какое-то время молчала, и в это время она была так похожа на свою мать, что лорд Эмсворт содрогнулся.

— Дядя Кларенс, — сказала она низким, дрожащим голосом, — не собираетесь ли вы притвориться, что не помните, о чем мы с вами говорили все это время? Дадите вы это место Джорджу?

— Ну...

— Ну?

— Ну...

— Мы здесь можем остаться навечно, твердя друг другу «ну»... Да или нет?

— Моя дорогая, я не вижу возможности это сделать. Твоя тетя, по-видимому, так сильно предубеждена...

Он бормотал что-то бессвязное, избегая взгляда Джейн, и запинался, подыскивая слова. В этот момент за окном послышался какой-то шум. Снаружи доносились громкие голоса. Он узнал пронзительное сопрано своей сестры Констанции и сливающийся с ним петушиный дискант своего внука Джорджа, тянущего «О-о!». С их голосами переплетался горловой баритон Руперта Бакстера. Радуясь возможности изменить тему разговора, лорд Эмсворт заторопился к окну.

— Господи, помилуй! Что там такое?

Сражение, из-за чего бы оно ни происходило, переместилось, видимо, в какое-то неизвестное направлении, потому что из окна он видел только Руперта Бакстера, нервно дымящего сигаретой.

Лорд Эмсворт оглянулся, и к своему невыразимому облегчению, обнаружил, что остался один. Его племянница исчезла. Он подобрал «Уход за свиньями» Уиффи и только начал было смаковать совершенную прозу главы о свином пойле и толченых отрубях, как дверь снова открылась и опять появилась Джейн. Она встала у порога, холодно глядя на своего дядю.

— Читаете, дядя Кларенс?

— А?.. Э... А... Да. Я просто просматривал «Уход за свиньями» Уиффи.

— Значит, у вас хватает совести читать в такое время? Так-так! Вы когда-нибудь читали вестерны, дядя Кларенс?

— Что? Вестерны? Нет. Никогда.

— Жаль. Я как раз читала позавчера вестерн и надеялась, вы сможете мне объяснить то, чего я не поняла. Что один ковбой сказал другому.

— Да?

— Этот ковбой, первый ковбой, сказал другому, второму ковбою: «Так тебя и растак, Хэнк Спайвис! Ты подлый, гнусный, двуличный, паскудный скунс!» Не можете ли вы мне объяснить, дядя Кларенс, что это такое — «подлый, гнусный, паскудный скунс»?

— Боюсь, что нет, дорогая.

— Я думала, вы должны это знать.

— Нет.

— Значит, нет?

Она вышла из комнаты, и лорд Эмсворт снова принялся за своего Уиффи.

Но вскоре он забыл о книге, лежащей на его коленях; лорд Эмсворт невидящим взглядом, в мрачном раздумье глядел перед собой. Он снова переживал только что закончившуюся сцену и сожалел, что показал себя не с лучшей стороны. Мысли его беспорядочно блуждали, но все же он сознавал, что мог бы предстать в более героическом свете.

Как долго предавался он этим грустным размышлениям, он не помнил. Несомненно, немало времени, потому что он заметил, выглянув из окна, что тени на террасе сильно удлинились с тех пор, как он видел их в последний раз. Он уже собирался встать и пойти поискать утешения, прогуливаясь в цветнике под окнами, но тут дверь

снова распахнулась — лорду Эмсворту, который теперь пребывал в угнетенном состоянии, стало казаться, что эта проклятая дверь только и делала, что распахивалась, с тех пор как он попытался найти уединение в библиотеке, — и в комнату вступил Бидж, дворецкий.

В одной руке он держал духовое ружье, в другой — серебряный поднос с коробкой пулек.

Бидж был человеком, который вкладывал во все свои действия нечто от величавости жреца, совершающего сложную церемонию перед алтарем в какой-нибудь романтической обстановке. Нелегко сохранять величавость, когда в одной руке у вас духовое ружье, а в другой — серебряный поднос с пульками для него, но Биджу это удалось. Другой дворецкий в такой ситуации выглядел бы как охотник, собирающийся на утиную охоту, но Бидж сохранял вид жреца. Он приблизился к столу рядом с креслом лорда Эмсворта и возложил на него свой груз с таким выражением, как будто духовое ружье и пульки к нему были жертвоприношением, а его светлость — племенным божком.

Лорд Эмсворт созерцал своего верного служителя с мрачным видом. Своим поведением он напоминал племенного божка, которому дымящаяся жертва пришлась не по вкусу.

— Что это за чертовщина?

— Это духовое ружье, милорд.

— Я это вижу, черт возьми! Зачем вы его сюда притащили?

— Ее светлость распорядились, чтобы я передал его вашей светлости — я предполагаю, милорд, для лучшей сохранности. До недавнего времени это оружие находилось во владении мастера Джорджа.

— За каким чертом отбирают духовое ружье у бедного малыша? — с жаром воскликнул лорд Эмсворт. С тех пор как мальчик обозвал Руперта Бакстера ... , он испытывал к своему внуку самые теплые чувства.

— Ее светлость не проинформировала меня по этому поводу, милорд. Мне было только поручено передать оружие вашей светлости.

В этот момент в комнату вплыла леди Констанция и пролила свет на эту тайну.

— А, я вижу, Бидж уже принес тебе эту штуку? Я хочу, чтобы ты спрятал это ружье куда-нибудь под замок, Кларенс. Джорджу теперь не позволено пользоваться им.

— Почему это?

— Потому что ему нельзя доверять ружье! Ты знаешь, что произошло? Он выстрелил в мистера Бакстера!

— Что?!

— Да. Только что, на этой аллее. Я заметила, что он надулся, когда я представила его мистеру Бакстеру и сказала, что он будет его гувернером. Он исчез в кустарнике и, когда мистер Бакстер стоял в аллее, выстрелил в него из-за куста.

— Да ну! — с воодушевлением воскликнул лорд Эмсворт, но потом благоразумно добавил: — Какой ужас!

Наступило молчание. Лорд Эмсворт взял в руки ружье и с любопытством его осмотрел.

— Паф! — сказал он, прицеливаясь в бюст Аристотеля на книжной полке.

— Не играй с этой штукой, Кларенс! Она может оказаться заряженной.

— Не может, если Джордж только что выстрелил в Бакстера. Нет, — сказал лорд Эмсворт, нажимая на курок, — оно не заряжено.

На минуту он впал в задумчивость. Им стало овладевать странное чувство. В душе его зазвучали дальние отголоски его буйного детства.

— Боже мой, — пробормотал лорд Эмсворт, — я не держал такого ружья в руках с самого детства. У вас была когда-нибудь такая штука, Бидж?

— Да, милорд, когда я был мальчиком.

— Господи, если мне не изменяет память, сестра Джулия как-то одолжила у меня ружье, чтобы выстрелить в гувернантку. Ты помнишь, Конни, как Джулия стреляла в гувернантку?

— Не болтай чепухи, Кларенс.

— Это не чепуха. Она в нее попала. К счастью, в то время женщины носили турнюры. Бидж, вы разве не помните, как моя сестра Джулия стреляла в гувернантку?

— Этот инцидент, скорее всего, произошел до моего прибытия в замок.

— Вы свободны, Бидж, — сказала леди Констанция. — Я настоятельно прошу тебя, Кларенс, — продолжала она, когда дверь за дворецким закрылась, — никогда не говори подобных вещей в присутствии Биджа.

— Но Джулия в самом деле стреляла в гувернантку.

— Если это и так, нет нужды исповедоваться в этом перед дворецким.

— Как же звали эту гувернантку? Мне кажется, что ее имя начиналось с буквы...

— Оставь в покое ее имя или с чего оно там начиналось. Скажи мне про Джейн. Я видела, как она выходила из библиотеки. Ты с ней поговорил?

— О да. Я с ней поговорил.

— Я надеюсь, ты проявил твердость?

— Да-да, я был очень тверд. Я сказал: «Джейн...» Но послушай, Конни, черт возьми, не слишком ли сурово обращаемся мы с девочкой? Ведь мы не хотим, черт побери, разрушить счастье всей ее жизни?

— Я знала, что она обведет тебя вокруг пальца. Но запомни, ты не уступишь ей ни дюйма.

— Но этот парень, по-моему, очень подходящий. Один из Аберкромби и все такое прочее. Он хорошо проявил себя в крестовых походах.

— Я не позволю, чтобы моя племянница выходила за человека без гроша в кармане.

— Ты знаешь, она не хочет выходить за Роугейта. Никто ее не заставит. Она сказала, что не вышла бы замуж за Роугейта, если бы даже она была единственной девушкой в мире, а он — единственным мужчиной.

— Меня не интересует, что она сказала. И я больше не желаю дискутировать на эту тему. Сейчас я пришлю к тебе Джорджа, чтобы ты с ним серьезно поговорил и дал хороший нагоняй.

— У меня нет времени.

— У тебя есть время.

— Нет, нету. Я собираюсь взглянуть на мои цветы.

— Ты не собираешься. Ты собираешься поговорить с Джорджем. Я хочу, чтобы ты заставил его ясно осознать, какую злонамеренную шутку он выкинул. Мистер Бакстер был вне себя от ярости.

— Я все вспомнил! — воскликнул лорд Эмсворт. — Мэйплтон!

— О чем ты говоришь?

— Ее фамилия была Мэйплтон! Гувернантка Джулии.

— Перестань болтать о гувернантке Джулии! Поговоришь ты с Джорджем?

— Ну хорошо, хорошо.

— Хорошо, я найду его и пришлю к тебе.

И вскоре появился Джордж. Для мальчика, который только что запятнал репутацию благородного семейства, выстрелив в гувернера из духового ружья, он выглядел на редкость жизнерадостно. Он держался так, будто заглянул поболтать к закадычному приятелю.

— Хэлло, дедушка, — беззаботно сказал он.

— Хэлло, мой мальчик, — ответил лорд Эмсворт с такой же приветливостью.

— Тетя Конни сказала, что ты хотел меня видеть.

— Да? А!.. Э... Да. — Лорд Эмсворт постарался собраться с мыслями. — Да, конечно. Да, это так. Без сомнения, я хотел тебя видеть. Что за дела, мой мальчик, а? Что это такое? Что все это значит?

— Что «все», дедушка?

— Стрелять в людей и все такое прочее. Стрелять в мистера Бакстера и тому подобное. Этого, знаешь, не следует делать. Это не полагается. Это очень неправильно и... э... опасно, стрелять в людей из этого чертова большого ружья. Ты разве этого не знаешь, а? Мог бы выбить ему глаз, черт побери.

— Да я не мог бы попасть ему в глаз, дедушка. Он стоял спиной ко мне и нагнулся, чтобы завязать шнурок.

Лорд Эмсворт с живостью воскликнул:

— Что?! Ты попал Бакстеру в филейную часть?

— Да, дедушка.

— Ха, ха, ха... То есть я хотел сказать, какой стыд... Я... э... я думаю, он подпрыгнул?

— О да, дедушка. Он подпрыгнул, как козел!

— В самом деле?! Это так мне напоминает гувернантку Джулии. Твоя тетя Джулия однажды выстрелила в свою гувернантку при точно таких же обстоятельствах. Та завязывала шнурок на ботинке.

— О! А она подпрыгнула?

— Конечно, мой мальчик!

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

— Ха... хм... э... Ну, значит, так, — сказал лорд Эмсворт. В его душу стало закрадываться запоздалое сомнение — правильный ли тон он выбрал для разговора. — Значит, это самое, Джордж, мне, конечно, придется конфисковать этот... э... инструмент.

— Валяй, дедушка, — сказал Джордж с уступчивостью мальчика, знающего, что наверху в ящике его комода лежат две запасные рогатки.

— Я, понимаешь, не могу позволить тебе слоняться по имению и стрелять в людей.

— О'кей, шеф.

Лорд Эмсворт любовно погладил ружье. Ностальгическое чувство в нем росло.

— Знаешь ли, молодой человек, когда я был мальчишкой, у меня было такое же.

— Да ну? Разве в то время уже изобрели ружье?

— Да, у меня было ружье, когда я был в твоем возрасте.

— И тебе удалось что-нибудь подстрелить, дедушка?

Лорд Эмсворт почувствовал себя несколько задетым.

— Конечно. Я подстрелил много чего. Крыс и всякое такое. Я был очень метким стрелком. Теперь я даже не смог бы зарядить эту чертову штуку.

— Оно заряжается вот так, дедушка. Ты его открываешь вот так, загоняешь сюда пульку, защелкиваешь, и все готово.

— В самом деле? Вот так? Понимаю. Да, конечно, теперь я вспомнил.

— Чего-нибудь крупного из него не подстрелишь, — сказал Джордж с задумчивостью, которая выдавала затаенное стремление к более высоким целям. — Но все равно оно очень годится, чтобы пулять в коров.

— И в Бакстера.

— Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха!

Лорд Эмсворт еще раз попытался найти правильный тон.

— Мы не должны над этим смеяться, мой мальчик. Это не предмет для шуток. Это очень нехорошо — стрелять в Бакстера.

— Но он ... .

— Да, он ... , — согласился лорд Эмсворт, как всегда честный в суждениях. — И все же помни: он твой гувернер.

— Ну да, но я не понимаю, почему мне навязывают гувернера во время летних каникул. Я потею, как скотина, всю осень и зиму в школе, — сказал Джордж, и голос его задрожал от жалости к самому себе. — и вдруг — раз! — как палкой по голове... в самые каникулы тебе на шею навешивают гувернера! Я это называю свинством!

Лорд Эмсворт мог бы сказать мальчику, что в Бландингском замке назревает свинство и почище этого, но воздержался. Он отпустил его с доброй, сочувственной улыбкой и продолжал любовно поглаживать духовое ружье.

Как и у многих людей, вступающих в осеннюю пору жизни, у лорда Эмсворта была память особого рода. Ей нельзя было доверять ни на йоту, если речь шла о событиях, случившихся вчера. От нее почти всегда было мало толку даже в таких мелочах, как поиски шляпы, которую он куда-то положил пять минут назад. Но в качестве компенсации его память могла служить полной энциклопедией отдаленного прошлого. Его детство разворачивалось перед ним как открытая книга.

Лорд Эмсворт погрузился в приятные воспоминания детства. Счастливые дни, счастливые дни! Он ясно увидел дядю, подарившего ему точно такое же ружье, из которого его сестра Джулия стреляла в гувернантку. Он вспоминал бодрые, ветреные утренние часы, когда он крался по двору конюшни в надежде подстрелить крысу — и мог похвастаться славными трофеями. Странно, что бег времени убил это желание бродить с духовым ружьем и брать что-нибудь на мушку...

Но смог ли?

Со странной дрожью, из-за которой его пенсне закачалось на носу, лорд Эмсворт внезапно осознал, что не смог. Время смогло лишь ненадолго подавить желание целиться — лет этак на сорок или около того. Он вдруг осознал, что это желание, находившееся в состоянии спячки — скажем, лет пятьдесят, — все еще тлело где-то в глубинах его естества. И теперь оно мало-помалу начинало в нем бродить. И пока он сидел, любовно поглаживая ружье, он медленно, но верно снова превращался в потенциального стрелка.

Ружье вдруг выстрелило, вдребезги разбив бюст Аристотеля.

Этого оказалось достаточно, чтобы в нем пробудился старый охотничий инстинкт. Перезарядив ружье с быстротой и ловкостью какого-нибудь лесного следо-

пыта, лорд Эмсворт подошел к окну. Он пребывал в некоторой нерешительности относительно того, что он будет делать, оказавшись у окна, — у него только созрело ясное намерение разрядить ружье в какую-нибудь цель. В его голове промелькнули слова Джорджа «пулять в коров», и это в какой-то мере помогло ему сформулировать идею о возможной цели. Правда, по террасе Бландингского замка коровы не разгуливали. Но все же какая-нибудь шальная могла и забрести — от коров можно ожидать чего угодно.

Коров на террасе не оказалось. Но там оказался Руперт Бакстер. Экс-секретарь как раз собирался бросить сигаретный окурок.

Большинство мужчин не обращают внимания, куда они бросают окурки. Их пепельница — весь мир. Но у Руперта Бакстера была душа аккуратиста. Правда, он позволил окурку упасть на землю, как это сделал бы всякий обыкновенный молодой человек, но как только он это сделал, пробудилась его лучшая половина. Он нагнулся, чтобы подобрать предмет, нарушающий гармонию гладких, плоских камней; и манящий вид его заднего фасада явился искушением, которому не смог бы противиться и более сильный человек, чем лорд Эмсворт.

Он нажал на курок, и Руперт Бакстер с громким воплем подскочил в воздух. Лорд Эмсворт снова уселся в кресло и раскрыл «Уход за свиньями» Уиффи.

В наши дни все интересуются психологией преступника. Поэтому рассказчик может, не рискуя злоупотребить вниманием читателя, задержаться на этом месте повествования и исследовать душевное состояние лорда Эмсворта после совершения им только что описанного черного деяния.

Сначала, после того как он уселся в кресло и начал перелистывать страницы Уиффи, его охватило нечто вроде мягкой, приятной истомы; он почувствовал своего рода трепетную радость, как если бы он заслужил всенародное признание каким-нибудь выдающимся поступком на благо общества.

Причиной этого трепетного теплого чувства был не просто тот факт, что он заставил своего бывшего служащего проделать такой славный прыжок. Особое удовлетворение он испытывал от того, что оказался таким великолепным стрелком. Он был самолюбивым человеком, и хотя в разговоре с внуком Джорджем старался не показать своих эмоций, ему не удалось полностью скрыть, что его глубоко уязвило легкомысленное замечание мальчика, подвергшее сомнению его меткость в те времена, когда он был обладателем духового ружья. «И тебе удалось что-нибудь подстрелить, дедушка?» Мальчишки говорят такие фразы безо всякого намерения нанести обиду, и тем не менее они пронзают броню самолюбия. «И тебе удалось что-нибудь подстрелить, дедушка?» Поистине неслыханное нахальство! Попробовал бы Джордж, сорок семь лет не нажимая на курок, с первого же выстрела влепить пульку в филейную часть секретаря с такого расстояния! Да к тому же еще при неважном освещении.

Но после того как он посидел какое-то время в этом молчаливом блаженстве, его настроение начало меняться. Удовлетворенность героя Дикого Запада, уложившего своего противника, никогда не может долго оставаться чистым, ничем не омраченным чувством. Рано или поздно в душу заползает мысль о Возмездии. То же случилось с лордом Эмсвортом. Внезапно он услышал голос Совести, шепчущий в его уши: «А что, если твоя сестра Констанция узнает об этом?» За секунду до того как он услышал этот голос, по лицу его бродила довольная улыбка; теперь эта улыбка застыла, а затем сменилась выражением напряженного беспокойства и тревоги.

И нельзя сказать, чтобы эта тревога была неоправданной. Он вспомнил, как испепеляюще-иронично и устрашающе реагировала Констанция даже на такой его пустячный проступок, как выход к обеду с галстуком, пришпиленным к рубашке бронзовой скрепкой для бумаг вместо более традиционной булавки. Воображение отказывало ему, когда он пытался представить себе, что она сделает в данной ситуации. Ему стало страшно... «Уход за свиньями» Уиффи выпал из его дрожащих рук, он откинулся назад с видом подстреленной утки. В этот момент в комнату вошла леди Констанция, сразу заметила новое выражение на лице лорда Эмсворта и решила выяснить причину.

— В чем дело, Кларенс?

— Дело?

— Почему ты сидишь с видом подстреленной утки?

— Я не сижу с видом подстреленной утки, — возразил лорд Эмсворт, собрав все остатки мужества, какие ему удалось мобилизовать.

— Ну как? — сказала леди Констанция, на время отложив эту тему. — Ты поговорил с Джорджем?

— Конечно. Да, конечно, я поговорил с Джорджем. Он только что был здесь, и

я... э... поговорил с ним.

— Что ты ему сказал?

— Я сказал, — лорд Эмсворт решил разъяснить все сомнения по этому поводу, — я сказал, что даже не знаю, как заряжаются эти штуки.

— Ты дал ему хороший нагоняй?

— Конечно, дал. Я сказал: «Э... Джордж, ты умеешь заряжать эту штуку, а я нет, но это не дает тебе права слоняться вокруг и стрелять в Бакстеров».

— И это все, что ты ему сказал?

— Нет. Это было только начало. Я...

Лорд Эмсворт замолчал. Он бы не мог закончить фразы, даже если бы ему предложили за это высокую награду. Ибо, в то время как он говорил, в дверях показался Руперт Бакстер, и лорд Эмсворт вжался в свое кресло, как какой-нибудь убийца, загнанный в угол полицейским.

Секретарь прихрамывая прошествовал в комнату. Он трясся от злости, и бросал из-за стекол очков дикие взгляды. Леди Констанция воззрилась на него с изумлением.

— В чем дело, мистер Бакстер?

— В чем дело? — голос Руперта Бакстера готов был сорваться, а сам он дрожал всем телом. Он утратил свою обычную учтивость и был явно не в том расположении духа, чтобы выбирать выражения. — В чем дело? Вы хотите знать, в чем дело? Этот проклятый мальчишка опять выстрелил в меня!

— Что?!

— Всего несколько минут тому назад. На террасе.

Лорд Эмсворт усилием воли стряхнул с себя оцепенение.

— Я думаю, что это ваше воображение, — сказал он.

— Воображение!! — Руперт Бакстер содрогнулся от очков до ботинок. — Я вам говорю, я был на террасе и нагнулся, чтобы подобрать окурок, и в этот момент что-то ударило меня в... Словом, что-то ударило меня.

— Наверное, вас ужалила оса, — сказал лорд Эмсворт. — В этом году их много. Интересно, — сказал он, стараясь завязать приятную беседу, — знает ли кто-нибудь из вас, что осы очень полезны? Они уничтожают личинок долгоножек, которые, как известно, наносят серьезный ущерб...

К беспокойству леди Констанции добавилось замешательство.

— Но этого не мог сделать Джордж, мистер Бакстер. Как только вы сообщили мне о том, что он натворил, я тут же отобрала у него духовое ружье. Посмотрите, вот оно лежит на столе.

— Вон там, на столе, — сказал лорд Эмсворт, с готовностью показывая на ружье. — Если вы подойдете сюда, вы его ясно увидите. Наверняка, это была оса.

— Ты выходил из комнаты, Кларенс?

— Нет. Все время был здесь.

— Тогда Джордж никак не мог выстрелить в вас, мистер Бакстер.

— Никак не мог, — сказал лорд Эмсворт. — Несомненно, оса. Если только, как я сказал, все это вам не привиделось.

Секретарь с достоинством выпрямился.

— Я не подвержен галлюцинациям, лорд Эмсворт.

— Нет, подвержены, мой дорогой. Я думаю, это из-за того, что вы умственно перенапрягаетесь. Всегда были подвержены.

— Кларенс!

— Да-да, он подвержен. Ты об этом знаешь так же хорошо, как и я. Помните случай, когда он выдирал цветы из цветочных горшков, потому что думал, что ты положила туда свое ожерелье.

— Я не...

— Да-да, это было, мой дорогой. Осмелюсь предположить, что вы об этом забыли, но это было. А после этого по причине, о которой вам лучше знать, вы начали бросать горшки в меня через окно моей спальни.

Бакстер повернулся к леди Констанции, покраснев до корней волос. Он предпочитал никогда не вспоминать об эпизоде, на который намекал его бывший работодатель.

— Лорд Эмсворт говорит о случае, когда было украдено ваше бриллиантовое ожерелье, леди Констанция. Я имел основание предполагать, что вор спрятал его в цветочном горшке.

— Да, я понимаю, мистер Бакстер.

— Ну что ж, вы можете придерживаться своей версии, — любезно сказал лорд Эмсворт. — Но видит Бог, я никогда не забуду, как я проснулся и увидел все эти

горшки, влетающие через окно, а потом выглянул наружу и увидел Бакстера на лужайке, в пижаме лимонного цвета, с диким взглядом...

— Кларенс!

— Хорошо, хорошо. Я просто упомянул об этом. Галлюцинации — они у него все время, — сказал он упрямо, хотя и сбавив тон.

Леди Констанция ворковала над секретарем, как мать над ребенком.

— Джордж действительно не мог этого сделать, мистер Бакстер. Ружье все время оставалось в этой...

Внезапно она замолчала. Ее красивое лицо вдруг словно окаменело. Когда она снова заговорила, воркующий оттенок исчез из ее голоса, а вместо него появился металл.

— Кларенс!

— Что, моя дорогая?

Леди Констанция, едва сдерживая себя, обратилась к Бакстеру:

— Мистер Бакстер, не будете ли вы так добры оставить нас на минуту. Я хочу поговорить с лордом Эмсвортом.

Когда дверь закрылась, наступило зловещее молчание, а потом послышался странный сипящий звук, как бывает при утечке газа из трубы. Это лорд Эмсворт пытался беспечно мурлыкать какой-то мотив.

— Кларенс!

— Да? Да, моя дорогая?

Окаменелость в выражении лица леди Констанции увеличивалась с каждым мгновением. Причиной тому была внезапно промелькнувшая у нее мысль о том, что, когда она входила в комнату, ее брат был похож на подстреленную утку. Люди с чистой совестью, подумала она, не бывают похожи на подстреленных уток. Беспристрастный наблюдатель мог бы принять за одну из этих птиц в подобной ситуации только человека, на совести которого лежит преступление.

— Кларенс, это ты выстрелил в мистера Бакстера?

К счастью, в ее поведении было нечто, что заставило лорда Эмсворта ожидать этого вопроса. Он был готов к нему.

— Я?! Кто, я?! Выстрелил в Бакстера? За каким дьяволом мне нужно было стрелять в Бакстера?

— Мы можем обсудить твои мотивы позднее. Сейчас я спрашиваю: это ТЫ выстрелил?

— Разумеется, нет.

— Ружье все время оставалось в этой комнате.

— Подумать только, стрелять в Бакстера! В жизни не слышал такого абсурда!

— И ты был все время здесь.

— Ну и что? Предположим, я был здесь. Предположим, я хотел выстрелить в Бакстера. Предположим, каждая жилка в моем организме шептала мне, черт возьми: выстрели в этого субъекта. Как бы я это сделал, если даже не знаю, как заряжается эта штуковина?

— Ты когда-то очень хорошо знал, как заряжается духовое ружье.

— Я когда-то знал массу всего.

— Духовое ружье заряжается очень просто. Я сама могла бы это сделать.

— А я не смог бы.

— Тогда как ты объяснишь тот факт, что в мистера Бакстера выстрелили из ружья, которое все время оставалось в твоей комнате?

Лорд Эмсворт воздел руки к небесам.

— Откуда ты знаешь, что в него выстрелили из этого ружья? Боже милостивый, какие скоропалительные выводы делают женщины! Этого достаточно, чтобы... Откуда ты знаешь, что здесь нет другого духового ружья? Откуда ты знаешь, что здесь нет целого арсенала духовых ружей? Откуда ты знаешь, что у Биджа нет духового ружья? Или еще у кого-нибудь?

— Вряд ли я могла бы себе представить, что Бидж может выстрелить в мистера Бакстера!

— Откуда ты знаешь, что не может? У него было духовое ружье, когда он был мальчишкой. Он сам сказал это. На твоем месте я последил бы за ним.

— Не говори глупостей, Кларенс!

— Я не говорю и половины тех глупостей, какие говоришь ты. С чего бы я стал стрелять в людей из этого ружья? И как бы я мог, по-твоему, попасть в Бакстера с такого расстояния?

— Какого расстояния?

— Ведь он стоял на террасе. Он определенно сказал, что стоял на террасе. А я

был здесь. Только самый искусный стрелок мог бы подстрелить этого типа с такого расстояния. И ты думаешь, я такой стрелок? Один из тех молодцов, которые сбивают яблоки с головы своих сыновей?

Эти рассуждения, без сомнения, звучали правдоподобно. Они поколебали уверенность леди Констанции. Она нахмурилась в нерешительности.

— Все это очень странно. Мистер Бакстер уверен, что в него выстрелили.

— В этом нет ничего странного. Не было бы ничего странного, даже если бы Бакстер был убежден, что он турнепс и что от него откусил кусок белый кролик с розовыми глазами. Ты прекрасно знаешь, хоть и не хочешь признаваться в этом, что этот малый — буйнопомешанный.

— Кларенс!

— Что толку повторять «Кларенс»? Этот тип — псих до мозга костей и всегда был психом. Разве я не видел его на лужайке в пять утра в пижаме лимонного цвета, и он кидал цветочные горшки в мое окно? Ха! Вся эта история — явно плод его больного воображения. Как же, в него выстрелили! Никогда не слыхал подобной чепухи. А теперь, — твердо сказал лорд Эмсворт, поднимаясь с кресла, — я намереваюсь прогуляться и посмотреть на мои розы. Я удалился в эту комнату, чтобы спокойно почитать и поразмышлять, а вместо этого туда-сюда то и дело снуют люди с известием, что хотят выйти замуж за мужчину по имени Аберкромби, и что в них стреляли, и что это я стрелял, и так далее, и тому подобное... Ей-богу, с тем же успехом можно было бы пытаться читать и размышлять посредине Пиккадилли-серкус. Фэ! — сказал лорд Эмсворт, который теперь был достаточно близко к двери, чтобы чувствовать себя в безопасности, произнося это нелюбезное восклицание. — Фэ! — сказал он и, добавив в качестве заключительного аккорда «Ха!», быстро ретировался за дверь.

Но и теперь его встревоженной душе не дано было обрести спокойствие. Чтобы достичь парадной двери Бландингского замка, если вы выходите из библиотеки и спускаетесь по главной лестнице, вы должны пройти через холл. Слева от холла расположен маленький кабинет. И у выхода из этого кабинета стояла племянница лорда Эмсворта Джейн.

— Йо-хо![1] — крикнула она. — Дядя Кларенс!

У лорда Эмсворта не было никакого желания видеть йохокающих племянниц. Возможно, Джорджу Аберкромби доставило бы удовольствие поболтать с этой девушкой. Возможно, и Герберту, лорду Роугейту. Но лорд Эмсворт жаждал уединения. В продолжение этого дня он имел удовольствие насладиться такой порцией женского общества, что если бы у порога кабинета появилась Елена Прекрасная и йохокнула бы ему, он в ответ только ускорил бы шаги.

И он ускорил их.

— Не могу задерживаться, дорогая, не могу.

— О нет, можете, старина Меткий Глаз! — сказала Джейн; и лорд Эмсворт вдруг решил, что действительно может. Он остановился так резко, что это чуть не привело к смещению его позвоночника. Челюсть у него отвисла, и пенсне задрожало на шнурочке, как осенний лист на ветру.

— Том Два Пистолета, Меткий Глаз Прерий, не знает промаха. Будьте добры пройти сюда, дядя Кларенс, — сказала Джейн. — Я хочу перекинуться с вами парой слов.

Лорд Эмсворт проследовал за девушкой в кабинет и плотно закрыл за собой дверь.

— Ты... Ты не видела меня? — спросил он дрожащим голосом.

— Конечно, я видела вас, — сказала Джейн, — я с живейшим интересом следила за этой историей с начала до конца.

Лорд Эмсворт доковылял до кресла и рухнул в него, глядя остекленевшими глазами на племянницу. Всякий чикагский бизнесмен-гангстер современной школы понял бы, что он испытывал, и преисполнился бы к нему сочувствием.

То, что портит жизнь гангстерам и иногда заставляет задумываться о том, стоит ли продолжать бизнес, — это склонность посторонней публики встревать в самый неподходящий момент. Стоит вам только решиться уладить деловой спор с коммерческим конкурентом с помощью пистолета-автомата, всегда найдется какой-нибудь назойливый свидетель, который как раз в это время шел мимо, — и пожалуйста вам, у вас на руках новая проблема.

А лорд Эмсворт оказался еще в худшей ситуации, чем его духовный собрат из Чикаго, потому что у последнего всегда остается альтернатива разрешить свои за-

[1] Возглас американских ковбоев.

труднения, отправив свидетеля к праотцам. Ему же не дано было даже этого меланхолического удовольствия. Известный шропширский землевладелец, обязанный поддерживать свою репутацию в графстве, не может отправлять к праотцам своих племянниц. Все, что ему остается делать, когда племянницы сообщают, что видели его в момент совершения преступления, это смотреть на них остекленевшими глазами.

— Во время всего представления у меня было место в первом ряду, — продолжала Джейн. — Выйдя от вас, я укрылась в кустах, чтобы пролить там море слез из-за вашей ужасной жестокости и бесчеловечности. И пока я проливала море слез, я вдруг увидела, как вы высунулись из окна библиотеки со злодейским выражением лица, а в руках у вас духовое ружье маленького Джорджа. И я уже подумывала о том, где бы мне найти камень, чтобы запустить в вас, потому что вы, по-моему, с самого начала напрашивались на что-нибудь в этом роде, но тут вы подняли ружье, и я увидела, что вы во что-то прицеливаетесь. Через секунду раздался выстрел, крик — и мистер Бакстер плавает в луже крови. И пока я так стояла и наблюдала эту картину, меня посетила интересная мысль: «А что скажет тетя Констанция, когда я расскажу ей обо всем этом?»

Лорд Эмсворт издал горлом низкий клокочущий звук, как подстреленная утка в смертельной агонии, с которой его сравнила сестра.

— Но ты... ты ведь не расскажешь ей?

— А почему бы и нет?

Лорд Эмсворт содрогнулся.

— Я умоляю тебя не делать этого, дорогая моя. Ты же знаешь ее. Она отравит все мое дальнейшее существование.

— Вы предполагаете, что она устроит вам ад кромешный?

— Да.

— То же самое сделаю я. И вы полностью заслуживаете этого!

— Моя дорогая!

— А что, не заслуживаете? Посмотрите, как вы себя вели. Трудились как бобер, чтобы разрушить счастье всей моей жизни.

— Я не хочу разрушить счастье всей твоей жизни.

— Не хотите? Тогда садитесь за этот стол и немедленно пишите короткое письмо к Джорджу с предложением этого места.

— Но...

— Что вы сказали?

— Я сказал только «но»...

— Больше так не говорите. Я хочу от вас одного, дядя Кларенс, — немедленной и сердечной любезности. Вы готовы? «Дорогой мистер Аберкромби...»

— Я не знаю, как пишется его фамилия, — сказал лорд Эмсворт с видом человека, который нашел решение, приемлемое для обеих сторон.

— Я продиктую вам. А-б, аб; е-р, ер; к-р-о-м, кром; б-и, би. Все вместе составит слово «Аберкромби», фамилия человека, которого я люблю. До вас дошло?

— Да, — сказал лорд Эмсворт замогильным голосом, — до меня дошло.

— Тогда продолжайте. «Дорогой мистер Аберкромби. В соответствии — одно «с», два «о», «т», «в», «е», опять «т», «с», «т» и «вии» — с нашей устной договоренностью...»

— Но я в жизни своей никогда не разговаривал с ним.

— Не имеет значения. Это просто формальность. «В соответствии с нашей устной договоренностью, я имею удовольствие предложить вам должность управляющего в Бландингском замке и буду рад, если вы сможете немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. Искренне ваш, Эмсворт. Э-м-с-в-о-р-т».

Джейн взяла письмо, осторожно промокнула его пресс-папье и спрятала в какой-то карманчик на своем платье.

— Прекрасно. — сказала она, — это все. Большущее вам спасибо, дядя Кларенс. Этим вы загладили ваше недавнее гнусное поведение, когда вы пытались разрушить счастье всей моей жизни. У вас был никуда не годный старт, но на финише вы были великолепны.

Пылко поцеловав его, она выпорхнула из комнаты, и лорд Эмсворт, скрючившись в своем кресле, старался не смотреть на видение своей сестры Констанции, возникающее перед его глазами. Что Конни скажет, когда узнает, что в нарушение ее прямого наказа он дал этому молодому человеку...

Думая о леди Констанции, он спрашивал себя, найдется ли еще хоть один человек на свете, настолько затюканный своей сестрой. Он сознавал, что с его стороны поднимать лапки вверх и виновато вилять хвостом при нападении всего-навсего сестры — признак непростительной слабости. Большинство мужчин приберегают такое

поведение для своих жен. Но так было всегда, начиная с детских лет, которые он помнил так хорошо. А теперь, думал он, слишком поздно что-либо менять.

Единственное утешение, которое он мог отыскать в этой мрачный час, состояло в том, что как бы ни ужасна была ситуация, в которой он оказался, она, несомненно, могла быть еще ужаснее. По крайней мере, не было опасности, что его роковая тайна окажется раскрытой. Этот мгновенный импульс нежданно вернувшегося детства никогда не послужит пунктом его обвинения. Конни никогда не узнает, чья рука нажала на курок, произведя фатальный выстрел. Никогда не узнает об этом и Бакстер. Бакстер будет жить, пока не превратится в старого, седовласого клоуна в очках, и этот инцидент навсегда останется для него неразрешенной загадкой.

Ему чертовски повезло, подумал лорд Эмсворт, что этот тип не подслушивал у двери во время последнего разговора.

И как раз в этот момент какой-то звук заставил его обернуться, а обернувшись — резко подскочить в кресле, едва не повредив себе внутренности. Над подоконником открытого окна медленно поднимались голова и плечи Руперта Бакстера, словно это был мертвец, восстающий из могилы, чтобы явиться своему убийце. Стекла очков Бакстера блестели в лучах вечернего солнца, и лорду Эмсворту показалось, что они пылают, как глаза дракона.

Руперт Бакстер не подслушивал у двери. Ему не надо было утруждать себя этим. Под окном кабинета Бландингского замка стоит старинная садовая скамья, и на этой скамье он и сидел с начала до конца разговора, который мы только что описали. Если бы он был непосредственно в комнате, он, возможно, услышал бы все еще лучше, но ненамного.

Когда лицом к лицу сталкиваются два человека, один из которых только что стрелял в другого из духового ружья, а второй только что узнал, кто в него стрелял, трудно ожидать, чтобы у них сразу завязался светский разговор. Они будут испытывать чувство некоторой неловкости — то, что французы называют «qêne». В первые полминуты этой встречи гробовое молчание нарушилось только тем, что лорд Эмсворт откашлялся и немедленно после этого опять замолчал. И вполне возможно, что это молчание продолжалось бы еще долго, если бы Бакстер не пошевелился, как бы собираясь удалиться. Все это время он в упор смотрел на своего бывшего работодателя, на лице которого даже самый невнимательный наблюдатель мог бы прочесть, как в открытой книге, целую гамму противоречивых чувств. Теперь Бакстер сделал шаг назад, и к лорду Эмсворту вернулся дар речи.

— Бакстер!

В голосе девятого графа явно слышалась мольба. Не часто случалось, чтобы он хотел задержать хоть на минуту Руперта Бакстера и поговорить с ним, но сейчас он испытывал самое горячее желание сделать именно это. Он хотел смягчить его, извиниться перед ним, объяснить ему. Он даже готов был, если это окажется необходимым, предложить этому типу как цену за молчание его старое место личного секретаря.

— Бакстер, дорогой мой!

Срывающийся в агонии почти на фальцет голос обладает неотразимой силой даже для человека в душевном состоянии Руперта Бакстера. Он не намеревался задерживаться, но сделал это, и лорд Эмсворт, высунув голову из окна, с облегчением увидел, что тот еще находится в пределах достижения медоточивых речей.

— Э... Бакстер, — сказал он, — можете ли вы уделить мне минутку?

Очки секретаря холодно блеснули.

— Вы желаете говорить со мной, лорд Эмсворт?

— Именно так, — подтвердил его светлость, по-видимому, находя такую форму очень удачной для выражения своих намерений. — Да, я хотел бы поговорить с вами.

Он помолчал и снова откашлялся.

— Скажите мне, Бакстер, скажите мне, мой дорогой, вы сидели... э... вы сидели сейчас на этой скамье?

— Да, сидел.

— Вы, случайно, не слышали моего разговора с племянницей?

— Слышал.

— Тогда я думаю... Я предполагаю... Может быть... Не исключена возможность... Вы наверняка были удивлены?

— Я был потрясен, — сказал Руперт Бакстер, который в такой момент не собирался поддаваться на приманку всяких сладких слов.

Лорд Эмсворт в третий раз откашлялся.

— Я хочу вам все объяснить, — сказал он.

— В самом деле? — сказал Руперт Бакстер.

— Да. Я... э... весьма рад этой возможности все объяснить, — сказал лорд Эмсворт, хотя и с меньшей радостью в голосе, чем это можно было бы ожидать от человека, радующегося возможности объясниться. — Я предполагаю, что замечания моей племянницы могли ... э... создать у вас неверное впечатление.

— Напротив. Они создали совершенно верное впечатление.

— Они могли направить вас по ложному следу.

— Как раз наоборот.

— Но если память мне не изменяет... могло создаться впечатление... со слов моей племянницы создалось впечатление... тот, кто ее услышал, мог подумать... что я намеренно целился в вас.

— Именно так.

— Она все поняла не так, — с горячностью сказал лорд Эмсворт. — Она поставила все с ног на голову. Девушки часто несут такую чушь... создают полную неразбериху... сбивают с толку людей. Им следует быть осторожнее. В действительности же, дорогой мой, произошло следующее: я смотрел из окна библиотеки... в руках у меня было ружье, и, должно быть, я машинально нажал на спусковой крючок, потому что внезапно... без малейшего предупреждения... для меня это было полнейшей неожиданностью... эта чертова штука выстрелила. Совершенно случайно!

— Неужели?

— Чисто случайно. Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что я целился в вас.

— В самом деле?

— И мне не хотелось, чтобы вы говорили... э... кому-нибудь об этом неприятном инциденте, который мог бы создать у нее... я хотел сказать — у кого-нибудь... впечатление, что я целился в вас.

— В самом деле?

Лорд Эмсворт не был уверен, что поведение его собеседника внушает надежду. Он подозревал, что не достигает своей цели.

— Вот как все это произошло, — сказал он после паузы.

— Ясно.

— Чистая случайность. Я сам был потрясен.

— Ясно.

Лорду Эмсворту тоже все стало ясно. Он видел, что придется пустить в ход последний козырь. Не время было колебаться и подсчитывать «за» и «против». Он должен решиться на эту последнюю крайность, о которой он уже думал.

— Скажите, Бакстер, — сказал он, — у вас сейчас есть какие-нибудь планы?

— Да,— ответил Бакстер без малейшего колебания,— я собираюсь поговорить с леди Констанцией.

Какое-то время лорд Эмсворт не мог ничего сказать из-за спазмы в горле.

— Я имел в виду,— сказал он дрожащим голосом, когда спазма прошла,— я узнал от моей сестры, что в настоящий момент вы свободны... что вы ушли от этого малого, как там его... американца... и я надеялся, мой дорогой Бакстер,— проговорил лорд Эмсворт, как будто слова душили его,— что я, может быть, смогу убедить вас принять... возобновить... фактически я хотел просить вас... не согласитесь ли вы опять стать моим секретарем.

Он замолчал и, достав платок, в изнеможении вытер лоб. Роковые слова были произнесены, и теперь он чувствовал себя опустошенным и слабым.

— Вы просите меня об этом?— воскликнул Бакстер.

— Прошу,— подтвердил лорд Эмсворт бесцветным голосом.

В Руперте Бакстере внезапно произошла резкая перемена к лучшему. Эти слова были словно магическое заклинание, наполнив любезностью и светом того, кто до сих пор напоминал скорее грозовую тучу в очках, а не человеческое существо. Он перестал угрожающе нависать над головой. Больше не казалось, что он вот-вот метнет ветвистую молнию. Он даже снизошел до улыбки. И если от этой улыбки лорду Эмсворту показалось, что его внутренности взболтали маслобойкой, это была не вина Бакстера. Он пытался улыбнуться солнечной улыбкой.

— Благодарю вас,— сказал он. — Я охотно принимаю ваше предложение.

Лорд Эмсворт промолчал.

— Я всегда чувствовал себя прекрасно в замке.

Лорд Эмсворт опять промолчал.

— Весьма вам благодарен,— сказал Бакстер.— Какой прекрасный вечер!

Он исчез из виду, и лорд Эмсворт стал думать о вечере. Как правильно заметил Бакстер, вечер действительно был прекрасным, но он не принес ему того успокоения, какое обычно приносили прекрасные вечера. Надо всем как будто нависла тень тления. Заходящее солнце исправно светило на аккуратный сад, раскинувшийся перед

глазами лорда Эмсворта, но его душа была более восприимчива к удлиняющимся теням, чем к солнечному свету.

Сердце его изнемогало под бременем печали. О, как сказал поэт, какую запутанную сеть мы ткем, если начинаем с обмана[1], и то же самое можно сказать, осознал лорд Эмсворт, если мы начинаем со стрельбы из духового ружья. Какой-то глупый, импульсивный выстрел в Бакстера — и какие плоды, какое возмездие! В результате этого единственного, глупейшего выстрела ему пришлось пополнить свой персонал управляющим, что приведет в ярость его сестру Констанцию, и личным секретарем, что снова превратит его жизнь в сущий ад, каким она была в старые, черные бакстеровские дни. Он вряд ли бы попал в худшее положение, если бы начал строчить направо и налево из пулемета.

В конце концов он вышел из кабинета, еле волоча ноги, и проследовал в сад, чтобы осуществить свой прежний план — погулять и понюхать розы. Так он провел больше часа. И когда наконец к нему приблизился его верный дворецкий Бидж, мысли лорда Эмсворта витали так далеко, что Бидж вынужден был обратиться к нему дважды, прежде чем тот отвел свой нос от «Gloire de Dijon»[2].

— Да?

— Записка для вас, милорд.

— Записка? От кого?

— От мистера Бакстера, милорд.

Если бы на душе лорда Эмсворта не лежал такой тяжелый груз забот, он заметил бы, что голосу его дворецкого не хватало обычной сочной полноты. Он звучал глухо и невыразительно. Это был голос дворецкого, упустившего свою синюю птицу. Но, будучи погружен в свои мысли и поэтому не в настроении анализировать звуковые узоры голосов дворецких, лорд Эмсворт просто взял конверт с подноса и нехотя открыл его, размышляя, о чем может писать ему в записке Бакстер.

Записка была такой короткой, что он получил полную информацию с первого взгляда:

«После всего случившегося, лорд Эмсворт, я вынужден пересмотреть свое решение принять должность секретаря, которую вы мне предложили. Я немедленно покидаю замок.

Р. Бакстер».

Только это и ничего больше.

Лорд Эмсворт в оцепенении уставился на записку. Мало сказать, что он пришел в замешательство — он был в абсолютном тупике. Если бы «Gloire de Dijon», которую он недавно нюхал, вдруг вцепилась бы ему в нос и откусила его кончик, это вряд ли ошарашило его сильнее. Он не знал, что и думать.

Откуда-то издалека до него донесся голос Биджа.

— А?

— Мое уведомление, милорд.

— Ваше что?

— Мое уведомление, поданное за месяц, милорд.

— Какое уведомление?

— Я сказал, милорд, что хотел бы подать уведомление об уходе за месяц вперед.

Лорда Эмсворта охватило тихое бешенство по поводу всей этой болтовни. Он тут пытается разобраться с этими ужасными несчастьями, свалившимися на него, а Бидж что-то бормочет, мешая ему сосредоточиться.

— Да-да-да, — сказал он. — Хорошо. Ладно. Да-да.

— Очень хорошо, милорд.

Оставшись один, лорд Эмсворт попытался осмыслить факты. Теперь он понял, что случилось. Смысл записки прояснился. Она означала, что по какой-то причине его козырная карта оказалась битой. Он пытался закрыть рот Бакстеру взяткой и потерпел фиаско. Казалось, что этот тип принял протянутую ему оливковую ветвь, но потом его чувства почему-то резко изменились, и он передумал. Наверное, сильная боль в раненом месте напомнила ему о причиненном оскорблении, и он предпочел месть материальному процветанию. И теперь он решил все выложить. Возможно, как раз в этот момент он сообщает все относящиеся к делу факты леди Констанции. И возможно, как раз в этот момент, подумал лорд Эмсворт с содроганием, его сестра разыскивает его.

Вид женской фигуры, приближающейся к нему по дорожке, обсаженной розами, вызвал у него сильнейшую за этот день дрожь, и на какой-то момент он застыл в стойке, как пойнтер. Но это оказалась не сестра Констанция, а племянница Джейн.

---

[1] *Вальтер Скотт*. Мармион, 6,17.

[2] «Слава Дижона» — сорт розы (*франц.*).

Джейн находилась в прекрасном расположении духа.

— Хэлло, дядя Кларенс! — сказала она. — Любуетесь розами? Я отослала письмо Джорджу, дядя Кларенс. Я поручила это мальчишке, который чистит ножи и ботинки. Славный парень. Его зовут Сирил.

— Джейн, — сказал лорд Эмсворт, — произошло нечто ужасное, непоправимое. Бакстер сидел под окном комнаты, где мы разговаривали, и все слышал.

— Черт! Не может быть!

— Может. Он все слышал, каждое слово. И он собирается все передать твоей тетке.

— Откуда вы знаете?

— Прочти это.

Джейн взяла записку.

— Хм, — сказала она, проглядев ее. — Что ж, я думаю, дядя Кларенс, что вам остается только один выход. Вы должны самоутвердиться.

— Самоутвердиться?

— Вы понимаете, что я имею в виду? Проявите жесткость. Когда тетя Констанция придет и попытается задать вам взбучку, сложите руки на груди, наклоните голову набок и цедите каждое слово сквозь зубы.

— Но что я скажу?

— Боже мой, вы можете сказать тысячу вещей: «Эй, минуточку!», «Ха!», «Чего надо?», «Слушай-ка, беби», «Слиняй!»

— «Слиняй»?

— Это означает «выметайся отсюда».

— Но я не могу сказать Конни «выметайся отсюда».

— Почему? Разве вы не хозяин в собственном доме?

— Нет, — сказал лорд Эмсворт.

Джейн немного подумала.

— Тогда я скажу, что вам делать. Отрицайте все начисто.

— Ты думаешь, я смогу?

— Конечно, сможете. Тогда тетя Констанция спросит меня, и я тоже буду все начисто отрицать. Категорически. Мы оба будем отрицать категорически. Ей придется нам поверить. Мы будем двое против одного. Не беспокойтесь, дядя Кларенс. Все будет олл райт.

Джейн говорила с оптимизмом юности, и когда она через несколько минут удалилась, то была уверена, что оставляет дядю успокоенным. Лорд Эмсворт слышал, как она напевает веселую песенку.

Но его не тянуло составить дуэт, и он не разделял ее радужного настроения. Он думал о будущем, и оно по-прежнему казалось ему мрачным.

Существовало только одно средство, способное отвлечь его ум от этого мрачного будущего, только один способ на какое-то время забыть о предстоящих испытаниях. Через пять минут лорд Эмсворт уже был в библиотеке и погрузился в чтение «Ухода за свиньями» Уиффи.

Но существует граница, за пределами которой магия даже самых великих писателей перестает действовать. Уиффи был великолепен, вне всякого сомнения, но не настолько великолепен, чтобы вытеснить из ума груз забот, тяготевший над лордом Эмсвортом. Требовать этого было бы уж слишком — все равно что просить Уиффи развлечь и позабавить человека, корчащегося на дыбе.

Лорду Эмсворту стало уже трудно сосредоточиться на этой совершенной прозе, да и шансы на успех его стараний вскоре вообще исчезли: на пороге появилась леди Констанция.

— А, ты здесь, Кларенс, — произнесла она.

— Да, — слабым, страдальческим голосом отозвался лорд Эмсворт.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить в поведении леди Констанции, когда она входила в комнату, некоторую нервозность и тревогу, даже почти робость, но лорду Эмсворту она казалась такой же, как всегда, и он смотрел на нее со страхом, словно на бомбу с часовым механизмом. На него нашло странное оцепенение. Он почти отвлеченно старался угадать, за какое из его преступлений ему придется сейчас держать ответ. Может, она встретила Джейн и узнала о роковом письме? Или она пришла прямо после разговора с Бакстером, в котором этот мученик выложил ей все?

Он был уверен, что цель ее прихода — расправа над ним за одно из этих преступлений, поэтому ее поведение в начале разговора повергло его в крайнее изумление. Она не только не была в ярости — она была приветлива. Это выглядело так, словно в библиотеку вошел лев и вдруг заблеял, как ягненок.

— Ты совсем один, Кларенс?

Лорд Эмсворт водворил на место отвисшую нижнюю челюсть и сказал: да, он совсем один.

— Что ты поделываешь? Читаешь?

Лорд Эмсворт сказал: да, читает.

— Я тебе не мешаю, нет?

Лорду Эмсворту, хотя изумление почти лишило его дара речи, удалось пробормотать: нет, она ему не мешает. Леди Констанция подошла к окну и посмотрела на парк.

— Какой чудесный вечер.

— Да.

— Странно, почему ты не гуляешь?

— Я гулял. Я вернулся.

— Да. Я видела тебя в саду среди роз. — Леди Констанция стала рисовать пальцем узоры на подоконнике. — Ты разговаривал с Биджем?

— Да.

— Да, я видела, что Бидж подошел к тебе и говорил с тобой.

Наступило молчание. Лорд Эмсворт уже готов был нарушить его, спросив сестру, не заболела ли она, когда леди Констанция вновь заговорила. Робость в ее манерах и какая-то нервозность стали еще заметнее. Она вывела на подоконнике новый узор.

— Это было что-то важное?

— Что было важное?

— Он чего-то хотел?

— Кто?

— Бидж.

— Да.

Внезапно в голове лорда Эмсворта промелькнула мысль, что Бидж действительно вручил ему не только записку Бакстера. Вместе с запиской — черт возьми, теперь он это ясно вспомнил — он вручил ему уведомление, он уходит через месяц. И то, что уведомление об уходе такого первоклассного дворецкого, как Бидж, почти ускользнуло от его внимания, показало лорду Эмсворту, в пучину каких бедствий он был в это время погружен. Если бы такое событие случилось хотя бы вчера, оно приобрело бы размер катастрофы. Он воспринял бы это как потрясение основ миропорядка. А теперь он едва обратил на это внимание. «Да-да», — сказал он, если память ему не изменяет. «Да-да-да. Хорошо». Или что-то в этом роде.

Сосредоточив теперь все свои мысли на этой катастрофе, лорд Эмсворт сидел как в параличе. С незапамятных времен этот супердворецкий находился в замке, и вот он собирается растаять вдали, как снег под лучами солнца — насколько может растаять, как снег, мужчина, в котором одного веса двести тридцать фунтов. Это было ужасно и казалось наваждением. Он просто не мыслил существования без Биджа. Жизнь без Биджа не могла продолжаться.

С губ его сорвался громкий, мучительный крик:

— Конни! Ты знаешь, что произошло?! Бидж хочет уйти!

— Что?!

— Да! Уведомление, поданное за месяц. Он подал его. Бидж подал. И безо всякого объяснения. Без всяких причин. Без...

Лорд Эмсворт неожиданно замолчал. Его лицо вдруг застыло. У него внезапно мелькнула догадка — единственное, по-видимому, объяснение этой тайны. Причиной всему могла быть только Конни. Конни, наверное, вела себя с дворецким высокомерно, как знатная дама, и ранила его чувствительное сердце.

Да, в этом, должно быть, все дело. Как раз такая штука, какую она могла выкинуть. Если он застал ее один раз, когда она строила из себя Старинную Английскую Аристократку, она могла это делать и сотни раз. Эта манера кривить губы, поднимать брови и вообще изображать Потомка Сотни Графов. Конечно, ни один дворецкий не смог бы этого вынести.

— Конни, — вскричал он, укрепляя на носу пенсне и бросая пронзительный и обвиняющий взгляд, — что ты сделала с Биджем?

Из груди леди Констанции исторглось нечто почти похожее на рыдание. Ее красивое лицо побледнело, и вся она как будто съежилась.

— Я выстрелила в него, — прошептала она.

Лорд Эмсворт решил, что ослышался.

— Что ты сделала?

— Я выстрелила в него.

— Выстрелила?!

— Да.

— Ты хочешь сказать, выстрелила в него?

— Да, да, да! Я выстрелила в него из ружья Джорджа.

Лорд Эмсворт судорожно вздохнул. Он откинулся на спинку кресла, и ему показалось, что библиотека водит хоровод у него перед глазами. Сказать, что он почувствовал слабость от огромного облегчения, — значило бы недооценить эффект этого невероятного сообщения. Он ощутил такую неимоверную легкость, что тело его словно осталось без костей. За последние пятнадцать минут он не раз и не два говорил себе, что только чудо может спасти его от возмездия за преступления, и вот такое чудо случилось. Он знал, как никто другой, что бесцеремонность женщин может быть безграничной, но после этого даже у Конни наверняка не хватит бесцеремонности бросить ему упрек за содеянное.

— Выстрелила в него?! — вопросил он, вновь обретя дар речи.

Мимолетный отзвук былой властности вернулся к леди Констанции.

— Перестанешь ты наконец повторять эти слова, Кларенс?! Разве недостаточно того, что я совершила абсолютно сумасшедший поступок, а теперь должна еще слушать, как ты бубнишь, словно попугай! О Боже!

— Но зачем ты это сделала?

— Я не знаю. Говорю тебе, я не знаю. Что-то на меня вдруг накатило. Меня словно заколдовали. После того как ты ушел, я подумала, что лучше отнести ружье Биджу...

— Почему?

— Я... я... Ну, я подумала, что будет безопасней, если оно будет у него, а не здесь, в библиотеке. Поэтому я взяла его и пошла вниз, в кладовую. И всю дорогу мне вспоминалось, каким отличным стрелком я была в детстве...

— Что?! — лорд Эмсворт не мог оставить это без внимания. — Что ты хочешь сказать? Была отличным стрелком? Да ты ни разу в жизни не стреляла!

— Я стреляла. Кларенс, ты тут говорил о том, как Джулия выстрелила в мисс Мэйплтон. Это была не Джулия, это была я. Мисс Мэйплтон заставила меня остаться в классной и снова зубрить реки Европы, и я в отместку выстрелила в нее. Я была тогда метким стрелком.

— Держу пари, что ты мне и в подметки не годилась, — сказал лорд Эмсворт, задетый за живое. — Я стрелял в крыс.

— И я стреляла в крыс.

— Сколько всего крыс ты подстрелила?

— Ох, Кларенс, Кларенс! При чем тут крысы?

— Да, — сказал лорд Эмсворт, приведенный в чувство. — Да, к черту крыс. Крысы ни при чем. Расскажи мне об этой истории с Биджем.

— Ну, когда я вошла в кладовую, там никого не было, и я увидела Биджа снаружи, около лаврового куста. Он сидел в садовом кресле и читал.

— На каком расстоянии?

— Я не знаю. Какое это имеет значение? Я не могла преодолеть искушения. В моем мозгу возникло какое-то извращенное видение — как он подпрыгнет. И я выстрелила в него и попала.

— Откуда ты знаешь? Я уверен, что ты промахнулась.

— Нет. Потому что он подпрыгнул. А потом он увидел меня в окне и подошел, и я сказала: «О Бидж, я хочу, чтобы вы взяли это ружье и припрятали его», а он сказал: «Очень хорошо, миледи».

— Он ничего не сказал по поводу твоего выстрела?

— Нет. И я все надеялась, что он не понял, что произошло. Я изнемогала от неопределенности. Но теперь ты сказал мне, что он подал уведомление, — значит, он знает, знает, Кларенс! — вскричала она, заламывая руки, как трагическая героиня на сцене. — Ты понимаешь, в каком мы ужасном положении? Если он уйдет от нас, он разнесет эту историю по всему графству, и люди будут считать меня сумасшедшей. Этого я не переживу. Ты должен убедить его забрать назад уведомление. Предложи ему удвоенное жалованье. Предложи ему что угодно. Ему нельзя позволить уйти от нас. Если он уйдет, я никогда... Ш-ш!

— Что ты хочешь сказать этим «ш-ш»... О-о... — произнес лорд Эмсворт, заметив наконец, что дверь открывается.

Вошла его племянница Джейн.

— О, хэлло, тетя Констанция, — сказала она. — Я подумала, может быть, вы здесь. Вас ищет мистер Бакстер.

Леди Констанция слушала рассеянно.

— Мистер Бакстер?

— Да. Я слышала, как он спрашивал Биджа, где вас найти. Я думаю, он хочет о чем-то поговорить с вами.

Она бросила на лорда Эмсворта быстрый взгляд и подмигнула украдкой. «Помните?» — внушал ее взгляд. «Категорически!» — говорило подмигивание.

За дверью послышались шаги. В комнату ступил Руперт Бакстер.

Несколько ранее в нашем повествовании мы уподобили вид Бакстера, кипящего от негодования, грозовой туче, и у читателя в голове создалось, возможно, представление об обычной грозовой туче, такой, которая немного погрохочет и успокоится без особых последствий. Но теперь секретарь был похож не на такую тучу, а на одну из тех гроз, которые порой разражаются над городами в тропиках и затопляют округу, и тысячи жителей спасаются вплавь. Он угрюмо прошагал прямо к леди Констанции, держа наготове руку для рукопожатия. Лорда Эмсворта он полностью проигнорировал.

— Я пришел попрощаться, леди Констанция, — сказал он.

Мало нашлось бы на свете заявлений, которые отвлекли бы в эту минуту леди Констанцию от тягостных раздумий, но это — отвлекло. Она перестала быть дамой, поглощенной драмой на охоте, и со страхом взглянула на него.

— Попрощаться?

— Попрощаться.

— Но мистер Бакстер, я надеюсь, вы не покидаете нас?

— Именно покидаю.

Руперт Бакстер в первый раз соизволил заметить, что девятый граф Эмсворт находится в комнате.

— Я не намерен, — сказал он, — оставаться в доме, где моя главная обязанность заключается, по-видимому, в том, чтобы служить мишенью для лорда Эмсворта и его духового ружья.

— Что?!

— Именно так.

В молчании, которое последовало за этими словами, Джейн еще раз бросила на дядю подбадривающий взгляд, который говорил: «Будьте непреклонны!» К ее величайшему удивлению, она заметила, что в напоминании не было нужды. Лорд Эмсворт и без того был тверд. Лицо его было спокойно, глаза смотрели прямо, даже пенсне не дрожало.

— Этот малый свихнулся, — сказал лорд Эмсворт ясным, звучным голосом. — Совершенно свихнулся. Я всегда говорил, что он того. Мишенью для моего духового ружья? Ха! Хо! О чем он болтает?

Руперт Бакстер задрожал от ярости. Его очки полыхали огнем.

— Вы станете отрицать, что стреляли в меня, лорд Эмсворт?!

— Конечно стану.

— Может быть, вы станете отрицать, что признались этой леди, когда были вместе с ней в кабинете, что стреляли в меня?

— Конечно стану.

— Вы говорили мне, что стреляли в мистера Бакстера? — спросила Джейн. — Что-то не припомню.

— Конечно, я этого не говорил.

— Я так и думала. Я бы запомнила.

Руперт Бакстер воздел руки к потолку, как бы призывая небо к справедливому суду.

— Вы лично признались мне в этом. Умоляли никому об этом не говорить. Пытались замять дело, предложив мне место секретаря, и я согласился. В тот момент я готов был полностью забыть происшедшее. Но не прошло и получаса...

Лорд Эмсворт поднял брови.

— Это удивительно, — сказала Джейн.

— Чрезвычайно, — сказал лорд Эмсворт.

Он снял пенсне и начал протирать его, говоря примирительным тоном. Но в его манерах, несмотря на примирительный тон, чувствовалась решительность.

— Бакстер, мой дорогой юноша, — сказал он, — всему этому можно найти только одно объяснение. Это именно то, о чем я вам говорил. У вас опять начались галлюцинации. Я никогда не говорил вам ни слова о том, что я стрелял в вас. Я никогда не говорил моей племяннице ни слова о том, что стрелял в вас. Зачем бы я стал об этом говорить, если я этого не делал? Что же касается того, что я предложил вам место секретаря, абсурдность этого утверждения бросается в глаза. Ничто на свете не заставило бы меня вновь взять вас в секретари. Я не хочу ранить ваши чувства, но я

бы скорее согласился околеть в канаве. А теперь послушайте, мой дорогой Бакстер, я дам вам хороший совет. Оседлайте ваш мотоцикл и продолжайте свое путешествие по Англии с того места, на котором вы его прервали. И скоро вы увидите, что свежий воздух сделает чудеса с вашим помешательством. Через день или два вы забудете, что...

Руперт Бакстер повернулся и пошатываясь вышел из комнаты.

— Мистер Бакстер! — вскричала леди Констанция.

Ее намерения бежать за этим субъектом и умолять его продолжать отравлять своим дьявольским присутствием мирную жизнь Бландингского замка было настолько очевидным, что лорд Эмсворт не колебался.

— Конни!

— Но Кларенс!

— Констанция, ты останешься там, где стоишь. Ты не сделаешь ни шага.

— Но Кларенс!

— Ни единого шага. Ты меня слышишь? Пусть линяет отсюда!

Леди Констанция была в нерешительности. Но тут она вдруг встретила прямой залп направленного на нее пенсне, и это подействовало так, словно в нее, как в Руперта Бакстера, ударила пуля. Она рухнула в кресло и сидела там, с безнадежным видом вертя кольца на своих пальцах.

— Да, между прочим, Конни, — сказал лорд Эмсворт, — я хотел тебе сказать. Я дал этому малому, Аберкромби, место, о котором он просил. Я тщательно все обдумал и решил написать ему пару строк о том, что в соответствии с нашей устной договоренностью я предлагаю ему место Симмонса. Я сделал кое-какие запросы и нашел, что он надежный парень.

— Он милашка, — сказала Джейн.

— Ты слышишь? Джейн говорит, что он милашка. Как раз такой парень, какой нужен для этого места.

— И мы теперь поженимся.

— И они теперь поженятся. Прекрасная партия, тебе не кажется, Конни?

Леди Констанция молчала. Лорд Эмсворт немного возвысил голос.

— Тебе не кажется, Конни?

Леди Констанция подскочила в своем кресле, как будто она услышала трубу Судного дня.

— Конечно, — сказала она, — да, конечно.

— Правильно, — сказал лорд Эмсворт. — А теперь я пойду и поговорю с Биджем.

В кладовой, печально глядя на двор конюшни, сидел Бидж, дворецкий, потягивая из стакана портвейн. В моменты душевной депрессии портвейн был для Биджа тем же, чем Уиффи для его работодателя, или, как мы теперь с прискорбием должны уточнить, его бывшего работодателя. Он искал в своем портвейне прибежища, когда жизнь сурово с ним обходилась, и никогда ранее жизнь не обходилась с ним так сурово, как сейчас.

Сидя здесь, в своей кладовой, в кладовой, которая скоро больше его не увидит, Бидж пребывал в глубоком отчаянии. Он скорбел, как некий свергнутый монарх, говорящий последнее «прости» своему былому величию перед отправкой в изгнание. Жребий был брошен. Наступил финал. Восемнадцать лет, восемнадцать счастливых лет он был на службе в Бландингском замке, и теперь он покидает его, чтобы никогда не возвращаться. Неудивительно, что он потягивал портвейн. Более слабый человек лакал бы бренди.

Какая-то стихийная сила распахнула дверь, и он обнаружил, что в его уединение вторгся лорд Эмсворт. Бидж вскочил с выпученными глазами. За все восемнадцать лет службы его работодатель ни разу не нанес визита в кладовую.

Но не только присутствие лорда Эмсворта заставило его глаза округлиться до пределов возможного, хотя и это само по себе было удивительно. Здесь крылось нечто более загадочное. Потому что перед ним был странный, неузнаваемый лорд Эмсворт: лорд Эмсворт, глаза которого горели, тогда как раньше они мигали; который топнул ногой об пол, как горячий жеребец; который стукнул по столу кулаком и расплескал портвейн.

— Бидж, — прорычал этот новый лорд Эмсворт, — что это за дьявольская чушь?!

— Милорд?

— Вы знаете, о чем я говорю. О том, что вы хотите уйти от меня. Вы в своем уме?

Глубокий вздох сотряс массивный корпус дворецкого.

— Боюсь, что при данных обстоятельствах это неизбежно, милорд.

— Почему? Что вы мелете? Не будьте ослом, Бидж. Как же, неизбежно! В жизни не слышал такой чуши. Почему неизбежно? Посмотрите мне в глаза и ответьте на мой вопрос.

— Я думаю, что лучше самому подать заявление об уходе, чем быть уволенным.

Наступила очередь лорда Эмсворта выпучить глаза.

— Уволенным?

— Да, милорд.

— Бидж, вы спятили.

— Нет, милорд. Мистер Бакстер уже говорил с вами?

— Конечно, говорил. Он полдня молол чепуху. Какое это имеет отношение к вам?

Еще один вздох, идущий, казалось, от самых подошв, всколыхнул дворецкого, как спелую кукурузу под ветром.

— Я вижу, что мистер Бакстер еще не проинформировал вас, милорд. Я думал, что он сделает это раньше. Но боюсь, теперь это лишь вопрос времени, когда он доложит об этом.

— Доложит о чем?

— Я должен с сожалением сообщить, что под воздействием непреодолимого импульса я выстрелил в мистера Бакстера.

Пенсне лорда Эмсворта слетело с носа. Все перед ним расплывалось, но он продолжал во все глаза смотреть на дворецкого, и в глазах этих отражалась целая гамма эмоций. Самой сильной из них, возможно, было бы изумление, если бы его не превосходила пылкая нежность. Лорд Эмсворт молчал, но глаза его говорили: «Брат мой!»

— Я выстрелил в него, милорд, из ружья мастера Джорджа, которое миледи поручили мне припрятать. Я сожалею, что должен сказать об этом, но, получив оружие, я вышел из замка и заметил мистера Бакстера, прогуливающегося вдоль кустов. Я пытался противостоять искушению, но оно было слишком сильно. Меня охватил неудержимый порыв, какого я не испытывал с раннего детства, и, одним словом...

— Вы влепили ему?!

— Да, милорд.

Лорд Эмсворт сообразил что к чему.

— Так вот о чем он бубнил в библиотеке... Вот почему он передумал и послал мне записку... На каком расстоянии от вас он был, когда вы его подстрелили?

— Всего несколько футов, милорд. Я спрятался за деревом, но он сразу обернулся, и я был уверен, что он видел меня. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как подать заявление об уходе, раньше чем он доложит вашей светлости, милорд.

— А я думал, что вы хотите уйти из-за того, что моя сестра Конни выстрелила в вас!

— Ее светлость не стреляла в меня, милорд. Ружье, правда, выстрелило случайно у нее в руках, но пулька пролетела мимо, не причинив мне вреда.

Лорд Эмсворт презрительно хмыкнул.

— А она хваталась, что метко стреляет! Не могла даже попасть в сидячего дворецкого с шести футов. Выслушайте меня, Бидж. Я не желаю больше слышать этой чепухи о вашем уходе. Боже мой, неужели вы думаете, что я смогу обойтись без вас? Сколько лет вы здесь?

— Восемнадцать лет, милорд.

— Восемнадцать лет! И вы болтаете об уходе! Никогда не слышал такого абсурда!

— Но я боюсь, милорд, что когда ее светлость узнает...

— Ее светлость не узнает. Бакстер ей не скажет. Бакстер уехал.

— Уехал, милорд?!

— Уехал. Навсегда.

— Но мне кажется...

— Наплевать, что вам кажется. Его больше нет. Вы сказали, всего несколько футов?

— Милорд?

— Вы сказали, что Бакстер был всего в нескольких футах от вас, когда вы его подстрелили?

— Да, милорд.

— А! — сказал лорд Эмсворт.

Он рассеянно взял ружье со стола и рассеянно загнал пульку в ствол. Он чувствовал удовлетворение и гордость, как чемпион, чье превосходство никем не оспарива-

ется. Конни промазала по такой мишени, как Бидж — величиной со стог сена, — с шести футов. Бидж, правда, влепил пульку в Бакстера, так же как и маленький Джордж, — но только тогда, когда ствол чуть ли не упирался в этого субъекта. Высокая честь сделать настоящий выстрел выпала ему, Кларенсу, девятому графу Эмсворту...

И вдруг у него в голове промелькнула тревожная мысль, сразу убавившая его гордость. Словно какой-то голос прошептал ему на ухо слово «Случайность!». Его челюсть отвисла, и он углубился в мрачные размышления. Он чувствовал себя вконец уничтоженным. Неужели этот великолепный выстрел из окна библиотеки был только счастливой случайностью? Неужели он ошибался, предполагая, что старинное искусство стрелка все еще при нем? Доведись ему опять стрелять при таких же обстоятельствах, нашептывал ему этот гнусный голос, он, возможно, промазал бы девять раз из десяти.

Эти тягостные раздумья нарушил чихающий, прерывистый звук. Внизу, во дворе конюшни Руперт Бакстер заводил свой мотоцикл.

— Мистер Бакстер, милорд.

— Я вижу.

Лорда Эмсворта внезапно охватило непреодолимое желание раз и навсегда все выяснить, чтобы наконец замолчал этот ехидный голос.

— Как вы думаете, на каком он от нас расстоянии, Бидж?

— Не меньше двадцати ярдов, милорд.

— Смотрите! — сказал лорд Эмсворт.

На фоне чихания мотоцикла раздался легкий хлопок. За ним последовал громкий вопль. Руперт Бакстер, который нависал над мотоциклом, держась руками за руль, подскочил в воздухе на шесть дюймов, прижимая руки к ягодицам.

— Вот так! — сказал лорд Эмсворт.

Бакстер перестал потирать ягодицы. Он был неглупым человеком и понял, что на территории Бландингского замка всякий, кто понапрасну тратит время, растирая ягодицы, напрашивается на повторение. Для того, кто попал в эту адскую ловушку Бландингского замка, единственный путь к безопасности — немедленное бегство. Чихающий звук перешел в оглушительный треск, потом стал затихать и полностью замер в отдаленных просторах. Руперт Бакстер продолжил свое путешествие по Англии.

Лорд Эмсворт все не отходил от окна, словно высматривая, нет ли где крестика, какой обычно рисуют на мишени в месте попадания. Бидж долго стоял неподвижно, с восхищением глядя ему в спину. Потом, словно совершая некий символический ритуал, приличествующий торжественности момента, он протянул руку к своему стакану портвейна и поднял его в молчаливом тосте.

В кладовой дворецкого воцарился мир. Благоухающий аромат летнего вечера вливался через открытое окно. Все было так, как если бы сама природа протрубила конец битвы.

Бландингский замок вновь стал самим собой.

Перевод В. СЕРБИНА

■

ГЕРШОН ШОФМАН

Рассказы

Перевод с иврита В. КЛИМОВСКОГО

Известный еврейский писатель Гершон Шофман (1880 — 1972) родился в г.Орша (Белоруссия). Получил образование в хедере[1] и в ешиботе[2]. Рано начал изучать русскую и еврейскую литературу. В 1902 году опубликовал свой первый сборник «Рассказы и рисунки» (Варшава). Во время русско-японской войны уклонился от мобилизации в армию и уехал в Галицию, во Львов. Издавался в Лондоне. Редактировал во Львове несколько журналов: «Равивим» («Капельки»), «Шалехет» («Листопад») и др. В 1913 г. переехал в Вену, где издавал журнал «Границы». С 1928 г. жил в Палестине.
Публикуемые рассказы взяты из третьего тома Собрания сочинений Г.Шофмана (Изд. "ДВИР" и "Рабочий народ", Тель-Авив, 1960).

Штукатур

Тяжелое чувство испытывал я, проходя мимо дома номер тринадцать по улице, где я жил в пригороде: там в подвале повесился один из жильцов. Случилось это несколько дней назад, и любопытные соседи тотчас столпились вокруг, прибежав на крики жены и детей.

Но сегодня я вздохнул с облегчением. Через открытые окна дома я увидел штукатура — стоя на стремянке, он обновлял стены и потолок. Несчастная семья перебралась в другое место, и теперь квартира прихорашивалась, готовясь к приему новых жильцов. В пустых комнатах, освободившихся от мебели, звучал умноженный гулким эхом красивый голос мастерового — штукатур негромко напевал за работой, переходя иногда на свист. Какая беспечность в этом пении-посвистывании, какое безразличие ко всем бедствиям на свете!

Множество бед и зол обитают в жилищах, в каждом жилище. Семейные неурядицы, конфликты, раздоры, житейские невзгоды, болезни, операции, проблемы воспитания детей. Дифтерит. Лишившись сна, бегут родители каждое утро в больницу, и там получают они право видеть больного ребенка — но только издали, через верхние окна. Воробьи на карнизе... Всякого рода тревоги, сложности. Самоубийства. Пока квартира не освобождается от прежних жильцов и мрачной, наводящей на грусть мебели — и тогда штукатур соскабливает со стен старую штукатурку вместе с бедами, мурлыча под нос свои тихие напевы. Какая беспечность, какое безразличие ко всем бедствиям на свете!

Ступайте к штукатуру, страждущие, к штукатуру на стремянке, слушайте его напевы и посвистывание в гулких пустых комнатах — и черпайте утешение и успокоение.

В листопад

Теперь, когда начался листопад, легче бросить взор в сторону Дома престарелых и заглянуть в страшные лица, иссушенные старостью. Прежде, летом, я страшился повернуть туда голову. Но теперь — другое дело. Падающие листья все плотнее укрывают землю. Вчера я сидел на скамье перед этим домом и грелся на убывающем осеннем солнце вместе с пожилой супружеской парой — обоим за восемьдесят.

— Где ваши дети? — спросил я.

— Умерли, — ответили те в один голос.

Этот вопрос-ответ, видимо, всколыхнул многое из их прошлого, из их первых дней, и муж вдруг повернулся к жене:

---

[1] Хедер - еврейская религиозная начальная школа для мальчиков.
[2] Ешибот - высшая религиозная школа.

— Сколько нам было, когда мы шли к алтарю?

— Мне — девятнадцать, а тебе — тридцать.

Оба уже снова не замечали моего присутствия, погрузились в свой мир. Жена заметила:

— Нынче они идут к алтарю, когда у них уже дюжина приблудных. А мы стояли перед священником чистые как ангелы!

После короткого молчания он проронил:

— Но разок, в кукурузном поле... ты помнишь?.. Когда мы играли в прятки...

— Ну что тогда могло быть? Ведь мне в то время было пятнадцать, не больше.

А он:

— Если бы не моя мама, царство ей небесное, которая вдруг громко позвала меня, дошло бы, конечно, до того, что... Я очень хорошо помню...

— Правда? Что же ты тогда замышлял со мной сделать? С девчонкой пятнадцати лет? С младенцем!..

И дрожа от гнева, она вскочила со своего места, и старческий крик разрезал воздух:

— Гемайнер керл![1]

Пока еще...

По ночам пугают людей преклонного возраста всяческие нехорошие ощущения. Особенно весной. Что-то давит вот тут, в области желудка, — очень подозрительно. Рак!.. Он самый!

Тяжело оставаться наедине с такими подозрениями в ночной тьме. Утром — прямиком к престарелому профессору! Все равно, что он скажет, лишь бы его слово явилось результатом исследования; и чтобы врач был знаменитым специалистом...

Приходит утро, и наступает великий час. Профессор в белом халате исследует... Сейчас, сейчас что-то грянет...

— Ничего нет! — приговаривает к жизни драгоценный профессор.

Теперь — цедить бытие, медленно-медленно, по капле. Щадить каждое мгновение. Потому что это «ничего» только пока, временно. Пока что «ничего», но через год-два, когда снова придешь к знаменитому профессору, он, если за это время сам не умрет, наверняка заговорит по-другому.

Об этом неизбежном конце теперь постоянно напоминают многочисленные знаки траура на улице. Сверкают в лучах апрельского солнца черные ленты на рукавах. Точно так же, как и траурные шарфики на изнеженных бледных дамах.

Среди этих последних — моя красавица соседка, с которой у нас общий двор, Стеффи Ринтлен. Главная ее красота — в ясных глазах, странно светлых, почти белесых... Еще осенью дифтерит унес ее маленькую Марианну — прелестную девочку, сияние и радость, воплощение самой жизни. Всю долгую зиму глубокий траур и безутешное горе угнетали молодую мать, и только теперь, с весной, снова расцвела, очищенная страданиями ее вечная улыбка.

Марианны нет, но есть у нее еще мальчик Карел. И теперь она ходит к зданию гимназии к моменту появления учеников, встречать сына. До конца занятий минут пятнадцать, и Карел пока что сидит в своем классе, слушает поучительные наставления учителя гимнастики: как защищаться от газовой атаки, если небеса преподнесут школе этот сюрприз в часы занятий. Поспешите спастись в закрытом, герметически запечатанном подвале, и там прежде всего следует поберечь драгоценный воздух. С этой целью надо растянуться на полу и лежать без звука, без малейшего движения — только в таком положении потребуется минимум воздуха. Лежать, молчать и не двигаться. Если вследствие нервного потрясения один из учеников начнет кричать, плакать и беспорядочно махать руками и ногами, другие должны схватить и утихомирить его; а если это невозможно — стрелять, стрелять!

— Пусть лучше умрет один, — говорит молодой учитель с фехтовальным шрамом на щеке, — чем погибнет весь класс!..

Со вздохом облегчения вырвались мальчики на воздух — свежий, ароматный, росистый. Вместе с ними вторгаются на улицу смех, шум, громкие голоса. Какое легкое, чистое дыхание! Ведь пока что воздух предельно чист, и нет еще в весеннем небе вражеских самолетов.

Пока еще нет!

---

[1] Наглый тип (*нем.*).

Я вижу их...

Я вижу их, посещающих мою могилу; я вижу, как они молча приближаются и укладывают цветы. Неправда, будто живые равнодушны к мертвым. Есть на свете верность, есть. Вот я вижу даже скатившуюся слезу.

И если посетители проявляют сдержанность и нетерпеливость — что тут плохого? Что можно требовать от сына человеческого? Действительно, они уже хотят уходить. Здешняя атмосфера давит на них. Я их понимаю и прощаю, прощаю. Разве я — будучи живым, — посещал когда могилы друзей, разве я был лучше?

Но вот пришли ко мне на склоне дня двое. Он и она, мои друзья — два существа, которые в свое время занимали в моем внутреннем мире весьма важное место. Долго сидели они подле меня. Пока не стемнело. Они решили уходить, но обнаружили, что ворота... заперты. Кладбищенский сторож, по-видимому, не заметил, как пришли посетители, вовсе не знал, что они здесь, и, уходя домой, как обычно по вечерам, запер ворота — и оставил моих друзей под замком!

В первый момент они несколько смутились и пали духом, хотя и пытались слабо шутить. Однако вскоре целиком поддались страху. Они стучали, взбирались на каменную ограду, звали. Они кричали. Растерянные, в ужасе, носились они между безмолвными надгробными памятниками, протискивались в узкие щели, пробирались через тесные проходы, царапались о жала кустарника и колючек, обследовали, ощупывали — в поисках выхода. Выйти, выйти, выйти!..

Отчего ж вы в таком ужасе, дорогие? Я здесь, с вами — а вы ведь так любили меня, так любили!

Тевтонцы

Все, или почти все — как мужчины, так и женщины, — оседлали велосипеды. Простые и с моторами. Ногой не ступят на тропинку, на тротуар. Металлический транспорт умножает силу молодости; железо к железу. Даже пожилые родители под влиянием сынов и дочерей начали упражняться в этом искусстве. Вот пятидесятилетняя вдова Гровер несется по улице на своем велосипеде, одергивая подол платья, которое задирается ветром, — совсем как молодая девица. Она тоже озабочена...

Велосипед экономит им драгоценное время. Они берегут каждую секунду, чтобы не пропала даром. Работа во дворах и в поле «кипит». Лучи восходящего солнца золотят жидкий навоз, когда тот льется водопадом из повозки на тучную землю — залог богатого урожая. В будни здесь не знают безделья. Вот знакомый пожилой столяр Шмидт, продавший свой домик, что в конце улочки, упаковывает пожитки и грузит их в повозку, а новый хозяин, согнувшись, белит свое ценное приобретение, обратив к продавцу спину, будто тот уже вовсе не существует на свете. Новый хозяин погружен в дело с головой!

И только в воскресенье они прекращают работу и заполняют многочисленные трактиры, разбросанные по горам и долинам. Усердны в труде — и так же усердны в питье. Напиваются допьяна, с багровыми лицами затевают яростные драки, и если не доходит до братоубийства, причиной тому не что иное как взаимный страх. Каждый способен оценить силу другого, и поэтому сохраняется между ними некое подобие равновесия.

Вот два мясника-богатыря. Алоис Вагнер и Ханс Майер; мясная лавка рядом с мясной лавкой. Вражда, зависть и конкуренция. Каждый — с ножом наготове. И все же они остерегаются друг друга. Взаимный страх.

Ох, эти мясники! В тайне сердца они страстно желают резать друг друга, а режут скот. Ласкового прелестного теленка ведет подмастерье Вагнера на задний двор, под дерево — к месту забоя. Молодая жена хозяина появилась на пороге дома — и видит, и не видит. Казалось бы, женское сердце — может, сжалится, не позволит?.. Но нет, она не вмешивается, не вмешивается!

Как-то раз я спросил у этого подмастерья, в общем-то славного парня: не испытывает ли он жалости в этом своем занятии, — и тот с улыбкой ответил:

— Для меня это словно хлеб резать...

Так он ответил.

Работа и забой скота в будни, и пьянство и разврат по воскресеньям. Каждую ночь с воскресенья на понедельник они буйно веселятся и разрушают все вокруг, на дорогах и в поле, голоса парней и девушек сливаются, и назавтра утром обнаруживаются вмятины в хлебах, длиной в рост человека — следы любовных пар.

Смертные случаи здесь крайне редки. То и дело натыкаешься на глубоких стариков, девяносто и старше. Маленький колокол местной церкви все же иногда разносит

окрест свой скупой звон: кто-то из аборигенов умер. Крестьяне прекращают работу, надевают черные костюмы (брюки в обтяжку) и провожают своего товарища до могилы, на великолепное лесистое кладбище, что растянулось по склону холма. В тишине и молчании проходит церемония погребения. Без слезинки.

В любом уголке мира есть своя красавица.

Здесь ею была дочка главного жандарма, юная Грета. В зимний сезон она появлялась в черных спортивных брюках, а летом — в купальнике. Вот она мчится на велосипеде, против заходящего солнца, вся светится в ореоле закатных лучей... Однажды она прогуливалась с повязкой накрест на лице (чем-то повредила глаз) — несмотря на это, она не утратила своего обаяния; ее лицо, и наполовину скрытое, оставалось привлекательным.

Зато ее, так сказать, антипод угнетал весь поселок. Это был настоящий кошмар в образе опасного молодого хулигана — Генрих Новак, местное чудовище, Айнбрехер (взламывающий по ночам чужие дома), отпетый головорез.

Тюрьма его не пугала — она была ему как дом родной. Посидит-посидит в заключении, потом освобождается — и снова за прежнее.

Однажды темной ночью его застукал в подкопе в разгар «работы» главный жандарм, отец Греты. Схватка была не на жизнь, а на смерть — и хулиган в перестрелке был убит. Наконец-то! В праздничном настроении, с нескрываемой радостью, в праздничных костюмах с узкими брюками проводили его все местные жители до кладбища.

Когда гроб опускали в открытую могилу и начали забрасывать его, по обычаю, комьями земли, я услышал позади горькие всхлипывания. Я обернулся и был потрясен: Грета!

Это — единственное рыдание, которое я слышал среди тевтонцев в час погребения.

Крыша

В нашем детстве существовало нечто вроде полустанка между землей и небом — крыша. Покатая, высокая, недоступная. Мы заглядывались на ее острый конек со страхом, священным трепетом и жгучим любопытством. Мы завидовали кошке, трубочисту... И если изредка мы случайно на короткое время также оказывались там, то очень волновались, когда с трудом цеплялись за тонкие дощечки со множеством больших слегка заржавленных гвоздей или когда видели трупик воробья с малюсенькими ножками... Мы очень волновались.

Да, подъем на крышу был для нас в какой-то степени подъемом в небеса.

Здесь не так — здесь крыши плоские. По ним расхаживают люди. Буднично, словно по спальне. Развешивают там белье... Это не полустанок между землей и небом!

Нет, неоспоримо преимущество покатой крыши перед плоской. И трудно мне представить себе большого поэта, чья колыбель стояла среди домов с плоскими крышами.

■

Вглубь одного стихотворения

ДЖОН КИТС

К 200-летию со дня рождения

С английского

«Унынью вопреки...»

Китсу был сужден краткий земной срок, всего двадцать пять лет. Теперь дом на римской Пьяцца ди Спанья, где прошли его последние дни, стал местом паломничества — как бы он поразился этому! Ведь при жизни он не был избалован вниманием. Первая из трех скромных книжек, которые удалось издать Китсу, продавалась плохо, две другие остались едва замеченными. А поэма «Эндимион» вызвала уничижительный отклик рецензента с бойким пером.

Кто убил Джона Китса? — спрашивал читателей в своей известной эпиграмме Байрон и, зная, что его свела в могилу чахотка, тем не менее с уверенностью отвечал: журнальные хулители. Возможно, он был прав и в прямом смысле. Легко представить себе, как травмировали впечатлительного Китса издевательства над вычитанным у него «слезоточивым слабоумием». Как его ранили советы «вернуться к лекарственным пузырькам», оставив занятия поэзией.

Удар пришелся в точку, потому что Китсу, учившемуся на медные гроши, особенно трудно далось решение пожертвовать ремеслом хирурга ради литературы. Тем более, что он не чувствовал уверенности в своем таланте. «Поэтическая слава представляется мне головокружительной, даже недостижимой для меня высотой, — пишет он брату как раз в разгар работы над «Эндимионом» и добавляет: — Я не возложу на себя лавров, пока его не окончу». 1817 год, поэма появится лишь следующей осенью. Вопреки рекомендациям благожелателей, к медицине он не вернулся и после провала поэмы, но провал переживал тяжело, и как знать, пережил ли? Свидетельства друзей доносят образ человека и бесконечно верящего своему вдохновению, и терзаемого сомнениями пополам с тоской, которая, может быть, убийственнее недуга.

Самое известное из таких свидетельств, разумеется, «Адонаис» Шелли, большая элегия, написанная в июне 1821 года, когда со смерти Китса не прошло и четырех месяцев. Плач над безвременно угасшим поэтом был и печальным размышлением о ненужности искусства толпе, порабощенной духом утилитаризма. По законам жанра, элегия оказалась тонкой имитацией стилистики Китса, безупречным парафразом его важнейших мотивов. Шелли почувствовал и передал, наверное, самый главный из них или, во всяком случае, самый китсовский: мимолетность жизни, хрупкость красоты, беспощадную парадоксальность бытия, обольщающего мечтой, которая никогда не исполнится. Эту эфемерность, эти мучительные парадоксы Китс умел выразить как никто другой в его блестящем поэтическом поколении.

Год спустя внезапно налетевший шторм опрокинул в бухте Ливорно яхту, на которой возвращался домой Шелли. Тело нашли не сразу. Из кармана извлекли томик Китса, заложенный там, где была напечатана поэма «Ламия».

Бывают странные сближенья...

«Эндимион», вызвавший такие ядовитые нападки, толковал искусство как преодоление действительности и возвещал, что «прекрасное пленяет навсегда». Происходит это — продолжаем цитировать фрагмент, переведенный Б.Пастернаком, — «наперекор томленью и надлому высоких душ, унынью вопреки и дикости, загнавшей в тупики исканья наши». В сознании Китса это «унынью вопреки» было не только животрепещущей темой, которая многократно возникает и в сонетах, и в одах, и в поэмах. Это была святая вера, пронесенная через всю жизнь.

«Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. То, что воображению предстает как Красота, должно быть истиной, не важно, существовала она до этого или нет», — пишет он в юности одному из друзей. А незадолго до конца признается в письме невесте: «Если мне суждено умереть... память обо мне не внушит моим друзьям гордости — за свою жизнь я не создал ничего бессмертного, однако я был предан принципу Красоты, заключенной во всех явлениях».

Преданность принципу Красоты, постигаемой в тесном родстве с истиной, была неотчуждае-

мым свойством романтического сознания. И предопределяла неизбежность тяжелых коллизий, о которых так проникновенно рассказано в «Адонаисе»: Шелли не понаслышке знал, что такое сила клеветы и власть ничтожеств, его путь тоже пролег «в ночи, где ложь и злоба так сильны».

Китсу, с его плебейским происхождением — сын содержателя конюшни, — лишь ценой огромных усилий удалось попасть в круг литераторов, в котором он всегда чувствовал себя чужим, — эта вечно повторяющаяся в истории романтизма драма непризнания наполнялась особым смыслом. Конечно, Китс тяжело переживал ее, как бы он ни уверял, что равнодушен к неудачам. «Эндимион» воссоздает греческий миф о пастухе, влюбленном в богиню Луну, и воспринимается как пленительная сказка, где выражена заветная мечта поэта: прекрасное нетленно, и «никогда не впасть ему в ничтожество». А жизнь вновь и вновь возвращала именно к состоянию надлома, к унынию и ощущению тупика. Подступал обычный для романтиков сплин.

Спасением оказывалась близость немногих, зато беспредельно преданных Китсу людей. Молодой художник Джозеф Северн последовал за ним в Италию и дежурил у смертного ложа. Он оставил карандашный портрет, воспроизводимый теперь во всех изданиях Китса. Фанни Брон, невеста поэта, была осведомлена, что он болен неизлечимо, но, когда Китс вернул ей слово, отказалась расторгнуть помолвку.

И самое главное, спасением становилось творчество. Оно и вправду значило для Китса намного больше, чем все треволнения будничности, чем даже неотвратимое приближение развязки. О своих поэтических опытах он судил с редкой объективностью: страницы его писем, остающихся замечательным автокомментарием, содержат подробный анализ удавшегося и неполучившегося, и недаром Элиот считал, что эти письма незаменимы для всех стремящихся понять романтическое ощущение мира. Но в одном Китс все-таки ошибся. В совершенно искренней своей убежденности, что созданному им уготована безвестность.

Трудно сказать, отчего он был так в этом уверен. Вероятно, сказывалось слишком ясное понимание того, что в искусстве у него другие устремления и приоритеты, чем у тех, чьи имена на слуху. «Вы сравниваете меня и лорда Байрона. Между нами огромная разница. Он описывает то, что видит; я описываю то, что воображаю» — это из письма брату за полтора года до смерти. А вот спор с Шелли, деликатный по выражениям, но принципиальный: было бы ошибочно считать, будто «современное произведение должно преследовать некую цель». Художнику стоило бы «сосредоточиться в себе», заботиться прежде всего о «дисциплине» — творческой дисциплине, иначе говоря, о силе и своеобразии художественного эффекта.

Как раз этого ему и не прощали, рисуя Китса каким-то болезненным снобом, для которого мелкий завиток на античной амфоре важнее всех страданий человечества. Грубая предвзятость таких оценок не требует пояснения, но в год двухсотлетия Китса особенно очевидна и ошибочность его предсказаний, что он будет забыт очень быстро. Дело, понятно, не в количестве переизданий, не в том, что Китс давно и единодушно признан классиком. Существеннее, что ему не угрожает «стать достояньем доцента и критиков тощих кормить» — судьба, которой так опасался Блок, знавший, до чего она обычна. Ее не избежали и некоторые современники Китса, пользовавшиеся шумной известностью. А он пережил свое время. Его стихи — больше чем памятник романтической эпохи. Принадлежа ей, они перерастали ее границы. Происходило это из-за того, что Китс, для которого Красота никогда не превращалась в отвлеченность, сохраняя живое обаяние и значение естественной нормы, в самом деле «не написал ни единой поэтической строки с оглядкой на общественное мнение», выражалось ли оно в культе меланхолии и разочарованности, в увлечениях философией, не проверенной «биением нашего пульса», в «прихотях эгоизма», хотя «нельзя долго дышать этим воздухом безнаказанно». Для себя он с самого начала поставил целью добиваться в поэзии такой простоты и органики, чтобы она стала схожа с листьями на дереве. Или с «греческой манерой», которая у него определяется эпитетом «нагая». Или с Шекспиром, чьи сонеты «полны прекрасного, высказанного непреднамеренно».

Сонеты самого Китса оставляют такое же впечатление, хотя «непреднамеренность» — плод исключительно высокого мастерства, имеющего мало общего со спонтанностью, которая почему-то считается приметой романтической лирики. Сам Китс не придавал сонетам такого значения, как большим поэмам или трагедии «Оттон Великий», но время рассудило по-другому. Из поэм теперь интересны, главным образом, отдельные фрагменты, а трагедию читают только литературоведы, тогда как сонеты — по крайней мере, лучшие из них — остались живой поэзией. «К Одиночеству» было первым стихотворением Китса, попавшим в печать: его опубликовал в своем журнале поэт и критик Ли Хант в мае 1816 года. Полгода спустя в состязании с Хантом на заданную тему написан «Кузнечик и сверчок». Тема из вечных: неистребимость поэзии. Китс нашел для нее решение вызывающе простое, ограничившись самыми непритязательными метафорами. И простота сделала его стихи хрестоматийными.

Любопытно, что начало знакомству русской публики с Китсом было положено одним из этих сонетов. Поэт Николай Огарев в 1856 году (в год своего переезда в Англию) пишет стихотворение с немецким названием «Sehnsucht» («Томление»), в котором первые два четверостишия — перевод двух первых строф сонета Китса «К Одиночеству», третья же строфа — парафраз концовки «Сонета, записанного на чистой странице поэмы Чосера «Цветок и лист», также принадлежащего перу Китса[1]. Читателям, возможно, будет небезынтересно познакомиться с этим текстом:

О, если бы я мог на час один
Отстать от мелкого брожения людского,
Я радостно б ушел туда, за даль равнин,
На выси горные, где свежая дуброва

Зеленые листы колышет и шумит,
Между кустов ручей серебряный журчит,
Жужжит пчела, садясь на стебель гибкий,
И луч дневной дрожит сквозь чащи зыбкий.

[1] Подробнее см. в статье Г. Кружкова «Первый русский перевод из Китса». «Литературная учеба», 1980, № 4.

Там соловей споет мне песню про весну;
Забуду прошлое и, впредь не видя цели,
Я лягу на траву душистую и сну
Предамся сладостно, как будто в колыбели.

Следующим по времени переводом из Китса был также сонет «К Славе», выполненный К.Чуковским в 1908 году. В нем слава уподоблена строптивой цыганке, обольщающей глупцов. Но — «смейся над ней — и рабою твоею снидет покорная с гордых высот». На самом деле Китсу не был свойствен обличающий смех, но вымогать славу он действительно никогда не пытался. Она явилась сама — запоздалым вознаграждением одному из самых ярких лириков, каких знает английская поэзия.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

Sonnet on the Grasshopper and Cricket

The poetry of earth is never dead:
When all the birds are faint with the hot sun,
And hide in cooling trees, a voice will run
From hedge to hedge about the new-mown mead;
That is the Grasshopper's — he takes the lead
In summer luxury, — he has never done
With his delights; for when tired out with fun
He rests at ease beneath some pleasant weed.
The poetry of earth is ceasing never:
On a lone winter evening when the frost
Has wrought a silence, from the stove there shrills
The Cricket's song, in warmth increasing ever,
And seems to one in drowsiness half lost,
The Grasshopper's among some grassy hills.

Кузнечик и сверчок

В свой час своя поэзия в природе:
Когда в зените день и жар томит
Притихших птиц, чей голосок звенит
Вдоль изгороди скошенных угодий?
Кузнечик — вот виновник тех мелодий.
Певун и лодырь, потерявший стыд,
Пока и сам, по горло пеньем сыт,
Не свалится последним в хороводе.

В свой час во всем поэзия своя:
Зимой, морозной ночью молчаливой
Пронзительны за печкой переливы
Сверчка во славу теплого жилья.
И, словно летом, кажется сквозь дрему,
Что слышишь треск кузнечика знакомый.

Перевод Б. ПАСТЕРНАКА

(«Литературная газета», 1938, 31 декабря)

Кузнечик и сверчок

Вовеки не замрет, не прекратится
Поэзия земли. Когда в листве,
От зноя ослабев, умолкнут птицы,
Мы слышим голос в скошенной траве
Кузнечика. Спешит он насладиться
Своим участьем в летнем торжестве,
То зазвенит, то снова притаится
И помолчит минуту или две.

Поэзия земли не знает смерти.
Пришла зима. В полях метет метель,
Но вы покою мертвому не верьте.
Трещит сверчок, забившись где-то в щель,
И в ласковом тепле нагретых печек
Нам кажется: в траве звенит кузнечик.

Перевод С. МАРШАКА

(В кн.: С.Маршак. Английские баллады и песни. М.; 1941)

Кузнечик и сверчок

Поэзии земли не молкнет лад:
Не слышно среди скошенных лугов
Сомлевших в зное птичьих голосов,
Зато вовсю гремит поверх оград
Кузнечик. Обессилев от рулад,
Он сыщет под былинкой вольный кров,
Передохнет — опять трещать готов,
Раздольем лета верховодить рад.

Поэзия земли не знает плена:
Безмолвием сковала мир зима,
Но где-то там, за печкой, неизменно
Сверчок в тепле стрекочет без ума;
И кажется — звенит самозабвенно
Все та же трель кузнечика с холма.

Перевод С. СУХАРЕВА

(«Комсомолец Кузбасса», 1970, 27 октября)

Кузнечик и сверчок

Поэзии в природе нет конца:
Когда в жару на ветках деревца
Притихнут птицы, из травы нагретой
Раздастся голос нового певца,
Кузнечика.В великолепье лета
Блаженствует он, опьянев от света,
Звенит, стрекочет, а найдет ленца,
На миг замолкнет, притаившись где-то.

Всегда жива поэзия земли:
За теплой печкой, в зимний вечер вьюжный,
В глухую пору, с тишиною дружный
Невидимый сверчок поет в щели.

И чудится в дремотном сновиденье
Кузнечика полуденное пенье.

Перевод Т. СПЕНДИАРОВОЙ

(В кн.: Т.Спендиарова. Избранные переводы. Ереван, 1971)

Кузнечик и сверчок

Поэзия земли всегда жива:
Когда все птицы, в зное сбившись с ладу,
Попрячутся в лесов и рощ прохладу,
Прозрачным звоном полнится трава —
Поет кузнечик... Замолчит едва —
И вновь выводит чистую руладу,
Своей забавой нам даря отраду;
Один устанет — затевают два.

Поэзия земли неистощима.
Зимою, вечером, когда мороз
Скует просторы снежной тишиной,
Сверчок за печкой свиристит, незримый,
И мнится нам среди дремотных грез —
Звенит кузнечик в гуще травяной.

Перевод А. ПОКИДОВА

(«Литературная Россия», 1972, 21 января)

Кузнечик и сверчок

Пока земля пребудет, не умрет
Поэзия: когда в листве от зноя
И птицы не поют — из травостоя
Кузнечик свежий голос подает;
Зачинщик дня, он знает свой черед
И на лугу, где все ему родное,
Знай опевает празднество дневное
И честно отдыхает от забот.

Нет, не умрет поэзия земли:
Зимой, когда в ночную непогоду
Вся тварь молчит, за печкою в углу
Пиликает сверчок в своей щели,
И кажется сквозь теплую дремоту,
Что свиристит кузнечик на лугу.

Перевод О. ЧУХОНЦЕВА

(«Иностранная литература», 1972, № 2)

Кузнечик и сверчок

Поэзия земли всегда живет.
Заставил пташек смолкнуть солнца зной,
Сидят в кустах, а в гуще травяной
Всё кто-то бодро голос подает.
Кузнечик это. Первым в хоровод
Спешит он, упивается игрой
Роскошных летних дней, и лишь порой
В тени листка немного отдохнет.

Поэзия земли не иссякает:
Вот долгий зимний вечер, и мороз
Все тишиной сковал. За печкой вдруг
Сверчок скрипучий песню затевает.
И чудится в тепле дремотных грез:
Кузнечик песней оглашает луг.

Перевод Н. ТРАВУШКИНА

(В кн.: Функциональные аспекты изучения и преподавания литературы на уровне текста. Волгоград, 1983)

Кузнечик и сверчок

Прекрасному на свете нет конца.
Едва в палящий полдень присмирели
Пернатые — в стогу ли, на стерне ли
Вновь чей-то голос радует косца:
Кузнечик! он отныне за певца
На летнем торжестве — выводит трели,
Шалит, звенит, пока средь повители
Не усыпит прохладная ленца.

Прекрасному на свете смерти нет.
Едва мороз безропотную тьму
Сковал под ночь — опять гремит запечек:
Сверчок! согрелся и поет, сосед;
И дремлющему кажется уму —
Не умолкает на лугу кузнечик.

Перевод М. НОВИКОВОЙ

(В кн.: Джон Китс. Стихотворения. Ленинград, 1986)

Кузнечик и сверчок

Поэзия земли пребудет вечно.
Когда, насытясь солнечным теплом,
Певуньи-птицы тянутся молчком
Под сень дерев, вступает глас беспечный —
То стрекотун-кузнечик. В бесконечной
Мелодии, разлившейся кругом,
Теперь солист он, хоть без сил потом
Приляжет под травинкой первой встречной.

Поэзия земли не прекратится.
Пускай мороз молчанием сковал
Досуг наш зимний, и унылы лица, —
За печкою трещит сверчок, бахвал,
И чудится: поет среди душицы
Кузнечик, что нас летом чаровал.

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

1995 г.

Sonnet to solitude

O solitude! if I must with thee dwell,
Let it not be among the jumbled heap
Of murky buildings; climb with me the steep, —
Nature's observatory — whence the dell,
Its flowery slopes, its river's crystal swell,
May seem a span; let me thy vigils keep
'Mongst boughs pavilion'd, where the deer's swift leap
Startles the wild bee from the fox-glove bell.
But though I'll gladly trace these scenes with thee,
Yet the sweet converse of an innocent mind,
Whose words are images of thoughts refin'd,
Is my soul's pleasure; and it sure must be
Almost the highest bliss of humankind,
When to thy haunts two kindred spirits flee.

К Одиночеству

Пусть буду я один, совсем один,
Но только не в угрюмой тесноте
Стен городских, а там — среди вершин,
Откуда в первозданной чистоте
Видны кристальность рек и блеск долин;
Пусть мне приютом будут тропы те,
Где лишь олень, прыжком качнув жасмин,
Вспугнет шмеля, гудящего в кусте.

Быть одному — вот радость без предела,
Но голос твой еще дороже мне:
И нет счастливей на земле удела,
Чем встретить милый взгляд наедине,
Чем слышать, как согласно и несмело
Два близких сердца бьются в тишине.

Перевод С. СУХАРЕВА
(«Комсомолец Кузбасса», 1970, 27 октября)

К Одиночеству

О, если осужден я жить с тобой,
То не средь этих пасмурных строений!
Пускай Природы благодатный гений
Овеет нас над вольной крутизной!
И в лес уйдем; и вот над головой
Зеленых арок шевельнутся тени,
Ручей блеснет в кустах, прыжок оленя
Спугнет шмеля с качели травяной.

Да, это — благо; но ловить в тиши
Речь сладкую, где отзвуки души
Мечтательной и дум невероломных, —
Всего блаженней; выше нет отрад,
Когда к твоим убежищам укромным
Два сходных сердца вместе улетят.

Перевод Г. КРУЖКОВА
(«Иностранная литература», 1972, № 2)

К Одиночеству

Пусть, Одиночество, с тобой сам-друг
Мне жить, но не в ущельях улиц тесных.
В обсерваторию стремнин отвесных
Поднимемся и поглядим вокруг.
Там зыбь кристальная, цветущий луг —
С ладонь — видны меж склонов многолесных.
Мне быть бы стражем средь шатров древесных!
Как резвые прыжки оленьи вдруг
Спугнули с наперстянки рой пчелиный —
Следил бы я с тобой в лесной глуши.
Но столько прихотливых дум в картины
Словесные вмещает ум невинный,
Что сладостней всего, когда в тиши
Беседуют две родственных души.

Перевод В. ПОТАПОВОЙ

(В кн.: Поэзия английского романтизма. М., 1975. Библиотека всемирной литературы, т.125)

К Одиночеству

Уж если жить, с тобою дни деля, —
Расстанемся с неволей городской:
Уйдем туда, где с кручи над рекой
Широко открывается земля,

Где склон в цветах и ключ из хрусталя,
Где под навесом зелени глухой
Один олень встревожит твой покой,
Спугнув с ромашки сонного шмеля.

Так эта даль ясна и хороша,
Что если столько счастья даришь ты,
То, будь со мною близкая душа,
Чья речь проста и помыслы чисты, —
Я рай узнал бы, ей одной дыша
Среди привольной этой красоты.

Перевод Б. ДУБИНА

1975 г.

К Одиночеству

О, если, Одиночество, с тобою
Я должен дни мои делить, уйдем
Из города, забудем смрад, содом
И насладимся высью смотровою!
Цветет здесь склон над искристой рекою,
Приютен ветвяной тенистый дом —
Покоя храм, хоть мчатся напролом
Олени, разлучая пчел с пыльцою.

Быть одному — всегда отдохновенье.
Признаюсь все ж: мне слаще во сто крат
Следить невинных дум и слов теченье,
Души родной постичь высокий лад
И ждать: вот-вот в молчанье, в упоенье
Два сердца песнью общей зазвучат.

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

1995 г.

К Одиночеству

О Одиночество, коль мне удел —
С тобою жить, то предпочту не тут,
В чащобе каменной, но где встают
Редуты скал, что взяли под прицел
Ручей долины. Там бы я хотел
Дни коротать и праздновать уют
Оленьих рощ, где пчел веселый труд
Угоден наперстянке... Я б не смел
Тогда роптать, но станет дух тайком
С душою родственной искать общенья,
Бесед негромких помня откровенье
И высшее блаженство видя в том,
Чтоб иногда из тьмы и разоренья
К твоим высотам улетать вдвоем.

Перевод Т. СТАМОВОЙ

1995 г.

К Одиночеству

Пусть, Одиночество, для нас с тобой
Приютом будет не угрюмый град,
А храм Природы среди горных гряд,
На высоте, откуда дол лесной
С цветами над хрустальною водой —
Как на ладони. Дай мне наугад
Брести сквозь чащу, где свой бег стремят
Олени вслед за спугнутой пчелой.

Щемящей негой дышит все кругом,
Но голос милый, мыслей череда
Возвышенных сумеют без труда
Развеять хмурь души. Кому знаком
Миг единенья двух сердец, всегда
Желанный гость в святилище твоем.

Перевод С. НЕЩЕРЕТОВА

1995 г.

К Одиночеству

Уж если, Одиночество, с тобою
Мне жить, то не в пещерах городов.
С высоких гор, пристанищ облаков,
Посмотрим вниз, склонясь над крутизною:
Поля, река с хрустальною водою,
Цветущий дол. Я стражем быть готов
Зеленых многолиственных шатров,
Где птиц спугнул олень своей игрою.

Мне радостно бродить твоей тропой,
Внимать тебе невинною душой,
Следить свободных мыслей отраженье
И высшую изведать благодать,
Редчайшее для смертных наслажденье:
С душой родной от мира убежать.

Перевод М. КАЛИНИНА

1995 г.

ТРИ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ НАБОКОВЫМ

«ПЛЕЙБОЙ», январь 1964 г.

(Вопросы задает ОЛВИН ТОФФЛЕР)

Вопрос. После публикации «Лолиты» в Америке в 1958 году ваши слава и состояние выросли почти внезапно, словно грибы, — от высокой репутации среди литературных cognoscenti[1], которой вы пользовались более тридцати лет, до шумного одобрения и брани по адресу всемирно известного автора сенсационного бестселлера. После такого cèlèbre[2] вы когда-нибудь жалели, что написали «Лолиту»?

Ответ. Напротив, я содрогаюсь теперь при воспоминании, что были моменты в 1950-м, потом в 1951 году, когда я чуть не сжег черный дневничок Гумберта Гумберта. Нет, я никогда не пожалею о «Лолите». Это напоминало составление прекрасной головоломки — составление и в то же время ее разгадывание, поскольку одно есть зеркальное отражение другого, в зависимости от того, откуда смотришь. Конечно, она совершенно затмила другие мои произведения, во всяком случае, те, которые я написал по-английски: «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», мои рассказы, книгу воспоминаний, но я не могу осуждать ее за это. В этой мифической нимфетке есть странное нежное обаяние.

Вопрос. Хотя многие читатели и критики не согласятся с тем, что ее обаяние нежное, мало кто будет отрицать, что оно странное, — настолько, что, когда режиссер Стэнли Кубрик объявил о своем намерении сделать фильм по «Лолите», вы, как известно, говорили: «Конечно, им придется изменить сюжет. Возможно, они сделают Лолиту карлицей. Или ей будет в фильме шестнадцать, а Гумберту двадцать шесть». Хотя в конце концов вы сами написали сценарий, некоторые критики осудили фильм за то, что в нем якобы разбавлена основная сюжетная линия. Вы удовлетворены результатом?

Ответ. Мне казалось, что фильм получился просто первоклассный. Четыре основных актера заслуживают самых высоких похвал. Сью Лайон, приносящая поднос с завтраком или по-детски натягивающая свитер в машине, — моменты незабываемой игры и режиссуры. Убийство Куильти — шедевр, как и смерть миссис Гейз. Должен отметить, однако, что я не имел никакого отношения к самим съемкам фильма. Будь это так, наверное, я бы настоял на том, чтобы подчеркнуть некоторые вещи, которые не были подчеркнуты, например, мотели, где они останавливались. Я только написал сценарий, бóльшая часть которого была использована Кубриком. А если что и «разбавлено», то не с моего кропила.

Вопрос. Как вам кажется, двойственный успех «Лолиты» изменил вашу жизнь к лучшему или худшему?

Ответ. Я оставил преподавание — вот, пожалуй, и все изменения. Заметьте, мне нравилось преподавать, я любил Корнеллский университет, я любил составлять и читать лекции о русских писателях и о великих европейских книгах. Но когда вам около шестидесяти, да еще и зима, процесс преподавания начинает казаться физически утомительным: вставать в определенное время каждое второе утро, бороться со снегом на подъездной аллее, потом идти по длинным коридорам в аудиторию, пытаться нарисовать на доске карту Дублина Джеймса Джойса или план спального вагона поезда Санкт-Петербург — Москва в начале 1870-х годов, — без знания этих вещей ни «Улисса», ни «Анну Каренину», соответственно, невозможно понять. По неведомой причине мои самые яркие воспоминания связаны с экзаменами. Большой амфитеатр в «Голдуин Смит». Экзамен с 8 утра до 10.30. Около 150 студентов — немытые, небритые молодые люди и в меру ухоженные девушки. Царит атмосфера уныния и катастрофы. Восемь тридцать. Покашливание, судорожное прочищение глоток, волнообразное движение звуков, шелестение страницами. Некоторые мученики погрузились в медитацию, руки сцеплены на затылке. Я сталкиваюсь с тусклым взглядом, обращенным на меня, видящим во мне с надеждой и ненавистью источник запретного знания. Девушка в очках подходит к моему столу, чтобы спросить: «Профессор Кафка, вы хотите, чтобы мы сказали, что...? Или вы хотите, чтобы мы ответили только на первую часть вопроса?» Великое братство троечников, этот хребет нации, непрерывно что-то строчит. Слышится дружный шелест — большинство переворачивает страницу в своих синих тетрадях[1] с сыгранностью хорошей команды. Затекшие запястья расправляются, ручки отказываются писать, дезодоранты уже не помогают. Когда я ловлю на себе взгляд, то он немедленно устремляется к потолку, выражая благочестивую задумчивость. Стекла постепенно запотевают. Молодые люди стягивают с себя свитера, девушки жуют резинку в быстром темпе. Десять минут, пять, три, время истекло.

Вопрос. Указывая в «Лолите» на такие же пропитанные желчью сцены, как только что изображенная, многие критики называли книгу мастерской сатирой на американское общество. Правы ли они?

Ответ. Ну, я могу только повторить, что по устремлениям и по складу характера я не обличитель нравов и не социальный сатирик. Считают ли критики или нет, что в «Лолите»

---

[1] Ценители (*итал.*). (*Здесь и далее, где не указано особо, прим. перев.*).

[2] Громкое дело (*франц.*).

[1] Тетрадь в синей обложке для письменных экзаменационных работ.

я смеюсь над человеческой глупостью, мне совершенно все равно. Но меня раздражает, когда распускаются веселенькие слухи, что я смеюсь над Америкой.

Вопрос. Но разве вы сами не писали, что «нет ничего более забавного, чем вульгарность Американского Обывателя»?

Ответ. Нет, так я не говорил. Эта фраза вынута из контекста, без которого она лопается, как глубоководная рыба на суша. Посмотрев мое маленькое послесловие «О книге, озаглавленной «Лолита», которое я добавил к роману, вы увидите, что на самом деле я говорил следующее: в смысле обывательской вульгарности, которую я действительно считаю крайне забавной, нет никакой разницы между американскими и европейскими нравами. Далее я говорю, что любой пролетарий из Чикаго может быть таким же мелким обывателем, как любой английский герцог.

Вопрос. Многие читатели заключили, что наиболее забавным проявлением обывательских взглядов являются, по-вашему, американские сексуальные нравы.

Ответ. Секс как общественный институт, секс как широкое понятие, секс как проблема, секс как пошлость — все это я нахожу слишком скучным для разговора. Давайте оставим секс в покое.

Вопрос. Вы когда-нибудь подвергались психоанализу?

Ответ. Подвергался чему?

Вопрос. Психоаналитическому обследованию?

Ответ. О Господи, зачем?

Вопрос. Чтобы посмотреть, как это делается. Некоторые критики сочли, что ваши колючие замечания по поводу популярности фрейдизма в том виде, в каком его практикуют американские психоаналитики, говорят о презрении, основанном на близком знакомстве.

Ответ. Знакомство исключительно книжное. Это испытание само по себе слишком глупо и отвратительно, чтобы подумать о нем даже в шутку. Фрейдизм и все то, что он заразил своими абсурдными гипотезами и методами, представляется мне одним из самых подлых обманов, которым пользуются люди, чтобы вводить в заблуждение себя и других. Я полностью отвергаю его, как и некоторые другие средневековые штучки, которым до сих пор поклоняются люди невежественные, заурядные или очень больные.

Вопрос. Кстати об очень больных. В «Лолите» вы предположили, что страсть Гумберта Гумберта к нимфеткам — следствие несчастной детской любви; в «Приглашении на казнь» вы писали о двенадцатилетней девочке Эмми, которая испытывает эротический интерес к мужчине вдвое ее старше; и в «Под знаком незаконнорожденных» ваш главный герой воображает, как он «тайком наслаждается Марьеттой (его служанкой), когда она сидит, слегка вздрагивая, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играла его дочь». Некоторые критики, вчитываясь в ваши книги в поисках ключа к личности автора, отмечают этот повторяющийся мотив как доказательство нездорового интереса к теме взаимного сексуального влечения девочек-подростков и взрослых мужчин. Как вы считаете, есть ли доля истины в этом обвинении?

Ответ. Думаю, правильнее было бы сказать, что, не напиши я «Лолиту», читатели не начали бы находить нимфеток ни в других моих сочинениях, ни в собственном доме. Мне кажется очень забавным, когда дружелюбный, вежливый человек говорит мне, может быть лишь из вежливости и дружелюбия: «Мистер Наборков», или «Мистер Набаков», или «Мистер Набков», или «Мистер Набоуков» — в зависимости от его лингвистических способностей,— у меня есть маленькая дочь — настоящая Лолита». Люди склонны недооценивать силу моего воображения и способность разрабатывать в своих произведениях особую систему образов. Есть, правда, особый вид критика, хорек, охотник до чужих секретов, пошлый весельчак. Кто-то, например, обнаружил скрытые параллели между детским романом Гумберта на Ривьере и моими воспоминаниями о маленькой Колетт, с которой я десятилетним мальчиком строил замки из влажного песка в Биаррице. Однако мрачному Гумберту было все-таки тринадцать, и его мучили довольно необычные сексуальные переживания, в то время как в моих чувствах к Колетт не было и следа эротики — совершенно заурядные и нормальные чувства. И конечно, в девять-десять лет в той обстановке и в то время мы вообще ничего не знали о той фальшивой правде жизни, которую в наши дни прогрессивные родители преподносят детям.

Вопрос. Почему фальшивой?

Ответ. Потому что воображение маленького ребенка, особенно городского, сразу же искажает, стилизует или как-то еще переиначивает те странные вещи, которые ему говорят о трудолюбивой пчелке, тем более что ни он, ни его родители не могут отличить ее от шмеля.

Вопрос. Ваше, по определению одного критика, «почти маниакальное внимание к фразировке, ритму, каденциям и оттенкам слов» заметно даже в выборе имен для ваших знаменитых пчелки и шмеля — Лолита и Гумберт Гумберт. Как они пришли вам в голову?

Ответ. Для моей нимфетки нужно было уменьшительное имя с лирическим мелодичным звучанием. «Л» — одна из самых ясных и ярких букв. Суффикс «ита» содержит в себе много латинской мягкости, и это мне тоже понадобилось. Отсюда — Лолита. Но неправильно произносить это имя, как вы и большинство американцев произносят: Лоу-лиита — с тяжелым, вязким «л» и длинным «о». Нет, первый звук должен быть как в слове «лоллипоп»[1]: «л» текучее и нежное, «ли» не слишком резкое. Разумеется, испанцы и итальянцы произносят его как раз с нужной интонацией лукавой игривости и нежности. Учел я и приветливое журчание похожего на родник имени, от которого оно и произошло: я имею в виду розы и слезы в имени «Долорес». Следовало принять во внимание тяжелую судьбу моей маленькой девочки вкупе с ее миловидностью и наивностью. «Долорес» дало ей еще одно простое и более привычное детское

[1] Lollipop — леденец (*англ.*).

уменьшительное имя «Долли», которое хорошо сочетается с фамилией Гейз, в которой ирландские туманы соединяются с маленьким немецким братцем-кроликом — я имею в виду немецкого зайчика[1].

Вопрос. Как я понимаю, речь идет о каламбуре, связанном с немецким словом Hase — заяц. Но что вдохновило вас окрестить стареющего любовника Лолиты с такой очаровательной чрезмерностью?

Ответ. Это тоже было просто. Удвоенное грохотание кажется мне очень противным, очень зловещим. Ненавистное имя для ненавистного человека. Но это еще и королевское имя, а мне нужна была царственная вибрация для Гумберта Свирепого и Гумберта Скромного. Она годится также для игры слов. И отвратительное уменьшительное «Хам»[2] соответствует — социально и эмоционально — «Ло», как называет ее мать.

Вопрос. Другой критик писал, что «просеять и отобрать из многоязычной памяти единственно верную последовательность слов и расположить их многократно отраженные нюансы в должном порядке физически, наверное, очень утомительно». Какая из ваших книг была самой трудной в этом смысле?

Ответ. О, «Лолита», конечно. Мне недоставало необходимых сведений — это была главная трудность. Я не знал американских двенадцатилетних девочек, и я не знал Америки: я должен был изобрести Америку и Лолиту. Мне понадобилось около сорока лет, чтобы изобрести Россию и Западную Европу, и теперь передо мной стояла схожая задача, но в моем распоряжении было гораздо меньше времени. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить средней «реальности» в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет куда более сложным делом, чем это было в Европе моей юности.

Вопрос. Хотя вы родились в России, но уже много лет живете и работаете в Америке и Европе. Ощущаете ли вы достаточно сильно принадлежность к какой-нибудь нации?

Ответ. Я — американский писатель, который родился в России и получил образование в Англии, где изучал французскую литературу, после чего прожил пятнадцать лет в Германии. Я приехал в Америку в 1940 году и решил стать американским гражданином и сделать Америку своим домом. Так уж случилось, что я сразу познакомился с лучшими сторонами Америки — с ее богатой интеллектуальной жизнью и непринужденной, сердечной атмосферой. Я погрузился в ее огромные библиотеки и в ее Большой каньон. Я работал в лабораториях ее зоологических музеев. Я приобрел больше друзей, чем когда-либо имел в Европе. Мои книги, старые и новые, нашли превосходных читателей. Я стал таким же упитанным, как Кортес, в основном потому, что бросил курить и перешел на конфеты, после чего мой вес с обычных ста сорока фунтов увеличился до монументальных и жизнерадостных двухсот. Так что я на треть американец — добрая американская плоть согревает и хранит меня.

Вопрос. Вы прожили в Америке двадцать лет, но даже не обзавелись собственным домом и не имели там постоянного места жительства. Друзья рассказывают, что вы временно останавливались в мотелях, дачных домиках, меблированных комнатах, в домах отсутствующих профессоров. Вы чувствовали себя настолько отчужденно, что сама мысль прочно осесть где-нибудь раздражала вас?

Ответ. Основная, фундаментальная причина заключается, я полагаю, в том, что меня могла бы удовлетворить только точная копия обстановки моего детства. Но я никогда не смогу воссоздать ее в полном соответствии с моими воспоминаниями, так зачем же зря тратить силы на безнадежные попытки? Нужно учитывать и другое, например, фактор начального толчка и последующей инерции. Я вылетел из России с такой скоростью, с такой жестокой силой, что так и качусь с тех пор. Правда, я докатился до аппетитного титула «полного профессора», но в душе всегда остаюсь тощим «почасовиком». Несколько раз я говорил себе: «Вот хорошее место для дома» — и сразу же слышал в голове шум лавины, уносящей прочь сотни отдаленных мест, которые я уничтожу только тем, что обосную в каком-нибудь уголке земли. И наконец, я не слишком люблю мебель, столы, стулья, лампы, ковры и все такое — возможно, потому, что в моем обеспеченном детстве меня научили относиться с легким презрением к чрезмерной привязанности к материальному богатству, поэтому я не испытывал сожаления и горечи, когда революция его уничтожила.

Вопрос. Вы прожили в России 20 лет, в Западной Европе 20 лет и в Америке 20 лет. Но в 1960 году, после успеха «Лолиты», вы переехали во Францию, затем в Швейцарию и с тех пор не возвращались в Соединенные Штаты. Значит ли это, что, хотя вы и считаете себя американским писателем, ваш американский период закончился?

Ответ. Я живу в Швейцарии по причинам исключительно личного характера — семейным, а также профессиональным, как, например, определенные исследования для определенной книги. Надеюсь очень скоро вернуться в Америку к ее библиотечным полкам и горным тропинкам. Идеальным вариантом была бы совершенно звуконепроницаемая квартира в Нью-Йорке на последнем этаже — никаких шагов наверху, никакой легкой музыки — и домик на Юго-Западе. Порой я думаю, что было бы забавно вновь украсить собой какой-нибудь университет, жить и писать там и не преподавать или, во всяком случае, делать это нерегулярно.

Вопрос. А пока вы остаетесь в уединении и ведете, как говорят, сидячий образ жизни в гостиничной комнате. Как вы проводите время?

Ответ. Зимой я встаю около семи: мой будильник — альпийская красноногая галка, большая черная птица с блестящими перьями и крупным желтым клювом, которая навещает мой балкон и весьма мелодично клекочет. Некоторое время *лежу в постели, обдумываю* и планирую день. Около восьми бритье, завтрак, тронные размышления, ванна — в таком вот порядке. Потом до обеда я работаю у себя

[1] Haze — туман (*англ.*), Hase — заяц (*нем.*).
[2] «Hum» — сокр. от англ. «Humbert».

в кабинете, делая перерыв для короткой прогулки с женой вдоль озера. В то или иное время почти все знаменитые русские писатели XIX века бродили здесь: Жуковский, Гоголь, Достоевский, Толстой, который ухаживал за гостиничными служанками не без ущерба для здоровья, и множество русских поэтов. Впрочем, то же самое можно сказать о Ницце или Риме. Ленч у нас около часа, и в час тридцать я вновь сижу за столом и непрерывно работаю до шести тридцати. Потом прогулка к киоску за английскими газетами и в семь обед. Никакой работы после ужина. Ложусь около девяти. Читаю до полдвенадцатого, а потом ворочаюсь от бессонницы до часу ночи. Примерно дважды в неделю у меня случается хороший долгий кошмар с неприятными героями предыдущих снов, возникающими в более или менее повторяющемся окружении, — калейдоскопические комбинации разорванных впечатлений, обрывки дневных мыслей, безотчетные машинальные образы, совершенно не допускающие ни фрейдистского осмысления, ни объяснения, — удивительно похожие на мелькающие картинки, которые обычно видишь на изнанке век, закрывая усталые глаза.

Вопрос. Странно, что знахарям и их пациентам никогда не приходило в голову столь простое и совершенно удовлетворительное объяснение сна. Правда, что вы пишете стоя и от руки, а не на машинке?

Ответ. Да. Я так и не научился печатать. Обычно мой день начинается за чудесной старомодной конторкой в моем кабинете. Потом, когда сила притяжения начинает пощипывать икры, я сажусь в удобное кресло за обыкновенный письменный стол, и, наконец, когда тяжесть ползет вверх по позвоночнику, я ложусь на диван в углу моего маленького кабинета. Приятно подражать солнечному расписанию. Но когда я был молод, лет в двадцать и до тридцати с небольшим, я часто целый день оставался в постели, курил, писал. Теперь все изменилось. Горизонтальная проза, вертикальные стихи и сидячие комментарии то и дело меняются определениями и портят аллитерацию.

Вопрос. Можете ли вы рассказать побольше о самом творческом процессе, в ходе которого возникает книга; может быть, прочтете нам какие-нибудь подготовительные записи или фрагменты из того, над чем сейчас работаете?

Ответ. Ни в коем случае. Ни один зародыш не должен подвергаться исследовательской операции. Но я могу сделать нечто другое. В этом ящике хранятся карточки со сравнительно недавними записями по разному поводу, не понадобившимися при написании «Бледного огня». Небольшая пачка отходов. Вот, пожалуйста. «Селена, Луна. Селенгинск, старинный город в Сибири: город, откуда запускают ракеты на Луну»... «Берри[1]: черная шишка на клюве лебедя-шипуна»... «Дропуорм[2]: маленькая гусеница на нитке»... «В «Новом журнале хорошего тона», том пятый, 1820 год, с. 312: проститутки названы «городскими девочками»... «Юноше снится: забыл штаны; старику снится: забыл зубной протез»... «Студент объясняет, что, читая роман, любит пропускать куски текста, чтобы «составить собственное представление о книге и не подвергаться влиянию автора»... «Напрапатия: самое уродливое слово в языке».

«А после дождя, на проводах, унизанных каплями, одна птица, две птицы, три птицы, ни одной. Грязные шины, солнце»... «Время без сознания — мир низших животных; время с сознанием — человек; сознание без времени — какой-то более высокий уровень»... «Мы думаем не словами, а призраками слов. Джеймс Джойс ошибался, облекая мысли в своих вообще-то превосходных внутренних монологах излишней словесной плотью»... «Пародия на вежливость: это неподражаемое «Пожалуйста» — «Пожалуйста, пришлите мне вашу прекрасную...», с которым фирмы поидиотски обращаются к самим себе на бланках, отпечатанных для людей, заказывающих их изделия» <...>

«Наивный, непрерывный — пи-пи — писк цыплят в унылых клетках поздно-поздно ночью на заиндевевшем пустынном перроне»... «Заголовок в бульварной газете «TORSO KILLER MAY BEAT CHAIR»[1] можно перевести: Celui qui tue un buste peut bien battre une chaise[2]. «Продавец газет, протягивая мне журнал с моим рассказом: «Вы угодили на глянцевую обложку»... «Снегопад, молодой отец на улице с малышом, носик как розовая вишня. Почему родители тут же говорят что-то ребенку, если ему улыбается незнакомец? «Конечно», — говорит отец в ответ на вопросительное лепетание ребенка, которое продолжалось уже некоторое время и продолжалось бы еще в тихо падающем снеге, не улыбнись я, проходя мимо»... «Пространство между колоннами: темно-синее небо между двумя белыми колоннами» <...> «Название места на Оркнейских островах: «Папилио»... «Не «И я жил в Аркадии», но «Я, — говорит смерть, — есть даже в Аркадии» — надпись на могиле пастуха («Ноутс энд куайериз», 13 июня 1868 года, с. 561)»... «Марат собирал бабочек»... «С эстетической точки зрения солитер, конечно же, нежелательный жилец. Беременные сегменты часто выползают из анального отверстия человека, иногда цепочками, и известны случаи, когда это вызывало замешательство в обществе» («Анналы Нью-Йоркской академии наук», 48:558).

Вопрос. Что побуждает вас собирать и записывать такие разрозненные впечатления и цитаты?

Ответ. Я только знаю, что на очень ранней стадии развития романа у меня появляется сильное желание запасаться соломинками и пухом и глотать камешки. Никогда никто не узнает, насколько ясно представляет себе птица, если представляет вообще, будущее гнездо и яйца в нем. Когда я потом вспоминаю ту силу, которая заставила меня набросать правильные названия вещей или их размеры и оттенки, еще до того, как мне эти сведения понадобились, я склоняюсь к тому, что вдохновение — это слово я употребляю за отсутстви-

[1] Berry — ягода(*англ*).
[2] Dropworm — вид червя.

[1] «Убийца Торсо может побить Чера» (*англ*).
[2] Тот, кто убивает бюст, может побить и стул (*франц*).

ем лучшего термина — уже давно действовало, молчаливо указывая то на одно, то на другое и заставляя собирать известный материал для неизвестного сооружения. После первого шока узнавания — внезапного ощущения: «*Вот* о чем я напишу» — роман начинает расти сам по себе; этот процесс происходит исключительно в уме, а не на бумаге; и, чтобы понять, на какой стадии он находится в данный момент, мне не надо представлять себе каждую конкретную фразу. Я чувствую, как внутри что-то тихо растет, развивается, и я знаю, что подробности уже оформились, что на самом деле я бы ясно различил их, если бы посмотрел пристальнее, если бы остановил механизм и открыл его; но я предпочитаю ждать до тех пор, пока то, что приблизительно именуют вдохновением, не выполнит эту работу за меня. Потом приходит время, когда мне изнутри сообщается, что сооружение готово. Теперь мне остается только записать все ручкой или карандашом. Поскольку это сооружение, неясно маячащее в сознании, можно сравнить с картиной, для правильного восприятия которой необязательно двигаться последовательно слева направо, то я могу направить свой фонарь на любую часть или фрагмент картины, когда стану описывать ее на бумаге. Я не начинаю роман с самого начала. Для того чтобы написать четвертую главу, мне необязательно иметь третью, я не пишу покорно одну страницу за другой по порядку; нет, я выбираю понемногу то здесь, то там, пока не заполню на бумаге все пустоты. Вот почему я люблю писать рассказы и романы на карточках, нумеруя их только тогда, когда набор полон. Каждая карточка переписывается множество раз. Примерно три карточки составляют машинописную страницу, а когда наконец-то я чувствую, что задуманная картина скопирована мной настолько точно, насколько это физически возможно — некоторые участки, увы, так и остаются незаполненными, — тогда я диктую роман жене, которая печатает его в трех экземплярах.

Вопрос. Что вы имеете в виду, когда говорите, что копируете «задуманную картину» романа?

Ответ. Настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего. Он должен обладать врожденной способностью не только вновь перемешивать части данного мира, но вновь создавать его. Чтобы делать это как следует и не изобретать велосипед, художник должен *знать* этот мир. Воображение без знания приведет лишь на задворки примитивного искусства, к детским каракулям на заборе или к выкрикам узколобых ораторов на базарной площади. Искусство никогда не бывает простым. Если вспомнить мое преподавательское прошлое, то я автоматически ставил плохие отметки, когда студент употреблял ужасное выражение «искренне и просто»: «Флобер всегда пишет искренне и просто», словно это величайший комплимент, какой можно сделать прозе или поэзии. Когда я зачеркнул карандашом это выражение с такой яростью, что порвалась бумага, студент заныл, ведь так его всегда учили: «Искусство просто, искусство искренне». Когда-нибудь я обязательно докопаюсь до первоисточника этой пошлой глупости. Училка в Огайо? Прогрессивный осел в Нью-Йорке? Потому что, несомненно, величайшее искусство фантастически обманчиво и сложно.

Вопрос. Что касается современного искусства, то мнения критиков относительно искренности или обманчивости, простоты или сложности современной абстрактной живописи расходятся. Каково ваше мнение?

Ответ. Я не вижу принципиальной разницы между абстрактным и примитивным искусством. И то и другое просто и искренне. Естественно, в этих вопросах не нужно обобщать: только отдельный художник имеет значение. Но если мы на минуту примем общее понятие «современное искусство», тогда нужно признать, что это искусство ординарно, подражательно, академично. Пятна и кляксы всего лишь сменили поток красивостей столетней давности: картины с итальянскими девушками, статными нищими, романтическими руинами и т.д. Но как среди тех банальных холстов могла появиться работа настоящего художника с более богатой игрой света и тени, с какой-нибудь неповторимой силой или мягкостью, так и в банальщине примитивного или абстрактного искусства можно наткнуться на проблеск огромного таланта. Только талант интересует меня в картинах и книгах. Не общие идеи, а только личный вклад.

Вопрос. Вклад в общественную жизнь?

Ответ. Произведение искусства не имеет никакого значения для общественной жизни. Оно важно только для отдельного человека, и только отдельный читатель важен для меня. Мне наплевать на всякие группы, общество, массы и т.д. Хотя я и равнодушен к лозунгу «искусство для искусства» — потому что, к сожалению, такие его сторонники, как, например, Оскар Уайльд и некоторые другие утонченные поэты, были на самом деле штатными моралистами и нравоучителями, — нет никакого сомнения в том, что искусство, и только искусство, а не социальная значимость предохраняет литературное произведение от ржавчины и плесени.

Вопрос. Чего еще вы стремитесь достичь, а от чего могли бы и отказаться — или это не должно волновать писателя?

Ответ. Ну, что касается перспектив, то у меня, конечно, нет программы или плана на тридцать пять лет, но у меня есть определенное представление о будущем моих книг. Я ощутил некоторые намеки, я почувствовал дуновение неких обещаний. Несомненно, будут взлеты и падения, долгие периоды забвения. Я открываю газету 2063 года с помощью дьявола и в разделе критики нахожу: «Сегодня никто не читает Набокова или Фулмерфорда». Ужасный вопрос: «Кто этот несчастный Фулмерфорд?»

Вопрос. Раз уж мы затронули тему самооценки, хочется спросить, что, кроме забывчивости, вы как писатель считаете своим главным недостатком?

Ответ. Отсутствие спонтанности; навязчивость параллельных мыслей, вторых мыслей, третьих мыслей; неумение правильно выразить себя на любом языке, не иначе как сочиняя

каждое проклятое предложение в ванне, в уме, за столом.

Вопрос. Позвольте заметить, что в данный момент это у вас неплохо получается.

Ответ. Это иллюзия.

Вопрос. Ваш ответ, как может показаться, лишь подтверждает правильность критических отзывов, где вас называют «неисправимым шутником», «мистификатором» и «литературным агентом-провокатором». А как вы сами себя оцениваете?

Ответ. Думаю, в самом себе мне больше всего нравится то, что меня никогда не волновала глупость или желчность критиков и я ни разу в жизни не просил кого-либо написать рецензию на мои книги и никого не благодарил за написанные обо мне статьи. Следующее, что мне в себе нравится... — или хватит одного примера?

Вопрос. Нет, продолжайте, пожалуйста.

Ответ. То, что с юности — мне было девятнадцать лет, когда я покинул Россию, — мои политические убеждения остались такими же примитивными и неизменными, как старый замшелый утес. Они настолько классические, что их можно назвать банальными. Свобода слова, свобода мысли, свобода творчества. Проблема социальной или экономической структуры идеального государства меня не слишком волнует. Мои желания скромны. Портреты главы правительства своими размерами не должны превышать почтовую марку. Никаких пыток и казней. Никакой музыки, кроме звучащей в наушниках или исполняемой в театре.

Вопрос. Почему никакой музыки?

Ответ. Я плохо воспринимаю музыку и горько сожалею об этом недостатке. Когда я прихожу на концерт, а это бывает примерно раз в пять лет, я пытаюсь в порядке игры проследить за связью и взаимоотношениями звуков, но меня хватает не более чем на несколько минут. Зрительные впечатления, отражения рук на лакированном дереве, лысина, прилежно склоненная над скрипкой, — все это побеждает, и вскоре движения музыкантов становятся для меня бесконечно скучными. Мое знание музыки очень поверхностно, и у меня есть особые причины считать свое невежество и бесталанность тяжелым и несправедливым наказанием: в моей семье есть великолепный певец — мой собственный сын. Его необыкновенные способности, редкая красота баса и надежда на великолепную карьеру меня глубоко волнуют, и я чувствую себя глупцом во время профессиональной беседы музыкантов. Я понимаю, что существует множество параллелей между такими искусствами, как музыка и литература, особенно на уровне формы, но что же я могу сделать, если ухо и мозг отказываются сотрудничать? Я нашел довольно необычную замену музыке в шахматах, точнее сказать, в сочинении шахматных задач.

Вопрос. Другой заменой, конечно же, была ваша собственная благозвучная проза и поэзия. Так как вы один из немногих авторов, которым удавалось создавать художественные произведения более чем на одном языке, то не могли бы вы охарактеризовать структурные различия между русским и английским языками, на которых пишете, как считается, одинаково легко?

Ответ. По количеству слов английский язык гораздо богаче русского. Это особенно заметно на примере существительных и прилагательных. Нехватка, неясность и неуклюжесть технических терминов — одна из самых неудобных черт русского языка. Например, «припарковать машину» в обратном переводе с русского будет звучать: «оставить стоять машину на длительное время». Русский, во всяком случае его вежливая форма, более официален, чем вежливая форма английского. Русское слово «половой», означающее «сексуальный», звучит несколько неприлично, и им нельзя бросаться направо и налево. То же относится и к русским словам, означающим различные анатомические и биологические понятия, которые часто и привычно употребляются в английском разговоре. С другой стороны, русский более богат средствами выражения определенных нюансов движения, человеческих жестов и эмоций. Так, меняя начало глагола, для чего в русском языке есть полдюжины приставок на выбор, можно добиться выражения чрезвычайно тонких оттенков длительности и интенсивности действия. Синтаксически английский язык чрезвычайно гибкое средство, но русскому доступны еще более тонкие изгибы и вариации. Переводить с русского на английский немного проще, чем с английского на русский, и в десять раз проще, чем переводить с английского на французский.

Вопрос. Вы говорили, что уже никогда не напишете романа на русском. Почему?

Ответ. Во время великой, еще невоспетой эры русской интеллектуальной эмиграции, примерно между 1920 и 1940 годами, книги, написанные по-русски русскими эмигрантами и напечатанные эмигрантскими издательствами, хорошо покупались, и читатели-эмигранты передавали их друг другу. Но эти книги были совершенно запрещены в Советской России, как и сейчас (за исключением нескольких уже умерших писателей, таких, как Куприн и Бунин, — их сочинения недавно были изданы там с многочисленными купюрами), независимо от темы рассказа или стихотворения. Эмигрантский роман, напечатанный, скажем, в Париже и продающийся по всей свободной Европе, мог тогда разойтись в количестве 1000 и 2000 экземпляров (и это был бы бестселлер), но каждый экземпляр передавался из рук в руки и мог быть прочитан как минимум двадцатью людьми и еще по крайней мере пятьюдесятью ежегодно, если он имелся в русских библиотеках, которых в одной только Западной Европе были сотни. Эра эмиграции закончилась во время второй мировой войны. Старые писатели умерли, русские издатели тоже исчезли, и, что хуже всего, общая атмосфера ссыльной культуры, с ее великолепием, мощью и чистотой, с ее чуткой способностью к отражению жизни, рассеялась, оставив горстку русскоязычных изданий с худосочным талантом и провинциальной интонацией. Если вернуться к моему случаю, то здесь дело было совсем не в деньгах; я не думаю, что мои русские сочинения когда-нибудь приносили мне более чем несколько сотен долларов в год, и я целиком и полностью стою за башню из сло-

новой кости, за то, чтобы угодить только одному читателю — себе самому. Но все же нужна хоть какая-нибудь отдача, если не ответ, незначительное распространение своего «я» по стране или по нескольким странам; и если вокруг вашего стола нет ничего, кроме пустоты, то хотелось бы, чтобы это была по крайней мере пустота, насыщенная звуками, не ограниченная стенами палаты, обитой войлоком. С течением времени Россия становилась для меня все менее и менее интересной, и мне была все более и более безразлична некогда ужасная мысль, что мои книги будут там запрещены; пока ненависть к полицейскому государству и политическому насилию не дает мне даже тешить себя призрачной мыслью о возвращении. Нет, я никогда больше не напишу романа по-русски, хотя позволяю себе время от времени сочинять коротенькие стихотворения. Свой последний русский роман я написал четверть века назад. Но сейчас в качестве компенсации и отдавая дань справедливости моей маленькой американской музе, я делаю нечто другое. Наверное, мне не надо говорить об этом, так как работа только недавно начата.

Вопрос. Пожалуйста, расскажите.

Ответ. Ну, однажды мне пришло в голову — пока я глядел на разноцветные корешки переводов «Лолиты» на языки, которых я не знаю, вроде японского, финского, арабского, — что список неизбежных промахов в этих пятнадцати— двадцати изданиях может составить, если собрать их воедино, более толстую книгу, чем любая из них. Я проверил французский перевод, вообще-то очень хороший, но и он изобиловал бы неизбежными ошибками, не исправь я их. Но что мог я сделать с переводами на португальский, датский или иврит? И потом я вообразил себе нечто другое. Я вообразил, что когда-нибудь в далеком будущем кто-нибудь переведет «Лолиту» на русский. Я направил свой внутренний телескоп именно на эту точку в отдаленном будущем и увидел, что любой абзац, притом что каждый из них усеян ловушками, чреват ужасными переводческими ошибками. В руках какого-нибудь вредоносного работяги-переводчика русский вариант «Лолиты» окажется совершенно убогим, неумело скроенным из вульгарных выражений или промахов. Поэтому я решил перевести книгу сам. На сегодняшний день сделано около шестидесяти страниц.

Вопрос. Работаете ли вы сейчас над чем-нибудь новым?

Ответ. Хороший вопрос, как говорят на малом экране. Я только что закончил править последнюю корректуру моего перевода «Евгения Онегина» Пушкина — четыре толстых томика, которые выйдут в этом году в серии Боллингена; собственно перевод поэмы занимает небольшую часть первого тома. Остальная же его часть, а также второй, третий, четвертый тома содержат многочисленные примечания. Своим рождением этот труд обязан случайному замечанию моей жены в 1950 году в ответ на мое недовольство рифмованным пересказом «Евгения Онегина», каждую строчку которого я вынужден был для своих студентов переделывать: «Почему бы тебе не перевести самому?» И вот результат. Труд этот занял около десяти лет. Один алфавитный указатель составляет пять тысяч карточек, заполнивших три большие коробки из-под ботинок; вон они, на той полке. Мой перевод, конечно же, дословный, это — шпаргалка, подстрочник. Ради точности я пожертвовал всем: изяществом, благозвучием, ясностью, хорошим вкусом, современным употреблением слов и даже грамматикой.

Вопрос. В связи с ошибками, о которых вы говорили, вам, наверное, не терпится прочитать рецензии на книгу?

Ответ. Вообще-то я читаю рецензии на мои сочинения без особого желания и внимания, если только эти рецензии не являются шедеврами остроумия и проницательности, что все же случается время от времени. И я никогда не перечитываю их, хотя моя жена их собирает, и, возможно, когда-нибудь я воспользуюсь отрывками из наиболее смешных материалов о «Лолите», чтобы написать краткую историю злоключений нимфетки. Я все же довольно ясно помню некоторые нападки русских эмигрантских критиков, писавших о моих первых романах около тридцати лет назад: не то чтобы тогда я был более уязвим, просто память была гораздо более цепкой и деятельной, да и сам я был критиком. В 20-х годах ко мне прицепился некий Мочульский, который никак не мог переварить мое полнейшее равнодушие к организованному мистицизму, к религии, к церкви — любой церкви. Были и другие критики, которые не могли мне простить то, что я держался вдалеке от литературных «течений», что я не декларировал *angoisse*[1], которую они требовали от поэта, и то, что я не принадлежал ни к какой из поэтических групп, организовывавших вечера совместного вдохновения в задних комнатах парижских кафе. Кроме того, был забавный случай с Георгием Ивановым, хорошим поэтом, но грубым критиком. Я никогда не встречался ни с ним, ни с его женой, литераторшей Ириной Одоевцевой, но однажды в конце 20-х или в начале 30-х годов, когда я регулярно писал рецензии для одной эмигрантской газеты в Берлине, она прислала мне из Парижа экземпляр своего романа с лукавой надписью: *«Спасибо за «Короля, даму, валета»*, которую можно понять как «Спасибо за то, что вы написали эту книгу», но можно истолковать и как «Спасибо за то, что вы мне прислали свою книгу», хотя я никогда ей ничего не посылал. *Ее* книга оказалась ничтожно банальной, и я так и написал в короткой и злой рецензии. Иванов отомстил статьей обо мне и моих книгах, где грубо переходил на личности. Возможность изливать или выдавливать дружеские или враждебные чувства посредством литературной критики и делает это искусство таким скользким.

Вопрос. Как известно, вы говорили: «Мои излюбленные занятия — самые сильные из наслаждений, известных человечеству: ловить бабочек и писать». Разве можно сравнивать две эти вещи?

Ответ. Нет, по сути своей они принадлежат к совершенно разным типам наслаждения. Нелегко рассказать о них человеку, который не испытывал их, и каждое настолько очевид-

[1] Тоска, тревога (*франц.*).

но для познавшего их, что любое описание будет звучать грубо и многословно. Что касается ловли бабочек, мне кажется, я могу выделить четыре главных элемента. Во-первых, надежда поймать первый экземпляр некоего вида, еще неизвестного науке (или реальная его поимка), — это сокровенная мечта каждого энтомолога, независимо от того, взбирается ли он на гору в Новой Гвинее или пробирается по болоту в штате Мэн. Во-вторых, возможность поймать бабочку очень редкую или такую, которую можно найти лишь в одном-единственном месте, — то, что вы пожирали глазами в книгах, в никому не известных научных журналах, на роскошных иллюстрациях к знаменитым трудам, вы теперь своими глазами видите на крыле, в естественном окружении, среди растений и камней, наделенных таинственной магией из-за сокровенной связи с теми диковинками, которые они порождают и поддерживают, так что этот пейзаж живет дважды: как восхитительная девственная природа сама по себе и как место обитания какой-нибудь бабочки или мотылька. В-третьих, натуралисту интересно распутывать истории жизни малоизученных насекомых, изучать их привычки и строение, находить им место в классификационной схеме, той самой, которая иногда может приятно взорваться в ослепительном блеске полемического фейерверка, когда новое открытие нарушает старую схему и озадачивает ее бестолковых сторонников. И в-четвертых, нельзя игнорировать спортивный момент, момент удачи, стремительного движения и нелегкой победы, неутомимых и страстных поисков ради шелковистого треугольника сложившей крылышки бабочки на вашей ладони.

Вопрос. А как насчет наслаждения, получаемого от творчества?

Ответ. Оно в точности соответствует наслаждению от чтения; это блаженство, упоение фразой одинаково и для читателя, и для писателя — то есть для удовлетворенного собой автора и для благодарного читателя, или — что, по сути, то же — для творца, благодарного неведомым силам своего воображения за подаренную комбинацию образов, и для творческого читателя, которому эта комбинация приносит удовлетворение. Каждый хороший читатель наслаждался в жизни несколькими хорошими книгами, так что нет необходимости анализировать удовольствие, хорошо знакомое обеим сторонам. Я пишу главным образом для художников, для художников-единомышленников и для художников-последователей. Однако я никогда не мог доступно объяснить студентам на моих литературных уроках, в чем же состоит специфика правильного чтения,— а именно то, что книгу настоящего художника вы читаете не сердцем (сердце — чрезвычайно глупый читатель) и не только головой, но головой и позвоночником. «Дамы и господа, дрожь в вашем позвоночнике действительно подскажет вам, что чувствовал автор и какие чувства хотел вызвать у вас». Интересно, смогу ли я когда-нибудь еще измерить радостными руками ширину кафедры и погрузиться в мои записи перед доброжелательной бездной студенческой аудитории.

Вопрос. Каково ваше отношение к неоднозначному мнению, высказанному одним критиком в рецензии, где он вас определяет как человека, имеющего хороший и самобытный ум, но «без способного к обобщениям интеллекта», и как «типичного представителя класса художников, который не доверяет идеям»?

Ответ. Таким же важным тоном некоторые сварливые энтомологи критиковали мои работы по классификации бабочек, обвиняя меня в том, что я больше интересуюсь подвидом и подродом, чем родом и семейством. Такое отношение, полагаю, связано с ментальным темпераментом. Посредственность или просвещенный мещанин не может избавиться от тайного чувства, что книга, чтобы быть великой, должна провозглашать великие идеи. О, я знаю этот тип, ужасно скучный тип! Такому человеку нужен рассказ подлиннее, приправленный социальными оценками; ему нравится узнавать у писателя свои собственные мысли и тревоги; он хочет, чтобы по крайней мере один из героев был глашатаем авторских идей. Если это американец, то в его жилах течет немного марксистской крови, а если британец, то ему присуще обостренное и нелепое классовое чувство; ему намного легче писать об идеях, чем о словах; он не понимает того, что, возможно, причина, по которой он не может найти общих идей у конкретного писателя, состоит в том, что конкретные идеи этого писателя еще не стали общими.

Вопрос. Достоевский, который обращался к темам, по общему мнению, универсальным и по масштабам и по значению, считается одним из величайших писателей мира. Вы назвали его «любителем дешевых сенсаций, неуклюжим и вульгарным». Почему?

Ответ. Нерусские читатели не понимают двух вещей: далеко не все русские любят Достоевского, подобно американцам, и большинство из тех русских, которые его все-таки любят, почитают его как мистика, а не как художника. Он был пророком, журналистом, любящим дешевые эффекты, никудышным комедиантом. Я признаю, что некоторые сцены в его романах, некоторые потрясающие фарсовые сцены необыкновенно забавны. Но его чувствительные убийцы и высокодуховные проститутки просто невыносимы, во всяком случае для вашего покорного слуги.

Вопрос. Правда ли, что вы назвали Хемингуэя и Конрада «детскими писателями»?

Ответ. Они и есть детские писатели в самом точном смысле слова. Хемингуэй, конечно, из них лучший; у него, во всяком случае, есть свой собственный голос, и ему принадлежит очаровательный, прекрасно написанный рассказ «Убийцы». Описание радужного блеска рыбы и ритмичного мочеиспускания в его знаменитой рыбной истории превосходно. Но я не могу вынести стиль Конрада, напоминающий сувенирную лавку с кораблями в бутылках, бусами из ракушек и всякими романтическими атрибутами. Ни у одного из этих двух писателей я не могу найти ничего такого, что хотел бы написать сам. Уровень сознания и эмоций у них безнадежно юношеский, что можно сказать и о некоторых других почитаемых писателях, любимцах студенческих курилок, а также утешении и опоре студентов-вы-

пускников, как, например... — но некоторые из них еще живы, и мне не хочется обижать еще здравствующих «стариков», когда мертвые еще не похоронены.

Вопрос. А что вы читали в детстве?

Ответ. Между десятью и пятнадцатью годами в Санкт-Петербурге я прочитал, наверное, больше беллетристики и поэзии — английской, русской, французской, — чем за любой другой такой же отрезок своей жизни. Особенно я наслаждался сочинениями Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока. Другими моими героями были Скарлет Пимпернел, Филеас Фогг и Шерлок Холмс. Иными словами, я был совершенно обычным трехъязычным ребенком в семье с большой библиотекой. В более позднее время в Западной Европе, между двадцатью и сорока годами, моими любимыми писателями были Хаусман, Руперт Брук, Норман Дуглас, Бергсон, Джойс, Пруст и Пушкин. Некоторые из моих любимцев — По, Жюль Верн, Эммушка Орчи, Конан Дойл и Руперт Брук — утратили для меня прежнее очарование и способность волновать. Отношение к другим остается тем же и, насколько я могу судить, уже не изменится. В отличие от многих моих современников в 20— 30-х годах я избежал влияния отнюдь не первоклассного Элиота и несомненно второсортного Паунда. Их стихи я прочитал гораздо позже, где-то в 1945-м, в гостиной одного из моих американских друзей, и остался не только совершенно равнодушным, но вообще не мог понять, почему они хоть кого-нибудь должны волновать. Однако я признаю, что произведения этих авторов сохраняют некоторую сентиментальную ценность для тех читателей, которые познакомились с ними в более раннем возрасте, чем я.

Вопрос. Как и что вы сегодня читаете?

Ответ. Обычно я читаю несколько книг одновременно — старые книги, новые книги, беллетристику, научную литературу, поэзию и т.д.,— и когда стопка из дюжины книг подле моей постели уменьшается до двух-трех, что, как правило, бывает в конце недели, я набираю новую кучу. Есть некоторые виды художественной литературы, к которым я вообще не прикасаюсь, например, детективы, которых я терпеть не могу, и исторические романы. Я также ненавижу так называемый «сильный» роман, напичканный банальными непристойностями и диалогами; и вообще, когда я получаю новый роман от полного надежд издателя («с надеждой, что мне понравится эта книга так же, как ему»), первым делом смотрю, сколько в нем диалогов, и если оказывается, что их слишком много или они слишком длинные, я захлопываю книгу и изгоняю ее с тумбочки подле постели.

Вопрос. Есть ли современные писатели, чтение которых доставляет вам *настоящее* удовольствие?

Ответ. Да, у меня есть несколько любимых писателей, например, Роб-Грийе и Борхес. Как свободно и приятно дышится в их великолепных лабиринтах! Я люблю их ясную мысль, эту чистоту и поэзию, эти миражи в зеркалах.

Вопрос. Многие критики полагают, что это описание хорошо подходит и к вашей собственной прозе. Насколько, по вашему мнению, проза и поэзия переплетены друг с другом как формы искусства?

Ответ. Разница между нами только в том, что я раньше начал, — это ответ на первую часть вашего вопроса. Что касается второй, то понятие «поэзия», конечно, включает в себя всякое литературное творчество; я никогда не видел никакой качественной разницы между поэзией и художественной прозой. И вообще, хорошее стихотворение любой длины я склонен определять как концентрат хорошей прозы, независимо от наличия повторяющегося ритма или рифмы. Магия просодии может, выявляя всю гамму значений, усовершенствовать то, что мы называем прозой, но и в обычной прозе есть особый ритмический рисунок, музыка точной фразировки, пульсация мысли, передаваемая повторяющимися идиомами и интонациями. Как и в современных научных классификациях, в наших сегодняшних концепциях поэзии и прозы много пересечений. Бамбуковый мост между ними — это метафора.

Вопрос. Вы также писали, что поэзия представляет «тайны иррационального, воспринимаемые через рациональные слова». Но многие полагают, что для «иррационального» осталось совсем немного места в наш век, когда точное научное знание начало проникать в самые глубокие тайны человеческого существования. Вы согласны с этим?

Ответ. Такая картина очень обманчива. Это журналистская иллюзия. На самом деле, чем значительнее познания, тем сильнее ощущение тайны. Более того, я не верю, что хоть какая-нибудь наука сегодня проникла хоть в какую-нибудь тайну. Мы, читатели газет, склонны называть «наукой» ловкость электрика или болтовню психиатра. Это в лучшем случае прикладная наука, и одна из особенностей прикладной науки состоит в том, что вчерашний нейтрон или сегодняшняя истина завтра умирает. Но даже когда слово «наука» употребляется в высоком смысле, как изучение видимой и ощущаемой природы или как поэзия чистой математики или чистой философии, положение остается таким же безнадежным, как и всегда. Мы никогда не узнаем ни о происхождении жизни, ни о смысле жизни, ни о природе пространства и времени, ни о природе природы, ни о природе мышления.

Вопрос. Человеческое понимание этих тайн воплощено в представлении о высшем разуме. И последний вопрос — вы верите в Бога?

Ответ. Откровенно говоря — а то, что я собираюсь сейчас сказать, я не говорил никогда, и, надеюсь, это вызовет легкую и приятную дрожь, — я знаю больше того, что могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выражено, не знай я большего.

«ПАРИС РЕВЬЮ», октябрь 1967 г.

(Вопросы задает ГЕРБЕРТ ГОЛД)

Вопрос. Отношения между Гумбертом Гумбертом и Лолитой, на ваш взгляд, являются глубоко аморальными. В Голливуде и в Нью-Йор-

ке, однако, очень часто случаются романы между мужчинами сорока лет и девочками лишь немного старше Лолиты. Они женятся, и общество не особо возмущается; скорее, это лишь тема для светских сплетен.

Ответ. Нет, это *не на мой* взгляд отношения Гумберта Гумберта с Лолитой являются глубоко аморальными: это взгляд самого Гумберта. *Ему* это важно, а мне безразлично. *Меня* не волнует общественная мораль в Америке или где бы то ни было. И вообще случаи, когда мужчины, которым за сорок, женятся на совсем молоденьких девушках, к Лолите не имеют никакого отношения. Гумберту нравились «девочки», а не просто «девушки». Нимфетки — это дети, а не будущие кинозвезды или «сексуальные кошечки». Лолите было двенадцать, а не восемнадцать, когда ее встретил Гумберт. Вы, может быть, помните, что, когда ей исполняется четырнадцать, он говорит о ней как о «стареющей любовнице».

Вопрос. Один критик сказал о вас: «Его чувства не похожи на чувства других людей». Есть в этой фразе хоть какой-нибудь смысл? Или она означает, что вы свои чувства знаете лучше, чем другие люди — свои? Или что вы открыли себя на иных уровнях? Или просто у вас необыкновенная судьба?

Ответ. Я не припоминаю этой статьи, но если какой-нибудь критик делает такое заявление, то это должно означать, что он исследовал чувства в буквальном смысле миллионов людей по меньшей мере в трех странах, прежде чем прийти к подобному заключению. Если это так, то я действительно редкая птица. Если же, наоборот, он ограничился только тем, что протестировал членов своей семьи или своего клуба, то его заявление нельзя рассматривать серьезно.

Вопрос. Другой критик писал, что ваши «миры статичны. Они могут насыщаться навязчивыми идеями, но они не распадаются на части, подобно мирам повседневной реальности». Вы согласны? Есть ли элемент статики в ваших взглядах на мир?

Ответ. Чьей «реальности»? «Повседневной» где? Позвольте мне заметить, что само выражение «повседневная реальность» совершенно статично, поскольку предполагает положение абсолютно объективное, повсюду известное, которое поддается постоянному наблюдению. Я подозреваю, что вы выдумали этого специалиста по «повседневной реальности». Ни того, ни другого не существует.

Вопрос. Он существует [называет имя]. Еще один критик сказал, что вы «унижаете» ваших героев «до состояния зашифрованных знаков в космическом фарсе». Я не согласен: Гумберт, хотя и комичен, имеет трогательные и яркие черты — черты испорченного художника.

Ответ. Я сказал бы иначе: Гумберт Гумберт — пустой и жестокий негодяй, которому удается казаться «трогатель лм». Этот эпитет, в его точном душещипательном смысле, может относиться только к моей бедной девочке. Кроме того, как я могу «унизить» до уровня зашифрованных знаков и т.д. то, что я сам изобрел? Можно «унизить» реальное лицо, но никак не призрак.

Вопрос. Э.М.Форстер говорит, что его главные герои всегда захватывают власть и диктуют ход его романов. Возникала ли у вас такая проблема, или вы всегда полностью контролируете ситуацию?

Ответ. Мое знакомство с творчеством мистера Форстера ограничивается одним романом, который мне не нравится; и вообще, не он породил на свет это маленькое банальное замечание, что герои отбиваются от рук: оно так же старо, как перо для письма; хотя, конечно, можно посочувствовать его персонажам, если они пытаются уклониться от этого путешествия в Индию или куда там он их посылает. Мои герои — это рабы на галерах.

Вопрос. Кларенс Браун из Принстона выявил поразительные параллели в ваших сочинениях. Он говорит, что вы «чрезвычайно часто повторяетесь» и что совершенно различными способами вы, по существу, говорите одно и то же. Он указывает, что судьба — это «муза Набокова». Осознаете ли вы, что «повторяетесь» или, говоря иначе, что вы сознательно стремитесь к единству всех ваших книг?

Ответ. Не думаю, что читал эссе Кларенса Брауна, но, кажется, в его словах что-то есть. Писатели, зависимые от других, кажутся разнообразными, поскольку они подражают многим и из прошлого, и из настоящего. В то время как художественная индивидуальность может воспроизводить только саму себя.

Вопрос. Думаете ли вы, что литературная критика сколько-нибудь целенаправленна: вообще или конкретно в отношении ваших книг? Бывает ли она поучительна?

Ответ. Цель критики — сказать что-нибудь о книге, которую критик читал или не читал. Критика может быть поучительной в том смысле, что она дает читателям и автору книги некоторое представление об уме критика, либо о его искренности, либо и о том и о другом.

Вопрос. А роль редактора? Помог ли вам когда-нибудь редактор чисто литературным советом?

Ответ. Под «редактором», я полагаю, вы подразумеваете корректора. Среди последних мне встречались чистые создания, обладавшие бесконечным чувством такта и мягкости, которые обсуждали со мной точку с запятой, словно это был вопрос чести, — а им действительно часто становятся вопросы искусства. Но я сталкивался также с некоторыми напыщенными грубиянами, которые пытались покровительственно «давать советы», на что я моментально отвечал громовым «оставить как было!».

Вопрос. Вы энтомолог, который подкрадывается к жертвам? Если да, то не отпугивает ли их ваш смех?

Ответ. Напротив, он убаюкивает их до вялого состояния уверенности в собственной безопасности, которое испытывает насекомое, когда имитирует мертвый лист. Хотя я не то чтобы большой охотник до чтения рецензий на мои произведения, я припоминаю эссе некой юной дамы, которая пыталась найти в моей прозе энтомологические символы. Эссе могло бы получиться забавным, если бы она знала хоть что-нибудь о чешуекрылых. Увы, она проявила полное невежество, и из-за путаницы в употребляемых ею терминах все эссе выглядело фальшиво и глупо.

Вопрос. Что вы можете сказать о вашем отчуждении от так называемой «белой» русской эмиграции?

Ответ. Ну, исторически я сам из «белых» русских, поскольку все русские, покинувшие Россию в первые годы большевистской тирании из-за враждебного отношения к ней, как это сделала и моя семья, были и остаются «белыми» русскими в широком смысле слова. Но эти эмигранты были разбиты на такое же количество социальных группировок и политических фракций, какое существовало в стране до большевистского переворота. Я не имею ничего общего с белыми эмигрантами из «черной сотни», равно как и с так называемыми «большевизированными», то есть «розовыми». С другой стороны, у меня есть друзья среди интеллигентных конституционных монархистов, так же как и среди интеллектуальных социал-революционеров. Мой отец был старомодным либералом, и я не возражаю, когда и меня называют старомодным либералом.

Вопрос. Что вы можете сказать о вашем отчуждении от современной России?

Ответ. Я испытываю глубокое недоверие к разрекламированной фальшивой оттепели; меня не оставляет сознание того, что совершенные там беззакония невозможно искупить. Я чувствую полнейшее равнодушие ко всему, что движет сегодняшним Советским патриотом; и глубокое удовлетворение от того, что уже в 1918 (в восемнадцатом) году я распознал meshchanstvo (мелкобуржуазное самодовольство, филистерскую сущность) ленинизма.

Вопрос. Как вы сегодня относитесь к поэтам Блоку, Мандельштаму и другим, которые писали до того, как вы покинули Россию?

Ответ. Я читал их в детстве, более полувека назад. С того самого времени я страстно люблю лирику Блока. Его длинные вещи слабы, а его знаменитая поэма «Двенадцать», сознательно изложенная фальшивым «примитивным» стилем, с розовым картонным Иисусом Христом, приклеенным в конце,— ужасна. Что касается Мандельштама, то я тоже знал его наизусть, но он доставлял мне не столь пылкое наслаждение. Сегодня сквозь призму трагической судьбы его поэзия кажется более великой, чем она есть на самом деле. Я хочу заметить кстати, что преподаватели литературы до сих пор относят этих двух поэтов к разным школам. Но есть только одна школа — школа таланта.

Вопрос. Я знаю, что ваши сочинения читаются и подвергаются нападкам в Советском Союзе. Как бы вы отнеслись к советскому их изданию?

Ответ. Ну, пускай печатают, если хотят. Кстати, «Эдишнс Виктор» печатает репринтное русское издание 1939 года «Приглашения на казнь», а нью-йоркское издательство «Федра» публикует мой русский перевод «Лолиты». Я уверен, что советское правительство будет радо официально признать роман, вроде бы содержащий пророческую картину гитлеровского режима, и роман, как полагают, клеймящий американскую систему мотелей.

Вопрос. Вы когда-нибудь вступали в контакт с советскими гражданами? Как это было?

Ответ. Никаких контактов с ними я практически не имею, хотя однажды из чистого любопытства в начале 30-х или в конце 20-х годов я согласился встретиться с представителем большевистской России, который изо всех сил старался убедить эмигрировавших писателей и художников вернуться обратно в загон. У него была двойная фамилия, Тарасов-что-то, и он был автором какой-то повестушки под названием «Шоколад». Мне захотелось немного поиграть с ним. Я спросил, позволят ли мне свободно писать и, если мне там не понравится, покинуть Россию. Он ответил, что у меня не будет времени для праздных мыслей о заграничных поездках, настолько глубоко я буду погружен в счастливое созерцание своего отечества. Я буду совершенно свободен выбирать любую, сказал он, из многочисленных тем, которые Советская Россия разрешает писателю освещать, таких, как колхозы, фабрики, леса в Псевдостане, ну и множество других увлекательных предметов. Я сказал, что колхозы и т.п. нагоняют на меня скуку, и мой коварный обольститель вскоре сдался. Ему больше повезло с композитором Прокофьевым.

Вопрос. Вы считаете себя американцем?

Ответ. Да, считаю. Но я такой же американец, как апрель в Аризоне. Флора, фауна, воздух западных штатов — все это связывает меня с азиатской и арктической Россией. Я слишком многим обязан русскому языку и пейзажу, чтобы быть эмоционально причастным, скажем, к американской почвеннической литературе, или индейским танцам, или тыквенному пирогу в духовном плане; однако я действительно чувствую теплую и беззаботную гордость, когда показываю свой зеленый американский паспорт на европейских границах. Грубая критика американской политики оскорбляет и огорчает меня. Во внутренней политике я убежденный противник расизма, во внешней — я определенно на стороне правительства. И если у меня сомнения, я всегда пользуюсь простым методом выбора линии поведения — то, что может быть особо неприятно Красным и Расселам.

Вопрос. Вы причисляете себя к какому-нибудь сообществу?

Ответ. Вообще-то нет. В уме я могу перечислить довольно много людей, к которым хорошо отношусь, но они составили бы весьма разношерстную и дисгармоничную компанию, если их собрать вместе в реальной жизни на реальном острове. С другой стороны, я бы сказал, что чувствую себя довольно удобно в обществе интеллектуальных американцев, читавших мои книги.

Вопрос. Каково ваше мнение об академической среде — помогает ли она писателю творить? Можете ли вы конкретно рассказать о пользе или вреде от вашего преподавания в Корнеллском университете?

Ответ. Первоклассная библиотека в комфортабельном университетском городке — хорошая среда для писателя. Хотя, конечно, существует проблема воспитания молодежи. Я помню (правда, это было не в Корнелле), как однажды во время каникул студент принес в читальный зал радиоприемник. Он умудрился заявить, что 1) он слушал «классическую» музыку, что 2) он делал это «тихо» и что 3)

«летом здесь не особо много читателей». Там был я, толпа читателей из одного человека.

Вопрос. Не могли бы вы рассказать об отношениях с сегодняшней литературной общественностью? С Эдмундом Уилсоном, Мэри Маккарти, с редакторами журналов и издателями, которые вас печатают?

Ответ. Единственный случай моего сотрудничества с другим писателем — перевод «Моцарта и Сальери» Пушкина для журнала «Нью рипаблик», сделанный совместно с Эдмундом Уилсоном двадцать пять лет назад, — довольно парадоксальное воспоминание, если учесть, что он выставил себя в прошлом году в весьма глупом свете, имея наглость подвергать сомнению мое понимание «Евгения Онегина». С другой стороны, Мэри Маккарти показала недавно в том же «Нью рипаблик», что очень добра ко мне, хотя мне и кажется, что она добавила слишком много ванили в бледный огонь сливового пудинга Кинбота. Я предпочитаю не касаться здесь своих отношений с Жиродиа. В журнале «Эвергрин» я ответил на его подлую статью в антологии «Олимпия». В остальных случаях мои отношения с издателями превосходные. Воспоминание о сердечной дружбе с Кэтрин Уайт и Биллом Максвеллом из «Нью-Йоркера» вызвало бы и у самого высокомерного писателя только чувство благодарности и удовольствия.

Вопрос. Может быть, вы расскажете о том, как работаете? Вы пишете по заранее составленной схеме? Перескакиваете с одного места на другое или пишете от начала и до конца?

Ответ. Схема предшествует всей картине. Я заполняю пустые клетки в кроссворде в любом угодном мне месте. Эти кусочки я записываю на библиографические карточки, пока роман не будет окончен. У меня достаточно гибкое расписание, но я довольно требовательно отношусь к своим инструментам: разлинованные бристольские карточки и хорошо отточенные карандаши, не слишком твердые и с ластиком на конце.

Вопрос. Интересно, какую картину мира вы хотели бы создать? Прошлое очень важно для вас даже в таком романе о «будущем», как «Под знаком незаконнорожденных». Можно ли назвать вас ностальгическим человеком? В какое время вы хотели бы жить?

Ответ. В грядущие дни бесшумных самолетов и изящных летательных аппаратов, безоблачных серебристых небес и универсальной системы мягких подземных дорог, по которым грузовики будут направляться как «морлоки»[1]. Что касается прошлого, то я бы не возражал против возвращения из некоторых уголков временно́го пространства таких позабытых удобств, как мешковатые штаны и длинные глубокие ванны.

Вопрос. Знаете, вам совершенно необязательно отвечать на все мои «кинботовские»[2] вопросы.

Ответ. Но я не собираюсь отказываться даже от самых каверзных из них. Так что давайте продолжим.

Вопрос. Чем бы вы хотели больше всего заниматься, кроме литературы?

Ответ. Ну конечно же, ловлей бабочек и их изучением. Удовольствие от литературного вдохновения и вознаграждение за него — ничто по сравнению с восторгом открытия нового органа под микроскопом или еще неизвестного вида в горах Ирана или Перу. Вполне вероятно, что, не будь революции в России, я бы целиком посвятил себя энтомологии и вообще бы не написал никаких романов.

Вопрос. Что наиболее характерно для «*poshlust*» в современной литературе? Искушала ли она вас когда-нибудь? Поддавались ли вы на это искушение?

Ответ. Пошлость (английскими буквами лучше написать «poshlost») имеет много нюансов, и, очевидно, я недостаточно ясно описал их в моей маленькой книге о Гоголе, если вы считаете, что можно спрашивать кого-нибудь, искушает ли его *пошлость*. Всякий банальный хлам, вульгарные клише, филистерство во всех его проявлениях, подражание подражанию, ложная глубина, грубая, тупая и лживая псевдолитература — вот очевидные примеры *пошлости*. Если же мы хотим пригвоздить *пошлость* в современной литературе, то мы должны искать ее во фрейдовском символизме, в изъеденных молью мифологиях, в социальной критике, в гуманистических посланиях, в политических аллегориях, в излишней заботе о расе или классе и в журналистских общих местах, о которых все мы знаем. *Пошлость* слышна в заявлениях типа «Америка не лучше России» или «мы все разделяем вину Германии». Ростки *пошлости* расцветают в таких выражениях и словах, как «момент истины», «харизма», «экзистенциальный» (употребленном серьезно), «диалог» (о политических переговорах между странами) и «изобразительный язык» (когда говорят о каком-нибудь мазиле). Перечислять на одном дыхании Освенцим, Хиросиму и Вьетнам — это возмутительная *пошлость*. Быть членом клуба для избранных, в котором *единственная* еврейская фамилия принадлежит казначею, — это модная *пошлость*. Расхожие журналы часто печатают *пошлость*, но она проскальзывает и в некоторых высоколобых эссе. *Пошлость* называет мистера Глупца великим поэтом, а мистера Хитреца великим романистом. Одним из излюбленных мест выращивания *пошлости* всегда была художественная выставка; там ее производят так называемые скульпторы, использующие инструменты рабочих со свалки, создающие колченогих кретинов из нержавейки, дзэн-буддистские радиоприемники, птиц из вонючего полистирола, вещи, *изысканные* в отхожих местах, пушечные ядра, консервные банки. Там мы любуемся образцами обоев так называемых художников-абстракционистов, восхищаемся фрейдистским сюрреализмом, грязными кляксами в форме росы, чернильными пятнами из тестов Роршаха[1] — все это по-своему так же ба-

[1] Морлоки — обитатели «нижнего мира» в романе Г. Уэллса «Машина времени». (*Прим. ред.*)

[2] Чарльз Кинбот — персонаж набоковского романа «Бледный огонь». (*Прим. ред.*)

[1] Герман Роршах (1884 — 1922) — швейцарский психиатр, разработавший знаменитый диагностический тест («пятна Роршаха»). (*Прим. ред.*)

нально, как академические «Сентябрьские утра» и «Флорентийские цветочницы» полувековой давности. Это длинный список, и, конечно, у каждого в нем есть свой *bête noire*, свой домашний черный кот. Самое невыносимое для меня — авиареклама: подобострастная девка подносит закуски парочке молодых пассажиров — она в экстазе взирает на бутерброд с огурцом, а он с тоской любуется стюардессой. И «*Смерть в Венеции*» сюда же. Видите, какой диапазон.

Вопрос. Есть ли современные писатели, за творчеством которых вы с удовольствием следите?

Ответ. Есть несколько таких писателей, но я не буду их называть. Анонимное удовольствие никому не причиняет вреда.

Вопрос. Но есть и такие, за которыми вы следите с болью?

Ответ. Нет. Многие признанные писатели для меня просто не существуют. Их имена высечены на пустых могилах, их книги — бутафория, а сами они, на мой литературный вкус, совершенные ничтожества. Брехт, Фолкнер, Камю и многие другие ничего не значат для меня, и я должен бороться с подозрением в заговоре против моего мозга, когда вижу, как критики и собратья-писатели преспокойно принимают за «великую литературу» совокупления леди Чаттерлей или претенциозную бессмыслицу этого совершеннейшего мошенника мистера Паунда. Я заметил, что в некоторых домах он заменил доктора Швейцера.

Вопрос. Как поклонник Борхеса и Джойса, вы, кажется, разделяете их склонность дразнить читателя всякими фокусами, каламбурами и загадками. Какими, на ваш взгляд, должны быть отношения между читателем и писателем?

Ответ. Я не припоминаю никаких каламбуров у Борхеса, правда, я читал его только в переводе. Вообще-то его тонкие маленькие сказки и миниатюрные минотавры не имеют ничего общего с громадными механизмами Джойса. Я также не нахожу большого количества загадок в «Улиссе» — в этом самом прозрачном из романов. С другой стороны, я терпеть не могу «Поминки по Финнегану», где злокачественное разрастание прихотливой словесной ткани едва ли искупает это ужасное фольклорное веселье и простую, слишком понятную аллегорию.

Вопрос. Чему вы научились у Джойса?

Ответ. Ничему.

Вопрос. Вы это серьезно?

Ответ. Джеймс Джойс не оказал на меня вообще никакого влияния. Моя первая и короткая встреча с «Улиссом» произошла около 1920 года в Кембриджском университете, когда один мой приятель, Питер Мрозовски, привезя книгу из Парижа и шумно расхаживая взад-вперед по моей комнате, при случае зачитал мне несколько пикантных отрывков из монолога Молли, который, entre nous soit dit[1], самая слабая глава в книге. Только пятнадцать лет спустя, когда я был уже вполне сложившимся писателем, не склонным воспринимать что-нибудь новое или забывать что-нибудь старое, я прочел «Улисса», и он мне необычайно понравился. Я равнодушно отношусь к «Поминкам по Финнегану», как и ко всякой региональной литературе, написанной на диалекте, даже если это диалект гения.

Вопрос. Разве вы не пишете книгу о Джойсе?

Ответ. Да, но не только о нем. Я намереваюсь напечатать несколько эссе, каждое страниц на двадцать, посвященных различным произведениям, таким, как «Улисс», «Госпожа Бовари», «Превращение» Кафки, «Дон Кихот» и некоторым другим, — все они основаны на текстах моих корнеллских и гарвардских лекций. Я с удовольствием вспоминаю, как перед шестьюстами студентами и к вящему замешательству и ужасу некоторых более консервативных коллег разнес в клочья «Дон Кихота», грязную и грубую рухлядь.

Вопрос. А влияние других? Пушкина, например?

Ответ. В определенной степени, не более, чем в случае с Толстым или Тургеневым, на которых оказало влияние достоинство и чистота творчества Пушкина.

Вопрос. А Гоголь?

Ответ. Я старался *ничему* у него не учиться. Как учитель он сомнителен и опасен. В худших своих проявлениях, например в украинских вещах, он никчемный писатель, в лучших — он ни с кем не сравним и неподражаем.

Вопрос. Можете назвать еще кого-нибудь?

Ответ. Г.Дж.Уэллс, великий художник, любимый писатель в детстве. «Пылкие друзья», «Анна-Вероника», «Машина времени», «Страна слепых» — эти произведения далеко превосходят все, что Беннет, Конрад или вообще кто-либо из современников Уэллса мог написать. На его социологические размышления можно спокойно не обращать внимания, но его выдумки и фантазии превосходны. Помню ужасную минуту во время ужина в нашем санкт-петербургском доме, когда Зинаида Венгерова, переводчица Уэллса, заявила ему, вскинув голову: «Вы знаете, из всех ваших сочинений *мне* больше всего нравится «*Потерянный мир*». «Она имеет в виду войну, где марсиане понесли такие потери», — быстро сказал мой отец.

Вопрос. Научились ли вы чему-нибудь у ваших студентов в Корнелле? Или это было лишь решение финансового вопроса? Дала ли вам преподавательская работа что-нибудь ценное?

Ответ. Мой метод преподавания исключал возможность прямого общения со студентами. В лучшем случае они восстановили несколько потраченных на них клеточек моего мозга во время экзаменов. Каждая прочитанная мной лекция была тщательно, любовно написана и отпечатана, потом я неторопливо читал ее в аудитории, иногда останавливаясь, чтобы переписать предложение, иногда — повторить абзац, желая подстегнуть память, что, однако, редко вызывало какие-либо изменения в ритме записывающих рук. Я был рад видеть в аудитории немногочисленных знатоков стенографии, надеясь, что они передадут собранную ими информацию менее удачливым товарищам. Безуспешно пытался я заменить мои появления на кафедре записан-

[1] Между нами говоря (*франц.*).

ными пластинками, которые передавались бы по университетскому радио. С другой стороны, мне доставляло большое удовольствие слышать одобрительные смешки в разных концах аудитории в том или ином месте моей лекции. Лучшую награду я получаю от тех бывших моих студентов, которые десять или пятнадцать лет спустя пишут мне, что теперь они понимают, что я от них хотел, когда учил их представлять себе ту прическу Эммы Бовари, название которой было неправильно переведено, или расположение комнат в квартире Замзы, или двух гомосексуалистов в «Анне Карениной». Не знаю, научился ли я чему-нибудь во время преподавания, но, во всяком случае, я собрал огромное количество ценной информации, анализируя дюжину романов для студентов. Моя зарплата, как вы, может быть, знаете, была не особенно высокой.

Вопрос. Не расскажете ли вы о вкладе жены в вашу работу?

Ответ. Она выполняла роль советчицы и судьи, когда я писал свои первые произведения в начале 20-х годов. Я читал ей все рассказы и романы как минимум дважды. Она их все перечитывала, печатая, исправляя верстки и проверяя переводы на различные языки. Однажды в Итаке, штат Нью-Йорк, в 1950 году она остановила меня, заставив отложить и обдумать мое решение, когда я, замученный сомнениями и техническими трудностями, уже нес в сад сжигать первые главы «Лолиты».

Вопрос. Как вы относитесь к переводам ваших книг?

Ответ. В случае с языками, которые мы с женой знаем или на которых можем читать: английский, русский, французский и в какой-то степени немецкий и итальянский,— я придерживаюсь метода тщательной проверки каждого предложения. Что касается японских или турецких вариантов, то я стараюсь не думать о вопиющих ошибках, которыми, наверное, пестрит каждая страница.

Вопрос. Каковы ваши планы на будущее?

Ответ. Я пишу новый роман, но пока я не могу говорить об этом. Другой проект, который я вынашиваю уже некоторое время, — публикация полного текста сценария «Лолиты», написанного для Кубрика. Хотя из него взято как раз достаточно материала, чтобы оправдать мою законную роль автора сценария, фильм всего лишь неясный и слабый отблеск той великолепной картины, которая кадр за кадром, сцена за сценой представлялась мне во время шестимесячной работы на вилле в Лос-Анджелесе. Я не имею в виду, что фильм Кубрика посредственный; он по-своему первоклассный, но это не то, что я написал. Кино часто придает роману оттенок *пошлости*, искажает и огрубляет его в своем кривом зеркале. Я думаю, что в фильме Кубрик избежал этого недостатка, но я никогда не пойму, почему он не последовал моим указаниям и картинам моего воображения. Очень жаль; но, во всяком случае, я смогу дать людям возможность прочитать пьесу «Лолита» в ее первозданной форме.

Вопрос. Если бы у вас была возможность остаться в истории в качестве автора одной, и только одной книги, какую бы из них вы выбрали?

Ответ. Ту, которую я пишу или, скорее, мечтаю написать. На самом же деле меня будут помнить благодаря «Лолите» и моему переводу «Евгения Онегина».

Вопрос. Чувствуете ли вы как писатель какой-нибудь явный или тайный недостаток в своем творчестве?

Ответ. Отсутствие естественного словарного запаса. Странное признание, но это правда. Из двух инструментов, находящихся в моем распоряжении, один — мой родной язык — я уже не могу использовать, и дело здесь не только в отсутствии русской читательской аудитории, но еще и в том, что напряженность литературной жизни в русской среде постепенно упала с тех пор, как я обратился к английскому в 1940 году. Мой английский, второй инструмент, которым я всегда обладал, негибкий, искусственный язык, может быть, и подходит для описания заката или насекомого, но не может не обнаружить синтаксической бедности и незнания местных средств выражения, когда мне нужна кратчайшая дорога между складом и магазином. Старый «роллс-ройс» не всегда предпочтителен обыкновенному джипу.

Вопрос. Что вы думаете о табели о рангах современных писателей?

Ответ. Да, я заметил, что в этом отношении наши профессиональные критики являются подлинными создателями репутаций. Кто в списке, кто вне его и где прошлогодний снег. Все это очень забавно. Мне немного жаль быть отстраненным. Никто не может решить, то ли я американский писатель средних лет, то ли старый русский писатель, то ли безродный уродец без возраста.

Вопрос. О чем вы больше всего сожалеете в жизни?

Ответ. О том, что не приехал в Америку раньше. Я хотел бы жить в Нью-Йорке в 30-х годах. Если бы мои русские романы были тогда переведены, они могли бы вызвать шок и преподать хороший урок просоветским энтузиастам.

Вопрос. Есть ли в вашей нынешней славе явно отрицательные стороны?

Ответ. Вся слава принадлежит «Лолите», а не мне. Я всего лишь незаметнейший писатель с непроизносимым именем.

«САНДИ ТАЙМС», июнь 1969 г.

(Вопросы задает ФИЛИП ОУКС)

Вопрос. Считаете ли вы, как маститый энтомолог и романист, что два ваших главных увлечения обуславливают, ограничивают или делают более утонченным ваш взгляд на мир?

Ответ. Какой мир? Чей мир? Если мы имеем в виду обычный мир обычного читателя газет в Ливерпуле, Ливорно или Вильно, то тогда мы можем делать лишь банальные обобщения. Если, с другой стороны, художник изобретает собственный мир, как, мне кажется, и происходит в моем случае, то как можно говорить о влиянии созданного им на его миропо-

нимание? Как только мы начинаем подыскивать определения к таким словам, как «писатель», «мир», «роман» и так далее, то соскальзываем в пропасть солипсизма, где общие идеи постепенно исчезают. Что же касается бабочек, то мои таксономические статьи по энтомологии были опубликованы в основном в 40-х годах и могут заинтересовать только нескольких специалистов по некоторым группам американских бабочек. Сама по себе страсть к коконам и куколкам не слишком необычная болезнь, но находится она за пределами мира романиста, и я могу это доказать. Когда бы я ни упоминал бабочек в своих романах и как бы потом старательно ни перерабатывал эти места, все остается бледным и фальшивым и не выражает по-настоящему то, что я хотел бы выразить, — так как выразить это можно, лишь употребляя специальные научные термины, как я это делаю в энтомологических статьях. Бабочка живет вечно, проколотая булавкой с биркой и описанная каким-нибудь ученым в научном журнале, но умирает отвратительной смертью в парах художественных излияний. Хотя, чтобы не оставлять ваш вопрос совсем без ответа, я должен признать, что в одном случае энтомологический спутник сталкивается с моей литературной планетой. Это происходит при упоминании некоторых названий мест. Так, если я слышу или читаю слова «Альп Грам, Энгадин», то обычный наблюдатель внутри меня заставляет представить себе номер с живописным видом в маленьком отеле, примостившемся на двухкилометровой высоте, и косарей, работающих вдоль спускающейся к игрушечной железной дороге тропинки; но более и прежде всего *я вижу* желтокольцовую, устроившуюся со сложенными крылышками на цветке, который сейчас обезглавят эти проклятые косы.

Вопрос. Какая из недавних газетных новостей показалась вам самой забавной?

Ответ. Сообщение о том, как мистер Э.Паунд, этот почтенный мошенник, совершил «сентиментальный визит» в свою альма-матер в Клинтоне, штат Нью-Йорк, и выпускники на заключительном акте, в основном, по-видимому, глупцы и сумасшедшие, устроили ему овацию стоя.

Вопрос. Видели ли вы фильм, снятый по вашей книге «Смех во тьме»?

Ответ. Да, видел. Никол Уильямсон, конечно, замечательный актер, и некоторые кадры очень хороши. Сцена с девушкой на водных лыжах, старающейся сдержать смех, особенно удалась. Но меня ужаснула банальность сексуальных сцен. Я хотел бы сказать об этом несколько слов. Всякие клише и условности множатся с поразительной быстротой. Они появляются с удивительной легкостью как на примитивных увеселениях в джунглях, так и в обязательных сценах нашего цивилизованного театра. В давние времена греческие маски, должно быть, вызывали скрежет зубовный не у одного грека. В современных фильмах, включая и «Смех во тьме», порнографические потасовки *уже* стали такими же клише, хотя изобретению не более полудюжины лет. Я бы пожалел, что Тони Ричардсон пошел по этому избитому пути, если бы это не дало мне возможность сформулировать следующую мысль: актерское мастерство за последние века приобрело невероятно утонченную способность изображать то, скажем, как человек ест, или восхитительно пьянеет, или ищет очки, или делает предложение. Совсем по-другому обстоит дело с изображением полового акта, которое вообще не имеет никакой традиции. Шведы и мы должны начинать с нуля, и все, что я до сих пор видел на экране: прыщавое мужское плечо, фальшивые стоны блаженства, четыре или пять переплетенных ног, — все это примитивно, банально, условно и потому отвратительно. Недостаток искусства и стиля в этих жалких соитиях становится особенно заметен из-за их несоответствия необычайно высокому уровню игры в передаче почти всех естественных движений человека на нашей сцене и на экране. Это привлекательная тема для дальнейших размышлений, и режиссерам стоит обратить на нее внимание.

Вопрос. В ваших романах вы обнаруживаете исключительное чувство истории и эпохи, хотя отношения, в которые вовлечены ваши герои, отражают вечные вопросы. Не кажется ли вам, что любое данное время рождает особые проблемы, которые могут заинтересовать вас как писателя?

Ответ. Нам нужно определить, не так ли, что́ именно мы имеем в виду, когда говорим «история». Если «история» значит «отчет, написанный о событиях» (и это, пожалуй, все, на что может претендовать Клио), то поинтересуемся, *кто* непосредственно — какие писцы, какие секретари — его составил и насколько они подходили для этой работы. Я склонен думать, что значительная часть «истории» (социальной истории человека — не наивных легенд, поведанных камнями) была смоделирована заурядными писателями и пристрастными наблюдателями. Мы знаем, что полицейские государства (например, Советы) фактически изъяли из старых книг и уничтожили те события прошлого, которые не соответствовали исповедуемой ими лжи. Даже самый талантливый и добросовестный историк может ошибиться. Другими словами, я не верю, что история существует отдельно от историка. Если бы я попытался выбрать хранителя архивов, думаю, самое надежное было бы (во всяком случае, для моего личного спокойствия) остановиться на самом себе. Но ничто из написанного или выдуманного мной не может создать никаких особых «проблем» в том смысле, который вы сюда вкладываете.

Вопрос. Где-то вы говорили, что с художественной точки зрения предпочитаете «Лолиту» другим вашим книгам. Может быть, ваш новый роман «Ада» занял место «Лолиты» в вашем сердце?

Ответ. Вообще-то нет. Правда, «Ада» принесла мне больше хлопот, чем остальные романы, и, возможно, это яркая захлестывающая волна тревоги подобна пене любви. Между прочим, если говорить о моей первой нимфетке, позвольте мне здесь исправить любопытную ошибку, допущенную анонимным болваном в лондонском еженедельнике месяца два назад. «Лолита» должна произноситься не на русский и не на английский манер (как он полагает), но с трелью латинского «л» и с изящным зубным «т».

Вопрос. Чувствуете ли вы себя в изоляции как писатель?

Ответ. Большинство писателей, с которыми я встречался,— это русские эмигранты в 20—30-х годах. С американскими писателями у меня, в сущности, нет никаких контактов. В Англии я однажды обедал с Грэмом Грином. Ужинал с Джойсом и пил чай с Роб-Грийе. Изоляция означает свободу и открытия. На необитаемом острове может быть интереснее, чем в городе, но мое одиночество вообще-то не имеет особого значения. Это следствие стечения обстоятельств — старых кораблекрушений, капризных приливов,— никак не связанное с темпераментом. Как частное лицо я добродушный, дружелюбный, веселый, откровенный, открытый человек, нетерпимый к фальшивому искусству. Я не возражаю, если мои сочинения критикуют или игнорируют, и потому мне кажется смешным, что люди, никак не связанные с литературой, должны расстраиваться из-за того, что я нахожу Д.Г. Лоуренса отвратительным или считаю Г.Дж. Уэллса гораздо более великим художником, чем Конрада.

Вопрос. Что вы думаете о так называемой «студенческой революции»?

Ответ. Хулиганы никогда не бывают революционными, они всегда реакционны. Именно среди молодежи можно найти самых больших конформистов и филистеров, например, хиппи с их групповыми бородами и групповыми протестами. Демонстрантов в американских университетах так же мало заботит образование, как английских футбольных болельщиков, громящих станции метро, заботит футбол. Все они принадлежат к семейству тупых хулиганов с вкраплениями умных жуликов.

Вопрос. Какова ваша система работы?

Ответ. Она довольно банальна. Тридцать лет назад я обычно писал в постели, обмакивая ручку в стоящую рядом чернильницу, или еще сочинял в уме в любое время дня и ночи. Я засыпал, когда просыпались ласточки. Сегодня я пишу свои вещи на карточках карандашом за конторкой и работаю до полудня; но и теперь я имею склонность сочинять в уме во время длительных прогулок за городом в пасмурные дни, когда не вмешиваются бабочки. Вот песенка разочарованного энтомолога:

Карабканье на темя
Скалы в разгар сиесты —
Неправильное время,
Но правильное место.

Вопрос. Ведете ли вы дневник или обращаетесь к документальным свидетельствам, желая вспомнить что-нибудь?

Ответ. Я страстный мемуарист с отвратительной памятью: рассеянный хранитель воспоминаний сонливого короля. С абсолютной ясностью я воскрешаю пейзажи, жесты, интонации, миллионы чувственных деталей, но имена и числа погружаются в забвение с абсурдной безоглядностью маленьких слепцов, цепочкой бредущих по пирсу.

Перевод с английского Д. ФЕДОСОВА

■

ТАДЕУШ ДРЕВНОВСКИЙ

ПОЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: НА ПОВЕРХНОСТИ И В ГЛУБИНЕ

Поляки весьма ревностно относятся к собственной литературе и ценят ее достаточно высоко. По крайней мере на протяжении двух столетий литература играла в Польше большую роль, чем где бы то ни было. Не будучи свободной от иллюзий и самообманов, она постоянно становилась предметом страстных дебатов и стимулировала рост национального самосознания. Сегодня поглощенные повседневными делами и плохо ориентирующиеся в хаосе книжного рынка поляки читают меньше, однако они все же не перестают интересоваться литературой, а ее состояние и ситуация вокруг нее волнуют не только элиту или профессиональную среду.

БОЛЕЕ ЧЕМ УРОЖАЙНЫЙ КРИЗИС

Оценка нынешнего состояния польской литературы и в широких кругах общества, и среди специалистов единодушна и весьма критична. В качестве самого убедительного доказательства ее кризиса указывается тот факт, что она не откликнулась сколь-либо заметно на зарождение в 1989 году новой, демократической государственности (после банкротства и краха коммунизма) и не освоила новые, отнюдь не легкие жизненные противоречия и дилеммы. Часто вспоминают, что с обретением Польшей независимости в 1918 году облик литературы быстро, почти автоматически изменился. Сейчас же ничего подобного не произошло. Коммерческие издательства заполонили рынок массой поверхностной и безвкусной литературы и как бы отодвинули на второй план литературу более значимую и ценную, лишив ее тем самым возможности нового свободного взлета. Для изменения этой нежелательной ситуации приходится прилагать специальные усилия. В прошлом году с этой целью даже созывались две научные конференции (в Познани и Варшаве).

Хотя приведенная выше оценка и верна по сути, тем не менее трудно согласиться с ней без существенных оговорок. Прежде всего, если внимательно присмотреться к нашему действительно неупорядоченному рынку, то у кризиса польской литературы обнаружится странная особенность, а именно: он отнюдь не означает отсутствия ярких произведений. Если говорить только о представителях среднего и старшего поколения, то за последние пять лет вышли такие поэтические произведения, как «Дальние окрестности» Чеслава Милоша, «Барельеф» и «Слово за словом» Тадеуша Ружевича, «Элегия на прощание» и «Ровиго» Збигнева Херберта, «Конец и начало» Вислава Шимборской[1], «Мое посмертное творение» Ярослава Марека Рымкевича (этот перечень можно продолжить).

Немало интересных книг появилось и в прозе, репортаже и эссеистике, например, заметки Милоша «Год охотника», роман Владислава Терлецкого о Мицкевиче в России «Убей царя», большой «тюремный« роман Януша Красиньского «На казнь», «Чтиво» популярного Тадеуша Конвицкого, «Рассказы на время переезда» более молодого Павла Хюлле[1] и большой репортаж Рышарда Капусциньского о крахе Советского Союза — «Империя»[2]. Из текстов драматических, выдержавших проверку в театрах, достаточно назвать «Антигону в Нью-Йорке» и «Тараканов» Януша Гловацкого, а также «Любовь в Крыму» Славомира Мрожека[3]. Поверьте, что и литературная критика обогатилась несколькими действительно незаурядными книгами. Почти все из перечисленных произведений вызвали определенный отклик за рубежом, а некоторые снискали там подлинный успех. И разве этот перечень свидетельствует о кризисе? Наверняка не одна литература была бы рада такому пятилетию!

НОВИНКИ ИЗ ПРОШЛОГО

Второе обстоятельство, которое не позволяет говорить о безусловном кризисе,— это некий беспрецедентный внутренний процесс, совершавшийся в нашей литературе в эти годы. Как известно, на протяжении всей послевоенной эпохи, в течение почти 45 лет польская литература была расколота и вынужденно разделена. В самой Польше, самостоятельность которой была ограничена, литература развивалась бурно и завоевывала уважение не только среди соотечественников — даже вопреки попыткам управления словом и неустанного контроля за ним. Весьма многочисленная польская эмиграция на Западе также обладала богатой литературой, само существование которой было протестом против тогдашнего положения Польши. С того момента как в 1976 году в Польше сформировалась демократическая оппозиция, в стране появилась нелегально издаваемая неподцензурная литература (аналог «самиздата»). На всем пространстве от Эльбы до Владивостока Польша была самым крупным центром свободной литературы (около полутора тысяч наименований литературных произведений).

Несмотря на «железный занавес», между Польшей и эмиграцией постоянно существовало сообщение, а эмигрантские издания зачастую самыми удивительными путями проникали в страну. Притеснения и преследования не останавливали издателей неподцензурной литературы: ее тиражи росли, а круг читателей увеличивался. И все же нельзя сказать, что эмигрантская и подпольная литература была доступна и широко известна читателям в Польше. Нужен был 1989 год, чтобы книги этих трех разных (как кое-кому хотелось бы) литератур, а на самом деле трех ветвей

[1] См. «ИЛ», 1994, № 11.

[1] См. «ИЛ», 1994, № 11.

[2] См. «Знамя», 1994, № 2 (в этом переводе транскрипция фамилии Капущиньский).

[3] См. «ИЛ», 1994, № 10.

одной литературы могли оказаться в Польше рядом, на общем книжном прилавке, и чтобы начался процесс их взаимного сопоставления.

Естественно, отношение к такой литературной интеграции было различным. Одни склонны были предоставить этот процесс стихии рынка. Другие, и в них не было недостатка, считали, что победить должна «политически правильная» литература. Объединение в этом случае должно было основываться либо на доминировании одной или двух «правильных» сторон, либо попросту на устранении «неправильных». К счастью, верх одержало убеждение, что в литературе не должно быть выигравших и проигравших и что воздействию «застоя» подвергалась не только литература, выходившая в Польше официально; «застой» — хотя и по-разному — влиял и на другие ветви польской литературы. Иначе говоря, ставшая наконец возможной интеграция должна была быть осуществляемым читателями и критиками свободным процессом, созданием нового целого, нового канона послевоенной литературы. Таким образом, интересы литературы победили. И уже сегодня ясно, что в результате подобной интеграции литература польского 45-летия выглядит богаче, разнообразнее и лучше, чем считалось до сих пор.

Приведем один пример. У литературы эмигрантской и литературы, выходившей в Польше, был неодинаковый опыт в отношении тоталитаризма, что не могло не сказаться на их ориентациях и установках. Порой это являлось следствием различия естественных условий, разумеется, обостренного цензурой. Опыт поляков с довоенных пограничных восточных земель, откуда рекрутировалось большинство эмигрантов, был одним, а опыт поляков в остальной части страны — другим. Когда речь шла о военно-оккупационном прошлом, литература, выходившая в стране, занималась почти исключительно опытом, связанным с Германией; материалом же для литературы польского зарубежья (и до появления в Польше неподцензурной литературы только для нее) были прежде всего отношения с Советским Союзом. И здесь заслуги свóбодной эмигрантской литературы, пока еще недостаточно оцененные в Польше и за рубежом, поистине огромны.

Польская литература, таким образом, полностью охватила обе тоталитарные системы со всеми их специфическими особенностями и различиями. Сибирская, «ссыльная» литература восходит у нас еще к Мицкевичу, и эти традиции ощущаются в ее современных проявлениях (воспоминания Юзефа Чапского «На нечеловеческой земле», проза Густава Херлинга-Грудзиньского «Иной мир»). Литература же, связанная с гитлеровскими концлагерями, была чем-то совершенно новым и без промаха бьющим (особенно в «Прощании с Марией» Тадеуша Боровского или «Медальонах» Зофьи Налковской) в самую суть зла. Разве может не впечатлять то, что обе тоталитарные системы описывались со знанием дела и между ними впервые проводилась наглядная параллель?

Так же обстоит дело и с проблемой послевоенного коммунизма. Эмиграция по праву гордилась своим первенством в разоблачении коммунизма еще тогда, когда мир в значительной степени находился под воздействием его идеологии (прежде всего следует назвать «Порабощенный разум» Чеслава Милоша и «Дневник, писавшийся ночью» Херлинга-Грудзиньского). Нельзя, однако, не заметить, что эта тема, вопреки всем ограничениям, почти одновременно стала центральной и для литературы, издававшейся в Польше: сначала появились «Кладбища» Марека Хласко, затем «Поэма для взрослых» Адама Важика, «Венгерский дневник» Виктора Ворошильского, «Мать Крулей» Казимежа Брандыса, «Ничто в плаще Просперо» и «Вышел из дома» Тадеуша Ружевича, «Апелляция» и «Месиво» Ежи Анджеевского и, наконец, уже упоминавшаяся «Империя» Капусциньского. К этому следует присовокупить вышедшие в подполье «Нереальность» К. Брандыса, «Рапорт из осажденного города» Херберта, «Польский комплекс» и «Малый апокалипсис» Конвицкого, а также размышления по поводу новых ссылок в лагеря — «После освобождения» профессора Барбары Скарги.

И вновь эти важные произведения различаются довольно принципиально. Если литература польского зарубежья освещала данную проблематику прежде всего обобщенно-теоретически, то литература в Польше оперировала самóй материей жизни со всеми ее сложностями и противоречиями, которые московский коммунизм использовал для камуфлирования своих истинных целей. При попытке охватить ситуацию в целом прежде всего бросается в глаза, что в этом главном вопросе эмигрантская, неподцензурная и официальная литературы действовали солидарно и дополняли друг друга, причем важнейшие польские произведения со временем все чаще печатались в подпольных издательствах.

Еще более удивительно то, что даже в условиях разделенности различные художественные течения в польской литературе оказывали друг на друга влияние. Убедительным примером здесь может служить Витольд Гомбрович, который совершает свои новые чрезвычайно важные открытия («Венчание», «Трансатлантик») вдали и от Польши, и от эмигрантских центров — в Аргентине. Из-за жесткого деления литературы на отечественную и эмигрантскую огромное влияние Гомбровича на литературу за «железным занавесом» оставалось незамеченным, да и по сей день его недооценивают. А ведь вся издевательски-язвительная линия (начиная с прозы Дыгата), польский театр абсурда (Ружевич, Мрожек) вдохновляются не только Виткацием, но и этими далекими образцами.

Хотя интеграция польской литературы еще не вполне завершена (здесь я мог сказать о ней только в самых общих чертах), уже отчетливо видно, насколько богаче и многообразнее выглядит литература минувшей эпохи благодаря этому процессу, как изменяются ее диапазон, ее канонические нормы и внутрилитературная иерархия. Кроме того — что небезразлично для моих размышлений, — становится ясно, как могла она предотвращать кризис ранее и как она делает это в последние годы. Если читателям в минувшие пять лет и не хватало настоящих актуальных новинок, то неизвестные широким кругам и действительно замечательные произведения отечественной литературы прошлых лет появлялись в изобилии.

НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ БОЛЕЕ ОБЩЕГО ПОРЯДКА

Коль скоро польская литература последнего времени — что я пытался доказать — отмечена не такими уж безрадостными событиями, правомерно ли вообще утверждение о кризисе и не является ли оно своего рода преувеличением? К сожалению, мои утешительные аргументы имеют отношение прежде всего к старой литературной системе (интеграция литературы позволила лишь подметить ее широту и характер, а замечательные новинки, появившиеся после того, как система в основном прекратила свое существование, свидетельствуют о некоторых неиспользованных возможностях ее развития). Таким образом, не удается избежать вопроса о том, в чем заключается нынешний кризис и как можно из него выйти.

Без сомнения, литературный кризис наблюдается не только в Польше. Даже в наиболее развитых европейских странах наше время — отнюдь не эпоха литературного расцвета. В канун нового тысячелетия и там не видно ни новых идей, ни новых художественных течений. Многовековая европейская библиотека переполнена и трещит по швам; все труднее совершать какие-либо открытия. Европа страдает бесплодием и эклектизмом, то есть постмодернизмом.

Наряду с этими симптомами старения, которые подчас передаются и нам, определяющими для литературы в Польше послужили местные, региональные факторы. После войны вследствие исторической ситуации, в какой мы оказались не по своей вине и не по своей воле, в литературе начался новый период, продолжавшийся почти полвека. Литература (так же как искусство и наука) развивается обычно в неких парадигмах, то есть в тех рамках, которые определяют ее потенциальные возможности и внутреннюю динамику. Мы оказались посередине между двумя самыми опасными моделями тоталитаризма с их экспериментами над человеком и над целыми народами, перед лицом такого жестокого исторического и экзистенциального испытания, которое человечество ранее не переживало. Порожденная этим парадигма, вопреки сопутствующим ей обстоятельствам и малообещающему началу, создавала огромные, можно даже сказать — универсальные возможности. Наша литература, как представляется, использовала эти возможности в значительной степени и с немалой пользой. После первоначальных иллюзий и провалов литература в Польше вступила в борьбу против цензуры и в разных формах противодействовала этому воплощению зла XX века и вела с ним борьбу. В сложившуюся парадигму встраивались также и обе ветви оппозиционной литературы — эмигрантская и польский «самиздат», представляющие оборотную сторону медали.

И хотя наша литература успешно выдержала выпавшие на ее долю испытания, однако произошло это не без огромного напряжения сил и мобилизации всех резервов. В течение двух последних десятилетий польская литература обращалась прежде всего к самой сильной своей традиции — к романтизму. В итоге традиция была использована полностью — как в символике, так и в тематике и стилистике. Недавно главный популяризатор и исследователь романтизма в новейшей литературе профессор Мария Янион признала, что ресурсы этой традиции уже исчерпаны. В изменившейся исторической обстановке литература нуждается не только в новой проблематике, но и в изменении литературного кода.

Кризис литературы, который мы отчетливо ощущаем, кроется, таким образом, в ее глубинных пластах. Это структурный кризис. Очень важный, но тяжелый и затянувшийся период в польской литературе явно завершен. Даже самые большие сенсации и самые выдающиеся произведения этого периода, продолжающие появляться сегодня, уже не вызывают таких эмоций, как прежде, и не в состоянии способствовать преодолению кризиса.

Как в самой нашей действительности, так и в желаниях и чаяниях людей ощущается требование чего-то нового: какой-то другой перспективы, новой парадигмы. И если ее пока не видно — то откуда она могла бы появиться? Где можно искать ее знаки или ростки? Ясно только, что вне пределов прежней парадигмы...

У ИСТОКОВ

Если взглянуть на развитие появившихся в последнее десятилетие литературных жанров, их разновидностей и «новообразований», то более всего, по-моему, бросается в глаза карьера личных дневников. В Польше они — новинка. Мы значительно отстали в этом отношении от западноевропейской культуры, где они широко распространились и начали публиковаться еще в XVIII веке, когда около 200 интимных дневников прочно вошли в литературный оборот. Если не считать различных прототипов, то первый личный дневник в Польше — дневник выдающегося писателя Стефана Жеромского, который он вел в конце XIX века,— начал выходить лишь в 1953 году. А подлинный расцвет очередных публикаций дневниковой литературы пришелся только на семидесятые годы.

Можно предположить, что подобный расцвет объяснялся растущим недоверием к литературе, оперирующей вымыслом, который зачастую маскировал зло и ложь. Однако такое объяснение не представляется достаточным. Ведь личные дневники значительно опережают по популярности у читателей также и другие виды литературы, которые строятся не на вымысле: эссе, воспоминания, мемуары, письма, автобиографии и т.п. Среди всех невымышленных свидетельств они носят наиболее аутентичный и личностный характер. А благодаря своему личностному и даже интимному характеру дневники обычно нетрадиционны, раскованны и легче переступают всяческие границы.

После дневников Жеромского вышла в свет целая их серия. Опубликованные дневники различались так же, как различались и люди, которые их вели, со всеми своими пристрастиями, увлечениями и жизненными перипетиями. По меньшей мере три позиции завоевали прочное место в нашей литературе: дневники Налковской (1899 — 1954), многотомное издание которых вскоре завершается; дневники Марии Домбровской (1914 — 1965), вышедшие сейчас

расширенным пятитомным изданием, а также дневник Витольда Гомбровича (1953 — 1969) в трех томах, постепенно печатавшийся еще при его жизни. Все они значительно меняют устоявшиеся представления об известных писателях. Каждый из дневников по-своему еретичен и смел, а авторский стиль в них не совсем привычен.

Личный дневник стал наиболее привлекательной «формой без формы». На уже изданных и пока еще ожидающих издания дневниках эта волна не обрывается. Трое скончавшихся недавно замечательных писателей: автор новаторских исторических романов Теодор Парницкий, первый писатель холокоста Адольф Рудницкий и неоавангардист во всех жанрах Мирон Бялошевский — оставили после себя объемистые дневники, привлекающие самое пристальное внимание (фрагменты двух первых появились в печати, а дневник Бялошевского закрыт для публикации до 2010 года). А сколько еще дневников ведется...

На виражах истории и литературы, когда коллективные надежды и предвидения подводят, когда прежняя литература не выдерживает новых требований, мы обращаемся к истокам — к творческой личности, человеку, который борется и с историей, и с собственной судьбой, который самостоятельно пытается придать смысл своей жизни. Эти самые индивидуальные, самые интимные свидетельства в первую очередь разрушают парадигму литературы уходящей эпохи и зачастую несут в себе предпосылки чего-то нового.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОДЫХ

Стараясь обнаружить признаки новой парадигмы, мы также задаем себе вопрос: а что для нас является настоящим раздражителем? Ответ не вызывает особых трудностей — молодые. На первый взгляд такой ответ банален. Однако в силу ряда обстоятельств вопрос о молодом поколении сегодня может оказаться интригующим и плодотворным.

В адептах литературы у нас никогда не было недостатка. Однако на этот раз их больше, они моложе, чем обычно (в период власти коммунистов возраст дебютантов постоянно увеличивался), и, пожалуй, более трудолюбивы. При этом они намеренно не делают ничего, что могло бы определить их точнее, если не принимать в расчет несколько провокационного анархизма. Характерным для их политического поведения было то, что они категорически отвергали как сотрудничество с журналами, выходившими при коммунистах, так и всякого рода боевые союзы, основанные на принадлежности к «Солидарности», даже если это порождало раскол в совместно издаваемом журнале. При всем этом они гораздо лучше приспособлены к новой действительности и значительно успешнее, чем старшие, справляются с ней в профессиональном смысле.

По-настоящему новую литературную периодику — если не считать нескольких субсидируемых старых журналов — создали именно они (краковский «Brulion», познаньский «Czas kultury», люблинские «Kresy», гданьский «Tytul», варшавский «Ogrod»). Если бы они захотели, то могли бы монополизировать всю литературную жизнь. Но они не только антицентричны и программно провинциальны (или региональны), но даже в собственных журналах не поддерживают никаких групп или программ. Молодые идут поодиночке, врассыпную и трогательно недоверчивы даже по отношению к самим себе.

Их имена уже становятся заметными, и по крайней мере некоторые из них следует для примера назвать. Это поэты Марцин Светлицкий, Яцек Подсядло, Мажанна Келяр, Казимеж Браконецкий...; прозаики Анджей Барт, Наташа Герке, Мануэла Гретковская, Анна Болецкая...; критики Ежи Сосновский, Рафал Групиньский, Ярослав Клейноцкий, Кшиштоф Варга... Среди их книг нет шедевров, и даже особые успехи пока редки. Но всех этих авторов отличает что-то сугубо свое: будь то прагматически-циничная позиция Светлицкого, или интеллектуальная бескомпромиссность Групиньского, или польский феминизм Гретковской (не столь уж неоригинальный и безопасный) с ее манией Марии Магдалины, или нерасчетливая дружба многих из них с массовой культурой. Пока можно говорить — в зависимости от выбора точки зрения — как об анархии ценностей, так и о подлинных поисках, осуществляемых без какого бы то ни было страха и ощущения груза ответственности, совершенно раскованно.

Поколение X (так зовут самое молодое поколение и в Соединенных Штатах) может, разумеется, разочаровать. Но, как мне думается, с ним скорее приобретешь, чем потеряешь. Если молодые не поддадутся деморализации и не начнут умиляться собой, то это будет, пожалуй, первое поколение, способное порвать со все еще продолжающимся трагическим периодом и начать нечто новое. Если вхождение в жизнь приходится на переломные моменты, это побуждает к новым решениям, а в литературе чаще всего приводит к открытиям.

Мне не хочется играть в прогнозы. Наверняка в нашей литературе можно было бы найти больше указаний на ее возможные новые пути. Но эти два явления: нарушающая определенные границы дневниковая литература и уже не отягощенные прежним багажом строптивые молодые — представляются мне особенно перспективными. При всех польских пристрастиях и литературных амбициях не исключено, что вскоре мы перестанем, пусть и с оговорками, вспоминать о кризисе.

Варшава, сентябрь 1994 г.

Перевод с польского ЛЮДВИКИ КАШНИЦКОЙ

СЕРЖ БРЮССОЛО

Зимняя жатва

Serge Brussolo. La moisson d'hiver. «Denoël»

Третий год во Франции присуждается литературная премия РТЛ/«Лир»; жюри состоит из ста представителей читателей со всей страны. На сей раз ее лауреатом стал работающий в самых разных жанрах писатель Серж Брюссоло, чей роман «Зимняя жатва» опередил произведения остальных четырех финалистов. Популярность романа у читателей объясняется, возможно, тем, что эта приключенческая книга полна сюрпризов и по своей атмосфере близка к готическому роману.

В Нормандии, на самом берегу моря, на вершине известкового утеса стоит старинный замок, в главной башне которого находится неразорвавшаяся бомба (действие разворачивается в первые послевоенные годы). Где-то совсем рядом зарыты сокровища, однако путь к ним лежит через заминированное немцами поле. В ближнем лесу скрываются какие-то подозрительные существа — то ли люди, то ли привидения, — и все вокруг пронизано тайнами. Пренебрегая опасностью, эти загадки пытается разрешить молодой Жюльен, главный герой романа. Ему не дает покоя и личная трагедия: лодка его отца по неизвестным причинам перевернулась, и отец погиб. Был ли это несчастный случай, или же совершено преступление? И какое отношение к этой трагедии имеет деревянное изображение головы Клэр, матери Жюльена? Постепенно распутывая этот клубок, Жюльен узнает вполне земную историю страсти, ненависти и мести.

МАКС ГАЛЛО

Сын Клары Г.

Max Gallo. Le fils de Klara H. «Fayard»

Шестидесятитрехлетний французский романист, историк и журналист Макс Галло отличается литературной плодовитостью: из-под его пера вышло уже около пятидесяти романов, биографий и очерковых книг. Несколько лет назад он начал публиковать многотомный роман «Человеческие механизмы» — это по́-бальзаковски гигантская фреска XX века. Пятый том этой серии, «Сын Клары Г.», представляет собой солидное пятисотстраничное произведение, в котором Макс Галло затрагивает одну из самых мрачных сторон истории нашего столетия — зарождение и существование нацизма.

Как следует из названия романа, в центре повествования — судьба существа по имени Адольф Гитлер. Семнадцатилетним юношей он чуть не лишился рассудка — так тяжело он переживал смерть своей матери, Клары, скончавшейся от рака. Французский автор задается мучительным вопросом: как получилось, что сорок лет спустя «сын Клары Г.» стал известен всему миру как один из самых кровавых, жестоких и безумных диктаторов современности? Облекая попытку ответа на этот вопрос в художественные формы, Макс Галло придерживается той точки зрения, согласно которой эта судьба почти сверхъестественным образом сконцентрировала в себе все злые силы планеты.

ТИМ О'БРАЙЕН

На Лесном озере

Tim O'Brien. In the Lake of the Woods. «Houghton Mifflin»

Тим О'Брайен считается одним из лучших американских литераторов, пишущих о войне во Вьетнаме. В его новом, шестом по счету романе эхо той войны играет решающую роль в судьбе главного героя. Сорокалетний Джон Уэйд — успешно делающий карьеру политик из штата Миннесота, без пяти минут сенатор. Однако он неожиданно проигрывает выборы, так как его соперник обнародовал неприглядный и тщательно скрываемый Уэйдом факт из его прошлого: в марте 1968 года он участвовал в кровавой расправе над сотнями жителей вьетнамской деревни Май Лай.

Поражение на выборах и растревоженная память не дают Уэйду покоя, и он с женой Кэти уезжает на север штата, в край озер. В уединенной хижине на берегу Лесного озера Уэйд переосмысливает свою жизнь. Между тем Кэти осознает, что их брак был построен на лжи, и однажды ночью бесследно исчезает.

В поисках вместе со всеми участвует Уэйд, но подозрения падают и на него. Утонула ли Кэти, или инсценировала самоубийство, или сбежала, или же стала жертвой проснувшихся в муже злых сил? Прямого ответа не дано, но введенный в повествование «автор» разрабатывает различные версии в нескольких главах под общим названием «Предположения». В серии глав «Свидетельства» тот же «автор» расширительно толкует вьетнамское прошлое Уэйда с цитатами о зле и войнах из произведений литературы, журналов и т.д. На примере трагичной судьбы Уэйда роман показывает, какую страшную и непоправимую ошибку совершают те, кто идет убивать, лишь бы не прослыть трусом или слабаком.

БЕН ОКРИ

Изумляя богов

Ben Okri. Astonishing the Gods. «Phoenix»

Известный нигерийский писатель, лауреат премии «Букер» (1991) Бен Окри свои предыдущие книги строил на основе «магического реализма» (см.«ИЛ», 1993, N11). Его новый роман — это авангардистское экспериментальное произведение, более похожее на гигантское стихотворение в прозе.

Действие разворачивается на некоем неназванном острове. Там стоит сказочный город: напоминающие Парфенон дворцы с мраморными колоннами, величественные соборы, прекрасные статуи, мосты, фонтаны; все украшено витражами, золотом и алмазами. Город лишен каких-либо черт современности, он нахо-

дится как бы вне времени и, как порой кажется, вне пространства.

Главный герой — безымянный мальчик, который рос в гармоничном мире. Научившись читать, он узнает, что его народ даже не упомянут в учебниках истории. Пытаясь понять, отчего жизнь соплеменников стала «невидимой», он отправляется в длительное духовное путешествие. В нем он познает суровые законы этого города-государства, где путь к высшей справедливости лежит через страдание — наказание за нарушение жесткой социальной иерархии. Бен Окри описывает фантастический мир, в котором внешняя языческая красота и отдельные стороны уклада жизни странным образом сочетаются с де ессивной христианской логикой.

ЖАН-НОЭЛЬ ПАНКРАЗИ

Госпожа Арнуль

Jean-Noël Pancrazi. Madame Arnoul. «Gallimard»

Лауреат премии Ренодо («Зимние квартиры», 1991) французский прозаик и эссеист Жан-Ноэль Панкрази для своей новой книги избрал довольно популярную в современной французской литературе тему: детские воспоминания об Алжире. В отличие от большинства других авторов, он предлагает по-детски непосредственные воспоминания, не отягощенные взрослыми рассуждениями об истории и политике. Его герой — это подросток между десятью и тринадцатью годами, и все бурные алжирские события тридцатилетней давности даны через восприятие этого мальчика.

Он рассказывает о тихом городке Батна, о своих друзьях. Их у него двое: прежде всего, госпожа Арнуль — соседка, торгующая игрушками. Уроженка Эльзаса, она живет с пьяницей-мужем, который бьет ее, а в свободную минуту в заброшенном вагончике ей хорошо мечтается о далеких путешествиях. Она защитила местную девушку от военного-француза, за что ее объявили «приспешницей арабов» и обещали «наказать».

Второй друг главного героя — это его школьный приятель, а впоследствии писатель Мохаммед Хаир-Эддин. Дружба с ним подвергается испытаниям по мере того, как в стране нарастает напряжение. Взрывы бомб в кинотеатрах, нападения, убийства, полицейские репрессии, деление на своих и чужих — так в Алжир пришли национальная революция и гражданская война. Семья мальчика вынуждена покинуть страну, и тем не менее «Мадам Арнуль» — это книга об Алжире без врагов.

ГЕНРИ РОТ

Скала для ныряния на берегу Гудзона

Henry Roth. A Diving Rock on the Hudson. «St. Martin's Press»

В 1994 году, после шести десятилетий молчания, Генри Рот опубликовал первый том из задуманной им серии под общим названием «Милость бурного потока». «Скала для ныряния на берегу Гудзона» — вторая книга писателя, которому исполнилось восемьдесят девять лет.

Она сочетает в себе роман, мемуары и личный дневник и повествует о школьных и студенческих годах главного героя, еврейского мальчика по имени Айра Стигман. Исключенный из школы в Манхэттене, он учился в Бронксе, а затем в одном из колледжей Нью-Йорка. Параллельно с этим идет рассказ о его знакомстве с литературным миром и подробное описание иммигрантского быта.

Хотя Г.Рот утверждает, что это не автобиография, судьба Айры повторяет судьбу автора. Особое место в книге занимает анализ роли инцеста в жизни Айры (много лет спустя потребность признаться в этом стала почти навязчивой), а также его сложное отношение к своему еврейскому происхождению. Полагая, что все красивое связано с христианством, Г.Рот рисует в романе малопривлекательный удушливый мир иммигрантов-евреев и собственное отрицание его ценностей. Дневниково-мемуарное повествование прерывается вставками бесед старого писателя с его компьютером. В этих разговорах преобладает нечасто встречающаяся в литературе тема: Г.Рот намеренно использует чисто старческую болтливость и самолюбование, рисуя автопортрет без прикрас.

ФРЕДЕРИК ТРИСТАН

Загадка Ватикана

Frederick Tristan. L'enigme du Vatican. «Fayard»

Жан-Поль Барон более известен во франкоязычном литературном мире как лауреат Гонкуровской премии (1983) Фредерик Тристан. Местом действия в его предыдущем романе послужила Россия (см. «ИЛ», 1994, № 1), и в новой книге повествование также разворачивается за пределами Франции, в карликовом папском государстве. Вслед за итальянцем Умберто Эко («Имя розы») и англичанкой Антонией Байетт («Обладание») французский романист обращается к ставшему модным жанру исторического детектива.

Действие в «Загадке Ватикана» охватывает несколько столетий; оно сфокусировано на событиях, связанных с таинственной рукописью, обнаруженной в знаменитой Ватиканской библиотеке. Действительно ли эта рукопись датируется XI веком, или же это подделка, изготовленная в XVI веке? Над этим вопросом ломают голову ученые, которые пытаются расшифровать рукопись. События, происходящие в наши дни, чередуются со сценами из средневековой жизни, кроме того, обильно цитируется и сама загадочная рукопись. Помимо писательского труда, Ф.Тристан занимается проблемами раннехристианской иконологии, и недюжинная эрудиция помогает автору свободно путешествовать во времени на страницах этого романа, который потребует от читателя, возможно, не меньшей эрудированности.

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

САЛЬМАН РУШДИ (SALMAN RUSHDIE; род. в 1947 г. в Бомбее) — индийский писатель. Окончил Кембриджский университет, пишет на английском языке. Автор романов «Гримус» («Grimus», 1974), «Дети полуночи» («Midnight's Children», 1981; удостоен премии «Букер»), «Стыд» («Shame», «ИЛ», 1989, № 8,9), «Сатанинские стихи» («The Satanic Verses», 1988). Написал также книгу очерков о поездке в Никарагуа «Усмешка ягуара» («The Jaguar Smile», 1987).
Публикуемые рассказы взяты из книги С. Рушди «Восток, Запад» («East, West». London, Jonathan Cape, 1994).

ДУРС ГРЮНБАЙН (DURS GRÜNBEIN; род. в 1962 г.) — немецкий поэт. Автор поэтических сборников «Серая зона утром» («Grauzone morgens», 1988), «Лекция об основании черепа» («Schädelbasislektion», 1991), «Изгибы и ловушки» («Falten und Fallen», 1994), «Дорогим мертвым» («Den Teuren Toten». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1994), откуда взяты публикуемые стихи.

ГЮНТЕР ГРАСС (GÜNTER GRASS; род. в 1927 г.) — немецкий писатель. Лауреат литературных премий. Автор романов «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959), «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963), «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Палтус» («Der Butt», 1977), «Крысиха» («Die Rättin», 1986), книги путевых очерков «Гомункулы» («Kopfgeburten», 1980). В «ИЛ» напечатаны повести Г. Грасса «Кошка и мышь» («Кошки-мышки», 1968, № 5) и «Встреча в Тельгте» (1983, № 5), стихи (1983, № 10).
Первая часть романа «Жестяной барабан» печатается по изданию Taschenbuch Verlag, München, 1994 г.

ХУСТО ХОРХЕ ПАДРОН (JUSTO JORGE PADRÓN; род. в 1943 г.) — испанский поэт, лауреат нескольких литературных премий, в том числе Европейской премии по литературе, присужденной в 1987 году в Югославии. Автор сборников стихов «Темные огни» («Los oscuros fuegos», 1970), «Ночное море» («Mar de la noche», 1972), «Круги ада» («Los circulos del infierno», 1976), «Береза в огне» («El abedúl en llamas», 1978) и др. Стихи Хорхе Падрона впервые на русском языке были напечатаны в «ИЛ» (1988, № 4).
Публикуемые стихи взяты из антологии «Поэтика» («Poética». Islas Canarias, 1988).

СТАНИСЛАВ ИГНАЦИЙ ВИТКЕВИЧ (STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ; 1885—1939) — польский писатель — драматург и романист, теоретик театра, художник. Автор более тридцати пьес, в том числе переведенных на русский язык «Сапожники», «Дюбал Вахазар, или На перевалах Абсурда», «Каракатица, или Гирканическое мировоззрение» (Библиотека «ИЛ», 1989), «Кандидат в президенты» («Современная драматургия», 1991, № 3), «Водяная Курочка» («Диапазон», 1993, № 4), «Тумор Мозгович», «Прагматисты» («Суфлер», 1994, № 2,3), романов «Прощание с осенью» («Pożegnanie jesieni», 1925), «Ненасытимость» («Nienasycenie», 1930), «Единственный выход» («Jedyne wyjście», 1933), работ о театре и живописи. Его книги изданы на многих языках. 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича.
Пьеса «Безумный локомотив» («Szalona Lokomotywa») публикуется по изданию «Dzieła wybrane» (Warszawa, 1993), «Пейотль» по книге «Narkotyki, Niemyte dusze» (Warszawa, 1993).

ПЭЛЕМ ГРЕНВИЛЛ ВУДХАУС (PELHAM GRANVILLE WODEHOUSE; 1881—1975) — английский писатель. Автор романов «Так держать, Дживз!» («Carry on, Jeeves!», 1925), «Дживз на взморье» («Jeeves in the Offing», 1960), «Законы Вустеров» («The Code of the Woosters», 1938) и многих других. В русском переводе издавались его романы, повести, рассказы: «Роман на крыше» (Л., 1928), «Левша на обе ноги» (М.—Л., 1928), «Капризы мисс Мод», «Дела и приключения мистера Экриджа», «Эликсир бодрости» (Л., 1928), «Собачий университет» (М., 1935), «Случай с Джорджем» (М., 1969) и др., сборники рассказов «Неподражаемый Дживз» («The Inimitable Jeeves», 1978), «Лорд Эмсворт и другие» («Lord Emsworth and Others», 1976). В «ИЛ» печатались его эссе и рассказы (1992, № 7).
Публикуемые рассказы взяты из разных сборников.

ТАДЕУШ ДРЕВНОВСКИЙ (TADEUSZ DREWNOWSKI; род. в 1926 г.) — польский литературовед и критик, профессор Варшавского университета. Автор ряда книг, в том числе монографий, посвященных творчеству трех известных польских писателей: Марии Домбровской — «Слово из Руссова» («Rzecz russowska», 1981), Тадеуша Боровского «Бегство из каменного мира» («Ucieczka z

kamiennego swiata», 1972) и Тадеуша Ружевича — «Борьба за дыхание» («Walka o oddech», 1990). Т. Древновский подготовил к изданию многие произведения, среди них и пятитомник получивших широкую известность «Дневников» М. Домбровской (1988). В 1980—1988 годах был вице-председателем Союза польских писателей.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

■ Переводчики:

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе публиковались романы «Дом без хозяина» Г. Бёлля, «Погонщик волов», «Оле Бинкоп» («ИЛ», 1965, № 7—10), «Лавка» (совместно с Н. Ман) Э. Штриттматтера; «Мы не пыль на ветру» и повесть «Солдат и женщина» М.В. Шульца («ИЛ», 1979, № 10), «Правосудие» Ф. Дюрренматта («ИЛ», 1988, № 6), новеллы С. Цвейга, К. Гамсуна, А. Стриндберга, А. Зегерс, рассказы Й. Рединга («ИЛ», 1982, № 2) и др.

ВАНХАНЕН НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА — поэт-переводчик. В ее переводах публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х.Р.Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сернуды, А. Сторни, Хорхе Падрона («ИЛ», 1988, № 4), Эрнестины де Чампурсин («ИЛ», 1994, № 6) и др.

БАЗИЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1957 г.) — литературовед, переводчик, кандидат филологических наук,. В его переводах печатались произведения польских писателей, в том числе пьесы Ст.И. Виткевича, сборники стихов М. Бялошевского, Я. Рыбовича, С. Мисаковского, Я. Твардовского, К. Войтылы, стихи Ч. Милоша, А. Бурсы, Э. Стахуры и др. Лауреат премии ЗАИКС. Редактор «Коллекции польской литературы» издательства «Вахазар».

■

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

на CD-ROM

**По мнению экспертов, "Britannica-CD" -
это информационный прорыв в XXI век!**

На одном CD-ROM:

- **полный текст 32-х томов "Британской энциклопедии" (44 млн. слов)**
- **самый популярный в США словарь английского языка "Merriam-Webster's"**
- **тысячи цветных иллюстраций - фотографий, рисунков, карт, схем, таблиц**

"Britannica-CD" сочетает в себе достоинства "Британской энциклопедии" и преимущества новейших компьютерных технологий.

Мир Знаний

эксклюзивный дистрибьютор
продукции компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"

Тел.: 161-4049, 369-2977 Факс: 161-0675 E-mail: mir@znanija.msk.su Почтовый адрес: 107392, Россия, Москва, а/я 14

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №11, 1 — 256